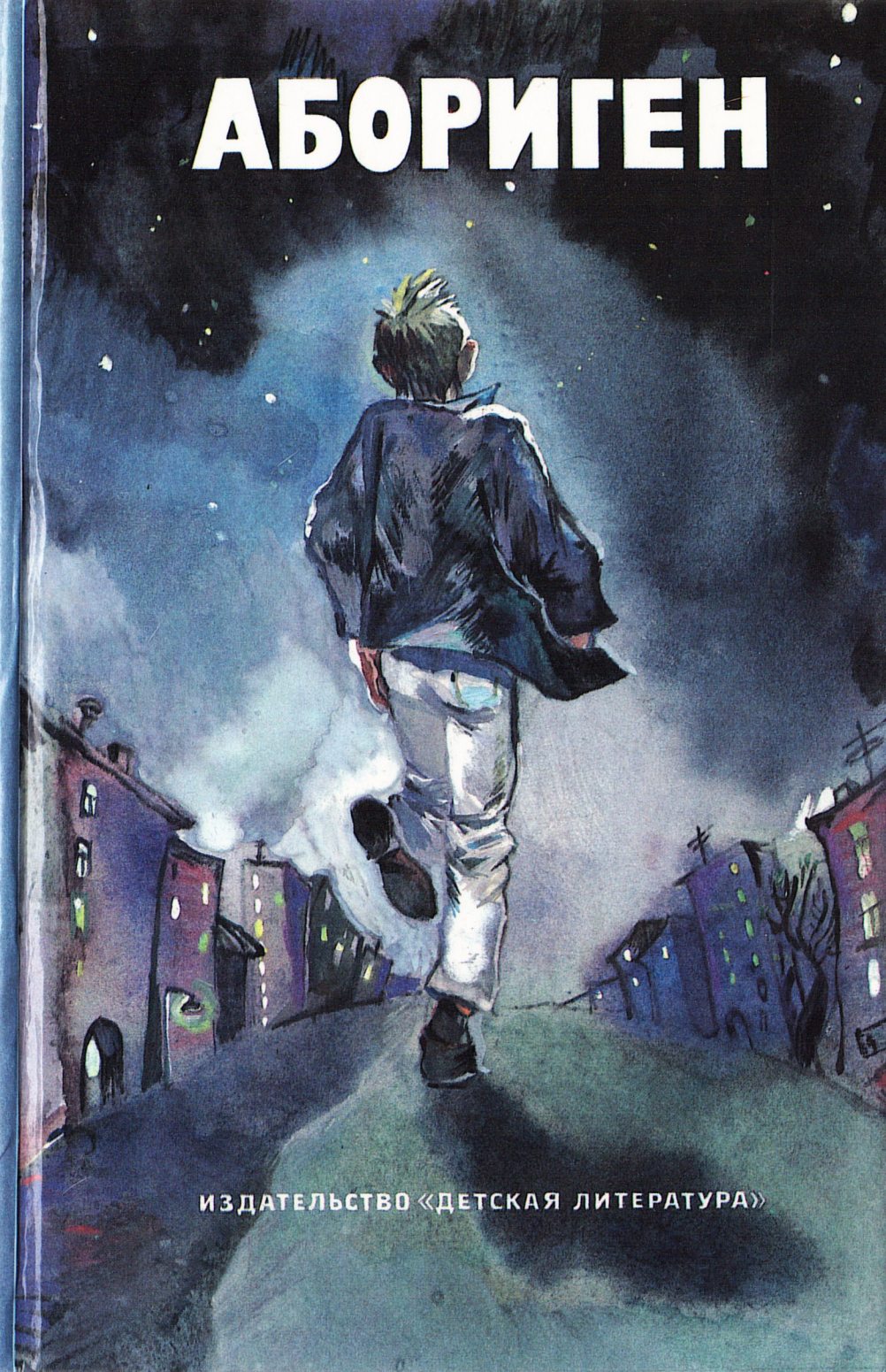
АБОРИГЕН



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

АБОРИГЕН

Повести

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84.3Р7
А15

Составитель Н. СОЛОМКО

Книга, которую ты будешь читать, познакомит тебя с твоими взрослеющими ровесниками. Как и ты, они ищут себя, свою дорогу в жизни. Ищут, ошибаясь, набивая шишки, отчаиваясь. В этой книге много грустного, потому что часто герои одиноки, за свои ошибки им приходится платить свободой, а то и жизнью.

Эта книга о том, что жизнь сложна, что начинается она не за порогом школы, а тогда, когда ты родился, что откладывать поиски своей дороги на потом нельзя, что, несмотря на все беды и несчастья, жизнь прекрасна, потому что в ней есть любовь, верные друзья, призвание — только надо найти их.

Эта книга о том, что человек должен быть человеком во что бы то ни стало — другого выхода у него нет.

Художник С. ИВАНОВА

А15 **Абориген:** Повести / Составитель Н. Соломко; Худож. С. Иванова.— М.: Дет. лит., 1989.— 527 с.: ил.

ISBN 5—08—001943—3

Современные повести молодых писателей раскрывают мир детей, их жизнь в семье, школе, коллективе в наши дни.

А $\frac{4803010201-466}{М101(03)-89}$ Без объявл. ББК 84.3Р7

ISBN 5—08—001943—3

© Составитель Н. Соломко, 1989
© Оформление. Иллюстрации. С. Иванова, 1989

Ирина Андрианова[1]

МОЙ СУМАСШЕДШИЙ ПАПА

Повесть

«Папа, я предательница. Помнишь день выпускного бала? Папа, я — черный человек. Иногда мне кажется, что меня вываляли в грязи, а грязь запеклась, засохла, обезобразила лицо, руки, ноги, тело. Скрючила душу. Ты не сможешь простить меня, папа, если узнаешь всю правду. Я предала тебя. Я потеряла тебя в гадкий выпускной вечер. Помнишь? Помнишь тот день?»

Это письмо я написала несколько лет назад.

Я не смогла отправить его.

[1] © Ирина Андрианова, 1989

Не смогла разорвать.
И забыть не могу до сих пор.
Получилось, что я написала его самой себе.

Однажды я возвращалась домой в ночной электричке с одним мальчиком. Его звали Черт. Конечно, это было не имя, а кличка, но удивительно шедшая ему.

Черт, в свою очередь, звал меня Командиршей. Когда мы познакомились, я говорила со всеми решительно, отрывисто, громко смеялась, как какой-нибудь отставной полковник в семейном кругу. Одним словом, Черт был не дурак и верно дал мне кличку.

Итак, мы ехали в ночной электричке.

Окно, у которого мы сидели, было открыто, и влажный, немного резкий ветер теребил волосы на голове Черта. Но он не двигался, не менял уже целый час позы, не открывал глаз — дремал, прислонившись к оконному косяку.

Я то и дело взглядывала на Черта; на душе было кисло, сплошные сквозняки. Я все время ждала: он откроет свои милые глаза, улыбнется и что-нибудь спросит,— о, это было бы желаемое, неслыханное чудо! Но, мечтая об одном, я знала совершенно другое: через тридцать — сорок минут мы сойдем на перроне ночного пыльного вокзала, постоим минуту в молочном круге обшарпанного фонаря, Черт пробормочет что-то незначащее, усмехнется и исчезнет в темноте. Растворится — шоколадный мальчик. Он растворится, будто его и не было никогда в моей жизни. Да, именно так: в метро Черт не пойдет со мной, переждет, перекурит за углом; соваться в метро — это значит провожать девочку до дома, при этом играя роль влюбленного мальчика.

Час назад, до поездки в электричке, мы поняли, что ничего между нами нет, не было и быть не может; и вообще зря мы поперлись на далекую ночную дачу, да еще в такую ночь, когда другие веселятся.

На мне было легкое серебристое платье, все в складках, длинное, без рукавов и с глубоким вырезом. Волнующее, в общем, платье. Над левой грудью болтался увядший малиновый цветок шиповника — еще часа три назад он был полон жизни и соков, поэтому я в порыве и сорвала его с дачного куста... На коленях лежала небольшая коричневая сумка, но не крошечная, дамская, в которую влезает только кошелек и расческа, а как раз для книги, пары общих тетрадей и яблока.

С этой сумкой я таскалась на консультации перед выпускными экзаменами. И зачем схватила именно ее в дорогу, на чужую дачу — неясно. Сумка совершенно не шла к моему волнующему вечернему платью.

Я сидела в холодном вагоне электрички, поджав ноги в замызганных от дачной грязи и пыли туфлях, сцепив потные руки на коричневой сумке, и ощущала себя сломанной куклой, легко выброшенной на помойку.

Черт не просыпался. Да и не спал он вовсе. Просто уже отгородился от меня, от моих проблем, я для него уже целый час была пустым местом: он сам по себе сидел в вагоне — шоколадный мальчик.

Помню, я вздохнула и машинально открыла сумку. Мне захотелось в ней нашарить что-нибудь занятное, ну хотя бы обрывок старой газеты, в которую полгода назад был завернут бублик или пирожок за десять копеек. Я бы уткнулась в этот масленый газетный обрывок, в расплывшиеся, бледные строки, и сидела бы так до самого вокзала. Мне казалось, что так станет легче; ой, а на душе такая тоска колыхалась, хоть рыдай и высовывай лицо в открытое черное окошко...

И тут я нащупала на дне сумки несколько твердых конвертов.

Я их вытащила на свет божий, машинально сосчитала: семь штук. Семь писем от папы, которые я вынимала по утрам из почтового ящика и, не читая, бросала в сумку, а сама неслась на предэкзаменационные консультации.

Можно представить, с каким теплым чувством я открыла первый конверт: ведь не чаяла найти клочок, обрывок, а тут целых семь писем!

«Майн либен[1] дота[2]! — писал в своем первом письме папа.— Мы с мамой приехали сюда сегодня после завтрака. Погода стояла хорошая. На территории много тенистых мест — ты же знаешь, что папочка не любит жару. После обеда я много гулял и все время думал о вас с мамой. Но больше о тебе, моя единственная дочка. Я думал, какая ты у меня стала большая, умная, выходишь во взрослую жизнь. Тобой можно гордиться. Скоро с мамой мы будем тебе не нужны. Мы уже старички стали, не поспеть нам за тобой, да и надо ли тебе, чтобы мы

---

[1] Моя дорогая (нем.).

[2] Дочь (англ.).

поспевали? Ты прости меня, дочка, я говорю так, потому что так думаю, обидеть тебя не хочу.

Дочка, мне здесь очень не нравится. Не знаю, как смогу здесь пробыть целый месяц. Только и остается думать о том, как мы с тобой раньше везде были, везде ездили. Помнишь? Садились в троллейбус на Пушкинской, друг против друга, как попугайчики, и ехали в Серебряный бор. Ты там нагуляешься, набегаешься, напрыгаешься, а на обратном пути глазки закроешь и спишь. Я тебя бужу перед домом, а ты не просыпаешься. А я бужу, бужу. Ты была хорошая девочка — шоколадная головка.

Вот так я буду вспоминать про нас с тобой все время. Мне так здесь легче.

Дочка моя любезная, решил тебе писать, так как автомат все время занят и большая очередь. Все говорят по часу. Да-да, не поверишь. Если будет у тебя свободная минута, приезжай. Как сдашь экзамен — и к папочке на час, ладно? Я разграфил тетрадь за две копейки с твоими экзаменами, будешь говорить мне оценку за экзамен, я запишу, а потом, когда ты уйдешь, буду разглядывать эту тетрадь и все время думать о тебе и маме. Дочка, буду очень ждать. И привези шерстяные носки: думаю, что буду мерзнуть, потому что моя кровать стоит у окна, а в комнате все время сквозняки.

Да, дочка, люди здесь подозрительные. Никто не хочет долго беседовать. Все-таки я зря сюда приехал. Целую. Твой папа».

Я воспроизвожу сейчас это письмо, как и другие, по памяти и, может быть, что-то да и забыла, но основной тон письма, сравнение «как попугайчики», папин стиль навсегда, навсегда врезались в мою память. Ошибки здесь быть не должно...

Мой папа был не похожим на других людей. О таких, как он, говорят: «Этот тип со странностями».

Когда он встречал меня из детского сада, то обычно приносил в кармане вместе с яблоком тщательно выглаженный шелковый желтый шарфик и торжественно объявлял: «Дочка, я принес тебе кашне». Это кашне он долго, с любовью, неловкими пальцами пристраивал на моей шее и груди.

Регулярно папа водил меня в кинотеатры и театры на детские спектакли и терпеливо поджидал в дождь, снег или слякоть свою «майн либен доту» у выхода, не отлучаясь ни в магазины, ни в ближний сквер — никуда.

Еще он обожал фотографироваться вместе со мной и

походы в фотоателье обставлял как великие праздники. Мы по полдня чистились, гладились, прихорашивались, шли по лужам и сугробам, осторожно ставя ноги в нагуталиненных, до блеска отполированных ботинках.

Однажды в третьем классе я бросила в слюнявого Крестьянкина с первой парты длинную, влажную кожуру от апельсина. Бросила, потому что он строил мне дикие рожи... Крестьянкин расплакался и пожаловался родителям. Когда папа узнал об этом случае от учительницы, то дома долго смеялся, обнимал меня, не ругал ни секунды, а твердил: «Как здорово ты проучила этого Крестьянкина! Какая ты смелая!»

Все мои школьные сочинения, глупые первые стихи папа складывал в папку, время от времени извлекал их и разглядывал с таким умилительным, проникновенным лицом, будто это было не детское, примитивное творчество, а архивные находки, никем еще, кроме него, не виданные, не читанные.

Когда я болела, папа ходил по дому с выпученными глазами и шептал маме страшные слова: «Если она умрет, я себе никогда не прощу!»

Он ощущал меня и себя как одно целое, неразделимое существо; может, поэтому однажды на прогулке по солнечному лесу сообщил, что стоит на учете в психдиспансере из-за минутной далекой армейской истории. В этот год мне исполнилось двенадцать лет.

Из-за папы, из-за его неиссякаемой бдительности, его вселенской опеки и сумасшедшей тревоги за меня и мою жизнь в детстве я ни с кем не дружила близко, серьезно, так, чтобы не разлей вода. Папа был всегда рядом со мной, как солдат на посту, как солнце в небе...

Я вздохнула над папиным письмом и снова украдкой взглянула на Черта. Его лицо было спокойным, безмятежным, только в уголках губ таилось какое-то обидное брезгливое выражение. Или это мне только показалось? Но теперь его лицо и выражение этого лица не имели никакого ко мне отношения. Я и Черт — чужие люди, как бы случайно оказавшиеся в одном вагоне, друг против друга, будто унылые попугайчики.

И что я тогда так переживала? С самого начала со мной и Чертом все было ясно. Ведь мы составляли нелепую пару.

Он высокий, черноглазый, с правильными чертами матового лица, с кошачьей мягкой походкой и густой, вороного цвета шевелюрой. На эту шевелюру, помню, оглядывались многие прохожие. Конечно же, не все в облике Черта было

совершенно, но эти недостатки не бросались в глаза и поэтому как бы не считались. Например, я знала, у Черта не очень высокий лоб — можно даже сказать, узкий, неприятный. Он тщательно прикрывал его челкой, маскировал. У него некрасивые верхние зубы — будто по ним кто-то ударил, они разъехались, но не выпали и прижились, оставшись кривыми: один смотрит туда, другой сюда... И все-таки... Все-таки в первый момент Черт производил ошеломляющее впечатление своей внешностью: яркие, сочные краски — смугловатое матовое лицо, вороные волосы, свежие, красивые губы, черные глаза. Ну, это я уже повторяюсь.

Рядом с ним я смотрелась ужасно. Широкоплечая, скуластая, ниже Черта на целую голову, но все же довольно живая и непосредственная. Вот глаза у меня были — да, достоинство. Они меняли цвет, как море,— то синие, то серые, глубокие, то зеленые. В общем, цвет их зависел от цвета одежды. Но почему Черт ко мне привязался — загадка, ведь у него была возможность с такими девочками ходить — закачаешься!

Познакомились мы с Чертом за два месяца до нашей ночной поездки. Познакомились довольно оригинально; и конечно же, ничего бы у нас не сладилось, не будь моего блистательного вранья. Вообще-то я никогда не отличалась лукавством и изворотливостью, но в момент нашего первого разговора будто нечистая сила потянула меня за язык.

Мой папа — методист по лечебной физкультуре. У него довольно маленький оклад, и он, сколько себя помню, подрабатывал частными уроками. То есть два-три раза в неделю папа ходил заниматься лечебной физкультурой в пару богатых семей, а в конце месяца получал гонорар, и, честно говоря, эти не ах какие деньги были существенным подспорьем в нашем семейном бюджете.

В первых числах апреля папа попросил сходить меня к профессору-историку, новому своему клиенту. Профессор страдал остеохандрозом — отложением солей, и папа не успевал зайти к профессору за деньгами, перезвонил и сказал, что приду я, дочка, и чтобы конверт с гонораром передали мне.

Вот я и пришла к бедному больному — остеохандрознику. Правда, профессор не производил впечатление несчастного — поджарый, моложавый мужик в бархатном, до пят халате, немного лысоватый, и на первый взгляд ничего; если бы он пристал ко мне на бульваре, я бы три-четыре минуты поболтала с ним.

В прихожей рядом с остеохандрозным моложавым профессором стоял высокий, черноглазый мальчик и с любопытством смотрел на меня.

— А-а,— обрадовался папин новый клиент,— как же, как же! Вот передай отцу.— Он протянул конверт.— И скажи, что всегда с нетерпением его жду. Передашь?

— Конечно,— ответила я.— До свидания.

— До свидания,— ответил профессор и услужливо открыл мне дверь.

За мной вышел из квартиры мальчик, успев у порога сунуть профессору свой конверт, а профессор совершенно иным тоном, чем обращался ко мне, буркнул ему:

— До среды. Ровно в четыре.

— Ага,— ответил мальчик. Голос его оказался приятным, уже сломавшимся, низким, бархатным,— благородный такой голос.

Мы пошли гуськом, один за другим, по лестнице. Она была широкой, просторной, старинной, с множеством широких окон: хоть пляши на ней, хоть пой, хоть спокойно гроб разворачивай. Почему я вспомнила про гроб? Потому что старушки, сидящие перед моим подъездом, время от времени обсуждали эту животрепещущую тему: как их скорбные гробы станут разворачивать на тесных лестничных площадках, вон Марью из Солнцева перевернули между вторым и третьим этажом, узко...

— Эй, слышь,— окликнул меня мальчик.— Откуда твой отец знает Сулеймана? (Я тут же догадалась, что «Сулейман» — от профессорской фамилии «Сулейкин».)

— От верблюда,— огрызнулась я, но почему-то, поразмыслив, решила удостоить высокого мальчика интригующей информацией: — Сулейкин — профессор, а мой папа — член-корр. Этот Сулейкин от него зависит, вот взятку давал: мол, замолвите за меня слово в Академии наук.

— Покажи взятку,— сказал мальчик, поравнявшись со мной.

Мы не шли, а парили по светлой шикарной лестнице.

— Смотри.— Я небрежно открыла конверт. Там лежала мятая двадцатипятирублевка — месячный заработок папы у профессора Сулейкина.

— Нежирно,— усмехнулся мальчик.

— На чай папе хватит. Или мне на шпильки.

— Тогда давай купим тебе шпилек на все,— предложил мальчик. Его черные глаза смеялись, он не верил ни мне, ни папе — член-корру, ни взятке, ни шпилькам.

Тут меня будто бес щипнул.

— А пошли! — выкрикнула я, и у меня похолодело под ложечкой.— Пошли по магазинам!

— Во Командирша! — сказал мальчик.— Не ори так, я согласен.

— Как тебя зовут? — спросила я.

— Черт,— ответил он, и снова его черные глаза засмеялись.

До сих пор я не знаю его настоящего имени, не знаю и фамилии, но то, что его кличка была действительно Черт,— это сущая правда, он тут не соврал.

Мы распахнули тяжелую доисторическую дверь светлого подъезда и вышли на весеннюю улицу. Она показалась мне грязнее и уже торжественных лестничных пролетов.

Конечно же, мы не двинули по многолюдным магазинам, а закатились в ближайшее кафе-мороженое и там благополучно проели пятнадцать рублей из папиного заработка. Черт уже так освоился со мной, что, когда официант принес сдачу — десять рублей,— он потянулся к ней, как к своей кровной. Мне не понравилась его рука: тонкие, детские, ленивые пальцы, небрежно тянущиеся к несвежей, замызганной десятке. В Чертовой руке было столько хамства, пренебрежения, высокомерия врожденного, кем-то привитого, неискорененного, что меня, помню, даже в пот бросило. У мальчишек должны быть шершавые руки, в царапинах, ссадинах, в черточках от шариковых авторучек, может быть, даже не с очень вымытыми ногтями, в цыпках и бугорках,— руки будущих мужчин, а не холеной цацы, на которых так и написано, аж светится: «Я вас всех видал, плебеев».

Помню, я легонько стукнула Черта по пальцам — они от неожиданности дрогнули и сжались в кулак, как щупальца молоденького осьминога,— и сама взяла жалкую десятку. Черт хмыкнул, я хмыкнула в ответ. И мы пошли гулять по городу.

Если честно, мне понравилось гулять с Чертом. Как только мы оказались на улице и свернули на ближайший бульвар, я тут же забыла про его руки и то неприятное ощущение, которое испытала несколько минут назад. Высокий, улыбчивый, красивый мальчик шел рядом и снисходительно слушал мою болтовню. Город был наш, апрель был наш, и я ощутила, что влюбилась.

О чем мы говорили? В чем была притягательность наших разговоров и встреч? Почему почти ежедневно, невзирая на страх перед надвигающимися выпускными экзаменами, на бес-

конечную подготовку к ним, я стремилась к Черту, прогуливая консультации, наплевав на учебники?

Сейчас нечего и вспомнить из тех разговоров. Больше говорила я, чем он: придумывала занимательные истории про папу — член-корра, делилась впечатлениями от прослушанных новых записей из фонотеки Светки Павловой, трепалась о кинофильмах, расписывала свое прекрасное литературное великое будущее и так далее, и тому подобное. Наши беседы оказались словесным сором, шелухой, их развеяло время без следа и пыли.

Черт никогда не рассказывал о своих родителях, очень немного, мельком — о школе и хрониках, наполнявших ее; о тех ребятах, с которыми не дружил, а от безделья встречался и таскался по дворам и улицам,— то есть о своей команде. Особенно меня поразило, как они разделяли людей на пять групп: чмошников (сокращенно — чмо), урюков, степанов, хроников и мафию. Эти группы придумал сам Черт, а команда с восторгом повторила и заучила.

Чмошники, по мнению Черта, были круглые придурки; урюки — тоже придурки, но чуточку поумнее чмошников. Степаны — те, кто добрые и не предатели, умеют верно служить и никогда не закладывают, в общем, незамысловатые ребята. Хроники — идейные, долбанутые на том или ином вопросе. А мафия — это он, Черт. Умный. Изворотливый. Знающий себе и окружающим цену. Главный в команде.

— Черт, а я кто, как ты думаешь? — спросила я тогда, когда узнала об этой таблице постижения человеческих характеров.

— Ты — никто, ты — Командирша,— улыбнулся он.

Его улыбка задела меня: слишком он широко раздвинул губы, кривые верхние зубы хищно блеснули. Бр-р, неприятно, эта улыбка четко напоминала звериный оскал.

Почему он не ответил на мой вопрос? Может быть, не хотел спорить, вдаваться в подробности? Или жалел меня, не хотел обижать вот так, с бухты-барахты?

Вообще, сейчас я вспоминаю, Черт был скучающим мальчиком, пресыщенным всевозможными мелкими развлечениями, обрывочными популярными знаниями о музыке, кино, искусстве, спорте, политике. Он был мальчиком, у которого все есть и все, что требуется во взрослой жизни, будет.

Почему он звонил мне? Потому что сразу, с нашего знакомства, раскусил мою простую, незатейливую натуру, мой добрый настрой к миру вообще, нежадность, почувствовал мое

желание нравиться ему — и ему стало любопытно. У него родилась одна идея. Черт знал, что, если он ее мне изложит, я не откажу.

Все-таки этот стройный, высокий мальчик с черными глазами и обалденной шевелюрой имел врожденное умение чувствовать людей. Из него получился бы неплохой психолог.

Но каким — ах! — легким по настроению был день нашего знакомства. Он остался в моей памяти даже некоей музыкой, радостной, мажорной, прозрачной, будто неудержимая апрельская вода на лесных дорогах.

Но уже тогда, в первые часы знакомства, беда шла за нами на цепких лапах. Это я поняла со временем; но что поделаешь — человеку не дано заглянуть в свое будущее, в историю личной жизни, а то бы все ходили счастливые, как херувимы.

Правда, истоки той беды мне более менее ясны: они таились в нашей с Чертом несовместимости. Он был мальчиком из иного круга, с иными понятиями о жизни; и даже если бы мы остались вместе (фантастическое предположение), взрослыми людьми все равно бы разбежались.

Ту десятку на сдачу мне так и не удалось донести до дому: Черт предложил взять такси после пятичасовой прогулки, я согласилась, и сначала мы добрались до моего дома, а потом Черт поехал до своего, взяв детскими, пренебрежительными пальцами деньги. Кто его знает, может, он вышел из машины через два дома и сэкономил таким образом семь рублей.

Папа очень заволновался, узнав, что профессор Сулейкин ничего мне не дал: я придумала историю, как чей-то глухой, тревожный голос через дверь спросил: «Кто здесь?.. Какой гонорар? Никакого гонорара я не знаю и знать не хочу». Для пущей достоверности я описала дверь профессора, обитую красной кожей, праздничную светлую лестницу, и папа поверил. Его лицо покрылось пятнами, он забегал по комнатам и запричитал:

— Обманул! Обманул! Я так и знал, что обманет! Неприятный, неприятный тип! Фу, дома ходит в халате, как женщина! Больше я к нему ни ногой! Ходишь-ходишь ко всем, унижаешься, выслушиваешь про болезни, а знаешь, дочка, как надоедает про болезни слушать! Стараешься, а в награду что? Обман, обман и грабеж!

Про себя я облегченно вздохнула: раз папа пообещал ни

ногой к профессору, так оно и будет. Бедный Сулейкин, бедный папа, бедный наш семейный бюджет, утративший двадцать пять рублей,— одна я, торжествующая, с облегченной душой: уф, мой обман не вскроется...

На следующий день Черт позвонил мне, и в течение двух месяцев мы встречались, а я, счастливая, думала, что пришла любовь.

Электричка отсчитывала ночные километры, в вагоне становилось все холоднее, Черт не открывал глаз, а я вскрыла второе папино письмо.

«Любимая, драгоценная моя, прошло уже три дня, как я здесь. Впереди еще двадцать один день, не знаю, выдержу ли эту пытку,— очень соскучился. Все время думаю, как вы там с мамой без меня живете, как ты сдаешь выпускные экзамены. Я уверен, дочка, у тебя в жизни будет большое будущее. Ты же с семи лет сочиняешь — пишешь стихи и рассказы, поэтому целенаправленно должна стремиться к успеху и литературному труду. Я буду тебе помогать во всем, майн либен дота, ты же не отталкивай своего папочку. У меня в жизни только ты и есть, одна, как звезда. И еще — мама. Но на маму я в большой обиде. То, что она меня сюда зафуговала, очень плохо. Я тебе не успел перед расставанием сказать, но она два дня кричала на меня, когда тебя не было дома, говорила, что я испортил ей жизнь и теперь порчу тебе, а сейчас мешаю сдавать экзамены. Разве это так? Разве это так? Разве я не думал всегда только о тебе и не жил только ради тебя? Ведь еще в девять месяцев тебе одна женщина в сквере, где вы с мамой каждый день гуляли, предсказала литературное будущее и посоветовала отвезти тебя под цветущую яблоню и чтобы ты под яблоней уснула. «Тогда,— сказала та женщина (я думаю, она была волшебницей),— ваша дочь станет заниматься литературным трудом». Мама не придала значения этому предсказанию, а я тут же — был май — отвез тебя в Ботанический сад, и ты там под яблоней заснула. Думаю, не зря я тебя отвозил — твои сочинения всегда считались в классе первыми...»

Я закрыла глаза, почувствовав: закрыть глаза необходимо, иначе заплачу. И увидела своего суетящегося папу, который ставит на стол, над моей головой, амариллис — четыре огненных граммофона на сочной длинной ножке — и приговаривает: «Спи, спи, майн либен дота... Спи, спи, моя шоколадная головка». Видимо, домашними цветами папа старался закре-

пить чары цветущей яблони; и когда в нашей квартире распускались нежные узумбарские фиалки, жасмин-самбук, лилии, он их пристраивал над моей постелью. Папа с удовольствием ухаживал за домашним садом, видимо предполагая, что во время цветения растения отблагодарят всю нашу семью, и в особенности меня, сторицей.

«...Здесь я все больше гуляю, так как в помещениях душно, а на улице стоит теплая погода. Со мной постоянно прохаживается один несимпатичный тип, все спрашивает адрес и телефон, предлагает дружить. Ты же знаешь, я довольно трудно схожусь с людьми, но его стало жалко, и я решил, что в следующий раз дам ему телефон. Но вечером увидел, как он со своей дружбой лезет еще к одному, и решил ничего не давать. Так что, дочка, когда приедешь сюда ко мне и за нами пойдет этот тип и будет просить у нас дружбы, ты на него не обращай внимания.

Кормят здесь прилично, я на вечер всегда беру печенье от ужина; мужчины все дни напролет смотрят телевизор, играют в домино или волейбол. Но ты же знаешь, папа плохо видит, поэтому не может ни телевизор смотреть, ни в играх участвовать. Поэтому я все время думаю о тебе, моя шоколадная головка, моя умница, моя талантливая дочка. Ты маме скажи, чтобы она в следующий раз на меня не кричала, не обзывала и не придумывала, что я тебе мешаю жить и учиться. Я только потому и согласился приехать сюда, что на секунду поверил: мол, все так, как она говорит. А так бы ни за что не согласился.

Дочка, жду тебя каждую секунду. Приезжай. Не забудь про шерстяные носки, я писал тебе в прошлом письме. И еще: если мама нажарит котлет, принеси штуки три с хлебом. Я бы с удовольствием их скушал. Жду, жду, жду. Целую крепко. Маме, несмотря ни на что, большой привет. Папа».

Бедный, бедный мой папа не знал самого главного, просто предположить не мог подобную ситуацию: то, что он во время моих выпускных экзаменов оказался не дома, а там, откуда посылал жалобные сумбурные письма, виновата не мама, а я. Я. Его любимая, неповторимая, звезда, дота и любезная дочка. Я умышленно настроила маму на принятие этого жестокого, в общем-то, решения, доказала ей, что, когда отец дома, я не могу сосредоточиться, а потом, впереди выпускной вечер, от которого папу нужно отсечь, как отсекают охотники волка красными флажками.

Выпускной вечер мне был нужен ради первой в моей жизни свободной ночи, когда родители спокойно ложатся спать, думая, что их детки веселятся в актовом школьном зале. Когда родители не бегут с фонарями разыскивать своих чад. Но я хорошо изучила папу — он, в отличие от других родителей, не сидел бы расслабленно дома, не ждал рассвета и прихода взрослого ребенка домой, он бы дежурил под окнами школы, а если бы выпускной народ пожелал гулять по улицам — тащился бы сзади и не спускал подслеповатых глаз с меня, любимой, дорогой и так далее доты...

В последних числах мая папа начал первничать. По вечерам он кропотливо пересматривал гардероб, перетряхивал вещи, примеривал поочередно три старых костюма, которые давно годились только для утиля, вздыхал над коробками с обувью. Обувь находилась в униженном, плачевном состоянии: потрескавшаяся, потерявшая первоначальный цвет, вид, она все же бережно хранилась в глубине антресолей, завернутая в газеты, со скомканной бумагой в мысках, загнанная в темноту разваливающихся бумажных коробок.

— Пятьдесят шестой год... Китайские кеды... Лакированные ботинки за сорок пять рублей теми деньгами,— бормотал папа, непрерывно шурша бумагой.

Мы с мамой тревожно прислушивались к его ежевечерней бурной деятельности в коридоре. Может быть, папа задумал начать новую жизнь из-за того, что я оканчиваю школу?

Но нет, переменами на новую жизнь и не пахло. Во всяком случае, в новую жизнь не входят в ботинках на отслаивающейся микропорке или в бостоновом, проеденном молью пиджаке и не задают тревожно вопрос: «Ну, как?»

Как, как... Никак. Полный кошмар. Мы с мамой недоумевали: что происходит с нашим папой? И лихорадочно искали ответ на этот вопрос. Чем раньше мы его найдем, тем всем же лучше.

И вот в один прекрасный вечер, когда папа появился из прихожей в маминой древней окаменевшей шляпке и синем мамином пальто времен карточной системы — этот маскарад нужно было расценивать как домашний юмор,— меня вдруг осенило.

— Мама,— сказала я глухо,— да он же собирается на мой выпускной вечер!

Моя догадка попала в точку. Папа сатанински расхохо-

тался, захлопал в ладоши, подбежал ко мне, стал обнимать, приговаривая:

— Майн либен дота! Майн либен дота!..

— Ты что, намылился меня сопровождать? — сурово спросила я его.

— Почему бы нет? Почему бы нет? — радовался папа.— Ты — моя единственная дочка, у тебя единственный в жизни выпускной вечер. Я хотел бы хоть одним глазком посмотреть на тебя...

— Нет уж, не надо,— сказала я с дрожью в голосе.— Знаю я, как ты посмотришь одним глазком. Потом все глаза в школе будут смотреть на тебя и меня.

— Что плохого в том, если отец придет на выпускной вечер дочери? — не отставал от своей главной мысли папа.— Скажи, что в этом отвратного? Я не крокодил, не обезьяна, оденусь прилично и тихонечко там побуду...

Я решила не продолжать с ним зашедшую в тупик тему. Решила прибегнуть к помощи мамы и уговорить ее, внушить ей, что отец — должен — отдохнуть — он — мне — мешает — готовиться — к — экзаменам — его — и — мои — нервы — не — выдержат...

На самом деле я боролась за выпускную ночь, как раненый зверь, цепляющийся за жизнь, совершенно по другой причине. В выпускную ночь я не собиралась тащиться в школу, чтобы глазеть на расфуфыренных одноклассников и напряженных учителей. Мы с Чертом должны были уехать за город в эту ночь...

На свидания с Чертом я ходила в одежде своей подруги Светки Павловой. Мои отечественные длинные и разноцветные, разнокалиберные свитерки были из той бедняцкой жизни, которую мы вели с родителями. Сто двадцать плюс сто пятьдесят плюс гонорары за частные уроки лечебной физкультуры (не превышающие, кстати, в месяц и пятидесяти рублей) — вот и все, чем мы располагали. Поэтому меня одевали очень и очень скромно.

Светка Павлова в этот апрель и май с удовольствием выручала меня барахлом. Ее родители часто бывали за границей, так что проблем с тряпками у Светки не существовало. Взамен она ничего не просила, кроме подробностей наших с Чертом свиданий... А какие у этих свиданий могли быть подробности? Почти все я придумывала, расписывала, рассказывала со смаком: мол, и целуется что надо, и квартира у него — конфетка, и слова говорил такие и такие, и уже приставал по-серьезному,

но я вовремя остановилась, решив попробовать после окончания школы.

Светка всему верила, у нее глаза так и блестели, только что слюни не капали, и все канючила: «Ма-ать, ну познакомь меня с его дру-угом». Я обещала. А зачем обещала — непонятно. Черт меня со своими друзьями не знакомил.

Он вообще, как мне казалось, был везде один, благородный такой, сам в себе, шоколадный мальчик. В образе эдакого брошенного всеми, независимого рыцаря. Или несгибаемого, стойкого, сильного молодого короля. Да, да, он держался со мной благосклонно, по-царски. Вроде как бы терпел. Не понимаю, зачем он со мной встречался?

Черту нравилось, что каждый раз на наши встречи я появляюсь в чём-то новом.

— Как там фазер — член-корр? — любопытствовал он.— Из загранки, что ли, приехал?

— Ну,— отвечала я.— Из загранки. Вагон шмоток приволок...

Сам Черт носил не ахти какие джинсы, рубашки, кроссовки и куртки. Они не бросались в глаза, и похожие я встречала на многих, но зато все его вещи были импортными. Единственная необычная деталь присутствовала в его облике — золотая цепочка на шее. Как бы некий знак принадлежности к высшему обществу. Кажется, у него были даже две цепочки — одна венецианская, другая якорная; он их менял, может быть, в зависимости от настроения. Я поражалась в душе, как небрежно он носил эти дорогие вещи, будто безделушки из табачного ларька стоимостью в два-три рубля.

Однажды, как раз перед эпизодом с переодеваниями папы, Черт спросил меня:

— Командирша, у вас дача есть?

— Есть,— тут же соврала я.

— Съездим?

— Зачем?

— Воздухом подышим,— сказал он и усмехнулся.

— А у тебя есть дача? — тут же спросила я.

— Конечно. Только там бабка день и ночь.

— Ну и что?

— Ничего,— ответил он, глаза его потемнели.— Можешь так сделать, чтобы никого на твоей не было? Ты же Командирша, скомандуй, а?

— Там никого и так не бывает,— вяло попыталась я пошутить.

— Тогда когда поедем?

И тут я ухнула, будто в реку с головой:

— Давай в выпускной вечер?

— У-у...— лениво протянул Черт.— До него целый месяц. А раньше?

— Нет, я экзамены начну сдавать, не до поездок.

— Ну-у ладно. Только без обмана, Командирша. Замётано?

— Черт, все же что мы там будем делать?

— Воздухом дышать,— повторил он и коснулся моей руки. Его пальцы показались мне горячими, как кипяток. Тут Черт поцеловал меня в первый раз.

Целовался он классно, дух захватывало. Кстати, Черт был младше меня: я оканчивала десятый класс, а он — девятый. Правда, о школе он почти не рассказывал, и о репетиторах тоже. Но я догадывалась, что он к ним ходит. Его предусмотрительные богатые родители заставили сыночка ходить к репетиторам заранее: очень они хотели, чтобы Черт поступил в университет. И вообще — сделал карьеру в будущем.

Огненный, отточенный поцелуй Черта добил меня: откуда у него такая техника и умение? Загадка.

После разговора о даче мы к этой теме не возвращались. Как бы твердо знали: поездка должна состояться, замётано. Но вот на какую дачу мы должны были ехать, я не представляла. Естественно, никакой дачи у моих родителей сроду не существовало.

И тогда я снова кинулась в ножки к Светке Павловой. У ее родителей не дом — полная чаша: машина, дача, кооперативная квартира. Светка подумала-подумала и согласилась, взяв с меня честное слово, что я расскажу ей ВСЁ после возвращения...

Не буду прикидываться дурочкой и делать вид, что до сих пор не понимаю, зачем Черт агитировал меня поехать с ним на дачу. Я и тогда понимала: он хотел со мной близости. Ничего в этом, по зрелом размышлении, нет плохого. Если люди любят друг друга. Если они жить друг без друга не могут. Если искра проскакивает, когда они встречаются глазами или берутся за руки. Обычно такой глубины чувство впервые появляется лет в семнадцать-восемнадцать. И нечего тут взрослым фыркать, негодуя над этой страницей. Жизнь есть жизнь.

Но в том, что я легко согласилась ехать с Чертом на дачу,

была все же отвратительная начинка. Я видела: он не любит меня. Ему любопытно. Ему интересно. Ему захотелось легких отношений и надоело бродить по улицам. Ему обрыдли наши школьные невинные свидания.

Да, я чувствовала все это — унизительное, серое — и согласилась.

Я начала расчищать, как бульдозер, путь для нашей первой ночи.

Я унизилась перед Светкой Павловой и ее дешевым любопытством.

Я продумала, как Штирлиц, весь день выпускного бала — до крошечных мелочей, подробностей. Потому что хотела привязать к себе шоколадного независимого мальчика с золотой цепочкой на шее.

И я уговорила, уломала, убедила маму положить отца в сумасшедший дом.

...Я читала третье папино письмо, когда дверь распахнулась и в вагон ввалилась компания из пяти человек: четверо парней нашего с Чертом возраста, а с ними девица, высокая, стройная, нервная, в облаке черных волос над острыми прямыми плечами, затянутая в черную кожу — блестящие брюки и блестящую куртку.

Они сели через три лавки от нас, и Черт им был виден со спины.

«...Я понимаю, дота, ты сдаешь ответственные в своей жизни экзамены,— писал папа.— Наверное, поэтому ты не едешь, хотя я тебя жду изо дня в день. Есть специальные часы посещений — с семнадцати до девятнадцати. В эти часы я все время стою у больничных ворот и жду, жду. Боюсь тебя проглядеть — ведь ты знаешь, я плохо вижу. Все-таки можно приехать к папочке на пару часов. Приезжай, моя милая дочка.

Сегодня вспоминал, как мы ходили в гости к Мариванне и Герасиму Петровичу. После больницы расскажу тебе много про них историй — тут вспомнил. Дота, ты разве не помнишь, как Гера и Мариванна чуть не стали богачами? Они въехали после революции в пустую комнату на улице Станиславского — там умерла старуха, и у нее родни никакой не было. А в углу висела икона, от старухи осталась. Ну, Мариванна и Гера не сняли ее: не мешает же. Через пару месяцев приходит к ним бабка в черном и говорит: «Отдайте икону, память о подруге».

Мариванна и Гера и говорят: «Бери, бабуся! Нам не жалко. Атеисты мы». А бабка сняла икону, открыла, в углу мешочек висит. Высыпала содержимое в руку — драгоценные камни, кольца, серьги,— ссыпала обратно в мешочек и говорит: «Благодарствуйте, люди добрые». И ушла.

Вот, моя дорогая, такие прямо книжные истории. Выйду отсюда, давай пройдемся по тем местам и вообще по центру, папочка расскажет тебе много интересного.

Тут двое мужчин так храпят, что невозможно спать. Я, правда, молчу, врачу не говорю, а то накормит такими лекарствами, что весь день будешь ходить заторможенный. Я не хочу так, хочу думать о тебе.

Как вы там с мамой? Я несколько раз пробовал позвонить вам, но сломался автомат, а когда починят, никто не знает.

Приезжай, милая моя дота. Любящий тебя отец».

Компания за спиной Черта сразу открыла окно — ночной ветер теперь легко носился по вагону, и волосы на голове Черта не просто шевелились, а разлетались в стороны. Затем все пятеро закурили, загомонили, включили магнитофон.

— Эльза, где твой красавчик? — спросил один из парней.

— На идиотские вопросы не отвечаю,— отрезала хриплым низким голосом Эльза.

— Целуется, наверное, с какой-нибудь телкой. Он такой у нас, своего не упустит,— лениво продолжал тот же голос.

— Заткнись, Панок! — приказала Эльза.

— Ой, ой! Чего ты так разнервничалась? Не знаешь, где он,— не надо.

— Знаю,— ответила Эльза.— Панок, давно чмошником не был?

На последний вопрос ответа не последовало, но в этот момент я оторвалась от папиного письма и взглянула на Черта.

Он сидел, широко открыв глаза, с застывшим каменным лицом. Губы его сжались в бледную, твердую, бескровную полосу, щеки побелели, а глаза смотрели в одну точку. Такого мрачного, тяжелого взгляда я ни у кого раньше не видела.

И тут я догадалась. Там, за спиной, сидела его, Черта, команда — правда, не в полном составе, но именно он у них был основным, мафией.

Теперь Черт с помертвевшими глазами сидел и слушал, как его команда говорит в легком оскорбительном стиле о нем

самом, о мафии. И кто говорит? Чмошники, урюки и степаны. Хроников, по мнению Черта, в их команде еще не завелось.

Вдруг он встал.

— Эльза, я здесь,— сказал он резко, громко.

Он будто вызов бросил тонкогубой, худой кожаной девице. Его голос прозвучал в выстуженном, холодном вагоне электрички металлически, напряженно. Он не был похож на тот глубокий, бархатный, каким Черт обычно говорил со мной.

— Здорово, Черт,— ответила хрипло, уверенно Эльза.— А мы тебя не заметили. Вот незадача! Ты с новой девочкой?

Ох, как неуютно мне стало в нелепом серебристом вечернем, концертном платье! Ох, как проигрывала я рядом с худой, нервной, супермодной Эльзой!

— А ты с теми же мальчиками?— ответил вопросом на вопрос Черт.— Дайте сигарету, что ли.

— Мог бы получше в этот раз выбрать себе девочку,— нагло продолжала Эльза.— Это та, с которой ты два месяца...

— С каких пор, Эльза, ты стала нарываться на грубость?— тихо спросил Черт.

Эльза замолчала — видимо, Черт посмотрел на нее черными, бешеными глазами. Он умел так смотреть — кровь застывала в жилах.

В этот момент до меня дошло, что команда во главе с Эльзой не случайно оказалась в ночной электричке, которая тащилась через холодную ночь в город. И у команды есть свои продуманные, подготовленные цели: или закопать, унизить меня, или свергнуть Черта до положения урюка, а то и чмошника. Может быть, еще что-то у них крутилось на уме.

Я не испугалась. Мне было наплевать на то, что в этом вагоне решается сейчас моя судьба. И даже наплевать, пошел ли Черт к своей взбунтовавшейся команде защищать меня или они сейчас объединятся и начнут издеваться надо мной все вместе.

Тут я открыла еще одно папино письмо.

Оно, наверное, было отправлено последним, и, в отличие от тех, что я уже прочитала, очень короткое. Папа писал: «Дочка, я многое здесь передумал и решил: ничего страшного не случится, если я сбегу на твой выпускной вечер. Правда, не уверен, что получится. Не говори маме. Папа».

Как-то трудно укладывалась в голове эта информация: будто папа написал мне о будущем нескором событии, а не о сегодняшнем выпускном вечере. Неужели ему удалось поки-

нуть больницу и он весь вечер промотался под школьными окнами, безнадежно вглядываясь своими слабыми глазами в тихие темные окна первого этажа?..

— Мальчики, наш благородный Черт, наш принц распрекрасный, два месяца назад клялся мне в вечной любви,— сообщила публике Эльза.

Кто-то засмеялся дурацким смехом, будто заблеял. Эльза явно подначивала Черта: она, как голодная волчица, бежала грудь в грудь с ним, гордым оленем, изредка пытаясь схватить его за холку.

«Неправда,— хотела сказать я.— Ты врешь, голубушка. Твой Черт никогда не объясняется в любви. Ложь». Но я вовремя остановилась: разве я могла сказать так за всех? За всех тех, кто нравился Черту, с кем он ездил на квартиры и дачи, сидел в кафе-мороженых, с кем брал детскими, развращенными пальцами от официантов сдачу? Со мной было так, с Эльзой по-другому, с какой-нибудь Ивановой — третий вариант.

— Эльза, я терплю, потому что ты баба,— сказал грубо Черт.— Но учти: выведешь из себя — схлопочешь.

— Ой ли! — почему-то обрадовалась Эльза.— Ты разве бьешь девушек? Они тебе подчиняются, потому что ты сильный, да, Черт? И эту красавицу в старомодной тряпке ты тоже бил, чтобы она два месяца бегала за тобой, как верная собака?

Здесь бы я на месте Черта взорвалась и съездила Эльзе по лицу. Но он удивительно был терпелив с ней, а она чувствовала это. Она на какую-то долю выигрывала, казалась сильнее его, шоколадного, стройного мальчика.

— Красиво говоришь, Эльза. Я рад твоим ораторским успехам,— спокойно сказал Черт.

Я не вмешивалась в их диалог. Я вообще на протяжении всей этой перебранки сидела тихо, как мышка, и делала вид: никого здесь не знаю и мальчик по кличке Черт никакого отношения ко мне не имеет. Но это ведь было не так. Это ведь было не так...

Вдруг Эльза повернулась в мою сторону и спросила:

— Как твою нынешнюю зовут, Черт?

Все замолчали, даже выключили магнитофон, потому что события принимали совершенно другой оборот, более интересный, захватывающий, чем прежде. На сцену должна была выйти я, нелепая, широкоплечая выпускница в серебристом концертном платье.

Черт молчал, и я решила ответить сама:

— Меня зовут Командирша.

Команда с готовностью заржала.

Эльза, королева королевой, прошла, виляя кожаными блестящими бедрами, между скамеек и встала передо мной, руки в бока, эдакая современная, точеная статуэтка.

— Пойдем выйдем, поговорим,— предложила Эльза, сузив глаза.

Я увидела: губы у нее тонкие, злые, в красно-фиолетовой помаде.

Я встала, скомкала папины письма, нервно сунула их в сумку и пошла за Эльзой в тамбур. Все это проделывала, как сомнамбула, с ощущением: не я, не со мной—дикий, страшный сон.

Эльза пропустила меня вперед и прошипела в спину:

— Чмош-шница...

Не знаю, услышала ли это слово команда, но за моей спиной было тихо, только Панок бодро заявил:

— Во, сейчас разборки пойдут...

В тамбуре я прислонилась к пыльной, давно не крашенной стене, угрюмо уставившись на Эльзу; вблизи она показалась мне старой, измученной, издерганной.

— У тебя с ним что-нибудь было? — хрипло спросила Эльза и, поняв, что вопрос ее был слишком прямой, слишком глупый даже, скороговоркой добавила: — И не вздумай врать мне, убью.

Конечно, я не поверила в то, что она меня убьет, тем более Эльза физически казалась слабее меня: худая, тонкая. Но ощущение плохого кино или тяжелого, случайного сна все укреплялось в моем сознании.

— Ничего у меня с ним не было,— ответила я.

— Врешь. Вы были в том доме два часа.

— А ты в кустах сидела? — спросила я.

Эльза сверкнула глазами, резко подняла руку. В моей голове мелькнуло: «Сейчас ударит», но она не ударила, а поправила пышное черное облако волос.

— Отвечай, было или не было?

Я видела: эта резкая, мрачная, уставшая девица проигрывает в нашем разговоре. Она хотела первенства, хотела быть сильнее, хотела унизить меня! Но разве можно искать первенства у побежденного, желать быть сильнее поверженного?

— Слушай, Эльза, как тебя зовут? — тихо, убаюкивающе спросила я.— Ведь это твоя кличка, да?

— Чмошница, примитив, хочешь быть со мной добренькой,

хочешь в сестрички записаться? Я знаю, ты своего добилась — и Черт теперь твой, но только ненадолго. Он не привязывается ни к кому, он никогда по-настоящему не любил... И я тебя предупреждала: не надо мне врать. Гляди, у тебя платье задом наперед надето...

Вполне вероятно, это была ловушка Эльзы. Но я клюнула на нее: покраснела, начала оглядывать себя, колотя коричневой сумкой по коленям.

— А-а, попалась, чмошница!

— Эльза, если ты хочешь меня унизить этим словом — зря. Я не понимаю, в чем его обидный смысл, и поэтому мне совершенно наплевать.

Тут электричка остановилась. Мы приехали на темный, пустой вокзал. Я выскочила на перрон и быстро, как могла быстро, пошла к зданию метро. «Хотя бы метро работало... Хотя бы метро работало»,— лихорадочно билась в моей опустошенной, звонкой голове однообразная мысль.

Кто-то тронул меня за локоть — это был Черт. Удивительно, необъяснимо! То, о чем я сорок минут назад мечтала, как о великом чуде, свершилось.

— Я провожу,— буркнул он.— Могут обуть[1].

Высокий, стройный, мужественный, смелый, он шел рядом, то и дело касаясь моей руки, плеча. Но почему мне почудилось, что он спасает не меня, а сам спасается?

Мы стремительно влетели в пустое метро, на чистый, как осенняя утренняя дорога, эскалатор.

За нами протопала команда с несгибаемой Эльзой во главе. Когда я на мгновение оглянулась на наших с Чертом преследователей, мне почудилось: черные волосы Эльзы похожи не на облако, а на грозовую тучу со вспыхивающими в ней злыми, резкими молниями...

Чушь, чушь и бред!.. Моя мама с того момента, как мне стали нравиться мальчики, боялась, что я вступлю с кем-нибудь в интимные отношения: резко, быстро, легко, в животном, плотском восторге. Бедная мама! Будто это так просто, будто человек — существо без мыслей, сомнений и сложнейших желаний. Теперь-то я, взрослая, знаю, как нелегко и страшно остаться с кем-либо наедине, вести прерывающиеся поцелуями

[1] Обуть (жарг.) — избить.

запутанные разговоры и тысячу раз сомневаться во всем: в себе, в нем, в необходимости свидания, и миллион раз в тоске ощущать: ухожу, убегаю от привычного бытия, тебя как бы утягивает адская сила из радужной, мыльной детской страны... А потом вдруг в самый последний, бездонный, как черная дыра, момент все-все переиначить, решить наоборот, вырваться из мозаики сильных ощущений и остаться свободной, прежней и — несчастной...

Светка Павлова не только дала мне ключ от родительской дачи, но и подробно, долго, нудно рассказала, где что лежит, что можно трогать, а что нельзя, куда разрешается мне и Черту заглядывать, а куда нет... В конце своего нравоучительного диалога Светка предложила:

— Давай договоримся. Я приеду на дачу на следующий день, часиков в одиннадцать, и, если у вас ЭТО произойдет, ты поставь на стол на веранде пустую молочную бутылку, а керамическую вазу со стола убери на буфет. Ладно? А то я умру от любопытства.

Господи, она уже распоряжалась мною, как собой! Корова. Хорошо, что потребовала молочную бутылку поставить, а не цинковое ведро с дождевой водой.

Я пообещала любопытной Светке выполнить все ее предписания. И Светка то ли совсем прониклась к моей тяжелой бабьей доле, то ли почувствовала себя в роли сватьи, провожающей девушку в главный жизненный путь,— предложила мне надеть серебристое английское платье.

— Мать, оно интригует, манит. Вот увидишь, с этим платьем проблем не будет. Расстегивается вот здесь...

По поводу платья я тоже получила полный и подробный инструктаж. Вообще у меня было ощущение, что я не платье примериваю, а еще теплую шкуру, только что снятую с живого существа.

Ну, вот и все заботы... Перед выпускным балом я спрятала поглубже кремовое крепдешиновое платье, сшитое мамой специально для выпускного вечера, натянула интригующее английское платье, принадлежащее Светке Павловой, схватила коричневую сумку, бросив туда пару яблок, влезла в новые твердые, дорогие туфли (сорок рэ) и помчалась на вокзал, где ждал Черт.

На дачу мы приехали часам к восьми, в пепельные ласковые сумерки. Черт всю дорогу по лесу и поселку шел в двух-

трех метрах от меня, молчал, много курил, и мне показалось, что у него еле заметно дрожат руки.

Светкин дом я открыла легко — ведь пару раз с ней и ее родителями бывала здесь; и довольно ловко двигалась по комнатам и веранде — как в своей собственной даче.

Черт тут же плюхнулся на старый, уютный диван, стоящий как раз рядом с тем самым столом, на который я должна буду водрузить глупую молочную пустую бутылку. Черт вытянул длинные ноги, снова закурил и уставился на меня немигающими, глубокими глазами. «Хорошо иметь черные глаза,— вдруг ни к тому, ни к сему подумала я,— не видно оттенков».

— Есть хочу,— сообщил Черт.

— Я тоже,— поддержала я его.

И начала тут же что-то стряпать, подогревать, резать. Вся эта возня с приготовлением и ужином заняла у нас часа два.

Потом, когда совсем стемнело и над дачным поселком эхом пронеслись собачьи голоса и начали посвистывать близко-близко в траве у дома цикады, Черт взял меня за руку и притянул к себе.

Мы целовались почти целый час, молча, упорно, а я все это время дрожала, как осенний лист.

Потом Черт вдруг что-то почуял, отстранился от меня и спросил:

— У тебя кто-нибудь был, Командирша?

— А у тебя? — пролепетала я.

— Естественно. В последний раз рыжая одна. Раза три встречались. А потом она заявилась ко мне домой и потребовала, чтобы я на ней женился.

До сих пор не пойму: зачем Черт говорил мне о какой-то рыжей? То ли не хотел, чтобы я повторила ее действия, то ли сообщал мне, что имеет некоторый опыт в интимных делах? Не знаю...

— А если я к тебе заявлюсь, как рыжая? — спросила я.

— Попробуй,— улыбнулся Черт в уже кромешной темноте и принялся шарить по интригующему серебристому платью — искал застежку.

— Не так...— выдохнула я и показала, как и где оно расстегивается. Светкин урок я усвоила добросовестно.

Мы говорили с Чертом шепотом, как лунатики. Словно наши обычные голоса грохотали бы в ночном поселке камнепадом и все жители собрались бы у Светкиного дома с законными требованиями тишины.

И вот когда мы уже стояли друг перед другом совсем без всего и я в каком-то одурманивающем тумане увидела, что Черт совсем-совсем мальчишка, худой, неловкий, с синеватой замерзшей кожей,— в этот момент у ворот Светкиной дачи прошуршали колеса автомобиля, хлопнула дверца, хохотнул женский голос, пробасил мужской. Я догадалась, что приехал Светкин папашка, дядя Олег.

— Бежим! — шепотом закричала я Черту.

Он испугался. Ах, как он испугался! Нервничая, начал натягивать джинсы, рубашку, куртку; кроссовки никак не зашнуровывались, и он от злости, испуга и ярости разорвал один шнурок.

Я тоже лихорадочно натянула платье, схватила одной рукой сумку, другой — тесные новые туфли и выскочила за Чертом в открытое окно на веранде.

Когда мы уже влетели в лес и я остановилась, чтобы в росной траве вымыть заляпанные ноги, первое, что мне пришло в голову,— на столе осталась стоять не пустая молочная бутылка, а сковорода с недоеденной жареной колбасой. Я рассмеялась.

Черт, всю дорогу от поселка не проронивший ни звука, резко сказал:

— Глупо.

— Ты не понял...— хотела объяснить я.

— Не надо, а? — Голос его дрожал от обиды, злости, бессилия: я, широкоплечая, нелепая Командирша, видела его испуг, его полудетское тело, теперь еще и смеюсь...

Он, не оглядываясь, широко зашагал по еле виднеющейся дороге. Он бросил меня. Я перестала для него существовать.

Мне пришлось весь путь бежать за Чертовой тенью, как собачке. С детства я боялась темноты, тем более черного ночного леса.

В метро нам повезло: из тоннеля — мы ни минуты не ждали — появилась ленивая, тяжелая электричка. Мы вошли в пустой вагон, в тот же вагон вбежала возбужденная команда и черная, как туча, Эльза.

— Невезуха,— пробормотал Черт,— всегда надо отрываться в метро, когда народу много. Теперь они не отстанут.

За окнами мелькали огоньки перегонов, тихие станции с полупритушенным светом. Команда о чем-то яростно, тихо переговаривалась, Эльза трясла головой и оглядывалась на нас.

Перед станцией, на которой мне надо было выходить, Черт, не глядя в мою сторону, сказал:

— Дойдем до твоей школы, там я останусь, а ты руки в ноги — и чеши домой.

— Почему чеши? Я пойду.— Я попыталась усмехнуться и показать: мне не страшно.

— Я сказал, руки в ноги,— значит, руки в ноги. Ты их не знаешь — мигом обуют...

— Правильно, не знаю и знать не хочу...

— Все,— оборвал меня Черт.

Мы молчали, поезд вот-вот должен был въехать на мою станцию.

— Ты позвонишь мне завтра? — спросила я.

Конечно, он не собирался мне звонить, он уже выбросил меня из мыслей и непонятно зачем сейчас провожал... Да и я сама не знаю — зачем задала ему этот вопрос?

Черт не успел ответить. Поезд остановился, двери разъехались, и мы выскочили из вагона.

Эльза и команда не отставали. Они шли за нами быстро, тихо, следуя неясному для нас плану.

И тут на улице меня прорвало. Ну должны же люди уметь объясняться?!

— Черт, миленький, я не хотела тебя обидеть,— залепетала я.

— Знаю,— отрезал он.

— Это не моя дача была, Черт...

— Догадываюсь...

— Ты мне очень нравишься...

— Может быть.

— Я даю тебе честное слово, что в следующий раз будет так, как ты хочешь...

— Не надо.

— Ты мне позвонишь?

— Нет.

— Почему? Почему? Ну почему?!

— Заткнись.

Для кого-то эта ночь, ночь после выпускного бала, была лирической, таинственной, мечтательной. Наверное, мои одноклассники собрались у Светки Павловой в огромной трехкомнатной квартире и танцевали теперь под магнитофон. Кто-то кого-то провожал и целовался в кустах отцветающей городской сирени. Наши трудяги учителя

давно спали в своих кроватках с чувством исполненного долга.

А я боролась за себя, за свою честь, любовь, жизнь. Я теряла все в эту выпускную ночь: надежды, радость, гордость, силу, Черта.

Мы вырвались на прямую к школе. Черт шагал шире, увереннее, через плечо бросил:

— Как только в ворота войдем, чеши.

И мы вломились на всех парах в ворота, и он подтолкнул меня: «Ну!» — и я побежала, неловко переваливаясь на новых, неудобных туфлях.

Рядом со школой стояла беседка, окруженная густыми кустами, за ними тянулся школьный полудикий, заросший сад, а через сад, если пройти по еле видным тропинкам, можно было добраться до дома, в котором крайний подъезд — сквозной.

Я добежала до кустов у беседки и остановилась, тяжело сглатывая воздух. Я решила затаиться, отдохнуть и понаблюдать. В крайнем случае, подумала я, успею пересечь сад, влететь в подъезд и оказаться на соседней улице. Вряд ли Черт и его команда знали этот потайной путь.

Стоя в кустах, я увидела, как Черт сел спокойно на ступеньку школьного крыльца, закурил и с достоинством, которому позавидовали бы короли, встретил команду. Не успели разгоряченные преследователи и рта открыть, как он сказал:

— А здорово я ее припугнул...

— Кого? — не поняли они.

— Ну, дуру эту, чмошницу. Затащила меня зачем-то на чужую дачу... Еле отвязался.

— Черт, мы тебя не просим откровенничать, дорогой,— почти ласково проговорила Эльза.

— Ладно, ребята, вы — молотки, умеете друзей охранять и ценить,— бодро, покровительственно сказал Черт.

Никто ему не ответил, все вытащили сигареты и закурили.

А потом...

Мне больно писать о том, что случилось спустя минуту. До сих пор, уже через несколько лет, я ощущаю физическую дрожь при воспоминании об этом «потом».

Из-за угла школы вышел мой папа. Сгорбленный, лысый, в странной одежде — темной пижаме и обычном сером пиджаке от чьего-то костюма. В руке мой папа держал увядший пион. Тот болтался на мягкой ножке туда-сюда. Видно, папа ходил с ним давно.

Папа подошел к курящей команде:

— Дорогие дети! Поздравляю вас с окончанием средней школы. Желаю вам всего самого доброго!..

— Ты чего раскудахтался, хмырь? — оборвала его Эльза.— Видишь, люди отдыхают, гуляй дальше.

Я не предполагала, как мой папа может среагировать на такое прямое хамство, но он или не расслышал, или не понял, или не принял близко к сердцу Эльзины слова.

Компания начала его заинтересованно разглядывать, подхихикивая. Пиджак в сочетании с больничной пижамой кого хочешь развеселит.

— Да, дети, я смешон в этой одежде. Но я не виноват. Вот отпросился сегодня из больницы на несколько часов, чтобы поздравить дочку с окончанием школы. Вы не видели мою дочку? Красивая такая, с ясными глазками? Я целый вечер здесь простоял, ждал. Я плохо вижу. Все уже ушли. Вы не видели мою дочку?

Из черных спасительных кустов я увидела, как дернул плечом Черт, будто что-то хотел спросить. Неужели он догадался, что перед ним стоит мой папа, мой бедный смешной папа?!

Команда хихикала. Вдруг Эльзе пришла в голову мысль, которую она немедленно захотела воплотить в жизнь:

— Слушай, дядя, спляши нам. Тогда скажем, где твоя дочка с ясными глазками.

— Как это? — не понял папа.

— Ножками, ножками. Спляши. Окружай его, мальчики! — приказала Эльза.

В предвкушении бесплатного цирка мальчики окружили моего отца и взялись за руки, как на новогоднем утреннике.

— Дети, я не умею плясать. Я старый, больной человек. Мне холодно,— стал объяснять папа срывающимся голосом.

— Пляши, козел! — Эльза тоже встала в круг и подтолкнула моего папу ногой в бок. Тут же, как по команде, мальчики тоже начали его толкать. А он, поняв, что не вырваться ему из этого ужасного, жестокого круга, закричал:

— Дети! Дети! Что вы делаете?! Помогите! Люди!

Один Черт стоял в стороне и курил сигарету аж до фильтра.

Они толкали моего папу сильнее, больнее, ожесточеннее. Они завертелись в диком хороводе, завизжали, и я уже с трудом различала папу за прыгающими, извивающимися фигурами. Только слышала его надрывный жалкий голос:

— Дети! Дети! За что? Что вы делаете?

Я стояла в кустах и не двигалась. Никакая сила не могла меня сдвинуть с места.

Папа упал.

И тут Черт лениво подошел к визжащему, несущемуся кругу и приказал тихо, уверенно:

— Бросьте вы эту падаль. Мильтоны нарисуются.

— Чего-о? — остановилась Эльза.— А нам нравится... Дядя сейчас отдохнет и спляшет. А, дядя?

И тут эта мерзкая Эльза поставила ногу моему папе на спину. Как победительница.

Я не хотела кричать, но так вышло, прорвало — я охнула. Черт оглянулся на кусты.

Шатаясь, я вышла из своего убежища. Медленно-медленно пересекла школьный двор. Остановилась рядом с Эльзой и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Папа.

— Дочка, ты здесь? Ты здесь, моя дорогая? Майн либен дота?

Он стал подниматься с земли, неуклюже, смешно, страшно, а я видела, какой мой отец старый и больной.

— Это твой отец? — спросил Черт.— Член-корр? Ученый? Этот придурок твой отец?!

Команда ждала, что я отвечу, и я, сглотнув твердый, жесткий ком, раздирающий горло, сказала раздельно, тихо, четко, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений:

— Да. Это. Мой. Сумасшедший. Папа.

Они нас не тронули, когда я и папа уходили прочь со школьного двора. У них, вероятно, был затяжной шок перед взрывом хохота.

Папа взял меня под руку и засеменил, повернув ко мне залитое слезами лицо:

— Дочка, я так рад, так рад, что нашел тебя... Я не стал заходить домой, чтобы не пугать маму... Мне было так плохо без тебя в больнице...

— Ты плачешь...— чужим голосом сказала я.

— Ты не беспокойся. Ты меня не стесняйся. Это второй раз в жизни. В первый раз я плакал, когда схоронили мою маму, твою бабушку. У меня тогда вся грудь была мокрой от слез, вся рубашка...

— Пойдем домой, папа,— тихо попросила я.

— Конечно, конечно, дочка... Домой, домой... Я так замерз... Я так хотел поздравить тебя, дорогая моя... Ты спасла

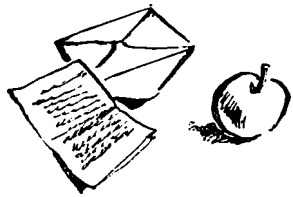
меня от этих жестоких детей. Спасибо. Спасибо, майн либен дота!

Он остановился, обнял меня за плечи и стал целовать пылко, как в детстве,— в лоб, щеки, голову.

Мы пошли домой. За нами остался школьный двор, школа, заросший школьный сад.

— Дота,— просительно сказал папа,— ты уж скажи маме, чтобы она на меня не ругалась. Я ведь только поздравить хотел и вернуться туда снова. Еще два дня осталось.

Москва 1988 г.



Юрий Коротков[1]

АБОРИГЕН

Повесть

В шерсти овчинного спальника завелись альфонсы — мокрицы. Твари не кусачие, но до чего мерзкие — снуют по голым ногам. Под утро Борька и не спал почти, елозил ногами, вертелся на сланях[2], слышал сквозь дрему, как играет у самого борта щука и бьет в сыром лесу птица, будто камнем по камню. Да еще капюшон энцефалитки сполз, и комарье так отделало ухо, что хоть оторви да выбрось — чешется.

Борька не вынес-таки, полез из спальника, разлепил с трудом тяжелые, опухшие веки. Катятся по сорной заводи клочья

[1] © Юрий Коротков, 1989

[2] Слань — дощатый настил на дне лодки.

тумана, цепляются за густую осоку. Лес еще непроглядный, гулкий, высокая трава перед ним полегла от росы. Много росы, небо чистое — жди солнца.

Борька сдвинул капюшон — услышал ветер-верховик, звон поредевших к утру комаров. Бьет птица. Ударит раз-другой, затихнет ненадолго, ждет ответа, но лес еще спит.

Борька набрал полную грудь воздуха:

— Эге-ге-гей!!

Вздрогнул, загудел лес, метнулось эхо от берега к берегу. Из осоки снялись, просвистели над головой две кряквы, Борька аж пригнулся. Пока опомнился, выдернул из брезента старую «бельгийку» — уже и след простыл. Только плюнул вслед от досады.

Смочил водой горящее ухо. Натянул бродни, закатал на манер ботфортов, перехватил энцефалитку матросским ремнем, сдвинул чехол с ножом за спину. Толкнулся веслом от берега и на гребях пошел к сети, которой с вечера закрыл устье сора. Уже издали видно было, как подрагивает верхняя тетива с берестяными поплавками, уходящая в зеленую глубину. В сору ловить — верное дело: мелочь здесь жирует, а следом и щука идет. Борька только потянул тетиву, и из густой, цветущей воды показались спеленутые сетью ерши. Вредительская рыба ерш — так запутается, что и сеть порвешь, и пальцы исколешь, пока вынешь. Исколотые пальцы потом надуваются и болят — видно, слизь какая-то на иглах.

Мелочь Борька не глядя бросал на слани. А вот и щука — спокойно висит в сети кверху пятнистым брюхом. Хитрющая рыбина: пока Борька ее из сети выпутывал, висела, как бревно, а потом рванулась, выгнулась колесом. Борька на лету уже ее перехватил и треснул с размаху плоской башкой о борт. Щука выкатила белесые глаза, разинула пасть и затихла. Борька достал нож и с хрустом проколол ей загривок — так-то спокойней будет...

Он выбрал сеть, сразу раскладывая, растряхивая ее, чтоб тетива к тетиве не сошлась. Если сразу мокрую сеть не разберешь — слежится, потом раздирать придется.

Смахнул росу с кожаного таксистского сиденья, вытянул ноги в тяжелых броднях. Вытащил мятую пачку «термоядерных», закурил. Семь щук, да вчерашних пятнадцать, да чебаки и другая мелочь. Добро.

Туман ушел. Небо рассветлелось, через час будет солнце. Комарья уже не слышно, на рассвете у этой кровожадной

твари пересменка: комары прячутся, вылетают с надсадным гулом черные, пудовые пауты.

До Сургута два часа, если идти на полной гари. Борька достал бачок, качнул — бензин плещется на дне. В упор, но хватит. Сперва — в Банное, к Михалине, потом в сельмаг — чай кончился, а главное, соль, без соли не проживешь.

Он рванул стартер — мотор взвыл, тотчас откликнулся лес, поплыл над заводью голубой дым. Сел поудобнее, врубил скорость — лодка толчком тронулась, и вышел в Обь.

Волосы зализал ветер, надулся пузырем капюшон, сыплет искрами сигарета в плотно сжатых губах. Борька сидит напряженно, очень прямо, чтобы видеть над треснувшим ветровым щитком. Одной рукой оперся на борт, другая — на рукоятке гари.

Лодка легко режет мелкую волну, из-под крутых скул бьют на две стороны тонкие, прозрачные струи. Корма вдавливает воду, чуть дальше она взрывается пенным буруном. Катится бурун за лодкой, как привязанный. Черными точками мечутся пауты, затянутые с берега в воздушный мешок.

Фарватер здесь широкий. Огромным мениском — от горизонта до горизонта — лежит вода в обрывистых, приглубых берегах. Проплывают поочередно белые и красные конусы бакенов. Ползут по фарватеру черные буксиры, тащат следом ржавые плоские баржи, груженные горами серого песка, жилыми вагончиками, вездеходами. Прут толкачи с многоэтажной надстройкой, с высоким обрезанным носом. А вот и «река-море», плавучий небоскреб, толкает десять барж сразу. Борька аж присвистнул: метров триста караван, не меньше,— ну, силища!

Пока глаза таращил, не успел развернуться носом к волне, налетел скулой: лодку подбросило, ударило днищем. Окатило водой с головы до ног. Поделом, на реке рот не разевай. Река не шутит.

Скользнула мимо тупорылая «Заря», промчалась, задрав нос, крылатая «Ракета», идут сухогрузы и речные танкеры. Рабочая река Обь. Идут днем и ночью суда, большие и малые, из Вартовска в Сургут, из Сургута в Нефтюганск, Мансийск, Салехард.

Снуют взад-вперед катера и моторки, узкие, остроносые челны — обласы. С одного Борьке махнули рукой, с другого —

Борька отвечает. Вот рыболовный бот рыкнул сиреной, поздоровался. На реке Борьку все знают.

Трещит мотор, с шумом ложится вода за кормой. Рыба уснула на сланях. Хорошо думается на реке. О разном думается...

Будто вчера бегал к берегу смотреть, не тронулся ли лед, просил, уговаривал, ругал матерно ленивую реку, потом проснулся ночью от орудийного грохота ломающихся льдин, не утерпел, не дождался чистой воды — гонял, шалея от радости, по черным разводьям между тяжелых торосов. И лето было впереди — громадное, бесконечное... И вот оглядеться не успел — остался от лета огрызок. Скоро осень.

Скоро осень, скоро пойдет муксун метать икру в тихие заводи. Земляки позабросят дела, подправят плавные сети — тесно будет ночами на заповедных песках. Налетят инспектора со всего бела света, начнет колчак[1] шаманить по притокам и протокам.

Там ляжет снег, у берега зашуршит сало. На реке еще будет ходить тяжкая, темная вода, а соры сразу станут, в осоку наметет снега. Потом и Обь накроется льдом, запетляет поземка меж крутых, окаменевших берегов. Еще по слабому, гнучему льду протянется первый след «Бурана», поперек — другой, изжуют они гусеницами снег по всей реке, будут целые проспекты и переулки выдавлены в сугробах. Но это уже не для Борьки.

Они с отцом все к «Бурану» приценивались, денег накопили в шкатулке с вылущенным перламутром, ходили на базу, где выгружали из товарняка яркие, как игрушечные, «Бураны», вкусно пахнущие густой смазкой и кожей сидений... Купили. А прокатиться не пришлось ни тому ни другому.

Так что не для Борьки зимние забавы. Для Борьки до весны — дом и школа. Но об этом думать не надо. Чего помирать раньше смерти...

На высоком песчаном яру показалось Банное. Старики говорят, еще лет двадцать назад яр далеко вдавался в реку, но весенняя вода его подмыла, и яр отступил к самому селу, к крайним домам. В этом году ухнул в воду Михалинин забор и пол-огорода. Бровка яра теперь прямо под окнами. Михалина

[1] Колчак — рыбнадзор.

трясется: и жить над обрывом страшно, и дом переносить не хочет. Если переносить, то на дальний от реки край села, а кто ж ей попрет осетра или стерлядь через все село? Так и живет: одной рукой крестится, другой деньги гребет. По ночам ее окно светит над рекой, как маяк.

Борька бросил руль вправо, прицелившись меж двух «Казанок», поднял мотор и вылетел на заплесок под яром.

Едва лодка ткнулась носом в песок, вдруг обнаружилась жара. От раскаленного яра стекал к воде горячий воздух. В ушах, уставших от трескотни мотора, зазвучали привычные голоса: гуденне паутов, плеск волны, набегающей под железное днище, ленивый лай собак наверху, в селе.

Мужик, возившийся с мотором на соседней «Казанке», сел на борт и отер пот со лба рукавом телогрейки.

— Земляк, закурить будет?

Борька протянул пачку. Тот показал замасленные пальцы. Борька перешагнул к нему в лодку, воткнул мужику в губы сигарету и поднес огня. Мужик задымил, блаженно щурясь на солнце, держа на коленях вывернутые кверху блестящие от масла ладони.

— Загораешь, ага?

— Загораю.— Мужик кивнул на мотор: — Стучит, зараза, чуть не разваливатся.

Борька достал из своего «бардачка» отвертку, и с полчаса они в четыре руки колдовали над мотором, отмаргиваясь от паутов, лезущих в глаза.

Наконец Борька разогнулся, держа в руках шестерню со съеденными дочиста зубами.

— Полетел редуктор-то...

— Но...— Мужик плюнул с досады.— Погулял-те у зятя!

— А где зять-то?

— В Красном. К полдню ждали.

— Часа три гари...

— Но.

— А сам?

— Из Юганска.

Борька присвистнул.

Закурили по новой, сидя напротив на бортах «Казанки». Мужик покосился на Борькин «Вихрь».

— Продай редуктор?

— А я ладошкой погребу, ага?

Мужик в сердцах швырнул в воду злополучную шестерню.

— Ладно, я пока на гребях пойду, а ты шумни вниз, в Красное, Кольке Авдотьину — мол, тесть у Банного загорат. Пускай навстречу идет.

— Добро. Рыбу только сдам.

— Курева оставь.

— А ты горючки отлей. Она тебе без пользы.

Борька отдал мужику сигареты, заначив одну, и перелил в бачок его бензин. Покидал рыбу в рюкзак, прочно пропахший рыбьим жиром, и полез вверх по песчаному обрыву. Ему и в голову не пришло, что мужик может забрать его редуктор и смыться. Не бывает такого на реке.

Навстречу рванулся, заплясал на задних лапах перехваченный цепью за горло Дик, черный Михалинин кобель. Борька наклонился, будто за камнем, Дик совсем задохся от лая, заперхал слюной, чуть конуру за собой не поволок. Борька погрозил ему кулаком, поднялся на крыльцо и стукнул в дверь.

В окне колыхнулась занавеска, немного погодя со скрежетом отъехал засов, щелкнул замок, другой. Дверь приотворилась, и Борька шагнул в темный коридор. В нос ударил тяжелый рыбий запах. По всему коридору в три этажа сохли распластанные по хребту и распяленные спичками щуки и чебаки. Тучи зеленых, как бутылочное стекло, мух кружили над рыбой, копошились на желтом, с крупинками бузы рыбьем мясе, перелетали с одной вязанки на другую, будто выбирая, где слаще. Михалина, сама похожая на сушеного чебака,— с маленьким, будто костяным носом, полуоткрытым ртом и круглыми сонными глазками, заперла за Борькой дверь.

— Принимай товар.— Борька сбросил с плеча рюкзак.

— Куда прешься?! Здесь стой.— Михалина взяла рюкзак и ушла в комнату, плотно прикрыв дверь. В комнате над кроватью и столом тоже висели вязанки рыбы, облепленные хлопьями мух.

Михалина летом скупала рыбу по дешевке, сушила, а зимой запирала дом и ехала за Урал продавать у пивных ларьков. Продавала, говорят, по трояку чебачка и по червонцу щуку. Найти бы, где у ней деньги лежат! Уж Борька не стал бы с такими деньгами в этом мушином царстве сидеть.

Тихонько ступая по скрипучему полу, он подкрался к двери.

— Думашь, не слышу? — тотчас подала Михалина голос.

Борька, громко топая бродниями, отошел. Оглянулся на дверь, быстро вытащил нож и стал срезать вяленую рыбу с бечевки. Мухи возмущенно загудели, повисли вокруг зыбким зеленым облаком. Борька спрятал пару щук под энцефалитку, разровнял оставшуюся на бечевке, чтоб незаметно. Когда бедный берет у богатого — это не грабеж, а дележка, как говорил отец.

Михалина вышла из комнаты, сунула Борьке пустой рюкзак, мятый червонец и подтолкнула к двери.

— Погоди, погоди... Ты чо, за дурака меня?.. Я ж три ночи сетевал! По уговору-то...

— Уговор с отцом был, а тебе и того много.

— Хоть трояк еще дай!

— На́ вот.— Михалина выгребла из кармана мелочь, ссыпала Борьке в ладонь и проворно вытолкала из дому.

— Сволочь старая! — не выдержал Борька.— Да чтоб я тебе еще хоть чебачка...

— Ой, напужал! Обойдусь!

— Гадина рыбоглазая!

— Лайся, лайся! Вот кобеля-то спущу!

Борька поднял камень и швырнул в оскаленную пасть Дика.

— Давай-давай,— сказала Михалина из-за двери.— Сейчас участкового позову.

— Я сам позову. Погладит он тебя по головке за осетра, за нельму!

— А участковый, думашь, щурят твоих сопливых ест?

Борька плюнул на дверь и пошел к магазину. Три ночи даром! Червонец с мелочью — десять на водку, да чай, да соль. Ух, гадина!

Борька остановился, подумал, не пойти ли еще пугнуть чем-нибудь Михалину. И запылил дальше. Сколько б ни давала, а больше продать некому.

Ногой распахнул перекошенную, сквозящую щелями дверь сельмага, прогромыхал к прилавку. На прилавке светился желтый куб соленого масла, лежал узкий, чуть не до прозрачности источенный нож. На длинных полках стояли вперемешку туфли на тонком каблуке, кирзачи, духи, игрушки и пирамида «Завтрака туриста».

Из подсобки выглянула Верка, продавщицына дочка, Борькина одноклассница, худая девчонка с такими широкими скулами, будто за каждой щекой лежало по ореху.

— Ой, вырядился-то! — пропела Верка, выплывая к прилавку.— Флибустьер!

— Мать где?

— А пож-то чего нацепил? — не унималась девчонка.— Смотри, участковый увидит!

— Ты меня не трожь, я сегодня первный!

— А первный, так поди остудись.— Верка по-королевски сделала ручкой и шагнула обратно.

Борька перегнулся через прилавок, ухватил ее за косу и подтащил к себе.

— А носом в масло, ага?

— Пусти! Пусти, псих! — заверещала девчонка, отбиваясь.

— Где мать?

— Ну, на огороде же! Я за нее.— Верка вырвалась и плаксиво заморгала.— Чего тебе?

— Чай.

Она швырнула на прилавок пачку чая.

— Соль.

Она молча положила соль.

— Водку.

— Паспорт покажи! — злорадно сказала девчонка.— Указ не читал?

— Сейчас покажу,— пообещал Борька, закипая. Злыдня Верка знала, что водка не для питья — для обмена на патроны и бензин.— И паспорт покажу, и еще кой-чего!

— Так уж и быть. По старой дружбе...

Борька спрятал бутылку в рукав, чай и соль положил за спину, в капюшон, внимательно пересчитал сдачу.

— Спасибо сказал бы,— миролюбиво предложила Верка.

— Перебьешься.— Борька хлопнул дверью и направился к яру.

У Михалининого дома огляделся, еще раз запустил камнем в Дика. И, не дожидаясь, пока старуха выскочит на крыльцо, соскользнул вниз на осыпающемся песке.

Мужика с «Казанкой» на берегу уже не было. Борька догнал его минут через десять. Земляк не греб, лежал на баке[1], закинув руки за голову, тихонько плыл по течению. Борька приглушил движок, бросил ему в грудь Михалинину щуку.

— На, пожуй пока.

— Не забудь: Авдотьин Колька. Тесть, мол...

---

[1] Бак — носовая часть судна.

— Добро.— Борька дал гари.

Внезапно захотелось есть — так остро, что засосало под ложечкой. Борька положил вторую щуку на колени и стал щипать свободной рукой жирное рыбье мясо. Засолено было круто, под пиво, и у Борьки скоро распухли, зачесались губы.

Берега сошлись ближе, горизонт изломали стрелы портовых кранов. Вскоре на отлогом берегу за стальной решеткой показалась нефтебаза — огромные резервуары на сварных козлах. У берега стоял, сбросив сходни на заплесок, плоский речной танкер. Вода вокруг танкера переливалась «павлиньими хвостами».

Борька приткнулся рядом с танкером, взял две канистры, водку, пролез под решеткой и направился к сторожевому балку, мимо длинной очереди заправщиков, перекачивающих бензин в свои цистерны. Коротко позванивал кран, подхватывая опустевшие резервуары и опуская полные. Под солнцем струились бензиновые пары, плыли, как жидкое стекло, над землей. Отсюда развозили бензин и солярку в город, на стройки, на буровые. Сколько же горючки жрет Сургут за день? Много, наверное,— вон сколько машин по обеим берегам Оби: МАЗы, КрАЗы и БелАЗы, «Ураганы», «Татры» и «Уралы», да автобусы, да легковушки,— и всем горючка нужна.

В балке парень в промасленной телогрейке, с желтым лицом и отекшими глазами сидел за столом — рубал яичницу Борька поставил перед ним бутылку. Сторож тоскливо покосился на нее и опять склонился над сковородой.

— Здорово, земляк.

— Привет,— нехотя буркнул сторож.

— Мне полста литров. И масло. Как обычно.

— Нет бензина.

— Да ты чо? — обалдел Борька.— А это чо, вода? — Он кивнул на резервуары за окном.

— Нет бензина. Ясно говорю? И не будет! — Парень стрельнул глазами на дверь, сунул бутылку Борьке в руки, выпихнул из балка и нарочно громко крикнул: — И чтоб я тебя здесь больше не видел, понял? Ходят тут, понимашь...

— Чо, погорел, земляк? Так чо на меня-то орать?

— Давай принимай сходни!

— Ладно... Попьешь ты у меня водочки, землячок,— закивал Борька.

— Отчаливай!

Борька поплелся обратно к берегу. Бросил пустые канистры, водку спрятал в «бардачок». Не пропадет. Авось не прокиснет.

А голодно уже до тошноты, до боли под ребрами. Борька сунул в рот сигарету — хоть закурить голод-то.

— Ты чо, земляк, головой ослаб? — С кормы танкера перегнулся матрос в засаленной адидасовской шапочке.— Где куришь-то?

Борька с остервенением рванул шнур. Всем он сегодня поперек горла стал. Что за день такой високосный?

Вдали замаячил остров Подкова со знаком-зеброй на обрывистом приверхе[1]. Над бухточкой, открытой с другой стороны, по течению, торчали голые мачты яхт. На острове стоял дощатый яхт-клуб со смотровым фонарем над крышей, пестрой гирляндой сигнальных флажков на флагштоке.

Фарватер у Подковы раздваивался. Слева огибали остров по коренному руслу большие суда, справа, напрямик, по ходовой воложке шла речная мелочь. Вблизи города на реке стало тесно, Борька то и дело взмахивал рукой, указывая встречным моторкам, каким бортом разойтись.

Он уже прицелился было к воложке, когда по другую сторону Подковы вдруг показались белые треугольники парусов: две «мыльницы» — два пластмассовых юрких «Финна» — кланялись на мелкой волне, ходко скользили против течения. На переднем шли девчонки; поотстав, взяв круче к ветру, догоняли их ребята. Рулевые весело перекрикивались со шкотовыми, висящими за бортом на трапеции.

Борька недобро засмеялся. Очень кстати появились «капитаны», очень под настроение! Белые паруса над темной водой, голубые яхточки среди промасленных речных работяг, оранжевые спасательные жилеты — все было словно нарочно, в обиду Борьке. Огромный толкач принял к берегу, уступая им дорогу.

Борька срезал нос шарахнувшемуся от неожиданности облас у (мужик в ватнике погрозил вслед кулаком) и на малой гари подошел к самому приверху, подмытому течением, под нависающие корни крайних деревьев. Ухватившись за корень, Борька осмотрелся, не видать ли тренера «капитанов», и, чув-

[1] Приверх — верхняя по течению оконечность острова.

ствуя, как подымается в груди, перехватывая дыхание, злой холодок, рванул за яхтами.

«Капитаны» разом обернулись, узнали; Борька увидел, как сходят с лиц улыбки, шкотовые соскочили с трапеций, отчаянно замахали наблюдателю на фонаре клуба. Борька несся прямо на них. Краем глаза он схватил, будто сфотографировал, закрытые в ужасе глаза девчонок, отпрянувших к дальнему борту, бессильно сжатые кулаки ребят, матроса, с интересом глядящего из рубки толкача,— и проскочил между яхтами, едва не чиркнув их брызгоотбойником.

«Мыльницы» качнуло друг к другу, они стукнулись бортами, и тотчас накативший бурун разбросал их в стороны. Мальчишеская сразу упала парусом на воду. «Капитаны» высыпались за борт. Девчонки устояли и торопливо поворачивали обратно к острову.

Борька, хохоча, как бес, весь в сверкающей водяной пыли, заложил крутой вираж и снова ринулся на них. Он обошел девчоночью «мыльницу» спереди, ухватил свободной рукой трос, свернутый аккуратной бухточкой на баке, и поволок яхту к берегу. Девчонки визжали, белобрысая рулевая размахивала жестяным черпаком, пытаясь достать Борьку по руке.

— Что ж ты делаешь, земляк? — грустно спросил громовой голос.

От Подковы приближался длинный тренерский «Нептун» на крыльях, с двумя рупорами-колокольчиками на бортах. Борька развернулся, положив девчоночью «мыльницу», и дал гари.

— Куда ж ты, землячок? Куда ж ты так шустро-то? — прогремели рупоры.

Борька стал раскачивать лодку вперед-назад. Ветер засвистел в ушах, капюшон бешенно заколотил по спине. Лодка высоко взмывала носом, скользила, едва касаясь воды, гулко падала днищем, далеко разбрасывая клочья пены, и снова упруго отпрыгивала, грозя опрокинуться через корму. Борька метил в узкую мелкую протоку. Но разве удерешь от «Нептуна» с ГАЗовским движком! До спасительной протоки было еще с полкилометра, а «Нептун» нагонял его, как стоячего.

— Не торопись, землячок! Задохнешься...— жутко гремели колокольчики над самым плечом.

Тренер тоже, видно, знал про мелкую протоку, заходил сбоку, прижимая к берегу.

Борька резко сбросил гарь, и «Нептун» по инерции проско-

чил дальше. Тренер тоже сбавил ход, катер упал с крыльев на днище и закачался на волне. Борька уткнул лодку носом в широкую корму «Нептуна».

Тренер обернулся и поманил его пальцем.

Борька отрицательно помотал головой.

— Иди сюда,— сказал тренер.

— Не-а! — сказал Борька.

— Иди по-хорошему. Все равно ведь догоню.

— Догони сперва.

Тренер врубил передачу и стал разворачиваться. Пока скоростной, но неповоротливый «Нептун» описывал круг, Борька успел выиграть полста метров, но до протоки было еще раз пять по стольку.

Тренер догнал его, пристроился слева сзади и стал потихоньку, нежно теснить к берегу. Впереди выстрелил в реку желтый песчаный закосок. Вот и все, не вырваться. Так на полной гари и вгонит в затонину, как мотыля в сачок.

— Ну что, приплыли, земляк? — ласково прогремел тренер.

Борька затравленно оглянулся: была не была! Он дал чуть влево, сошелся бортами с «Нептуном». И бросил руль направо; всем весом, даже голову откинув, навалился на борт. Лодку крутануло на месте, понесло по крутой дуге кормой вперед. Сверху, заслонив небо, надвинулся яр с неровными слоями разноцветного песка и глины, с воронками осиных гнезд, больно ударили по лицу прутья береговых кустов, визгнуло днище по песку — и яр отошел. Борька до волоска, до сантиметра вписался в рисковый поворот.

Тяжелый «Нептун» в азарте повернул за ним — и врезался в берег, на полкорпуса выскочил на заплесок. Тренер с размаху ударился лицом в рулевую баранку и будто прилип, замер.

Борька подошел ближе, заглушил движок.

— Эй, капитан!.. Капитан!.. Ты не убился там? Жив, нет?!

Тренер медленно оторвался от баранки, отвалился на спинку. Посидел так, покачивая головой, с трудом поднялся и, придерживаясь за щиток, перешагнул за борт. Одна бровь у него вздулась и густо, дочерна пропиталась кровью. Кровь тонкой струйкой сбегала по щеке.

— Шить будут, ага,— авторитетно сказал Борька. Он достал сигарету, размял, скрывая дрожь в руках, прикурил.— Мне шили года два назад... Вот здесь... Когда шьют — ничего, вот когда нитки потом дергают — будто жилы тянут...

Тренер провел рукой по щеке, стряхнул кровь с пальцев, зашел в воду и стал отмывать лицо.

— Это ты зря,— сказал Борька.— Рубашку бы снял, не отстираешь... Куда ж тебя понесло-то, на этом утюге?

— Да... Не вписался...— Тренер намочил платок и прижал ко лбу.

— Кардан, видно, погнул.

— Не иначе.

— Винт-то уж наверняка сломал.

— Это точно...— Тренер болезненно поморщился, взглянул из-под платка на Борьку.— Дай хоть посмотреть на тебя, пират...

— Смотри,— разрешил Борька.— Не обедняю.

— Вот, значит, каков... Хорош...— Тренер медленно переступал в воде, приближаясь к лодке.

Борька спокойно вытащил весло из уключины.

— Хорош...— сказал тренер, отступая. Он вышел из воды и присел на борт катера.— Голова что-то кружится...

— Закружится тут,— посочувствовал Борька.

— Спички есть?

Борька бросил ему спички. Тренер зажал коробок между ног, чиркнул, закурил, не отнимая платок от лица.

— Ты в какой школе учишься, пират?— спросил он.

— А тут, неподалеку. Два раза налево, три направо...

— Я ведь тебя все равно найду,— сказал тренер.— Из-под земли за уши вытяну. Только я тебя сам бить не буду. Я тебя на остров отвезу, к ребятам. Непедагогично, наверное, но с тобой иначе нельзя... Что ты к ребятам цепляешься? Реки тебе мало?

— Мало,— упрямо сказал Борька.— Пусть не королькуются здесь!

— А кто тут король? Ты, что ли?

— Я!

— Какой ты король! Крысенок ты. Маленький, завистливый крысенок.

— Ладно,— сказал Борька.— Загорай пока. А мне пора.

Он неторопливо кинул бычок в воду, толкнулся веслом от кормы «Нептуна» и взялся за пускач.

— Не попадайся больше,— негромко сказал тренер.—Я тебя, крысенка, пожалел. Другой раз вломлю в борт — будешь свою посудину по винтикам собирать.

— Ладно,— сказал Борька.— Свою пока собирай.

Он пошел обратно. Было уже за полдень, вовсю жарило

солнце, а по небу будто «Буран» промчался, оставив длинный перистый след. Горючку с этими гонками Борька спалил чуть не досуха, но, увидев опять мачты над бухтой, не вытерпел. Нет, никак нельзя было пройти мимо, когда единственный достойный враг загорал на бережку с обломанным винтом!

Борька с лихого виража влетел в бухту. «Капитаны» толпились на пирсе. Белобрысая стояла с краю в одном купальнике, выжимала тельняшку. Пострадавшие «мыльницы» хлопали мокрыми парусами. «Капитаны» не расходились — ждали, когда тренер привезет им на расправу пленного Борьку или сообщит, что злейший враг получил, сколь полагается, и с позором сдан в речную милицию. Но теперь, увидав Борьку, победно бороздящего их собственную акваторию, остолбенели.

Борька совершил круг почета и остановился в двух метрах от них, напротив белобрысой, так и застывшей со скрученным тельником в руках. Встал, уперся ботфортом в борт, чуть покачивая лодку, и гаркнул:

— Здорово, «капитаны»!

«Капитаны» молчали.

— Чо приуныли? Не холодна водичка-то, ага? Как искупалось? — издевался Борька.

— Где «Нептун»? — спросил долговязый флагман с двумя аксельбантами на черной морской форме.

— Старшой-то ваш? А загорат на полдороге к Банному. «Надоели мне,— говорит,— Борька, эти сосунки. Только бы им играться — шнурочки да погончики, ну их в омут! Пойдем,— говорит,— Борька, на муксуна!» А я: неудобняк, мол, заехать надо, попрощаться...

— Давай сюда,— мрачно сказал флагман.— Попрощаемся.

— Лучше вы сюда. На берегу-то вы все герои, флот лягушачий. Ну чо, «капитаны», погоняемся, ага? — Борька кивнул на две «Казанки», стоящие у пирса.

«Капитаны» не двинулись с места. Пробовали уже загонять Борьку и на двух лодках, и на трех — наглотались водички.

Белобрысая вдруг наклонилась к подруге и вполголоса сказала что-то, указывая глазами на Борьку. Та прыснула, приседая, захлопнув рот ладошкой. Борька почувствовал, что неудержимо, во все лицо заливается краской. Ничего не боялся, только вот этих девчоночьих — искоса — взглядов и смешков.

— Накрылся ваш «Нептун», понятно? — яростно крикнул он.— Я вам теперь мачты-то пообломаю! А ты, белобрысая, слышь, в «мыльницу» не садись, утоплю!

Он пулей вылетел из бухты и пошел к городу. Достал нож, посмотрелся в лезвие — вроде чистое лицо. Оглядел энцефалитку, брюки, бродни — чего смешного-то? Тьфу, зараза, все настроение перебила. Тут же вспомнились сегодняшние неудачи — Михалина, земляк с нефтебазы. А главное, о чем старательно не думал весь день, главное — надо идти домой...

Мимо тянулся грузовой порт. Вдоль высоких причалов, увешанных гроздьями съеденных дорогой покрышек, стояли баржи. Колченогие краны, голодно урча, заглядывали с высоты, склевывали с палубы связку труб или ажурные конструкции для буровых. Стропали в оранжевых касках призывно помахивали рукавицами.

На воде тут и там плавали густые масляные пятна. Волны отражались от причальных стен, пересекались, всплескивали. Лодка загремела днищем по толчее, как телега по мостовой.

Борька вдруг с размаху хлопнул себя по лбу: заигрался с «капитанами», забыл, чуть не оборвал «речной телефон». Он посемафорил идущему следом «Прогрессу». Катер застопорил ход.

— Ниже пойдешь?

— Но.— Бородатый детина в «Прогрессе» поднялся, разминая затекшие ноги. На сланях у него из-под брезента, будто прислушиваясь, о чем говорят, пялилась снулыми глазами огромная щучья голова. Кило на двадцать рыбка, не меньше.

— Где сетевал, земляк?

— На Агане.

На костяном щучьем загривке Борька разглядел ряд рваных, с мясом вывернутых ран. Не сетевал земляк — острогой бил.

Детина перехватил взгляд, ногой поддернул брезент.

— Чего семафорил?

— Шумни вниз, в Красное, Кольке Авдотьину: у тестя, мол, редуктор полетел. Передавал, пусть навстречу идет.

— Добро.— Детина рухнул на сиденье, и «Прогресс», задрав нос, пошел вниз.

Часа через два новость дойдет до села Красного, и не известный ни Борьке, ни этому парню Колька Авдотьин поспешит на помощь тестю. Днем и ночью со скоростью моторной лодки разлетаются вверх и вниз по всей Большой Оби[1]

[1] Большая Обь — водная система реки со всеми притоками, лабиринт водных путей, лежащий на огромной территории по обе стороны основного русла.

новости «речного телефона», достигая самых глухих, ни в одной лоции не указанных проток...

Борька свернул в затон. Узкий, мелкий затон с прокисшей желтой водой далеко вдавался в город, и по всей длине по обоим берегам плотно, бортом к борту, стояли прихваченные замками к тяжелой корабельной цепи моторки, обласа, плоскодонки. Среди этой речной мелочи возвышалась и наполовину перегораживала затон ТБСка — сварной рыбацкий бот с высоким коротким баком и низкой голой палубой, отполированной за многие путины тяжелыми сетями.

Списанную ТБСку купил года три назад Юра Куйбида, напарник отца по заповедным пескам, и с тех пор неторопливо ремонтировал ее, любовно вылизывая каждый винтик. Летом и жил здесь, в кубрике, водил дела с разным людом, населяющим берега Большой Оби,— с хантами, буровиками, геологами, егерями, лесничими, знал, кажется, всех от Тобола до Агана, и все от Тобольска до Аганска знали Юру Куйбиду. Каждую осень колчак нещадно гонял Юру по заповедным протокам, потом Юра гонял с колчаками пришлых браконьеров; речная милиция охотилась за ним и к нему же шла за помощью: сюда, в кубрик ТБСки тянулись ниточки «речного телефона» со всей Оби.

Борька постучал кулаком в высокий борт ТБСки:

— Дома?

В железном нутре бота гулко загремели шаги, в проеме ходовой рубки показался Юра в распахнутой до пояса, промокшей под мышками рубахе.

— Явился?

— Но.

Борька отвинтил мотор, рывком поднял его, Юра сверху подхватил, унес в рубку. Борька замкнул цепь, вытащил из брезента бельгийку и патроны. Город не река, здесь не то что не оставь — не отвернись: пропадет.

В кубрике было душно, сладко пахло машинным маслом. Стальные, круто расходящиеся к потолку стены раскалились под солнцем. Борька стянул энцефалитку, свитер, тельник, сел на рундук, привалился голой спиной к борту, блаженно прикрыл глаза — жжет...

На столе вполголоса бубнил ламповый древний приемник без футляра.

— Где был?

— За Банным,— ответил Борька, не открывая глаз.

Юра налил чаю, поставил перед ним жестяную кружку.

— Чо дóбыл?

— Ничо.— Борька громко подул на чай.— Михалина опять недодала. На чай, на соль только хватило, рубль остался.

Юра достал из нижнего ящика стола шкатулку с вылущенным перламутром. Борька вынул из нее тонкую пачку денег, вложил рубль и внимательно пересчитал, слюнявя пальцы.

— Сколько уже?

— Семьдесят два...— Борька задумался.— А куда ближе выйдет — на Черное или в Ригу?

— Не знаю... Вроде одинаково. В Мурманске тоже мореходка.

— Не... Там холодно...

Юра спрятал шкатулку обратно.

— Сколько дома-то не был?

— С неделю.

— Сходи. Волнуются.

— Ага.— Борька сразу помрачнел.— Феликс особенно. Все в окно глядит: где же это, мол, Боренька-то наш...

— Ладно, «Феликс». О матери думай, мать-то родная.

Борька махнул рукой, снова закрыл глаза. Юра склонился с надфильком над какой-то железкой в тисочках...

Но сколь не сиди, а домой идти надо. Почему надо, зачем — Борька и сам не знал, но раз в неделю, загодя тоскуя, мучась, шел. Он оделся, погромыхал к двери.

— Тесак оставь,— сказал Юра, не оборачиваясь.— Не в лес идешь.

Борька снял чехол с ножом, бросил на рундук.

А в городе была суета, многолюдье. По проезжей части, выложенной из бетонных плит в два ряда, бесконечной чередой ползли, возвращались в парки грузовики, надолго застревали у перекрестков. Между ними сновали, сигналили, лезли прямо под огромные колеса пестрые легковушки. Рядом по тротуару — таким же плитам, кое-как брошенным в непросыхающую грязь, расходился по домам рабочий люд, гуляли под руку парочки, чинно раскланиваясь со знакомыми, мелькнувшими на другой стороне улицы в просвет между газующих грузовиков.

Борька сник в городе, будто даже ростом уменьшился. Доплелся до центра, купил семечек у кинотеатра, сгрыз здесь

же, прислонясь к желтой облупившейся стене, разглядывая афишу с Мордюковой, и пошел дальше. Чем ближе подходил он к дому, тем труднее волок тяжелые бродни.

Дверь открыла мать, в самовязаном адидасовском свитере и джинсах. Выйдя за Феликса, она стала молодиться, краситься, как на модных журналах. Вон опять глаза до ушей нарисовала... А их с отцом встречала в старом халате, нечесаная, орать начинала еще из окна...

— Куда сапожищами! У двери снимай,— велела мать.

Борька покорно стащил бродни. Снял энцефалитку, потянулся к вешалке.

— На пол брось, польта провоняют.

Когда мать отвернулась, Борька понюхал энцефалитку, пожал плечами, бросил на бродни.

В комнате было чисто, аккуратно прибрано и — хоть среди мебели не протолкнуться — как-то голо. Из-за кресла вышла Иришка, Борькина сестра, уставилась на него, сунув палец в рот. Борька показал ей козу, и сестра испуганно заковыляла на кухню к матери.

Борька побродил по комнате. Пригладил жесткие вихры перед стеклянной дверцей стенки. За стеклом разложены были чашки и блюдца с полуголыми мужиками и бабами.

— Чего тебе там надо? — выглянула мать с кухни.

— Чо, и подойти нельзя?

— Ешь вон иди.

— Не хочу.

— Ешь! Где болтался-то?

— Гулял.

— Гулял! Знаю я твои гуляния!

Борька сел за маленький кухонный столик, взял хлеб.

— Руки вымой!

Борька в сердцах бросил хлеб обратно в плетенку. В ванной он оглядел яркие тюбики, баночки, аэрозоли, посмотрел на руки — с черными ногтями, насмерть въевшимся в кожу маслом — и взял с полки кусок хозяйственного мыла.

Потом сидел на кухне, сдерживаясь, вяло, будто нехотя, жевал кашу. Из второй комнаты появился Феликс. Отчим был на пять лет моложе матери, но уже лысел и быстро наедал брюшко, как карась на жировке. Он сел напротив, закурил, помолчал.

— Здороваться будешь? Неделю не виделись.

— Привет,— буркнул Борька, не поднимая глаз.

— Все на реке торчишь? Не нагулялся еще?

Борька сосредоточенно жевал.

— Давай поговорим спокойно,— начал Феликс.

— Говорили уже.

— Да ты послушай! Дай хоть слово сказать... Ну, лето погулял — так ведь в школу скоро. Река скоро станет. На что она тебе зимой-то, лодка? С горы кататься?.. Ведь очередь подходит, ждать-то не будут — все за «восьмеркой» гоняются...

— Не отдам, зря стараешься.

Феликс откинулся на стуле, поиграл желваками, переглянулся с матерью.

— Да ты пойми, чудак,— начал он снова.— Не себе же машину — нам! Нам всем! В тайгу съездить, на рыбалку. Да просто по городу — а? Со свистом! То-то приятели твои рты поразинут! Машина у Борьки! В Тобольск поедем. Глядишь, за Урал выберемся, к морю. Подрастешь — на права сдашь, доверенность напишу... Да что ж ты за человек такой! — вышел из себя Феликс.— Для твоей же пользы! Мы с матерью на работе целый день корячимся, на тебя, дурака, да на Иришку вон. В один котел кладем, в одной семье ведь живем!

— Да?! — взвился Борька.— «Буран» отцовский продал — где она, моя польза? Вон он стоит, «Буран»-то! — Он ткнул пальцем на стенку.— Дохнуть не моги, шагнуть не моги! Жметесь над своим барахлом, как... как... Спать скоро на полке будете, в обнимку с чашками своими! Вот тебе, а не лодку! — Он показал Феликсу кукиш.— Утоплю, а тебе не дам!

— Да как ты разговариваешь! — закричала мать.— Ремнем сейчас!

— Ты-то хоть помолчала бы! Почем отца продала? За эти дрова? За машину?

— Я ж тебя... за это...— Феликс бросился на Борьку.

Борька отскочил, опрокинув стул, схватил молоток с подоконника:

— Не подходи!

Заголосила Иришка, мать подхватила ее на руки.

— Ты? На меня? — шипел Феликс, отступая.— Я ж тебя, гниду, из жалости содержу! Хлеб мой ешь!

— Землю лучше жрать буду, чем твой хлеб! Слаще будет! — Борька выбежал в коридор, кое-как натянул бродни, подхватил куртку, из-за порога уже бросил молоток на пол и скатился по лестнице под заполошные крики матери и надсадный рев сестры.

В темноте моросил нудный, осенний уже дождь. Мелкая морось висела в воздухе, колышимая ветром, липла к лицу, как паутина. Редкие прохожие спешили к вечернему фильму.

Борька неприкаянно бродил по улицам, зябко пряча руки в карманах, заглядывал на ходу в освещенные окна домов. Семья собралась за столом: отец загородился газетой, мать отвернулась к плите, двое мальчишек, пользуясь минутой, самозабвенно, молчком, дерут друг друга за уши, давятся от смеха... Высокая старуха с орлиным носом, в шали с кистями, опершись одной рукой на подоконник, вполоборота горделиво смотрит то ли на улицу, то ли на свое отражение в окне... Молодая мамаша разговаривает по телефону, смеется-закатывается, держа малыша под мышкой, как зонтик... Тепло было там, за окнами.

От клуба разносилась на весь район дерганая, трескучая музыка. Из дверей выскакивали на улицу распаренные, с прилипшими ко лбу волосами парни и девчонки чуть старше Борьки, торопливо курили и ныряли обратно, как в парную.

Борька глянул в окно дискотеки — и застыл, разинув рот. Внутри, в густом мареве пестрых мигалок, чудные парни с крашенными в два цвета волосьями, в разных ботинках и клоунских штанах прыгали, ломаясь во всех суставах разом, падали на пол, катались и дрыгали ногами, как припадочные.

Кто-то сильно хлопнул Борьку по плечу. Он обернулся — рядом стояли пятеро коротко стриженных ребят в глухих кожаных куртках с молниями и цепочками.

— Закурить есть? — утвердительно спросил один.

Борька автоматически сунул руку в карман.

— Кончились.

— Вот прямо сейчас и кончились?

— Не отвлекайся, Джон,— сказал другой. Он улыбнулся и потрепал Борьку по шее.— Его любить надо. Это ж рабочая лошадка. Он тебя всю жизнь кормить будет...

Мрачные кожаные парни скрылись в дверях дискотеки.

Борька направился дальше, размышляя, почему это он должен всю жизнь кормить стриженого парня.

Ближе к реке пошли частные дома, огороженные высоким штакетником. Одинокий фонарь тускло светил над перекрестком. Борька повернул за угол — и нос к носу столкнулся с белобрысой «капитаншей». Девчонка была в свитере навыпуск и такой короткой юбке, что ту едва видно было под свитером;

волосы высоко начесаны, вокруг глаз синие тени с блестками, в ушах серьги, огромные, как поршневые кольца от движка. Она вздрогнула, быстро оглянулась — обе улицы были безнадежно пусты,— отступила к забору и замерла, расставив ноги, сжав у бедер кулаки.

Борька стоял перед ней, сунув руки в карманы, молчал и улыбался.

— Ну, чего? — воинственно спросила «капитанша».

— Ничо...

Девчонка постояла еще, потом осторожно, не спуская с Борьки глаз, повернулась и пошла в свою сторону. Борька двинулся следом.

Белобрысая медленно шагала вдоль забора, задевая плечом штакетины, напряженно выпрямившись, краем глаза, всем телом сторожа каждое Борькино движение. Борька вынул руку — стереть с лица противную морось, девчонка тотчас прижалась спиной к забору, настороженно глядя на него.

— Чего надо?

Борька пожал плечами.

Они дошли почти до конца улицы. Здесь девчонка внезапно кинулась бежать к дискотеке — только голые ноги замелькали в темноте. Оглянулась на бегу — Борька стоял на месте. Она тоже остановилась, переводя дыхание от испуга.

— Ну и дурак! — крикнула она и, нарочно пританцовывая, ушла в клуб.

— Сама дура...— буркнул Борька себе под нос и побрел к затону.

Юра колдовал над столом в кубрике, паял что-то, разгоняя вкусный канифольный дымок. Светились рубиновым цветом лампы приемника.

— Быстро обернулся... Чо, опять про лодку?

Борька кивнул.

— Ну, осень ты еще на реке прокантуешься. А зимой-то? — Юра беспомощно развел руками.— Все равно с ними жить... Загрызут они тебя.

— Ладно... Чего загодя-то...

Юра снова взялся за паяльник.

— А лодку жаль, ага. Счастливая лодка... Помню, в позатóм году с отцом твоим...— Он подцепил пинцетом проводок.— На Тромъегане... от четырех колчаков ушли... Да! — поднял он

голову.— За тобой прямо Демидов был, говорит — отряд на Тромъегане. Москвичи. Может, твои?

— На Тромъегане? — подскочил Борька.— За второй протокой?

— Но. Опоры ставят.

— Так чо ж ты молчишь? Они! В том году просеку рубили, теперь опоры. Неужели ж не они? — Борька засуетился, кинулся собираться.

— Пойдешь?

— А то нет! Они ж там небось стонут без меня.— Борька счастливо засмеялся.— Привыкли к рыбке-то!.. Ах ты, бак сухой! — вспомнил он.— Подвел меня землячок... Ладно, попозжей займу горючки — и сразу туда. От человек, сидит, молчит. А они уж там...— все не мог успокоиться Борька.

Он вытащил лодку на заплесок под нефтебазой, взял канистры, пошел пригибаясь под высоким берегом. Выглянул наверх, прислушался, пролез под решеткой. Подкрался к балку, приложил ухо к стене, потом заглянул в грязное оконце — сторож лежал ничком на кровати, у окна на столе стояла початая бутылка.

Борька двинулся дальше. Насколько хватало глаз, уходили к горизонту ровные ряды резервуаров на безжизненной, отливающей маслянистым блеском земле. Раскорячившись, застыл над ними кран. В сером предутреннем свете безмолвный этот пейзаж казался космическим.

Борька мазнул пальцем по свежему подтеку, понюхал — солярка или бензин? — постучал в стальной бок резервуара, определяя, докуда полон, вскарабкался наверх, опустил в горловину трубку и направил струйку бензина в канистру. Почудилось что-то. Пережал шланг и замер, чутко слушая тишину...

Сгибаясь под тяжестью, отнес канистры в лодку. Вернулся, подпер дверь балка поленом. Показалось мало. Упираясь плечом, передвинул под окно глубокое корыто с мутной закисшей водой. Помолчал, перебарывая смех, вдохнул побольше и заорал не своим голосом:

— Пожар! Пожар!! Гори-и-им!!! — и дунул к изгороди.

Сзади послышались глухие удары в дверь — сторож спросонья ломился наружу, потом раздался треск высаженной рамы, звон стекла и следом — смачный плеск.

Борька с разбегу толкнул лодку от берега, перевалился

через борт. Мгновение спустя на берегу возник сторож, босой, мокрый по грудь, он грозил кулаком и кричал что-то, неслышимое уже за треском мотора.

Борька приветливо помахал ему ладошкой.

Там, где неширокая тихая протока круто изгибалась, к самому берегу из тайги выходила просека. На просеке лежали конструкции опор ЛЭП, штабеля досок, укрытые толем, мешки с цементом под полиэтиленовой пленкой. Земля вокруг была изжевана гусеницами.

На берегу стояли три большие палатки, дощатый стол, скамьи, печь, сваренная из железных бочек. Над лагерем на длинном шесте развевался флаг.

Кончилось время завтрака, стройотрядовцы в пестро разрисованных штормовках допивали чай, вытаскивали из-за голенища рабочие рукавицы, окружали высокого парня, раскинувшего на столе, как полководец, какие-то планы. Две девчонки убирали кружки-ложки, складывали в котел. Никто не обратил внимания на Борькину моторку.

— Значит, Смирнов и... Красносельцев перейдут во вторую,— распоряжался высокий.— А там посмотрим, может быть, кого-то дадим взамен.

— А как же соревнование?

— Соревнование соревнованием. Надо было равные по силам бригады составлять. Это вы меня с толку сбили: «Ваня-Федя-Петя — друг, хочу с ним работать...»

— Смотри, гости к нам.

Все обернулись к Борьке.

— Трудовой привет! — еще издалека радостно крикнул Борька.

— Здравствуй,— сдержанно ответил за всех высокий.

Борька торопливо оглядывал ребят.

— Ищешь кого, друг? — добродушно спросил широкоплечий стройотрядовец в солдатской выгоревшей панаме.

— Это вы из Москвы?

— Да. А в чем дело? — строго спросил высокий.

— А командиром кто?

— Я командир.— У командира было узкое, надменное лицо, и говорил он резко, отрывисто, будто злился на Борьку.

— А Сережа не поехал в этом году?

— Какой Сережа?

— Круглов. Он же был командиром в том году. А Гена Беликов? Саша-большой? Ксеня-повариха? — удивленно оглядывался Борька.— Чо, никого из товогодних?

— Ты о чем говоришь?

— Ваши ж приезжали в том году,— стал сердиться на непонятливого командира Борька.— Просеку рубили.

— С нашего факультета?

— Из Москвы.

— Так, может, они вообще не из университета? — спросил парень в усах и бородке сердечком.— Ну какие у них буквы на штормовках были?

— Мне же говорили в штабе, кто просеку рубил,— вспомнил командир.— То ли МИСИ, то ли МИСиС. Как отряд назывался?

— «Интеграл».

— Ну точно, технари,— сказал бородатый.

— Так вы их не знаете? — поразился Борька.— Они ж тоже из Москвы... Ни Сережу, ни Сашу?

— В Москве семьдесят пять институтов,— теряя терпение, сказал командир.— И в каждом стройотряды. Мы из университета, с журфака. К нам какие-нибудь вопросы есть?

— А говорили — жди, Борька, в том году...— потерянно сказал Борька.— Я все лето ждал, ждал...

Вокруг собрался уже весь стройотряд, смотрели с улыбкой, не понимая Борькиного горя.

— Они что, задолжали тебе, что ли? — подошел ближе парень в тельнике под распахнутой штормовкой.

— Да нет... Я рыбу им ловил...

— Зачем?

— О, чудной! Зачем рыбу ловят? На уху, и для жарехи, и печь, и с собой... Так давайте я вам, чо ли, ловить буду? — с надеждой спросил Борька.— Не приедут они уже. У меня и сеть, и все. Здесь места-то рыбные!

— Давай сначала,— сказал командир.— Ты кто такой?

— Борька я. Хромов. Из Сургута.

— А как они тебе платили?

— Никак,— обиделся Борька.— Со своих денег не берут

— А жил где?

— В лодке. Где ж еще?

— А что? — сказал вдруг тот, что в панаме.— Здравая мысль. Живем у реки, а едим кашу. Крупа скоро из ушей полезет.

— И лодка будет,— поддержал бородатый.— За сигаретами сходить, да мало ли что...

— Не знаю,— пожал плечами командир.— Ну, давайте попробуем. Если получится — скинемся, когда расчет будет. Свои не свои — дело не в этом... Значит, обедаем как обычно, а ужин у нас в двадцать один. Успеешь?

— А то! — обрадовался Борька.

— А тройную уху можешь? — спросил бородатый.

— А то! Так я пошел сеть ставить?

Когда Борька вернулся, солнце уже скрылось за соснами, плотно обступившими протоку. Здесь, над водой, уже сгущались сумерки, а небо еще было светлое, глубокое.

На Борьку, видно, особенно не надеялись: в котле на печке закипала вода, рядом лежали пакеты с концентратами. Борька высыпал рыбу на заплесок. Обе поварихи тотчас побросали свои кухонные дела, подошли с просеки стройотрядовцы, обступили Борьку, гордо стоящего над своим уловом.

— Да вы чо, рыбы не видели? — по-доброму усмехнулся Борька.

— Мы все больше такую... Ну, круглую...— Парень в панаме показал пальцами.

— Это какая же? — озадаченно спросил Борька.

— Ну, такая, круглая, маленькая. Железная... Консервы называется,— засмеялся тот.

— Стоп,— сказал вдруг командир.— Сразу даже не сообразил. Это же браконьерство! Ловля сетью запрещена.

— Здесь нефтью тонпами травят,— сказал парень в тельняшке.— А одной сетью — браконьерство?

— Дело не в этом...

— Дело в том, что за все отвечает командир,— отмахнулся раздраженно тот.— Слышали уже!

— Да нет,— перекричал их Борька.— Ставнóй можно. Это плавнóй нельзя.

— Какой?

— Ну, плавной: когда тройная мережа с балберами — на муксуна, на сырка. Чо я, враг себе? Колчак кругом шаманит.

— Кто? — растерялся командир.

— Рыбнадзор. Лодки проверяет. А тут плавная все одно без пользы — карчи да соры.

— Погоди, не спеши,— засмеялся бородатый.— Что тут?

— Да чо ж вы русских слов не понимаете? Карчи, говорю,— коряги на дне. Дно не чистое, сорное.

— Ну, Борька, тебя без толмача не понять! — сказал бородатый.

— Одно слово — абориген! — Парень в тельняшке хлопнул Борьку по плечу.

Тот отступил, настороженно оглядывая смеющихся ребят.

— Ты чо? — спросил он.— Думашь, здоровый, так... Я тоже матом запущу — не обрадуешься.

— Абориген — значит местный житель,— пояснил бородатый.— Коренной обитатель.

— Ладно, посмеялись — хватит,— сказал командир.— По местам! А ты, Борис, помоги поварам. Покажи, в какую сторону рыбу чистят. Знакомься: Ирина, Алена...

Стройотрядовцы, посмеиваясь, переговариваясь, направились к просеке. Парень в тельняшке обнял Борьку за плечи, отвел в сторону.

— Обиделся?

— Не. Думал, ругаешься.

— Не обижайся. Я человек незатейливый, если что не так, то не со зла. Ну, будем знакомы: Степан Смирнов.— Парень протянул руку.

Борька крепко сдавил его жесткую пятерню. Парень ответил. С минуту они стояли напротив, молча меряясь силами. Борька даже губу прикусил, чтоб не присесть, наконец выдернул руку, потряс, разлепляя пальцы, с уважением глянул на Степана.

— Старшина второй статьи,— сказал тот, будто не заметив Борькиного позора.— На Тихом служил. Так что мы с тобой вроде сродни — полосатые души.

— Строгий у вас старшой,— кивнул вслед командиру Борька.

— Не обращай внимания. Только воздух сотрясает... Ну, действуй.— Степан размашисто зашагал к просеке.

Девчонки сидели на корточках над уснувшей рыбой, рассматривали, осторожно переворачивая.

— Это что? — спросила Ирина.

— Чебак.

— Это местное название? А по-настоящему как?

— Не знаю. Чебак и есть чебак.

— А это щука.

— Ага. Из озера зашла.

— Ты что, спросил? — засмеялась Ирина.

— Видишь, пятнистая. Значит, озерная. Речная — она полосатая. Вот она, тигра.

— А вот красивая какая,— указала Алена.

— Налим. Дрянная рыба.

— Почему?

— Глупая, ленивая. В иле копается, дрянь всякую жрет. В том году видел — топляка достали...

— Утопленника?

— Но. Стали подымать, а у него из рукава — налим. Здоровый! Мясо сосал.

Девчонки переглянулись, наморщив нос.

— А хорошая рыба — какая? — спросила Ирина.

— Стерлядь люблю. Быстрая она, злая. Сиг тоже. Хитрый, собака... Ерш пацан что надо, хоть маленький. Щуки его боятся.

— Да у тебя они все с характером,— удивилась Алена.

— А чо ж они — не люди? — удивился и Борька, с треском вспарывая рыбье брюхо.— Чо живое — у всего свой характер. У рыбы, у птицы, у реки вон...

Девчонки неумело, следя за Борькой и друг за другом, работали ножами. Борька ловко потрошил рыбу, редко, исподлобья взглядывая на них. Красивые... Особенно Алена. Ирина тоже — темненькая, с челкой до бровей и высоким веселым хвостом на макушке, быстрыми глазами, верткая, на белку-огневку похожа. Но таких Борька и в Сургуте видел. А Алена... Такие, должно, только в Москве живут. И еще в учебнике истории есть — в кружевных платьях.

Борька еще раз глянул осторожно... Волосы белые, тяжелые, а лицо нежное-нежное, тонкое, вон жилки на виске светятся, а на щеке уже пунцовые пятна,— как же ей в комарином углу жить... Перед тем как заговорить, поднимает вверх голову, прикрывает глаза, будто запеть хочет. А говорит так, будто только тебе это сказать можно... Кухарит с утра до ночи, а под штормовкой белая кофточка, и цепочка с камушком, и лак на ногтях. И движется мягко, не дергается, как Ирина. Та с размаху бьет комаров на лбу, а Алена только отводит голову — и волосы взлетают на лицо.

— Чо, кусают комарики? — посочувствовал Борька.— Без комаров и Сибирь не мила.

— Тебя дома не хватятся? — спросила Алена.

— Хвататься некому. Матери — ей все одно, лучше даже, чтоб глаза Феликсу не мозолил...

— Феликс — это кто?

— Отчим.

— А отец где? — спросила Ирина.— Ушел?

— Утонул тем летом.

— Извини.— Алена выразительно глянула на подругу: думать надо!

— Пить он стал,— заторопился объяснить Борька, не понимая, почему замолчали девчонки.— Тогда уж Феликс был. Все знали, и отец узнал. А потом Ирка родилась — от Феликса, это ж слепому видно... Он тогда надолго уходить стал, отец-то,— в Тобольск, в Салехард, к самому морю. И пить стал... Река — она пьяных не любит... Заснул на моторе, ну, волна под скулу ударила, выбила из лодки. Мотор набок завалился, лодка по кругу пошла. Очнуться не успел, днищем голову пробило... Осенью уже — река стала — позвонили: он в старице ниже Сургута в лед вмерз. Со льдом и вырубили... Народу собралось! Про него ж по всей реке — кто не видал, тот слышал... Мать на него упала, заголосила: зачем, мол, покинул? А все стоят, смотрят. Все ж знают, что Феликс к ней со всеми манатками переехал...

Некоторое время работали молча. Вдруг Ирина взвизгнула.

— Она... она жабрами шевелит,— в ужасе указала она на щуку, которой Борька деловито отрезал голову.

— Ну и чо? — удивился Борька.

— Она ведь живая!

— А эта чо, мертвая? — засмеялся Борька, кивнув на обсохшую, в песке щуку у нее в руках.— У ней сердце еще час биться будет... А вот, гляди, я его отрежу.

Он распотрошил рыбье брюхо и протянул девчонкам подрагивающую сизо-красную трубку. Щучье сердце продолжало сокращаться в его грязной ладони.

Девчонки одновременно зажали рот рукой, вскочили и пошли прочь по берегу.

— Эй, вы чего? — Борька озадаченно смотрел им вслед. Пожал плечами, бросил щучье сердце на песок и снова взялся за нож.

Вскоре он стоял над костром, в дыму и пару, орудовал в бурлящем вареве поварешкой. Он творил тройную уху.

Стемнело, за широким кругом зыбкого багрового света чутко молчала ночная тайга. Стройотрядовцы сидели за

столом, как зрители в кино. На подхвате у Борьки были девчонки.

— Не томи, Абориген,— простонал Витя. Панама у него была на все случаи жизни — теперь он загнул поля вниз, под воротник, спасаясь от комаров.— Запах ведь, запах...— Он потянул носом.— С ума сойти можно.

— Лягу сейчас и умру,— сказал бородатый Сан Саныч.— Истеку желудочным соком.

— Хотели тройную — так терпите,— сурово оборвал Борька.

Он был в центре внимания, двигался торжественно, колдовал в бликах костра, будто исполнял шаманский танец. Еще раз пошуровал поварешкой в котле, велел:

— Марлю!

Алена протянула отрез марли. Борька распялил ее над большой кастрюлей, показал, как держать, ухватил ветошкой котел и стал процеживать уху, отводя голову от горячего пара. Чистый бульон слил обратно в котел, а марлю с разваренной мелочью бросил у костра.

— Все? — спросил кто-то, приподнимаясь с миской.

— Куда! На середке только.— Борька принялся загружать в бульон крупные куски рыбы.— Вот теперь можно и язя, и нельму. И картошечки сюда же...

Витя подобрался к костру, взял разваренного чебака, но Борька выхватил рыбу и бросил в костер:

— Аппетит перебивать!

— Изверг,— грустно сказал Сан Саныч.

Борька зачерпнул уху, подул, попробовал.

— Соли еще! А лаврушки-то — как украли!

Алена протянула соль и лавровый лист в двух руках. Ирина тем временем надорвала пакет с концентратом, стала сыпать в котел.

— Куда?! — завопил Борька.— Ты чо ж делашь?

— Мы всегда кладем,— испуганно сказала Ирина.— Чтобы гуще было.

— Дома порошка наешься. А пока забудь!..

Через час в тишине раздавался только частый стук ложек по дну.

— А ну, кому еще — налетай! — Борька зазывно вращал поварешкой в ополовиненном котле.

— Некта-ар...— протянул Сан Саныч, поводя осоловелыми глазами.

Витя отдувался, опустив ложку.

Они переглянулись.

— Слабó по третьей?

— Однова живем. Наливай!

Степан бросил миску у костра:

— У нас бы на катере сказали: могешь!

— Молодец.— Командир развел руками.— Я думаю, вопрос решен единогласно?

Ребята подходили один за другим:

— Спасибо, Абориген. Удивил!

Борька горделиво кивал.

Степан первый зачерпнул чаю из другого котла, глотнул — и замер.

— А это что?

— Чай,— пояснил Борька.

— Ясно — чай, заварка плавает. А еще что?

— Так это... с маслом.. По-нашему.

Командир попробовал и тоже поставил полную кружку.

— Это с непривычки противно! Привыкнете — другого не захотите!

— Нет,— сказал командир.— По части ухи ты, конечно, мастер, а чай давай лучше по-нашему будем заваривать...

После ужина Алена мыла посуду. Борька присел рядом.

— Помочь? — Он зачерпнул горсть песка, стал скрести миску.

Алена посмотрела на свои длинные тонкие пальцы.

— Совсем стерла...

— Задубеют. У меня во — ножом не прорежешь.

— Задубеют,— усмехнулась Алена.— Буду по клавишам мозолями стучать... Я сегодня первый раз в жизни чистила рыбу. Думала, не смогу. Я ее боюсь. Первый раз на костре готовила... Смешно, да?

— Да нет... Чего смешного,— неуверенно сказал Борька.

— Первый раз одна из дома уехала... Мне справку достали. Освобождение. А я все равно поехала — выдержу или нет?.. Я ведь московский абориген. К асфальту привыкла, к метро. Горячую воду на день отключат — катастрофа! Я без театра не могу. Ты любишь театр?

— Не знаю...

— Ты что, не был? Ни разу не был в театре?!

Борька виновато помотал головой.

— Мы с тобой будто на разных планетах живем,— удив-

ленно сказала Алена.— Вот прилетела я на твою планету — все незнакомо, все в первый раз.

— А какая она, твоя Москва? — спросил Борька.

— Разная... Как большая река,— улыбнулась Алена.— Протоки, притоки, старицы. И эти... соры...

Стройотрядовцы собрались в кружок у догоравшего костра, Витя играл на гитаре. Борька не стал лезть в круг, расстелил спальник в лодке, присел на борт покурить. Ему было хорошо.

Подошел Степан, сел рядом. Они курили, глядя издалека на костер, на один общий, многоголовый, многорукий силуэт поющих ребят.

— А ты чего же? — спросил Борька.

— Пускай резвятся,— сказал Степан.— Вырвались из гнездышка... Здесь все москвичи. Я-то сам из-под Калуги, из деревни. Насмотришься в универе на этих, сытых, розовых... У нас там Ломоносова памятник — слышал про такого?

— Но.

— Подойду, бывало, хлопну его по плечу: «Что, Михайло, двое нас здесь, крестьян, одни сынки кругом...» Вот любого из них брось в тайге без еды, без огня — выживет?

— А чего? Иди по берегу, к людям выйдешь. Не дадут пропасть.

— Вот и я в Москве так же,— не дослушав, сказал Степан.— Только я-то выживу! У нас в деревне мужики крепкие. Я в жизни никому не кланялся. Все сам, все этими руками — и навоз кидал, и в районку заметки писал.

Стройотрядовцы разбрелись по палаткам, Алена одна осталась сидеть у костра, обняв руками колени.

— Расскажи про море,— попросил Борька.

— А что море? — Степан затянулся последний раз. Глядя на Алену, бросил бычок.— Много воды... Ну ладно, бывай.

Он вразвалочку направился к костру, будто мимоходом задержался около Алены.

— О чем мечтаем?

— Так. Думаю... Тихо как... В Москве ведь такой тишины не бывает... Сто лет назад так же тихо было...

— И еще через сто будет. Может, погуляем?

— Нет, спасибо. Извини...

— Как хочешь.— Степан ушел.

Борька лежал в спальнике, через борт тайком смотрел на Алену. Здорово, наверное, жить ей на своей планете,

среди таких же красивых людей, где нет гадов вроде Феликса...

В узкий круг мерцающего света шагнул из темноты командир.

— Ты почему не спишь?

— Тебя жду,— просто сказала Алена.— Посидим?

Борька отвернулся, чтобы не подглядывать, но все равно слышал тихий разговор.

— Не надо, Лен,— попросил командир.

— Увидят? — усмехнулась она.

— Ты же все понимаешь...

— Понимаю.

— Тебе завтра раньше всех вставать. Иди в палатку.

— Опять приказываешь?

— Прошу...

С утра до подъема Борька ушел выбирать сеть, но провозился, латая рваную ячею, и когда вернулся — на просеке уже вовсю кипела работа: собирались конструкции опор, гремела бетономешалка, ревел бульдозер, за рычагами которого сидел Степан, тянулась очередь с носилками — бетон заливали в опалубку.

— Трудовой привет! — крикнул Борька, подходя.

— О-о, Абориген!

— Здорово, рыбак!

— Как улов?

— У нас говорят: «Чо добыл?» — поправил Борька.

— И чо добыл?

— Ничо. Ерш, чебак и дырявый башмак,— отрапортовал Борька.— Ну, куда встать, чего копать?

— Вот это дело! Второй бригаде скорая помощь прибыла,— крикнул Сан Саныч.

— Куда пристроим, командир? — спросил Витя.

— Пусть бетон грузит, если хочет. Каску только дайте ему.

— Дело привычное: бери больше, кидай дальше, пока летит — отдыхай!

Борька разделся по пояс, взял лопату и встал у мешалки — в броднях и оранжевой каске. В паре с молчаливым, медлительным стройотрядовцем он нагрузил первые носилки и, пока их поднимали, бросил еще пару лопат.

— Эй, эй, куда через край! Хватит!

— А? Как ухи — так с добавкой, как бетону — так хватит? А ну, налетай, подешевело! — заорал Борька, помешивая лопа-

той в жидком бетоне.— Кому наваристого, густого, с пенкой — ложка торчком! Подходи со своей посудой! — орал Борька, работая лопатой.— А ну, кому еще? Торопись, пока повар добрый!

— Не части, Абориген, загоняешь!

— Вот кого не хватало!

— Кури, ребята! Он один опалубку зальет и опоры поставит!

Стройотрядовцы оживились, работа пошла веселее.

— Следующий! — заливался счастливый Борька.— Отскочи — не задерживай!..

Обед девчонки готовили без него, опоздали, намучились и разварили уху в кашу. За ужин Борька взялся сам. Пока ребята умывались в реке, он разгребал лопатой угли костра.

— Опять колдуешь, Абориген? Чем сегодня удивишь? — спросил Витя, который всегда был в первых рядах.

— Печенка сегодня.

— Печенка? Где ж ты здесь печенку достал?

— Печенка, говорю. Рыба печеная.— Борька выковыривал из земли спекшиеся куски глины, отбрасывал в сторону.— Это по-нашему, по-рыбацки. Глиной ее обмажешь, картошку туда же. Сверху костерок. Пока чай закипит — и печенка готова. И посуду не надо мыть.— Он подмигнул Ирине.

Стройотрядовцы брали куски глины, обжигались, катали по траве.

— Как ее есть, печенку твою?

— Смотри сюда! Отколупываешь, где треснуло — глина-то вместе с кожурой отходит, ага. Да гляди, чтоб сок не тек, самое вкусное...

Ребята очищали рыбу, дули на дымящееся рыбье мясо.

— Избалуешь ты нас, Абориген,— сказал Сан Саныч.

— Всё, мужики,— сказал Витя.— Ну ее, Москву! Переселяюсь сюда. Каждый день буду печенку есть.

— Нет, лучше ты к нам, Абориген,— предложил кто-то.

— Точно! У тебя каникулы ведь будут?

— Москву покажем!

— В метро прокатишься.

— Не морочьте ему голову,— сказал командир.— А жить он где будет?

— Нас двадцать человек! Не найдем, где устроить?

— Будешь сын полка.

— Сын отряда! Ребята, такого еще не было — сын отряда!

Командир, что там в уставе про это сказано? Положено, нет?

— Адреса оставим.

— И телефоны. Позвонит — встретим, заблудится ведь.

— А чо. Приеду,— сказал Борька.— Если не шутите.

На всех напало вдруг веселье. После ужина вынесли магнитофон — Борька такого никогда не видел: в метр длиной и с двумя кассетами сразу,— врубили на полную гарь, Витя объявил людоедский танец, и пошла пляска вокруг костра. Девчонки танцевали в центре, вывернув колени в стороны и растопырив руки, ребята прыгали перед ними и поклонялись им — богиням огня, хранительницам рода.

Борька стоял столбом, в восторге вытаращив глаза. За мельканием спин и рук казалось, что Алена танцует прямо в огне. Она резко поворачивалась — и багровые волосы взлетали над головой...

Ирина засмеялась и крикнула ей что-то, указывая на Борьку. Алена тоже улыбнулась, но укоризненно кивнула подруге: «Зачем? Не надо!»

Борька сконфузился и ушел на берег. Степан подсел к нему, как вчера.

— Что, понравилась?

Борька пожал плечами и независимо отвернулся, посвистывая.

— Такую голыми руками не возьмешь,— усмехнулся Степан.— Москвичка... Слушай, позови-ка ее на лодке прокатиться.

— Чо вдруг? — испугался Борька.

— Давай-давай. Не бойся, я ж поеду.

— Не пойдет она.

— Пойдет! Я-то их знаю: ночь, звезды. Романтика! Вон расходятся уже. Давай, пока командира нет!

Борька неуклюже, сунув руки в карманы, подошел к Алене. Она смеялась, часто дыша после танца, заправляя выбившуюся из волос невидимку.

— Это... хочешь, пойдем сеть выбирать,— грубовато сказал Борька.

— Ты меня приглашаешь? — Она вскинула брови.— Спасибо... Иду выбирать сеть! — объявила она.

Вокруг засмеялись:

— Сама не попадись...

Борька правил посреди протоки. Уреза[1] в темноте не было видно, вода — без морщинки, без складочки — стояла в берегах, как черное зеркало, береговые сосны незаметно переходили в свое отражение, тянулись к отраженным звездам, а временами казалось вдруг, что воды и вовсе нет, бездонный провал, и лодка плывет, невесомо покачиваясь, в межзвездном пространстве.

— Как здорово...— сказала Алена. Она опустила пальцы в воду.— Сверху звезды, снизу звезды... И этой красоты я могла никогда в жизни не увидеть...

— В Москве такого нет?— сказал Степан, подмигивая Борьке.

— Ой, звезда падает, смотрите!— крикнула Алена, указывая вниз, в воду.— Загадывайте желание, скорее!

— А может, это НЛО на посадку пошел?— сказал Степан.— Мичман один говорил — он на камчатском рейсе из отпуска возвращался, так за ними через всю Сибирь летающая тарелка шла... А может, сейчас какие-нибудь трехглазые, с антенной во лбу, кружат вон там и за нами следят. На Алену вот любуются.

— Ты чо!— Борька задрал голову и стал оглядывать ночное небо.

— Очень может быть. Теория есть на Западе: почему мы до сих пор разум во Вселенной не обнаружили? Потому что мы у них вроде заповедника, цивилизация в чистом виде. Наблюдают за нами, как мы развиваемся. Диссертацию про нас пишут... А иногда людей крадут для контакта. Вот пойдешь однажды в лес, а там на поляне — тарелка. Тут трехглазые тебя за руки, за ноги — и на Марс. Как представителя земной цивилизации. Будешь на Марсе лекции про нас читать...

— Ты можешь хоть немного помолчать?— досадливо спросила Алена.— Просто молчать и смотреть!

— Вот невидаль!— буркнул Степан.

Впереди перечеркнула небо тетива с берестяными поплавками. Борька заглушил движок, протянул Степану весло.

— Ты табань помаленьку, чтоб бортом не развернуло.— Он перелез через ветровой щиток на бак и стал выбирать сеть.

Лодку медленно сносило течением. Борька хотел уже крикнуть Степану, чтоб не спал, но лодка вдруг резко качнулась.

— Руки убери,— тихо, зло сказала Алена.

— Ну чего ты...— забормотал Степан.

[1] Урез — линия соприкосновения поверхности воды с берегом.

— Знала бы, что ты будешь,— ни за что не поплыла бы.

Борька боялся обернуться, стоял на коленях на баке, чувствуя, как жар заливает лицо...

Обратно шли молча. Степан угрюмо курил. Алена зябко куталась в штормовку. Борька беспомощно переводил глаза с одного на другую.

— Можно, я поведу немножко? — спросила Алена.

— Ага, садись.— Борька уступил ей сиденье и руль.— Левее чуть возьми, там прижимник сильный.

— Что?

— Течение к берегу жмет. Чуешь, сносит... А здесь вправо. Видишь, вода играт, значит, дно близко, а там чилим[1] — он на глубине растет...

Перед самым носом лодки возник из воды черный сук карчи. Борька автоматически схватил румпель поверх Аленина ладони, выправил. И тут же отдернул руку, будто обжегшись. Алена улыбнулась в темноте.

Степан увидел приклад бельгийки под брезентом, вытащил, переломил стволы.

— А патроны есть? Или так, для красоты?

Борька вытащил из кармана патрон. Степан зарядил, встал в лодке, огляделся. Над черной стеной тайги медленно поднялась птица. Он вскинул ружье, прицелился и выстрелил. Подранок громко, почти по-человечьи вскрикнул, заплескал по воде где-то у берега.

— Зачем? — крикнула Алена.

— Что, жалко? Птичку жалко?

— Живая же,— сказал Борька.

— Сам не стрелял, что ли?

— Так я чтоб съесть. Чо зря бить-то?..

На берегу около спящего лагеря стоял командир. Он внимательно посмотрел на Борьку и на Степана, подождал, пока Алена подойдет к нему.

— Думать надо,— резко сказал он.— Хотя бы иногда!

Алена сразу погасла и, опустив голову, побрела к себе.

Степан посидел еще, покурил, играя желваками.

— Ломается, как...— зло сказал он.— Ты извини, я человек простой, грубый. Я с седьмого класса на тракторе, три года на флоте — негде было манерам учиться. Я этих выдрыгиваний не понимаю...— Он отшвырнул папиросу и ушел в палатку.

---

[1] Чилим — водяной орех.

Борька долго лежал в лодке, закинув руки за голову, смотрел на звезды. Чуть слышно набегала вода под железное днище.

Звезд было много. Они весело перемигивались в своей бездонной высоте и будто бы тоже смотрели на Борьку.

Борька вылез из спальника, шагнул босиком на берег. Отвел полог палатки. Степан спал с краю, Борька тихонько потормошил его.

— Слышь, Степан...

— Что? Подъем уже? — забормотал, захлопал глазами спросонья тот.

— Да нет,— шепотом сказал Борька.— Я вот чего... Кого они берут-то?

— Кто?

— Марсиане. Зачем им я? Они, должно, ученых или еще кого.

— Отстань! Кто подвернется, того и берут.— Степан перекатился на другой бок.

— Я вот чего думаю. Вот прилетят они, возьмут меня. Как представителя. Вот прилетим мы на Марс, и спросят они, трехглазые-то: расскажи нам, мол, Борька, про свою Землю. А чо мне им сказать? Чего я им могу рассказать — как сети ставить? Как от колчаков в затонах прятаться? Чо я знаю-то? Я ж не видел ничего. Я моря не видел... А, Степан? Ты спишь, чо ли? — Он наклонился над сладко сопящим Степаном, опять сел и тоскливо задрал голову к звездам...

Борька разобрал утренний улов, отобрал покрупнее и развесил сушиться на бечевке между палатками. Бечевку они с ребятами натянули неделю назад, теперь она основательно провисла под тяжестью метровых щук и здоровенных, как лапти, чебаков. Мелочь — для жарехи — он сдал девчонкам.

— Слышь, Лен...— Борька помялся.— Я это... уехать мне надо.

— Совсем?

— На день только. Отпроситься мне надо.

— Найди командира, какие проблемы?

— Строгий он. Скажет — не положено.

— Смешной ты, Борька,— грустно засмеялась Алена.— Под воду до дна видишь... Он хороший, просто по-другому не умеет. Он в первом классе командиром «звездочки» был, потом со-

вет дружины, секретарь — слеты всякие, совещания, приветствия, лагеря актива... Он сам больше всех переживает, что такой... оловянный солдатик. А как иначе — не знает. Ну, пойдем.

Они вышли на просеку, и Алена помахала командиру.

— Ему уехать надо, а он спросить боится. Запугал ты всех...

— Неделю не проработал — уже дезертируешь? — строго взглянул на Борьку командир.

— Мне на день только. У матери... это... день рождения.

— Тогда и вопросов нет. Поезжай, конечно.

— Я рыбы-то наловил,— оживился Борька.— Они сготовят, я ж показывал. А я к завтрему обернусь.

— Перекур! — Командир поднял скрещенные руки над головой.— Кому что в городе надо?

— Кому гостинцев? — закричал Борька.— Купец на ярмарку собрался!

— В штаб зайди — нет ли писем.

— Сигарет! Сигарет купи!

— Яблок килограмм. Во сне уже вижу.

— Ладно, ладно, запомнил, ага.— Борька рассовывал деньги по карманам.

— И от комаров чего-нибудь,— жалобно сказал Сан Саныч.

— От комаров в гробу хорошо,— посоветовал Борька.

Он прибрался в лодке, перелил в бачок оставшийся бензин и вернулся к Алене.

Алена, закинув полог, подметала в палатке. Брезент просвечивал на солнце, в палатке была зеленоватая мгла, как в омуте, пыль золотым столбом стояла в солнечном луче из оконца.

— Лен, а духи какие надо дарить?

— Смотря для какого случая.— Она выпрямилась в зеленой глубине.— Легкие или вечерние.

— Не, мне рублей за десять. И чтоб побольше.

— Я не знаю, какой у вас здесь выбор. «Джи-джи», «Фея ночи». Мне больше «Флер де флер» нравятся. Вот, понюхай.— Она отвела волосы.— Иди сюда...

Борька осторожно подошел, увидел перед самыми глазами ее маленькое, крепкое ушко с камушком в нежной, пушистой мочке. Зажмурился, потянул носом...

Алена обернула к нему зеленое русалочье лицо и тихо, непонятно засмеялась, глядя на ошалевшего, глупо улыбающегося Борьку.

— Нравится?

— Ага...— Борька вдруг смутился до слез, стоял, не зная, куда девать руки.— Отец каждый год, где б ни был — хоть в Мансийске, хоть в Вартовске,— приходил, духи дарил французские и розы с рынка. Хоть на час приходил — и обратно. Даже когда Феликс появился... Я французские-то не вытяну, дорого...

— А что, у вас тут французские духи есть?

— Да вон в Банном, в сельмаге,— залейся. Кому они нужны, за полста рублей... Я розы ей подарю и духи какие-нибудь. Как ты думаешь, поймет она?

— Поймет, Борька. Конечно, поймет,— серьезно ответила Алена.

Борька правил вниз по Тромъегану, подставив лицо холодному ветру. Время от времени он вспоминал крошечное Аленино ушко, и тогда будто горячая волна накрывала с головой, рот сам собой разъезжался в дурацкой счастливой улыбке, и Борька воровато оглядывался по сторонам — не видит ли кто.

Потом вдруг развеселился, вспомнив, как Сан Саныч бросился записывать про то, что от комаров в гробу хорошо. Бородатый Сан Саныч ходил за Борькой с тетрадкой и все писал чего-то, а вчера подсел, стал расспрашивать, как рыбалят с острогой.

— С гребенкой-то? Баловство это,— сказал Борька.— Не столь набьешь, как покалечишь.

— А все же?

— Ну, как? Светишь в воду, рыба на свет и идет.

— Тут ее...— Сан Саныч лихо размахнулся.

— Зачем? Тихонько к хребту опускашь и накалывашь.

Сан Саныч записал.

— А светят как? Фонариком?

— Не. Зачем? Колчак накроет — бросать надо... Кирпич жгут.

— Кирпич? — Сан Саныч аж зашелся от восторга.

— Но. В керосин на день ложишь, он всосет — потом долго чадит.

Борька недоуменно смотрел, как Сан Саныч быстро чирикает красивой ручкой в тетрадке, почесывая от нетерпения другой рукой бороду.

— А зачем тебе?

Сан Саныч неожиданно смутился.

— Да так... Рассказами балуюсь...

Борька спустился до Оби и пошел направо, к Сургуту. Он понемногу успокоился от долгого треска мотора, шума воды за кормой и привычно задумался про жизнь.

Всего-то неделю прожил в отряде, а уж через силу уехал, оторвался на день. Хоть и непонятные они все, кроме Степана: и Сан Саныч со своей тетрадкой, и Витя — дурачится больше всех, смеется, играет на гитаре, а потом вдруг замрет, и глаза как стеклянные. Разговоры, сколь Борька ни вслушивался, непонятные, и ссорятся не понять о чем. Как болгары, что на Иртыше лес валят: слова-то все знакомые, а про что — не разберешь.

Почему Алене не нравится Степан, такой сильный и надежный, пусть грубоватый, но прямой, а нравится командир, тонконогий и нудный, как малярийный комар? Недавно пристал к Борьке, стал допрашивать, собирается ли он, мол, первого сентября в школу идти. Борька врать-то не привык, на реке оно без пользы, тут просто: накрыли — беги, догнали — не спросят. Мучился, насилу придумал, что школа на ремонте до двадцатого.

До двадцатого три недели. Двадцатого отряд уезжает. Еще три недели можно жить...

Мимо проплыл брюхом кверху косяк мертвой рыбы. И еще один — лодка врезалась в середину, разбила надвое. Борька сбросил гарь, выудил из воды рыбину, посмотрел, кинул обратно. Тревожно огляделся: рыба покачивалась на волне у берега, лежала на заплеске, уже высохшая, обклеванная птицей, а из-за луки тянулся по течению серебристый ручеек — плотва, нельма, щуки. Борька рванул вдоль ручья.

За лукой уткнулась носом в берег ТБСка. Два мужика, стоя по колено в рыбе, сгоняли ее в воду лопатами. Еще двое покуривали на баке, в теньке. Борька запрыгнул на палубу.

— Вы чо это делаете, а? Чо делаете?

— Не видишь? — мрачно ответил один, продолжая работать лопатой.

Остальные на Борьку даже не взглянули.

— Да вы ж... вы ж реку губите! Зачем ловили-то, чтоб обратно бросить?

— Ты куда шел, земляк? — спросил мужик с бака.

— В Сургут.

— Ну и двигай дальше.

— Я двину! Двину! — бессильно закричал Борька.— Я на вас колчаков напущу, они вам так двинут!

— Орать-то! — завелся и мужик.— Оратор! Орать каждый горазд. Ты колчака на тех напусти, кто план шлет, а тару не дает! Второй раз сбросили — думашь, охота даром пахать? Всякий малек жизни учить будет. Сами на реке кормимся!

— А чо ж делать-то? — растерянно спросил Борька.

— А шо делать? — спокойно сказал второй мужик с бака, видимо старшой.— У вичору снова ставить будем. А потом опять сбросим. Сидай сюда, остудись. Малосолу хочешь?

Перед мужиками лежал распластанный по хребту и пересыпанный крупной желтой бузой осетр. Борька посмотрел на палубу, полную снулой рыбы, что-то соображал.

— Протухла уже?

— Отдает чуток.

— А сырок здесь есть? Нельма?

— Та шо в сеть попало, то есть.

— Возьму немного?

— Та всю забери, я тебе расцелую.

Борька закатал бродни, ступил в рыбу, стал выбирать...

Он вышел от Михалины, хитро ухмыляясь, пересчитывая деньги. Зубами хвалилася, да ершом подавилася. Не замечая брызжущего слюной кобеля, направился к магазину.

За прилавком опять стояла остроскулая Верка. Не дожидаясь вопросов, она принялась выкладывать соль, чай, сахар.

— Духи французские есть?

— Чего?! — чуть не свалилась под прилавок Верка.

— Ну, духи такие. В красивом пузырьке. По-французски написано.

— Духи в пузырьке,— фыркнула девчонка.— Это флакон называется, глупенький. Между прочим, сорок пять рублей.

— Без сопливых знаю. Ну-ка покажь.

Ошеломленная девчонка поставила на прилавок коробку с духами. Не удержалась, ревниво спросила:

— Кому это?

— Кому надо. Другую дай, у этой целлофан отлип.

Верка протянула другую коробку, вызывающе вздохнула:

— Кто бы мне подарил...

— Найди такого дурака.— Борька шикарно бросил деньги на прилавок.

Девчонка, видно, до этого самого мгновения не верила, что Борька покупает духи всерьез.

— Ты бы лучше ботинки новые купил,— тихо сказала она.— Опять в классе смеяться будут.

— Кто? Кто смеется?— вскинулся Борька.

— А ты думаешь, не видит никто, как ты их пластырем клеишь и чернилами красишь?..

— Ну и смейтесь! Смейтесь, обхохочитесь все, хоть надорвитесь! Плевал я на вас на всех, поняла?— И Борька выбежал, хлопнув дверью.

На той же улице, что и прошлый раз, Борька встретил белобрысую «капитаншу». Белобрысая, в черной форменке, в берете с «крабом», шла к реке — наверное, спешила на тренировку. Она перебежала на другую сторону и, поотстав, прячась за спинами прохожих, двинулась за ним.

Борька сквозь землю готов был провалиться, до того непривычно и неуютно ощущал себя вот таким, торжественным: с чисто вымытой у Юры физиономией, аккуратно зачесанной, влажной еще шевелюрой и с букетом в руке.

Перед дверью он остановился, придерживая пачку писем, вытащил из кармана духи. Из квартиры слышались звуки застолья. Борька еще раз провел пятерней по вихрам и вошел. Тут же вернулся, позвонил и встал в дверях, светлый, праздничный.

— А кто это опаздывает?— весело пропела мать, выглядывая из комнаты.

В открытую дверь на полную мощность выплеснулся гомон, звон вилок, музыка, голос Феликса:

— Кто это? Штрафную ему!

Мать торопливо захлопнула за собой дверь, улыбка сошла с лица.

— Чего тебе?— злым шепотом спросила она.— Чего приперся-то? Неделю нет, а когда не надо — вот он, явился!

— Это... с днем рождения тебя, мам.— Борька неуклюже, как деревянный, шагнул к ней и протянул подарки.

Мать схватила не глядя — и будто на стену налетела, замерла. Медленно подняла глаза на Борьку. У нее вдруг крупно затряслись, запрыгали губы.

— Это... это тебе, мам...— дрогнувшим голосом пояснил Борька.

Мать все так же молча, не отрываясь, смотрела на него. Борьке показалось, что вот сейчас она заплачет и... Из комнаты высунулся Феликс, увидел Борьку, понимающе протянул: «А-а...» — и исчез.

Мать вздрогнула, быстро спрятала цветы и духи в подзеркальник.

— Иди скорей... Да сапоги сыми, не топчи! — Она, подталкивая в спину, провела Борьку на кухню.

— Кто пришел-то? Хозяйка! Именинница!

— Сейчас, сейчас! Кушайте! — пропела мать в сторону комнаты.— На, ешь,— поставила перед Борькой кастрюлю с остатками салата, воткнула ложку.— Пирог не трогай. Потом, что останется...— Ушла в комнату и плотно притворила дверь.

— Соседка поздравить зашла,— донесся ее голос.— А почему у нас тарелки пустые? Холодец вот...

Борька сидел в полутемной кухне — свет пробивался только сквозь матовую дверь комнаты. Положил в рот ложку салата, стал жевать. По щекам поползли крупные слезы. И чем громче и веселее звучали голоса в комнате, тем ниже наклонялся над столом Борька. И все никак не мог прожевать, давился слезами и салатом.

В комнате с новой силой грянула музыка — видно, приступили к танцам: послышался громкий смех матери, и Борька рванулся в коридор, всхлипывая, затыкая рот кулаком, натянул бродни и побежал вниз по лестнице.

Из-за угла дома наперерез ему вышли двое «капитанов». Борька вслепую наткнулся на них, поднял голову.

— Какая встреча! — сказал флагман.— Чего невеселый? Не узнаешь старых друзей?

За плечами у них радостно улыбалась белобрысая.

Борька оглянулся — сзади стояли еще двое.

— Ну, поговорим, наконец, пират? — ласково спросил флагман.

Он толкнул Борьку в грудь, сзади поставили подножку. Белобрысая, раскрасневшаяся, с азартно блестящими глазами, прыгала вокруг, тоже лезла в драку — дотянуться, ударить...

Борька ввалился в рубку растрепанный, грязный. В углу рта у него запеклась кровь, под глазом набухал громадный синяк. Юра замер над верстаком, со стамеской в руке, протяжно свистнул:

— Кто это тебя?

— Мотор где? — Борька бестолково тыкался во все углы.— Утоплю, гадов!

— Стой! Сядь.— Юра силком усадил его на рундук.— Поймали все-таки?

— Всех утоплю, как щенков! Четверо на одного, гады! — цедил Борька сквозь зубы, не разжимая разбитого рта, мотал головой.— Мотор мой где? Ключ дай.

Юра намочил полотенце, протянул Борьке:

— Вытри физию. Остынь. Не дам я тебе ключ.

Борька, прижав полотенце к лицу, стонал — не столько от боли, сколько от бессильной злобы.

— Вот чаю сейчас поставим.— Юра включил плитку.

— Все одно утоплю,— глухо сказал Борька сквозь полотенце.

— Брось, Борька.— Юра сел рядом, помолчал.— Они ж тебя в школе достанут. Это на реке ты король, а что ты в городе — один против всех?

— Не останусь я в городе.— Борька опустил полотенце, мрачно смотрел в пол.— Уеду я.

— Куда? У тебя документов даже нет.

— Что ж я, не человек без бумажки?

— Маленький ты еще, понимаешь? Никуда не денешься. Снимут на первой станции, вернут к матери. На учет еще поставят. Только хуже будет.

— Уеду. Не могу больше.

— Переживи зиму. Потерпи чуток. Закончишь восьмой — езжай куда хочешь, хоть в речное, хоть в мореходку. Зиму только перетерпи, Борька, недолго осталось.

— Ладно. Дай ключ. К ребятам пойду.

— Может, заночуешь? — недоверчиво спросил Юра.

— Ждут они. Письма вот везу...

Юра смотрел с палубы, как удаляется Борька от города. Лодки в темноте уже не было видно — таял вдалеке белый бурун за кормой.

Тяжелая, маслянистая вода лениво перекатывала лунный свет. Угрюмо темнела посреди реки плоская громада острова. Над дверью яхт-клуба горел тусклый фонарь под жестяным абажуром. Тренер и флагман загоняли в клуб резвящуюся малышню. Пацаненок в трусах и майке, часто перебирая

ногами, указывал на дощатый «скворечник». Флагман подтолкнул его в спину: быстрей...

Борька наблюдал за ними от дальнего берега, покусывал тонкую веточку, жевал, выплевывал за борт. Когда окна клуба погасли, толкнулся от берега и на гребях пошел к Подкове.

Бесшумно работая одним веслом, спустился вдоль острова к ухвостью[1], здесь вытащил лодку на заплесок. Невдалеке горел костерок, вокруг сидели вахтенные: двое малышей и флагман. Борька подкрался ближе.

— ...И тогда черный человек открыл дверь и стал подниматься по лестнице,— страшным голосом вещал флагман. Лицо его багрово подсвечивал снизу костер.

Малыши, замерев от ужаса, слушали, крепко держась друг за друга.

— Все спали в доме, и никто не слышал шагов черного человека...

Борька, пригнувшись, проскользнул мимо. Яхты белели у пирса, чуть покачивая мачтами. Выход из бухты перегораживала цепь, запертая на большой висячий замок. Борька потихоньку стал раскачивать железный штырь, к которому крепилась цепь, напрягся и выдернул его из земли. Цепь, громко плеснув, ушла в воду.

Борька затаился. Прятаться здесь было негде.

— Чо там?— Флагман привстал.— Сергуня, посмотри.

— А почему я?— заканючил Сергуня.— Пускай Вовчик идет.

— А чо я?— возмутился Вовчик.— Тебе сказали, ты и иди.

— Юнга Сергеев,— повысил голос флагман,— приказываю проверить пирс!

— Есть!— Сергуня обреченно поднялся и направился к пирсу.

Ему явно не хотелось одному идти в темноту. Чем дальше уходил он от костра, тем медленнее и осторожнее ступал. Не доходя пирса, остановился, приподнялся на цыпочки, вглядываясь в темень, и тотчас сломя голову помчался обратно, будто за ним гнался черный человек.

— Щука, должно, играт,— доложил он и пристроился рядом с приятелем.

Борька отвязал тренерский «Нептун» и оттолкнул катер от причала. Тот беззвучно заскользил по черной воде. Одну за

---

[1] Ухвостье — нижняя по течению оконечность острова.

другой Борька освобождал яхты. Течение захватывало бухточку, яхты медленно двигались к выходу, кружились на месте, потом устремлялись в реку и исчезали в темноте.

— Смотри! — взвизгнул вдруг у костра кто-то из вахтенных, и Борька бросился прочь от пирса, проламываясь напрямик сквозь кусты.

— Полундра! — не своим голосом завопил флагман.— Свистать всех наверх!

Над островом взвыл ревун, в окнах клуба зажегся свет, из распахнутой двери вылетали «капитаны» в трусах и тельняшках. Вспыхнул на фонаре клуба прожектор, нашарил уходящие от острова яхты. «Капитаны» прыгали в воду, плыли следом, кто-то греб на спасательных плотиках, кто-то поднимал паруса на оставшихся у пирса «Кадетах» и «Оптимистах».

Истошно взревел толкач, забурлил винтами на «полном назад», кренясь пошел вбок, уворачиваясь от «Летучего голландца»...

Прожектор выхватил из темноты изо всех сил гребущего Борьку. Он бросил весла, встал в лодке, приставил руки рупором:

— Эге-гей! Спокойной ночи, лягушатники!

Командир посмотрел на часы и скрестил над головой руки.

— Закончили на сегодня!

Работа на просеке прекратилась. Стройотрядовцы тяжко, с хрустом разгибали окаменевшие спины.

— Все. Шабаш.

— Инструменты, ребята!

— Витя, не твоя запчасть? — Сан Саныч указывал Вите на огромную гайку, забытую на земле.

Витя смеялся, подзывал рукой бульдозер:

— Толкни, Степан, не дойду.

Степан выпрыгнул из кабины, оглядел ребят, желчно спросил:

— Что, отработались? Ручки заболели? Командир, мы для чего за сто верст перлись? Работать или песни у костра петь?

— Нам, Смирнов, как известно, песня строить и жить помогает...— попытался пошутить командир.

— Это ты на собрании скажешь. У тебя здорово получается речи говорить — про порыв, про нашу лепту.

— В сроки мы укладываемся. Нельзя думать только о себе, Смирнов, многие первый раз в жизни на стройке... За ударную работу тебе спасибо, конечно...

— А я твое спасибо вместо штанов не надену! Почему я за этих головастиков пахать должен, у кого руки не к тому месту?

— Ну, ты даешь! — удивился Витя.

— А чего мне стесняться? Я человек простой, рабочий! Я за деньгами приехал. Вам забава, а я на жратву зарабатываю! Мне папа-генерал не подкидывает.

Командир подошел вплотную к нему:

— Ох, не будь я командир...

— Ох, не будь ты командир...— в тон ему ответил Степан.

— Ладно, хватит.— Витя встал между ними.— Только этого не хватало для полного счастья!

— Что ж ты зациклился, Степан? — сказал Сан Саныч.— У меня двое короедов — я тоже забавляюсь? Или Ирка — с больной матерью?

— Я тебя официально предупреждаю, Смирнов,— сухо сказал командир.— Не на шабашку приехал...

Борька растерянно смотрел на них.

— Трудовой привет,— наконец неуверенно сказал он.

— Абориген! Кормилец вернулся! — Стройотрядовцы, стряхивая напряжение от неожиданного конфликта, радостно бросились к Борьке.

— Сигареты вот. Кому тетрадь? — Борька раздавал заказы.

— А письма есть?

— А то! — Он поднял над головой пачку писем, помахал.— Когда это я с пустыми руками был? Красносельцеву Виктору!

— Это я, я! — проталкивался вперед Витя.

— Куда? Куда? — Борька спрятал письмо за спину.— Думаешь, за красивые глаза отдам? Пляши!

Витя под хохот ребят отбил, как умел, чечетку, отставил сапог и залихватски хлопнул по голенищу:

— Ап!..

Вечером он подошел к Борьке, который возился с застучавшим на обратном пути движком, присел на корточки.

— Спасибо за письмо. В отряде, как в армии, письма — вещь необходимая.

— А то! — сказал Борька на всякий случай. Сам он никогда в жизни писем не получал.

Витя помолчал, наблюдая за проворными Борькиными пальцами.

— Сколько их было? — вдруг спросил он.

Борька отвернулся, потрогал синяк, нехотя буркнул:

— Четверо.

— Да-а... Это серьезно. Ну-ка, встань.— Витя поднялся и выставил вперед ладонь.— Бей. Да не бойся, от души бей, как этих бы четверых!.. Ну, еще! Еще!

Борька, ожесточенно сопя, изо всех сил молотил кулаками в его широкую ладонь.

— От уха замахиваешься,— сказал Витя.— Запомни: побеждает не тот, кто сильней, а тот, кто быстрее. А теперь смотри внимательно. Бей меня в плечо...

Он небрежно, будто от комара отмахиваясь, отвел чуть в сторону бьющую руку, схватил за рукав и легонько дернул на себя, продолжая Борькино движение.

Борька растянулся на земле.

— Понял? Надо только чуть-чуть помочь ему самому упасть. На досуге займемся.

— Здорово! — Борька отряхивался, с восхищением глядя на невозмутимого Витю.— А ты где служил?

— На юге.

— На границе?

— Еще южнее.

— А-а ...— не сразу догадался Борька.

— Ага.— Витя подмигнул ему и пошел к палаткам.

— А медаль у тебя есть? — крикнул Борька вдогонку.

— Есть.

— Какая?

— Золотая. За десять классов.

Борька проверял сеть, выпутывал из ячеи рыбу. Степан сзади курил, развалясь на сиденье с веслом на коленях.

— Чего ты со старшим сцепился?

— Да...— Степан смачно плюнул в воду.— Связался с детским садом! Опору поставят и хоровод вокруг водят, радуются... Им-то что, они у папы с мамой под крылышком. А мне деньги нужны, деньги! У меня стипендия сорок, предки на пенсии — хорошо, если тридцатник в месяц подкинут... Москва — она знаешь сколько денег жрет? Москвичку-то

голыми руками не возьмешь — ломается, будто у ней это место не в ту сторону...

Борька насупился. Получалось, что Степан ругается и на Алену.

— Нет, ты оденься,— продолжал тот,— чтоб ей не стыдно было с тобой на люди выйти, да в бар своди, да на такси домой доставь, да папе с мамой пыль в глаза пусти...

— А попроще нет?

— Мне попроще не надо. Я мужик с замахом... Мне б только за Москву зацепиться, я развернусь...

— Слева гребни разок.

Степан зажал папиросу в зубах, щурясь от дыма, махнул веслом и опять развалился нога на ногу.

— Слышь, Абориген. Ты говорил, здесь можно на муксуне прилично заработать?

— Но.

— Ты места эти знаешь? Где муксун идет?

— Пески-то? Вслепую пройду.

— Так, может, попробуем, а? На двоих?

Борька наколол палец об ерша, сунул в рот.

— У меня трехстенки нет,— сказал он погодя.

— Так возьми у кого-нибудь. Говорил же, все тебя знают. Можешь?

— Могу,— ответил Борька без всякой охоты и замолчал, перебирая свою худую сеть.

— Ну так что? — нетерпеливо спросил Степан.

— Колчака понагнали со всей Оби. Хорошо, если свой накроет,— сеть отымет. А если вартовский или мансийский — пойдет шаманить: где права, документы на лодку?.. Я же ее со стоянки угнал, когда Феликс продать хотел. Она же на мать записана, по наследству...

— Дурак ты, Абориген! Трояки собираешь, а тут за ночь можно на твою мореходку заработать... Кто не рискует, тот не пьет шампанского! Пил шампанское?

— Не.

— Ну вот... Струсил, что ли?

— Чо мне трусить-то... Просто...

— А заливал-то! Заливал! Первый рыбак на Оби! Я уж и правда поверил.— Степан махнул рукой и отвернулся.

— Я струсил? — завелся Борька.— Я заливал? Да ты чо? Да пойдем хоть завтра!

— Нет, я не напрашиваюсь... Не хочешь — не надо...

— Завтра за сетью сгоняю. Струсил! Да ты думай, чо говоришь-то! — не мог успокоиться Борька.

Юра нехотя отдал ему свою трехстенку.

— Зря ты все ж таки,— сказал он.— Колчаки теперь на водометах. Не уйдешь на «Вихре».

— Говорю же — очень надо,— оправдывался Борька, принимая спеленутый брезентом сверток.— Не мне — человеку хорошему помочь. Чо, сеть пожалел?

— Да чо сеть! Пропадет — другую сплету...

— А за меня не бойся. Я теперь за ум возьмусь. В мореходку буду готовиться. Ребята помогут. В школе-то орут только, не объяснят ничего. За учебниками вот зайду.

— Это дело! Это толково,— обрадовался Юра.— Для таких ребят и рискнуть не жалко... Не скандаль опять дома-то!

— Да я туда-обратно.— Борька сиганул с ТБСки на берег и помчался домой.

Он тихонько снял бродни у порога, вошел в комнату — и остолбенел: за столом сидел тренер «капитанов». Перед ним стоял Феликс, мать поодаль, у окна, скрестив на груди руки. Все трое смотрели на него.

Борька рванулся было назад, но так и замер в дверях.

— На ловца и зверь бежит,— сказал тренер.— Куда же ты, пират? Хватит уж бегать-то, давай поговорим, как дальше нам жить?

— А ну, стой! — гаркнул Феликс.— Очень здесь интересно товарищ про твои художества рассказывает... И что ж дальше-то было?

— Да... Так вот, и главное-то, что в первую очередь катер отвязал. Значит, чтоб его не догнали и чтоб яхты не собрать было. Ну, ребята молодцы — на плотиках, на «Кадетах» большей частью успели вернуть. А кто вплавь, ночью-то. Двое с воспалением легких лежат.

— Чо ж они у вас хилые такие? — ехидно спросил Борька.

— А ну помолчи, когда взрослые говорят,— крикнул Феликс.

— Остальные утром нашли — к берегу прибило. А одна все-таки под буксир угодила — пропал «Голландец», чинить нечего, в щепки... Так вот, что я говорю — раньше это еще баловство было. Мелкое, так сказать, хулиганство на воде. Но ведь это же уголовное дело! А если бы утонул кто? А если ночью-то на «Кадете», на этой спичечной коробке,— под судно?

— Да-да... Да...— кивал Феликс.

— И яхта пропала. Она ведь немалых денег стоит. Кто возмещать-то будет?

— А... А вы уверены, что это он на острове начудил? Доказательства есть, свидетели? — насторожился Феликс.

— Видели его — и на острове, и когда в лодке удирал. Догнать его могли еще на берегу — не до него было, все за яхтами кинулись... Так что я говорю: акт надо писать и прямо в милицию нести.

— И пишите. Пи-ши-те! Вы что думаете, я этого уголовника,— Феликс, как пистолет, вскинул палец на Борьку,— покрывать стану? Не стану! Я простой работяга! Я в жизни копейки чужой не взял! Я так считаю: натворил — отвечай! И пусть судят, и пусть в колонию...

— Феликс,— робко окликнула мать.

— Пусть! И пусть там ущерб отрабатывает!

— Да нет.— Тренер развел руками.— Вы поймите меня правильно. Если бы я хотел на него писать, я бы к вам не пошел. Я ведь поговорить пришел, по-хорошему...

— А здесь и говорить нечего! — закричал Феликс.— Пускай с ним милиция разговаривает, а по-хорошему он не понимает. Уж я-то пробовал, я перед ним колбасой катался — и Боречка то, и Боречка это, а Боречка на меня с молотком бросается. Я его, гниду, кормлю, одеваю, обуваю, а он — молотком замахивается! Нет уж, пишите, дорогой товарищ, пишите, а я еще от себя подпишу. Пусть он лучше посидит за мелочь, а то ведь он и человека убьет. Да вы на него посмотрите — ведь убьет, убьет! Он способен, вы ему в глаза посмотрите!

— Феликс! — чуть не плача, позвала мать.

— Что — Феликс? Что? Весь в твоего ненаглядного. Только тот сам себе голову прошиб, а этот другому прошибет. Лодку украл у меня...

— Не твоя! — крикнул Борька.— Врешь, гад, не твоя!

— Украл, и мотор украл! Отвернись — дом растащит!

— Убью! — Борька бросился на Феликса.

Тренер вскочил, перехватил его за руки.

— Видите! Видите! — торжествующе заорал Феликс.— Что ж это творится-то, а? Домой боюсь идти. Дочку запугал, головка у ней уже дергается.

Феликс, как глухарь на току, заводил сам себя и уже не мог остановиться. Он схватил плачущую Иришку, совал ее в руки тренеру. Мать отвернулась к окну.

— Пишите, пишите! Думаете, я за него платить буду? Не буду!

— Да не за что платить, успокойтесь,— сказал тренер.— Яхта списанная была, ни в одной бумаге не значится... Пойду. Извините за беспокойство.

— Так что же,— растерялся Феликс.— Не будете писать?

— Не буду.— Тренер взял Борьку за руку.— Пойдем-ка, пират.

Они вышли из подъезда.

— Да...— протянул тренер невесело. Прикурил, искоса поглядывая на Борьку. Тот стоял, понурив голову.— Здорово живешь... Где родной-то?

— Утонул.

— Да... Что ж с тобой делать-то, а?

Борька молчал.

— Ну, вот что,— решительно сказал тренер.— Пойдем-ка к нам!

— Не пойду.

— Пойдем.— Тренер силком повернул его.— Нельзя тебе одному. Совсем одичаешь. Пойдем.— И повел по улице.

Борька правил поперек воложки к острову. Тренер сидел рядом, кричал сквозь треск мотора:

— Да ты пойми, какие они тебе лягушатники? Они такое хлебали, что тебе в страшном сне не снилось! Я ж по детским комнатам их собирал, за руку приводил. Многие давно срок мотали бы, если б ко мне не попали. Вон Шубину три года светило за кражу, а теперь флагманом стал. Девчонки тоже... не тимуровки были, прямо скажем... А что на тебя ополчились — ты же первый полез! Ты же начал, признайся?

— Но,— неуверенно улыбнулся Борька.

— Ну вот! А если ты с добром, то и к тебе... Главное — держись за нас, человеком станешь!

Борька уткнул моторку в пирс среди яхт, и они с тренером направились к клубу. Обгоняя их, оглядываясь, промчались от пирса мальчишки и девчонки в «капитанской» форме, навстречу из клуба вывалились остальные.

— Становись! — скомандовал тренер.— Равняйсь! Смирно!

«Капитаны» растянулись в шеренгу и подравнялись, настороженно поглядывая на Борьку.

— Ну, принимайте пополнение! — весело крикнул тренер.—

Знакомьтесь — бывший пират, гроза Большой Оби и окрестностей, а теперь член нашего клуба Борис Хромов!

«Капитаны» молча переглянулись.

— Какого клуба?— спросил флагман.

— Нашего с вами. Какого же еще?

— Когда это мы его приняли?

— Вот сейчас и принимаем. А вопросы потом. Договорились?

«Капитаны» молчали.

— Совет «капитанов» выступает против,— сухо сказал флагман.

— А почему это ты от имени совета говоришь?

Флагман высокомерно пожал плечами и оглянулся на «капитанов».

— Да пошел он! — тотчас наперебой закричали те.— Давай, вали, пока опять морду не набили!

— Пусть катится! — громче всех крикнула белобрысая.

Тренер перестал улыбаться.

— Разговоры в строю! — вдруг гаркнул он, будто плетью огрел.— «Смирно» была команда!.. Руки из карманов!.. Береты поправить!..

Под тяжелым взглядом тренера «капитаны» затихли, с угрюмой покорностью подтягиваясь, одергивая форменки.

— Становись в строй! — Тренер подтолкнул Борьку вперед.

— Вы сами устав утверждали, а сами нарушаете,— сказал флагман.— Он нам в клубе не нужен.

— Ха! Не нужен я им! — закричал Борька. Он сбросил плечом руку тренера и отбежал к берегу.— Это вы мне не нужны, поняли?! Нацепили бирюлек — думают, дороже стоят! Еще гирю подвесьте, чтоб долго не мучиться! Тряпки по ветру распустили, думают — короли здесь. Ходят! Вышагивают! — Борьке не хватало слов, он приплясывал на берегу перед «капитанами», показывал, как они поднимают паруса, смотрят из-под ладошки.— Маршировать тут с вами — засмеют потом! Ну? — расставил он руки.— Чего стоите, пузыри таращите? Давайте! Навались! У вас здорово получается — все на одного, только и можете. Ну! Вот он я, как голенький. Шагу от вас не сделаю, позорники. Ну, разом!

«Капитаны» молча смотрели на него. Борька плюнул и побрел к пирсу. Отвязал моторку и вышел из бухты.

Чутко замерли сосны вокруг лагеря. Вода в протоке застыла, как черный лед. Бульдозер неподалеку уткнулся ножом

в землю. Даже флаг повис, будто прикорнул на флагштоке.

Борька тенью скользнул к палатке, осторожно отвел полог, тронул Степана за плечо.

— А? Что?

— Ты чо, спишь? Час потерпеть не мог?

— Задремал чуток.— Степан потер глаза, зевнул.

— Пошли. Время в обрез.

Они сели в лодку, и Борька погреб от берега. Отойдя подальше от лагеря, врубил мотор.

По пути Степан снова заснул, свесив голову на грудь. Борька со зла ударил скулой в волну, окатил его холодной водичкой.

— Ты эти дурацкие шуточки брось,— недовольно пробурчал Степан.

— Деньги свои проспишь...

Углубившись в узкий рукав, Борька заглушил мотор, снова сел на весла. Прибрежные деревья почти смыкались над водой. Степану было явно не по себе, он напряженно вглядывался в темноту.

Внезапно от берега наперерез бесшумно выдвинулась лодка, ударила в борт. Вспыхнули карманные фонарики, ослепили Борьку и Степана.

— Кто такие? Оперативники? Бумагу покажь!

— Какие оперативники?— Борька прикрыл глаза рукой.— Колчака не видал, с человеком путашь?

— Куда прешь?

— Туда же, куда и ты.

— Разворачивай!

— Чо расшумелся-то? Разворачивай! Твои пески, чо ли? Купил?

Степан испуганно помалкивал.

— Разворачивай оглобли,— хрипло сказал второй человек в лодке.— Пока корму не наскипидарили.

— Это кто там такой грозный?— прищурился Борька.— Демидов, чо ли?

— Но. А ты кто такой?— Луч второго фонаря тоже осветил Борьку.— Погоди. Это Хрома сын, чо ли? Борька?

— Но.

— Чо ж молчишь? Это ж Петра Хромова сын. Проходи. Кто с тобой?

— Свой. Ты на стреме?

— Но. Как дуплетом в воздух дам, значит, колчак пошел.

— Знаю, не учи.

Лодка снова скрылась в тени под берегом.

Борька погреб дальше. Полная луна стояла в сером небе. Впереди показались красные светляки горящих сигарет, на мгновение вспыхнула зажигалка, осветив бородатое лицо. Несколько лодок стояли, сойдясь носами. Браконьеры приглядывались к подходящей моторке.

— Еще кого черт принес?

— Здорово, земляки! — крикнул Борька.

— Здорово, коли не шутишь. Ты кто?

— Дед Пихто и бабка Матрена,— ответил Борька.— За кем буду?

На соседней лодке включили фонарик.

— Борька, чо ли?

— Ты, Петрович?

— Ага. За мной и будешь.

— Кто это? — спросили с другой лодки.

И с третьей ответили:

— Хромова сын. Слыхал?

— Кто ж про Хрома не слыхал! Потонул вроде в прошлом лете. За отцом, значит... Эй, малец, тебе сколько лет-то?

— Все мои.— Борька распеленывал сеть из брезента.

— Не рано ли на пески пошел?

— Да он реку лучше многих знат. В лодке ж родился. Петр жену до города не довез...

Борька положил на слани сложенную сеть.

— Значит, слушай сюда. Это трехстенка и есть,— принялся вполголоса объяснять Борька.— Вишь, как бутаброд — с двух боков ячея пошире, а посреди — мелкая. Плавная называется, потому что плывет. Главное, значит, чтоб мережи меж собой не перепутались и чтоб плыла точно поперек. Дело нехитрое, когда привычно. Я на гребях буду, а ты, как скажу, байдон бросишь.— Борька указал на пустую канистру, привязанную к концу сети.— Потом сеть выкладывашь, чтоб балберы — поплавки эти — прямо легли. Понял?

— Понял.

— Когда до конца спустимся — вон до коряжины,— там выбирам. Если колчак не грянет, раза три до солнца пройти успеем.

Степан поежился:

— Слышь, Абориген! Я у тебя вроде водку видел.

— Но?

— Дай глотнуть. Холодно что-то.

— Не пьют на реке,— нахмурился Борька.

— Жалко, что ли? Ну, ты даешь, Абориген! Для друга пожалел. Что будет-то с одного глотка?

Борька вытащил из «бардачка» бутылку. Степан открыл зубами, гулко глотнул, отдышался, глотнул еще раз и поставил рядом с собой.

— Борька! Спать будем? Пошел,— крикнул кто-то.

Борька взялся за весла.

— Ну, поехали. Бросай!

Степан бросил байдон на воду, стал выкладывать сеть, путаясь пальцами в ячее. Борька отгребал поперек рукава, натягивая сеть.

— Ровней клади. Да не путай стенки-то! Растряхивай! Давай! Давай! Сносит, видишь!

Наконец Степан выбросил всю сеть. Балберы изломанной линией встали поперек песков. Борька подгребал, держа лодку на одном уровне с байдоном, плывущим по течению у дальнего берега.

— Ну, выложил крендель — как бык на ходу налил... Поддерни тетиву! Да сильней дергай, не порвешь!

Балберы вздрагивали от ударов рыбы в сеть.

— Много будет? — спросил Степан.

— Возьмем — посчитам. На сеть смотри!

У коряжины Борька с силой заработал веслами, подошел к байдону, свернув кольцом сеть, вскочил сам.

— Тяни!

Они в четыре руки стали выбирать сеть. Лодка накренилась, почти легла бортом.

— Вытряхивай, тряси на слани! — командовал Борька.— Вот он, муксун! Сладкая рыбка, сла-адкая! Ох, хорош!

Они вытягивали сеть, выдергивали из ячеи рыбу, бросали на слани, неловко переступали, оскальзываясь на бешено бьющемся муксуне.

— Вся? Так. Теперь складывай стенку к стенке. Слежится — не раздерешь... Теперь рыбу в мешок. Да после любоваться будешь!

Они побросали рыбу в мешок, вернулись к концу очереди. Здесь Степан вытер о штаны мокрые руки, закурил. Папироса прыгала в окоченевших, порезанных сетью пальцах.

— Чо, дрожат руки-то? Муксуна брать — не кашу кушать,— добродушно сказал Борька.— Однако, ничо сегодня идет...

Они отдыхали, сидя напротив. Под ногами бугрился набитый рыбой мешок.

— Слышь, Степан, ты на каком корабле служил? На крейсере, на эсминце?

— На адмиральском катере, мотористом,— усмехнулся Степан.— Повезло! Служба не бей лежачего. Начальства нет — загораем. Или на пляже девок возьмем, катаемся.— Он мечтательно покачал головой, достал бутылку, отхлебнул еще пару раз.

Неожиданно в стороне грянул дуплетный выстрел. И тотчас — с другой стороны.

— Колчаки! — зашумели на лодках.

— Бросай сеть! Режь ее, режь!

— С двух сторон идут! Заперли, гады!

— Рыбу кидай! Не уйдем!

Вокруг заводили моторы, разворачивались кто куда. Заповедные пески наполнились грохотом движков. С обеих сторон в рукав влетели по два катера рыбнадзора, мощные прожектора заметались по воде.

— Глуши моторы! — раскатисто прогремел с катеров мегафон.— Всем на месте!

— Пропала лодка! — отчаянно закричал Борька.— Ах, один черт, пропала!

Он круто развернулся и рванул из рукава. Катер подался вперед, загораживая проход, навис форштевнем — Степан аж пригнулся. Но Борька успел проскочить и дал гари. Катер повернул следом и без труда стал нагонять.

Степан сидел, вцепившись обеими руками в борта, вжав голову в плечи. Борька направил лодку в узкую старицу — катер пошел за ним, светя прожектором в спину.

— Держись! — заорал Борька.— Ногами упрись!

Степан в ужасе выставил вперед руки — Борька правил прямо в густые прибрежные кусты. Пронзив заросли, лодка скользнула днищем по закоску и, как с трамплина, пролетев несколько метров, упала на воду.

Катер, огибая закосок, отстал, но, нашарив прожектором вдалеке Борьку, снова кинулся вдогон. Борька еще раз круто свернул, убавил гарь и пошел по мелкой протоке под самым берегом, прикрываясь рукой от хлещущих по лицу прутьев. У борта из черной воды торчали растопыренные карчи. Катер влетел было в протоку, но тотчас наткнулся на карчу, его развернуло поперек, бросило в берег.

Борька вышел на чистую воду и заглушил мотор. Они посидели в тишине, глядя друг на друга.

— Ушли,— сказал Борька.— Колчак, видно, пришлый — на карчи поперся.— Он вытер лоб пятерней и улыбнулся: — Чо, напугался?

Степан вытащил водку, стал пить большими, гулкими глотками. Отдышался, повел вокруг ошалелым взглядом.

— Напугаешься тут... Думал — все, как ты на берег пошел.

Борька засмеялся:

— Я этот закосок лет пять знаю. С отцом уходили... Главное, движок вовремя поднять, а то винт срежет... Ну, чо, побрели домой? Отловились на сегодня...

Он пристал к берегу не доходя лагеря. Палатки уже видны были за сосняком.

— Вот через лесок пройдешь. Будто из лесу, мол...

Степан допил водку и запустил бутылку в реку.

— Тихий час в детском саду... Отдыхают... от будней...

— Тише ты.

— А почему это я вдруг тише? Кого мне тут бояться?

Степан занес ногу на берег — и рухнул в воду.

— Напился-таки.— Борька принялся его поднимать.— Говорил же — не пьют на реке.

— Это я напился? Только зубы пополоскал. Тихоокеанский флот!

— Ну, скорей, чо ли! — чуть не плакал Борька.— Светат уже. Мне рыбу везти — любой колчак остановит.

— А что мне твои колчаки? У меня вон своих...— Степан, качаясь, пошел к лагерю.

— Ты ложись сразу, чтоб не услыхал кто...

— А ты кто такой, чтоб мне указывать! Пускай слышат! Рабочий человек идет! Я — базис! Ты понял? Я — базис, а они у меня вот здесь.— Степан похлопал себя по шее.— Надстройка!

Борька столкнул лодку, отгреб на середину протоки и рванул стартер.

Он передал Юре сеть, спустился за ним в кубрик. Юра, против обыкновения, был угрюм, глядел в сторону.

— Чо добыл?

— Ничо.— Борька стал рассказывать, возбужденно размахивая руками.— Раз пройти успели — тут колчак и грянул. Знал, должно,— с двух концов на четырех лодках. Ну, мы кто куда!

Демидова сразу взяли, видел; Петровича тоже. Один за мной, а я в Гнилой рукав — там под яром-то чисто, сам знашь, а он в карчах завяз, а я оттуда в Озерную — и гари!.. Сдал уж Михалине.— Он вынул деньги, показал гордо.

— Феликс приходил,— сказал вдруг Юра.

— Чего ему? — напрягся Борька.

— Велел шумнуть, когда явишься... Это...— Юра снова отвел глаза.— В специальную школу тебя хочет определить... В такую, для этих...— он покрутил пальцем у виска,— для отсталых...

— Да ты чо? — Борька улыбнулся даже.— Я чо, дурак, чо ли? Да у нас полкласса как я учатся! Чо ж, всех туда?

— Надоумил его кто-то. Он уж договорился, чтоб врач, значит, тебя... признал... И молоток еще...

Юра упорно смотрел в сторону, и Борька вдруг понял, что это всерьез. Так всерьез, что дальше и плыть некуда.

— Да нормальный я!

— Чо ты мне кричишь? Я-то знаю...

— Так скажи им!

— А кто я тебе? У них с матерью все права. Чо захотят, то и сделают... Это они, чтоб тебя с глаз долой... В интернат, значит, в Вартовск, то ли в Тобольск.

— Да кто ж меня после этого в мореходку возьмет?!

Борька посидел сгорбившись. Потом поднялся, вынул из стола шкатулку, взял все деньги и пошел из кубрика. Юра поднялся на палубу, молча смотрел, как Борька отвязывает лодку.

— Это... Не вернусь я больше,— сказал Борька.— Уеду с отрядом, затеряюсь. Сколько денег хватит — уеду, а там в детдом пойду сдаваться. Сирота, скажу. Не дайте пропасть...

И, не оглянувшись на город, он пошел вверх по реке.

У берега стоял огромный буксир-толкач «река-море», плавучий небоскреб с белой надстройкой. На заплесок были скинуты сходни, люки моторного отделения открыты — чинились, видно. Борька пристал чуть ниже, нерешительно поднялся по сходням. Навстречу вышел молодой парнишка в черной форменке с золотыми «птицами» на рукаве, веселый и круглолицый.

— Здрасте,— сказал Борька.— Мне б капитана.

— Добрый день. Капитан слушает.

— Я это...— замялся Борька.— Я лоцию посмотреть, можно?

— Лоцию? — насмешливо вскинул брови парень.— Прошу.

Борька шагнул за ним в рубку, огляделся: рубка простотаки сияла чистотой, кругом подрагивали стрелками непонятные приборы. Парень положил на штурманский столик лоцию.

— Заблудился?

— Вроде.— Борька деловито полистал книжицу, открыл на нужном листе, уверенно ткнул грязным ногтем.— Значит, мы здесь... А мне сюда... Значит, так и так...

— Разбираешься? — искренне удивился парень.

— А то! У вас еще лоция не полная. Вот тут свальное течение, а у вас не обозначено. А тут карчи сплошняком — не пройдешь, а тут пересохло давно. А вот отсюда прямиком старица. Вы подрисуйте, я-то знаю.

— Спасибо за информацию,— усмехнулся парень.— Только мы в эти протоки и не втиснемся... Значит, лоцию ты лучше меня знаешь. С чем причалил?

— Это... Возьмите меня к себе. Юнгой.

— Прямо сейчас?

— Не, сейчас я не могу. Я с отрядом тут. Провожу их — догоню. Я все могу — вести могу, я фарватер знаю, палубу мыть могу, готовить...

— Ты что, серьезно? — спросил парень.

В рубку заглянул механик в тельняшке с закатанными рукавами, вытирая ладони промасленной ветошью.

— Кто таков?

— Да вот юнгой к нам просится,— развел руками капитан.

— Ты сколько классов кончил, салага?

— Семь.

— А зовут как?

— Борька.

— Так вот, Борька. Это я после войны юнгой ходил. А теперь юнг нет. Время теперь другое. Кончай восьмой, поступай в речное, а там — милости просим.

— Тогда меня любой возьмет. Вы сейчас возьмите.

— Да как я тебя возьму? — сказал капитан.— Кто мне разрешит тебя взять? Никто тебя не возьмет с семью-то классами — макароны разве продувать. Не на галере ведь ходим. Там грести — ума не много надо. Вот это с чем едят, к примеру? — Он положил руку на какой-то прибор.

Борька пожал плечами.

— Локатор это. А как устроен, знаешь? А это? А дизель как фурычет?

— Ясно,— сказал Борька.— Извините.— Он пошел по сходням.

— Эй, Борька! — крикнул механик.— Случилось что? Погоди!

Борька не обернулся.

В устье Тромъегана Борьку перехватил мужик на яркокрасном «Нептуне» с мотором «Меркюри». Могучий двигун, иностранный, сил больше, чем в «Жигулях», и стоит небось столько же. И сам мужик был какой-то иностранный, с седой гривой до плеч и в темных очках. Он посигналил переливчатым автомобильным гудком, Борька сбросил гарь, и они сошлись бортами.

В катере у мужика курили девицы в пестрых анараках, орал магнитофон. Сиденья были обиты бархатом.

— Направо пойдешь? — спросил мужик, повернув к Борьке темные очки.

— Но.

— Будь любезен, загляни во вторую протоку, найди некоего Борьку Хромова, передай следующее: «Куйбида шумнул, мол, Федор в милицию подал за угон».

Девицы равнодушно смотрели на Борьку.

— Феликс? — спросил он, холодея.

— Да, Феликс. Ну, прощай.— Мужик врубил скорость, и могучий «Меркюри» унес девиц и обрывок музыки.

Борька остался сидеть, опустив голову. Значит, уломалтаки Феликс мать подать на розыск. Летят сейчас по телефонным проводам вдоль всей Большой Оби номер лодки и Борькины приметы: лопоухий, росту среднего, вида неказистого.

Видно, открытка на машину пришла.

На просеке было непривычно тихо. Стройотрядовцы сидели на конструкциях опор, на перевернутых носилках, просто на корточках. Напротив стоял командир, рядом пристроилась с листами бумаги на коленях Ирина. Поодаль от всех — мрачный, с припухшим лицом — Степан.

— Трудовой привет! — крикнул Борька, подходя.

Все ответили, но негромко или просто кивком.

— Заседаете, чо ли? — смутился Борька.— Я пойду пока.

— Да нет, присаживайся. Очень кстати,— сказал командир.

Борька присел около Степана.

— Продолжаем,— сказал командир.— Сначала повторю для того, кто не в курсе.— Он кивнул на Борьку.— Этой ночью в отряде произошло ЧП. Боец отряда Смирнов самовольно отлучился из места дислокации отряда. Вернулся в нетрезвом состоянии, устроил драку, оскорблял товарищей. Одним словом, выяснял отношения... А теперь могу сообщить то, чего никто еще не знает. Сегодня утром я связался с Сургутским штабом. Им звонили из инспекции «Рыбнадзора». Ночью среди браконьеров, ведущих незаконный лов рыбы, видели человека в форме нашего отряда...

— Мало ли кто форму мог надеть!— крикнул Степан.— Очную ставку проводить будешь?

— У нас не следствие, а это не обвинение. Просто информация,— сказал командир.— Я постарался этот вопрос снять. Только браконьерства нам не хватало.

— Давайте-давайте! Валите все на меня!— не унимался Степан.— А на Камчатке никого не видели? Так это тоже я— туда-обратно.

— Тебе слова еще не давали,— сказала Ирина.

— Я уже говорил, что вопрос снят. Достаточно того, что есть: уход из отряда, нарушение сухого закона, хулиганство. Все знают, что Смирнов вел себя вызывающе, противопоставлял себя коллективу, провоцировал конфликты. Так что сегодняшнее ЧП — не гром среди ясного неба, а закономерный итог. Мы собрались, чтобы принять конкретное решение. Но сначала послушаем Смирнова, может быть, он объяснит что-то, чего мы не понимаем...

Борька сидел ни жив ни мертв, не решаясь взглянуть на ребят, склонив полыхающее лицо к коленям. Рядом с ним поднялся Степан, большие кирзачи его с налипшим на подошву цементом переступали, приминая песок.

— Виноват,— сокрушенно сказал он.— Что уж тут говорить... И там, с браконьерами,— тоже я. Мы вот, вдвоем... С первого дня приставал: пойдем на пески, за ночь по сотне на брата возьмем... Водка у него была...

— Да как же...— Борька вскинул голову, не веря собственным ушам, растерянно огляделся.— Я ж...

— Помолчи,— оборвал его командир.— Легко же тебя уговорить, Смирнов.

— Да о чем речь?— развел руками Сан Саныч.— Ты взрослый человек, Степан, ты за себя отвечай!

— Не о том я! — сказал Степан.— Для него же, помочь хотел! Сами знаете, он на мореходку копит — много по рублю насобирает? Я ж тоже без родного отца рос, мне-то его не понять!

— Ну и дерьмо же ты, Степан,— удивился Витя.— Как же я — за два года — не разглядел?..

— Думаю, все ясно,— сказал командир, дождавшись тишины.— Предлагаю бойца Смирнова за нарушение дисциплины из отряда отчислить. Кто «за»? — Он поднял руку.— Единогласно.

Степан оглянулся на поднятые руки, еще не веря, потом едко усмехнулся:

— Добились своего? Давно мечтали. Я ж вам мешал героями быть. Командиру-то я особо мешал. Только меня так просто не сожрешь, подавишься! Я напишу, отражу скрытые мотивы, про гулянки при луне с отдельными бойцами...

— Слушай, вали-ка ты отсюда, пока я...— приподнялся Витя.

— Это тоже прошу занести в протокол,— насмешливо сказал Степан.— Угроза физического насилия.— Он повернулся и пошел к палатке.

Борька стоял как вкопанный.

— Ты тоже собирайся пока,— сказал командир.

— Его-то за что? — недоуменно спросил Сан Саныч.

— Ты что, поверил, что Степан нес? — сказал Витя.

— Не в этом дело... Глупо отчислять одного и оставлять другого. Нелогично.

Борька посмотрел на Алену. Она сидела, опустив голову, волосы затенили лицо. Борька на деревянных ногах двинулся за Степаном.

Борька правил по Оби вслепую, не видя пути из-за жгучих слез. Он сжимал зубы, зажмуривал глаза, а слезы сами собой выкатывались из-под ресниц, ползли по чумазым щекам.

— Водочки бы,— сказал Степан.— Не осталось чуток? — Он заглянул в «бардачок».— Первым делом в кабак завалюсь. М-м...— мечтательно прикрыл он глаза.— На белой скатерке... Упьюсь до поросячьего визга, теперь никто не запретит... Пойдем в кабак, Абориген. Мы вроде товарищи по несчастью. Ну, чего слюни-то распустил?

— Чо же ты? Я ж тебе... Я ж тебе верил... Я ж для тебя всё!

— Сам виноват! Все из-за тебя, дебила! Я нарочно на тебя

валил, а ты варежку разинул. Надо было в ноги падать — виноват, мол, жизнь довела, больше не буду. Тебя бы пожалели, и я как бы ни при чем...

— У меня ж не было никого, кроме вас. Я же уйти с вами хотел, уехать...

— Куда? Кому ты нужен! — разозлился Степан.— Это они здесь с тобой, как с писаной торбой: «Боренька бедненький, Боренька кормилец!» А уедут — кто про тебя вспомнит? Кто с тобой возиться станет?!

Степан угодил по больному. Хоть и не думал Борька об этом, старался не думать: в прошлом отряде тоже души не чаяли, обнимались на прощание, обещались писать, к себе звали, увезли полные рюкзаки рыбы — и как в воду. Борька три письма сочинил — ни ответа ни привета.

— А! — Степан махнул рукой.— Сволочи!.. Что тебе-то, дураку? Ты знаешь, что это такое, когда из стройотряда исключают? Из комсомола выгонят, из универа, считай, уже вылетел. Все пропало... Все насмарку... Лез из грязи, зубами цеплялся... Ух-х...— Он бессильно сжал кулаки.— Не уеду из Москвы, пока не встречу. Бить буду, бить, бить, пока ноги мне не поцелует, выродок генеральский!.. А эта сучка-то, а? — Он зло засмеялся, мотая головой.— Стелется под него, стелется. Про романтику поет, на звезды смотрит, а как ночь, так к нему в палатку скребется, дешевка! Она-то свое не упустит, она его в постель уложит, вместе с папой-генералом, и с дачей, и с «Волгой». А не его, так другого. Много их в Москве, таких...

— Это ты про кого? — ошеломленно спросил Борька.

— Про кого? Да про Ленку, любовь твою. Это ж весь отряд со смеху дох, как ты на нее пялился. Губищи-то раскатал! Не про вашу честь! Нужен ты ей, как...

Борька подошел к берегу, заглушил движок, встал.

— Вылазь.

— Чего ты? — удивился Степан.

— Вылазь, говорю. Пешком дойдешь.

— Да ты что, Абориген? — Степан тоже встал.— Умом, что ли, повредился? Я ж тебя самого...— Он шагнул к Борьке.

Тот наступил на борт, качнул лодку — Степан взмахнул руками и рухнул в воду. Борька выбросил следом его рюкзак и рванул стартер.

— Борька, куда ты? — закричал Степан, стоя по пояс в воде, вслед удаляющейся моторке.— Борька! Куда-а?!

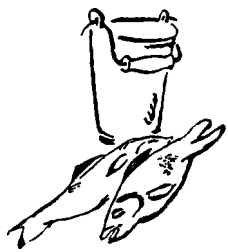
«Куда-а!» — подхватил эхом лес.

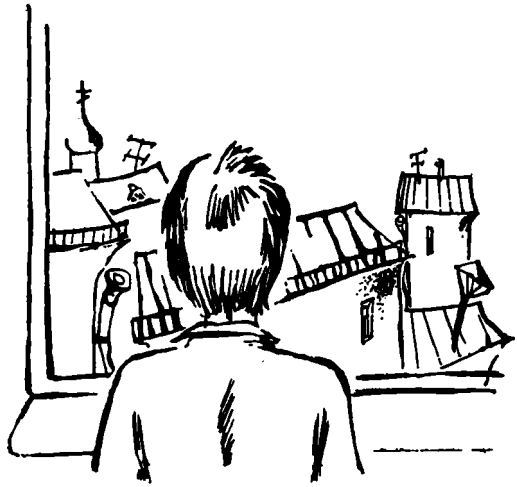
«Куда-а-а!» — полетело от яра.

Борька, застопорив ход, смотрел вперед. От Подковы, кренясь, шли навстречу яхты. Заботливо кружился около них тренерский «Нептун». Скользили мимо моторки, катера, обласки. Натужно тянули и толкали караваны барж буксиры. Шли сухогрузы, танкеры, «Кометы». Над портом деловито вращали стрелами краны.

Борька круто развернулся и пошел от города — дальше, дальше. Куда? Все одно куда. Вон сколько народу по обоим берегам Большой Оби: строят, валят лес, сосут нефть. Не может человек пропасть среди людей. Пусть недоучка, пусть без документов — но человек же! А человек должен быть кому-то нужен.

Москва 1986 г.





С. Винокурова[1]

КАССЕТЫ ШОХИНА

Повесть

Кассета первая

Ну вот. Проверил, пишет вроде нормально. Так что можно начинать... Я еще вчера придумал — что делать с Колькиным подарком. Колька мой сосед. Он у нас в классе вожатым был раньше... А в прошлую пятницу у меня был день рождения, а его забирали в армию. И он подарил мне все свои кассеты! Шесть штук. Сказал, все равно потом не до них будет... Он к родителям возвращаться не хочет. Всю жизнь с ними жутко ругался. Я их через стенку

[1] © С. Винокурова, 1989

часто слышал. Он хочет после армии в тайгу, с геологами... Ну, а я не какой-нибудь меломан, и так времени не хватает. Загонять неудобно, все ж подарок... А вчера вот что в голову пришло: начну рассказывать про то, как живу. Когда-нибудь будет здорово интересно послушать себя самого. Если так посмотреть — ведь сколько всего каждый день случается! А говорю тихо из-за предков. Решат еще, что психом стал... Ночь кругом, а я бормочу неизвестно что. Сегодня двадцать четвертое октября. Кончается уже. Скоро каникулы, ура! Поездим с Сашкой в Архангельское, порисуем. Сашка мой лучший друг, с четвертого класса вместе сидим. Немецкая Селедка, наша классная, Сашку не любит. Называет никчемным и бестолковым. Только это чепуха! Ему просто дико скучно в школе, вот и читает на всех почти уроках и учится средне. Такие книги, которые он уже читал, сама Селедка в жизни небось не открывала! Рисует он ничего. В художественную школу, где учусь, сто раз его тащил. Но он чего-то стесняется. С натуры Сашка рисует, конечно, слабее меня. Потому что редко. А вот свои сны — очень клево! В художке я сказал одному, а он: «Сон? Да я их задней левой десяток за час нафигачу!» Трепло. Пусть сначала попробует... А завтра Илья Ильич выходит! Снова нас поведет. Наконец-то выздоровел... Притащу ему летние наброски и этюды, интересно, что скажет. А сегодня, когда шел из художки, так смешно с одной девчонкой познакомился! И сама девчонка смешная. Металлистка, говорит. Но не потому, конечно, смешная, что в шестом и что металлистка... Так, вообще. Не видал еще таких. Влип с ней в одно приключение. Завтра увидимся на Арбате. Пойду туда с Борькой. Он уже кончает художку. На Арбате подхалтуривает. А мне там надо наброски поделать к композиции — задали тему «Москва»... А эта девчонка — Оля — просто так придет, с друзьями... Ой, вроде мамины шаги! На всякий случай вырубаю... Все.

Пожалуй, ничего особенно смешного в знакомстве семиклассника Владика Шохина с Олей не было... Произошло оно, скорее, не совсем обычно. Как люди знакомятся? Люди тринадцати-четырнадцати лет? Как правило, в компании. На дне рождения, например, или слушая у кого-то музыку, или просто вечером — в местах, известных тем, что все тут собираются... И постепенно выясняется, что кому-то говорить друг с другом намного интересней и приятней, чем с прочими. В основном

бывает так. А тут — шел себе Владик домой, шуршал листьями и вдруг услышал:

— Эй, чувак, поди-ка сюда!

На территории детского садика около песочницы стоял то ли пацан, то ли девчонка — от грибка падала тень, и разобрать было трудно.

— Перебьешься,— осторожно ответил Владик. Однако остановился.

— Ну поди, по-хорошему тебя просят... Испугался, что ли?

«Дешевая подначка»,— подумал, усмехнувшись, Владик и нерешительно перелез через низкий забор детского сада.

— Этого хмыря помоги поднять, а? — сказала девчонка, тряхнув лохматыми волосами, и Владик увидел криво сидящего у ножки гриба мужчину.

— Вставай, дядь Паш... В милицию захотел, да? Они-то быстро подберут! — задергала его девчонка за воротник плаща.

— О-ля,— сказал мужчина.— Из три-ста седь-мой квар-тиры.

— Да, да! — насмешливо и сердито ответила она.— Это Оля. А это дядя Паша из триста восьмой! Дурака тут валяет. Что, за тетей Леной сбегать?

После одной неудачной попытки мужчина все-таки встал. Владик пошел справа от него, придерживая за тяжелую руку и дыша в сторону... Шли молча, девчонка за всю дорогу не сказала Владику ни слова. И так же молча оттащила его за локоть на лестницу, когда они поднялись в лифте и она позвонила в триста восьмую...

— Та-ак! — услышали они резкий, заплаканный голос.

«Тетя Лена?» — подумал Владик.

Дядя Паша ответил тихо и невнятно, зашумел обо что-то внутри, и дверь захлопнулась.

— Я бы, конечно, и без тебя обошлась,— сказала Оля.— Но все равно спасибо. Теть Лена без конца моей мамке плачется на его пьянку.

— Она тебя что, просила его найти? — удивился Владик.

— Меня? Еще чего! Мне этот дядя Паша — до лампочки!..

— Ну и тип! — Владик пожал плечами.— Прямо из «Фитиля».

У девчонки был короткий вздернутый нос и разные глаза. Или это электричество путало цвет? «Да нет,— поправил себя Владик,— оно, наоборот, должно скрадывать!» Один глаз под светлой челкой был как будто карий, другой — не то желтоватый, не то зеленоватый. Узкие губы загибались твердыми ско-

бочками на концах. «Ничего девчонка,— подумал он,— занятная!»

— Ну, я пошел,— сказал Владик.— Мне пора.

— А сколько сейчас? Часы есть?

— Пять минут десятого.

— Тогда вместе пойдем,— сказала Оля.— Проведу, а то выловят. После девяти нельзя же без взрослых, забыл? Попадешь еще из-за меня в милицию. Ни разу не попадал? Это сразу по тебе видно...

— Так уж и сразу? — засмеялся Владик, прыгая вслед за ней по ступенькам. Оля так с ним говорила, словно это она была старше, а не Владик! Но не обижаться же на девчонку...— Ты, что ль, попадала?

— А то нет! Продержат, родичей вызовут... Ничего хорошего!

Немного он все-таки обиделся и у пустыря небрежно сказал:

— Ну, все, топай домой. А то тебе далеко будет.

— За меня не беспокойся! Сам не налети. Ну, ладно. Привет! — Она подняла руку, на запястье звякнула цепочка... И вдруг схватила его за плечо: — Едут!.. Давай за мной!

Они влетели через широкий пролом в заборе на стройку и забежали в темный подъезд... Мимо забора медленно, обшаривая дорогу и кусты фарами, проехал милицейский «газик».

— Видал? Я ж говорила! — радостно сказала она.

— Ну и реакция у тебя! — слегка задыхаясь, покрутил головой Владик.— Я даже не услышал ничего... Слушай, а откуда ты все знаешь? Дыру эту, подъезд сразу нашла...

— Я люблю тут лазить. Я вообще лазить люблю. Хочешь, сходим наверх? Знаешь, как там классно!

Под ногами что-то неприятно крошилось, лестница поднималась бесконечным зигзагом, а перил не было. Ослепительно белые прямоугольники на стенах резали глаза — свет прожекторов бил сквозь пустые окна... Но наверху и правда оказалось удивительно! Пустая огромная площадка, как футбольное поле, и ни одной стены. Этот этаж строители кончили, а новый начать не успели. Глядеть вокруг было и жутковато, и здорово... Неба больше, ветра больше.

Вслед за Олей Владик подошел к краю. Открылся тускло сияющий до самого горизонта город, и Владик не без труда

отыскал глазами Олин и свой дом. А потом они отошли на середину и легли на спину, лицом в небо, и все, что осталось где-то внизу, в темноте, показалось таким чужим и ненужным! Словно бы его и не было... Были только они и эта площадка — как космический корабль, который в космос еще не прорвался, а Землю уже покинул. И они взлетали на нем в черную неизвестность, от близости неба захватывало дух, и верхушка крана, вздымавшаяся слева, была как крыло звездолета... Ветер сильно гудел в высокой стреле крана — такой осенний, чистый и холодный ветер!

— На кране я тоже была. Но в кабину не заберешься, люк на замок запирают... Какая тут свобода — чувствуешь? — Оля вдруг вскочила и во все горло закричала: — Хэви метал!!!

Владик от ужаса чуть не дал ей по шее: на такой вопль полгорода сюда сбежится! Совсем без головы человек, на все ей плевать!

Она рассмеялась:

— Бежим вниз?

Они выбрались на дорогу через другую дыру в заборе. Но сначала посидели около этой дыры, поглядывая по сторонам — нет ли опасности? Смотрели и говорили о разном. Владик сказал, что рисует и собирается завтра на Арбат, Оля — что тоже там бывает и, может, заглянет со своими... На шее у нее болтался ключ на шнурке. Владик спросил, улыбаясь:

— Что, это тоже метальный знак?

Оля серьезно ответила, что нет, просто часто теряет ключи, вот и вешает для целости.

Друг о друге они узнали все, что можно узнать за полчаса. Но Владик с удивлением чувствовал: Оля настолько другая, что ничего он в ней и ее жизни не понимает! И того ощущения, которое бывает при первом разговоре с будущим другом — что сто лет знаешь этого человека! — у него тоже не было. Наоборот. Словно она — существо вообще не с его планеты и все там иначе... Как? А неизвестно пока! Вот такое у Владика было странное ощущение.

Номер ее телефона он так и не спросил. Дело обычное — обмен после знакомства телефонами... Но Владику не хотелось портить обыкновенными вопросами то, как все получилось у них. К тому же ее дом он запомнил, зрительная память у Владика была сильная. Не зря же он рисовал, в конце концов.

...Сегодня двадцать шестое октября. Среда. Расскажу сразу про вчера и про сегодня. Значит, пришли с Борькой на Арбат. Ну, он разложил все, стал ждать клиентов. А я пошел бродить. Народу было! Хотя рабочий день и до вечера далеко... Наброски у меня что-то не очень шли. Вернулся к Борьке. А ему повезло! Гляжу, сидит перед ним военный. Еще не очень старый такой, лет тридцать на вид. А Борька в этом году кончает и среднюю школу, и художку. Хочет в Строгановку. Но я думаю, навряд ли... Техника слабовата, если честно. А физиономия у дядьки была ничего, характерная! Только выражение лица... ну, примерно как у героев из довоенных фильмов. Я встал сбоку, тоже начал набрасывать. Откуда появилась Оля, даже не заметил! Но самое смешное было потом. Военный попросил и меня показать рисунок. Я его в профиль сделал. И мой ему, кажется, больше понравился! В общем, вместо десяти он дал шестнадцать рублей! Сказал: если разделим пополам, будет справедливо. Но впрочем, говорит, дело ваше... Во ловкий мужик! По мне — пускай бы Борька брал себе червонец, по таксе. Я и от шести прибалдел... Но он все ж всучил мне половину. Расстроился, по-моему... Чтоб не мозолить ему глаза, пошли с Олей есть пирожные с фантой. Мы еще много чего ели! Пока деньги не кончились. Прямо не знаю, как в нас влезло... Она тоже откололась от своих. Их четверо было. По возрасту — как Борька. Сказали ей: «Гуляй, проволочка!» Металлисты своих младших проволочками зовут! А Оля меня зауважала, ей-богу. Оказывается, думала, что треплюсь больше, чем на самом деле умею... Это вчера. Теперь про сегодня. Сегодня живопись вел Илья Ильич. Мы так обрадовались! После занятий показал ему, что наработал летом. Про наброски он сказал: «Очень, очень неплохо, Владислав». От него такие слова услышать — здорово. Но я и сам вижу: люди у меня все лучше получаются. А про акварели он сказал, что пространство во многих из них не разобрано, но состояние схватил почти во всех. И с цветом «начал сознательно работать»... Вот. А глаза у Оли правда немного разные. Вчера специально поглядел. Зеленоватые, но один — с оттенком как у меда. Не пойму, как заметил эту разницу! Тогда, на лестнице... Эх, еще физику делать и английский! А времени почти десять... Сейчас с Сашкой по телефону трепался. У меня дома полно хороших книг, и я даю ему покопаться. Конечно, пока родителей нет. Они не очень-то дали бы... Сашка много интересного потом выдает. Сегодня выдержки из Экклесиаста читал. Это в

Библии, кажется. Еще объяснял про солипсизм. Учение, по которому ничего нет, кроме тебя! Все, что видишь,— просто результат работы твоих чувств, разума... То есть на самом деле нет ничего. Все только кажется... Занятно. А завтра еще классный час. Опять Немецкая Селедка будет нудеть про отметки и ругаться. Она страшно нервная. Чуть что — сразу в крик. А ноги у нее чудны́е! До того тонкие! Сама не очень худая, нормальная, а они — как от другого человека... Все же хорошо, что я учу английский, а не немецкий. Сашке хуже, он у Селедки. Нас ведь по оценкам разделяли. Кто лучше учился — на английский записали. А кто так себе — на немецкий. Ну, всё на сегодня. Еще уроки эти... Эх! Ну, все.

Уже ноябрь. Двенадцатое сегодня. Вот время несется! Каникулы кончились... Одно хорошо: вторая четверть самая короткая... Но я много чего успел! Порисовали с Сашкой. Я маслом пробовал. Пока пишешь — нравится! А позже глянешь — и сразу согнуть и в мусоропровод спустить охота... О Гойе две книги прочитал — Фейхтвангера и Шнайдера. И о Серове одну. Такие книги так настраивают! Еще на выставке импрессионистов из музеев США были. У Модильяни «Мадам Помпадур» — вещь! Еще весной не оценил бы ее, честное слово. А сейчас... Глядел, глядел — с ума сойти! А про портрет Жанны Венц Тулуз-Лотрека Сашка точно сказал. Что лицо у нее уже постаревшее, а вот выражение и взгляд — как у совсем маленькой девчонки. Поэтому ее как-то жалко, что ли. Тревожно, в общем, смотреть — так он сказал. А я вдруг заметил в ее чертах жесткость! Похожая бывает у пьющих — каждый день хожу из школы мимо очереди, пригляделся. Но Сашке не стал говорить. У его мамы, теть Наташи, есть в лице то же самое. Жестяное... Она выпивает после смерти Сашкиного отца, сама мне сказала. Я как-то раз неудачно к ним зашел, и она извинилась и сказала... А так она хорошая. Никогда собак не выгоняла, которых Сашка подбирал. Моя мама два раза выкидывала. Жалко, что мы с Сашкой тогда еще не дружили. Я бы ему отдал того щенка, рыжего, со сломанной лапой. С тех пор я никого домой не приносил... У Олиного подъезда живет пес с точно такой шерстью. Если б у него не были целы все лапы, подумал бы, что он вырос из того щенка... Зовут Димка, всех во дворе знает, и его все знают. Под батареей на первом этаже — он там спит — стоит миска. В ней всегда что-то есть —

не только ребята его кормят, некоторые взрослые тоже. Два года уже в подъезде живет! Довольно здоровый для дворняги. А соображает! Дверь в подъезд цепляет своей лохматой лапой, подставляет плечо — и внутри... Уши обычные, дворняжьи, смешно болтаются на бегу. Но у него даже уши кажутся почему-то умными... Надо бы его нарисовать. С Олей по тому дому еще лазили. Она жалеет, что осень кончилась. Говорит, самое удобное время для лазанья. Не холодно еще, и темнеет рано — никто не увидит, не сгонит. Летом она поедет к тетке в деревню. Там она забирается на высоковольтные мачты. Ненормальная девчонка... Уже три недели знакомы. А узнавать дальше все интересней... Сказала, что у тетки классно. Речка есть. А в заброшенном саду — шалаш. Они там стреляют из луков. Предложила приезжать. Я бы поехал, да кто пустит... Порисовал бы на полную катушку, конечно! Надоели эти юга. Предки каждый год туда таскаются. В этом, наверно, тоже... А кассета кончается. Потому так быстро, что Колькины записи, которые мне нравятся, не трогаю. У него авторская песня в основном. Вот на той стороне — Галич! Его, конечно, оставлю... Минута до конца, что бы еще сказать? За окошком снег с дождем. Совсем лиловый в свете фонаря! Ух ты, это надо не забыть. Что лиловый. Родители на кухне опять ругаются... Как только не надоест! Заберу сейчас телефон к себе, звякну Оле. Вчера звонил, но ее мама сказала — ее не будет. Уж в третий раз так попадаю. Где же она ночует, интересно? Что нарочно не зовут к телефону, не похоже... Вообще здорово вспоминать, что она есть. Ладно, пойду за телефоном. Все.

Кассета вторая

Девятнадцатое ноября, уже суббота. Ух и выступала сегодня Селедка! Трясла своими очками... Конечно, мы ведем себя возмутительно! И ничего хорошего никогда из нас не получится! Давно уж от нее это знаем... Короче, мало собрали макулатуры. Провалили дело государственной важности... А какое настроение таскаться с этой бумагой, когда она потом во дворе валяется, никому не нужная... Что мы, дураки? Как всегда, к Сашке цеплялась. Так здорово, что я ей даже сказал, что не он один не участвовал и нечестно цепляться к одному и тому же человеку все время... Она тут как закричит: «Ты, Шохин, сам индивидуалист и его покрываешь!» И что нас давно пора рас-

садить. Женька Лямин, командир отряда, с невинным видом спросил: что она — против дружбы? Она говорит: против! Если в дружбе не хороший ученик влияет на плохого, а плохой низводит до себя хорошего. И так далее... После собрания я предложил Лямину поговорить с народом. Можно же пойти к директору — чтоб нам заменили Селедку! Всем ведь надоела. Четвертый год с ней мучаемся. Но Женька ответил, что все равно ни шиша не добьемся. А от классной совсем житья не станет. Будто сейчас оно есть... Да хоть бы Алле Николаевне нас дали... Она первый год в школе, классного руководства у нее нет. Мы ее прозвали Аллочкой. Еще в сентябре Белов в шутку бросил в проход между рядами «зажигалку». Так заискрила! Он сам бросился затаптывать, но никак не мог. Тут Аллочка как схватит ее тряпкой! И под воду. Литература у нас в кабинете рисования была, там есть раковина... Вот реакция у человека! Мы тогда сразу заперли дверь и пораскрывали окна. Дымина стояла! Бешеная. Аж глаза слезились. И никто даже не пикнул, только вначале чуть-чуть, девчонки... чтоб на шум Немецкая Селедка не выскочила. Ее кабинет соседний. Мы попросили Аллочку не выдавать Белова. Она поверила, что он не из хулиганства, а сдуру. И что раскаивается... Обещала сказать, что не видела кто. Но Селедка выскочила не на шум, а на дым. Ну и сама догадалась, чья работа. К тому же Белов ни с того ни с сего раскололся... От завуча влетело тогда и Белову, и Аллочке. Белов с тех пор в Аллочку втюрился... Конечно, с Селедкой ее не сравнить! Разговаривает по-человечески. Ну и вообще человек... В общем, мы с Сашкой решили ни за что не подчиняться, если Селедка попробует нас рассадить! Ну вот, про это рассказал. Сейчас по-быстрому перекушу и пойду к Оле. Предки у нее ушли что-то праздновать. Так что она сейчас одна дома. Хочет к металлу меня приобщить. Я его толком не слышал. Как-то не до этого раньше было. А Оля круто на нем завинчена... Ну, все, пошел есть. Вырубаю.

То, что Владик увидел у Олиного подъезда, заставило его одеревенеть. Димка, напряженно вздрагивая ушами, очень прямо сидел на узкой дорожке за газоном, у стены дома, и с недоумением смотрел, как двое в ватниках приближаются к нему слева и справа с большими синими сачками. И Владик понял, что за фургончик стоит за углом дома... Эти двое шли неторопливо, оставляя на снежной дорожке четкие черные

следы. Два малыша в одинаковых комбинезонах стояли поодаль, раскрыв рты...

— Димка, беги! — сжав кулаки, крикнул Владик.

И Димку будто пружиной сдернуло с места... Высокими скачками он понесся по заснеженной траве газона. Тот, что повыше, кинулся ему наперерез, резко и точно выкинул вперед сачок... И невероятно: прямо в воздухе, в прыжке, Димка изменил направление — и пролетел мимо, задев сачок задними лапами! Перекувырнувшись, вскочил и через секунду уже нырнул в ближнюю арку...

Высокий тоже упал. Поднявшись, обругал Владика, как его никто еще не обругивал, и с неожиданной ловкостью и быстротой побежал следом за напарником, который уже скрылся под аркой.

Владика трясло, он сунул руки в карманы и крепко прижал локти — казалось, так легче унять дрожь... Уйдет Димка или нет? Когда пес перепрыгнул сачок, Владик подумал: ушел! Но когда они так уверенно кинулись в погоню... Только бы Димка не забился в какой-нибудь закуток поблизости! Только бы убегал, убегал как можно дальше! Уйдет или не уйдет?..

Отойдя в сторону так, чтобы видеть фургон, он стоял и ждал. Ему казалось, невыносимо долго ждал! И наконец увидел, как они возвращаются... Пустые!

— Что, придурок? — крикнул ему высокий.— Спугнул и рад? Пес-то, между прочим, ребенка покусал! Сигнал был, понял?

Они уехали. Малыши по-прежнему стояли у подъезда. Владик подошел к ним:

— Пацаны, это правда? Димка кого-то укусил?

— Ага, укусил,— вздохнул один, доверчиво глядя на Владика снизу вверх.— На нем чужой мальчик стал кататься!

Владик поднялся к Оле... Она даже кулаком по стене ударила:

— Гады! Я бы таких убивала!

Владик уже немного отошел, улыбнулся:

— И как бы ты их... прикончила?

Ее глаза сузились, резкие скобочки на концах губ изогнулись:

— Все равно как! Ненавижу таких. Я вообще многих ненавижу... Но только людей. К животным я по-другому.

— Оль... А за что — многих? Не все же как эти. Ну и потом, работа у них такая...

— Ха! Что их, на эту работу силой загнали?

— Это да. То есть нет, конечно... Но почему все-таки — многих? — стал настаивать Владик.

— Потому... Ничего не понимают, а лезут. Смотри, про все они знают, как надо! Так чего тогда плачутся? Ну и устроили б все по-другому, если правда знают! А раз не смогли, нé фига и возникать... Ты прямо так спрашиваешь, будто тебя не достают!

Владик озадаченно хмыкнул:

— Достают, конечно. Но, в общем, не слишком.

— А меня очень даже слишком. Даже одним своим видом!

— А ты их своими железками?

— Родичей как раз не очень... А вот других, на улице,— это да! Показать, где я цепь прячу? — Оля пошарила под кроватью, вытащила коробку из-под обуви, открыла.— Ну как? Смотрится? А родичи... Они и так во все лезут. Скорей бы совсем вырасти!

Магнитофон у нее был дешевенький, видавший виды... Включила она его на полную мощность, и минут десять Владик терпел, а потом попросил, с трудом перекрикивая Хетфилда из «Металлики»:

— Оль, голова трещит! Убавь!

— Я от тебя просто тащусь...— Она засмеялась и выкрутила звук до более-менее выносимого уровня.— Ты слушай, слушай! Сейчас такой забой пойдет!

Она сидела рядом с Владиком на кушетке, поджав ноги и засунув ладони между коленями. На ней были синие джинсы, наши, и мальчишеская клетчатая рубашка с расстегнутым воротом.

— Это Симмонс, «Кисс». Хард... А это хэви, «Айрон Мэйден»! Диккинсон вокалист...

— А какая разница — хард, хэви? — спросил Владик, когда они, прослушав пару Олиных кассет, пошли на кухню ставить чайник.

— Хард — предшественник металла. Ну, ступень перед ним... Есть тяжелый металл, быстрый, мягкий... На той неделе мне блэк-метал притащат, супертяжеляк. Приходи, покажу! Вообще он двух видов: мистика и... ну, зверство, что ли. Мистикой «Айрон Энджел», к примеру, занимается. «Железные ангелы». Песни о монстрах, гримируются под чертей... А «Корнион» — из вторых. У них выходки такие! Гитары ломают. И не только плюются на сцене,

а покруче... Жуткий завод! У нас тоже отличные группы есть...

— Мне бы зверство, наверно, не понравилось... А чем тебя вся эта музыка берет?

— Ты понимаешь, она же не просто так... Есть песни против войны, против серости, скуки... против взрослых! Знаешь, как поддерживают! Вот дома или в школе испортят настроение, а врубишь — и думаешь: есть же такие сильные ребята, с такой музыкой! Разве можно раскисать, когда на свете это есть? Слушай, а тебе что — совсем не показалось?

— Так сразу трудно сказать,— медленно, подбирая слова, ответил Владик.— Мне другое понравилось. Уважаю, когда у человека есть дело, увлечение... И что ты не просто слушаешь, а разбираешься... Это мне нравится!

Оля взглянула на Владика прямо, со смутившей его внимательностью:

— Я тоже это уважаю. Вот ты, если так посмотреть, только не обижайся... слабак: ну, драться не умеешь, не знаешь того, что любой нормальный пацан знает. Зато у тебя свое... А драться, если будет надо, научишься. Я так думаю. Глаза у тебя не как у слабаков. Ты видел волков в зоопарке? Я их тоже люблю. Даже больше, чем собак. У тебя разрез глаз, как у них... Не по прямой, а немного по косой. Тебе никто про это не говорил?

Владику захотелось что-то такое сказать в ответ! Но он только усмехнулся и опустил голову: дух на секунду захватило, как тогда, на верхней площадке недостроенного дома, которая уносилась вместе с ними в черноту и ветер...

За окном давно стемнело, и они пошли к дому на пустыре. Побродили по верху, топча свежий снег, все падавший и падавший с огромного неба. Покидались снежками. У Владика получалось метче! А спустившись на первый этаж, обнаружили, что сюда, кроме них, заходил кто-то еще. На стене было ярко нацарапано кирпичом: С + В = Л.

— Маленько неправильно,— смеясь, сказал Владик, подобрал осколок и небрежно, словно дурачась, докруглил С до О.

— Так тоже неправильно! — Оля забрала у него кирпич и Л превратила в Д.— Всякая там любовь — ерунда. Ты в нее не верь, она надолго не бывает. Я уж знаю... А вот дружить хоть всю жизнь можно!

Потом они сидели в Олином подъезде у батареи, и Димка мотал ушами и доставал языком Олин подбородок. Какая-то бабка в драных войлочных ботах вышла на лестничную пло-

щадку с мусорным ведром, остановилась, посмотрев на них. И вдруг сказала странным голосом:

— Что-то вы, детки, как сйроты...

Оля и Владик прыснули. Но когда старуха вышла снова, уже без ведра, и, подслеповато моргая, протянула им две карамельки, Оля бросила:

— Вы чего? На кой нам ваши конфеты? Сами ешьте...

Старуха, будто не слыша, повторила:

— Берите, детки. Дай, думаю, угощу ребяток...

Владик сжал Олину руку, чтоб молчала. Ух, какая худенькая и сильная была у нее рука! И поспешно сказал, неловко улыбнувшись:

— Спасибо, бабушка. Мы не хотим.

Старуха постояла, глядя на них так же непонятно, и ушла, легонько шаркая своими ботами.

Владик сказал:

— Надо было взять. Старуха хорошая.

— Да, чудна́я, но ничего... Она Димке кашу давала, я видела. Владик! Помнишь, я обещала сказать, где еще бываю? Я никому про это не говорю. Хочешь, на той неделе сходим туда?

— Конечно!

Снег на улице падал по-прежнему сплошной и такой белый... Точно светящийся. «Рано ему насовсем ложиться, растаст, а жалко»,— думал Владик... Он шел домой и улыбался. Снег был новым, и небо было новым. Владик смотрел на это незнакомое небо и чувствовал: у него есть что-то такое, чего наверняка нет у прохожих, спешащих мимо! И у тех, которые живут, ссорятся и мирятся, о чем-то думают сейчас за всеми этими разноцветными окнами. У всех такого быть просто не может! Как только он жил без этого прежде? Разве это была жизнь!..

Двадцать пятое ноября. Сегодня ездил с Олей... Туда. К ее брату. Я думал, Николай Евгеньевич ее отец. А он отчим! А у настоящего отца давно другая семья, и там мальчишка Костя. К нему она и ездит... Олина мама считает — их бог наказал. Потому что мальчишка «дурачок» и даже говорит плохо. А ему уже пять лет. Называет себя Осей вместо Кости. И Оля его так зовет... Она ездит играть с ним. Он называет ее Ля. Совсем некрасивый, толстый. Ест много, все время что-то ест.

Говорит со слюнями... Оля сказала — он же не виноват, что его таким родили. Ну конечно, не виноват. Но мне не по себе было... И зачем такие родятся? Я сказал, что жалко его родителей. А Оля разозлилась! Они, оказывается, тоже себя жалеют. Сами нормальные, не алкоголики какие-то, а сын вон какой... Они осенью — Оля подслушала — говорили, что надо бы куда-то сдать Оську, потому что ждут другого ребенка. Оля за это их ненавидит. Но скрывает: еще перестанут пускать к Оське! Играет с ним в школу — любимая игра. Школьник... Один и один, правда, складывает. Оля сажает его за взрослый стул, как за парту. Там он эти единицы и складывает. Еще рисует. Машины, людей — что Оля скажет. Но разницы никакой, одни круги и загогулины. А когда мы только вошли — у Оли свой ключ,— он сидел на книжном шкафчике и стучал по нему пластмассовым мечом. Пришлось стаскивать. Оля сказала, он часто так делает. На стол ставит стул и влезает наверх. Оля боится, что когда-нибудь Оська здорово сверзится. Его мама недалеко работает, забегает среди дня, но все равно он в основном один... И все время его тянет куда повыше. На подоконник, на шкаф... Тут мне даже смешно стало. Я сказал ей: «Сразу видно, чей брат! Тебя тоже носит по всяким кранам и крышам...» Но уехал от них какой-то ошалевший. Все про то же думал: зачем такие на свете? Может, это плохая мысль, жестокая, но что я могу поделать, если думается? Хотя думай не думай, а они живут. Ну что им до того, что люди строят, что-то открывают, рисуют... Хоть тысячу картин я напиши — что для таких изменится? А потом подумал, что и для нормальных людей — тоже ничего... Так и будут жить такими, какие они получились. Как-то пусто от таких мыслей. Только пять набросков сегодня сделал. Обычно стараюсь не меньше пятнадцати, чтоб не выходить из формы... Спросил Олю: зачем она с ним возится, если по-честному? Из жалости? Она сказала, что вопрос глупый. И жалеть она вообще никого не умеет. И не считает нужным... Просто каждому хочется быть одним из всех. Для кого-то... Особенным. И Оська видит, что он для нее такой. Поэтому ей радуется и развиваться стал лучше в последний год. Один врач это отметил даже с удивлением... А Оля именно этот год и ходит к Оське! Сказала, ему так плохо будет без нее, что если она его бросит — получится подлость. А подлость она не уважает. Тут выходит путаница... Выходит, помогает ему не из-за него, а из-за себя. Из-за уважения к себе... Если верить ее словам — звучит плохо. Но Оське-

то при этом хорошо? Нет, наверно, она лучше меня. Я бы не смог... с таким. И никакие мысли не помогли б, ни плохие, ни хорошие... Не смог бы, и все! А предки опять что-то ссорятся. Им бы на место Оськиных родителей! Тогда бы, наверно, все их неувязки враз уменьшились в размерах... Ладно, что-то я заболтался. Пока все.

Тридцатое ноября сегодня, среда. Весь вечер торчал у Сашки. Уроки делали, болтали. Сашкина мама картофельных оладьев напекла. Это совсем не то, что из магазина! Тетя Наташа вообще домашняя... Сашка сказал смешную вещь. Он видел учебник литературы за восьмой или девятый класс. Кто-то оставил на подоконнике в коридоре. Немецкая Селедка выгнала Сашку с урока за чтение, и он полистал этот учебник. И заметил, что у большинства поэтов губы здоровые, заметные! А у критиков наоборот. Они все тонкогубые. И лица у них нервные и болезненные... Да, Сашку я все хочу и забываю описать. Он по губам поэт, а не критик, хоть ничего не сочиняет. По росту почти самый маленький в классе. Ну, переживает, конечно... Крепкий, но не толстый, просто кость широкая. А вид всегда сосредоточенный... Внешне он симпатичный, как девчонки выражаются. Ирка Крупова даже сказала со смешком, что, будь Сашка на пару голов повыше, она бы в него влюбилась. «Во, Сашка,— говорю,— имей в виду на будущее! Ирка у нас считается Мисс седьмой «Б»... А потом мы говорили про коммунизм. Имеет человечество на него шанс или нет? Сашка считает, что имеет. Потому что уважение к личности все возрастает. Во времена мамонтов человеком признавался лишь сородич, а чужака ели за милую душу. Позже, если кто-то убивал раба, считалось, что это урон имуществу рабовладельца. Имуществу! Но с веками людей, признаваемых за людей, делалось все больше. И наше время, хоть в нем остался от прошлого расизм и еще там разное, все равно не сравнить с тем. «Представь-ка,— сказал Сашка,— международную кампанию в защиту прав какого-нибудь древнего раба! А сейчас?» Вот это общее направление его и обнадеживает. Коммунизм — общество, где не только нет проблем со шмотками и едой, но где никто никому не мешает заниматься тем, к чему больше тянет... И если так, уважение к другой личности и ее свободе — почти главный признак! Я говорю: — «Да, согласен. Насчет ценности жизни. Что она росла в глазах человечества... На это

похоже. Но в том же рабовладельческом,— говорю Сашке,— самое мощное государство сколько народу могло уничтожить? И сравни, как с этим сейчас! А потом уже рассуждай, ближе мы стали к коммунизму или наоборот». Но Сашка уперся, что все равно даже какой-нибудь наемник должен больше уважать людей, чем какой-нибудь питекантроп... Сознательней к ним относиться... Я не уверен! Но сошлись мы на том, что нам страшно повезло. Ведь мы окончательную развязку можем увидеть! Последнюю победу того или другого. Сколько веков копилось и уважение к человеку, и умение его убивать! Копилось и до того доросло, что никого не останется, если все не сообразят, как надо жить. Но в этом случае каждый, получается, на счету... Чью сторону примет, та и может перевесить! И еще... Я рассказал Сашке про свои кассеты. Он с интересом отнесся! Хорошо бы и его записать. Ведь через какой-нибудь год мы уже будем не совсем такими. А через пять или там десять... Даже представлять глупо — все равно не представить. А тут — будет запись! Об этой именно зиме. По-моему, не слабая мысль! Ну, все, пора спать. А то поздно уж совсем.

Кассета третья

Привет, Владик! Это Сашка. Это здорово, что ты начал записывать свои мысли. Люди часто перевирают, ну, то есть искажают общую историю. В разных целях... Как им кажется выгодней, так и подгоняют — сознательно. А вот свою собственную историю каждый человек искажает нечаянно, мне кажется. Чаще нечаянно... И даже не подозревает, сколько раз уже себя обманул! В чем-то себя прошлого приукрашенно воспринимает или, наоборот, очерняет. Думает, что все главное про себя помнит, а на самом деле много чего забыл или перепутал. Каким был раньше, что любил и кого, чем возмущался... Значит, он и себя настоящего видит уже не точно! Обидно же. Даже опасно. Я считаю, надо все про себя помнить! Даже если не все хочется. Ты просил сказать что-нибудь. Не знаю, что еще. Вот принес книжки — брал их у тебя в тот раз. Тут стихи Набокова есть. Я у него только «Защиту Лужина» читал, не очень понравилось. А стихи — вот, сейчас... Ага. Тут такой момент! Слушай. «Лист бумаги, громадный и чистый, стал вытаскивать он из себя. Лист был больше него и неистовствовал, завиваясь в трубу и скрипя. И борьба показа-

лась запутанной, безысходной: я, черная мгла, я, огни и вот эта минута — и вот эта минута прошла. Но как знать, может быть, бесконечно драгоценна она, и потом пожалею, что бесчеловечно обошелся я с этим листом. Что-нибудь мне, быть может, напели эти камни и дальний свисток. И, пошарив по темной панели, он нашел свой измятый листок». Помнишь, мы смотрели мульт «Сказку сказок»? То место, где Волчок крадет у поэта лист? А уже в лесу слышит плач, ничего не понимает и вдруг видит, что у него в лапах вместо этого свернутого листа — младенец в пеленках! И он даже бросает его сначала и убегает... Чем-то здорово похоже, хоть совсем другое, да? Я прочитал и думаю: надо ж, как знакомо! Не по-плохому, а по-хорошему... А потом вспомнил этот мульт. Вообще я согласен с Набоковым, что никак нельзя точно сказать, что из чего получится и какая минута важней. Ты тоже должен быть согласен, раз завел эти кассеты. До свиданья говорить вроде смешно — ты же в соседней комнате сидишь. Ждешь, когда я закончу. Ну вот, я все! Твой друг Сашка.

Сегодня шестое. Димку поймали! Оля прибежала с утра и сказала. Еще вчера! Утром... Один собачник гулял со своим догом и даже говорил с теми мужиками! Доказывал, что пес нормальный! А они: раз был сигнал и пес бездомный, ничего не поделаешь. Им велели — они отловили... Оля переживала, что не догадалась спрятать Димку. Дома бы не разрешили, но хоть у той старухи... Гулять с ним она сама бы гуляла! Но я бы тоже мог! К Сашке отвел бы, и все... Тетя Наташа не была бы против. Она такая, понимает, я говорил... Вот дураки! Но Оля здорово расстроилась... Я даже не пошел в школу. И в художку не пошел. Болтались по улицам, по закоулкам за гаражами. Там, где старые дома... Потом слушали у нее металл. На всю катушку врубила, но сегодня я помалкивал... Она так заброшенно сидела! Сама была как пес или щенок... Словно ее потеряли. Хоть бери и прячь за пазуху от всех-всех неприятностей! Когда она отвернулась и начала всхлипывать, я прямо сам обалдел. Прямо... ну, не знаю. И я взял и поцеловал ее в макушку... А она не перестала, наоборот! Ну, в общем, ладно... После она все-таки отошла. И мы поехали к Оське. Он опять сидел на шкафу. Ей-богу, свернет когда-нибудь шею! Я стащил его, поиграли... Оська был всадник, а я конь, который хочет скинуть всадника. От восторга он пищал целый час без пере-

рыва... Домой я поехал один. Оля там осталась. Я пообещал ей нарисовать Димку и подарить... Десятка два набросков все ж успел с него сделать. Вот такие дела... Все.

Десятое декабря, суббота. Вчера я начал набрасывать Димку. Тот момент, когда он от них уходит. Перепрыгивает через сачок. А художку сегодня опять пропустил... Второй раз уже! Так уж получилось... Селедка объявила, что будет встреча с психологами. Разговор про будущее. Мы с Сашкой решили сходить. Но вот смех: из нашего класса только мы с ним и притащились! Начало было интересное. Мы распределились на группы — по желанию. Писали свои фамилии на доске, кто с кем хочет. А Селедка записалась в ту же группу, что мы! Ну, переписываться уже не стали, неудобно вроде... Потом группы разошлись по разным классам. Психолог, тощий такой дядька с короткой бородкой, заговорил красиво. Что все мы сейчас на равных, нет ни учителей, ни учеников... Предложил поставить стулья кружком. Представьте, говорит, что перед нами костер, а мы сидим вокруг, и нам хорошо вместе, и хочется говорить обо всем на свете... В общем, все такое. И стал спрашивать, кто о чем мечтает и что любит. Ребята в основном говорили о музыке. И вдруг Селедка начала вмешиваться! Подводить к школьной жизни. Он ее даже остановить пытался. Вежливо, незаметно... Не для нас, а для нее незаметно — она-то продолжала толкать свое. И скоро стало ясно: все у них срепетировано заранее! Она просто поспешила. Тема оказалась «Школа будущего». Ну и ладно, тема как тема. Хотя, если б я знал заранее, не стал бы из-за этого художку пропускать... Но все равно, на фиг эти кошки-мышки? Хотели на нее как бы нечаянно нас вывести. Да Селедка всю нечаянность испортила... Ну, стали мы говорить, какой видим эту школу будущего. А они принялись привязывать наши слова к современной школе. И сразу вешать наши предложения на нас... Один парень из восьмого сказал, что в той школе будет отличный спортзал, бассейн, спортплощадка. Психолог спросил: «А у вас в школе спортплощадка в каком состоянии?» «А у нас она ни в каком. Ничего нет, только баскетбольные стойки. И он сказал: «Вот ты и возглавь! Организуй друзей, берите у завхоза лопаты и идите копайте...» Вот наивный человек! Да кто их нам даст, если придешь сам от себя? У завхоза веник-то не выпросишь — материальная ценность! Не то что лопаты... Но он так стал

нажимать, что парень как-то растерялся. И его сразу вписали в какую-то бумагу как руководителя будущей инициативной группы. Сашка про радиоузел сказал. Что хорошо бы, чтоб по нему на переменках передавали музыку, которая нам нравится. Психолог его тоже цап за ворот... Если, говорит, не нравится, как там сейчас дела, надо этих людей свергать! Брать власть в свои руки и все делать по-своему... Это он Сашке. Конечно, идея нормальная. Но у Сашки-то никаких таких способностей нет! Посоветовать он может очень даже дельные вещи. А вот кого-то свергать, распоряжаться... Ну, натура у него другая. Неподходящая. Стали на него страшно давить, Сашка заотнекивался... Я, посмотрев на это дело, решил не попадаться на крючок. Молчать, как рыба. Сказал им, что у меня никаких мыслей нет и я лучше так посижу. Немецкая Селедка принялась выступать, зачем я тогда вообще явился. Хорошо, психолог ее отвлек... Потом все группы сошлись. Отчитались, кто что придумал. Мне только одна идея всерьез понравилась. Создать при школе клуб, куда может прийти кто захочет, о чем захочет поговорить, чем-то своим заняться... Учителя были довольны. Селедка даже спросила, улыбаясь, как нам с Сашкой этот вечер. Я ответил, что так. А Сашка влепил напрямую, что задумано было интересно, но не вышло из-за отношения к нам. Она ответила, что ничего другого от нас не ждала, и отвернулась... Мы все вместе попили чай с вареньем и вафлями и разошлись. А я заметил сегодня, что левый глаз у меня видит все в более теплых тонах, чем правый! Несколько раз проверял, пока сидел на этом вечере. Точно не показалось. Вроде все. Пойду звякну Оле — как она там...

Суббота. Семнадцатое, кажется. Да, точно, семнадцатое. Сегодня не ходил в художку... А вчера с папой был разговор. Говорил он... ну, очень логично. Черт его знает, может, он и прав. Может, так и надо... Потом, как соображу все лучше, расскажу. Даже Оле не стал. Но к Оське не поехал, не то настроение. Она, кажется, немного обиделась... Поехала одна. А я пошел шататься к старым домам. Из них почти всех жильцов выселили... А может, рассказать? Прямо чушь какая-то: будто сам себе то ли не верю сейчас, то ли... Сам не пойму что. Глупо. Ладно! Он сказал, что с мамой еще не говорил. Хочет сначала со мной. Чтоб я был подготовлен и понял правильно. Сказал, что они с мамой без конца конфликтуют и у нас не

семья, а одна видимость. Что жили вместе ради меня. Будто я об этом просил! А теперь я уже вырос и все могу понять. Он любит одну женщину и, получается, обманывает нас с мамой. Но больше не хочет. И если они расстанутся, так будет честнее. На развод уже подал, маме скажет на днях... Потом... Да, потом сказал, что я, конечно, захочу остаться с ней! И он не возражает. Видеться и общаться с ним будем даже более дружески... чем раньше... Потому что все ложное между нами исчезнет. Но до весны еще поживет здесь, переедет в то место не раньше марта... Ну, а любовь, сказал, чувство серьезное, и я наверняка это уже заметил. По себе. Это он вроде как пошутил. В общем, очень даже убедительно все. До того, что думать как будто не о чем... Над дважды два четыре что ломать голову! Вызубри, и дело с концом... В общем, я сто раз все прокрутил! И с конца, и с начала. Но все равно ерунда какая-то... Ну зачем он сказал, к примеру, что я захочу с мамой? Само собой, я здесь останусь! Но на фиг это так выделять? Будто на всякий случай! Чтоб первому решение застолбить. Так получается... А то вдруг я чего другое надумаю... Черт его знает, как относиться! Не знаю. И вовсе я не замечал, что семьи у нас нет! Была семья как семья, по-моему. Ничем не хуже, чем у других. Ну правда, не хуже. Я ж не дурак! Я ж их видел! Ну, ругались... Но не только же ругались! Цветочки на дни рождения — было? Было! В отпуска вместе — было? Было! Еще в театры там, и... Хотя ладно. Несу дурь какую-то... Хорош на сегодня. Пойду подышу в форточку, спать совсем не тянет. Второй час уже, здорово поздно... Все.

— Ты что такая? Случилось чего? — спросил Олю Владик и осторожно развернул ее за плечи.

Она без конца утыкалась сегодня в окно. На улице гасли быстрые декабрьские сумерки — десять минут назад все было прозрачным, голубым, а сейчас уже превратилось в глухое, почти фиолетовое.

— Случилось. Оську сдали в интернат! — ответила Оля и включила свет.

— Ух ты... — выдохнул Владик. То, что приключилось с родителями и о чем он так еще и не рассказал Оле, смазалось тут же, будто и не ломал голову над всем этим несколько дней подряд. — Все-таки отдали?

— Ничего,— очень спокойно сказала Оля.— Я им отомщу. Так отомщу — на всю жизнь запомнят.

— Да кому от твоей мести лучше будет?.. Брось. А потом... Может, все не так уж плохо окажется? Что он там... Не один же! Другие-то живут... Слышишь меня?

— Что ты понимаешь? — вдруг крикнула Оля.— Он же лазит! Окон там мало, перил на этажах? Детских горок? У него ж ловкость на нуле! А кому до этого дело? Одна минута — и готово!

— Извини, я забыл,— хмуро ответил Владик.— Не подумал...

— Да тебе чего об этом думать... А вот они! Сами его родили — сами и растили бы! Они не виноваты... А кто виноват? Он, что ли? Что же теперь, на мусорку его отнести? Чтоб совсем без всяких хлопот! Но ничего... Они запомнят!

— Что ты все — запомнят, запомнят... Что они запомнят?

— А то. Вот родят нормального... А он возьмет да свалится! Головой на пол! Вот тогда и вспомнят своего Осеньку... Другой-то в тыщу раз хуже станет! Вот тогда и сравнят! И еще как вспомнят...

— Оля...— тихо сказал Владик.— Ты с ума сошла! Нет, ты точно с ума сошла!

— Им можно сходить, а мне нет? Они «предельно устали»! Им покой нужен! Ну и мне для моего душевного покоя кой-чего сделать охота! Все взрослые — предатели, вот что я поняла... Еще слезки льют, за сердце хватаются... Не предавай — и хвататься не будешь! Что они, померли б, что ли, если б его не отдали? Нет, не померли б, уж это-то им не грозило! А ему? Что они, не понимают, как ему без них? И все равно променяли... Ну конечно, какое сравнение! Ведь покой-то свой, а жизнь-то чья-то! Ясное дело, что важней! У папки есть выражение: «Мы же интеллигентные люди...» А я вот не знаю, где они! Которые люди. Нет никаких людей, одни предатели... Только я, как они, слезки лить не буду. Я действовать буду!

— Но ведь так убить можно... Захочешь покалечить, а он умрет! Понимаешь? — с трудом произнес Владик.

— Ага, это тебе не нравится! Но когда узнал, что Оську отдали, не очень-то стал переживать... Только тогда сообразил, как про его бзик напомнила! Послушай... А ведь ты часто чувствуешь не сам — только когда тебе распишут! Заметил? Когда что-то в кино, в книжке, на словах — тогда ты очень даже способен... А в жизни, пока не разжуют... Так это значит — и ты таким можешь стать! Предателем... Который только ахать

умеет, когда все уже случилось... Своей чуткостью любоваться! А сделать ничего не может... Как ты что-то сделаешь, если не чувствуешь? Не то не чувствуешь, что в кино, а то, что под носом?

— Что же ты дружишь тогда с ним? С будущим предателем? — медленно спросил Владик и встал.

— Могу и не дружить! Не думай. Совсем одной даже лучше. Когда не отвлекаешься, силы больше!

— Тогда и ты — такая же... Раз решила ни на кого не отвлекаться. От себя. Раз другие для тебя... ненужный груз и больше ничего!

Тишина вспухала, пока не заняла всю комнату... Воздух исчез, и осталась одна тишина, и дышать стало нечем.

— Все,— глухо сказала Оля.— Все! Не приходи больше... Понял? Никогда!

«Если она так легко... — Владик думал холодно и яростно.— Так легко может все забыть, от всего, что было, отказаться...» Он стащил шапку и сунул ее в карман, голова плыла и кружилась, как на пляже, когда сильно перегреешься на солнце. «Если может вот так легко от всего, что было, отказаться... Значит, ничего и не было! И жалеть не о чем. Не о чем, не о чем!» Он твердил шепотом почти с удовольствием:

— Не о чем! Пускай! Ничего, переживем, не пропадем. Не пропадем, ничего...

Кассета четвертая

Сегодня двадцать первое декабря, среда... Самая длинная ночь в году будет. Что-то все из башки вылетает. Забыл сегодня сменку. А по школе дежурит девятый, у них не прорвешься... Домой возвращаться — на урок опоздаешь. Что делать? Увидел Аллочку, ее кабинет на первом этаже. Постучал, она открыла окно. Ну, я сказал, что вторую обувь забыл... И она впустила! Через окно. «Так и быть,— говорит,— вид у тебя уж больно несчастный...» Вот человек! Побольше бы таких... А с Олей — всё. Глупо до черта! Вчера все думал: позвонить, не позвонить? Хотелось. Но вспомнил, как она сказала, и не стал. Чего унижаться, зачем? Про «зачем» стал много думать. Столько всего, про что можно так спросить! Зачем

рисовать, например? Если ничего от этого не меняется! Оська будет такой же, и предки из своих дрязг не вылезут, и Олина мама не бросит таскать мыло с работы... Она с Олиным отчимом работает на какой-то фабрике. Он инженер, а она техник, что ли... Хотя не все ли равно? Это неважно, кто... В общем, никому эти картинки не нужны! Только мне. А зачем мне, если больше никому?.. А дома весело. Мама разводиться не согласна. Хорошо, что днем они — по своим работам. Все передышка для обоих... Поговорить с ней, что ли? Если она о нем такого плохого мнения, на фиг жить вместе? Зачем? Ну, все...

Голос матери был рассчитан словно бы не на одного человека, а на целый зал:

— Пятнадцать лет — собаке под хвост? Из-за молодой шлюхи!.. Одни удовольствия ему! Всю жизнь — одни удовольствия! О сыне бы подумал, если на меня плевать!

За отцом захлопнулась дверь. Мама схватилась за телефон и принялась подробно жаловаться тете Лине, подруге... Долго жаловалась. За окном сыпал жидкий, косой снежок. «Скоро Новый год,— подумал Владик,— а снег все ноябрьский какой-то, бестолковый: полежит с неделю и стаивает...» Он немного постоял на пятках, потом на носках, поморщился и пошел к маме — разговаривать она наконец кончила и села плакать на кухне. Завитые темные волосы растрепались, полные руки бессмысленно трогали на столе хлебницу и банку с вареньем...

— Мам, ну чего ты... Перестань,— сказал Владик.— Если подумать — помрем, что ли, без него? Ну, влюбился. Ничего такого, с каждым может случиться... Он же не просто так уходит, а все-таки любовь...

— Ты его еще защищаешь? — Мама заплакала сильней.— Какая любовь! Сколько может быть этих... любовей!

— Наверно, одна или две... А сколько? — настороженно спросил Владик.

— Тебе пять было — чуть не ушел! Любовь! Через три года — еще одна! В прошлом году два месяца пропадал!

— Когда в командировке?

Мама ожесточенно утерла слезы:

— Это тебе так сказали. У очередной... болтался. Вот такой у нас папочка.

— Мам... Если такой — чего ты тогда? Ну и пускай уходит!

— Пускай? А сколько нервов помотал! Полжизни на него!..

И вот тебе благодарность... За все платить надо — это он запомнит! Слишком легко отделаться хочет... Ну, ладно, сынок. Ты иди ложись, вон уже времени сколько...

Проснулся Владик внезапно и от неожиданности вздрогнул: кто-то высокий стоял в его комнате.

— Тихо, сын! Это я,— прошептал отец.— У тебя переночую. Спи дальше.

Он ловко, бесшумно разобрал кресло-кровать, разделся и лег.

— Слушай, пап,— сказал Владик.— А сколько у человека может быть... Ну, сколько раз он может влюбиться?

Отец заложил руки за голову, вздохнул:

— Увлечься — сколько угодно раз... А настоящая любовь редкость. Потому и случается редко.

— А вот в том году у тебя, мама сказала... это было что?

— Так! — совсем другим голосом ответил отец.— Так-так... Ну что ж! В прошлом году произошла ошибка.

— А с мамой?

— Время показало, что тоже.

— А если и сейчас ошибка? А? Разведетесь, а потом выяснится...

— В любом случае с твоей мамой мне не жить.

Владик сел на кровати, сильно обнял колени:

— Пап, а она молодая?

— Тоже мамина информация? Хватит разговоров. Спи. Я устал.

Владик упрямо облизал губы:

— А дети у нее есть?

— Нет. Все, наконец? — повысил голос отец.

«Ну, раз нет и раз молодая,— зло подумал Владик,— значит, еще заведете...» Подумал — и вдруг сказал это вслух.

— А вот это уж наше дело,— странно спокойно произнес отец.— У нас ведь начнется своя жизнь. Понимаешь?

— А если все-таки по ошибке? Тогда и ребенок будет... ошибочный?

— Не хами! — Отец вскипел всерьез.— Хватит. Спи, чтоб я больше тебя не слышал!

Он повернулся к Владику спиной и вскоре ровно задышал. Владик подумал: «А может, тот — будущий — и не будет ошибочным! Не как некоторые...» Он тоже повернулся к отцу спиной и заплакал, не разжимая губ, совсем тихо. С родителями все теперь было ясно... Она не хочет отпускать его из вред-

ности, у него — сплошные «ошибки»... Пусть сами, без него во всем этом копаются! Отец начинает «свою жизнь»? Ну, и у него, Владика, она есть. А по ошибке она ему досталась или не по ошибке... Владик потерся мокрым лицом о подушку, сдернул с головы одеяло: вот именно, главное — она есть! И пусть ее лучше теперь не трогают... Она у него тоже своя.

Спали в комнате два человека, отец и сын. Разделяли их два метра ночной тишины — и то, что начало происходить с ними и между ними... То, что разделит их на годы. А сейчас они спали, и летел за окном жидкий декабрьский снежок...

Сегодня двадцать четвертое. Звонил Илья Ильич. Попал на отца... Видно, спросил, что это я начал пропускать художку. И про квитанцию на второе полугодие напомнил... Я взял ее на днях, но предкам еще не успел отдать, чтоб оплатили. Ну, отец расшумелся... Кричал, что не затем тратит на меня деньги, чтоб я прохлаждался и обманывал родителей. Что болтаюсь неизвестно где... С чего-то решил, что я с кем-то связался. Все выпытывал с кем. Мне надоело, и я сказал: «С кем надо, с тем и связался! Это дело мое». Он заорал, что пойдет в школу. А я говорю, мне по·фигу, хоть в милицию... И что денег на художку ему больше тратить не придется! Достал из кармана квитанцию и порвал. В общем, я нормально держался... он куда хуже. Я за этим все время наблюдал: кто лучше? А потом я решил сходить к Сашке. Он как вырвет у меня куртку! Я тогда бросил шапку на пол и ушел так. Бешено было... Но здорово! Да... А Сашка сидел один, теть Наташа работала в вечер. Он сказал, что тоже думает про «зачем». Прочитал учебник по марксизму-ленинизму. Говорит, убедился, что объяснять мир с других точек зрения — занятие бессмысленное, хоть и очень интересное. Он даже что-то законспектировал. Теперь у него только один крупный вопрос, этот самый: зачем все? И он решил начать читать про разные религии. Говорит, не глупее же нас были Паскаль там, Достоевский... Они-то верили. Не в дедушку, конечно, на облачке, а в высшую силу. У него даже попутная идея появилась, своя. Что эта сила — величина не постоянная, а как бы прерывистая. То появляется, то исчезает в человеческом времени. У нее-то время может быть не наше, а свое... И может, она иногда меняет свое значение — от плюса к минусу. Страшненько! То добро, то зло... Сашка еще говорил, но я не запомнил. Вдруг он правда ответит на «зачем»? Поско-

рее бы... А то плохо так жить, смысла не видно. Что-то чем дальше, тем все хуже. И читать сейчас неохота, а Сашка вечно по уши в книгах... Так что гуляю в основном один. А от тети Наташи вчера пахло так же, как от одного дядьки на остановке. Сашка осенью говорил, что она перестала. Что больше никогда не будет. Но, видно, опять. Ладно, все... Вырубаю.

Возвращаясь от Сашки домой, Владик сделал крюк, и теперь удобнее было подъехать на автобусе. На остановке было пусто. Но вскоре появился сутулый, высокий мужчина в расстегнутой куртке — он подошел, вольно размахивая руками, и неожиданно тонким голосом спросил Владика:

— Эй, закурить не будет?

— Нет...

— Врешь! Хотя... черт с тобой...

Он подошел к урне, приподнял ее и перевернул. На темный затоптанный снег под фонарем вывалились бумажки, пустые сигаретные пачки, палочки от мороженого. Мужчина принялся разбрасывать мусор и собирать в костлявую ладонь окурки. И закурил, неудобно привалившись высоко поднятым плечом к столбу.

«Сразу в рот... Хоть фильтр опалил бы!» — с отвращением подумал Владик. Смотреть на мужчину было противно и интересно.

Разные случились встречи в эту предновогоднюю неделю. Однажды Владик ушел от дома на несколько станций метро. И обнаружил, что денег у него нет, только два талона на трамвай-троллейбус-автобус... Продавать их было, конечно, стыдно, но что делать? Он подошел к остановке и предложил талончик женщине с закутанным сверху донизу мальчиком — только толстый нос торчал. Почему-то она очень испугалась Владика. Прижала к себе мальчика и зло забормотала:

— Не надо нам, ничего не надо, иди отсюда!

Больше Владик ни к кому подходить не решился, потоптался у входа в метро и вошел внутрь. И пожилая билетерша у автоматов взяла талончик и пропустила Владика, покачав головой.

А одна встреча была жутковатая. Видно, автобуса не было долго: компания из ребят и трех девушек вовсю крыла «эту дыру»... Крыла, крыла, и вдруг один из них с размаху ударил ногой по прозрачной стенке остановки. С грохотом посыпа-

лись стекла, девушки радостно завизжали, двое мужчин молча и поспешно отошли в сторону. Владик тоже. А те били и били, пока не расшибли все, и остановка стала пустая и голая — только крыша осталась на железных стойках да мерцающая куча осколков внизу...

Близкий праздник был уже во всем: снег наконец-то улегся прочно, по-зимнему, люди на улицах тащили запеленутые елки, и в вагонах метро пахло оттаявшим елочным духом. Последние два года Владик покупал елку сам: занимал очередь на базаре, выбирал... И оказалось, что выбирать он умел. Как-то он их чувствовал, что ли,— оба раза купленные им елочки достояли до марта! После старого Нового года елку разряжали, она стояла свободная в большой банке с водой, только дождиком посверкивала. Выпускала мягкие побеги, и они вытягивались, распушались и светились среди старой глухой хвои, как светло-зеленые свечки.

В этом году родители о елке не вспоминали, и Владик тоже не заговаривал. Но на базары заходил: хорошо было бродить под разноцветными фонариками, дышать лесом, трогать елки за холодные живые лапы, щупать, какова хвоя, и мысленно говорить какой-нибудь: «А вот тебя бы я взял! Ты бы мне подошла!»

Одну такую елочку он посоветовал взять растерянной женщине, которая бестолково перекладывала их с места на место, ни на какой не решаясь остановиться. Сказал, что держать лучше в воде — и тогда к концу января пойдут новые побеги и она простоит до весны. И пускай с одной стороны лапы у нее короче, это не страшно, даже наоборот: удобнее ставить у стенки. Женщина в столь длинную еловую жизнь не поверила, кажется, но все равно была благодарна Владику. А он знал, что потом она будет еще благодарней: эта елка точно должна была дожить до весны!

Еще Владик впервые обнаружил, как много кругом людей, которые вдвоем. Мужчин и женщин, ребят и девушек... Неужели у всех у них любовь? У всех-всех? Наверно, для кого-то это тоже «ошибки» — и они станут потом жалеть, как отец, что зря потеряли время...

Иногда, когда он вскидывал голову, делалось неуютно: улицы словно придавлены, зарешечены сверху сетями тяжелых проводов. Идти становилось неприятно, душно — как по длинной клетке. Но все равно на улице было лучше, чем дома. Родители что-то все доказывали и доказывали друг другу. Вла-

дик включал на полную мощность магнитофон, и вскоре к нему врывались с вопросом:

— Ты что, с ума спятил? Прекрати немедленно!

Он прекращал. И отвечал, что крыша поехала не у него, а кое у кого другого! И уходил на улицу.

То, что он бродил по городу один, нисколько его не угнетало. Конечно, бывало грустно, но грусть казалась даже приятной. Вот люди, а вот он, Владик! Им нет до него никакого дела, у них своя жизнь — и прекрасно... Он свободен и ни от кого не зависит! Что хочет, то и делает, куда хочет — идет, на кого хочет — глядит!

Владик полюбил в это время слушать телефонные разговоры. Вставал в хвост у автомата и слушал. Когда подходила его очередь, он набирал отцовский рабочий номер — знал, что вечером там никого нет. И, переждав несколько длинных, в никуда, гудков, выходил, словно не дозвонившись, и через одного человека заходил и звонил снова.

Некоторые говорили о делах и встречах, некоторые о всякой ерунде, а некоторые — не поймешь о чем, но, видимо, для них важном. Бабка с потрепанной сумкой причитала в трубку, что запуталась «в метре» и не знает, куда идти. Два огромных парня, с трудом забившись в будку, по очереди орали, что они «телок обеспечат, вся проблема во флэту!». Старый мужчина говорил долго и тихо, и, когда стоящий за ним звонко постучал монетой в дверь, он виновато оглянулся и говорил еще, наверно, целую минуту, никак не мог закончить.

Главной задачей Владика было разучиться видеть. Так суметь смотреть на все, чтоб постоянно не крутилась привычная, въевшаяся в мозги мысль, как бы он это нарисовал. Сумерки в подворотне, небо сквозь голые тополя, лицо старого мужчины и то, как осторожно он прикрывает трубку длинными пальцами...

Вечером это получалось лучше — краски и контуры съедала темнота. Поэтому Владик предпочитал выходить на улицу, когда смеркнется. Шел декабрь, самый темный месяц года, и это было кстати.

Вот только к дому на пустыре он больше не ходил. В том доме на стене было написано осколком кирпича: «О + В», а наверху стояли двое: мальчик с коробкой красок в сумке и растрепанная девочка, на шее у которой висел на шнурке ключ. Зачем им мешать? Здесь зима, а там у них осень, и в лица дует такой сильный и чистый осенний ветер...

Кассета пятая

Шестое января, сейчас каникулы. Новый год первый раз встречал не дома. У Сашки. До четырех часов с ним досидели! А тетя Наташа только до двух. Но не это самое важное. Я недавно с такими ребятами познакомился! И они меня приняли! Хотя все старше и уже работают. А называют себя нормальными людьми, сокращенно — нормалы. Вышло вот как. Я набрел на незапертый подвал в старом доме, из которого почти всех выселили. Хороший такой подвал, сухой. Кругом теплые трубы. У стенки — деревянные ящики... Когда зашел туда второй раз, увидел этих ребят. Они спрашивают: «Кто такой?» — «Человек»,— говорю... «Что за человек?» — спрашивают. Я разозлился на свою растерянность и отвечаю: «Нормальный!» Они как захохочут: «Еще один нормальный! Садись с нами!» Ну, я сел. Миха — самый, по-моему, интересный из них — стал со мной разговаривать. Плечи у него! Боксерские. Только сутулые. Еще там был Костик, толстый, смешной. Он всегда одну и ту же песню поет под гитару: «Лучший месяц в году я у моря с тобой проведу, на просторе у синего моря». Слава и Петька решали кроссворд. Они оба длинные, с одинаковыми стрижками. Весной пойдут в армию. Второй Славка, черный, маленький, ниже меня, решал тот же кроссворд. Они соревновались. В подвале подвешены ручные фонарики, поэтому светло... Разговоры у них всякие. Бывают ужасно интересные, бывают смешные — когда рассказывают про своего мастера на заводе, а когда про футбол и хоккей — скучноватые... Искусства не признают, кроме нашей эстрады. Я все-таки с этим не согласен... Сколько людей тратили на это свою жизнь! И сколько теперь пользуются их результатами: смотрят, слушают... Что, неужели они все дураки? Но с этими ребятами все равно здорово. Они уже совсем взрослые! Но лучше взрослых. Честней. Не делают вид, будто понимают, чего не понимают! Не выдают себя ни за кого. Что думают, то и говорят... В общем, какие есть — такие есть! Мне это нравится! На жизнь у них взгляды такие: надо вкалывать, зарабатывать деньги, чтоб жить «по-человечески». Жениться не раньше двадцати двух лет. Это чтоб успеть «нагуляться» и в то же время «не перегулять»... А на ком — об этом часто говорят. Как определить, «честная» девчонка или нет. Какие есть признаки. Костику двадцать один, и весной он собирается жениться. Дают ему советы, как и что. Чтоб не промахнулся. Есть такие советы!

Здорово интересно слушать. Я уже столько всего от них узнал! Ну, ладно. Пока все.

Сегодня двенадцатое января. Событий! Куча... Привел к нормалам Сашку. А они его прогнали! После одного спора. Миха сказал — он просто так, вообще сказал,— что сейчас в стране страшный беспорядок. И прекращать его надо бы чем скорей, тем лучше. А то люди разбалтываются и становятся неспособны на нужную государству жизнь. А Сашка начал возражать! Он за широкую демократию... Миха тогда сказал, что если и дальше так пойдет, то черт-те чем все может кончиться и что всяких там панков вонючих и нюхачей вообще надо бы к стенке ставить — все равно это не люди, а нахлебники общества и отребье. Сашка ответил, что, прежде чем ставить, надо разобраться, отчего они появились. Ведь, если не найти причину, они будут появляться снова и снова, и никаких стенок не хватит... И что нельзя говорить заранее, что они не люди. Они тоже все разные... Миха тут всерьез завелся. Из-за этой демократии, говорит, они и развелись! И если, говорит, кто-то не хочет себя вести, как положено, и влезает в дерьмо — значит, он и сам дерьмо. И чичкаться с ним нечего! Сказал еще, что он этих подонков видал и что у Сашки в голове каша: начитался газет, а переварить — нутро слабо... «Вот что,— говорит Сашке,— пошел вон отсюда, мальчик! Будь ты постарше — поговорил бы с тобой по-другому, но у тебя еще молочко на губах не обсохло... Так что давай выкатывайся и дорогу сюда забудь...» Сашка такой от них выскочил! Белый, губы вздрагивают... «Кретины!» — говорит... Мы пошли ко мне домой. Мать сегодня поздно, сказала, придет... Ну, понес он на нормалов всякое. Что уважают в человеке не личность, а одни только муравьиные качества. И что реакция как раз на таких вот опиралась, на похожих... во все времена... Я возразил, что это он перехватил! Обыкновенные ребята, и взгляды у них есть вполне правильные. Хотя бы насчет тех, которые нюхают бензин и разную другую дрянь. И вдруг Сашка спрашивает: «У тебя есть бензин?» Бензин у нас был. Летом предки в нем кисти отмачивали, когда делали ремонт... «Тащи,— говорит,— сейчас увидишь зачем!» И — раз в него носовой платок. Помочил, немного понюхал и говорит: «Ну, что? Я что, сильно поменялся в твоих глазах? Оттого, что сделал, как сам захотел, а не как положено по внешним правилам! Главней которых, по норма-

лам, нет... Но когда человек сам с этими правилами соглашается — это одно. А когда из-под палки — совсем другое! А нормалы уверены, что это нормально — когда из-под палки... Ты что,— говорит,— теперь вместе с ними к стенке меня при случае? За слишком «свободное» поведение?» Я сказал, что он дурак... Взял у него этот платок и тоже понюхал. Но уже через минуту внутри стало нехорошо, и я перестал. Тошно как-то, и голова закружилась... Все-таки настоящая гадость это, конечно! Тут я вспомнил, что мама велела купить хлеба, и пошел в универсам. На воздухе голова сразу прошла... Но когда вернулся, так испугался! Потому что Сашка как будто спал, накрывшись маминым клеенчатым фартуком! Я сдернул фартук, подумал, что Сашка, может, шутит. Но он не шутил, а рядом была та банка... Я потряс его, а потом скорей открыл окно. Сгреб с подоконника снег и стал тереть ему лицо. Во как вышло... Сашка сказал, когда очухался, что ему стало интересно, что будет, если подышать подольше. И решил проэкспериментировать... И кого-то этот человек еще обзывал кретинами! Да... Но сон, сказал, увидел потрясный! Обязательно, говорит, надо его нарисовать. Он же рисует сны... Ну, ладно. Все.

Сегодня тринадцатое. Сашка сейчас позвонил. Сказал, что нарисовал свой «бензиновый» сон. Надо бы сбегать поглядеть, но неохота... Нет, не так. Не неохота. Как бросил рисовать, стало трудно смотреть чужое... Поглядишь — и чуть ли не реветь потом тянет. А тетя Наташа точно не удержалась. Сашка потихоньку психует. Говорит, целых полгода все было путем. А теперь вот опять. Всё, вырубаю...

Двадцатое января. После школы пошли к Сашке. Спросил его, как там у него с вопросом «зачем». Сашка сказал, что, если даже та высшая сила есть и знает ответ, он для нас не годится. Только для нее. Сашка теперь думает, что у этого ответа такая особенность: для каждого он свой. Для нормалов один. Для него второй. Для меня — третий... Все их сами находят. А если не находят, дело плохо. Вот пузыри в закипающем чайнике лопаются потому, что оболочка у них слабая и не выдерживает давления. И если человек живет без своего ответа, у него тоже как бы слабая оболочка. Которая легко разрывается, и он унич-

тожается как личность... Это такой физический закон — про пузыри. Сашка у дверей физики подслушал, когда Селедка его выставила с немецкого... Но этот закон можно, Сашка считает, распространить и на людей. Еще он сказал, что мне нельзя бросать рисовать... Что разговоры с собой, как у меня на кассетах, тоже развивают личность, но этого в моем случае мало. А он не хочет, чтоб я уничтожился! Илья Ильич недавно, в общем, о том же говорил... Позвонил из художки. Все допытывался, почему не хожу. А что отвечать? Потому, что отцу сказал: больше платить не придется? Ха, тоже мне объяснение... Не хожу, и все. Не знаю, зачем мне это надо. Он долго убеждал. Кажется, расстроился. Было б из-за чего! Из-за меня... Надеется, что передумаю. Велел записать его домашний телефон и звонить, если захочется. Я записал. Да только не уверен, что захочется... Все-таки жалко, если Сашка прав. Если общего ответа, чтоб для всех, нет. Сам-то когда еще найдешь! Да и непонятно, как его искать... Ну, ладно. Все.

Двадцать седьмое января сегодня, понедельник. Ну, Селедка отмочила! Химичка заболела, и первого урока не было. Селедка провела на нем классный час. Про всякое говорила, а потом про ЛТО. Это лагерь труда и отдыха, летний. Чтобы мы уже сейчас о нем подумали. Сашка бросил просто так, мне, а не ей: «Да ну его». А она услыхала и говорит: «Раз-зумеется, ЛТО — не ЛТП, насильно туда не тащат. Уж это ты должен знать, Мамонов!» Сашка сначала уставился на нее, а потом схватил портфель — и к двери. Селедка его за рукав: «Куда? Ты что себе позволяешь!» Но он крикнул: «Пусти»,— выдернулся и выскочил. Я ничего не понял. Ирка Крупова спросила вслух: «Что это — ЛТП?» Лямин засмеялся и сказал, что там алкашей лечат. А Селедка прямо взбесилась из-за Сашкиного «пусти». Назвала его хамом и понесла: все мы дети своих родителей, Сашке, судя по всему, не миновать кривой дорожки, и тэ дэ, и тэ пэ... Ну, тут я врубился, почему он выскочил. И на перемене треп насчет этого противно было слушать. Лямин предположил, что кого-то из Сашкиных предков загоняли или загоняют туда лечиться... На втором уроке Сашки не было. Я хотел сбежать, но потом подумал: а может, ему лучше переварить эту Селедкину глупость одному? Сам знаю, до чего неохота иногда никого видеть. Но после уроков зашел. Что-то

никого не было. Ну, у тети Наташи бывают вечерние смены — она работает на овощной базе. А вот он куда смотался? Завтра спрошу. Ну, вроде все.

Владик лежал на кровати и листал детектив, он любил читать лежа. Детектив попался нудный, но в чем все-таки дело, узнать хотелось. Владик заглянул в конец, и через пять минут все стало ясно...

Потянувшись, он подумал: «Не забыть бы с утра сунуть в сумку чертежную доску». Вышел в коридор, еще раз без толку накрутил Сашкин номер... «Ладно,— сказал себе,— расспрошу завтра, чего у него и как...»

Откуда Владику было знать то, о чем не каждый взрослый-то человек помнит: все, что происходит с нами в нашей жизни,— происходит только сегодня. Всегда сегодня! А завтра — случается и так — не наступает вовсе.

Прокрутил вчерашнюю запись, сто раз прокрутил... Ну почему я такой дурак?! Почему сразу не побежал за ним?! Оля права — ничего не вижу, что под носом! А Селедка... Таких вообще!.. Таких уничтожать нужно! И Сашка дурак! Нашел кого слушать! Нет, ну как же он мог... Я не понимаю: как он мог?! И никто теперь не узнает, что ему приснилось в том сне... Идиотская мысль, а я думаю! О том, что у него было в его последнем сне!

Класс лихорадило: приезжала врач, выясняла, нет ли еще токсикоманов в седьмом «Б». На родительском собрании Селедка призвала каждого родителя проследить, не появились ли у его ребенка пагубные привычки, и предостерегла: у некоторых детей они образуются с удивительной легкостью.

Прошло классное собрание. Притихшие ребята отмалчивались, собрание шло вяло. Но после того как Селедка произнесла: «Мне, как и вам, очень жаль, разумеется, вашего товарища...» — после этого произошло неожиданное.

Владик Шохин, мальчик, на ее взгляд, инертный и замкнутый, причем из вполне приличной семьи, прервал ее на полуфразе с самым развязным видом.

— Вам? — спросил он.— Сперва убили, а теперь жалко? Здорово у вас выходит!

И тут случилось совсем уж неожиданное... Немецкая

Селедка поправила очки, мелко зашевелила губами — и вдруг схватилась руками за лицо и вышла из класса...

В этот вечер Владик заболел. Наверное, переел снега — глотал его все последние дни, постоянно почему-то хотелось пить.

Сначала заболело горло, потом голова. Он померил температуру: тридцать восемь. Через полчаса оказалось уже тридцать девять. Из какого-то упрямства он ничего не сказал отцу, прикрыл дверь в свою комнату и лег. Мама была в командировке, должна была вернуться на днях...

Ночь запомнилась плохо, хотя он просыпался без конца. Было так жарко, что Владик настежь открыл балконную дверь. От морозного воздуха стало лучше, и он уснул, но проснулся от той же духоты и жары. На лоджию намело снега, и Владик вышел на тошных ногах полежать на нем. Лежать было приятно, вставать не хотелось, но он все-таки встал и вернулся в постель. Потом снова вспомнил про распахнутую дверь и решил сходить еще раз, но его не пустила мама. Она сидела на кровати с краю, тяжелой рукой прижимала его ноги и говорила: «Лежи, лежи, не надо. Можешь простудиться».

Владик нехотя послушался и закрыл глаза, а когда открыл, на мамином месте сидел Сашка.

«Ты! — сказал ему Владик и от восторга немного задохнулся.— Слушай! Ты мне скажи: у тебя случайно тогда? Или, может... Знаешь, я все время про это думаю! Скажи!»

Сашка непонятно покачал головой и промолчал. Но Владик решил не обращать на это внимания.

«Ты зря... Тебе никак нельзя умирать! Ну как ты это не понимаешь? Нельзя! А какой сон ты тогда увидел?»

Сашка начал тускнеть, размываться и пропал... Владику стало так обидно, что он заплакал:

— Ну куда ты опять от меня? Ладно, я ничего не буду спрашивать! Не буду, слышишь?

Он вернулся. Владик обрадовался, и его снова затянуло в душное, черное — на этот раз уже до утра...

Зима кончалась. За окошками класса солнечно подтаивал снег. Ошпаривала мгновенная мысль: «А Сашка не видит!» Изредка, в какие-то шалые секунды, чудилось: повернешь сейчас голову — и он тут! Не дыша, поворачивал. Мир был пуст, как соседняя половинка парты.

...Третье марта уже. Давно не брался за маг. Больше месяца прошло. Болел тут недели две. Нет, больше. Да это неважно. У тети Наташи вчера был. А в школе запустил все здорово. И нагонять неохота... Как-то не о чем говорить. Все...

Нет, говорить можно было бы о многом — наверное, даже о слишком многом. Например, о чувстве вины, от которого никуда было не деться. С которым надо было жить. Не день и не месяц — всю остальную жизнь жить! От этого Владику становилось холодно и мертво. И мысли появлялись тоже холодные и мертвые. Он постепенно привык к ним и уже их не боялся. Вот только маму было жалко, и потому Владик подолгу вертел эти мысли так и этак, словно детали конструктора, но ничего конкретного соорудить из них все-таки не пытался...

Еще можно было бы рассказать о бессильном отвращении к пятнистому от фонарей потолку в его комнате. Может быть, именно из-за этого отвращения так трудно было теперь засыпать? А сны снились захватывающие, детективные: с погонями, западнями и спасениями, убийствами... И после красочной чехарды такого сна — резкий, как щелчок, обидный до слез обрыв в реальность, в тиканье будильника, на котором второй или третий час ночи... Но тикал он бессмысленно. Похоже, на ночь стрелки умирали, и над Владиком навечно зависал пятнистый глухой потолок, и не верилось, что есть на свете такая вещь, как утро. Что в мире вообще что-то есть, кроме этого потолка и мертвых стрелок...

О многом можно было бы рассказать. О столь многом, что у Владика не было сил и слов даже пробовать...

Тетя Наташа сменила работу: пошла санитаркой в больницу, где лежала в феврале. И не жалела, хотя на новом месте сильно уставала. Приходам Владика была рада. Но однажды сказала своим негромким, домашним голосом:

— Тяжело ведь со мной... Что тебе на меня глядеть? Сирота я теперь совсем. То Сашенька был сирота, без папки же рос, а теперь вот я. Забегаешь ко мне, спасибо, да что тебе за смысл? Лучше бы с кем погулял...

В горле у Владика дрогнуло: вспомнилось... «Сйроты!.. Что-то вы, детки, как сироты...» Подъезд, батарея, старуха в драных ботах... А теперь тетя Наташа не только о Сашке, но и о себе — тем же словом! Сколько их, кого можно или хочется назвать так? Много. «Наверно, почти любого мож-

но,— подумал Владик.— Потому что каждый внутри себя один».

По сравнению с мамой Владика тетя Наташа оказалась довольно-таки молодой. Ей скоро должен был исполниться тридцать один год. Владик посчитал назад — Сашкины четырнадцать — и смутился... А она вдруг заговорила с ним, как со взрослым. Рассказала, что они с мужем познакомились в восьмом классе («Я почти в восьмом!» — мелькнуло у Владика). После восьмого она пошла в училище, но не закончила — родился Сашка. С Сашкиным отцом они сильно любили друг друга, потому и Сашка получился такой: от любви дети бывают особенно удачными. Умными и красивыми... И не надо было ему переживать, что не вышел ростом, она же говорила ему, что и папа до шестнадцати лет был одного роста с ней. А потом такой вымахал... После армии он пошел работать шофером. И разбился.

Тетя Наташа спросила, дружит ли Владик с кем-нибудь сейчас. Про нормалов он не стал ей говорить... А про Олю вдруг сказал: да, дружил с одной девчонкой, но они поссорились. И тетя Наташа назвала их маленькими дурачками. Если дружили всерьез, то теперь, когда и ему, и ей плохо, им бы, наоборот, держаться вместе, а не разбегаться, как зверятам, каждому в свою нору...

Листая Сашкину тетрадь, Владик наткнулся на строчки из Набокова. На те, что Сашка начитал тогда на магнитофон, и на другие. И чем больше вчитывался в эти другие — радостные, твердые,— тем ему делалось тоскливей и безвыходней. Потому что у него жизнь сейчас — никакая! Не та. У Набокова была, наверно, та. По стихам можно догадаться... И у Сашки была бы та! В этом Владик нисколько не сомневался. А вот у него...

...Но, с далеким найдя соответствие,
очутиться в начале пути,
наклониться — и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
И распутать себя осторожно,
как подарок, как чудо, и стать
серединою многодорожного,
громогласного мира опять.
И по яркому гомону птичьему,
по ликующим липам в окне,
по их зелени преувеличенной,
и по солнцу на мне и во мне,

и по белым гигантам в лазури,
что стремятся ко мне напрямик,
по сверканью, по мощи, прищуриться —
и узнать свой сегодняшний миг.

Тетя Наташа заглянула в тетрадь через плечо Владика:
— Неразборчиво как... что-то ничего я тут не понимаю...
— Я тоже,— угрюмо сказал Владик.

Кассета шестая

Сегодня тринадцатое марта. Захожу иногда к тете Наташе. Смотрю Сашкины выписки из разных книг. У нее скоро день рождения. Она Флобера любит. Надо будет вытащить из домашних книг и подарить. Предки не заметят, им не до того. Развод в суде опять отложили... А если и заметят, плевать. Мне теперь почти на все плевать. Все равно таскаю нормалам... Каждый вечер к ним стал ходить. Миха загоняет книги за спирт у себя на заводе. Жутко противная штука! Ребята слегка посмеялись... Сказали, в другой раз лимонада мне купят, чтоб смешал,— с ним легче пойдет... Но сами они не алкаши! Вовсе нет. Шутят, что выпивают «с устатку». Еще говорят, что, если устраивать себе праздники каждый день, праздники превратятся в будни... что впадают в такую крайность одни идиоты... А тетя Наташа сейчас работает в больнице. «Там я,— сказала,— хоть кому-то нужна». Вообще она добрая, эта работа как раз для нее... Один бывший больной даже заходит к ней. Ничего дядька. Только старый, ему уж сорок. А мне деваться некуда, кроме нормалов. Все-таки очень неплохие они ребята! И обо всем имеют свое мнение. Не то что я... Правда, сильно умными их не назовешь. Сначала я этого не замечал — потому, наверно, что они много знали про настоящую жизнь... Но вот Миха соображает здорово! Иногда играем с ним в шахматы... Если честно, теперь совсем не знаю, как правильней жить. Может, так и надо, как они? Без всяких «ненормальностей» и лишних мыслей. От которых ничего, кроме расстройства. И насчет бензина они были правы! Нельзя, и все! И никаких обсуждений... Если б Сашка с ними согласился — не стал бы устраивать тот эксперимент. С которого все и пошло: сны, рисунки-бензинки... И если б я сам думал тогда так же, как нормалы,— отговорил бы его! Хотя что теперь-то: если бы, да кабы... Теперь-то

чего... А Селедку я понял! В феврале она притихла, даже говорила иногда по-человечески. Теперь все по-старому. И вяжется ко мне, как раньше к Сашке... Недавно сказала, чтоб о комсомоле я и не мечтал. Что распустился, хамлю... Жаль, говорит, что в школе, кроме доски «Наша гордость», нет доски «Наш позор»! Она бы порекомендовала туда кое-кого, и меня в том числе... Белов крикнул, что эту новую доску лучше назвать «Не наша гордость»! Так круче звучит! Селедка, конечно, стала выставлять его из класса. Он — ноль внимания! Тогда она как заорет: «Вон отсюда!» Белов подумал, подумал и не спеша вышел... И я понял! Селедка же нас боится! Столько лет работает и боится. Как она на Белова смотрела: послушается он ее или нет? Вот Аллочка недавно у нас, но ничего похожего. Не ищет за каждым поступком другие смыслы, один хуже другого. И ее, в общем, не обманывают... Хотя строгости ей еще не хватает. Бывает, что пользуемся, ну, шумим там... А Селедка! Я и удивился, и обрадовался. Даже пожалел ее слегка... Недавно она звонила домой. Вызывала предков. А что они мне сделают? После домашней разбираловки взял и переночевал у нормалов в подвале. И сказал: станут приставать, еще хуже будет... Ну, все.

Двадцатое марта сегодня. Понедельник. Ирка Крупова говорила со мной про Сашку. Второй раз уже в последнее время. Попросила его тетрадку с мыслями и выписками, я пообещал. Это она однажды пошутила... что влюбилась бы в него, будь он на две головы повыше. На похоронах Ирка очень плакала... А я теперь запираюсь. В своей комнате такой запор на двери сделал! Клевый. Два уголка и гвоздь поперек. Отец вчера опять оторвал, пока меня не было. А я сегодня опять привинтил. Когда орут из-за двери — веселей слушать, чем когда над ухом... Но я одно не пойму: он же сказал зимой, что уйдет в марте! К той. Вот и мотал бы! Нечего тут свои порядки наводить... Вообще-то чувствую в себе то слабость, то такую силу! Слабость — когда думаю, почему я и все другие тут, а Сашки нет. Что это глупо. Несправедливо. Что не может так быть! Не должно, что его нет! Ему, может, больше всех нас надо было быть... А силу — когда настроение, как у тех ребят на остановке. Которые били стекла вдребезги. Знаю, что тоже так могу,— иногда до черта хочется чего-то такого... Как короткое замыкание в мозгах. Вспышка, тьма, и все — все равно!

И драться уже не боюсь. Почему раньше это казалось чем-то сложным? Главное, не бояться за себя — и всех делов. Не думать в это время о себе, не трястись над собой... А я и не трясусь. Вот... Но Сашкину запись — ту, на кассете — почему-то не могу слушать. Сколько раз хотел! Но никак. Ладно, все...

Да, Владик теперь не боялся драться. Но стоял сейчас в стороне, глядя, как нормалы разделываются с тем странным типом...

Он был не с ними, потому что не узнавал их. Никого не узнавал! И с этой минуты презирал и ненавидел всех. Толстого Костика, который вечно пел: «Лучший месяц в году я у моря с тобой проведу», а сейчас сопел и лупил каблуками того, кто скорчился на бетонном полу подвала. И азартно вскрикивающих любителей кроссвордов Славу и Петьку, старавшихся попасть в живот. И Миху ненавидел! Работавшего ногами молча и расчетливо, будто он выполнял нужное серьезное дело... С ними — с такими — Владик не был! Он был скорее с длинноволосым типом у них под ногами...

И тем не менее он стоял в стороне. Стоял, не узнавая нормалов, ненавидя их и презирая, сцепив челюсти так, что ломило зубы.

Били они его у двери, и выскочить за помощью было невозможно. Вмешаться самому? Нет, Владик их не боялся! Но чем это кончится? Они же ничего сейчас не соображают, изобьют до полусмерти за компанию, и все! И он стоял и смотрел, и небывалые, чудовищные ненависть и бессилие грохали у него в висках...

Случилось так. Нормалы пришли веселые, шумные — получка. Радостно вспоминали, как быстро «сломался» черный Славка и как они отнесли его домой, сдали на руки маменьке. Длинноволосого парня в дальнем углу они заметили не сразу. Он был невысоким, с узким лицом, в мятой джинсовой куртке и с грязным рюкзачком в руках.

Он сказал им:

— Извините, ребята... Хотел заночевать, но не буду вам мешать. Пойду.

— А откуда ты взялся? Здесь, в этом подвале? — Миха недобро повел сутулыми плечами. — Кто ты вообще такой?

— Зачем это вам? — спросил парень. Глаза у него были темные и очень спокойные.

— Вижу, что хиппок! Не верти лучше!

— Если видишь — что спрашивать? — снова вопросом на вопрос ответил парень. Он до того вежливым голосом отвечал, что получалось чуть ли не свысока...

— Зачем? А это уж — дело мое! — отрывисто сказал Миха и шагнул к парню. — Значит, так... Нигде не работаем, путешествуем «стопом», жрем на халяву — где подадут, а где и слямзим... На белый свет глядим, наслаждаемся! Хоро-ошая жизнь... А кто-то за тебя вкалывай? — вдруг заорал он. — Работа дураков любит, да?!

Он рванул парня за волосы, и тот, стукнувшись головой о стенку, упал. Подняться не успел — его за ноги оттащили от стены, чтоб удобней было бить, и начали...

Владик нагнулся за ящиком и швырнул его в стену. Ящик с грохотом рухнул и рассыпался. Миха обернулся, скользнул по Владику невидящими глазами...

— Глянь! — хрипло крикнул Владик. — Не по трупу молотишь? По трупу-то какой интерес!

— В самом деле, — пробормотал Миха и потер лоб. — Из-за какого-то дерьма садиться еще...

С остальными он разобрался легко: кого просто оттолкнул, кого оттащил за шиворот... Вместе они допили принесенное. Вино плескалось в возбужденно вздрагивающих руках.

— На! — Миха протянул Владику остаток. — Пей да пошли отсюда.

— Нет, — сказал Владик. — А его что, тут оставите?

— Хо, нашел о ком заботиться! Оклемается — уползет.

— А вдруг его искать будут?

— Да кому он нужен! Заруби на носу: такие никогда никому не нужны... Так что не дрейфь, спи спокойно... Пошли, пошли!

Владик вышел с ними, бросил, что он — домой, и вернулся. Парень стонал. «Живой, слава богу...» — опустошенно подумал Владик и присел рядом на корточки.

— Слушай, может, «скорую» вызвать? — спросил он парня. — Слышишь? Или милицию? Я их всех знаю, я не боюсь!

— Н-не надо... — с трудом проговорил парень. — Не вздумай. Я с властями... предпочитаю... не иметь дела.

— Почему?

— Просто не хочу. Ты иди...

— А может, нужно чего?

— Нет-нет... Отлежусь и уйду. Ты иди, ничего не надо...

Эту ночь Владик не спал — мысли крутились путано и отчаянно вокруг одного и того же... Вокруг людей по имени нормалы.

Вот они, значит, какие! Могут избить только за то, что кто-то не похож на них. По-другому живет. По-другому думает. Они и Сашку не приняли — он ведь тоже был другой! А нормалы уверены, что все должны быть, как они... И «никому не нужны» такие, как тот парень! Поэтому с ними можно поступать как хочешь! Только опасение влипнуть придерживает — больше ничего.

— А я ведь уважал их...— прошептал Владик и зажмурил глаза.— Да, уважал. За честность, за их настоящую взрослую жизнь...

Но получается, что разное люберьё — и то честнее! Оно хотя бы последовательно: разделывается с «не нашими», не долго думая и не оглядываясь, везде, где ни встретит... А нормалы ненавидят тихо! И на драку идут — Владик видел это,— лишь когда им самим не грозят никакие невыгодные для них последствия... Может быть, это еще страшней! Потому что, глядя на них, таких спокойных, таких обычных с виду, ни за что не подумаешь, что они могут внезапно превратиться в совсем других. Вчерашних...

Да, если смотреть со стороны — всё у них в порядке! Никаких крайностей ни в чем... И будет все в порядке: «по плану», после двадцати двух лет, заведут семьи, и работать будут, чтоб жить «как люди». Но тех, кто «высовывается», такие ненавидят люто, хоть и тихо... И не нужны им никакие перемены. Все беспорядки от этих перемен, только мешающих «нормально» жить,— примерно так говорил Миха. Самый умный из них, как решил когда-то для себя Владик...

Тот Миха, который мечтает о порядке и презирает всех непохожих! Сколько он накопит этого презрения за жизнь? И чем оно обернется, если обстоятельства вдруг позволят ему больше не бояться «влипнуть»?

Да, Сашку они никогда не приняли бы. Владик даже головой крутнул: надо было быть круглым дураком, чтоб вести его туда! И вдруг застыл от простой и жуткой мысли: а ведь его-то самого — приняли... Значит, решили, что свой? Значит, есть в нем что-то, из-за чего они могли так подумать?

Но они ошиблись! Да, ошиблись! Они в нем, он в них... Но как могло такое случиться?..

Владик понял как. С нормалами ведь, в общем, несложно

ладить. Всего лишь не задевай их словом, резко отличным образом жизни, не мешай...

А он не мешал! Ни раньше, ни вчера... Он стоял и смотрел. Кого-то могли убить, а он стоял и смотрел...

Но вмешиваться было бессмысленно! Досталось бы обоим, и весь результат. Избили или даже убили бы «под горячую руку»...

Логика железная. Как у отца! Дважды два — четыре, и думать вроде как и не о чем... Но если б того типа все-таки до смерти?.. Что бы он, Владик, ТОГДА сказал? Что, мало ему Сашки?

А может...

Владик даже застонал от яростной догадки: а может, в таких случаях человек — по-настоящему нормальный человек! — и должен скорей предпочесть, чтоб его УБИЛИ ВМЕСТЕ? Чем по-тихому отшатнуться и «быть вместе» мысленно, на безопасном расстоянии?

Ну конечно же... Конечно, только так, иначе — нельзя! Когда иначе — ты... ты нормал! Ты кто угодно! Только не человек...

Так что же ему делать теперь?.. Что теперь-то можно сделать?..

Под утро Владик включил магнитофон.

Сегодня шестое апреля, четверг. Обещаю себе за эту неделю нарисовать нормалов. Как они улыбаются и играют в домино на ящиках. Как Миха обнимает за плечо толстого Костика с гитарой. Как они сидят, дружные, и передают по кругу бутылку. Как стоят над человеком и пинают его! А для равновесия размахивают руками, и их освещают подвешенные к трубам фонарики... Тут должно быть четыре листа. Я их сделаю до конца недели. Все.

Владик сделал эти четыре листа. Но остался недоволен, на следующей неделе переделал, и листов получилось три.

Несколько рисунков он назвал про себя «Остановка». «Утренние люди» штурмовали автобус. «Вечерние люди» устало и терпеливо глядели на дорогу, держа распухшие сумки и сетки. «Ночные люди» громили остановку, и прозрачные, фантастической формы осколки сыпались сквозь них на снег.

И жадно затягивался окурком человек, сидящий на корточках над кучей мусора рядом с перевернутой урной... Все Владик, оказывается, запомнил, как ни разучивался видеть.

Еще он рисовал очереди. Одна — к телефонному автомату. Люди с двушками в руках, а в будке — пожилой мужчина, бережно прикрывающий ладонью трубку... Другая — к киоску за свежими газетами. Третья — к винному отделу. Толпа вдавливается в черную дверь, раскрыв от напряжения рты и ничего не видящие глаза — ничего, кроме этой маленькой черной двери.

Старуху с ведром он нарисовал отдельно. Она медленно поднимается по ступенькам на фоне зеленоватой стены, мертвый желтый свет падает на нее сверху и сзади, и до мусоропровода остается пройти две ступени...

Сегодня восьмое мая. Пашу последний месяц, как сумасшедший. Надо будет звякнуть Илье Ильичу. Показать. Интересно, что скажет... Отец наконец-то ушел. С мамой не особо ладим, но не особенно и цапаемся... Она не против ЛТО. Селедка туда не едет, едет Аллочка. Я решил, что лучше уж туда, чем с мамой на юг... Почти одновременно разъедемся. Еще хочу нарисовать Димку. Но не тот момент, какой хотел сначала, зимой... как он убегает от мужиков с сачками. Хочу другой. Когда они только подходят к нему. Он еще ничего не понимает, сидит растерянный такой... Но уже чувствует что-то очень плохое. Я же обещал Оле нарисовать его — для нее... Ну вот, пока все.

Двадцать третье мая уже! Сегодня встречался с Ильей Ильичом. Он долго смотрел. Все трогал свою черную бороду и молчал. Я уж начал бояться — чего он молчит? Но он сказал, что я молодец! Что глаз у меня хороший... Только с анатомией, конечно, не всё в порядке. А композиционно вполне прилично и экспрессии — тут он усмехнулся — тьма... Нет, он по-хорошему усмехнулся! Спросил, где я только наоткапывал таких рож. Я ответил, что сам видел, по памяти все. Еще он сказал, материала тут лет на десять хватит разрабатывать. И чтоб осенью я приходил в художку, с восстановлением проблем не будет... а летом поработал бы на совесть. Сейчас прикидываю,

как сделать один рисунок... Часть окошка, угол косой, потому что видишь это окно как бы сверху и с улицы. Мальчишка читает, а внизу темный двор, только один фонарь горит. С перспективой сложно: как сделать этот обрыв, резкий такой, внезапный, от окна в пустой ночной двор с фонарем... А Димку я нарисовал. Вот уже два дня думаю, как отдать... Ну, все.

Первое июня. Видел сегодня Миху! На улице. Шел с девушкой. Под ручку... Почти нос к носу с ними столкнулся! Он мне подмигнул — важно, по-дурацки как-то... Даже «привет» не сказал. Я бы не ответил, но Миха-то этого не знал! Хотя что я удивляюсь? Плевать им на всех! Кроме себя. Вот и все. Экзамены, как ни странно, сдал более-менее... Сегодня первый день практики. Моем окна и лестницы в школе. Насчет того, как отдать Димку, я так решил... Заранее звонить не буду. Просто приду. Если увижу, что ей неохота меня видеть, оставлю Димку и уйду. И ничего страшного... Я же ей обещал? Ну и вот... А если ей не неохота, можно снова начать видеться... Я зимой понял, что каждый человек внутри себя один. Но бывает, что с некоторыми людьми он уже не совсем один. Зачем таким людям быть отдельно? Это же так редко, когда чувствуешь, что с кем-то ты — ну, уже не настолько один... Таким людям нельзя теряться! У Оли сейчас тоже должна быть практика. Вроде все...

Она открыла дверь, и брови над разноцветными глазами и скобочки в углах губ вздрогнули...

Владик сказал:

— Здравствуй... Я вот Димку принес. Помнишь, обещал? На.

Оля хрипловато ответила:

— Спасибо. Я думала, ты забыл...

— Нет,— с усилием выговорил Владик.— Я все помню.

— Я тоже,— сказала она.— А ты вырос, да? Раньше я тебе по глаза была, а теперь только по ухо.

— Наверно... Я хотел позвонить тогда, в декабре. Но не решился... Может, зря?

— Может,— ответила Оля.

— Кто еще там? — выглянула с кухни Олина мама.

— Это ко мне. Я скоро приду!

— Да куда тебя...

Конец фразы остался за дверью. Первый день, вернее, первый вечер лета обещал быть теплым и длинным, и времени должно было хватить на все: и на знакомство почти заново (сколько не виделись!), и на многие добрые и недобрые новости прошедших месяцев...

Второе июня. Пятница... Два раза виделись! А сегодня вечером ее повезли к тетке. На все лето... Практику она там отработает — в колхозе. Сказала, могу приехать, если хочу. А у меня этот ЛТО! Только в конце июля вернусь. К Оське она ходит... Говорит, руку там умудрился вывихнуть! Свалился откуда-то. И вообще что-то много болеет... А к отцу она не ходит. Там у них девчонка родилась. Оля сказала, что ей не то что ту девчонку — даже их дом видеть тошно. Что она всех их будет ненавидеть всю жизнь... Жалеет, что со всеми сволочами нельзя рассчитаться по-своему. Ну, я говорю: «А откуда ты знаешь, с кем надо рассчитываться, а кто не безнадежный? Не стоит думать, как нормалы». Она про них не слыхала. Я обещал показать рисунки. Осенью покажу. Но это плохо, что она так думает... Что почти все люди сволочи! Для нее самой плохо... Не знаю, как доказать, что это не так. Но как-то надо. Во-первых, это же правда не так! А во-вторых, когда у человека такие мысли, разве он сможет... чуть не сказал: нормально жить! На слово «нормальный» у меня теперь какая-то ненормальная реакция... Про Сашку ей сказал. Оля спросила, почему я не пришел... «Думаешь,— спросила,— если у меня никто не умирал, я бы не поняла?» Я от нее и ожидал этого, и не ожидал... Вот... Договорились, что в конце июля скатаю к ней. Ну хоть на выходные. Это не так далеко. На электричке. Только времени, конечно, очень много еще до конца июля... Два месяца почти. Практика, лагерь... А лето наступает отличное! Пух с тополей вовсю уже летит. Ну, вроде все.

Это была последняя запись Владика Шохина. Через две недели, уезжая после школьной практики из Москвы, он прихватил с собой обычную школьную тетрадку. На одной из его кассет остались Сашкины слова о том, что каждый человек вольно или невольно искажает свою историю, забывая, как все в его жизни было на самом деле. Владик забывать не хотел.

Никого и ничего! Многие люди, не желавшие терять себя, пользовались тетрадями. Взял ее и Владик. А кисти и краски, постукивающие в этюднике,— это само собой.

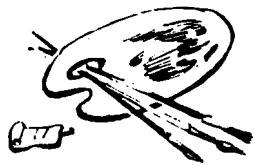
Народу в электричке было полно. Этюдник он придерживал ногой, рюкзак забросил на багажную полку... Тянуло в сон — ночью рисовал.

Прислонившись к стене, Владик начал представлять себе, как удивится Оля. Представлялось очень хорошо! О крыше над головой он не беспокоился. Не устроится у Олиной тетки — проживет месяц в том шалаше в заброшенном саду, о котором рассказывала Оля... И с деньгами был порядок: сорок рублей, что мама давала на ЛТО.

Она думает, что Владик в лагере. Может быть, потом, когда она вернется из отпуска, он ей расскажет... «Меньше знают — крепче спят!» — любимая поговорка главного классного нарушителя Белова. Хотя при чем здесь Белов!

Стучали колеса, стоя дремал высокий мальчик с этюдником у ноги, и сверкало за окнами электрички набирающее силу лето.

Москва 1988 г.



Елена Матвеева[1]

ОСТРОВ

Повесть

1

Он проснулся и с неприязнью прислушивался, как мать спускает воду в уборной, возится в ванной и кухне. Ему бы переждать, пока она не уйдет на работу, но непонятное беспокойство гнало из дому. И вот в спину обычное, в последнее время неуверенное и нарочито ласковое:

— Ты куда, Олежек?

Еще недавно звала ненавистным — «Олешек». Тем более противно, что и впрямь было что-то оленье в его лице.

[1] © Елена Матвеева, 1989

А может, козье. Лет до тринадцати нежным личиком и светлыми кудрями был похож на девчонку. И теперь лицо не слишком мужественно, но выручают рост и плечи. Отец, услышав его жалобу на внешность, сказал: «Ничего, заматереешь, ты в нашу породу. Я до двадцати лет вообще не брился». Олегу до двадцати осталось всего три года, а на вид он мальчишка.

Родители считают его ребенком. Они совсем не заметили, что он вырос, изменился, уже не тот. Они те же — он другой. И отношения с родителями в последнее время стали другими — хуже некуда.

У него своя комната. Маленькая, но своя. Если к нему приходят друзья, родители почему-то заглядывают каждую минуту под самыми смехотворными предлогами. Потом обиженно говорят: «Когда к нам приходят гости, мы же не требуем, чтобы ты уходил?»

Если он идет к однокласснице на день рождения, его предупреждают: «Мы разрешаем тебе выпить одну рюмку сухого». Там и не пьют водку, но на всех приходится не рюмка сухого, а три. Все пьют, а он должен сказать, что ему не разрешили? Они постоянно вынуждают его лгать.

«Тебя видели во дворе со Славкой, он беспутный парень». Так что же, Олег не вправе решать, с кем ему остановиться во дворе и поговорить?

«Куда ты идешь? К Гене?» Это значит, что за вечер мать раз или два позвонит к Гене, чтобы дознаться, там ли он, когда вернется и что они делают.

До недавних пор мать ходила по квартире в рубашке. «Мне это неприятно. Я не ребенок»,— сказал ей Олег. Мать удивленно засуетилась и сейчас же надела халат.

Они ведь интеллигентные люди, инженеры. Они никогда не позволят себе вскрыть письмо, которое ему адресовано. Но они все равно хотят знать, что в письме. Они хотят знать каждый его шаг, всякую мелочь.

Профессию Олег выбрал для себя сам и через три недели поедет поступать в Ленинградский педагогический институт, на факультет графики. Будет учиться, жить в общежитии, денег из дому брать не будет. Не хватит стипендии — заработает. Он хочет быть взрослым человеком, хочет, чтобы его уважали, а не подозревали, не контролировали и не опекали...

— Ты куда, Олежек?

Он и сам не знал — куда, поэтому не ответил, захлопнул дверь.

2

Олег шагал без цели, пока не перешел мост. Открылись два квартала старых домиков и кладбище, которое начали сносить и уже оттеснили от проспекта. Дальше — новостройки. Дом, где живут художники, был заметен сразу, верхний этаж застеклен — мастерские. Олег шел к своему учителю.

В коридоре стоял свежий запах стружки. Дверь мастерской была не заперта. Иванов, голый по пояс, орудовал рубанком. За что бы ни брался Иванов, все у него получалось так, будто всю жизнь он только этим и занимался. Иванов протянул Олегу жесткую руку и сказал:

— Здоро́во!

Коренастый, крутогрудый, уверенный в себе, занятый делом человек. Вот таким хотелось быть и Олегу.

Иванов удовлетворенно окинул взглядом свое хозяйство.

— Нравится? Осталось сделать антресоли.

У двери были навалены ящики с вещами, холсты, папки. Новое соломенное кресло. На подоконнике бронзовый божок с животом-мячиком, гипсовая голова, всякая мелочь. Из огромного окна в полстены прекрасный вид на их город за рекой, слева вдали — голубой лоскут залива.

Олег и еще двое учеников Иванова помогали ему переезжать из прежней мастерской в двухэтажном скрипучем домике на старой, заросшей вязами улочке. С ней у Олега было связано много хорошего.

Маленькая комнатенка — несколько шагов вдоль, несколько поперек; а еще меньше она оттого, что наполовину срезана косым потолком-крышей. В углу рукомойник и печка, откуда постоянно слышна песенка закипающего чайника. На длинном столе цинковые и медные доски, папки, кисти, лаки. Рядом мольберт и старое, просиженное кресло. В нем Олег провел много времени, наблюдая, как Иванов работает. Приходили и другие ребята из художественной школы. Семка-модернист, которого чуть было не выгнали за новаторский подход к искусству. Иванов за него долго и яростно бился, считая талантливым. И победа была триумфальной: открыли персональную выставку Семки (такого не знала история школы!) и провели диспут, который продолжался три дня. Директор Василевский потом говорил: «Способный парень, хотя шалопутный. Но это у него пройдет, он встанет на правильный путь. На его примере я сумел дать урок другим, показать, что хорошо, что

плохо. Думаю, что открытым обсуждением принес пользу и парню. Другой бы на моем месте выгнал его — и дело с концом. Я же считаю: выгнать просто, попробуй воспитать!»

В прошлом году Семка поступил в Ленинграде в институт Репина. Директор опять говорил, что поставил парня на ноги, дал ему путевку в жизнь. Иванов молчал. Он радовался за Семку. Не так уж часто ребята из их города поступали в прославленный институт.

Многие бывали в старой мастерской Иванова. Инка тоже приходила. Но Инка — это особый разговор.

Иванов — график. Однажды он показал ребятам гравюру, которая называлась «Моя мастерская». Эта мастерская ничуть не походила на уютную комнатенку, где в продавленном кресле и на сундуке любили просиживать целые вечера ребята. Она была огромная, с антресолями. Чего здесь только не было! И вид из окна совсем другой — там выстроились башни волнующе незнакомого города. Потом они увидели этот город на другой гравюре.

«Уедет,— подумал тогда Олег.— Что ему делать в нашем захолустье? У него талант. Будет у него и мастерская с антресолями, и прекрасный город». И так тоскливо стало Олегу, потому что больше всего на свете ему хотелось дружить с Ивановым. Может быть, чуть позже, когда Олег повзрослеет, будет у них настоящая мужская дружба. Если Иванов не уедет.

— Вы хотите такую мастерскую? — настороженно поинтересовалась Инка, и Олег почувствовал, что она подумала о том же.

— Она у меня уже есть.

— Где? — тихо и напряженно спросила Инка.

— Здесь, на гравюре,— сказал Иванов и улыбнулся.

Олег и Инка с облегчением вздохнули. Ему хватает мастерской на гравюре. Он преподает в художественной школе, хотя может заниматься только творческой работой, графикой, потому что он член Союза художников, или подыскать какую-нибудь работенку, которая не отнимает столько времени и сил, да и оплачивается получше. Но Иванов не бросает своих ребят, знает, что без него им будет плохо и неинтересно. Может, и ему без ребят неинтересно? Без Семки-модерниста? Без Олега?

Альбина Сергеевна, тоже преподаватель художественной школы, обращается к ученикам с липовым «вы», Иванов говорит «ты». Но с первого взгляда понятно, что Иванов относится

к ребятам серьезно, а Альбину Сергеевну они не интересуют, она отрабатывает свои «часы».

Художественную школу Олег вспоминал с удовольствием. И прежнюю мастерскую. Теперь и мастерская чужая, а с ней почему-то и учитель отдалился.

Старую мастерскую Иванова узнавали по окну — все другие густо уставлены цветами. Вечерами, как лампадки, в доме светились окошки. За каждым жила старушка. Почему весь дом населен старушками? Наверно, потому, что дом и сам старый. Молодые получили квартиры, уехали, старушки остались. Умрут — и дом умрет. Он уже наверняка предназначен на слом.

Жизнь дома текла по-старушечьи. Утром бабки сидели у крыльца, греясь на солнышке, и тогда на всех дверях, выходящих в коридор, висели замочки. В дождь бабки выглядывали на улицу из-за своих геранек, любопытствовали: кто идет? Куда идет? Кто остановился и разговаривает?

К Иванову старушки относились настороженно. Они не знали, что происходит в каморке под крышей, зачем туда ходят люди (среди них и женщины есть, и девушки!). Что они там делают? Художники все развратники. Анна Васильевна заходила к Иванову, так видела у него картину — нарисованную красками го́лую женщину.

Когда выносили из мастерской вещи, старушки прилипли к своим окнам и напряженно наблюдали.

— Без меня скучать будут. А думают они сейчас, что и у них впереди переезд, только совсем не такой, как этот,— сказал Иванов. Сказал по-доброму, грустно.

Циником он не был. И пьяницей не был, как Пучков, тоже преподаватель художественной школы. И дураком не был, как Альбина Сергеевна, и не был рутинером вроде Василевского. Он был хорошим и талантливым человеком. Многим ученикам хотелось быть похожими на него.

Когда погрузили последние вещи, Иванов прощальным взглядом окинул дом, поднял руку и закричал:

— Прощайте, бабушки!

Ему никто не ответил, но бледные старушечьи лица в обрамлении геранек и бальзаминчиков моментально исчезли. А одна, со второго этажа, неожиданно показала язык.

Иванов невесело засмеялся и прыгнул к ребятам в кузов. В кабине сидела его мать. В новом доме художники получили и мастерские, и квартиры.

— Вы не скучаете по старой мастерской? — спросил Олег.

— Нет.

— А я — да. Там было хорошо. Старый скрипучий дом...

Он не сказал главного: та мастерская была для него родной, в ту комнату он и другие ребята приходили запросто.

— Конечно, эта мастерская настоящая...

— Настоящих мастерских не бывает,— не задумываясь, сказал Иванов.— Бывают настоящие или ненастоящие художники. Романтика, конечно, вещь хорошая. Но для работы все условия здесь, а не там. И дом под боком. Станок печатный заказал, я тебе говорил?

Раньше Иванов печатал гравюры в школе. Станок там старый, на вид прямо петровского времени. А в городе не было мастера, который бы сделал станок.

— Ты-то что поделываешь? — Иванов разговаривал, продолжая спускать с досок стружку.

— Рисую,— вяло ответил Олег.— Главное, проскочить рисунок.

— Да, это твое слабое место.

— Наверно, не поступлю.

— Поработаешь годик, походишь ко мне в вечерние классы. Я тебе говорил в прошлом году: «Ходи, рисуй»,— рассудительно сказал Иванов.

— Нет, мне надо поступить.— Олег вздохнул и опять посмотрел в окно на город и край залива. Остров отсюда не был виден.— Вы были когда-нибудь на Перловском острове? — неожиданно спросил Олег.

— Не приходилось.

— Давайте поедем. Будем рыбачить, готовить пищу на костре, поработаем. Остров необитаемый — вот что хорошо.

— Это мысль,— согласился Иванов.— Как-нибудь съездим.

— А сейчас?

— Должен оборудоваться. Мне на это неделя отпущена.

— Кем? — удивился Олег.

— Мной. Кем же еще? А на остров обязательно съездим.

3

На лестнице Олег столкнулся с Инкой и Тоней. Тоня наверняка шла с Инкой за компанию.

— Привет. Ты к Иванову? — неуверенно спросил Олег,

поравнявшись с Инкой. Вроде бы они были в ссоре, и он не знал, можно ли считать окончание школы концом ссоры.

— А ты от него? — не очень приветливо сказала Инка.— Я посоветоваться насчет поступления,— вдруг добавила она и опустила глаза.

— Ты куда поступаешь? — поинтересовалась Тоня.

— В Ленинград, в педагогический, на факультет графики,— ответил Олег.

— Надо же,— сказала Инка,— и я в Ленинград.

— Но ты же в Мурманск собиралась? — удивилась Тоня.

— Это родители хотят в Мурманск, потому что поближе к дому. Но вопрос еще не решен.

— Может, вместе поедем? — предложил Олег.

— Может. Вообще-то я способна добраться без провожатых,— независимо заявила Инка и пошла.

После той дурацкой истории с окном они не разговаривали два месяца, и Олег уже думал, что его школьная влюбленность кончилась. А поговорили пять минут — и снова попал в какую-то страшную зависимость. Готов бежать за Инкой, терпеть ее капризы и заносчивость.

Инка ему нравилась с первых классов. Но почему именно Инка? Может, дело в загадочности? Пишут ведь в книгах, что женщина должна быть загадкой, сфинксом. Но вряд ли в Инке есть какая-то загадочность, просто издевается, зная, что Олег неравнодушен к ней.

То ласково, даже как-то застенчиво разговаривает с ним, то перестает замечать или отпускает обидные шутки в его адрес. То опять подойдет, вроде бы даже смущенная, позовет на этюды в выходной. А на этюдах ведет себя так, будто делает огромное одолжение, что пошла с ним.

Когда самый видный парень из «А» класса, Борька Прохарчук, самбист, начал за ней ходить — отшила. И Самохвалову от ворот поворот. Вот тогда Олег и стал подозревать, что она влюбилась в Иванова.

Не раз он видел, как в перерыве между занятиями Инка предлагала Иванову бутерброды, а после занятий, когда он уходил, будто бы случайно оказывалась во дворе. Тогда Иванов жил недалеко от Инки, и им было по пути. Но рядом с Ивановым жил и Олег, и всегда за учителем увязывался кто-то из ребят, провожали его до дома. Инка плелась со всеми.

А с окном такая история. Олег должен был отнести Инке книги. Ему как раз купили новый свитер. Он и носки надел в

тон свитеру, и ботинки начистил, и долго причесывался перед зеркалом.

Дом у Инки каменный, трехэтажный. Живет она на последнем этаже, второе окно справа. Ему ли не знать это окно?

Когда он подошел к дому, окно светилось. Олег позвонил — не открыли. Звонил, стучал, потом спустился — свет у Инки есть. Он опять поднялся и долго, не отрывая пальца, жал звонок. Снова спустился и сел напротив окна на поребрик газона. Что же это за глупые шутки?

И вдруг он понял, даже кровь бросилась в голову: она там не одна, поэтому и не открывает.

Почти не соображая, что делает, он сунул книги в кусты и повис на водосточной трубе. Нога в ботинке не помещалась на крепление между трубой и домом. Тогда он снял ботинки и тоже швырнул в кусты. Залезть на третий этаж оказалось не трудно. Дотянувшись до подоконника, он сделал два шага по карнизу. Окно не было закрыто на защелку, легко поддалось и распахнулось со звоном, увлекая за собой штору.

Первое, что увидел Олег,— окаменевшую в кресле Инкину тетку.

— Здрасьте,— поклонился Олег и неслышно, на цыпочках, прошел в кухню.

Инка ставила на плиту чайник. Она задержала на Олеге удивленный взгляд и холодно спросила:

— Что с тобой? На какой помойке ты валялся?

Он глянул на себя и обнаружил, что новый свитер и брюки — в ржавых грязных пятнах и струпьях старой краски. На ногах — рваные носки. В это время в комнате раздался крик: «Хулиган!» В кухню влетела тетка и со всего маху влепила Олегу пощечину.

— Тетя Лида, вы что? — прошептала пораженная Инка.— Это же Олег, вы не узнали?

— Разумеется, не узнала! Распахивается окно, влезает какой-то охламон! Что прикажете думать? Я пожилой человек, у меня слабое сердце! Мне ваши шутки непонятны! — Тетка кричала, но голос ее все больше мягчел.

— Простите меня, тетя Лида... Я даже не знаю, как это вышло...— смущенно и испуганно бубнил Олег, прижимая одну руку к щеке, другую к груди.

— Так ты в окно залез? — недоуменно спросила Инка.

— Свет горел, а дверь не открывали... Я думал, ты не хочешь открыть, я влез...

— Дурак,— презрительно сказала Инка.— Мы ходили к соседке на телевизор. А сейчас вали отсюда!

Он спускался в рваных носках по лестнице, и каждая ступенька была как обрыв. «Вот и конец истории с Инкой,— подумал он.— Теперь забыть все, жить здесь осталось недолго, а там уеду в Ленинград».

Через несколько дней он позвонил Инкиной тетке, и та довольно благосклонно с ним поговорила. Пожурила, правда, для порядка, но совсем не сердито. А вот Инка его подчеркнуто не замечала. Приближались экзамены, он засел за учебники и успокоился. Он говорил себе: «Взбалмошная, избалованная девчонка, она мучила меня и унижала, но всему есть предел».

А теперь он слушал удаляющийся стук ее каблуков, и сердце его билось в такт этому стуку. «Тряпка,— обругал себя Олег.— Тряпка я — и больше никто».

4

Олег простоял около часа на автобусной остановке. Ему еще повезло, потому что к мебельной фабрике в нерабочее время автобус ходит очень редко.

И вот уже показался вытянутый вверх мощный шатер церкви. Типичная для севера деревянная церковь. Но очень уж хорошо вписана в природу. Стоит над водой, на взгорочке. Как воин. Летом сюда часто подъезжают экскурсионные автобусы.

Потом появляется фабрика, хотя к дороге она намного ближе, чем церковь. Фабрику Олег рисовал не раз. Она интересовала его композиционно. Ее постройки, нагромождение различных геометрических объемов — сплошной кубизм.

Невдалеке от фабрики в направлении церкви шла маленькая улочка — семь домов. А под каменным обрывчиком лежали две лодки. Одна ветшала на берегу несколько лет, и ею никто не занимался; другая, привязанная цепью к столбу,— на ходу. В крайнем доме жил старик, владелец этой лодки, Олег его давно приметил.

Олег спустился к заливу и долго бродил по колено в воде, пугая длинных, полупрозрачных мальков. Отсюда хорошо был виден остров в аккуратной шапке леса. Слева он кончался мыском-черточкой, где стояла большая изба. На горизонте в дымке еще два острова, сине-зеленые.

Кругом было пустынно. Огибая обсохшие в отлив зеленые валуны, Олег подошел к обрывчику, опустил измявшиеся штанины, обулся и направился к старикову дому. Постучал в окно, и тут же раздался девчоночий тонкий голосок:

— Открыто!

Он толкнул дверь и пошел на звяканье посуды.

В комнате, у окна, стояла девочка лет тринадцати и мыла посуду. На ней было розовое платье, из которого она выросла, торчали длинные детские ноги в старомодных маминых туфлях с круглыми носами.

— Хозяин дома? — спросил Олег.

Девочка доковыляла на высоких каблуках до двери и позвала:

— Дедуля! — И объяснила: — В огороде он копается.

Появился дед, обросший седой щетиной.

— Здравствуйте,— сказал Олег.— Я вот по какому делу: не перевезете ли меня на Перловский остров?

— Это зачем в такую даль? — удивился дед.

— Я художник, рисовать буду.

Дед сел на табуретку, недоверчиво рассматривая Олега. Девочка застыла с тарелкой в руках. Застыли приподнятые брови и полуоткрытый рот. Наверно, ей не каждый день приходилось видеть художников, и это поразило ее.

— Я вам заплачу,— поспешно сказал Олег, а старик махнул рукой, и непонятно было, то ли он отказывается от денег, то ли соглашается принять.— Только у меня немного,— на всякий случай добавил Олег.

— Художник,— повторил дед, и Олег не понял интонации — ирония была в ней или симпатия.— Ну, что же,— наконец решил дед,— перевезу.

Пока они договаривались, девочка продолжала неподвижно стоять, с тарелки и рук капала мыльная вода. Розовое платье обтягивало ее торчащие лопатки и угловатые плечики.

Олегу очень хотелось сказать девочке что-нибудь шутливое, но он так и не придумал — что.

5

Дома он разбил копилку, надеялся, там по крайней мере рублей тридцать — так тяжело и глухо они гремели, но оказалось всего двенадцать с копейками. Были еще деньги, что

бабушка прислала в день рождения. И всех этих денег хватило на рюкзак, котелок, топорик и кое-какие продукты. Он копил на велосипед, только велосипед ему не понадобится, все равно он уедет поступать в институт, а если не поступит, то все равно он уже не хочет велосипеда.

Возвращаясь из магазина, Олег видел, что впереди идут мужчина и девушка, но сначала он не обращал на них внимания, просто он не мог предположить, что Иванов станет прогуливаться с Инкой. Но это были они — шли, о чем-то спокойно беседуя. «Добилась своего,— с тоской подумал Олег.— Вот наконец он и провожает ее. И Тоньку куда-то спровадила». Испугавшись, что его заметят, он шагнул в ближайший подъезд и выглядывал, пока те двое не скрылись за углом.

У Олега было ощущение, будто его обманули, предали. И он не мог точно сказать — кто, Иванов или Инка. Нет, в Инку он не влюблен. Его вообще девчонки в настоящий момент не очень-то интересуют. Ему нужен друг, такой, как Иванов. Эх, Иванов, Иванов...

А в общем, все перепуталось. Все очень сложно.

Дома он положил в рюкзак байковое одеяло, две простыни, посуду. Положил пакетик чая, хлеб, сухие супы, крупу, кисель, сгущенку. Он не рассчитывал добыть пищу сам. Удочки не было. Но рогатку, которая уже лет восемь лежала у него в столе, взял.

Сложенный рюкзак он затолкал под стол и задвинул стулом. Родителей все еще не было, и он обрадовался, вспомнив, что они собирались в гости.

В кухне Олег обследовал кастрюли. Опять суп с вермишелью. Сверху его прихватила корочка жира, но разогреть было лень, и он пытался черпать ложкой суп прямо из проруби в жире. Потом отхватил ломоть хлеба и, обмакивая его в варенье, запивал холодной водой.

Он пытался не думать про Иванова и Инку, но они лезли в голову. Сегодня его поразило, как Инка изменилась за последнее время. Тело ее вытянулось: где утоньшилось, где округлилось. Была крепенькой, симпатичной девчонкой, стала красивой девушкой. А может, показалось так, потому что он привык видеть ее в школьном платье, а сегодня она была одета как-то по-новому, по-взрослому: изящные туфли на каблуках, модная юбка. И это тоже его укололо: вырядилась, чтобы парни на улице глазели!

Он порылся в письменном столе, вытащил из-под груды

фотографий, из-под газеты, которой был застелен ящик, общую тетрадь и стал ее внимательно просматривать. Это был дневник, который он вел в седьмом классе.

«Инка на полгода уезжает в лесную школу — у нее с легкими не в порядке. Очень грустно. Я бы хотел, чтобы у меня тоже что-нибудь случилось с легкими. Тогда я бы поехал с ней».

«Ура! Инка не едет. Вернее, едет на месяц в санаторий, но месяц — это не полгода».

И здесь про нее:

«Представляю, как Инка вернется, как мы будем сидеть рядом в рисовальном классе у круглой железной печки».

«Приснился сон: мы с Инкой в каком-то дачном домике. Сидим рядом, а она берет мою голову так бережно и целует. Я говорю: «Инка... Инка...» А она, опустив глаза, выходит из дома».

«Я не люблю ее. То есть я ее люблю, скучаю, когда уезжает. Но, как 10 тыс. братьев. И только».

«Сначала она не пришла на вечер, я расстроился. Потом пришла. Я обрадовался, как дурак, залез на сцену, забрал у Ромки микрофон и стал петь: «Я забыл, какого цвета твои синие глаза. Но я жду у моря, жду у моря, приходи...» Я был очень горд, что оказался таким бойким, и она наконец-то услышала, что я тоже могу петь не хуже некоторых. «Ого!» — подумает она»,— подумал я. Я ведь ей пел, про нее. А она идет мимо и говорит: «Никогда больше не пой вслух. У тебя голос, лишенный приятности».

Странное дело, как все забывается. Кажется, совсем недавно все это было, а забыл. Про пение, правда, помнил. Что уезжала в санаторий, тоже помнил.

А еще странно, что с тех пор, как он вел дневник, прошло три года, но ничего-ничегошеньки у него с Инкой не изменилось.

Олег выдирал из общей тетради по нескольку страниц и рвал на мелкие кусочки. Обложку выбросил в помойное ведро, поставил на газовую плиту противень и, свалив на него груду обрывков, поджег.

Он думал, что пламя высоко взметнется, но огонь с трудом вырывался острыми язычками, продирался где-то в глубине, тихонько, сердито урчал: пых-пых-пых. Олег помог ему не задохнуться, поворошил обрывки вилкой.

Вот и все. Его воспоминания сгорели и лежали теперь как осыпавшиеся лепестки роз, только черные, матовые. Он акку-

ратно, чтобы не разлетелись воздушные лепестки, отнес противень к себе в комнату и сдул пепел в окно, на зеленый пустырь с баскетбольной площадкой и турниками. На всякий случай, чтобы мать ничего не заметила, проветрил кухню. Когда в замке заворочался ключ, он юркнул в постель и выключил свет.

Пришли. Что-то обсуждали в кухне — наверно, гостей и хозяев: кто что сказал, что на ком было надето и что стояло на столе. А чем, в сущности, его интеллигентные родители лучше, чем старушки из дома, где у Иванова была мастерская? Везде одно и то же...

Если бы у Олега горел свет, они бы обязательно зашли. Мать, проверив кастрюли, уже выяснила, что он мало ел, стала бы пилить. Отец, если видит под дверью полоску света после одиннадцати, обязательно заходит и говорит: «Опять читаешь? Гаси свет и ложись спать!» Да что он, ребенок, в самом деле?!

Наконец они угомонились, а Олег все не мог уснуть. Снова он представлял, как Инка с Ивановым идут по улице. И будущее тревожило, туманное, расплывчатое. И никому он не был нужен. Родители не в счет. А остальным уж точно не нужен. Иванов антресоли строит. Друг Димка уехал в Москву, к родственникам, будет там поступать в авиаприборостроительный. Обещал написать сразу же, как приедет, но прошло три недели, а письма нет. У Димки своя жизнь. У всех своя жизнь.

«Все нормально,— успокоил он сам себя.— Завтра я буду на острове».

Он представил себе остров в кудрявом лесу. Остров, по которому не ходит нога человеческая. Ему всегда казалось, что и деревья там растут необычайные, и цветы, и травы, которые здесь не водятся. И вдруг он нашел определение тамошней растительности: манцениловые леса! Вот что на острове — манцениловый лес. Он напрягся, что-то припоминая, потом осторожно зажег свет, чтобы родители, если не спят, не услышали щелчка выключателя, и на цыпочках подошел к книжной полке. Ну конечно, это эпиграф к «Бегущей по волнам» Грина. Этот эпиграф всегда волновал Олега:

«Это Дезирада...

О Дезирада, как мало мы обрадовались тебе, когда из моря выросли твои склоны, поросшие манцениловыми лесами».

Совершенно непонятно, но хорошо. Вот именно — манцениловый лес и должен расти на необитаемом острове.

6

Утром он оставил записку: «Ушел в поход на три дня. Не беспокойтесь. Ждите в понедельник вечером».

Когда Олег вышел к заливу, старик уже копался в лодке.

— Залезай, художник,— позвал он.

Олег разулся, засучил штанины и пошел между камней. Мотор заработал, дед его еще веревкой подергал, и вот берег поплыл назад, а с ним вместе и Олегова тревога, обида, неустроенность. Там остались родители со своими скучными делами, подозрениями и нравоучениями, столица Москва с абитуриентом авиаприборостроительного института Димкой и его, Олегово, детство, которое он перешагнул. Все он там оставил. И Инку, которая влюблена в Иванова и бегает за ним, и Иванова, который променял свободу, дикую природу и мужскую дружбу на мещанскую благоустроенность.

— Каждому свое,— сказал он старику.— Одному жизненные удобства, другому — манцениловые леса. Верно?

Старик не ответил.

Остров надвигался медленно. Море было спокойное, синее, а в лунках волн раскачивались живые комочки солнечного золота. Даже в глазах немного рябило. Иногда по воде шли полосы мути, желтой пены — это встречались прилив и течение. Плавали бурые островки водорослей фукуса.

— Там не водятся дикие звери? — неожиданно спросил Олег.— Медведи, кабаны?

— Не должно быть,— ответил дед.— Разве зайцы...

С берега остров выглядел более аккуратно и по форме, и по цвету, а с приближением постепенно начал распадаться на детали. И чем яснее они прочерчивались, тем удивительнее было чувство: все происходящее — реальность.

— А вы бывали на острове? — спросил Олег.

— Что мне там делать?

Не очень разговорчив был дед.

Остров приблизился уже так, что можно было рассмотреть полукруглую бухту, а на берегу — стену розового гранита, словно крепостную, разрушенную временем, занесенную землей, заросшую травой и деревцами.

В бухту они и зашли. Дед даже не вылез из лодки, сказал:

— Не скучай, художник. В понедельник к вечеру жди.

— Спасибо! — закричал вслед Олег.

Он снова стоял в воде с засученными штанинами, на пле-

чах рюкзак и этюдник, в руках ботинки. Еще долго было слышно тарахтенье мотора.

Один. И неведомая земля под ногами. С берега казалось, что остров ближе, чем он был в действительности, а отсюда казалось, что земля дальше, чем она есть. Лежала она в седом войлочном мареве.

Олег прошел отливную полосу, всю в камнях, устланных фукусом, скользящим и хрустящим под ногами. В гранитной стене он увидел углубление, похожее на половинку гигантской мидии, которая заросла иван-чаем в человеческий рост.

«Если бы не изба,— подумал он,— здесь бы я и разбил лагерь».

Хотелось бросить пожитки и помчаться исследовать остров, но он пересилил себя и потащился с вещами в ту сторону, где стояла изба.

Почти сразу Олег наткнулся на озеро, растекшееся широкой, необычайно прозрачной лужей. Глубина — воробью по колено. «Воробьиное» — окрестил он озеро. Потом тянулся лес, встречались большие, прогретые солнцем поляны с нетронутой травой, вересковые пустоши, кое-где из земли вылезали розовые и серые валуны. Ему казалось, что здесь значительно теплее и не так ветрено, как на материке. Может быть, на острове микроклимат?

Наконец он вышел на мшистую, поросшую можжевельником оконечность острова и увидел избу — вернее, то, что раньше считал избой. Это был старый заброшенный маяк, дощатый, серебряный, вымытый дождями и снегами, прокаленный солнцем,— дом без окон и дверей. Когда-то наверх вела лестница, но теперь она была разрушена и начиналась метрах в трех от земли. Олег сложил ношу и сел, прислонясь спиной к маяку. Стена была теплая, как батарея парового отопления.

«Главное, не волноваться»,— сказал он сам себе. Нашел топорик и, потрудившись, вывернул несколько досок. Из маячного чрева дохнуло холодом и плесенью.

Придется вернуться к бухте, понял он. Не теряя времени, снова взвалил на себя вещи и, чертыхаясь, поплелся обратно. На старом месте он разложил костер, поставил по бокам рогатины с поперечной палкой и повесил над огнем чайник с озерной водой.

Чайник закипал долго. За это время Олег вырубил колья и стал устраивать шалаш. Сзади шалаш прикрывала гранитная ниша, из которой он повыдергивал пучки травы, иван-чая и

даже молоденькую березку. На два ската спустил ветки, а вход занавесил простыней, придавив ее снизу дерновиной. Сооружение вышло довольно неуклюжим, но крепким. Потом он наносил сосняка для постели и расстелил на нем одеяло. Если пойдет дождь, палатка, наверно, промокнет. Но целый день светило солнце, по берегу гуляли кулички, добывая пропитание, и о дожде думать не хотелось.

Закипел черный от копоти чайник. Олег вспомнил туристскую мудрость: чтобы посуда на костре не коптилась, ее нужно обмазать глиной, потом глину обколотить, и посуда по-прежнему чистая. Но это для туристов. А он может себе позволить коптить посуду.

Олег сыпанул в чайник горсть заварки, налил кружку дымящегося чая и развернул пачку печенья, а отхлебнув первый глоток, почувствовал себя совершенно счастливым, свободным и далеким от суеты. Кажется, он здорово устал, но жизнь его в настоящий момент была настолько полна и деятельна, что он не замечал этого.

«Как у Хемингуэя! — думал он.— Только нужно все делать не торопясь, со вкусом. Нужно получать от этого удовольствие».

Он набросил на плечи одеяло и долго сидел у костра. Отсветы белой ночи лежали на море.

«Пожалуй, и хорошо, что я один,— продолжил он.— Не нужно ни перед кем выставляться. Можно спокойно поразмыслить. А можно и не размышлять. Или нет, нужно думать о простом, о том, что делаешь: как разжечь костер, сварить кашу. Жаль, нет удочки, рыбная ловля в этой обстановке самое подходящее дело, Хемингуэй это знал. И вообще — человека делают простые занятия, которые он хорошо и неторопливо выполняет. С удовольствием. Я приготовил себе место для ночлега и ужин, запас на утро сушняк для костра. Сделал все для себя сам. А теперь нужно спать».

Через простыню, которая занавешивала вход, он видел мерцающие угли костра. Слушал, как одиноко скрипит какая-то птица. Раза два натирался одеколоном «Гвоздика», но комары гвоздичного запаха не остерегались, назойливо садились на лицо и руки, ощупывали их своими хоботками, будто примеривались, куда вонзиться, звенели над ухом.

Олег досчитал до ста, двухсот, трехсот, продрог до костей и натянул на себя запасные носки и второй свитер, а заснул только на рассвете, под птичий хор.

Когда он открыл глаза, солнце поднялось уже высоко. Часы стояли.

«Полдень я определю по солнцу и поставлю часы»,— решил он. Разжег костер, приладил над огнем чайник, на завтрак сварил овсянку.

«Интересно,— думал он, уплетая из котелка кашу,— а как у Хемингуэя было по части комаров? Есть ли в Америке комары? Но готовил Хемингуэй, конечно, не так примитивно. А может, только в книгах все красиво и складно? А в жизни — склизкая овсяная каша с комками? Но я доволен. Вот бы Инка посмотрела, как я устроился!»

На Воробьином озере он вымыл котелок и набрал воды. Просто удивительно, какая запасливость и хозяйственность в нем обнаружились.

Дно озера было песчаное, без растительности, только яркозеленые, похожие на ватные комки водорослей разложены на дне или плавают на поверхности. Он черпал воду кружкой и заливал в чайник, как вдруг увидел, что в одном месте песок волнуется возле крошечных кратеров. Поискал и еще нашел шевелящийся песок. Роднички! Как он их раньше не заметил? Вот почему так кристально чиста вода, иначе она загнила бы и превратилась в болото.

«Воробьиные родники» — переназвал Олег озеро и пошел обследовать остров.

Он не большой знаток природы, а жаль. По берегу и «манцениловому лесу» хорошо бы побродить с человеком знающим. Когда Олег вернется, он обязательно постарается найти книгу о природе края. Об этом он и думал, шагая по литорали (какое слово! Достойно «манцениловых лесов»!). Литораль — полоса, которая обнажается при отливе. По ней Олег задумал обойти остров. Он перешагивал через валы выброшенных водорослей, несколько раз спугнул роющихся в гниющих выбросах куличков и чаек. Под ногами лопались пузыри на бурых веточках фукуса, хрустели раковины мидий. На камнях он обнаружил известковые зубчатые башни рачка — морского желудя, прочно сросшиеся с камнем морские блюдечки. Еще червя-пескожила он знает. А вообще нужно зайти хотя бы в краеведческий музей, где был последний раз классе в шестом.

Олег дошел до маяка и посидел, прислонясь к его прогретому деревянному тулову.

После обеда он напишет два этюда и назовет их «Литораль I» и «Литораль II». Была у него такая слабость — всем

работам он давал названия и не скупился на красивые: «Серебряная река», «Танцующая осока». Он даже зарисовки подписывал, но уже попроще: «На автобусной остановке», «Сутулый человек», «Мрачная харя»...

Жаль, что на острове нельзя остаться подольше: через три недели ехать в Ленинград. А там главное — сдать специальные экзамены: рисунок и живопись; потом, как рассказывают, дело почти что в шляпе, конкурс будет маленький. С живописью у него дела обстоят хорошо, с рисунком — хуже.

Иванов говорит, что с Олегом случилась обыкновенная история. Он пришел в художественную школу в десять лет, а в четырнадцать закончил. В девятом и десятом классах он думал о будущем, думал, кем стать. И надумал все-таки учиться на художника, на преподавателя рисования и черчения. Той осенью Иванов предлагал ходить в вечерние классы, но Олег рисовал «для души», надоели гипсы и натюрморты. Конечно, подрастерял навыки. Но здесь, на острове, пришло к нему спокойствие и уверенность: поступит. Не может он не поступить в институт.

Он будет приходить в свою школу, в свой класс с круглой рифленой печкой уже не учеником, а учителем, поправлять натюрморт — драпировка, кувшин, миска, помидор,— а потом ходить между мольбертов, тихо разговаривая с каждым: «Почему у тебя кувшин валится? Проведи-ка прямую линию по центру, от горлышка до основания. Видишь? А теперь давай кувшин ставить на место...»

Он будет говорить ребятам «ты», но они почувствуют: учитель в каждом видит личность, а не бестолкового ребенка. После занятий они гурьбой будут провожать Олега до дому. Обязательно будет тесная мастерская на старой улице, в старом скрипучем доме, куда вечерами станут приходить к нему ребята. Он будет много работать, потому что ученики должны знать: их учитель хороший художник и настоящий человек. А один мальчишка будет ловить каждое его слово, заглядывать в глаза и мечтать, что когда-нибудь они с учителем будут дружить на равных. (Через много лет этот мальчишка станет известным художником!) А еще Олег отвезет ребят на необитаемый остров: научит разжигать костер и варить кашу, покажет Воробьиные родники и заброшенный маяк, научит их жить просто, без суеты, ценя каждую минуту. Он расскажет им о природе то, что узнает в краеведческом музее и прочтет в книгах...

За день Олег успел написать только «Литораль I». Вечером пил чай со сгущенкой, пробовал читать «Науку и жизнь», но глаза слипались, и он заснул как убитый.

Воскресное утро Олег посвятил «Литорали II». На обед сварил суп из двух пакетов — чтобы погуще было. Вышло очень солоно. Оказывается, соли в пакетах рассчитано на определенное количество воды. Пришлось разбавить и слить лишнюю жидкость.

Потом он бездумно бродил по берегу и лесу, ел землянику, которая встречалась кустиками, а не полянками. Он жалел, что не договорился со стариком хотя бы на среду. Все равно до отъезда остается больше двух недель, и он успел бы немного порисовать и почитать учебники.

На закате Олег быстро сделал этюд — нежно-малиновый небосвод, пролинованный серыми полосами, на горизонте серо-голубые, одетые дымкой острова. Краски приглушены, ненавязчивы. «Земля обетованная» — назвал он свой этюд. На ужин Олег варил кашу, кисель и думал: «Жаль, у меня нет собаки. С собакой совсем другое дело. С ней можно говорить. Правда, Хемингуэй обходился без собаки. Он любил кошек».

Родителей Олег почти не вспоминал. Если думать о них, в голову лезут какие-то противные мелочи — например, как мать топчется у закрытой двери ванной, вынюхивает: не курит ли? А ему не нравится курить. Когда-то с Димкой пробовали, родители узнали, теперь бдительность проявляют.

В последний день Олег уже не мог вдумчиво чем-нибудь заниматься. С утра начался было дождик — попугал, но к десяти часам вышло солнышко. Олег снова жалел, что просил старика приехать за ним. Поспешно, с натугой написал этюд «Заброшенный маяк». Оглянулся на него в последний раз — маяк был похож на остов ветряной мельницы.

После обеда он снял с шалаша простыню, уложил в рюкзак одеяло. Закопченную посуду завернул в полиэтилен. Остатки хлеба раскрошил чайкам.

До темноты он сидел у костра, всматриваясь в далекую полоску туманного берега. Там зажглись огни. Он догадался об этом по блеклому свечению в сером небе. Старик не приехал.

Опять всю ночь тревожно скрипела птица. Тоскливо накатывал шум прибоя и леса. Вместо давешнего покоя, радости, уверенности в себе он чувствовал одиночество, недоумение и испуг потерявшегося щенка, который мечтает об одном — увидеть хозяина.

«Старик приедет завтра утром,— утешал он себя.— Сегодня ему что-то помешало».

Он жалел, что рядом нет Иванова, с ним ничего не страшно, даже на Марсе застрять. Или хотя бы Инки. Рядом с ней он был бы взрослым и сильным. Она бы, конечно, разнюнилась в такой ситуации, а он утешал бы ее и подбадривал, чтобы не боялась.

На следующее утро Олег заставил себя сварить кашу, поесть и снова сидел у шалаша, поджидая старика. Днем он отлучился к озеру за водой. На случай, если появится старик, написал на ватмане: «Я здесь. Скоро вернусь», пригвоздил к палке и выставил на берегу.

Вечером он не находил себе места. Пытался готовить пищу, но есть не мог.

«Завтра приедет,— говорил он себе.— Все перепутал старый. Вряд ли у него такой склероз, что он забыл про меня».

В среду Олег проснулся неожиданно успокоенным. Он продолжал ждать старика и не уходил с берега. Когда договаривались, что старик заберет его с острова, тот еще переспросил: «В понедельник?» Может, он решил, что не в этот понедельник, а в следующий?

«Он не мог меня бросить,— говорил себе Олег.— Он приедет».

Олег думал, как повел бы себя в этой ситуации Хемингуэй, и проверил запасы еды, хотя и проверять было нечего. Он прекрасно знал, что осталось мало спичек и соли, три пакета супа, брикет каши и киселя. Хлеб он скормил птицам, чай кончился.

«Сегодня съем суп из половины пакета и сварю полбрикета киселя»,— решил Олег.

Он прочесал лес и принес горсточку грибов: маленький подберезовик, несколько сыроежек и лисичек. Грибы почистил и бросил в суп. Он рассчитывал растянуть еду еще на пять дней — до следующего понедельника.

Написал несколько этюдов. Особенно удалась «Цветущая поляна»: среди травы парили хвостатые цветы льнянки, солнышки ромашек, раструбы колокольчиков, рубиновые звездочки гвоздики, белые воздушные зонтики дикой моркови.

«Вот я и проверил себя в трудной обстановке. Оказывается, не такой уж я слабак,— говорил Олег, заваривая листья иван-чая и земляннику.— Потрясающий чай. И само приключение потрясающее. Только бы старик приехал». Говорил и знал, что обманывает себя, что приключение совсем не кажется ему

потрясающим, а рисовать и готовить пищу он заставляет себя, чтобы отступил постоянный страх. Он надеялся и не верил, что старик приедет за ним.

Теперь он начал вспоминать свой дом, мать, которая хлопочет на кухне, отца, который по вечерам что-то пишет, составляет какие-то таблицы. Вспомнился позорный скандал после школьного вечера в мае.

Было часов десять, когда он разговаривал с парнями у крыльца школы, а мама пришла его встречать. Он сказал ей, чтобы возвращалась домой. Парни с любопытством наблюдали эту сцену, на крыльце с девчонками стояла Инка. Он подумал, что мать ушла, но через некоторое время она опять появилась и позвала его. Олег схватил ее за локоть и приволок домой. Здесь все было совсем безобразно. Какая-то необъяснимая злость и вульгарная истерика. Однако он знал, что все сознает: может остановиться, но почему-то не останавливался. Он кричал, грозился уйти, бегал из прихожей в кухню, задел локтем и свалил со стола кастрюлю с борщом, она покатилась боком, он еще и поддал ее ногой. В это время пришел отец, и роли переменились. Бушевал отец, а Олег молча мыл пол, вытирал стены, табуретки, плиту. На родителей не смотрел. Потом они не разговаривали неделю.

Когда он бегал из прихожей в кухню и орал что-то не своим голосом, испуганная мама стояла в коридорчике, прижавшись спиной к стене. Когда он мыл кухню, она не пошла за отцом, так и прилипла к стенке с растерянным и несчастным лицом.

«Что с ней будет, если я отсюда не выберусь?» — с ужасом подумал Олег.

Откуда-то выплывали всякие мелочи, как тот пирог в день его рождения. Мама запекла в него иностранную монету, и малышня, его гости, очень хотели получить кусок пирога с этой монетой. А кому досталась монета, Олег не помнит. Не ему и не Димке.

Передник был у мамы, который очень нравился ему в детстве,— на нем вышитая зайчиха с котлом и поварешкой. А еще — ночник, фарфоровый слоник с башенкой на спине. Олег засыпал под его добрый загадочный свет. Где же этот слоник? Разбился?

Лет десять назад мама красила волосы в светлый цвет, носила открытые платья. Теперь она одевается строго. Появились веера морщинок у глаз, две поглубже — у рта. И волосы

она уже не красит, хоть много седины. Жалуется, что ноги болят. И сердце у нее не очень хорошее, иной раз даже сердечные капли пьет. Как же она там без него?

Понедельник пришел и прошел. По утрам Олег чувствовал себя неплохо и днем терпимо, вечерами тосковал, а ночью часто просыпался, потому что ему слышались голоса и тарахтение мотора. Не веря себе, откидывал полог. Пусто. Страшно. Только птица какая-то кричит.

Его бросало из паники в безразличие, из безразличия в рассудительность. Иванов, наверно, попытался бы выбраться с острова сам. Но как это сделать? Построить плот? Для него нужны большие бревна, а игрушечным туристским топориком — валежник ломать?.. Не выбраться ему самому. Но не может быть, чтобы кто-то не заплыл сюда. Неужели городские не выходят из реки в залив?

В лесу он нашел старую консервную банку и бурый окурок папиросы. Сколько времени они пролежали здесь? Может быть, перезимовали?

«Не могу я здесь остаться,— утешал себя Олег.— До зимы меня обязательно кто-нибудь снимет. А до зимы я продержусь — недели через две грибов и ягод будет навалом».

Грибов уже стало больше. Брусничник отяжелел зелеными гроздьями. Поспевали отдельные черничины. Матово светились в кустарничке зеленовато-белые, мраморные шарики голубики. «Наверно, будет много морошки»,— прикидывал он и вспоминал, как янтарная ягода тает прямо на губах. Завязались кисти на рябине, на малине — ягоды.

Олег начал много писать. Это позволяло держать себя в руках. Появились необычные и интересные по манере этюды — матово-протертые, призрачные. Он экономил краски. Много их ушло на надпись «SOS», которую он сделал на простыне и растянул в ветвях деревьев. Но по-прежнему не проходили мимо лодки и суда. Иногда пролетали самолеты. Уже по звуку, равномерному и далекому урчанию, не выходя из шалаша, он понимал: высотники, над облаками летят.

Он смотрел на далекие и загадочные острова, названия которых не знал. Наверно, пути судов пролегали за ними.

«Массивные,— думал Олег,— как те киты, на которых Земля в древности лежала. А может, это те киты и есть? Только теперь, когда доказано, что Земля круглая и киты тут ни при чем, стоят они за ненадобностью на приколе и обрастают лесом».

Вот как он теперь любил философствовать. А может, на голодный желудок лезли в голову такие странности? Иногда Олег безуспешно стрелял из рогатки и пытался майкой ловить мальков.

Первые дни, как застрял на острове, он почти ничего не ел, теперь аппетит проснулся с утроенной силой. Приходилось отвлекать себя от мыслей о еде.

На берегу было много норок червя-пескожила, небольших песчаных горок, украшенных песочным же шнурком, будто через мясорубку пропущенным.

«Они похожи на кондитерские изделия,— воображал Олег.— Хорошо бы, горки были бисквитные, а украшение — из крема. А еще лучше, если бы горки состояли из котлет, а украшение из селедочного фарша». Впрочем, от макарон по-флотски он бы тоже не отказался. Или большой кусок теплого свежего хлеба с маслом и вареньем.

Он пытался представить себе роскошный альбом «Французская живопись», который мама подарила ему к окончанию школы, но снова возвращался к котлетам, борщу, жареной картошке.

Когда кончился картон, Олег стал отдирать от маяка доски, писал на них. Быстро шли на убыль краски: сначала белила, потом коричневые — марс, умбра; зелень. Кончились кобальты и ультрамарин. И появились у Олега зловещие этюды: «Цветущий шиповник» в теплой красно-желтой гамме, «Красное море», «Красный лес» и «Желтый багульник».

На сосне он завел календарь, каждое утро делая на стволе зарубку. Первого августа в педагогическом институте начались экзамены.

Чтобы прогнать тревогу, вечер он убил, вспоминая стихи, которые знал. То, что не помнил до конца, и множество цитат, которые выучил для выпускного сочинения, не учитывал. Всего он вспомнил одиннадцать стихотворений. «Травка зеленеет, солнышко блестит...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Люблю грозу в начале мая...», «Зима недаром злится, прошла ее пора...». Еще «Незнакомку» Блока. Еще три стихотворения Пушкина. Всего три! А он и не предполагал, что знает так мало стихов.

Следующий вечер он посвятил песне. Это было интереснее. Песни можно петь. Раз пропоешь — треть слов вспомнишь, второй раз — еще треть, а там и последние слова выплывут. Песен он вспомнил много.

Пятого августа кончились краски. И тут же, будто природа решила доконать его окончательно, на рассвете появился багровый шар солнца. Сразу Олег не придал значения воспаленному утреннему пейзажу, хотя обратил внимание, что не раскрылись листики заячьей капусты, которую он собирал и ел. Все притихло, потом повеяло колючим ветерком. И вот уже остров под порывами ветра ощетинился, будто шерсть дыбом встала на нем. Проступили запахи. Испытывая тревогу, изводилась какая-то птица — «рю-рю-рю». И он вспомнил: «Солнце красно поутру — моряку не по нутру». Ветер парусил и хлопал простыней на шалаше, под его прикрытие Олег затащил ветки для костра.

Спички отсырели. Последние четырнадцать штук он завернул в тряпочку, которая еще совсем недавно была носовым платком, и положил за майку, к телу. Ножом вспорол рюкзак и бросил полотно на крышу, навалил на скаты шалаша сосновых лап.

Дождь обрушился тяжелый, каждая капля как дробина. Костер скоро затух, хоть Олег перенес его под большое раскидистое дерево.

Олег завернул свои этюды в полиэтилен и перевязал тряпицей, оторванной от простыни. Он воображал, как погибнет здесь, и этот сверток — все, что от него останется. Может быть, Инка заплачет, что не оценила его, да будет поздно. А в связи с исключительностью ситуации в художественной школе откроют его посмертную выставку, где будут прежние работы и последние островные этюды. Семка-модернист, который приедет домой на каникулы или по какому другому случаю, зайдет на выставку, посмотрит и скажет: «Талантливый был парень. Из него мог получиться очень незаурядный художник». А Иванов подумает: «Мы могли бы быть друзьями на всю жизнь».

Дождь лил весь день. Вечером Олегу удалось разжечь костер, он заварил земляничный чай и приготовил салат из гофрированных листьев ламинарии — морской капусты, если, конечно, можно назвать салатом резаные листья. Соли уже не было.

Если Олегу удастся выбраться с этого проклятого острова, он станет другим человеком. Взрослым. Пойдет работать, а вечерами — к Иванову. Будет вкалывать как вол. И мама от него никогда грубого слова не услышит. Она боялась, что он будет курить, свяжется с дурной компанией. Понятно, зачем

же раздражаться? Нужно было успокоить ее. Это же так просто — крепко обнять и сказать: «Ничего плохого со мной не случится». А разве трудно говорить маме, куда он идет? И с отцом будет серьезный разговор. И станут они друзьями. А может, и не станут. Может, все останется, как было. А ведь и было по-разному.

В восьмом классе он пожаловался матери, что нигде не был, ничего не видел, и она пообещала поехать с ним в весенние каникулы в Москву. И поехали. Дома еще стояла зима, а в Москве началась весна. Солнце грело и топило снег под ногами и на крышах. Птички чирикали. И запахи! Запахи весны, к которым он впервые прибавил веселый запах масляной краски,— на бульварах красили скамейки и ларьки.

Они бегали по улицам в расстегнутых зимних пальто совершенно счастливые, будто ровесники. Заходили во все музеи, список которых привезли с собой, перекусывали в кафе-стекляшках и диетстоловых. Неделю они были друзьями. Он напомнит матери — неужели она забыла это время?

Да что там одна эта неделя? Он же помнит и — наверно, это было не так давно,— как, придя из школы, не мог дождаться маму и каждые полчаса звонил ей на работу.

Олег уже не замечал, что разговаривает вслух. Иногда он обращался к Иванову, иногда к матери или отцу, что-то рассказывал, объяснял, жаловался.

Непогода оказалась затяжной. Вернее, неожиданно затяжной была та, прежняя хорошая погода. А непогода в их северном краю — дело обычное. Олег остался без спичек и поддерживал костер круглосуточно. Он сделал четыре шеста и растянул над костром полотно рюкзака, но однажды ночью задремал и проспал огонь. Теперь оставалось сидеть в шалаше и трястись от холода. Одежда не грела, была постоянно влажной, заскорузлой. И пищу стало трудно добывать.

К счастью, выдались два дня без дождя, даже солнце выглядывало. Он ползал по берегу, выковыривал из раковин и глотал холодные комочки мидий, которые скользили по пищеводу, и потом долго еще их путь можно было ощущать по холодной дорожке в груди. Сырые грибы застревали в горле. Ягоды не насыщали. Его все время подташнивало, он ослабел. Наверно, поэтому много спал, а может, затем спал, чтобы время шло быстрее, потому что бодрствование радости не приносило.

«На деле я оказался никчемным человеком,— сказал Олег

воображаемому собеседнику.— И во всем виноваты родители. Они сделали меня таким! Так называемая «благополучная семья»! Благополучие в том, что отец не пьет, не курит, деньги несет в дом. А я всю жизнь искал мужчину-друга. Не было в нашей семье мужчины, хоть у отца и растет борода. Они и меня хотели запереть в своем квартирном мирке. Сидят над гнездом, распушив крылья, а птенца уж и след простыл. От чего берегли? Чтоб не курил, не говорил во дворе с беспутным парнем Славкой, не имел своих тайн? Они всю жизнь играли в семью: папа любит маму, мама любит папу, папа с мамой любят маленького сыночка. Доигрались!»

Олег устал искать жестокие обличительные слова, горькая обида комом стояла в горле. Равнодушно подумал: «Интересно, долго ли я выдержу? Курам на смех — помирать с голоду в августе на море и в лесу».

Олег развернул сверток с этюдами и расставил их полукругом: «Земля обетованная», «Цветущая поляна», «Красное море», «Заброшенный маяк»... Сев перед этюдами, он смотрел на них голодными глазами, будто хотел съесть, раскачивался и плакал, только без слез: поскуливал и вскрикивал, как от боли. Потом он поставил «Землю обетованную» в развилку березы, на орешник водрузил «Красное море», над крышей шалаша укрепил «Заброшенный маяк». В голубых ветвях сосенок расставил остальные картинки.

«Это моя персональная выставка,— сказал он Иванову.— Вам нравится? Мне тоже. Тем более она у меня единственная — прижизненная... А вам, товарищ Василевский, нравится? Ведь правда же, из моей истории можно извлечь урок? А вы, Пучков Николай Антонович? Ах, у вас похмелье? Вам не до выставки? Тогда, Альбина Сергеевна, слово за вами. Правда, хорошо? «Обетованную землю» можно назвать, к примеру,—соната № 6 или № 7 Моцарта. Он не писал сонат? Какая жалость! А я думал, он все писал. Если бы я был учителем в художественной школе, я бы никогда не заставлял ребят рисовать музыку, как вы. Это очень глупо. Музыку нужно слушать. А тебе, мама, нравится моя выставка?»

Тут Олег, размазывая по лицу слезы, которые неудержимо полились, торопливо собрал этюды и свалил их в кучу возле шалаша.

Потом он лежал, скорчившись на одеяле, крепко прижав ноющий живот кулаками, и ни о чем не думал.

7

Иванов оборудовал мастерскую, расставил и разложил вещи, привез станок и засел за работу. В последних числах июля он подумал об Олеге и удивился, что тот не зашел к нему перед отъездом. Зато третьего августа появилась Инка.

— Почему ты не в Ленинграде? — спросил Иванов.

— Олег исчез,— вместо ответа сказала она.— Пошел в турпоход на три дня, и почти месяц нет его. Вы разве не слышали? Даже по радио объявляли. И никто из ребят ни про какой турпоход не знает. Милиция ищет. Мама у него совсем больная, ей дали отпуск, все равно она работать не может.

— А не уехал он в Ленинград? — предположил Иванов.

— Нет. Нет его там. Запрашивали институт. Я же говорю — милиция ищет! И в Ленинграде, и у нас. Везде его фотографии разослали.

Инка изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать, и вдруг захлюпала носом, уткнулась в платок. Иванов шагал по мастерской туда-обратно.

Вечером он пошел к родителям Олега. Его поразили и запущенный вид квартиры, и сами родители.

Отец молчал, не переставая курил, стряхивал пепел и не попадал в пепельницу. А мать, которая то и дело принималась плакать, трогала его за рукав пиджака, заглядывала в глаза, словно надеялась, что именно Иванов может им помочь. На его вопросы она отвечала, будто тяжелобольная врачу,— быстро, сбивчиво, стараясь ничего не упустить и не перепутать. Нет, она даже предположить не может, куда делся Олег; семья у них благополучная, все у Олега было — даже комната своя; нет, друзья понятия не имеют, где Олег может быть, родственники тоже; с хулиганами не знался, есть во дворе один хулиганистый Славка, но он с весны в армии; нет, не ссорились с Олегом, правда, последнее время Олег был такой несдержанный, грубый, но они считали — это переходный возраст.

Мать робко попросила зайти в милицию и поговорить с инспектором по розыску, он кажется ей слишком молодым и неопытным.

Отец вышел проводить Иванова на лестницу и глухо сказал:

— Не надо ходить в милицию. Жена там бывает каждый день — и утром и вечером караулит инспектора. Уже всем

надоела. А что ей могут там сказать? Если бы что выяснилось, нам бы тут же сообщили...

Своей слабостью и беспомощностью родители напоминали Иванову детей или глубоких стариков. Домой он вернулся подавленным.

Последний раз, когда Иванов видел Олега, тот показался ему странным. Или всегда так кажется, когда вспоминаешь последнюю встречу с человеком, с которым что-то случилось? И не то что странный он был — скучный какой-то. Слонялся по мастерской, постоял перед новым соломенным креслом, но не сел, смотрел в окно. Говорил, что боится за рисунок...

На другой день Инка опять пришла и плакала. Говорила про Олега, какой он был хороший.

— Обожди говорить «был»,— сказал Иванов.

Сказал резко и твердо, стараясь поддержать уверенность в ней и в себе. Только уверенности он не чувствовал, и это несвойственное ему состояние беспокоило. Если бы хоть какой-то след — Иванов бы действовал, сделал бы все возможное и невозможное. И эта девочка тоже.

Иванов давно замечал, что Инка влюблена в Олега. Но они почему-то не подружились по-настоящему.

Месяц назад Инка приходила посоветоваться к Иванову, сумеет ли поступить в Ленинградский педагогический. Была она в чем-то модном и в туфлях на высоких каблуках, и ей, видимо, казалось, что и вести себя надо иначе, по-взрослому. Прошло около получаса, пока освоилась и стала сама собою. Это даже немножко насмешило Иванова, показалось наивным и трогательным.

Иванову нужно было в город. Инка пришла с подругой Тоней, но та спешила и села на автобус. А Инка отправилась с Ивановым в центр пешком и, когда начались деревянные мостовые, призналась, что замаялась с этими каблуками, сняла туфли и пошла босиком.

Ей хотелось поговорить об Олеге. Правда ведь, он талантливый? А правда, его этюд «Серебряная река» — это суть их города, его душа?..

Теперь она говорила не про этюды, а про себя, как заносчиво вела себя с Олегом, обижала его. Ей казалось, что девушка должна быть гордой, неприступной, а парень должен завоевывать ее, ухаживать, цветы дарить, под окном стоять, прыгнуть ради нее с третьего этажа.

Правда, однажды Олег залез к ней на третий этаж, но она его выгнала.

В милицию Иванов все-таки сходил. Инспектору было лет тридцать пять. Таких мужчин с открытыми лицами и ясными глазами снимают в ролях инспекторов уголовного розыска. Только те высокие и поджарые, а этот был широкоплеч, невысок, почти квадратен, но двигался легко. Иванов предложил свою помощь: может, обойти окрестные леса? Но леса прочесали дружинники, сослуживцы Олегова отца прошли тридцать километров по обеим сторонам реки, а район Синельникова возле залива взяли на себя одноклассники Олега. Иванов оставил инспектору свой телефон и записал его номер.

Иванову не работалось. Он постоянно думал об Олеге. Инка бывала каждый день. Ее приходы тяготили Иванова. Он уходил из дома, шел по реке за город. Но погода была не для прогулок: небо серое, то покапает, то перестанет, то зарядит до ночи; было бы тепло, но дул резкий ветер. Когда Иванов возвращался, Инка сидела на ступеньках возле мастерской.

— Ну сделайте что-нибудь! — сказала она ему с отчаянием.— Что-нибудь придумайте! Мы же вам так верили! Вы же были для нас самый лучший, самый надежный человек!..

Что он мог сделать?

Про Олега он уже знал от Инки все: что был смелым, но застенчивым; любил хлеб с вареньем; не умел танцевать; когда переходил улицу, не смотрел по сторонам. Из писателей ему больше всего нравился Хемингуэй. А однажды на дерево забрался котенок и мяукал, не знал, как спуститься. Люди шли по улице, останавливались, чтобы посмотреть, а Олег поставил портфель и полез. Котенка посадил к себе на плечо, и, пока спускался, тот расцарапал ему шею. И еще он хотел добраться до Перловского острова и пожить там, как Робинзон...

Проводив Инку, Иванов порылся в папках с рисунками учеников и нашел Олегову акварель — море и остров в дымке, а на острове огонек. На обороте надпись: «Мой остров».

Он подошел к окну. Город за рекой лежал как на ладони. Слева — лоскуток залива. Остров отсюда не был виден.

Иванов зашел домой, намазал маслом два ломтя хлеба и сунул в карман куртки. Крикнул:

— Мама, я могу задержаться.

Пожилая женщина со строгим лицом вышла в прихожую.

— Поехал искать Олега.

— Где же ты будешь искать? — растерянно спросила она, но Иванов уже бежал по лестнице.

Впервые за последние дни он ощущал силу и бодрость, мысли были ясные, движения точные. Он подумал, что если и не найдет Олега, то хоть этот день не пройдет впустую; самое тяжелое для него — бездействие.

Возле моста он остановил грузовик.

— В сторону Синельникова? Подвези до мебельной, будь другом,— попросил шофера.

У фабрики он вышел и, приближаясь к ней, подумал: «Фабрику надо порисовать: немного сгрудить объемы, задний план отсечь. Вот отсюда и схвачу ее. Если все хорошо кончится...»

Метрах в трехстах от фабрики стояла деревянная Никольская церковь. Между фабрикой и церковью — улочка-цепочка из семи дворов. Когда он однажды осматривал церковь, ключи от нее брал в последнем доме. Тогда ему в голову пришла мысль: в мощной шатровой церкви есть что-то от маяка — ориентир, видный с моря. Возможно, и этой цели служила когда-то церковь.

Иванов подошел к каменистому берегу. Вода опалово-желтая, непрозрачная, постепенно переходила в серое покрывало залива. У кромки прибоя таяли клочки грязной пены. На горизонте кудрявился лесом Перловский остров, и на левой его безлесной оконечности стояла изба. Иванов до боли напряг глаза, но не заметил никаких признаков человека.

Внизу под обрывчиком лежали лодки. Одна не годная, другая подходящая. Он взобрался на берег, подошел к домам и постучался в первый.

Дверь не открывали, но он уловил в доме какое-то движение.

Ему даже показалось, что колышится занавеска на окне возле крыльца.

Тогда он зашагал ко второму дому. Здесь на стук вышла женщина. Она ответила, что лодка принадлежит старику, который живет в первом доме, и, подозрительно оглядывая его, спросила:

— А вы кто такой будете?

— Я? Учитель,— ответил Иванов.

Лицо женщины прояснилось:

— Валька дома. Она не открывает, потому что боится.

Идемте.— Женщина поднялась на крыльцо и позвала: — Валентина! Отпирай, это учитель.— Дверь открылась, а женщина пообещала: — Я сейчас приду, только с печкой распоряжусь, обед у меня на огне.

— Дедушкина лодка под обрывом лежит? — спросил Иванов девочку.

— Дедушкина,— не сразу ответила она тонким голосом.

— А где дедушка?

— В больнице.

— А лодочный мотор где?

— Здесь,— насторожилась девочка.

— Кто у вас еще из взрослых?

— Никто. Бабушка приезжает ночевать, она днем в больнице и Леньку помогает маме нянчить,— объяснила девочка.

— Позарез нужен мотор,— сказал Иванов.— Мне необходимо попасть на Перловский остров. К вечеру верну мотор и лодку.

— Не могу без бабушки.— Глаза девочки испуганно метнулись, сама вся сжалась.

— Тебя Валя зовут? Слушай внимательно, Валя. Я учитель. У меня есть ученик, мальчишка постарше тебя. Месяц назад он исчез. Он собирался на остров, вот я и хочу туда съездить. Я оставлю важный документ, чтобы ты не боялась, что с лодкой что-нибудь случится.

— Кудрявенький,— сказала Валя, наморщив лоб, и подалась вперед.

— Это, честное слово, очень важный документ. Вот смотри, в нем написано, что я художник,— повторил Иванов, чеканя каждое слово и глядя в упор на девочку, стараясь убедить взглядом и голосом.

— Мальчик кудрявенький, высокий такой, художник? Дедушка его на остров возил.

— Точно знаешь?

— Они здесь договаривались.

— Как же дедушка не сказал, что парень остался на острове?

Девочка неожиданно хлюпнула носом и часто заморгала глазами.

— Так не говорит он совсем... И рука не двигается, и нога, и почти не ест. Совсем плохой. Я же не знала, что он его назад

не привез! — Она побежала к буфету и, порывшись, достала ключи.— А документ не надо, я и так верю.

Она прыгала через грядки, за ней Иванов.

— Только этот сарай у меня никогда не открывается.

Иванов потеснил ее, щелкнул замком, подхватил мотор и даже не почувствовал его тяжести.

На воде было неспокойно, бросало, заливало с бортов. Остров надвигался медленно, куда медленнее, чем можно было предположить. Лодка неслась по серой в барашках воде, а ему казалось, она ползет еле-еле. Он отгонял назойливые мысли о плохом.

Иванов хотел направить лодку к избе, но увидел полукруглый заливчик, а на прибрежных деревьях какие-то странные тряпки. Земля шла навстречу, лодка ткнулась в песок и стала. Прямо в ботинках он выпрыгнул в воду и вытянул лодку.

Невдалеке возле самой настоящей берлоги из веток, тряпок и земли сидел Олег, обхватив колени руками. Он смотрел на Иванова, но навстречу не поднялся, молчал.

— Ты здоров? — спросил Иванов вместо приветствия.

— Здоров,— равнодушно ответил Олег.

Иванов протянул Олегу хлеб с маслом, мельком оглядел старые язвы кострищ, разбросанную посуду, сваленные в груду картоны и доски, этюдник и стал собирать ветки с уродливого шалаша, вытянул колья, переломив о колено, разжег костер. Потом разбросал по траве этюды. Некоторые были просто отличными: трава с цветами, остров и море, полыхающие кусты шиповника.

Олег пересел, протянул к огню тонкие руки, грязные, с обкусанными ногтями, ободранные, как у пацана.

— Как мои родители? Мама как? — спросил Олег.

— А как ты думал? Плачет. Седая вся твоя мама.

Иванов осторожно наблюдал за Олегом — не нравился ему парень. Похвалил этюды.

— Да,— на минуту оживился Олег,— так работать... со мной еще не бывало... Жаль, что вы не поехали.

— Тогда кто бы вывез нас отсюда? Перевозчик твой с инсультом в больнице лежит.

— Хорошо, что приехали,— тихо сказал Олег.

А Иванов подумал: «Ничего, отойдет». Он завернул в полиэтилен этюды, сложил одеяло и повесил на плечо этюдник.

Олег понуро поплелся за ним к лодке, оскальзываясь на круглых камнях.

Обратная дорога тянулась в полном молчании. Кудрявый остров отдалялся. Даже в неприветливом море он выглядел дружелюбно. На берегу Иванов вытащил и посадил на цепь лодку, отнес мотор и забрал Олега, который все это время просидел на камнях лицом к морю. На дороге одиноко маячила девчоночья нескладная фигурка в кургузом розовом платьице. Иванов помахал рукой, но Валя застеснялась и быстро побежала к дому.

— Фабрику буду рисовать отсюда,— сказал Иванов.

— И я здесь писал,— оживился опять Олег.— Раньше я часто здесь бывал.

До города добрались за двадцать минут — Иванов снова поймал машину.

— Провожать тебя не надо?

— Я домой не пойду,— угрюмо сказал Олег.

— Как не пойдешь? — не понял Иванов.

— Не могу, хоть режьте,— упрямо твердил Олег.— Стыдно. Не знаю, как прийти, как я в глаза им посмотрю. И вообще...

— Идем ко мне,— сказал Иванов.— Лучше я сам с ними сперва повидаюсь. Так и разумнее. Подготовлю.

Когда вышла мать Иванова, Олег стоял в прихожей повесив голову.

— Иди,— сказала женщина, подталкивая Олега в кухню,— умойся.

Она разогрела тушеную капусту и нарезала хлеб. Руки у нее были большие, натруженные, движения уверенные. Делала она все не торопясь, а получалось быстро.

— Был на Перловском острове,— объяснил Иванов.

Он положил себе добавку и ел, не глядя на Олега, зато на мать смотрел долго, будто что-то хотел рассказать глазами. Олег ковырялся вилкой в тарелке.

— Сколько дней ты не ел? — спросила мать.

— Не помню. Каждый день ел, но мало: ягоды, грибы...

— Ты не хочешь есть? — опять спросила она.

Олег отрицательно покачал головой.

— А чего ты хочешь? Спать?

Олег подумал и пожал плечами.

— Тогда марш в ванную,— строго сказала она.

Лишних вопросов она не задавала, всегда делала то, что

нужно, и ослушаться ее не приходило в голову. Иванов это знал по себе.

Олег зажег свет, пустил воду. Когда вошла мать, он стоял посреди ванной и смотрел себе под ноги. Мать заткнула ванну пробкой, сняла с безвольно покорившегося Олега рубашку и приказала:

— Ну-ка, быстро раздевайся.

Олег снял футболку, майку, носки и попросил:

— Вы идите, я буду мыться.

— Ты у меня не разговаривай,— отозвалась женщина,— я послежу, как ты будешь мыться.

— Я не могу при вас раздеваться.

— Чушь,— сказала она.— Говорю, раздевайся и лезь.

Олег отвернулся от нее, стащил заскорузлые брюки, потом трусы и, неловко прикрываясь, залез в теплую воду. Он так и сел поперек ванны, спиной к женщине, как вдруг властная и сильная рука нагнула его голову. Полилась вода, потом голова его взбухла от мыльной пены, а женщина трепала вихры, продираясь пальцами между волосами, мыла, включила теплый и ласковый дождь и снова трепала за вихры, что-то приговаривая. Наконец она намылила мочалку, приказала встать на колени, и он послушно встал. Женщина мыла его грубовато-ласковыми, размашистыми движениями. И он заплакал. От тепла, от того, что вспомнил свою мать. И все перемешалось. И раньше, и теперь. И его мать, какой она была в детстве, и эта.

— Ничего,— сказала она,— все пройдет. Разве это беды? Это еще не беды. Споласкивайся.

Она открыла душ и принесла одежду Иванова. Одежда оказалась короткой и широкой, зато чистой, теплой, мягкой.

— Иди есть,— позвала из кухни.

Он потихоньку стал есть разогретую тушеную капусту и спросил:

— Где Иванов?

— К твоим пошел.

— Я тоже сейчас пойду,— сказал Олег.

— Правильно. Только поешь.

Пришел Иванов, а мать плескалась в ванной, и Олег догадался, что она стирает его одежду.

— Я домой,— сказал Олег.

— Можешь переночевать,— отозвался Иванов.— Но я бы на твоем месте пошел сегодня. Они тебя ждут.

8

Олег не знал, как встретится с родителями, боялся встречи. Что им сказать? А они? Ругаться будут, возмущаться, а может, и разговаривать с ним не захотят?

Дверь открыл отец, и Олег застыл на пороге, опустив на пол вещи. Они стояли напротив и молчали. И он молчал.

— Мы тебя ждали,— наконец сказала мама и заплакала, а выражение лица у нее было такое, как весной, после школьного вечера, когда он устроил безобразный скандал,— испуганное и растерянное. Отец дал ей носовой платок, а она сказала: — Что же мы здесь стоим? Идемте, там все готово.

В кухне был накрыт стол. На крыле газовой плиты, возле чайника, притулилась пепельница с папиросными окурками.

— У вас кто-то был? — спросил Олег, показывая на пепельницу.

— Нет, это папа курит,— ответила мать.— Он ведь и раньше курил, а бросил, когда ты родился.

— Закуривай,— нерешительно предложил отец и протянул Олегу пачку.

— Я же не курю,— сказал Олег,— честное слово...

Мать опять заплакала, и Олег обнял ее, потому что подумал, что сама она не решится его обнять.

— Садимся за стол,— бодро сказал отец.

Мама все не отпускала Олега, и он продолжал ее обнимать, неловко, непривычно. Была она почему-то маленькой, худенькой, а волосы у нее были серые и тонкие.

Он высвободился и подошел к окну. Он боялся заплакать от жалости, от желания и невозможности вернуть десять лет, пять, год, последний месяц. Олег понял, что его поразило в первый момент, когда он увидел родителей. Перед ним стояли старые люди. Папа и мама. Им было всего по пятьдесят с небольшим, но они казались очень старыми.

Он сказал сдавленно:

— Пойду умоюсь. Есть я не хочу, а чаю попью.

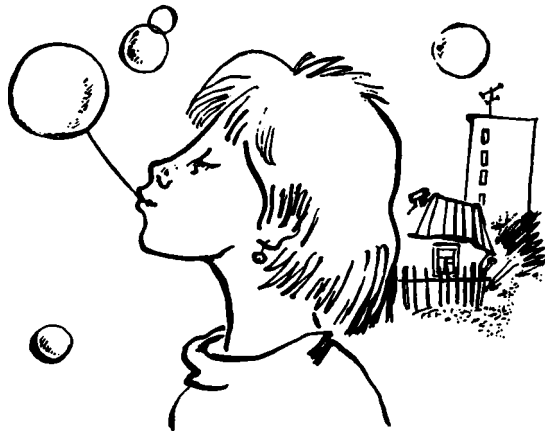
— У тебя на столе письма от Димы,— рассказывал отец, бредя за ним в ванную.— А Инна не поехала без тебя поступать, на будущий год вместе поедете.

Потом Олег лежал в своей постели. Дверь оставил открытой, и рассеянный свет из кухни падал на ковер над кроватью.

Узор на ковре Олег рассматривал все семнадцать лет своей жизни. Из треугольников, квадратиков и палочек складывались медведь, стоящий на задних лапах, собачка в котелке и множество человечков с членистыми брюшками и несколькими парами ручек, как у жука, верхние ручки держали штангу. И эта неизменная жизнь фантастических существ на ковре, известная одному Олегу, говорила о добром его доме и мире.

На минуту, сквозь сон, почудился шум леса и набегающей волны, но тут же он понял, что это включился и заворчал холодильник да отец ходит по кухне. Потом он слышал, как тихонько вошла мама и села у его постели. Час он спал или минуту, только когда открыл глаза — мама все еще была тут.

Ленинград 1986 г.



Инесса Чудовская[1]

ИЗ ЖИЗНИ КОНДРАШЕК

Повесть

РАСПИСАНИЕ НА УТРО

Раньше всех в доме встает дед, у него старческая бессонница. Уже в шесть он запевает в полный голос:

— Жанка-банка-колбаса съела кошку без хвоста!

Любимая внучка, которой просыпаться еще рано и которая никакую кошку, конечно же, не ела, продирает глаза и кричит, чтобы он перестал, не мешал спать, но дед продолжает еще громче.

Деду до лампочки, что люди смотрят сейчас, может, самый лучший сон. И снится им... Впрочем, об этом не стоит: мало ли

[1] © Инесса Чудовская, 1989

кому что снится? Главное, что просыпаться совсем не хочется, а тут — бац! — кто-то поет всякие глупости, спугивает сон — и Володя тает, исчезает, так и не успев Жанку поцеловать...

— На зарядку становись! — командует дед.

Жанка нашаривает у кровати тапок, кидает.

— Не попала, не попала! — торжествует дед, убедившись, что внучке уже не уснуть.

Он совершает пробежку по маршруту: комната — коридор — кухня, на бегу радостно включая все, что может шуметь: радио, телевизор, транзистор. Последним вступает в разноголосый хор пылесос. Именно на его басовитый рев из бывшей детской со словами: «Это невыносимо, в конце концов, дадут мне в этом доме хоть раз в жизни выспаться!» — появляется мама Аделаида.

Минут пять она клянет свою горькую судьбину, но упреки ее тонут в сводке погоды, музыке, информации о трудовых свершениях и реве пылесоса.

Аделаида терпеть не может, чтобы ее перебивали, она к этому не привыкла (Аделаида работает учительницей) и, решительно выключив радио, телевизор, транзистор, пылесос, в наступившей тишине грозно глядит на деда.

— Старый хулиган! — говорит Аделаида.

Дед тоже не привык, чтоб его отчитывали. У деда — характер (он всю жизнь работает начальником).

Ну, дед, понятно, обижается. Раз его здесь не понимают, раз он никому не нужен, то — пожалуйста, он уйдет. Он уйдет навсегда! Он больше в этот дом не вернется. Никогда. Он пойдет гулять с Тобиком. Вот так живешь всю жизнь, стараешься, все для детей, для внуков, а потом выясняется, что единственное живое существо, которое тебя любит,— Тобик. Тобик не бросит, о нет! Тобик, фью-фью!

— Не свисти в доме,— кричит Аделаида,— денег не будет!

А Тобик уже тут как тут, колотит по полу хвостом, преданно глядит на деда своим единственным глазом.

— Пойдем, песинька, с дедонькой на улку,— бормочет дед,— сделаем зарядочку, погуляем, а они пусть... Пусть живут как хотят.

Тобик, маленький, толстый, покорно плетется за дедом на зарядку.

Минут через пять они возвращаются, дед дышит тяжело —

охо-хо, нельзя было дедоньке, дураку старому, этой чертовой гимнастикой заниматься, от нее у дедоньки сердце разболелось...

— Так я и знала! — причитает Аделаида, кидаясь к сумочке за валидолом.— Видишь, какой ты! Никогда меня не слушаешь, бессовестный!

В жестяном тубусе осталась одна-единственная таблетка, дед и Аделаида делят ее по-братски, и до семи ноль-ноль в доме все успокаивается.

В семь ноль-ноль истошно вскрикивает будильник в комнате Макса. Жанка, которая залезла под одеяло и пытается снова уснуть в надежде досмотреть свой прекрасный сон, вздрагивает и с отчаянием прячет голову под подушку. Жанка знает, что сейчас будет.

Младший брат вылетает из постели пулей. Он бодр, настроение у него прекрасное; ни осень, ни дождь, ни ворчание мамы Аделаиды не в силах испортить его. Взгляд Макса влюбленно летит к Альфе, к Альфочке обожаемой, вожделенной...

Альфа не собака. И не любимая девочка. Альфа — труба. Между прочим, стоит триста рублей! Между прочим, импортная! Раньше Макс играл на обыкновенной трубе, но этим летом поступил в музыкальное училище и потребовал у мамы Альфу. А то он учиться не будет.

Спрыгнув с кровати прямо в тапочки и ничего больше не надевая, Макс тянется к своей любимице. За окном дождь, серое небо, но драгоценная Альфа блестит как солнце. Макс подносит трубу к губам. Макс трубит, голос трубы высок и чист, он врывается в сны, и соседи вздрагивают в своих нагретых постелях:

— Опять на четвертом этаже с утра пораньше играют на трубе! Нет, ну сколько же мы еще терпеть будем это безобразие, товарищи? Мы будем жаловаться, в конце концов! Пусть двадцать первой квартире раз и навсегда запретят играть по утрам на трубе, пусть ее оштрафуют на сто рублей!

Соседи возмущены, звонят — кто в дверь, кто по телефону, требуют прекратить хулиганство, но Аделаида отвечает с ледяным спокойствием, что ее сын не хулиганит, а занимается.

— Ма, чего они опять? — кричит Макс из комнаты.

— Занимайся, Максимочка,— отзывается Аделаида,— ну их, обывателей проклятых!

И Макс занимается изо всех сил, он хочет стать Докшицером (ну, это трубач есть такой, самый-самый, если кто не

знает). Вот и Макс будет самым-самым: у Макса большие, сильные губы, у Макса легкие — дай бог и слух отменный. Макс создан для игры на трубе, и ничто-ничто не помешает ему стать Докшицером, да! Никакие обыватели.

Так начинается утро. Все уже встали, только Жанка продолжает валяться. Но вот и она выныривает на поверхность...

— Ты вставать будешь, паршивка? — заглядывает мама Аделаида.

— Ну сейчас,— ноет Жанка.

Дождавшись, когда Аделаида выйдет, Жанка достает из-под подушки и блаженно целует фотографию одного — известного только ей — актера.

— Здравствуй, Володя! — шепчет Жанка.— Как ты там без меня?

Актер Володя грустно улыбается Жанке с фотографии, дает понять, что ему без Жанки плохо.

— Нет, она меня выведет из себя, эта лентяйка! — бушует в глубине квартиры Аделаида.

Жанка вылетает из постели, прячет покоробившуюся от слез и поцелуев фотографию, отправляется на кухню, где невыспавшаяся мама бродит свирепой сомнамбулой и, как всегда, воюет с комнатными растениями.

Горшки с цветами стояли везде: на подоконнике, на столе, на буфете,— и отношения у Аделаиды были с ними крайне сложные.

Она их растила, воспитывала, карала и миловала: в нелюбимые подсыпала соли, а в любимые — чайной заварки.

С некоторыми она враждовала: отчитывала за неправильный рост, усовещивала, призывала к порядку. С непокорными расправа была коротка — вон из горшка в мусорное ведро!

— Не надо мне тебя! — приговаривала в таких случаях Аделаида.— Не понимаешь по-хорошему...

Увы, и любимые, и нелюбимые мамины цветы умирали почти одновременно. Почему-то любимые не понимали, что чайная заварка, кофейная гуща, остатки мясного бульона и яичная скорлупа должны способствовать стимуляции их роста и активизации жизнедеятельности...

Жанка брела по коридору под родное, привычное:

— Так, гаденыш, вымахал! На улице осень, а он цвет пустил. Ну, живучий! Не кактус, а вредитель...

Жанка вошла — и на сегодня бедный кактус был спасен: Аделаида не могла все свое свободное время отдавать цветам,

у нее были еще сын с дочкой, что тоже требовало бдительного, неусыпного внимания. Ну, к счастью, с сыном было все в порядке: послушный, разумный, способный Максим радовал Аделаиду; а вот дочь росла какая-то такая... Вернее, не такая.

— Ненормальная! — забыв про кактус, занялась ее воспитанием Аделаида.— На кого ты стала похожа? Все соки из себя выжала, ну просто кошка драная, облезлая! Ты ведешь неправильный образ жизни. Ты поздно ложишься...

— Но я же уроки учу,— осторожно возразила Жанка.

— Не огрызайся! — одернула Аделаида.— Ты ничего не ешь, ты скоро погибнешь. Да! А если и выживешь, у тебя не будет сил сопротивляться всем мерзостям этой жизни!

Жанка покорно слушает и с аппетитом жует котлету прямо со сковородки. Вчера она целый день не ела, чтоб похудеть, и теперь так есть хочется, что просто никак не утерпеть. Аделаида продолжает:

— У одной моей сослуживицы дочка тоже вот все похудеть хотела...

Жанка перестает жевать, в глазах у нее появляются отблески интереса.

— Ну? — торопит она Аделаиду.

— Ну-ну! Ела мало, все фасонничала, уроки все учила по ночам...

— Ну?

— Ну и умерла от белокровия! — сурово и скорбно сообщает Аделаида.

— А...— скучнеет Жанка и снова принимается за котлету.

— Надеюсь, эта история произвела на тебя хоть какое-то впечатление?

Жанка послушно вздыхает, делает грустные глаза, желая показать, что да, конечно, мамочка.

На самом деле страшный рассказ ничуть ее не тронул: если верить Аделаиде, то получается, что у ее сослуживиц чуть ли не каждый день умирают дочки. Кто от голода, кто от непослушания. И при этом Аделаида утверждает, что Жанка одна такая ненормальная. Где же логика?

Жанка вздыхает, принимается за вторую котлету.

Ну почему так: все нормальные, а она толстая? Настроение у нее стремительно портится.

«Кажется, проняло»,— думает Аделаида, глядя в несчастные глаза дочери.

«Нет, так дальше жить нельзя! — думает Жанка, уписывая

котлету.— Все, с завтрашнего дня перехожу на минералку. Надо похудеть хотя бы на десять килограммов».

Для других девочек это не так важно. Другие девочки станут учительницами, врачихами, парикмахершами, продавщицами. Им можно быть толстыми сколько угодно. А Жанке нельзя. Ни в коем случае. Потому что Жанка станет артисткой! Вот кончит десятый класс, уедет в Москву и поступит там в театральное. Да. В то же самое, где учится Володя. Ну, тот, из-под подушки.

— Нет,— говорит Аделаида,— эта ненормальная, эта чокнутая меня в гроб вгонит! Что ты столбом встала, неумытая, неодетая, нечесаная! Или ты решила опоздать в школу?!

ВЫПУСКНИКИ

Кто бы знал, как не хочется осенью ходить в школу!

А когда вообще туда хочется ходить?

Толстая Жанка сидит на уроке литературы и тоскует, не зная, чем заняться. Весной можно было бы смотреть за окно и мечтать.

Школа стоит на окраине, у реки; весной, когда река блестит на солнце, а по ясному небу мчат облака, кажется, что плывешь на корабле. Переговариваются на мачтах матросы, иногда заглядывают в окна. Ну, если честно, это не матросы, а маляры: каждую весну школу красят веселой желтой краской, и стоит она, новенькая, солнечная, утопая в белых душистых зарослях черемухи и сливы. А осенью дожди смывают краску, стены блекнут, меркнут, и всякому, кто пройдет мимо этого каменного серого дома в потеках, сразу ясно: это школа. Здесь учатся и мучатся... Да, только весной в школе хорошо. Потому что все знают, что скоро летние каникулы и ходить сюда будет не надо.

А ведь раньше Жанка любила школу. Когда-то давным-давно, еще в детстве. Сейчас, конечно, в такое трудно поверить, но это чистая правда. И учиться ей нравилось. В первом классе больше всего на свете мечтала она попасть на стенд «Лучшие ученики школы № 2». Ну, им с первого класса твердили, что учиться они должны так, чтоб потом непременно туда попасть. И школа будет ими гордиться. Жанка очень хотела, чтобы ею гордились, и старалась. И в первом классе. И во втором. И в третьем. А в четвертом что-то не зала-

дилось у нее с математикой. А в пятом — с физикой. А в шестом — с химией. В общем, ясно стало, что не видать ей этого стенда, как своих ушей, и Жанка грустно простилась со своей мечтой. И весь класс простился. Кроме Анечки Виноградовой да еще, пожалуй, Лешки Стукалова. Через год их обязательно туда повесят и будут ими гордиться, и показывать их наивным первоклассникам, и проходить мимо, не обращая внимания на незнакомые лица бывших лучших учеников...

А дождь за окном все идет и идет. А литераторша все нудит и нудит про что-то свое, скучное, талдычит про «колесики и винтики», и никуда от этого не деться. За девять лет так эта школа надоела, ну просто достала, а в десятом и вовсе жить нельзя. Только и твердят им: «Вы теперь выпускники... последний год... ответственность... учитесь... учитесь... экзамены... экзамены... скоро... скоро...» Где же скоро? Еще октябрь, сто лет до экзаменов.

Десятый «Б» мается, развлекается, как может. Кто читает, кто шепчется, кто записками перекидывается. Аня Виноградова, как всегда, преданно глядит на учительницу. А Лешка Стукалов, как всегда, преданно глядит на Аню Виноградову. Не по чину глядит. Виноградова не только отличница — она самая красивая в классе. А Лешка — слабак. И никакие пятерки тут не помогут.

Юля Ведро, вытянув ногу в проход между рядами, демонстрирует Ольке Шутовой свои новые черные колготки, ажурные, с розочками. Вместе с завистницей Шутовой оценивают колготки и мальчики десятого «Б». Замечательные колготки у Юли! Да и ноги тоже ничего.

Господи, когда же звонок? Жанке плакать хочется от отчаяния.

— Кондрашко, о чем я сейчас говорила? — бдительно спрашивает учительница.

Жанка вздрагивает, встает из-за парты:

— О колесиках и винтиках.

— Что именно я говорила о колесиках и винтиках? — не отстает литераторша.

— Что литература не может быть беспартийной! — четко рапортует Жанка — слава богу, им про это третий год долдонят.

— Садись,— разрешает Марья Ивановна.— И перестань корчить рожи.

— У меня зуб болит,— врет Жанка.— Марь Иванна, можно выйти?

И — о чудо! — ее отпускают. Десятый «Б» завистливо гудит: вот же повезло Кондрашке!

Жанка, держась за щеку, степенно выходит из класса. В коридорах пусто, до звонка — минут пятнадцать, можно не возвращаться. Главное, не попасться на глаза директору или завучу, скорее в туалет. Но нет, не судьба: директор Эдуард Олегович (между собой старшеклассники без затей зовут его Эдиком) решительно идет навстречу.

— Кондрашко, почему не на уроке?

— У меня зуб болит, Эдуард Олегович, меня в медкабинет отправили! — докладывает Жанка.

— Хорошо, иди.

И Жанка скорбно, всей спиной изображая зубную боль, отправляется на первый этаж. В конце концов, на первом этаже тоже есть туалет. Жанка проходит мимо заветного стенда: лица, лица... А в центре одно место пустует. Пустой белый прямоугольник притягивает взгляд. Жанка хихикает, ей не надо объяснять, в чем тут дело. Это место директора. Двадцать с лишком лет назад Эдуард Олегович тоже кончил школу № 2 на круглые пятерки. Висеть бы ему тут и висеть спокойно, не стань он директором в родной школе. Больше месяца фотография Эдика не держится: неуловимые мстители подрисовывают директору рога — и фотографию приходится снимать...

Жанка решительно доходит до медкабинета, оглядывается. Никого. И на цыпочках мчится она в туалет, садится на подоконник. Хорошо, что окно закрашено: хоть дождя этого не видно. Жанка сидит пригорюнившись, пережидает скучное школьное время.

До экзаменов — семь месяцев, примерно двести десять дней. Если вычесть неделю осенних каникул, неделю весенних и десять дней зимних, Восьмое марта и День конституции — это сколько останется? Сто восемьдесят четыре дня, и каждый — по семь уроков. Так, попробуем умножить в уме... Нет, в уме не получится. Жанка углядела на подоконнике огрызок карандаша, умножает столбиком. Одна тысяча двести восемьдесят восемь получается... Уроков. Повеситься можно! И Володя почему-то не звонит...

АКТЕР ВОЛОДЯ

Актер Володя был второй любовью Жанки Кондрашко. А до этого она любила Владимира Высоцкого. Ну и что, что он давно умер? Жанка слушала, как он поет с магнитофона своим хриплым голосом, и плакала. Какой человек был! Жанка все-все про него понимала. И конечно, он бы тоже все-все про Жанку понял бы и тоже ее полюбил, позабыв про Марину Влади.

Все равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели...

Так он пел своим хриплым, ласковым голосом. Для Жанки пел — и ни для кого больше. Она же чувствовала.

Украду, если кража тебе по душе,
Зря ли я столько сил разбазарил...

И на душе у Жанки становилось так тревожно, так нежно... Ну зачем он умер? Если бы можно было отдать ему свою жизнь, умереть вместо него, Жанка согласилась бы, не задумываясь.

Если бы он был жив...

Тогда бы Жанка узнала его адрес и приехала бы к нему. С огромным букетом роз. А Марины Влади как раз не было бы дома. Жанка зажмурилась бы от страха и нажала кнопку звонка.

А он открыл бы дверь, взглянул на нее и сразу узнал.

Да, он вышел бы из темноты и улыбнулся ей.

Он был бы в черном свитере и в джинсах. И в руках у него была бы гитара.

«Ну, проходи»,— сказал бы он ей.

И она пошла бы за ним в дом, где он живет, по щиколотки утопая в мохнатом ворсе ковра.

В комнате было бы совсем темно, только вокруг него воздух чуть светился. И он не спрашивал бы ее ни о чем, потому что и так все понимал бы. Он бы погладил ее по голове...

Вот как бы все было.

А раз он умер, Жанка все равно останется ему верной, она будет любить его всю жизнь. Так она решила. Еще в седьмом классе.

А этим летом в их городе снимали кино. И конечно, Жанка бегала смотреть, ей даже удалось в массовку затесаться.

Жанке дали телогрейку и сапоги и сказали, что лицо у нее должно быть грустное и голодное. Фильм был про войну. Жанка должна была стоять в очереди за хлебом. Всю ночь. Поздней осенью. Меж тем было лето, довольно жаркий день, Жанка упарилась в телогрейке, а съемки все не начинались. Она ушла в тень, которую отбрасывал старый военный грузовик, села на траву и стала мечтать, как этот фильм выйдет на экраны и какой-нибудь известный кинорежиссер увидит его и спросит:

«Скажите, а что это за девушка там стояла в очереди за хлебом, с таким грустным, голодным лицом?»

«О,— ответят ему,— это Жанна Кондрашко, неужели вы ее не знаете?»

Известный режиссер отыщет Жанку и пригласит в свой фильм на главную роль... Что там дальше будет, Жанка не успела придумать, потому что уснула, разомлев от жары.

Разбудил ее какой-то солдат, молодой, с ямочками на щеках:

— Эй, ты что тут делаешь?

— В кино снимаюсь! — гордо ответила она.

— В массовке, что ли?

— Ага.

— Ну, ты даешь! — засмеялся солдат.— Массовку уже сняли.

Жанка заревела и пошла сдавать сапоги и телогрейку.

— Девочка, девочка,— схватила ее за руку какая-то тетка,— иди за мной!

Она подтащила Жанку к какому-то дядьке и спросила:

— Сойдет?

Дядька глянул на Жанку и махнул рукой:

— Сойдет.

— Когда вон там взорвется,— велела Жанке тетка,— перекрестишься и побежишь за дом, ясно?

— Ясно! — торопливо согласилась Жанка.

— В камеру не смотреть, все будто на самом деле, ясно? Война, в город входят немцы...

— Репетируем? — спросил оператор.

— Так снимем,— раздраженно отозвался дядька, решивший, что Жанка сойдет.— Пиротехники, давайте! Мотор!

За спиной у Жанки грохнуло, да так, что уши заложило. Она испуганно оглянулась; из-за угла ползли тяжелые черные клубы дыма, сквозь них, что-то крича, бежал тот самый молоденький солдат с белым, отчаянным лицом. Снова грохнуло,

земля за солдатом медленно встала дыбом, и он вдруг замер, глянул на Жанку страшными, помертвевшими глазами, сказал «мама» — и упал...

— Девочка, девочка! — услышала Жанка у себя за спиной.— Крестись и убегай, живо!

Жанка вспомнила, что она снимается в кино, перекрестилась и дала деру.

— Стоп! — разнесся над улицей злобный голос.— Покажите этой дуре, как крестятся русские люди!

Погибший солдат встал и улыбнулся перепуганной Жанке.

— Ну и молодежь пошла! — весело сказал он.— Нехристи! Гляди... — Он лихо перекрестился.— Повтори. Да не этой же рукой!

И пока пиротехники готовили взрыв, он учил Жанку креститься.

— А вас как зовут? — спросила Жанка.

— Володя.

— А вы артист?

— Как видишь,— сказал Володя и засмеялся.— В театральном учусь. А ты?

— Я тоже...— потерявшись от того, что рядом с ней такой человек — самый настоящий студент театрального училища, пробормотала она.— Мечтаю стать... Артисткой...

Артист Володя захохотал:

— Нет, ты прелесть! Зовут тебя как, мечтательница?

— Жанна,— пролепетала Жанка.— Кондрашко.

— Ка-ак? — переспросил Володя и моргнул.— Кондрашка? Слушай, с такой фамилией тебе обеспечена мировая слава!

— Правда? — шепотом сказала Жанка.

— Приготовились! — взревел дядька-командир.

— Привет,— сказал Володя.— Пойду умирать геройской смертью. Ты местная?

— Ага.

— После съемок город мне покажешь?

И опять громыхнуло, и опять он выбежал из клубов дыма с белым, отчаянным лицом, и опять страшно встала дыбом за ним земля...

А вечером они гуляли по городу и обошли его за полчаса.

— Н-да,— вздохнул Володя.— И все?

— Все...— пристыженно кивнула Жанка.

— И как вы тут живете? — И он принялся рассказывать про Москву, про театральное.

Они еще раз обошли город, спустились к речке. Володя обнял Жанку и попытался поцеловать. Жанка испугалась и сказала:

— Ой, что вы, не надо!

— Смешная,— сказал Володя и опять вздохнул.— У вас здесь все такие? Хорошо, что съемки завтра последний день... Ну ладно, пошли, я тебя домой провожу.

— Ой, лучше я вас,— смутилась Жанка от такой незаслуженной чести.

Она проводила Володю до гостиницы и была вознаграждена: Володя подарил ей фотографию и дал свой московский телефон.

— Будешь в Москве, звони,— разрешил он.

— Ой, лучше вы — мне...— сказала Жанка,— а то вдруг я позвоню не вовремя!

Володя записал Жанкин телефон, и с той поры Жанка каждый день ждала звонка, даже из дома никуда не выходила, только в школу (но тут уж ничего не поделаешь), а остальное время сидела у телефона и все ждала, ждала, что он позвонит. Иногда срывалась среди ночи на междугородный звонок, падала в темноте, расшибая коленки, мчалась в коридор к телефону, но в трубке равнодушно ныл длинный гудок. Это, оказывается, дед выводил носом «Межгород». Не звонил Володя. Не звонил.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Кто бы знал, как тоскливо жить в маленьком городке осенью! Дни и ночи, дни и ночи напролет льют серые дожди, дороги размыты, холодные, грязные ручьи со всего города уныло мчат к реке,— городок стоит на холме, и все его улочки устремлены вниз. Известное стихотворение «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик», несомненно, про здешнюю скучную местность. Потому что если где-нибудь в центре городка бросить мяч, то он покатится, покатится по наклонным улочкам и переулкам и в конце концов непременно плюхнется в речку. Но это — летом, а теперь какие мячики? Осень, осень... Люди сидят по домам, прячутся от ненастья, выходят только на работу. Или в магазин. А куда еще пойти? В этом городе и пойти-то некуда.

«И как вы тут живете?..» — спросил тогда Володя. Жанка

помнит! А до той поры она и не догадывалась, что жить в этом городе нельзя, и даже нравились ей невысокие старые улочки, кривые, заросшие. Жанка здесь выросла и привыкла, что все так и должно быть. Но оказывается, вовсе и не должно, оказывается, есть другие города, большие, настоящие...

Как можно жить в этом махоньком, салатовеньком каком-то городишке, если рядом, всего несколько часов на поезде, есть Москва! Там большие людные улицы! Там театры! Там, там... Там все не так! Там другая жизнь — прекрасная, возвышенная, необычная... Там никогда не бывает скучно.

Бежать, бежать из этого города — туда, туда. Прорваться! Там театр, там Володя, и какая это будет замечательная жизнь: Жанка будет на сцене, Володя в зале; или нет, они с Володей будут на сцене, а люди в зале будут хлопать и кричать: «Гениально!» Вот как все будет там, в Москве, да! Жанка станет худой и красивой, и Володя скажет ей: «Жанна, умоляю, будь моей женой!» А она ответит: «Нет, Володя! Прости и забудь меня. Для меня не существует личной жизни. Я люблю театр. Я умру на сцене!»

И Жанкина душа улетает туда, бросив скучный городок, где не повезло ей родиться.

Заглядывает в комнату Аделаида и выходит на цыпочках: дочка взялась за ум, дочка учит физику. Тише, тише все, не мешайте девочке заниматься!

Аделаиде и в голову не приходит, что дочери дома нет, это так, бренное глупое тело осталось тут в скучном плену. А душа ее где-то там, далеко, летит куда-то, мчит над миром, и какие-то тайные, непонятные силы владеют ею, и она может все...

Жанка хватает книгу, читает монолог Жанны д'Арк. О как она его читает — и раз, и два, и три,— пока язык не начинает заплетаться и слезы не застилают глаза!.. Как жаль, что зрители — только куклы... Летит, летит Жанкина душа, ей хорошо там, в вышине. Если б не зеркало... Один случайный взгляд — и все кончено: из зеркала смотрит на Жанку толстая девочка с рыжей косичкой, лицо у девочки круглое, конопатое... Какая Жанна д'Арк! Ни тебе трагической бледности, ни глаз огромных, черных... Глаза у Жанки голубенькие, маленькие, и никакой бледности, вид поразительно здоровый. Просто-таки румянец во всю щеку, тьфу!

Жанка глядит на себя и плачет от стыда и отчаяния: это же надо было такой уродиться!

Но тут Аделаида нечеловеческим голосом кричит, что

нора есть, чтоб немедленно все были за столом, она снова греть не будет.

Жанка утерла слезы и пошла обедать.

ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ

Главный в доме дед.

Хотя нет, главная в доме — мама Аделаида, его дочь.

То есть дед думает, что главный в доме он, а Аделаида — что она. И из-за этого жить в доме просто невозможно. Потому что мама и дед все время ругаются и выясняют отношения.

— Ты сумасшедшая! — кричит на Аделаиду дед. — Я давно заметил!

— Нет, это ты сумасшедший! — страстно спорит Аделаида.

И оба грозятся упрятать друг друга в сумасшедший дом.

Жанке с Максимом тоже достается как вражьим любимцам — их давным-давно поделили: Макс — мамин, а Жанка — дедова.

— И сын твой вымогатель и бездельник! — кричит дед.

— Оставь моего сына в покое! Лучше на внучку свою погляди, она такая же ненормальная, как ты!

Главное, что скандалы эти начинались ни с чего, просто так. Сидели, смотрели телевизор, пили чай, разговаривали тихо и ласково, и вдруг...

Вдруг дед встает и идет проверять свою сберкнижку. Сберкнижка на месте. Да и куда ей деваться? Но денег там не столько, сколько хотелось бы деду. И дед говорит сердито:

— Нахлебники! Сосете из меня деньги! Кровососы!

Теперь реплика Аделаиды. Она кричит:

— Это ты нахлебник! Ты спиногрыз! Все силы у меня вымотываешь, все соки выпиваешь!

Дед кричит:

— Это я у тебя соки выпиваю? Да я вас всех из милости держу, пустил к себе в дом, голодранцы подзаборные!

Аделаида:

— Это мы — голодранцы?! Бессовестный! А еще батраком в детстве был! Да какой ты батрак! Ты самый распоследний буржуй!

Дед:

— Это я — буржуй?! Да я за вас, паразитов, кровь проливал! Да я четыре ранения имею! Я с Бандерой сражался, с врагами народа, с шайкой разбойников зловредных!

Аделаида (голос ее звенит):

— Ты этим не прикрывайся! Бандит! Бабку на тот свет отправил, теперь до меня добираешься?! Не выйдет!

Дед (дико хохоча):

— Это я бабку на тот свет отправил?! Это вы над бабкой издевались как хотели, свиньи неблагодарные! Тоже мне детки! И зачем мы вас нарожали! Это ты, ты ее своими разводами в гроб вогнала! И меня вгоняешь!

Аделаида:

— Тебя вгонишь! Да ты до ста лет доживешь, ты сначала нас всех угробишь...

Дед:

— Убью-у-у-у!

Жанка и Максим:

— Мамочка! Дедушка! Не надо!

А когда мама и дед не ссорятся, они милейшие, интеллигентнейшие, уважаемые в городе люди.

Дед вообще человек известный, в городском музее даже есть архив Теофила Кондрашко. Это деда так зовут — Теофил. Дед бывший чекист, раньше он был полковником.

В свободное время дед пишет мемуары о своей боевой молодости и зрелости. Пишет он их, лежа на диване. В такие минуты его лучше не отвлекать. Написав об очередном геройском эпизоде, дед уносит свои каракули на работу и отдает машинистке перепечатать в четырех экземплярах. Потом несет перепечатанные мемуары в переплетную мастерскую и через две недели получает четыре готовенькие книжечки, аккуратно обтянутые коленкором, с золотым оттиском на обложке: «Любезному моему другу и боевому товарищу такому-то от его друга и начальника Т. Кондрашко». Мемуары эти он дарит своим друзьям ко дню рождения, а один экземпляр относит в краеведческий музей.

Теперь, когда дед никого давно не ловит и не обезвреживает, он человек тихий и мирный, любит играть на пианино вальсы и печь пироги с луком.

А еще он любит смотреть по телевизору ритмическую гимнастику и «Спокойной ночи, малыши».

На «Спокойной ночи» он почему-то всегда плачет.

Аделаиду тоже все знают. Она педагог со стажем, преподает французский.

Все ее ученики, даже те, что по другим предметам еле тянут, французский знают прекрасно.

Правда, почти все они немного заикаются. От страха.

Зато потом, когда они кончают школу, заикание проходит, а французский язык они помнят всю жизнь.

Вот какие сильные личности сошлись в одном доме и никак не могут решить, кто из них главный.

Мама или дед?

Дед или мама?

А Жанка и Макс живут на открытом пятачке, обстреливаемом и с той и с другой стороны. С воем и свистом проносятся у них над головой снаряды, только знай втягивай голову в плечи. Хорошо Тобику, он всех их любит: и деда, и Аделаиду, и Жанку, и Макса. У него все главные.

ТОБИК

Тобик — самый счастливый пес в мире: он может делать все, что хочет. Он может гулять с утра до ночи там, где ему вздумается,— и ему не попадет. Жанка очень ему завидует. Правда, и в его жизни есть неприятные моменты. Вот, например, Тобика не кормят дома. Ну и ничего, подумаешь! Зато его кормит весь двор. В конце концов, свобода дороже.

Два раза в год Тобик приносит хозяевам по дюжине щенков, потому что вообще-то он не Тобик, а Джильда. Но это мелочи. Тобик так Тобик.

Привела Тобика в дом Жанка. Давно, она тогда училась в четвертом классе. Как-то Жанка шла из школы и увидела, как бездомную собаку Малышку, школьную любимицу, два неизвестных дядьки волокут куда-то на веревке.

— Дяденьки,— закричала Жанка,— куда вы ее ведете?

Тихая, скромная Малышка обычно смирно грелась на крышке люка у школы, и вся малышня шумно и радостно приветствовала ее и угощала кусками котлет, сохраненных от обедов. Малышка очень бережно, очень вежливо брала еду с крохотных ладошек и медленно, не спеша, прожевывала, чтобы не показаться такой уж голодной и несчастной...

А теперь их старенькую, седенькую Малышку, добрую, кроткую Малышку куда-то уводили!

— Отпустите ее, пожалуйста!— чуя недоброе, заревела Жанка.— Дяденьки, я вас очень прошу! Это моя собака...

— Твоя? А чего тогда не следишь за ней?— заорал один из дядек и подтолкнул другого, притормозившего было.

— Дяденьки, миленькие! — взвыла Жанка, догнав их.— Не надо!

— Малышку собачники поймали! — истошно закричали у школы, и раздался многоногий топот.

Дяденьки оглянулись и заспешили, волоча за собой перепуганную, упирающуюся всеми лапами Малышку.

— Не смейте! — завопила Жанка.— Не троньте! — И укусила одного из дядек за палец. Палец был грязный, пах псиной.

— Ух ты, кусачая! — захохотал дядька, отпихивая Жанку.— Гляди, и тебя увезем! На мыло.

Тут их догнали школьные мальчишки и принялись кричать, плакать и швырять в собачников камнями. Вмешалось и несколько взрослых.

— Отпустите собаку, живодеры! — сказала какая-то старушка.

— Бабуля, собака бешеная! Проходи!

— Сами вы бешеные! — крикнула Жанка.

— Коль, глянь,— сказал один живодер другому.— Вон еще две.

Жанка оглянулась и увидела, что по улице бегут еще две собаки, маленькие такие, веселые, не чующие беды. Видно, заметили Малышку и решили с ней поиграть. Одного песика Жанка сразу узнала, это был Рыжик Анечки Виноградовой, он всегда провожал Анечку в школу и встречал из школы. Вторая собака была совершенно незнакомая, маленькая, толстенькая и почему-то одноглазая.

— Рыжик! — в отчаянии закричала Жанка.— Тобик! Ко мне!

Она схватила их на руки и так прижала к себе, что собаки, испуганно тявкнув, принялись вырываться.

— Это мои собаки! — истошно заревела Жанка.— Не дам!

И со всех ног припустила домой, таща вырывающихся, заливающихся возмущенным лаем псов...

— Мама, мамочка, спрячь нас скорее! — крикнула она с порога.— За нами гонятся.

— Кто? — грозно спросила Аделаида.

— Живодеры! Они хотят забрать нас на мыло! Не отдавай нас, мамочка!

— Успокойся,— сказала мама.— Я вас не отдам. Это что, Рыжик Анечки Виноградовой? Надо им позвонить, чтоб пришли и забрали. А Тобик чей?

— Мой! — крикнула Жанка.— Мамочка, я тебя очень прошу, давай его возьмем к нам...

— Ну еще чего не хватало! — сказала Аделаида.

— Мамочка, ну мамочка! Ну пусть хоть переночует, а то его заберут на мыло...— заплакала Жанка.

— Ну хорошо, пусть переночует,— согласилась Аделаида.— Только не плачь и не дрожи так, все хорошо, успокойся.

Через час за худеньким, легким, как пушинка, Рыжиком пришла бабушка Анечки Виноградовой. Выслушав ужасную историю про живодеров и про мыло, она покачала головой и сказала, что увезет Рыжика от греха подальше во Францию.

Жанка потом много лет думала, что бабушка у Анечки француженка, но однажды выяснилось, что увезли Рыжика ни в какую не во Францию, а во Францево — это деревня такая, где жила Анечкина бабушка.

А толстый Тобик остался ночевать. Сначала он забился под роскошный бабушкин диван, который мама все собиралась выбросить, а дедушка не давал, говоря, что это память о бабушке. Диван был огромный, темно-зеленый, бархатный, довоенный еще, с золотыми кистями и на колесиках. Тобик сидел под диваном и только изредка показывал свой черный пересохший нос и недружелюбно светил из тьмы своим единственным зеленым глазом.

— Какой свирепый, злой циклоп! — сказала мама, с опаской проходя мимо дивана.— Жанка, дай этой зверюге что-нибудь поесть.

Это был один-единственный раз, когда Тобика кормили. Но он тогда есть не желал.

Вечером Тобик по-прежнему сидел под диваном. А утром, проснувшись, обнаружили, что замечательный бабушкин диван весь изодран и перепачкан, и на нем гордо возлегает за ночь сильно похудевший Тобик в окружении двенадцати беленьких, рыженьких, черненьких, пятнистеньких щенков.

Так в доме появился и остался навсегда Тобик. Ну, не выгонять же его было со щенками.

— Хорошо,— сказала Аделаида,— одну собаку я еще вытерплю. Но я не допущу, чтобы наш дом превратился в собачник! Щенков девай куда хочешь...

И с той поры Жанка не знала покоя: не успевала она раздать, распихать, раздарить друзьям, родственникам, одноклассникам, прохожим на улице одно поколение Тобиковичей, как появлялось новое. Новенькие Тобиковичи пищали, расползались по всей квартире, делали лужи... И всех их надо было выкормить и пристроить. Жанка просто с ног сбивалась.

Аделаида гневалась:

— Ты будешь уроки учить или собак гонять?

Да еще: когда у Тобика дело шло к щенкам, он становился дик и злобен, будто не маленькой собачкой был, а львом или тигром. Вот, например, сегодня он ни с того ни с сего цапнул за ногу тетку в клешах... Правда, она ему наступила на хвост.

— Мне надоело платить штрафы за твоего ужасного пса! — разбушевалась за ужином Аделаида.— Мне надоело выслушивать жалобы соседей!

— Штрафы платишь не ты, а я! — уточнил дед.

— Он! — пошла в атаку Аделаида.— Посмотрите на него — он платит штрафы!

— Я! — поднялся за справедливость дед.— Я плачу штрафы!

— Эта тетка сама виновата! — выступил Макс.— Собака и та понимает, что клеши сто лет как вышли из моды! Размахалась штанинами, как флагами. Какой нормальной собаке это понравится?

— Не заступайтесь за этого отвратительного пса! — воскликнула Аделаида.— Теперь мне придется разбираться с управдомом, а бедной женщине делать сорок уколов в живот...

— Ада! Что за глупости! — возмутился дед.— Зачем ей уколы в живот? Наш пес не бешеный, он просто в интересном положении и немного понервничал!

— Вот именно! — заступилась за Тобика Жанка.— Она первая ему на хвост наступила, а теперь еще недовольна. Да если бы я была в положении, а она наступила мне на хвост, я бы вообще отгрызла ей ее паршивую ногу!

Услышав это заявление, Аделаида замерла и пристально взглянула на дочь.

— В каком это ты была бы положении? — подозрительно спросила Аделаида. Она ведь учительницей была и много чего слышала о распущенности нынешних девочек.

— «В каком, в каком»...— в пылу ответила Жанка.— В каком все бывают!

— Жанна, погляди мне в глаза! — едва выговорила Аделаида и пошла пятнами.— Ты думаешь, что говоришь?

— А чего? — испугалась Жанка.

— Ничего! — отчеканила Аделаида, не сводя с нее пронзительного взгляда.— Быстро все рассказывай!

— Про что?

— Не выкручивайся! — закричала Аделаида.— Ты беременна?!

Жанка моргнула и открыла рот.

— Ну?!

— Аделаида, ты ненормальная,— грустно сказал дед.— Что ты к ребенку пристала?

— Не смей выгораживать свою беспутную внучку!

А Макс плюхнулся на диван и заржал, размахивая от удовольствия ногами и теряя тапочки.

— Ну, мам, ну, ты даешь! — закричал он.— У нее и парня-то нет, кому она нужна!

У Жанки мигом навернулись слезы.

— Жанночка, не слушай его! — закричал дед.— Это ты кому нужен, губошлеп этакий!

— А хотя бы и беременна! — выкрикнула Жанка и залилась горючими слезами: у нее и в самом деле никого не было — мальчики не обращали на нее внимания.

Аделаида мигом успокоилась, тоже вспомнив, что ее бедная глупая дочка, слава богу, с мальчиками не гуляет. Но на всякий случай она сказала сурово:

— Смотри у меня, голубушка! Я этого не потерплю.— Не забыла она и о Тобике:— И чтоб больше никаких щенков. У тебя десятый класс, нечего время терять на всякие глупости. Или ты хочешь не сдать экзамены?

— Я, что ли, виновата, что Тобик беременный? — огрызнулась Жанка.

— А кто? — грозно спросила Аделаида.

Макс снова радостно заржал.

— Кто притащил эту собаку в дом? Эту ужасную собаку, которая уже шесть лет терроризирует население и все время рожает?! Ну, в общем так, милая моя, я тебя предупреждаю: ощенится Тобик — щенков будешь топить ты!

— Мамочка, что ты! — прошептала Жанка, сразу забыв, какая она несчастная и никому не нужная.— Не надо их топить, я их раздам... Сразу. Я быстро, я не буду тратить время...

— Без разговоров! — пресекла обсуждение Аделаида.

И, заглянув ей в глаза, Жанка поняла, что просить бесполезно: если Аделаида что-то решила, то она решила бесповоротно.

— Отправляйся учить уроки.

Жанка покорно поплелась к себе в комнату. Толстый Тобик

весело побежал за ней, залез под стол и затих. Жанка сбросила тапок, дотянулась босой ногой до его теплого бока.

Господи, хоть бы Тобик не ощенился вовсе! Хоть бы все ошиблись: Тобик просто ел, ел — и растолстел, а все подумали, что у него щенки скоро будут...

«Ел, ел...» Несбыточная мечта: от такой жизни Тобику было в пору не растолстеть, а опухнуть с голоду.

— Тобик, Тобик...— сказала Жанка, и из-под стола зеленым огнем сверкнул дружелюбный глаз.— Ты продержись подольше, миленький, мой хороший,— шепотом попросила его Жанка.— Может, мама позабудет...

СУПЕР-МАКС

Макс — человек занятой. Столько дел и забот у него, что просто ни минуточки свободной.

Самая главная забота Макса — это, конечно, Альфа, Альфочка, золотая, сверкающая. Ни у кого в городе такой больше нет, только у Максима Кондрашко! И уж как Макс за ней ухаживает, как холит и лелеет: каждую пылиночку сдувает, берется только замшевой тряпочкой, чтобы, упаси бог, ни пятнышка не оставить на зеркальной, сияющей поверхности Альфы... В солнечный день на его трубу лучше не смотреть во избежание полного ослепления.

Макс — человек аккуратный. Каждый клапанчик он сперва чистит одеколончиком, потом смазывает маслицем, чтобы клапан ходил легко, плавно, чтобы пела, пела Альфа, а не кричала мерзкими «киксами».

День у Макса расписан по минутам, как у космонавта.

В семь ноль-ноль — старт. С семи ноль-ноль до семи сорока пяти Макс играет на трубе. Между прочим, никто его не заставляет, он мог бы и поспать еще полчасика, на оркестр ему только к восьми. Но Макс — разумный мальчик, он знает: чтобы в жизни чего-то достичь, надо приложить усилия. И Макс встает на полчаса раньше и прилагает.

Аделаида не нарадуется: такой мальчик славный, трудолюбивый, послушный! Он всего в жизни добьется. Не то что эта кулема Жанка, которая вон до сих пор валяется в постели, а уроков-то, поди, вчера не успела сделать, паршивка.

— Максимочка, иди завтракать! — зовет Аделаида.

— Сию минуту, мамочка,— отзывается Макс.

Сынок. Сынуля. Утешение Аделаидино.

В семь пятьдесят, с Альфой под мышкой и с сумкой через плечо, Макс выбегает из дома.

В восемь ноль-ноль Макс на оркестре, опять дует в трубу. Хорошо дует, его хвалят.

С девяти тридцати до четырнадцати ноль-ноль Макс дисциплинированно скучает на занятиях в училище. Что поделаешь — надо, без корочки сейчас никуда.

Занятия окончены, Макс спешит домой обедать. Аделаида не любит, чтобы дети опаздывали на обед. Режим — залог здоровья.

Обед закончен. С четырнадцати сорока пяти до пятнадцати ноль-ноль Макс препирается с Жанкой из-за того кто пойдет в магазин за продуктами.

В пятнадцать ноль-ноль Жанка идет в магазин, а Макс — в комнату, где ждет его Альфа. И до семнадцати ноль-ноль ее прекрасный сильный голос, легко пробившись сквозь стены и вырвавшись на свободу, летит, летит над двором, над соседними улочками и переулками, уносится в большое небо, и прохожие четче печатают шаг, слыша ее голос..

В семнадцать ноль-ноль Альфа, протертая и смазанная, нежно укладывается в футляр. Макс надевает драные джинсы и умопомрачительную кожаную куртку и до восемнадцати ноль-ноль клянчит у Аделаиды три рубля на карманные расходы, борется за свои права.

— Ты меня разоришь! — отбивается Аделаида.— Позавчера — три рубля, вчера — три рубля, сегодня... Я что, их печатаю?

— Может, мне бросить училище и пойти работать? — задумчиво произносит Макс.

— Я тебе брошу, негодяй! Мать из последних сил выбивается, каждую копейку бережет, чтобы их, деток неблагодарных, вырастить, на ноги поставить, а они...

— Ага,— шепчет Макс трагическим голосом,— я в рваных штанах хожу, как детдомовский! На меня люди пальцем тычут...

— Замолчи, вредитель! — возмущается Аделаида.— У тебя есть новые джинсы, ты сам их не носишь!

Это чистая правда. Есть. Лежат в шифоньере, ни разу не надетые. Синие. Фирмы «Ли». Но кто теперь ходит в синих «Ли»? Только недоразвитые! Да друзья обхохочутся, если увидят Макса в «Ли». Они ему руку перестанут подавать!

Макс хочет серую «варенку». Сейчас все ходят в серой «варенке», а у Макса нет. И даже собственная обожаемая мамочка не хочет понять, как это унизительно и стыдно, когда у всех что-то есть, а у тебя нет. У Макса на глаза медленно наворачиваются слезы.

— Максимочка! — ахает Аделаида, и глаза у нее тоже начинают блестеть.— Ну что ты, что ты, ну не плачь, детонька, ну купим тебе «варенку»! Вот денежек накопим и купим!

Но Макс безутешен:

— Тогда уже мода пройдет!

— Не плачь,— решает Аделаида,— я у дедушки возьму.

— Да-а! — мстительно отзывается Макс.— Возьмешь у него! У него все Жанка, дура, выклянчивает на книжки свои. Вчера опять он ей червонец отломил...

Пауза. Аделаида грозно затихает. Что-то сейчас будет!

О, Макс знает Аделаиду как свои пять пальцев, он крупный психолог. Он знает, как надо просить. Это ничего, это сначала тебе отказали, это даже хорошо. Потому что если тебе отказали, то можно обидеться. А если грамотно обидеться, то потом можно попросить больше. Главное — вовремя переключить внимание с себя на сестру-балду. На то, как дед балует ее, обормотку. Конечно, ему это просто, с его-то зарплатой. А Макс все равно остается верен своей бедной мамочке.

— Жанна,— громыхает Аделаида,— а ну поди сюда!

Жанка приходит на кухню, моргает испуганно.

— Что, мамочка?

— Ты опять? Опять?! Разоряешь нас, негодяйка! Ты что, в библиотеке не можешь взять почитать?! Книжная пыль — самая вредная пыль! Ты и так завалила книгами всю комнату — ни пройти, ни проехать!

Это правда. В комнате, где живут Жанка и дед,— книги, книги... Книги на подоконнике, на столе, на полу — целые горы из книг, горные хребты! Они там с дедом ходят на цыпочках и разговаривают шепотом. У них там и крикнуть нельзя — лавиноопасная ситуация: с грохотом посыплются книги, вздымая пыль, и погребут неосторожного навечно.

В общем, сестра у Максима ненормальная какая-то. Можно подумать, что все это она прочитает! А все тащит, тащит! Главное, денег-то она ведь не зарабатывает, все у деда клянчит, а дед и рад — ни в чем своей любимице не отказывает. А Макс попросит — так ни за что не даст. Справедливо?

Она дождется — кончится у мамочки терпение!

— Сколько раз я тебе говорила! — коршуном кружит над непутевой Жанкиной головой голос Аделаиды.— Кому эти книги? Зачем? Все равно бомба упадет!

— А может, не упадет...— упрямится Жанка.

— Все равно мы все умрем от СПИДа!

— А может, врачи что-нибудь придумают...

Макс глядит на Жанку и вздыхает про себя: и в кого она такая дурочка?

— Лучше бы еду на эти деньги покупала! — бушует Аделаида.— Яблоки, витаминчики... Лучше бы скопила на одежду приличную — ходит как обдергайка, соседей стыдно...

— Ну мамочка,— говорит Жанка,— ну зачем, если все равно бомба!

Аделаида замирает, сраженная дурацкой логикой дочери, потом кричит:

— Поговори у меня! Рассуждать она будет!

— Мамочка, ты мне дашь денежку? — тихо и печально напоминает о себе Макс.

И только черствый, бессердечный человек может не дать сейчас этому прекрасному мальчику, у которого нет «варенки», который с утра до вечера занимается, ходит в рваных джинсах и так любит свою мамочку, три рубля...

Аделаида лезет в кошелек. На часах восемнадцать ноль-ноль.

Рога трубят! Рога зовут! Максу пора — его ждут друзья. Каждый вечер они собираются в Кошачьем сквере на соседней улице.

Друзей у Макса много, человек девяносто, а может, и больше, так что он многих и по имени не знает. Но друзья все хорошие: за своего кого хочешь отколошматят так, что любо-дорого!

Там, в Кошачьем сквере, Макс и его друзья интересно и с пользой проводят время: «торчат», «балдеют», «тащатся». Короче — «тусуются». Не то что некоторые недоразвитые, которые спускают все деньги на книги, а потом их читают. Нормальному человеку, без отклонений, вполне достаточно того, что в шесть лет ему прочитают «Каштанку», а в тринадцать он сам одолеет «Шерлока Холмса», ведь правда? Глупо, ну глупо же, уткнувшись носом в книгу, смеяться и плакать над чужой придуманной жизнью, когда в это же самое время твоя собственная со свистом проносится мимо!

Нет, Макс и его друзья не из таких, они хотят жить сами. И чтоб весело было.

— Кенты, куда пойдем? — шумят друзья.

— В ДК дискотека сегодня!

— Кайф!

— Да бросьте, кенты! Сегодня в парке «квадратные» собираются!

Ого, это будет позаманчивее дискотеки, тут отдает настоящей жизнью.

«Квадратные» властвуют на соседней улице, они заклятые враги «кентов». Они ловят и бьют «кентов». А «кенты» ловят и бьют их. В общем, дел и у тех, и у других по горло.

Короче, решено: Макс и его друзья идут в парк бить «квадратных». Они идут дружной толпою по улице, прохожие шарахаются от них, жмутся к стенам домов, давая им дорогу... Осенняя вечерняя скука отступает, и так хорошо, так радостно идти вот так, когда вокруг тебя свои, и ты неразличим в толпе, и глаза у тебя пустые и праведные, и пусть все расступаются, чтоб ненароком не перепало! Прочь с дороги, мы идем бить чужих. Бить чужих всегда и везде — вот что наполняет жизнь смыслом, заставляет бодро биться сердце. Вот это тусовка так тусовка!

Макс тусуется до двадцати трех ноль-ноль, а придя домой, на цыпочках, по выученным половицам крадется в ванную.

Он смывает кровь со скулы, он, шипя, мажет йодом боевые раны.

— Максимочка, это ты? — сонно спрашивает Аделаида.

— Я, мамочка.

— А у Жанки свет горит?

— Горит, мамочка.

— Скажи ей, чтоб немедленно ложилась спать.

— Мама велит тебе спать,— передает Макс.

— Ой, Максимка,— шепчет Жанка,— я еще не дочитала, скажи, что я уже легла.

— А что ты мне за это дашь? — сурово спрашивает Макс.

— У меня только двадцать копеек...

— Ну, ладно,— соглашается Макс.— Мам, она уже спит.

Перед тем как лечь, Макс лезет в свой тайник и прячет в жестяную банку из-под кофе так и не пригодившиеся сегодня три рубля, бросает в копилку Жанкины двадцать копеек.

А теперь спать, спать, спать, ведь завтра Максу рано вста-

вать. Засыпает он мгновенно и сладко, как и положено человеку, который не зря прожил день.

— Бери пример с Максимки,— учит Аделаида дочь,— у него ни минутки свободной, а он все успевает!

Впрочем, и у Максима бывают такие вечера, когда обваливается на него свободное время. Допустим, льет проливной дождь и тусовка не собирается.

Наверное, в такие дни друзья Макса сидят дома и маются, не знают, чем заняться. С Максом такого не бывает, Макс всегда найдет себе дело: в такие вечера он прячет в карман куртки красивый балончик с нитроэмалью и, крадучись, выходит в подъезд. Переждав чьи-то шаги, выглянув в окно, не подходит ли кто из соседей, Макс достает баллончик и выводит на стенах большими ровными буквами: «SUPERMAX».

И на домах, и на гаражах пишет он это красивое, гордое слово.

Чтобы все знали его имя.

Чтобы не забыли, что он тоже есть, тоже живет на свете.

НАЧАЛО ЗИМОВКИ

Летом в доме, где окна распахиваются от каждого сквозняка и стекла с прозрачным звоном падают вниз, на головы прохожих, жить даже весело. А зимой холодно.

А распахиваются они потому, что уже давным-давно растеряли все свои шпингалеты. Каждую осень в доме начинаются большие разговоры, что скоро зима и надо, наконец, что-то с окнами сделать.

— Безобразие! — говорит Аделаида деду.

— Безобразие! — говорит дед Аделаиде.

— Мы однажды вымерзнем тут, как мамонты! — говорит Аделаида деду.— И все из-за тебя!

— Нет, из-за тебя! — говорит дед Аделаиде.— Давно бы уж пошла и купила шпингалеты!

— Вот сам и иди. Ты их сорвал — ты их и покупай!

— А ты их выбросила. Кто тебя просил!

Дед и Аделаида сердятся, препираются, ссорятся, кричат, обещают сдать друг друга в сумасшедший дом... Ну, в общем, все как всегда. И, как всегда, вслед за осенью наступает зима. Тут ссоры утихают, потому что ссорься не ссорься, а надо что-то делать: уже не летний ветерок врывается в дом, распахивая

окна, а ветер со снегом, ветрина, ветрище! Поземка носится по полу, заметает горшки с цветами и книжные завалы, Тобик тявкает и, вспомнив детство, радостно скачет по квартире, ловит снежинки. Пора устраиваться на зимовку.

Дед лезет в шифоньер, достает свои старые шинели (их у него много) и закладывает ими пространство между рамами, чтоб не так дуло. Аделаида, вздохнув, вынимает из буфета бабушкин столовый прибор и старинные мельхиоровые вилки вставляет в форточки...

Каждый год, в начале зимы, в гости приезжает дядя Юра, дедов сын, Аделаидин брат, и каждый год происходит примерно такой разговор.

— Сестрица, а почему у вас нет шпингалетов на окнах? — спрашивает дядя Юра.

— А это дедушка их все посрывал,— с удовольствием ябедничает Аделаида.

— Я все посрывал,— с горделивой скромностью признает дед.

— А зачем? — спрашивает дядя Юра.

— Говорит, они не модные,— саркастически усмехается Аделаида.

— Не модные они,— подтверждает дед.

Дядя Юра (со знанием дела):

— А модных ведь не продают...

Дед (со вздохом):

— Не продают, черти!

Дядя Юра (уверенно):

— И не выпускают.

Дед (уныло):

— Да. И не выпускают ведь!

Дядя Юра (задумчиво):

— На Кавказе делают шпингалеты в стиле «Людовик»...

Дед (с интересом):

— Неужто, Юрик?

Дядя Юра (солидно):

— Да. Я там был. Но сюда они не подойдут...

Дед (опять вздыхает):

— Да. Пожалуй.

Дядя Юра (неодобрительно):

— А где же старые шпингалеты?

Дед (злорадно):

— А она их выбросила!

Аделаида (с гневом и решимостью):

— Да! Выбросила! Хлам этот! И так в этом доме черт ногу сломит!

Дядя Юра (мудро):

— Ну, тогда надо новые купить, что ли...

Дед (покорно):

— Я куплю, Юрик, куплю...

Аделаида (насмешливо):

— Он купит, купит!

Дед (гневно):

— Куплю! Куплю!

Аделаида (еще более насмешливо):

— Купишь! Ты купишь!

Дядя Юра (миролюбиво):

— Да ладно вам. Нашли из-за чего ссориться. Я вам с Кавказа привезу...

И, упаковав в чемодан очередной подаренный дедушкой костюм, дядя Юра целует всех и уезжает — до будущей зимы. А Кондрашки остаются зимовать в своей квартире с окнами без шпингалетов. И ничего — живут. Назло всем суровым метеорологическим прогнозам. Человек — он на то и человек, чтоб побеждать природу. Зато Жанка и Макс растут закаленными и никогда не болеют.

А иногда так хочется...

ПРОКЛЯТАЯ ФИЗИКА

Вот, к примеру, сегодня. Ну просто необходимо Жанке нынче заболеть. Потому что физика, а вчера день был такой нежный, снежный и так хотелось вспомнить о лете (о Володе, Володе), что какие там уроки! До темноты бродила Жанка по городу. Скамейку у реки, где Володя хотел ее поцеловать, занесло легким, пушистым снегом. Жанка сидела там битый час, вспоминала, мечтала, вздыхала... Ну почему он не звонит? Там и накрыла ее ясная вечерняя тьма, и Жанка, вздохнув, охнув, помчалась домой: во-первых, от мамы попадет, а во-вторых, вдруг он почувствует, как она тоскует?..

— Мам, мне никто не звонил?

— Где ты шляешься? — ответила на вопрос Аделаида.— Кому ты нужна! Немедленно за уроки.

И Жанка поплелась делать уроки — ненавистную физику

Вот может кто-нибудь объяснить, зачем будущей великой актрисе эта физика? Не может. Во всяком случае, Жанка никогда ничего вразумительного на эту тему не слышала. Зато сама она однажды попыталась объяснить физику, что физика ей совершенно ни к чему. И это была большая глупость с ее стороны. Потому что физик обиделся за свою науку и с тех пор просто жизни Жанке не дает, каждый урок нудит и нудит: «Кондрашко, если вы не возьметесь за ум, двойку на экзамене я вам обещаю от всей души!» А разве Жанка виновата, что она в этой физике ни бум-бум? Ну нет у нее способностей. И неинтересно ей решать эти задачки! И не решаются они ни за что...

В общем, махнула вчера Жанка на них рукой и подумала: «Утро вечера мудренее».

Это она вечером так подумала.

А утром она подумала: «Интересно, кто это сочинил такую глупость?» Потому что за ночь задачки сами собой, ясное дело, не решились, а физика — первый урок, и списать никто не даст. Потому что физик на днях отчетливо всем сказал: «Если узнаю, что кто-то по доброте душевной Кондрашке списывать дает, берегитесь! Поставлю Кондрашке пять, а доброму человеку — единицу!»

Эх, заболеть, заболеть бы — и не ходить в эту школу! Хорошо Максу, он у мамы любимец, ему все можно; вон сегодня не пошел на оркестр, залез в шифоньер и ловит там моль — на сигареты зарабатывает. За каждую убитую моль Аделаида платит сыну по пятачку...

— Мамочка...— решается Жанка.— Давай я буду муравьев ловить...

Маленькие рыжие муравьи, наглые оккупанты, заполонили всю кухню: они в духовке, в раковине, в хлебнице, в буфете — везде, где хотят, ходят поодиночке и группами, и нет на них управы. Потому что Аделаида и Макс не сошлись в цене: Макс требует две копейки за десяток, а Аделаида твердит, что это грабеж средь бела дня. Копейку — и все тут!

— Мамочка,— подлизывается Жанка,— я бесплатно буду ловить.

Аделаида нежно смотрит на дочь: хорошая девочка. Вот возьмется за ум и станет отличной хозяйкой.

А Макс вылетает из шкафа, взгляд его гневен.

— Мама,— сердито кричит он,— ты что, не видишь? Ей просто в школу идти неохота!

— Замолчи! — приказывает Аделаида.— Не клевещи на сестру! По две копейки за десяток... Стяжатель!

— Пожалуйста! — кричит Макс.— Я замолчу, только еще неизвестно, кто тут стяжатель — я или те, кто копейки экономит! А если эта дура не сдаст экзамены, я не виноват! Пусть, пусть она ловит муравьев, я вообще уйду! Уеду к папе!..

Звонкая пощечина... Тишина. Про папу в доме говорить не принято. А уж уезжать к нему, к этому извергу, от мамочки, которая из сил выбивается, чтобы поставить детей на ноги,— просто... просто... Да что же это такое — в доме свила гнездо измена!

— Убирайся! Езжай к своему папочке! — топает ногами Аделаида.— Яблоко от яблони...

— И уеду!

Макс кидается собирать вещи. Он собирает их в новенький польский рюкзак, желто-красный, с кучей карманов, кармашков, молний, кнопок. Отличный рюкзак купил себе дед. Макс давно к нему приглядывался... Хорошо, что дед уже ушел на работу, а то ни за что бы не дал.

Макс торопливо пихает в рюкзак джинсы (и «варенку», и «Ли»), вельветовую рубашку, майку с «Ай лав ю» и майку с Аллой Пугачевой, Альфу, новые кроссовки... Макс уезжает к папе каждый месяц, собирает вещи привычно и умело. Ну, вот все собрано и аккуратно упаковано — любо-дорого посмотреть (Макс — аккуратный мальчик).

— Прощай, мамочка! — говорит Макс, стоя в дверях.— Ты меня больше никогда не увидишь! Ты выгнала меня из дому из-за копейки!..

Аделаида сломлена, у нее слезы на глазах.

— Максимушка...— говорит Аделаида.— Что ты такое говоришь? Ну успокойся, маленький, ну прости мамочку... Как мамочка будет жить без тебя?..

Макс — добрый мальчик: ему жалко маму, он вздыхает и отправляется распаковывать рюкзак.

— Жанночка,— умиленно вздыхает Аделаида,— беги в школу, Максимка все правильно говорит, у тебя экзамены...

И Жанка отправляется в школу. А Макс остается. Ловить муравьев. По две копейки за десяток.

ПРОКЛЯТАЯ ФИЗИКА (продолжение)

Ну и вот, ну и пожалуйста, и сразу было ясно, что это добром не кончится...

— А где ваша домашняя, Кондрашко?

— Я тетрадку дома забыла, Павел Петрович...

— Ай-яй-яй! — качает головой физик.— Неужели дома забыли? Какое несчастье...

Жанка краснеет, смотрит в пол, молчит. И весь класс отлично знает, что она врет, и физик знает, и Жанка знает, что он знает... Да если бы Жанна Кондрашко хоть раз в жизни выполнила домашнее задание по физике, она бы свою несчастную оранжевую тетрадку, при виде которой физик впадает в угрюмость, ни за что не забыла бы. Такое незабываемо! Напротив, она несла бы ее, прижимая к груди. О, это было бы событие, о котором наверняка рассказали бы в программе «Время» Кто ж не знает, что Жанна Кондрашко и физика — две вещи несовместные...

Физик вздыхает:

— Неужели, Кондрашко, вы до сих пор не уяснили, что ложь не украшает человека? Тем более девушку.

— Я, честное слово, дома забыла, Павел Петрович,— упорствует Жанка, и сама от себя приходит в ужас. Потому что чувствует, как губы у нее расползаются в нахальной улыбке.

— Нет, вы поглядите — она еще и улыбается! — выходит из себя физик.— Кондрашко, вы отвратительный человек, мне противно с вами разговаривать! Прекратите улыбаться!

А если не улыбаться, расплачется Жанка. А плакать нельзя — тогда еще смешнее будет.

И Жанка не прекращает — стоит и улыбается.

— Да я решила, Павел Петрович...— как заводная, бормочет она.— Только тетрадку... дома... забыла...— И улыбается, улыбается.

— Ах, так?! — взрывается бедный физик.— Стукалов, будьте добры, сходите с Кондрашко домой за тетрадью.

— Да я сама... одна...

— Нет уж, сударыня! — гремит физик.— Меня не проведешь! Будете потом рассказывать, как вас машиной сбило или что у вас дома случился пожар...

Что тут говорить: было такое. Посылали Жанку за тетрадкой, а она уходила и не возвращалась. А потом рассказывала, что... Ну, всякие небылицы.

— Живо отправляйтесь!

Отличник Стукалов нехотя поднимается из-за парты. Другой бы не пошел, а Лешка — человек безответный, тихий.

Жанка и Лешка бредут к двери, и в классе хихиканье начинается.

— Ну и парочка — баран да ярочка! — выкрикивает Юлька Ведро.

Десятый «Б» радостно грохает, глядя на большую, толстую Жанку и маленького Лешку.

— Вам бы пожениться, какие дети пошли бы у вас впоследствии! — советует Анечка Виноградова.

Снова хохот.

— Ну, хватит, хватит,— улыбается физик.— Открыли тетради... Стукалов, присмотрите за Кондрашко, чтоб ничего у нее на этот раз не стряслось...

На улице мороз и солнце — день чудесный. Но Жанке не до того. Господи, ну почему все у нее не как у людей? Почему? И еще Стукалов, этот отличник, этот маменькин сынок, эта «гордость школы», плетется рядом. Иуда. Поп Гапон.

Как ужасно и стыдно жить на свете! И никому ничего не объяснить... Что задачки не решаются, что мама ругает и ругает каждый день, а ласковые слова говорить давно разучилась, что школа надоела — до тоски, до отчаяния, что Володя не звонит, что Жанка — толстая, что все над ней смеются и что никому-никому на свете она не нужна...

— Стукалов, ты куда идешь? — зло спрашивает Жанка.

Отличник Стукалов удивленно взмахивает длинными белыми ресницами.

— К тебе...

— А зачем?

— За тетрадью...

— Ну и тупой ты, Стукалов! — кричит Жанка.— Иди отсюда, иди, доложи! Может, еще одну пятерку получишь! Нет никакой тетради!

Стукалов молчит и моргает.

— Ну чего уставился! Ничего ты не понимаешь...— всхлипывает Жанка.— Знаешь, как это, когда никто-никто на свете тебя не любит...

Стукалов молчит, моргает. Жанка поворачивается и уходит. «Дура, дура! — твердит себе Жанка.— Нашла, с кем разговаривать! Со Стукаловым, которого в жизни волнуют только две вещи: золотая медаль и Аня Виноградова...»

Жанка до вечера бродит по улицам и переулкам своего маленького, скучного городка, катается на автобусах. В школу не пойдешь — там физик. Домой тоже — там мама, у нее сегодня нет уроков. Что делать? Как жить? Непонятно.

ПРОКЛЯТАЯ ФИЗИКА (конец)

— Это что такое! — встречает Жанку Аделаида, но голос у нее не опасный.— Ночь на дворе, а тебя нет и нет, я уже и в милицию, и в морг звонила... Где тебя носит?

Жанка молчит тоскливо. Пусть с ней делают что хотят.

— Или ты думаешь, что если ты получила пятерку, то можешь делать что вздумается?! — несердито вопрошает Аделаида.

— Ка... какую пятерку?

— По физике,— улыбается Аделаида.— Молодец, девочка, что тут скажешь... Я рада, что ты взялась за ум. Но торчать допоздна в библиотеке... Кстати, что это за мальчик принес твой портфель?

Жанка молчит растерянно. Откуда она знает? Чудеса какие-то...

— У тебя что с ним, роман? — настораживается Аделаида.

— Что ты, мамочка...

— Смотри у меня! — строжает Аделаида.

Жанка подхватывает портфель, забивается в комнату. В портфеле обнаруживается новенькая общая тетрадка в клеточку. «По физике, ученицы 10 «Б» Кондрашко Жанны»,— написано на ней аккуратным почерком. А на первой странице тем же почерком пять домашних задач. Сначала условие, потом решение. Решение, видимо, правильное, потому что внизу, под задачами, стоит маленькая красная пятерка...

Таким образом, двоечница Кондрашко Жанна получает по физике «пять», а отличник Стукалов Алексей — единицу...

ОТЛИЧНИК СТУКАЛОВ И ЕВРОПЕЙСКИЙ КУРЦХААР

Отличник Стукалов был единственным и любимым ребенком мамы, папы, двух бабушек, двух дедушек и тетки Наташи.

Вот он на давней, детской фотографии: маленький, светло-

волосый, в матроске и белых гольфиках с бомбошками, уши торчком, худенькое, прозрачное лицо с ясными голубыми глазами, которые выражают абсолютную ласковую покорность: «Мама, папа, дедушки, бабушки, тетя Наташа, как вы скажете, так и будет...»

Никаких забот не было с ним ни в детстве, ни в отрочестве. Аккуратный, прилежный, послушный ребенок. И конечно, в школе учителя на него нахвалиться не могли. Да и как не любить такого хорошего мальчика, как не ставить его в пример другим, не столь хорошим, которые носятся, сломя голову, дерутся, не слушаются, получают двойки!

Ах, счастливый Стукалов, любимчик учителей!

«Знаешь, как это, когда ты никому не нужен!» — крикнула Стукалову двоечница Кондрашко и убежала, не дожидаясь ответа. Ей неинтересно было с ним разговаривать, с этим паинькой, занудой, подлизой.

Он с первого класса был такой.

В первом классе им сказали, что учиться надо хорошо. Он и учился. А списывать давать, сказали, плохо. Он и не давал. Такой послушный, что просто стукнуть его хотелось. И, бывало, стукали. Таким образом, выяснилось, что Стукалов вдобавок ко всему еще и рева.

А списывать все равно не давал, жадина.

Потом, когда Стукалов немного подрос, он кое-что сообразил, и списывали у него все, кому не лень, да поздно было: дружить с ним никто не хотел.

Ну, в самом деле: разве можно дружить с человеком, которого тебе постоянно ставят в пример?

Так с первого класса Стукалов и был один. Поэтому в восьмом написали ему в характеристике, что человек он необщительный, замкнутый, в общественной жизни класса участия не принимает, друзей не имеет.

— Это, знаешь ли, не дело,— строго сказал папа, ознакомившись с характеристикой.— Ты уж поприлимай в ней участие, в общественной жизни-то, последниие два года, а то с такой характеристикой, сам понимаешь, в университет можно и не попасть. И никакие пятерки не спасут...

Стукалов пожал плечами.

— Глупости, конечно,— вздохнул папа,— люди всякие бывают, в том числе и необщительные. А то, что человек-общественник, вовсе не признак ума и порядочности, но кому докажешь...

— И друзей надо завести,— сказала мама.— Что ты все один да один? Нехорошо это, странно.

Вообще-то друзья у Стукалова были. Вот, например, в первом классе он принес в дом хомячка Кику. Всего неделю не завтракал и купил. Жить стало веселее. Стукалову, во всяком случае.

Во втором классе у него появилась черепаха Муська. В третьем — кролик Буба. В четвертом Стукалов поймал на улице старого лысого попугая-ару. То ли Ара улетел от хозяев, то ли его выбросили по причине старости. В пятом в доме прижился аквариум с рыбками. Всех своих зверей Стукалов очень любил и по людям почти не скучал. Звери были ласковые, радовались, когда он приходил домой, и никогда не дразнились. Вот только Ара...

— Дур-рак! — вопил он, завидя хозяина, но в голосе его была радость.

И Стукалов не обижался: что ж поделать, если бывшие хозяева обучили Ару только одному этому слову? Люди любят учить попугаев всяким глупостям.

А вот бабушки на Ару сердились.

И папа ворчал, что это не дом, а зоопарк.

В шестом появился у́ж, и это переполнило чашу терпения. Из-за ужа разбушевались не только бабушки, но и дедушки.

— Или мы, или они! — было сказано Лешкиным родителям.— Иначе ноги нашей тут не будет!

Лешка любил своих зверей. Но бабушек и дедушек он любил тоже. Он вздохнул и отнес друзей в школьный живой уголок, где все они отчего-то в скором времени умерли. Стукалов остался один.

От одиночества или пора пришла — Лешка влюбился. В Анечку Виноградову. Была весна, шестой класс. Это случилось с ним впервые в жизни, и он, как положено (в книжках читал), проводил Анечку до подъезда, объяснился ей в любви.

Анечка Стукалова отвергла. Сказала, что в их возрасте никакой любви не бывает, а только дружба, но что все равно она с ним дружить не будет, потому что он ей не нравится.

— Почему? — спросил Стукалов, у него был пытливый ум.

— Потому что ты дурак! — сказала Анечка и убежала домой.

А на следующий день, конечно, весь класс обсуждал несчастную Лешкину любовь. То-то смеху было! Кто ж не знал, что за Анечкой семиклассники бегали! А тут на́ тебе — Стука-

лов, на которого не то что Анечка, а и обыкновенная девочка внимания не обратит. Но Лешка в этих тонкостях не разбирался, он поверил, что не любит его Анечка потому, что он глупый. Ну она же сказала: «Дурак!»

«Она права,— грустно думал Стукалов.— Ну и что, что я учусь на пятерки, это еще не доказательство, что я умный. На пятерки все могут учиться, а умный — это...»

Он долго думал, что это такое, и в конце концов решил стать великим ученым. Ну уж тогда-то ясно будет, что он умный. Ведь не бывает так: ученый — и вдруг дурак!

Как известно, Лешка любил зверей. Другой бы в такой ситуации решил стать великим укротителем — ну, чтоб музыка, свет, полно народу, чтоб видели все, какой он сильный и смелый, и хлопали в ладоши. Тогда бы, может, и Виноградова одумалась. Ах, видно, и в самом деле Стукалов был глуповат: он совсем не знал женщин. Да лучше б он спортом занялся, боксом или баскетболом!

Но никто не подсказал тогда Стукалову, что он на неверном пути, и за лето он одолел зоологию за седьмой класс, анатомию за восьмой и общую биологию за девятый, десятый (Лешка решил стать биологом). В общем, все лето он читал и умнел, а в сентябре Анечку стал провожать домой девятиклассник Грачев, кандидат в мастера спорта по боксу. Наверное, он был очень умный.

Стукалов загрустил, стал совсем молчаливым. Именно тогда он и завел европейского курцхаара...

То есть однажды, несмотря на строжайший запрет бабушек, Лешка притащил домой злющего ободранного кота и заявил, что это редчайшая кошачья порода — европейский курцхаар.

В первый же вечер редкий кот ободрал обои в коридоре и всех исцарапал.

— На какой помойке ты его нашел? — ворчали бабушки.— Зачем он тебе нужен?

Лешка мрачно отмалчивался, но, когда курцхаара попытались выставить за дверь, сказал, что уйдет с ним вместе.

Лешкино упрямство семью удивило и рассердило, к такому не привыкли, и решено было не потакать, а твердой рукой поставить зарвавшегося любимца на место: курцхаар был торжественно изгнан.

Лешка оделся и ушел тоже.

Было семь часов вечера. На улице лил дождь.

— Ничего,— вздохнул папа.— Одумается.

В восемь разведка в лице тетки Наташи, бегавшей в магазин, донесла, что Лешка и курцхаар сидят на подоконнике в подъезде. В девять один из дедушек отправился глянуть, нет ли чего в почтовом ящике, и не нашел ни ребенка, ни кота, отчего в доме произошло сильное волнение.

В десять их, однако, обнаружили этажом выше. Паршивец курцхаар, свернувшись калачиком, спал у Лешки на коленях. Лешка читал.

— Лешенька, ты есть хочешь? — жалостливо спросила одна из бабушек, как бы просто вышедшая погулять в подъезд.

— Спасибо, баба Дуня,— вежливо ответил внук.— Мы сыты.

В одиннадцать из квартиры выглянул папа и сказал строго:

— Алексей, немедленно отправляйся спать!

— Ничего, папа, мы здесь посидим,— донеслось с подоконника.— Ты не волнуйся, нам хорошо.

В полночь мама заплакала и закричала на папу, что у ребенка переходный возраст — и в это время мальчику просто даже положено упрямиться, потому что он становится мужчиной. Он должен самоутверждаться, поверить в себя, а не то что некоторые, которые так всю жизнь и сидят на ставке младшего научного сотрудника и кандидатскую написать не могут!

— Знаешь,— задумчиво сказал папа маме,— в подъезде еще есть свободные подоконники, я, пожалуй, там переночую. И я прекрасно понимаю, почему мальчик в последнее время стал так нервозен, почему он пользуется любым поводом, чтобы сбежать из дому. Утром яичница, днем яичница, вечером яичница... Я неделю прошу некоторых, которые не только умудрились защитить кандидатскую, но и за докторскую принялись, пришить мне пуговицу на пиджак...

— Нет, это ни в какие ворота! — грохнул кулаком по столу один из дедушек.— Ребенок ночью, голодный, сидит в подъезде, а они...

— Просто черт знает что! — взвился второй дедушка.

— Нашли время скандалить,— поддержали бабушки.

С семьей Лешке повезло: это была дружная, большая семья, где ссорились редко, а если и обижали друг друга, то быстро мирились, потому что умели прощать.

Это была счастливая семья, где долго мечтали о детях, а их все не было. И когда, наконец, родился Лешка, долгожданный, вымоленный у судьбы, мама, папа, бабушки, дедушки и тетка

Наташа, которая не сумела выйти замуж, объединились, стали стеной, чтоб оградить эту родную, от любого сквозняка грозящую потухнуть жизнь. Лешка родился слабеньким, много болел, о яслях и садике, понятно, и речи быть не могло, его нянчили и растили всем домом. Семь любящих нянек водили вокруг него хоровод — и отстояли, вырастили. В четыре он умел читать, в пять считал и писал. Чудо-ребенок, умница, ласковый, послушный мальчик. А потом, в школе, у него были одни пятерки. Так и жили, дружно и радостно, объединенные общей любовью к мальчику, главному в доме существу, хозяину всех взрослых душ.

И конечно, курцхаар был возвращен — раз ребенку так хочется.

Безымянный негодяй (ему даже имя не стали придумывать: в самом деле, не назовешь же это злобное чудовище Васькой или там Барсиком), самозванец с помойки ходил за Лешкой, как собака, и вот уже четвертый год бдительно охранял его от родных и близких, которых ненавидел лютой ненавистью. Его терпели, с ним смирились — ради ребенка, непонятно почему привязавшегося всей душой к паршивцу курцхаару.

Ах, мама, папа, бабушки, дедушки, тетка Наташа... Они любили Лешку, гордились его школьными успехами, загадывали ему счастливую судьбу, выбирали институт...

— Как он вырос!..— шептались они. С грустью. С радостью.

— Ты уже взрослый,— говорили они ему строго.

Но вот ведь оказия: Лешка, недавно получивший паспорт, так и остался для них для всех малышом в матроске и белых гольфах с бомбошками.

Нет, конечно, они знали, что ему уже шестнадцать. А больше они ничего не знали.

Ни про то, что Лешка давно любит Анечку Виноградову, а она не обращает на него внимания — и любовь эта стала унылой и привычной, как старая зубная боль.

Ни про то, что одноклассники вспоминали про Лешку лишь тогда, когда надо было списать, а все остальное время его будто и не было.

Ни про то, что в школу Лешка давно уже ходил, как на каторгу: скучал на уроках, по привычке учился и получал пятерки — а зачем?

Ну, кончит он школу с золотой медалью, ну, поступит в университет... А дальше-то что?

Зачем, зачем все это, если ты один, всегда один, и единственный твой верный друг — европейский курцхаар?

«Знаешь, как это, когда ты никому не нужен?»

Ах, Кондрашка, глупая двоечница! Отличник Стукалов ей ничего не ответил.

Но он знал, как это.

ТОКСИКОМАН

С некоторых пор, заметила Аделаида, с Максом что-то происходит: ни подойти к нему, ни спросить ни о чем. Макс злится, огрызается! И бродит где-то допоздна.

Где он бродит?

И кушать мальчик стал плохо. И круги у него под глазами.

— Максимочка, у тебя головка болит, деточка? — спрашивает Аделаида.

— Отстань! — отвечает Макс басом.— Ничего у меня не болит.

А тут Аделаиде звонит подружка, тоже учительница, и говорит:

— Ты телевизор смотришь?

Аделаида не смотрит: она только что переспорила деда и выключила противный ящик.

— Быстренько включай на вторую программу! — командует подруга.— Там про токсикоманов передают...

Аделаида послушалась, включила — и нет теперь ей ни сна ни покоя!

Теперь-то ей стало понятно, почему у Максима круги под глазами, почему он такой дерганый и в комнатке у себя запирается...

Потому что он токсикоман!

Боже мой, что же делать? Спасать, спасать надо мальчика, где он?

Мальчик приходит домой в полночь.

Паршивец! Негодяй!

Аделаида, ни слова не говоря, награждает его звонкой пощечиной.

— Где ты был? — кричит Аделаида.— Чем ты занимался?

Макс, так же ни слова не говоря, разворачивается и уходит, хлопнув дверью.

Три дня он живет у друзей. Три дня Аделаида тоскует,

плачет в пододеяльник, подкарауливает его возле училища. Наконец Макс прощает.

Мир достигнут, ребенок водворен на место.

Теперь самое главное: теперь его надо спасать.

За три дня, что Максим был в бегах, Аделаида выяснила про токсикоманов все, что можно. Ужас... Ужас!

Макса надо вести к наркологу — единственный выход.

Вечером, когда Макс в добром расположении духа сидит и в сто двадцать седьмой раз смотрит по ящику «Бриллиантовую руку», Аделаида решается.

— Максим, мне надо с тобой серьезно поговорить.

— Ну чего? — недовольно спрашивает Макс, не отрываясь от «Руки».

— Ты думаешь, я ничего не вижу? — со сдержанной страстью говорит Аделаида. — Ты думаешь, у тебя мама дурочка? Я понимаю, что с тобой происходит, Максим!

Макс замирает, под глазами у него мигом проступают фиолетовые тени.

— Ты про что? — спрашивает он деревянным голосом.

— А вот про это самое! — торжествующе отзывается Аделаида, чувствуя, что попала в самую точку. — Да, я все знаю!

Лицо у Макса становится злым и несчастным.

Неделю назад Макса бросила девочка. И не то чтоб он теперь маялся от несчастной любви — все было еще хуже. Гораздо хуже. Ну, то есть попросту все ужасно было.

Неделю назад Макс пришел к ней в гости. Родителей, естественно, дома не было (ну, в общем, Макс знал, что их не будет, и знал, зачем шел). Он столько раз представлял себе, как это будет, и мечтал, и боялся, и друзьям сказал, что это уже было... Но у него ничего не получилось... Макс что-то такое бормотал, что он сегодня не в форме, а она потом всем рассказала, что Макс еще мальчик и ничего не умеет. Дура кривоногая, она много умеет!

— Отстань! — закричал Макс на Аделаиду. — Не лезь не в свое дело... — И кинулся к дверям.

Бегом, бегом отсюда! Оказывается, и дома уже знают, что Макс — неполноценный.

Аделаида ухватила сына за рубаху:

— Выслушай меня, это очень важно!..

— Пусти! Отстань!

— Ты погибнешь, Максим! — кричала Аделаида. — Я твоя мать, и я обязана тебя спасти!

— Отвяжись! — топал ногами Макс.

— Твоя губительная страсть доведет тебя до гроба! — бушевала Аделаида (Макс рвался к дверям).— Ты еще мальчик (на щеках у Макса появляются алые пятна), ты многого не понимаешь, у тебя организм слабый... Посмотри на себя в зеркало, какое у тебя лицо! У тебя безумные глаза, я все, все вижу! Этого не скрыть, и не отпирайся, я знаю, знаю, что ты — токсикоман...

Макс перестал вырываться и замер.

— Чего? — переспросил он. И вдруг захохотал истерически.— Ну, мам, ну, ты совсем уже...

— В общем, готовься, поедем к наркологу! — заключила Аделаида.

Увы, посещение нарколога принесло ей жестокое разочарование, и всю обратную дорогу Макс ржал и дразнил Аделаиду, что она только зря потеряла пять рублей (Макс согласился пойти к наркологу, разумеется, не бесплатно).

— Ну и ничего,— обрезала его Аделаида.— Для меня деньги — не главное. Для меня главное, чтобы вы росли здоровыми, скромными, честными людьми. Без всяких там отклонений.

ТОВАРИЩИ ПО НЕСЧАСТЬЮ

Конечно, трудно в это поверить, но у Жанки Кондрашко появился мальчик. В самом деле. Как это ни странно.

Да, именно Стукалов, кто ж еще...

— С ним с тоски помереть можно,— пожав плечами, сказала Анечка Виноградова Юльке Ведро.

— Ну! — авторитетно подтвердила Юлька.— Он овца такая...

— Зато будет Кондрашке у кого списывать.

— Ради этого позориться... Он же на полголовы ее ниже!

— Ну, не на пол...

— Все равно смешно. Кондрашка бомба такая...

— Да ладно вам! — вмешался кто-то из мальчиков десятого «Б».— Жалко, что ли?

Девочки подумали и решили, что, в общем, не жалко. Пусть.

— Они счастливо нашли друг друга,— улыбнулась Анечка.

Но все-таки Виноградовой было неприятно. Несмотря на то что Стукалов был ей совершенно не нужен. А все равно

неприятно. И даже немного обидно, если говорить честно. Ведь все знали, что Стукалов давно и безответно любит Виноградову. Именно ее. И вдруг — Кондрашка... А в шестом классе говорил Анечке, что будет любить ее всю жизнь. Вот и верь после этого мальчикам...

А было так: на следующий день после того, как Стукалов получил из-за Жанки единицу и отнес ее портфель, Жанка подошла к нему на последней перемене и предложила проводить его до дома.

Стукалов очень испугался и после уроков спрятался в туалете. Потому что, хоть и получил он за Жанку единицу, ничего такого в виду не имел и по-прежнему преданно и безнадежно любил Анечку Виноградову. В туалете он находился долго, время от времени осторожно выглядывал в щелку. Но Кондрашка, как неумолимый рок, поджидала его с той стороны двери. Туалет был на втором этаже, Лешка хотел выпрыгнуть, но побоялся. А Жанка все стояла и стояла до тех пор, пока вконец отчаявшийся и потерявший надежду на спасение Стукалов не вышел.

— Привет! — сказала Кондрашка.— Ты чего так долго?

— Я руки мыл,— ответил Стукалов и мучительно покраснел.

— Ну пошли?

Деваться было некуда, он пошел вслед за Жанкой в раздевалку.

— У тебя закурить есть? — решительно спросила Кондрашка, только они вышли из школы.

— С ума сошла? — растерялся отличник Стукалов.— Классная увидит.

Сигареты у него были. Стукалов уже год покуривал от несчастной любви. Но не в школе. И не у школы, разумеется.

— Тогда пошли к реке,— скомандовала Жанка, и они зачем-то побрели к замерзшей, спящей под снегом реке.

Там они сели на одной из скамеек, Жанка лихо сунула в рот сигарету.

— Ты ее неправильно взяла,— уныло сказал Стукалов.— Не тем концом...

Двоечница немного смутилась, но от намерения покурить не отказалась. Она неумело пускала дым в морозное солнечное пространство и молчала.

— Ну, чего? — спросил Стукалов.

— Знаешь что, Стукалов,— пробормотала Жанка,— давай дружить...

Стукалов глядел вдаль, за реку. Ах, если бы это не Кондрашка, а Анечка Виноградова сидела рядом с ним на скамейке!..

— Видишь ли, Жанна,— наконец выговорил он,— дело в том, что я люблю другого человека.

— Какого еще человека?— мрачно сказала Кондрашка.— Это Виноградова, что ли, человек!

Стукалов глянул исподлобья, встал и пошел прочь.

— Стукалов!— жалобно позвала Жанка.— Ну чего ты! Ну, извини, я больше не буду. Честное слово, Стукалов.

Стукалов оглянулся и спросил хмуро:

— Чего не будешь?

— Разрушать твои юношеские иллюзии,— вздохнула Жанка.— Ну не уходи. Знаешь, Стукалов, я тоже... люблю одного человека... А он не звонит. Понимаешь?

И вот с того самого дня, когда Жанка привела Лешку к заветной скамейке у реки и все ему рассказала, они стали держаться вместе. На переменах. После уроков. По вечерам. Они бродили по городу, грелись в подъездах. И все время разговаривали. Кому, кроме Стукалова, могла Жанка рассказать о том, как любит она театр? Кому, кроме Кондрашки, мог Лешка поведать о только что прочитанном, тем более что читал он не приключения и фантастику, а заумные книги по любимой своей биологии.

Никому.

Кто еще сказал бы Жанке:

— Да брось ты, он еще позвонит! Или сама позвони — вдруг он телефон потерял?

Кто еще сказал бы Лешке:

— Между прочим, вчера на химии Виноградова на тебя так поглядела...

Никто. Кому они нужны...

РЫЖИЙ ЩЕНОК

Пришла Жанка из школы и у порога споткнулась о ведро. И кто его тут оставил?

— Мама, я по литературе пятерку получила!— похвасталась она, снимая пальто.— Ты мои тапки не видела?

— Я все вижу!— отозвалась Аделаида таким решительным и мрачным голосом, что внутри у Жанки заныло от предчув-

ствия беды.— Я вижу, что твоя собака опять ощенилась, а ты мне зубы заговариваешь. И нечего ведро пинать, оно тебя, голубушка, дожидается!

За окном стоял веселый солнечный зимний день. Помимо погоды, хорош он был еще и тем, что сегодня впервые в жизни мальчик пригласил Жанку в кино. Жанку, а не Анечку Виноградову!.. И вот, несмотря на такой праздник, на душе у Жанки вмиг потемнело и по спине пробежал озноб.

— Живо переодевайся и принимайся за дело,— скомандовала Аделаида.

— Мамочка...— пролепетала Жанка.

— Я тебя сразу предупреждала! — пресекла ее Аделаида.— И не устраивай трагедию, ничего тут такого нет. Хватит из квартиры собачий питомник устраивать, тебе учиться надо, а не со щенками возиться.

— Мамочка, не надо, пожалуйста... Я не буду с ними возиться...

— Без разговоров! — твердо произнесла Аделаида.— В жизни надо уметь все и не распускать нюни по пустякам. Я не хочу, чтоб моя дочь выросла кисейной барышней. Всегда щенков топили, никто еще от этого не умер.

— А они умирают.

Аделаида взглянула на свою глупую добрую дочку и вздохнула: каково-то ей в жизни придется... Аделаиде было жалко ее до слез, но она понимала, что уступать нельзя. Уступать нельзя никому никогда, тем более детям. Детей надо в строгости держать, чтоб слушались, а то они на шею сядут.

— Они еще маленькие,— мягко сказала Аделаида,— ничего не понимают, им не больно будет... Ну подумай сама, кем они вырастут. Бездомными собаками, вечно голодными, побитыми...

— Ну и что, мамочка! Ну и что! Пусть беспризорные, зато жить будут!

— Не жить, а мучиться,— вздохнула Аделаида.

— А ты у них спрашивала, как им лучше — умереть, чтоб не мучиться, или мучиться, но жить?! — закричала Жанка.— Не буду, не буду их топить! Да какое ты имеешь право... Они твои? Это ты их родила? Какое ты имеешь право решать!

— Не мели глупостей!

— Это Тобик их родил! — закричала Жанка.— Ты у него спросила? А если б нас с Максимкой у тебя утопили?!

— Жанна, прекрати истерику! — возмущенно скомандовала

Аделаида.— Ты говоришь, как дурочка. Они собаки, они привыкли к тому, чтоб их топили. Живо бери ведро!

— Нет! — закричала и заплакала Жанка.— Не буду, мамочка, не надо!

Но Аделаида, сопровождаемая радостно потявкивающим и размахивающим хвостом Тобиком, уже принесла корзинку, в которой попискивали шесть разноцветных шерстяных комочков, и один из них вложила в Жанкину руку.

Щенок был рыжий, теплый и такой крохотный, что страшно было его в руке держать, он ерзал на ладони, открывая розовый беззубый рот, а Жанка, будто окаменев, смотрела на него, такого живого, не знающего, что ему сейчас умирать.

Аделаида набрала в ведро воды и поставила перед дочерью.

— Ну?

— Не надо, ма... мочка...

— Живо! — приказала Аделаида.

Жанка, как автомат, послушно реагирующий на команды человека, разжала пальцы, в ведре булькнуло, и щенка не стало.

— Ну... вот видишь...— сказала Аделаида и замолчала.

Жанка медленно опустилась и села на пол рядом с ведром. Она тоже молчала и смотрела на Аделаиду огромными и совершенно пустыми глазами.

— Жанна...— позвала Аделаида, испугавшись взгляда дочки.— Жанночка, ты чего?

— Ничего.

— Встань, встань быстренько, пол холодный, простудишься...

— Пусть.

Перепуганная Аделаида подхватила дочь под мышки, потянула вверх.

— Уйди,— пробормотала Жанка,— не тронь меня...

— Успокойся, успокойся,—жалобно просила Аделаида,—мы больше не будем их топить, пусть, пусть... Только успокойся...

— Хорошо,— сказала Жанка и встала.— Где пальто...

— Сейчас, сейчас...— Аделаида торопливо натянула на дочь пальто.— Иди погуляй...

На улице по-прежнему сияло ясное зимнее солнце, на горке верещали малыши, радостно спихивая друг друга вниз, за домом на углу ждал Жанку Стукалов с билетами в кино. Но маленький рыжий щенок тихо лежал на дне ведра, для него

ничего этого уже не было — ни зимы этой, ни солнца, ни жизни. Он умер. На самом деле. Еще несколько минут назад он был живой, теплый, готовый жить. Но Жанка утопила его.

Ей мама велела — она и послушалась. Ведь дети должны слушаться родителей.

БИЗНЕСМЕН

Аделаида брякала на кухне кастрюлями. Жанка, раскрыв какой-то учебник, пялилась в заоконную тьму, как всегда, о чем-то мечтая. Дед, закончив очередную главу своих мемуаров, заперся в кладовке и теперь сам себе читал ее вслух бодрым, решительным голосом. Глава называлась «Последний поход Хвостатого».

— «...Воспользовавшись рассеянностью конвойного, Хвостатый вырвался и быстро побежал по насыпи,— краем уха слушала Жанка,— но был немедленно сражен пулей недремлющего бойца Федорчука...»

Тихий, спокойный домашний вечер. И вдруг раздается телефонный звонок, Аделаида берет трубку, говорит недовольно:

— Алло...— и сразу, без перехода, начинает громко плакать.— Где?! — кричит она в трубку.— Когда? Боже мой, боже мой!.. Собирайтесь! — приказывает она Жанке и деду, бросив трубку мимо телефона, плача навзрыд.

— Ну что там еще? — выглядывает из кладовки недовольный дед.— Куда собираться?

— Скорее! — Непослушными, трясущимися пальцами Аделаида пытается застегнуть пуговицы.— В больницу... Боже мой! Максимку убили...

И вот ни вечера этого тихого, домашнего уже нет, ни дедовых воспоминаний о доблестном прошлом, ни Жанкиных мечтаний о будущем, а есть темные зимние улицы, по которым, плача, бегут дед, Жанка и Аделаида в больницу.

Максимку убили... Как страшно, какая тоска...

Жанка мчит, не чуя под собою ног, и нет сейчас для нее человека роднее, чем брат ее Максим. Ни обид, ни ссор не помнит она, и ничего ей не надо, а только пусть брат будет живой.

— Макся, Макся, не умирай, пожалуйста! — зовет его Жанка давно позабытым детским именем.

Они врываются в больницу.

— Где он?! — кричит Аделаида.— Где мой сын?!

Макс, белый-белый, с закрытыми глазами, лежит на коричневой клеенчатой кушетке. Стены, пол, потолок вдруг туманятся, начинают медленно и страшно кружить у Жанки перед глазами, а когда она приходит в себя, то выясняется, что она лежит на той же самой кушетке... А где Макс?

А Макс сидит у нее в ногах. Абсолютно живой, с огромной шишкой на лбу, с фиолетовыми синяками под глазами, справа поменьше, слева побольше. Кто его?

— И за сколько ты их продавал? — слышит Жанка чужой неприятный голос.

— За рубль...— мрачно отзывается Макс.

Жанка садится и видит молодого милиционера.

Ничего не понятно. Зачем он тут? И почему грудой лежат на столе измятые пачки сигарет, белые, с красным кругляшком посередке?

— А стоят они сколько? — нехорошо усмехается милиционер.

Макс уныло молчит.

— Немедленно прекратите измываться над ребенком! — кричит Аделаида.— Вы что, не видите, в каком он состоянии?

— Он не ребенок,— недобро усмехается милиционер,— а спекулянт. Купил сигареты за сорок копеек, а продавал за рубль. Где купил?

— В Москве...— шелестит Макс.

— А что ты там делал, в Москве?

— На концерт ездил, с училищем...

— Вы чем тут занимаетесь?! — взрывается Аделаида.— Его чуть не убили, а вы, вместо того чтоб убийц искать...

— Спокойно, гражданка,— пресекает милиционер.— Я сам знаю, что мне делать. Детей своих воспитывайте, а меня не надо. А то вырастят спекулянтов...

— Как ваша фамилия? — грозно спрашивает Аделаида.— Я жаловаться буду. Тоже мне милиция!

— Ада, тихо! — вмешивается дед, лицо у него озабоченное.— Полковник городского комитета госбезопасности,— представляется он милиционеру.— В отставке. Вы, сержант, у кого служите?..

Через час все дома.

— Негодяй! — стучит кулаком дед.— Спекулянт! В тюрьму захотел?

Макс сидит с хмурым лицом, даже не огрызается. Молчит и Аделаида, боится заступиться. Лучше деда не злить, а то не станет выручать Максимку из переделки.

— Вот срок дадут,— пророчествует дед,— попрыгаешь! Опозорил меня на весь город! Мамочкино воспитание. Ничего, там тебя перекуют. Там умеют!..

Макс пускает слезу, шмыгает носом.

— Поплачешь, поплачешь еще! — торжествует дед.— Это тебе не над дедонькой измываться...

— Я больше не буду,— плачет Макс.

— Живо спать! — рявкает дед.

Жанка его никогда таким не видела. Будто и не дед это, а чужой какой-то человек со страшными глазами.

Макс беспрекословно подчиняется.

— Спокойной ночи, дедонька,— тихо говорит он и уходит в свою комнату.

По ящику детектив крутят, но Макс на эту тему и не заикается...

Жанке его жалко, так жалко, что, выждав, пока все лягут, она на цыпочках прокрадывается в комнату брата.

Макс не спит.

— Ну чего тебе? — спрашивает он.

— А вдруг тебя посадят...

Макс крутит пальцем у виска.

— Я несовершеннолетний, ясно?

— А дедушка говорит...

— Кого ты слушаешь! Это он так, запугивает! А потом, если за такое сажать, то всех посадить придется.

— Почему всех? — удивляется Жанка.

— Потому что каждый делает свой бизнес. Все спекулируют.

— Ну уж не все! — горячо протестует Жанка.

— Я про умных говорю,— поясняет Макс.— А у дураков просто голова так устроена, что они не соображают, что надо делать, чтоб разбогатеть.

— Сам ты глупый! — обижается за дураков Жанка.— Просто для многих людей деньги не главное. Потому что...

— Ой, ну не надо! — морщится Макс.— Мне все это еще в школе объяснили.— И с сожалением глядит на сестру.

Все, что может сказать эта дурочка, Макс знает. Потому что у нее и денег никогда нету, а если и появятся, то ненадолго, она сразу все спускает, копить совсем не умеет... Максу

вдруг становится ее так жалко, что хоть плачь. Как же она жить будет, дурочка?

— Хочешь, что-то покажу? — шепотом говорит Макс.— Поклянись, что никому! — И лезет под кровать, охая и постанывая.

Все-таки его здорово сегодня отделали. А еще друзья называются. Не хочешь курить приличные сигареты — не покупай, никто ж тебя не заставляет. Кури плохие, за свою цену. А то размахались!

Из-под кровати он появляется довольно скоро, в руках у него банка из-под кофе.

— Ой, какая красивая! — восхищается Жанка.— Я такой и не видала...

— И не увидишь,— ухмыляется Макс и открывает банку, вытряхивает на одеяло деньги. Десятки, двадцатипятирублевки, пятидесятки...

— А это что? — удивленно спрашивает Жанка.

— Ну, возьми, погляди,— великодушно разрешает Макс.

Внутри у него горячо от жалости к сестре, которая, оказывается, сторублевку ни разу в глаза не видела. Есть же люди такие...

— Максимка,— шепчет Жанка,— это чье?..

— Мое,— с гордостью отвечает Макс.

— Откуда?

Макс смотрит весело и молчит. И чем дольше он молчит, тем испуганнее у Жанки лицо.

— Ты что... Ты это... украл?

Макс хохочет:

— Что я, тупой — красть? За это точно посадят!

Макс деньги не крадет. Он их копит. В красивую банку из-под кофе собираются пятачки за моль, двушки за муравьев, сдача от походов в магазин, выклянченные у Аделаиды трешки и пятерки — Макс и не думает их тратить на всякие там кино и дискотеки...

Главное, понять, что в этом деле нет мелочей, не брезговать медью, не швыряться серебром. Медяшки мгновенно превращаются в десятчики, пятнадчики, полтинники, а серебро — и глазом моргнуть не успеешь — в бумажные деньги...

— А куда тебе столько? — удивляется Жанка.

Дура! Вот же дура, честное слово.

— На машину коплю, поняла?

Поняла она, как же.

— Тебе что, автобусов не хватает?

Максу становится скучно, он аккуратно складывает свое сокровище в банку.

— Вот ты и будешь всю жизнь на автобусах ездить,— сердится он на глупую сестру.— А я через два года «Москвича» куплю.

— Да тут же ездить-то негде...— вздыхает Жанка.— Городок в табакерке...

— А я его не чтоб ездить куплю. Я возить буду. По городу — трояк, а на озера — пятерка.

— Зачем?

— «Волгу» куплю. В нее больше народу влезет. Знаешь, сколько у меня денег будет!

Ну, в общем, зря он затеял этот разговор, где ей понять...

— Ладно,— хмурится Макс,— иди, я спать хочу.

— Подожди,— говорит Жанка, и ее круглое глупое лицо отражает усиленную работу мысли.

И чего зря старается, все равно ни до чего не додумается!

— Значит, ты копишь на машину?

— Ну.

— А машина тебе нужна для денег?

— Ну.

— А деньги на новую машину...

— Ну.

— А новая машина — чтоб денег стало еще больше?

— Ну,— утомленно кивает Макс.

— Ну, а эти-то деньги, от новой машины, тебе для чего?

— Как это для чего? — не понимает вопроса Макс, да вдруг и сам задумывается. Он думает долго и сосредоточенно.

Жанка терпеливо ждет. Так ни до чего и не додумавшись, Макс сердито взглядывает на сестру.

— «Для чего, для чего»...— говорит он сварливо.— А чтоб были!

ПОДАРОЧЕК

Ну, не понравился Аделаиде Леша Стукалов — и все тут! Несмотря на все свои круглые пятерки. Нет, нет и нет, и не уговаривайте!

Мужчина должен быть здоровым, жизнерадостным и по дому все уметь, а этот?.. Замухрышка какой-то. Придет, ска-

жет «здрасте», забьется в угол и молчит, слова из него не вытянешь. И ни тебе розетку, ни кран починить, не говоря уж про бачок на унитазе...

А за столом как он себя ведет? Мужчина должен есть много и радоваться, а он поковыряет что-то там вилкой — и все. «Благодарю вас, было очень вкусно...» А сам и не съел ничего. Язвенник, что ли?

Откопала Жанка подарочек. У всех мальчики как мальчики, а у нее... Нет, не надо Аделаиде такого. Ну а кроме того, Аделаида давно уже решила, что ее Жанка выйдет замуж за военного.

Военный — это хорошо, надежно: и материально дочка будет обеспечена (военные много зарабатывают), и управу, если что, на военного найти можно (пожаловаться в часть, начальники его живо приструнят, у них там дисциплина). В общем, здоровая, крепкая семья.

Аделаида хмурилась, вздыхала, жаловалась подругам, что Жанка, дурища, откопала себе невесть что... Подруги согласно качали головами. У них тоже были дети, и они тоже мучились с ними...

Однажды Аделаидино терпение кончилось, и она прямо сказала дочери:

— Ты что, получше ничего не могла найти?

А Жанка ответила:

— Как тебе не стыдно, мама...

Чего-чего, а уж такой наглости Аделаида не ожидала. Она даже растерялась поначалу.

— Жанна... Ты что такое говоришь? — испуганно спросила Аделаида, но быстро пришла в себя, и голос ее окреп.— Ты с кем это так разговариваешь, паршивка?! Ты кого это стыдишь?! Чтоб ноги его больше здесь не было, хлюпика этого! А если я еще тебя с ним увижу...

И действительно, хлюпик исчез, больше Аделаида дочку с ним не видела.

Более того, дочь взялась за ум, стала целые дни пропадать в библиотеке, заниматься.

Ах, наивная Аделаида, ей и в голову не приходило, что Жанка ослушается... Все было очень просто: ни в какой не в библиотеке торчала Жанка, а у Лешки.

Надо сказать, что многочисленная Лешкина семья от этой толстой, неуклюжей девочки тоже в восторг не пришла и тоже считала, что любимец достоин лучшего. Но, решив про себя,

что первая любовь редко бывает последней, волноваться и принимать меры не стали: ну, выбрал Лешенька себе такую девочку, ну, гостит она каждый день до вечера, а что, лучше было бы, если бы они по городу шлялись? Тут хоть на глазах, под присмотром. Короче говоря, в старом двухэтажном доме из красного кирпича, где на первом этаже жили Лешка с родителями и бабушка с дедушкой по маме, а на втором — бабушка с дедушкой по папе и тетка Наташа, Жанка вполне прижилась, и даже бандит курцхаар относился к ней со сдержанным равнодушием, что при его-то характере можно было истолковать как откровенное дружелюбие.

Потому и не видела Аделаида свою дочь с нежеланным хлюпиком: при всей своей проницательности видеть сквозь стены она все-таки не могла.

Но такая уж несчастливая была у Жанки планида: хоть никогда не провожал Стукалов Жанку до самого дома (в целях конспирации они расставались за квартал от опасной зоны), хоть дело было вечером, в темноте, а, однако, углядел их Макс (плюс ко всем его многочисленным достоинствам у него отличное было зрение).

— Мам! — жизнерадостно заорал он с порога.— А наша Жанка с этим задохликом целуется!

— Как целуется? — обомлела Аделаида.

— «Как, как»! Взасос! — сказал Макс и заржал.

Ну, ясное дело, получила Жанка, явившись, ремня!

— Развратница! — бушевала Аделаида.— На виду у всего города! С этим дохляком! С бациллоносителем этим! Я в школу, я в милицию, я к родителям его пойду!

— Мамочка, не надо...— плакала Жанка.— Я больше не буду...

— А он и губу раскатал, и рад! — Аделаидины глаза сверкали гневно.— Конечно, какая дура с ним еще целоваться будет, с язвенником!

— Ада, ты можешь так не орать? — осторожно заступился дед.— Все соседи слышат...

— Не заступайся! — взвилась Аделаида.— Я знаю, с кого берет пример эта распущенная девица, я знаю, кто всю жизнь бабушке рога делал! Дедушкина внучка! У, распутница! И это в то время, когда кругом СПИД!

— Мам, СПИД через поцелуи не передается,— вмешался Макс.

— Замолчи лучше! — в порыве гнева осекла Аделанда.— Он

через все передается. Нашла с кем целоваться! Он же больной, насквозь больной, ты же с ним всю жизнь мучиться будешь, и дети у вас будут язвенники! Вот подлец!

— Мамочка, не говори так...

— Буду! Именно расчетливый подлец! — И так вдруг все ясно стало Аделаиде, что она ахнула: — Ты думаешь, ты ему нужна? Он же на нашу жилплощадь метит! А ну, живо говори его адрес, я этого так не оставлю...

Аделаида решительно натягивает пальто.

И вот что удивительно и непонятно: Жанка адрес не сказала. И хоть бы соврала, что она его не знает, так нет, прямо так и заявила:

— Не скажу.

Как ни билась с ней Аделаида, какими карами ни грозила, как ни хлестала по щекам, Жанка плакала, но стояла на своем.

— Тебе же хуже! — грозно предупреждала Аделаида и сняла бесполезное пальто.— Я завтра в школу пойду, я ему там устрою!

И тут случилось ужасное: Жанка, послушная дочка, вдруг сказала тихо:

— Только попробуй!

Аделаида замерла, растерянно взглянула на дочь. Жанка уже не плакала.

— Если ты туда пойдешь, я жить не буду,— все тем же тихим, незнакомым Аделаиде голосом сказала дочь. Лицо у нее было спокойное и чужое.

И вот, хотя уже столько лет прошло, Аделаида это лицо сразу узнала: с таким лицом когда-то, давно, Жанкин отец сказал Аделаиде: «Прекрати мною командовать. Или я уеду». Аделаида ему не поверила: он тихий был, ласковый и очень их всех любил — Жанку, Максимку, Аделаиду. Но уехал. Упрямец.

Аделаида смотрела на дочь и плакала от обиды и отчаяния на странную эту, непонятную и мстительную жизнь. Сколько билась с ней Аделаида, исправляла, переделывала людей! Все бесполезно. Это только говорят, что все зависит от воспитания. Глупости, ничего от него не зависит. Уж Аделаида ли не воспитывала Жанку и Максимку, уж она ли не вышибала из них папочкин отвратительный характер, чтоб духу его не было, чтоб и не вспоминать,— и что? Вот стоит дочка (никогда, никогда она Аделаиде перечить не смела), смотрит исподлобья отцовскими голубыми глазами и говорит то же самое: чтоб не

смела Аделаида ею командовать, а то она уйдет, исчезнет, жить не будет...

Проклятые гены, кто их выдумал! Никакие ежовые рукавицы против них не помогут.

Выросла дочка.

ИЗ ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ

Макс мылся в ванной, а Жанка вошла и уставилась мрачными, решительными глазами (в ванной и уборной дед тоже задвижки посрывал).

— Ну чего приперлась! — завопил Макс, прикрыв ладонью наготу.— Не видишь, я голый?

— Если еще будешь следить и доносить,— сказала ему Жанка,— то получишь у меня.

— Сама получишь! — безмятежно отозвался Макс.— Иди отсюда, к ханурику своему в ванную заходи.

Ни слова не говоря, Жанка взяла с полки только начатую пачку стирального порошка и высыпала брату на голову.

— Совсем, что ли, двинулась?! — взвыл Макс и полез из ванны.

Они сцепились, но Жанка изо всех сил толкнула худого, длинного Макса, он поскользнулся, всплеснул руками и спиной плюхнулся в ванну — могучая пенная волна окатила победительницу Жанку, и она ушла, оставляя за собой цепочку следов.

— Тра-та-та, тра-та-та,— надрывался из ванной Макс.— Дура недоделанная!!!

— Молчать! — гаркнул дед, оторвавшись от телевизора, и пошел пятнами.— Ада, ты слышишь?!

— Слышу,— печально отозвалась Аделаида; она сидела на кухне и смотрела в стену. У нее больше не было сил бороться и воспитывать.— Не обращай внимания, дедушка, дети просто поссорились...

Жанка сбросила мокрую одежду прямо на пол, завернулась в одеяло и уставилась в темное окно.

Как все-таки странно устроена жизнь: ведь раньше Жанка и Максимка любили друг друга, ходили, держась за руки, просто не-разлей-вода... Жанке было пять, а Максимке четыре.

По воскресеньям папа с мамой надевали на них одинаковые серые шубки, валенки с калошами, завязывали у них на спине клетчатые кусачие шарфы, торжественно вручали им санки и отправляли гулять на горку Берендейку, которая начиналась прямо во дворе и плавно уходила аж до самой реки. Жанка и Максимка, немножко поспорив, кто сядет впереди, оседлывали санки и с визгом неслись вниз, а накатавшись, принимались играть в Зойку и Райку. Зойка и Райка были соседки, одна — продавщица, а другая — скандалистка.

— Райка, что у вас там дают? — грубым голосом спрашивал Максимка.

— Дак ничего не завезли, Зой, ничего не завезли,— пищала Жанка.

— Как это не завезли?

— А так это!

— А не завезли, так получай! — выкрикивал радостно Максимка и толкал Жанку в сугроб — и падал сам.

Они долго и весело возились в сугробе, кормя друг друга снегом.

Иногда папа брал лыжи и сопровождал их. Тогда было еще веселее. Они ловили папу, связывали шарфами, садились на него верхом.

— Сдаешься? — верещал Максимка.

— Сдаюсь,— соглашался папа и вдруг вырывался, стряхивал их в снег, кричал:

— Попались, которые кусались!

Жанка и Максимка визжали от восторга, папа хохотал, доставал их из сугроба, целовал в холодные, мокрые носы, а потом они вместе искали во взбаламученном снегу потерявшиеся галошки с огненно-красными пастями... Все это было, было когда-то: и полеты на санках с огромной горы Берендейки, и страшные истории вечером («Девочка-девочка, не выходи из дому, по городу ходит красная тетка!» А красная тетка вдруг ка-ак выскочит из шифоньера, ка-ак крикнет: «Отдай мое сердце!»), и общие игрушки... А потом все это исчезло неизвестно куда, игрушки поломались, потерялись, забылись, папа развелся с мамой, гора Берендейка стала маленькой...

Когда папа и мама разошлись, они объяснили своим детям, что Максимка теперь будет жить с папой в Крыму, а Жанка останется с мамой...

— Нет! — ревели Жанка и Максимка.— Не хотим, мы вместе хотим! — и цеплялись друг за друга — не растащить.

— Не поеду, не поеду, не поеду! — кричал Максимка.— Я с Жанкой буду!

Но их не слушали, растаскивали, давали шоколадки... А однажды папы и Максимки не стало, и мама сказала, что все кончено и что теперь они будут жить у дедушки и у них будет другая фамилия — Кондрашко, как у дедушки. Жанка не хотела другую фамилию и плакала. Мама тоже плакала и говорила, что папа плохой, отнял у них Максимку... А Жанка никак не могла понять, как это папа плохой, если он такой хороший?

Жанка и мама жили у дедушки и скучали по Максимке. У Жанки выпали молочные зубы, она пошла в школу, научилась писать и писала на всех бумажках: «Максимка, Максимка, Максимка», а потом, когда выучила все буквы, тайком от мамы написала письмо: «Милый папочка, ты хороший, возвращайся скорей с Максимкой, без вас плохо». Письмо шло долго, целый год, но наконец папа получил его и приехал. И опять Жанка с Максимом катались у него на плечах, и хохотали, и радовались, что опять они все вместе. Максимка был загорелый, коричневый и тоже беззубый, потому что его там шоколадом закормили, чтоб не ревел и не просился домой. Вечером Жанка и Максимка прыгали и кувыркались на маминой кровати с панцирной сеткой — это еще с прежних времен было у них любимое развлечение, за которое им всегда очень сильно попадало. Но сейчас никто их не одергивал, папа с мамой все разговаривали, закрывшись на кухне, все курили. Максимка с Жанкой так и уснули на маминой кровати, не дождавшись, когда они кончат, а утром папы уже не было... Мама сказала, что у него теперь будет новая жена, а Максимка вернулся насовсем и тоже теперь будет Кондрашко.

Папа писал им письма и присылал посылки ко дню рождения. Но чем старше они становились, тем реже приходили письма и посылки. А потом и вообще пропали. Мама сказала, что у папы есть другие, новые дети, а про старых он позабыл. Жанке обидно было, она написала папе письмо, где просила папу о них не забывать. Но папа не ответил. Жанка привыкла, что папа забыл их, и уже не обижалась, и уже сама забыла, что когда-то у них был папа. И что они с Максом дружили когда-то...

ПРОЩАЙ, ДОКШИЦЕР!

Макс продал Альфу. За пятьсот рублей.

Утром в доме теперь тихо-тихо, соседи спят спокойно и видят замечательные, непуганые сны.

Правда, у Макса есть другая труба, дешевая, но играть на ней ему неохота.

Аделаиду вызвали в училище и долго жаловались: такой был способный, такой был прилежный Максим Кондрашко, первый ученик, надежда и гордость! И что с ним стряслось? Уроки не учит, оркестр прогуливает, на занятиях, правда, сидит и пишет, но тут как-то кто-то догадался заглянуть, что он там пишет... Так он, можете себе представить, уравнения решает...

— Какие еще уравнения? — не поверила Аделаида. — Он математику терпеть не может!

Максовы уроки по алгебре и геометрии с грехом пополам всегда Жанка выполняла.

На вопрос, какие еще уравнения, в училище ответить не смогли, потому что за страшным этим занятием застукали Макса на уроке по музлитературе, а старенькая музлитераторша в математике не разбиралась. Таким образом, что это за уравнения, так и осталось тайной, ибо Макс все отрицал.

— Никаких уравнений я не решал! — твердил он. — Просто в «морской бой» играл...

Макс пообещал исправиться, но так-таки и продолжал прогуливать. И в «морской бой» продолжал играть. Причем, не только в училище, но и дома. Утром и вечером сидел Макс над толстой тетрадкой в клеточку и строчил, строчил...

— Опять «морской бой»?! — бушевала Аделаида. — Совсем уже рехнулся.

— Отстань! — кричал Макс, прикрывая тетрадь.

На самом-то деле никакого «морского боя» не было. На самом-то деле Макс действительно решал уравнения. Самые обыкновенные, за шестой класс. Только это была тайна.

Макс уже догадался, что совершил в жизни крупную ошибку: вся эта музыка — глупость и никаких перспектив.

Ну, кончит Макс музыкальное училище, ну, поступит в консерваторию, ну, и ее кончит... А дальше что? Так всю жизнь и дуть в трубу?

Но Макс, как известно, был умный и ни с кем своими новыми мыслями не поделился. Пусть все думают, что все по-старому, чтоб не приставали. Зачем нарываться на скандал? Ведь просто жизни дома не будет, поделись Макс с Аделаидой.

Ах, детство, ах, глупости!.. Просто в пионерском лагере был духовой кружок, а Максу было десять. Ну кто ж в десять лет, увидев огромный, блестящий геликон, не придет в восторг и не захочет туда дунуть? И пошло, и поехало, а главное, все Максу давалось легко, все получалось, и руководитель нахвалиться на него не мог, говорил, что Макс — будущий Докшицер. А Макс слушал, распустив уши. Ах, сколько лет потеряно на глупости, детские забавы!

А теперь Макс вырос и понял, кем он должен стать, да! Главное, никому ничего не говорить, пересидеть, дождаться лета, а тогда... О, тогда он знает, что делать.

Он уедет. Потому что в этом паршивом городишке и учиться-то негде деловому человеку. Он уедет в Москву, куда ж еще. Не надо слез, он не пропадет, он не мечтатель там какой-нибудь, он уже все разузнал. Он поступит, поступит. Ну и что, что он к математике не способен! Зато у него стальная воля, он осилит, он вызубрит эту математику от и до, он научится решать все эти идиотские уравнения со всеми этими идиотскими неизвестными.

И Макс решает, решает — утром, вечером, в училище. Потому что Макс заберет документы из училища и будет поступать в финансовый техникум.

Финансовый техникум — это достойно. И перспективно, между прочим.

А на трубе пусть себе Докшицер играет. Да. Раз ему делать больше нечего.

ПРО ЛЮБОВЬ

Ау, Володя, где ты? Как живешь? Что Москва — стоит? Радует глаз?

Это только кажется, что Жанка любит Лешку и о тебе забыла. На самом деле она по-прежнему любит тебя, только тебя.

То есть нет, Лешку она тоже любит. Как брата. Ну и что, что они целуются? В их возрасте все целуются, так положено.

А кто не целуется, на того пальцем показывают и говорят, что он неполноценный. Надо быть как все, чтоб над тобой не смеялись. Вот появился у Жанки Стукалов — и уже не так заметно, что она толстая и неуклюжая. И даже Смирнов из параллельного ее однажды танцевать пригласил. Правда, она все равно наступила ему на ногу. Вот появилась у Лешки Жанка, и никто из девочек уже не говорит, что он маленький и зануда. А Виноградова даже на день рождения его позвала. Причем без Жанки. Но он без нее не пошел, хоть Жанка его и уговаривала.

Лешка и Жанка целуются и делают вид, что это любовь. Но это они придумывают. Это от испуга они придумали любовь и спрятались там от всех, как в крепости. От родителей, от одноклассников — от всех, кто может обидеть, посмеяться...

Давным-давно Лешка и Жанка не говорят друг другу о Володе и Анечке, а говорят о том, что они любят друг друга. И от этого им вместе немножко скучно, потому что любовь — это...

Поднимите руки, кто знает.

«Это когда у людей общие интересы и им вместе уютно»,— твердят себе Жанка и Лешка.

Твердят, твердят, уговаривают себя, что это и есть любовь.

Но вечером идут они из кино, и вот, несмотря на то что интересы у них общие и уютно им идти рядом по городу, вдруг замолчит, замкнется Стукалов, начнет прятать глаза...

Потому что они идут мимо дома Анечки Виноградовой и заветное окно, которое Лешка решил считать позабытым, вдруг полыхнет ему зеленым светом. Вовсе, оказывается, не позабывшимся. И на душе у Лешки так больно, так нежно и тревожно делается, что бросить бы все, помчаться туда со всех ног, спрятаться за тополь и смотреть, смотреть на это окно — вдруг там появится точеный Анечкин силуэт?..

Но рядом топает Жанка, верная подруга, ее надо проводить, поцеловать.

И Стукалов, верный чувству долга, провожает и целует. И корит себя за слабость, и твердит себе: «Это предательство, так нельзя, ведь я люблю Жанку, Жанку, Жанку!»

А то вдруг окликнут кого-то на улице: «Володя!» — и сердце у Жанки стукнет счастливо и перепуганно, Жанка замрет на ходу, и в этот миг нет рядом ни Лешки, ни города. И Жанки

нет. Где она? Бесполезно оглядываться, лучше поднимите голову, вон она, Жанка, на пушистом белом облаке в вышине неба — сидит, болтает ногами, а весенний ветер властно и ласково гонит облако за горизонт, как раз в ту сторону, где, по слухам, находится Москва, Москва...

Ах, любовь — что это? Таинственный, непонятный праздник души? Никому, никому про это не объяснишь.

«Но ведь это же предательство! — тоскует Жанка.— Я же Лешку люблю. Я должна, должна его любить!»

«Все это детские глупости,— уговаривает себя Стукалов.— Это позабудется. А с Жанкой мы будем всю жизнь».

— Давай после школы поженимся...— говорит Лешка.

— Давай,— соглашается Жанка.— Только сначала давай поступим.— И думает о Москве, о театре, о Володе

— Разумеется, сначала поступим,— соглашается Лешка, и думает: «Интересно, а куда Виноградова будет поступать?»

СУМАСШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Неужели и вправду весна?

Нет, неужели так бывает: ждешь, ждешь, ждешь и, кажется, никогда не дождешься. И вот — сбылось...

В школе, против входа, повесили картонку, на которой строгими черными буквами начертано: «До экзаменов осталось (тут в картонке вырезана аккуратная квадратная дырка) ...дней». В дырку вставляется бумажка с цифрами. Это чтоб выпускникам жизнь медом не казалась. Чтоб не позабыли, что их ждет впереди.

Еще недавно на бумажке стояла цифра «45», и, ясное дело, десятиклассники ходили себе, посвистывая, мимо и не обращали на ужасную картонку внимания. Чего волноваться? Еще полтора месяца впереди — вечность. Тем более весна.

«Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь!» — твердят все учителя. Похоже, что они все остальные слова позабыли, помнят только одно-единственное. И каждый день задают на дом зубрить билеты: шесть билетов по физике, четыре — по химии, два — по истории... С ума сойти можно!

Вот Жанка вылетает из школы, таща под мышкой тяжеленный, разваливающийся от учебников и тетрадей портфель (как он надоел за долгие годы школьной жизни!), а на улице — ах!

На улице чирикают воробьи, как ненормальные, а солнце совсем разбуянилось, разыгралось, заглядывает в каждую лужу, любуется собой: убедилось, что нет его краше, и на радостях затеяло игру с первоклашками, которые, борясь со скукой школьной неволи, уже неделю таскают с собой на уроки карманные зеркальца,— и скачут по классу солнечные зайчики.

Счастливчики эти первоклассники — им экзамены не сдавать. Хотя, с другой стороны, бедолагам еще девять лет мучиться... Нет, ни за что бы Жанка с ними не поменялась. И, вздохнув, она отправляется домой зубрить ненавистные билеты. Она идет медленно-медленно, пусть подольше будет улица, где голова кружится от теплого ветра, который пахнет отогревшейся землей, водой, набухающими почками... Ах, если б не экзамены! Если б время не сошло с ума, не понеслось вперед без оглядки: до экзаменов осталось двадцать дней, десять... И уже с испугом глядят выпускники на картонку: пять, три.... Остановись мгновенье, ты ужасно!

Два дня до экзаменов...

Один...

Пуск!

ЭКЗАМЕНЫ

Знаете ли вы, что не так страшен черт, как его малюют?

Экзамены эти Жанка сдала запросто! Это только сначала кажется, что сдавать их — смертельный номер. Ничего, все живы остались. И чего десять лет боялись? Эх, знать бы заранее!

Сочинение и устную литературу Жанка умудрилась сдать на пятерки. В гороно даже сказали, что ей одной-единственной удалось раскрыть образ Татьяны Лариной. Еще бы Жанке его не раскрыть! (Ау, Володя, неужели эта грустная история повторится? Правда, Лешка не очень похож на генерала.)

По истории и английскому Жанка получила четверки. Ну а дальше пошли благословенные тройки.

Ну и ладно. В театральном эти предметы не сдавать.

Последней была физика. Жанка ночь не спала — помнила, что физик обещал ей пару на экзамене. Физик об этом тоже

помнил. Последние полгода Жанка прилежно списывала задачки у Стукалова, и физик махнул рукой. Ну, правда, не ставить же круглому отличнику постоянно единицы!

На экзамене он проявил нездешнее благородство: сам спрашивать ненавистную ученицу не стал, попросил заняться ею англичанку, которая сидела у него в ассистентах и в физике понимала не больше Кондрашки.

Жанка что-то лепетала про катоды и аноды, англичанка слушала и кивала значительно, физик угрюмо глядел в сторону, а потом не вытерпел и сказал:

— Ладно, хватит.

— Там еще один вопрос,— напомнила англичанка.

— Бог с ним,— буркнул физик,— у меня нервы не железные...

На выпускном было грустно: неужто все и вправду кончилось?

ПОБЕГ

Вокзал в городе маленький, да и к чему ему быть большим — поезда здесь редко останавливаются, летят мимо, в большие города.

На вокзал Жанку провожали всей семьей: впереди бежал Тобик, за ним шел дед, за дедом — Макс с Жанкиным чемоданом, за Максом — Аделаида, а позади всех брела Жанка.

До вокзала рукой подать по узким зеленым улочкам и переулкам. Прощай, городок, Жанка уезжает отсюда навсегда, ее ждет слава!

Семья Кондрашек шествует по городу, все молчат. Даже Макс сегодня на редкость молчалив и сосредоточен. Даже дед грустит и уже не вспоминает про свой рюкзак. Ну, тот, красно-желтый, импортный, с кучей клапанов, карманов и молний...

Три дня назад дедов рюкзак пропал таинственнейшим образом: был-был и вдруг исчез, как сквозь землю провалился. Дед весь дом перерыл, а не найдя, принялся кричать на Макса.

Макс не отвечал, только сказал уныло:

— Отстань.

— Ты как разговариваешь! — завелся дед.— Двоечник, тунеядец! Ты кому это «отстань» смеешь говорить!

— Дедушка у нас совсем рехнулся,— покачала головой Аделаида.— Зачем ребенку твой рюкзак?

— Ты у него спроси зачем!

— Дедушка у нас не в своем уме,— подытожила Аделаида.— Посрывает с окон шпингалеты — залезай кто хочешь, бери, что понравится, а ребенок потом виноват...

Так последние дни (как, впрочем, и всегда) ругались Аделаида и дед, выясняли, кто кого в гроб вгоняет и кого надо, не теряя ни минуты, сдать в сумасшедший дом. Но, как всегда, так и не выяснили. А сегодня с утра затихли, забыли про вечную вражду: Жанка уезжает — деточка, любимая внучка...

Они выходят на перрон, и Аделаида ахает:

— Жанночка, весь класс пришел тебя провожать!

Жанка стоит раскрыв рот: вокруг знакомые лица, будто не на вокзал, а в школу попала... Что случилось?

Но в следующий миг все разъясняется: одноклассники тоже с родителями и тоже с чемоданами. Ах, они тоже, тоже уезжают...

Жанке вдруг становится жалко до слез свой маленький городок: выросли и уехали... Бросили, сбежали. А кто же тут дальше будет жить?

— Как поступишь, немедленно домой! — внушает Жанке Аделаида.— Нечего там зря болтаться.

Остальных тоже наставляют, целуют, обнимают, говорят какие-то важные слова. Плакать никто не осмеливается. Вот уйдет поезд, увезет выросших детей, тогда, помахав ему рукой, поплачут старшие.

Вон и Лешка стоит в окружении большой своей семьи, слушает, улыбается, грустно машет длинными ресницами.

Господи, а Юлька-то Ведро куда собралась? Сплошные тройки и никакого таланта!

— Мой рюкзак! — ахает дед.

По перрону идет патлатый парень, на плече у него туго набитый красно-желтый рюкзак.

— Стой! — вопит дед.— Попался!

Парень и не думает удирать.

— Дедуля, вы в своем уме? — нахально спрашивает он.

— Дед, перестань,— говорит Макс.— Чего ко всем цепляешься.

Парень весело подмигивает.

— Пятый вагон тут? — спрашивает он у кого-то.

— Конечно,— ехидно говорит Аделаида,— такой рюкзак только у нашего дедушки, больше ни у кого его быть не может! Давай, давай, беги за милиционером, опозорься у всех на виду!

Дед затихает пристыженно.

«Внимание,— с надрывом и хрипом ревет над перроном станционный динамик.— Поезд номер такой-то, следующий до Москвы, прибывает к первой платформе... Стоянка — две минуты... Отойдите от края платформы. Повторяю...»

Но уже никто не слушает, и от края платформы никто не отходит: надо успеть прорваться в вагон.

Аделаида и дед торопливо целуют Жанку, Тобик прыгает у ног и умильно лупит хвостом по перрону. Жанка с топотом забегает в вагон: надо занять места — себе и Лешке. А там уже шум и смех — кто-то успел раньше и теперь носится по коридору, заглядывая во все купе: вагон совершенно пуст. Это спальный вагон, дорогой, а до Москвы всего четыре часа. Но в плацкартных и купейных вагонах мест не было, и поэтому десятый «Б» почти полным составом отбывает в Москву в дорогом спальном вагоне. То-то будет весело!

Парень с рюкзаком торопливо бежит по коридору, забрасывает рюкзак в одном из купе и стремительно выскакивает на перрон.

«Опоздает,— думает Жанка,— куда это он?» Но, впрочем, сразу забывает и о парне, и о рюкзаке, и обо всем на свете; она стоит, прижавшись к пыльному стеклу, смотрит на своих...

Аделаида, дед, Тобик сиротливо притулились на перроне, а Макс чуть в стороне и глядит исподлобья.

Окно не открывается, и потому не слышно, что кричат Жанке Аделаида и дед.

Но вот Аделаида властно махнула рукой, и платформа послушно поплыла, поплыла назад, и в тот же миг Макс вздрогнул и кинулся вслед за поездом...

Он в три прыжка догнал подножку, запрыгнул под истошный крик проводницы: «Куда?!» — и, протиснувшись в тамбур, сказал сердито:

— Чего орать-то? У меня билет...

Жанка этого не видела, все стояла, прильнув к стеклу, за которым уже кончался перрон и выплывали пристанционные домишки. Прощайте, мама, дед, Тобик, Макс, прощай, городок в табакерке, школа, прости и прощай! Прощай все, что было. Поезд уносил Жанку куда-то, летел весело вперед; все дальше, дальше оставались родные улочки, мчало навстречу незнакомое пространство...

— Ты тут? — сказал Макс, втаскивая в купе дедов рюкзак.

— Ой!..— испугалась Жанка.— Ты откуда?

— «Откуда, откуда»! — сварливо объяснил Макс.— Что я, дурак — там оставаться?

Одноклассники носятся по коридору и купе, хохочут, достают яйца, помидоры, жареных куриц — вечных спутниц путешественников. Пора подкрепиться!

Ведь ехать так далеко! И так весело...

Ведь они впервые уехали одни.

Мальчики сбились в тамбуре, курят. И никто им не запретит — ведь они уже взрослые.

Кондрашки — Жанка и Макс — достают из чемодана курицу, а спальный вагон мчит куда-то, уносит детей из дома. В спальном вагоне шумно и весело, там курят, жуют, хохочут и верят, что впереди у них счастье, счастье, счастье...

Калуга 1988 г.

Николай Спицын[1]

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ДВЕРИ

Повесть

Ты выбрался из колыбели,
И от нее ты еле-еле
Доковыляешь до окна —
Отсюда улица видна,
Отсюда виден город, поле,
Леса, моря, вершины — воля!
Весь этот мир доступный прост,
И хочется уже до звезд
Лететь в необозримой бездне!
Неслыханной и странной песней
Манит к себе беззвучный рой...
Но ты сначала дверь открой.

В. Козорезов

1

— Вперед, Козорезов, твоя очередь.

Бес повел надменно подбородком в сторону полуоткрытой двери, откуда сам только что вышел. Таким тоном это про

[1] © Николай Спицын, 1989

изнес... Можно было подумать, будто он своей волей посылает Володю на растерзание, а не директор велел ему вызвать следующую жертву.

— Ну, что там?

— А!..— махнул рукой Бес и направился по безлюдному коридору на выход.

И шевели мозгами, соображай, как понять это самое «А»! «А! Ерунда на постном масле!» или «А! Отвали, и без тебя тошно»?

Володя уныло проводил его взглядом. Да, широкая спина у этого малого. И плечи — будь здоров, и затылок крепкий, и кулачищи... И то еще есть, из-за чего Володю сильнее всего грызла тайная зависть: уверенность! Непоколебимая, ленивая уверенность в каждом движении, в каждом жесте. И — немногословие.

Еще прошлой осенью, на картошке, Володя совершенно случайно услышал — не подслушал, нет! — секретный разговор девчонок из другого училища, швей-мотористок, тоже их в этот колхоз прислали на уборку... Всех по полочкам разложили: этот у них такой, тот — сякой! Бес, конечно, «ой, девочки, такой загадочный, взгляд такой... ой, взгляды — это самое страшное!..». А он, Володя, видите ли, «остряк-самоучка... балаболка...». Нет, вы подумайте: балаболка! Да если на то пошло, Гаврош в десять раз больше языком треплет. Что ж они Гавроша-то не записали в эти самые?..

Ладно, чего там! Есть грешок, и сам он прекрасно его за собой знает. Бес — другое дело. Володя, когда впервые услышал его кликуху, здорово удивился. Нет, кто как, а он в Лёнином облике ничего бесовского не находил. Бес — это ведь некто мелкий, вертлявый и с хвостиком, как в сказке Пушкина. Суетливый такой чертик, рогатенький... Ничего общего с Леней.

Оказалось, что все дело в фамилии — Бескоровайный. Тогда уж стало ясно, почему — Бес.

Вздохнув, он одернул свитер, провел ладонью по лицу, попытался расслабить мышцы, управляющие мимикой. Никто из тех, сидящих в кабинете, не должен понять, что сердце у него бьется где-то чуть ниже горла. Никто не должен заметить, что губы его пересохли и некрасиво кривятся.

Так. Настал и его час. Козорезова оставили на закуску...

Быстрые шаги, и в дверь выглядывает Николай Иванович.

— Ты здесь, Володя? Что ж не заходишь?

— Почему это не захожу? Я захожу...

— Давай, давай, заходи... Все равно перед смертью не надышишься...

«Так уж сразу и перед смертью...» — мысленно возражает Володя и вслед за мастером, минуя комнату секретаря, входит в директорский кабинет, глядя себе под ноги и все же спотыкаясь на пороге.

— Здрасте...

И какие-то услужливые клеточки мозга спешат напомнить: в Золотой Орде, кажется, ломали хребет всякому, кто запинался при входе в ханский шатер...

2

Директор, Борис Кондратьевич, иначе — Квадратыч, и правда похож на пожилого хана, хотя по национальности он русский, а фамилия у него украинская, смешная — Колобюк. Когда на доске объявлений вывешивают приказ, им подписанный, кто-нибудь из пацанов тут же, улучив момент, подчищает в букве «Ю» палочку, чтобы получилось «Колобок». Так еще веселее. И на этой шутке пока никого не заловили, ребятам везет.

Борис Кондратьевич важно сидит на своем законном месте, откинув грузное тело на спинку старого дубового кресла. Он держится спиной к свету, бьющему в окно, лицо в тени и кажется от этого еще темнее, чем оно есть на самом деле.

Остальные расположились у приставного стола, и Николай Иванович там, и мастера из других групп, классные руководители, ну и незнакомец в штатском.

На улице ветер носил пыль и сухие листья, окно поэтому было закрыто наглухо, даже заклеено, и все, кто вынужденно торчал в этом тесноватом помещении, изнемогали от духоты: сантехники готовились к зимнему сезону, проверяли отопление, и батареи были как огонь — в январе бы грели так-то...

Правда, верещал в углу на сейфе, крутил головой белый вентилятор, гонял по кабинету сухой и жаркий воздух, но этот пленный ветерок облегчения никому не приносил.

— Это последний у нас? — Директор, не поворачивая головы, скосил щелочки глаз на Николая Ивановича.

— Последний, — подтвердил мастер. — Володя Козорезов.

— Ах, тот самый... — Борис Кондратьевич перевел взгляд на Володю. — С которого все и началось... Ну, рассказывай, —

вздохнул он тяжко и забарабанил по крышке стола пухлыми пальцами с большими и толстыми, точно плексигласовыми ногтями.

Звук, который рождался от соприкосновения этих ногтей с полированным деревом, похож был на цоканье конских копыт по булыжной мостовой и сразу нагнал на Володю страшенную тоску. Почему-то мигом представилась ему пустынная улица захолустного городка, тощая, но вислопузая кляча, тяжелая, неуклюжая телега с искореженным металлоломом и возчик с кнутом, в сапогах, несмотря на жару, в порыжелом ватном пиджаке с вытертым воротником, в дешевом старомодном картузе... Солнце палит, кнут хлопает по тощему крупу коняки, и коняка притворяется, что вот-вот, сейчас побежит рысью: трюх-трюх-трюх... Цок-цок-цок—некованые копыта по камню...

И теперь ему не надо уже было следить за своим лицом, оно само приняло вид унылый и безразличный, и сердце опустилось в положенное место и билось там скучно и незаметно.

Секунды тянулись, как черная битумная смола.

Цок-цок-цок, цок-цок... Цок-цок-цок, цок-цок...

— Ну так что же, Козорезов?..— Директор далеко вытянул руку и взглянул на часы.— Так и будешь стоять, воды в рот набравши? Как шкодничать, понимаешь-нет, так вы вот они, а ответ держать нету вас?

Володя переступил с ноги на ногу, сложил руки за спиной.

— А что говорить-то?

— Что знаешь, то и говори. Например, зачем затеял драку?

— Да я...

— И почему брал в театр кастет, отвечай тоже.

— Какой еще кастет!

— А вот такой,— указал Борис Кондратьевич на предмет, лежавший у него на столе,— каким человека убить можно. Ты подойди, подойди ближе-то! Что ты издали прищуриваешься!

— У меня близорукость,— сказал Володя.— Минус два.

— Вот и подходи сюда, раз у тебя два с минусом.

Володя послушался. Почему бы и нет? Интересно даже. Про эту штуковину все в «бурсе» шушукались. Там, в театре-то, их со школьниками разнимать милиция приезжала, вот кто-то и скинул «костю» на всякий пожарный... Пожалел потом небось — обыскивать никого не стали в тот раз.

— Что, не узнаешь? Ты возьми, возьми в руки-то...

— Ну да! Сейчас! Чтобы там отпечатки мои остались? А я э т о впервые в жизни вижу.

— Ты прекращай умничать! — хлопнул директор ладонью по столу.

Ну еще бы! Умных вы, ясное дело, не любите...

— Устраивают, понимаешь-нет, ледовое побоище! А потом прикинутся овечками: ничего не видели, ничего не слышали! Круговая порука!

И при чем тут ледовое побоище? Махались-то в туалете. Тогда уж не ледовое, а кафельное побоище вышло... Да, видно, из тех, кто уже прошел эту процедуру, вытянуть ничего не удалось. А может, темнит Борис Кондратьевич? Держи ухо востро, Козорезов!

— Не моя это вещь,— сказал Володя твердо.

— И тебя мы хотели выдвинуть на групкомсорга...— покачал аккуратно причесанной головой Радик, секретарь комсомольский.

— Да его в шею надо гнать из комсомола! Чтобы не засорял славных рядов,— выразил свое мнение директор и снова посмотрел на часы.— Ты хоть можешь понять, что произошло? Вы же школьника покалечили! Ребенка, можно сказать...

— Кто это — мы?

Хороши, кстати сказать, дети — девятый и десятый классы! А мы, значит, взрослые.

— Да вся ваша... как это называется... шобла! Или кодла — без разницы. Родители же заявили в милицию!

— Лично я никого не калечил.

— Может, скажешь, что тебя там вообще не было? И драки ты не затевал?

Смолчи, Козорезов, смолчи. Отпираться и врать — это всегда недостойно.

— Ты хоть в зеркало смотрел эти дни? Лицо свое видел?

Старый человек директор. Уже за пятьдесят ему, наверное. Слишком давно был он молодым, иначе помнил бы, что задиры с синяками не ходят. Они чаще вешают фонари, чем сами носят... Но самое смешное и даже удивительное было то, что в театре как раз он, Володя, и поднял весь этот кипеж. Оказывается, и он может ударить первым... Это — открытие! Новая веха в судьбе. А вообще-то ничего странного. Хотел бы он посмотреть... да на того же Бориса Кондратьевича, окажись тот на его, Володином, месте. Если бы ему в ухо стряхнули пепел с сигареты. Да, да, подкрались сзади, когда у него руки были заняты, и...

Ну, Володя и дал в дюндель тому из школяров, кто ближе

стоял и ржал громче других. Импульсивно, в общем-то, не раздумывая. И выбил себе палец большой, неудачно попал... Тут ребята из группы — Гаврош, Чингис, Козырь... И понеслась! Конечно, обстановка и без того уже была наэлектризована. Они все время нарывались, школяры эти. Еще в зале, во время первого действия, начали постреливать из рогаток проволочными шпонками. Знали гады: случись что — «ремесленники» всегда виноватыми будут, они же все трудные да дефективные...

Но разве это расскажешь здесь и сейчас? Вот этим мужикам, преющим в пиджаках и галстуках, зевающим, не открывая ртов, а делающим вид, что они хотят знать, как все было на самом деле? Да хоть бы оно и так — есть закон, один из главных: при начальстве держи рот закрытым и ни в чем не признавайся, даже в том, за что тебя не накажут. И на следующий вопрос ответ уже готов.

— Ну, ладно. Допустим, что не ты зачинщик. Тогда кто?

Володя усмехается стороной рта.

— Не помню...

— Опять ладно! Ну а кто был с тобой? Называй пофамильно.

— Я правда не помню, Борис Кондратьевич. Меня как шарахнули по голове — в глазах потемнело. А когда очухался, смотрю — все кругом дерутся.

— Ты вот что, ты бросай придуриваться!

Опять двадцать пять... Умничать нельзя, придуриваться — тоже, а как же прикажете с вами разговаривать?

— Ты отвечай по существу поставленного вопроса. Кто это все? Кто конкретно?

— Ну... Я не запомнил. Мне тогда не до этого было.

— Как же ты не помнишь? Вот же сейчас, перед тобой, кто в кабинет заходил? И их не помнишь?

Володя молча помотал головой. Отвечай только за самого себя — еще один важный закон.

— Можешь дать честное комсомольское? — встрял Радик.— Извините, Борис Кондратьевич...— Поправил туго затянутый галстук, бордовый в синюю крапинку.

— Честное комсомольское? Пожалуйста, хоть два...

— Ты вот что!..— начал директор.

— Не спеши, Володя,— вклинился теперь Николай Иванович.— Этак мы сейчас начнем честными словами бросаться... Сам рассуди: поломали парню челюсть. По экспертизе — твер-

дым предметом. Значит, этой вот гадостью, так надо понимать...

— Да не я это, Николай Иваныч! Вы посмотрите, какие тут дырки для пальцев! А у меня — гляньте...— Володя показал свои руки, предмет горького сожаления: в их группе ни у кого больше таких маленьких не было, разве только у Парамонова, но тот ведь недоросток, у него и кличка — Гном...

— А раз так, то это уж чистая уголовщина, с применением холодного оружия. И между прочим, тебя опознали...

— Ничего я...

— Опознали, это факт. Или тоже не помнишь?

Ну да, как же! Забудешь эту делегацию! Привели ментов, бедные деточки, стукачи несчастные: обидели нас, дяденька, заступитесь! Ходили по мастерским и аудиториям, тыкали пальцами налево и направо.

— Пойми,— увещевал Николай Иванович своим проникновенным голосом,— дело может быть передано в суд, и тогда уж...

— А я при чем? Не мой ведь кастет.

— Но ведь доказать это ты не можешь! — воскликнул Радик.— А у нас имеются данные, что зачинщик — ты. В конце концов, свидетели есть.

— А что им стоит договориться,— возразил Володя.— Ведь из одной шайки-лейки.

Конечно, противно вот так отпираться, лепить горбатого к стенке. Но с другой стороны, почему это он должен доказывать, что не виноват? Это вы попробуйте доказать, что виноват...

— Ты подумай, какое пятно ложится на училище, на комсомольскую организацию — на всю! Из-за тебя одного!

Новые новости! Уже Козорезов один виноват у них во всем.

— Не успел начаться учебный год... Еле успеваешь пальцы загибать: то карточки спортлото утащили из киоска, то разбой учинили в парке, то лошадей угнали... Теперь вот это,— заговорил мастер двадцать седьмой группы, до сих пор молчавший (Емцев, кажется, его фамилия. Этому-то какое дело? Его ребята в свалку не лезли, издалека поглядывали только...).— Надо принимать бес-по-щад-ные меры. Сколько можно жалеть?

— Ну что ж,— вздохнул Борис Кондратьевич.— Думаю, на этом и остановимся. Время, понимаешь-нет, зря не будем тратить. И так все ясно. Кроме одного: что ты станешь делать,

когда мы тебя отчислим из училища? Конечно, если на этот раз с правоохранительными органами все образуется...

— Что вряд ли,— вставил Радик.— Ой, вряд ли!

Тут как тут. Нет бы заступиться за своего комсомольца — он его топить помогает.

— Так что делать-то будем, Козорезов?

— Не знаю.

— Эха-ха-а!

Борис Кондратьевич, поскрипывая суставами, начал подниматься из-за стола.

— Эх, молодняк! Кто ж за вас знать-то будет! Или вы сами себе не нужны?

Задвигали стульями и все остальные, зашевелились...

— Мне можно идти? — спросил Володя, поняв, что представление окончено.

Конечно, представление: роли расписаны, знакомы всем назубок. Заранее известно этим дядям, что они будут делать с каждым из проштрафившихся, так чего зря комедию ломать и себя и людей томить?

— Иди,— сказал директор.— Держать не будем.

— Это я уже понял...

— Ну, добро, хоть что-то понимаешь, не до конца эту способность утратил. Может, и не совсем еще конченый человек. Н-да... Хорошо же у нас учебный год начинается.

Борис Кондратьевич выпятил нижнюю толстенную губу и громко, на публику, вздохнул.

— Ничего напоследок не хочешь нам сказать?

— А что? — обернулся Володя уже в дверях.

— Ну, например, прощения попросить.

— А за что?

— За что? За что, спрашиваешь? Ну, вот у Радий Леонидыча, понимаешь-нет, за строгий выговор, который ему влепят. С Николай Иваныча опять премию снимут, с мастера вашего. Ты когда вообще в последний раз премию-то получал, Николай Иваныч?

— Дело-то не в премии,— пожал плечами мастер.

— Не только в ней,— уточнил Квадратыч.— Выговорок тебе тоже обеспечен.

Честно говоря, одного человека из этой компании было все-таки жалко — Николая Ивановича. Во всем училище он один звал Володю по имени.

3

По общеобразовалке нынче занятий нет, и можно законно двигать домой. Не очень-то хочется, но куда еще с такой гулей пойдешь...

Володя осторожно мнет пальцами синяк. Рассасывается уже, но пока что слишком заметен. Так что домой.

Слава богу, мать сегодня поздно с дежурства придет, можно будет что-нибудь придумать.

«Здравствуй, мама!» — «Добрый вечер, сынуля! Что новенького?» — «Да ничего такого особенного. Из училища вот, правда, выгоняют, но это еще не точно...» — «Из ремесленного?! И где ж тебя теперь примут, если даже отсюда погонят?» — «Прямо уж — даже отсюда...» — «А что же ты думаешь? Кого в эти ПТУ сплавляют из школ? Одно хулиганье!» — «Разве папа не с училища начинал?» — «Папа был деревенский! Это совсем другое дело, во-первых. А во-вторых, как папа — таких больше нету... Господи, что же делать-то!» — «Ты очень-то, мам, не переживай. Меня еще, может быть, под суд отдадут, в тюрьму посадят, а там кормят и одежду выдают, небось не пропаду...» — «Ой, да во что ж тебя втянули бандюги эти?» — «Никто меня никуда не втягивал! Просто так получилось... Ну, в общем, тебе все подробности в училище расскажут. Директор тебя вызывает, вот записка...»

Володя вынимает записку, мнет ее в кулаке и бросает в первую же урну. Но бумагу подхватывает порывом ветра, и белый комочек летит по асфальту, пока не запутывается в свалявшейся траве газона.

Выдаются в начале осени такие вот печальные дни: и небо вроде ясное, и не холодно еще, не сыро, но ветрено, пыльно и дымно от костров, где жгут вялую опавшую листву. И к этой горечи дымка голубоватого примешивается горечь иная какая-то, быть может вызванная смутным пониманием: что-то ушло, кончилось...

Но что?

Лето? Другое придет, и третье, и четвертое... И много лет вас ждет впереди, много, очень много жизни.

Все так, но другая будет это жизнь, а вот минувшее лето... да что лето — день, час и, к сожалению, даже секунда, мелькнувшая между двумя ударами сердца, не вернется никогда... Никогда!

И все-таки не веришь до конца в это! Как, неужели все

необратимо? Вот все-все, что вокруг, что внутри тебя самого? И можно вернуться назад только в пространстве? Значит, так не бывает, как рассказывают друг другу в детских садах карапузики: «Я сначала был маленький, как сейчас, а потом рос, рос — и стал такой большой-большой!.. А потом опять стал маленький... и снова буду большой!»

И в шестнадцать лет смириться трудно с тем, что это всего-навсего легенда...

И почему же так хочется иногда вернуться назад? Во времени — назад.

Подойдя к автобусной остановке, он услышал:

— Эй, Козорез! Ходи наша сторона!

Троица расположилась на садовой скамье, одной из немногих на тополином бульваре, делящем широкий проспект Труда надвое: по левой стороне — автобаза, нескончаемый забор асфальтобетонного завода, электроподстанция, а дальше — хлебозавод, а по правой стороне — завод радиодеталей, домостроительный комбинат, их родное ПТУ-49 и только в самом конце улицы, за овощной базой, несколько жилых пятиэтажек. Такой вот проспект.

Они сидели на спинке, курили, то и дело сплевывая на тротуар.

Чего им надо? За тот год с небольшим, что они вместе проучились, двумя словами только и перекинулись. И то сам Володя пробовал завязать разговор, а ему отвечали снисходительно и кратко. Ну и он, видя такое дело, перестал набиваться, хотя, конечно, обидно, что настоящего товарища у него в группе нет... Как это они еще в драку влезли там, в театре, отбили его у неприятеля... Наверно, потому и ввязались, что не поняли, кого там лупцуют. Видят, форма бурсацкая, значит, наших бьют! А знали бы, что это Козорезова отоваривают, стояли бы, поди, поодаль, как те, из двадцать седьмой...

— Ходи, ходи! Твоя ничего бойся не надо! — опять позвал Гаврош.

Володя поставил на бордюр баллончик из-под лака «Прелесть» — метров двести он уже гнал его впереди себя — и поддал пинком.

— Даю пас!

Но ветер помешал ему похвастать меткостью. Дурацкий ветер, несуразный. Дует со всех сторон сразу, кажется, и облака в небе ходят кру́гом...

Он пропустил тяжелый трубовоз, обдавший его теплой гарью из выхлопной трубы, и перешел дорогу.

— Здорово, кого не видел! — сказал, хотя видел-то нынче всех. Вместе торчали у директорской приемной,— и Гаврош, и Чингис, Бес, еще несколько пацанов, товарищей по неожиданному несчастью.

На приветствие не ответили.

— Ну, рассказывай,— потребовал Бес.

— Ты прямо как директор,— усмехнулся Володя.— Он тоже: «Ну, рассказывай!»

— Ну а ты?

— А что я?

— Рассказал?

— А что я мог рассказать? Я и не знаю ничего. Так и ответил.

— Молодец, если так...—лениво и одобрительно кивнул Бес.

Похвалил, как салагу, как шестерку свою, как...

— Э т и... стучать агитировали? — спросил Гаврош.

— Было дело.

— Ну а ты?

«Ну а я и заложил всех подряд» — так и подмывала нечистая Володю пошутить в своей манере, но он знал, что эти ребята никаких шуток не понимают, кроме собственных.

Поэтому он просто замер по стойке «смирно!» и отрапортовал:

— Сексотом быть не согласился! Сказал, что ничего не помню по причине сотрясения мозга!

— Ну, очень-то с ними не надо было фа-фа ля-ля... Чем подробностей меньше, тем лучше,— пожурил Гаврош Володю.— Запомни раз и навсегда: болтун — находка для шпиона. Вот учись у Чинги, пока он живой. Всю дорогу молчит, как рыба об лед... Да, Чинга?

Чингис ухмыльнулся и потупился.

— Ну а Квадратыч, он чего? — поинтересовался Бес.

— Хотел мне кастет пришить. Не на того напал! А вообще-то интересно, чей «костя»... Вы не в курсе?

— Вопросы присылайте на телевидение, передача «Что? Где? Когда?». Не забудьте на конверте нарисовать сову.— И Гаврош дважды ухнул, как ему показалось самому, по-совиному.

— А вообще-то, сказал, отчислять меня будут,— равнодушно поведал Володя.— Как зачинщика.

— Это он всем обещает,— утешил Гаврош.— Холостыми стреляет, на понт берет. За всякую чепурду выгонять начнут если, то кто в «бурсе», интересно, останется. Тогда надо будет всех вышибать. А у них, у э т и х,— пла-ан. Каждый год столько-то работяг выпустить. Что о н и, сами себе враги, премии будут л..шаться? Ништяк! Любимый город может спать спокойно и зеленеть.

— Так я разве чего? Только дело-то в милицию передают... Да что я вам рассказываю, сами все знаете.

— Кому положено, тот про это знал еще в прошлом году. Но тут будет нормалек,— уверенно сказал Гаврош, бросив окурок под ноги Володе.— Не бери тяжелого в руки, а дурного в голову. Только вот одну операцию нужно провернуть...

Гаврош задумался, пощелкивая ногтем большого пальца по нижним зубам и глядя оценивающе на Володю. Решился наконец:

— Короче так! У тебя полтинник найдется?

Володя пощупал карман.

— Не знаю... Сейчас посмотрю, сколько наберется. Была мелочишка...

— Да нет!— остановил его Бес.— Ты что, дурак? «Мелочишка, мелочишка»... Полсотни рублей нужно!

— Рублей?— переспросил Володя.— А зачем столько?

— «Зачем, зачем»!— нетерпеливо поморщился Гаврош.— Говорят тебе — надо! Для дела. Одну пасть надо заткнуть, чтоб не вякала, ясно? Вот,— кивнул он на Беса,— Лёнина мамаша ходила домой к тому пацану. Ну, к тому... к ранетому.

— Короче так,— твердо сказал Бес.— Надо, чтобы предки его заявление забрали назад из ментовки. Ну, они сперва покочевряжились для порядка, а потом заломили: кладите тысячу рябчиков нам на карман — заберем бумагу...

— Оборзели вконец,— осудил Гаврош людскую алчность.

— Ну, матушка с ними — торговаться... Скостила до пятисот. Только надо собрать одним махом, пока ничего не раскрутилось.

— Куй железо, не отходя от кассы,— пояснил Гаврош.— Короче, со всех, кого сегодня на разбор таскали, с каждого — по полтиннику.

— Сдавать мне,— уточнил Бес.— А матушка отнесет. И все будет о'кей. Ты когда сможешь?

Володя подумал.

— Наверно, завтра... Да, завтра принесу на завод.

— Лучше бы сегодня,— пробурчал Гаврош.— Ну да ладно. Только смотри, чтобы утром!

— Я постараюсь.

— Да уж постарайся... Это ведь из-за тебя все мы вляпались.

— Но немного перестарались,— добавил Володя.

Можно подумать, он их просил... Подумаешь... Ну, получил он по морде... Так первый раз, что ли? Не первый и наверняка не последний. Это уж точно. А теперь новая напасть. Пришли на помощь... Вроде того медведя, что оглоблей комара убил на башке у своего друга — мужика.

Гаврош посмотрел внимательно.

— Ладно, чего теперь... Мы все этим делом повязаны, надо вместе и отмазываться. Держаться друг за друга, понял? Один за всех и все за одного.

— Понял,— отвел глаза Володя.

— Вот и нормалек,— довольно улыбнулся Гаврош.— А то у нас один зафордыбачил. Сидоркин. Меня, мол, случайно замели, при чем тут я... Ну, вот ему Чингис... растолковал. Он таких пацанов не переваривает, кто от товарищей отворачивается, да, Чинга?

Чингис молчал и только невозмутимо постукивал чем-то по скамье.

— Что это у тебя? — спросил Володя.

— Покажи, Чингис,— велел Гаврош.— Это свой парень.

Тот протянул Володе свою игрушку.

Кастет был выточен из текстолита, в котором для тяжести кое-где были высверлены углубления и залиты свинцом. Точь-в-точь такой же, как на столе у директора. В отверстия для пальцев свободно пролез бы шарик для настольного тенниса. Кроме как с Чингиса, не с кого было мерку снимать. Ну разве только с Беса...

— Нормальная штукенция,— сказал Володя.

Если у тебя такой кулак, то зачем кастет?

Неужели правда, что сердце человека по размеру всегда совпадает с его сжатым кулаком?

И чего стоит самое большое сердце, если выше, в черепке, болтается мозг величиной с грецкий орех? Или с шарик для настольного тенниса?

4

С одной стороны, пятьдесят рублей — сумма немалая. Он их копил почти полгода, отстегивая по червонцу от тех денег, что им доплачивали к стипендии за практику. А всего в учебнике алгебры, что незаметно стоял на полке среди другой макулатуры, хранилось семь новеньких красных банкнот. Неприкосновенный запас. На экстренные расходы.

Денег, конечно, было жалко, но не так чтобы очень. Потому, быть может, что он еще толком не придумал, зачем они ему нужны, на что он их потратит. Ну, лежат себе и лежат... Другое дело, когда хочешь купить какую-то вещь, уже и облизываешься, а она — хлоп! — и уплыла прямо из-под носа... Тогда, конечно, обидно. А когда вынужден расстаться всего-навсего с несколькими жалкими бумажонками, не успевшими в твоем сознании связаться с чем-то желанным и необходимым,— то и тьфу на них!

Деньги сами по себе, как предмет обладания, Володю не интересовали. Другие за копейку удушиться готовы. Разумеется, приятно иметь сколько-то, чтобы просто чувствовать себя более или менее независимым, и швыряться полсотнями он не стал бы. Но здесь ведь другой случай...

Хорошо еще, что есть на свете люди, которые могут оценить челюсть или, скажем, нос, руку своего сына. А вот он, когда пришел домой, посмотрел на себя в зеркало, висящее в прихожей, посмотрел на подбородок свой и прикинул: сколько бы он за него запросил?

Так себе подбородочек, круглый, мягенький. Из тех, что называют безвольными. Порой даже справедливо называют, хотя иногда и ошибаются. Но у него, у Володи, без ошибки — безвольный, если честно признаться. Однако стоимость его он так и не смог определить, как ни пытался. И решил, что он, наверное, слишком себя любит. И лишним доказательством этого факта послужил аппетит, с которым он пообедал.

Просто поразительно, что у него за характер. Другие, попав и в менее жесткий переплет, ни есть, ни пить не могут, ни спать. И в жизни так, и в книгах неоднократно читал об этом. А здесь... не успел порог переступить, скорей-скорей на кухню, по кастрюлям лазить. Щи слопал неразогретыми, на подоконнике помидоры лежали неспелые, зеленовато-бурые,— смолотил семь штук с картошкой и луком. Честное слово, чем сильнее ему доставалось, чем крупнее были неприятности, тем

прожорливей он становился. Он этот феномен еще раньше заметил. А все, наверное, от эгоизма подсознательного.

После еды страшно захотелось лечь. Иногда прямо одолевала какая-то слабость. Нахлынет ни с того ни с сего, приступом, и хоть ты что делай. А иногда такая бодрость, даже взбудораженность бывает — все бы шевелился, делал что-нибудь, шел, бежал, летел... Но сейчас хотелось прилечь. Вот что он купит, когда опять наберет денег,— диван! Ну что это такое, дивана в доме нет! Мать говорит, если покупать, то сразу гарнитур, чтобы все в одном стиле... Так это сколько сто́ит! А диванчик очень недорого, если в комиссионном. Он видел, есть нормальные, уютные и не сказать что совсем уж рухлядь. Поставит себе в комнату, а вы со Светкой — как хотите. Но он своего мнения не изменит: чем на мебель столько тратить, лучше уж мотоцикл купить. Можно «Яву» с коляской. Как раз на троих. А гарнитуры эти он знает, как с ними люди живут. Расставят в комнате шкафы и кресла, а сами на кухне живут и богатство свое за километр обходят, чтобы, не дай бог, не поцарапать. Или все чехлами поукроют, чтобы обивка не пачкалась и не протиралась,— не видно, что там и такое. Если на то пошло, можно в комиссионке взять кресло за бесценок, потом зачехлить его и всем говорить, что садиться на него нельзя, это — импортное.

Так размышлял Володя, сидя на стуле за своим ученическим письменным столом, стараясь отогнать неприятные мысли обо всем, что произошло за минувшие несколько дней. Но мысли эти назойливо тревожили, хоть и был он почти уверен, что с милицией все обойдется. Ну, если и не обойдется, то уж до суда дело не доведут. Его дело, Володино, по крайней мере. Не он же, в самом-то деле, покалечил того парня. Он к нему и вражды никакой не испытывал, как и к тому, кого сам ударил, кто ни в чем, может, и не был виноват, а просто под руку подвернулся. Кто-то с Володей по-свински обошелся, а ответил этот, другой... Ну и ладно, не будет ржать, глядя, как над человеком издеваются! А тот, с челюстью... Что ж, и на его месте мог оказаться кто-нибудь из пэтэушников, а пепел в ухо стряхнули бы какому-нибудь школяру. Не в этом ведь, не в этом все зло, вся беда...

Мать, если узнает...

«Я так и думала! Этого я и боялась! Зачем ты не вернулся в школу? Кто тебя гнал в ремесленное? С голоду мы не умирали, как-нибудь перебились бы, до сих пор ведь жили... Я чув-

ствовала, что новые друзья...» Это кто — Чингис, что ли, друг?

Товарищ по несчастью... И разве товарищ? Да и по несчастью ли? Скорее, по глупости и подлости... Но нет, лучше не думать об этом сейчас. Какая же здесь подлость? Простая самозащита. Это могло бы произойти и в техникуме, куда он мог бы поступить, и в школе, где мог бы остаться, если бы хорошо попросил директрису. Успеваемость у него хорошая была. А не вернулся в девятый... Так ведь их несколько, причин-то, целый комплект.

Ну, во-первых, когда ему на медкомиссии дали от ворот поворот, в школе уже были составлены списки тех, кто пойдет в девятый класс, и его фамилии там не было: он же сам раззвонил, что поступает в железнодорожный техникум, на отделение, где готовят начальников рефпоездов,— прощай, школа, опостылевшие порядки, здравствуй, студенческая жизнь!

Во-вторых, в классе никто бы не поверил, что не прошел он по здоровью, из-за близорукости, потому что, как ему сказал молодой врач, сам очкастый, на железнодорожном транспорте с плохим зрением он не нужен, как будто он собирался машинистом работать,— вот тоже порядки!.. А он, если бы пришел первого сентября в школу, в тот же день мог услышать за спиной шепотки и смешки: «Как же, медкомиссия не пропустила, признался бы уж честно, что завалился на экзаменах, хвастун несчастный!»

А в-третьих... Ну, матери этого не объяснишь! Вернее, объяснить он сумел бы, да... Понимает он, конечно, что это невозможно, нельзя быть полностью независимым. Но и жить в зависимости от слабой, какой-то вечно растерянной, слезливой женщины он больше не мог. Достоинство его страдало. Зависеть от нее означало признать себя еще более хлипким и беззащитным, чем она. А Володя себя таковым не чувствовал. И если он раньше сам выбрал техникум, то почему потом он точно так же не мог выбрать ПТУ?

И потом, кто сказал, что учиться в ПТУ хуже, чем в простой десятилетке? Аттестат он получит все равно — ну, подумаешь, на год позже. Точно такой же аттестат! И специальность на руках будет вдобавок. По окончании присваивают третий разряд, а будешь хорошо учиться — и четвертый. Если просто пойти на завод после школы учеником, скажем, слесаря, то четвертый разряд заслужишь только к старости, годам к тридцати, да и то если на одном и том же месте будешь работать. А на производство придется идти большинству школя-

ров. Все в институтах не поместятся. Кстати, и здесь у пэтэушника налажено удобнее: отличники в институт принимаются по льготе. Так что это мы еще посмотрим, где лучше, в школе или в «бурсе».

И в-четвертых, сколько можно вести пустопорожние разговоры? Что случилось, то случилось. Назад хода нету, ну и нечего после драки кулаками махать...

5

Окошко Володиной комнаты выходило на юг, но от солнца его загораживали ветви американского клена. Дерево было неказистое, корявое, и его давно уже собирались срубить, поскольку замучились выдергивать из земли зеленую, противную в своей крепости и неуступчивости поросль, которая мигом выбивалась на свет, стоило только семечку упасть с дерева и затеряться в траве газона, который отделял дом от ограды, не позволяющей прохожим рвать цветы с клумбы, красовавшейся у фасада. Теперь как раз настало время для клена позаботиться о потомстве, и от порывов ветра вертолетики семян разлетались во все стороны, выискивая места поукромнее, чтобы спокойно перезимовать, а уж весной проклюнуться, вцепиться корешками во влажную почву назло дворникам и вытягивать, вытягивать сладкие соки, перегонять их в тонкие гибкие прутики, чтобы те набирались сил, необходимых им для достижения заветной цели: вырасти, выдуриться и стать такими же неказистыми, корявыми и стойкими, как дерево-родитель. Главное сейчас — забиться куда-нибудь подальше от вездесущей метлы, от противнющего, отвратительно скрежещущего совка, и главное — от страшного, от последнего, что может быть для них только гибелью,— от огня.

Рассеиваются вертолетики, и листва совсем уже редкая. Насквозь видно крону, улица как на ладони. Народу заметно прибавилось — кончилась первая смена на станкостроительном, а от центральной проходной к остановке трамвая путь лежит мимо Володиного дома. Значит, скоро и Светка придет, нарушится его желанное одиночество и тишина...

Светка заявилась около шести. С ней две подружки, Женька и Ленка, одноклассницы. Та еще компания. Совсем пацанки, а разговоры — будь-будь, послушал бы кто!

«Ой, Дин Рид! Класс! Ой, Яак Йоала! Вообще — монтана! Такая моська!»

Моська — это лицо по-ихнему. И, кроме смазливых мосек, они ничем не интересуются. Такое убогое мировоззрение! Володя в их годы был другим... Впрочем, девчонки есть девчонки, что с них возьмешь!

Влетела в комнату Светка:

— Вов! Дай скорей маг!

— А что такое? — поднял он бровь.— Кто-нибудь помирает? Напоследок музычки просит?

— Ну ладно тебе, не вредничай!

Она подскочила к этажерке и схватила кассетник.

— А я не сказал еще тебе, что разрешаю,— окоротил он сестру, готовую уже мчаться сломя голову к этим своим приятельницам-кривлякам, ждущим в другой комнате.

— Мама на двоих нам его купила! — даже ногой притопнула она.

— А старший брат тебе не позволяет,— хладнокровно сказал Володя.— Значит, поставь на место.

— Подумаешь, глава семьи нашелся! Кормилец!

— Да, кормилец,— спокойно согласился он.— Будущий.

— Если бы ты на повара выучился, вот тогда был бы кормилец! А то с железками со своими... Всю квартиру керосином провонял!

— Вот окончишь восемь классов — и дуй в кулинарное! Котлетами будешь пахнуть.

— И дуну! Дуну! Пусти! Ну, пусти, ведь сломаем!

Он крепко держал магнитофон за ручку.

— Ну Во-о-овик! Ну пожалуйста! — Эта хитрованка мигом тактику меняет, когда ей нужно.— Ну пожалуйста!

— Вот так бы и сразу,— назидательно произнес он.— Вспомнила наконец волшебное слово. А то ишь разлетелась!

В общем, он не так уж и часто качал права, но иногда просто необходимо было указать Светке ее место. Совсем от рук отбивается, козявка.

Матери-то одной не уследить с ее скользящим графиком, полутора ставками и слишком уж мягким характером. А эта лисонька-кумушка так умеет подлизаться, что и каменное сердце растопит... Не мытьем, так катаньем добьется своего. Как же, с пеленок на особом положении: «Володя, уступи ей. Она же девочка, она же маленькая...» Это — мать. А вот отец, папа... Он был наверняка справедливый.

За стеной запел Валерий Леонтьев. И невмоготу было и дальше пялиться в открытый учебник английского, все равно в

голову ничего не лезет. Володя захлопнул книжку. Пойти, что ли, взглянуть, как живет, чем дышит молодое поколение?..

Он выдвинул ящик, достал черные пластмассовые очки. Погляделся в прихожей в трюмо — ничего, нормальный ход!

— Ну, привет, барышни! — поздоровался он, перекрикивая Леонтьева.

Девчонки танцевали, а Светка сидела за круглым столом, сдвинутым в сторону, и, прилежно головку склонив, что-то передирала из одной тетрадки в другую. Володя догадывался что. Не задание на дом, разумеется. Альбомы, вишь, у них! Вот так и распространяется глупость...

«Барышни», Женька с Ленкой, замерли на месте и переглянулись, дуры такие. Рослые девахи, плотные из себя. Светка бедная рядом с ними — недокормленный цыпленочек лупоглазый.

— Здрасте! — ответила она за подруг.— Давно вас ждали!

— Танцуем? — задал необязательный вопрос Володя и боком уселся на стул, закинув ногу на ногу. Из одного американского фильма поза.

Но эти свистушки при нем постеснялись, что ли, танцевать. Ушли к Светке и насупились там. Надули свои губы накрашенные. Да, да! Он и через темные стекла это заметил! Когда Володя в седьмом учился, у них в классе ни одна девчонка не красилась. Хотя, возможно, в школе-то и эти поскромнее выглядят. Ведь пока в пионерках числятся...

А он Светке давно сказал: «Увижу, что губы красишь,— тут же их и оборву!» И так уже обнаглела, на ночь волосенки свои жиденькие на бумажки накручивает. На эти... как их... на папильотки! Жалко, мать за нее заступается, он бы ей накрутил!

Девчонки посидели немного, пошушукались и стали собираться на выход. Ну, разумеется! Он им как бельмо на глазу. Развернуться не дает. А он из принципа не уходил к себе. Даже интересно понаблюдать, как они бесятся потихоньку, особенно Светка. Вон как вскинулась:

— Лина! Жанна! Ну побудьте еще!

Тоже прикол: Жанна... Лина, притти балерина... Уже имена свои и то их не устраивают! Ну и воспитание...

Светка пошла провожать. Так разволновалась, что и альбом свой забыла спрятать, оставила. Дело небывалое... А эти-то... И до свиданья не сказали, дикие овцы.

Володя взял со стола зеленую общую тетрадь и снял очки.

Да-а... Таких цветов, что на обложке расцвели, в природе

не найдешь, хоть все тропики облазь, на всех континентах... Кошмарный сон ботаника.

Он открыл тетрадь, на титульном листе красовалась среди замысловатых виньеток кудрявая надпись: «Альбом Стэллы К.».

Убиться можно!

Перелистнул несколько страничек, и тут она вошла — Стэлла! — ахнула и ринулась на брата, как разъяренная тигрица из непроходимых зарослей.

Вернее, как тигренок.

А еще вернее, как тот котенок из мультфильма: «Я — тигр! Сейчас как зарычу! Миау-у...»

— Отдай сейчас же!

Он увильнул от ее растопыренных рук, тоненьких, похожих на молодые веточки. Смеясь, обежал стол и с выражением прочитал, следя краем глаза за маневрами Светки:

— «Умри, но не давай поцелуя без любви!»

— Дурак!

— Ага! А ты — умная. «Бери от жизни все, что можешь!» Ну и как, получается?

— Получается!

— И что же ты берешь?

— Не твое собачье дело! Отдай альбом!

— Во, ты смотри! Как раз кстати: «Хорошо, когда собака — друг; плохо, когда друг — собака!» А это откуда цитата? Какой философ изрек?

— А что, неправда?

Светка рванулась к нему вокруг стола, но он снова увернулся.

— А это чей шедевр? «Любовь — солома, сердце — жар, одна минута — и пожар!» Эх ты! Лучше бы Пушкина читала...

— Иди ты знаешь куда со своим Пушкиным!.. Отдай!

Голос ее начал дрожать и ломаться. Заревет, чего доброго...

— Да на, на! Возьми свое сокровище! Тоже мне кладовая мудрости.

Он швырнул тетрадку на стол, Светка тут же вцепилась в нее и заплакала.

Ах ты, черт! Передержал он малость, нужно было чуть раньше отдать.

— Ну, ладно тебе хныкать-то... Подумаешь, беда — родной

брат проверил, чем ты занимаешься в свободное время. Чего страшного-то?

— А чего ты издеваешься? — подняла она лицо, все уже мокрое от слез и сморщенное. — И так надо мной все издеваются, и ты туда же...

— Кто это все?

— Никто!

— Вот те на! То все, то никто...

— Дед Пихто, вот кто.

Светка вытянула из рукава домашнего платья маленький платочек с розовой каемкой и промокнула глаза. И у Володи будто оборвалось что-то внутри, рядом с сердцем.

— Глупости это, — сказал он. — Ничего я не издеваюсь. Просто хочу, чтобы ты немножко поумней была. Ну, например, что это вот у тебя... — протянул он руку к «альбому».

— Не лезь! — прижала Светка тетрадь к груди и повернулась к Володе спиной.

— Вот что это, к примеру, за Стэлла? Это ты, что ли, Стэлла?

— Да, я! — огрызнулась она.

— Это тебя дурочки-подружки твои научили?

— Никто меня не учил! Самой так нравится. Какое твое дело? Вот буду паспорт получать и перепишусь на Стэллу.

— Вот это номер! Только попробуй! Да я... Я тебя тогда буду «стелькой» дразнить!

— И фамилию поменяю!

— Я тебе поменяю! Я тебе тогда...

— А ты в армии тогда будешь служить, не помешаешь, не сможешь!

— Ты посмотри! Она уже все обдумала! Все рассчитала!

— Да вот, представь. Потому что... Потому... — вновь захлюпала она.

— Ну хорошо, хорошо! Меняй все, что угодно. Только не плачь.

Этот платочек из рукава — он просто убил его... Чистенький такой.

— Ты знаешь, как меня один в классе дразнит? Прикупец, дурак этот...

— Ну и как? — защемило у Володи в груди, там, где чуть раньше оборвалось.

— Стишки читает... При всех... «У меня была коза...» А дальше вообще неприлично говорит. Не могу сказать... но

жутко неприличное. Главное, при всем классе. Стишки такие гадкие... И все слушают и смеются.

— Да?

Ну что делать-то будем, Козорезов?

Что-то ведь надо делать. Хоть сказать...

— Покажешь мне этого гаденыша. Я с ним разберусь.

— Правда? — взглянула недоверчиво Светка.— Разберешься?

— Спрашиваешь! Брат я тебе или нет!

Они помолчали. Светка наконец перестала плакать, только вздыхала.

— А эти твои...— спросил Володя.— Женька с Ленкой — они тоже смеются?

— Нет, ты что! Мы ведь дружим. Они хорошие девочки.

Вытерла насухо глаза, но веки у нее покраснели и припухли, все равно видно было, что она плакала. И может быть, это нехорошо, неправильно, но Володя больше любил сестру вот как раз такой, слабой, заплаканной, ждущей от него помощи, защиты.

Нельзя, конечно, сказать, что он не любил ее видеть веселой, когда она дурачилась, ехидничала, задиралась... Просто он так был устроен, что больше любил тех, кто в нем нуждался.

— Между прочим,— сказала вдруг Светка,— ты Женьке нравишься.

— Да-а? Большая честь для меня.

— Она спрашивала, ходишь ли ты с какой-нибудь девчонкой. Я сказала, что нет.

— А ты откуда знаешь? — возразил он, чувствуя себя слегка уязвленным.— Если я тебе ничего не рассказываю об этом, значит...

— Ой, брось, брось! А то бы я не увидела... Сидит все вечера дома, читает, стишки пишет...

— Что-что-что?

— Да ничего! Давно этого надо было ждать.

— Ах ты... По углам шарила? Шпионка!

Светка отпрыгнула к двери, проворно так.

— Я не шарила, Вовик, честное пионерское. Просто мама, когда стирала, велела мне постель тебе перестелить. А там тетрадка под матрацем...

— А ты давай сразу нос туда совать! Знаешь, что я тебе за это?.. Сейчас увидишь... Сейчас я тебе покажу!

Светка ждать не стала, а завизжала и пулей в ванную.

Вот пускай там и киснет, пока мать не придет! Альбомчик свой пускай перелистывает. Правда, темновато будет ей там, свет не успела включить, а и успела бы — он-то на что? Выключатель с этой стороны. Ничего, она, должно быть, все свои перлы наизусть помнит, не соскучится.

Вернулся он к себе, достал из-под матраца тетрадь, такую же зеленую, как и та, за которую Светка была готова ему глаза выцарапать. Но сходство, разумеется, было только внешнее, в остальном же... разве можно сравнить пошлое содержание «Альбома» вот с этим! Это он все написал сам. И раньше, до того, как он это сочинил, таких стихов вообще не существовало в природе. Не было на свете! Уж какие они есть, хорошие или так себе,— в этом смысле значения не имеет. Они — его!

Может быть, и слабые. Да, скорее всего... Но принадлежат только ему. Нужно ведь человеку что-то отдельное от всех. Нельзя, чтобы жизнь вся была на виду, чтобы все в нее влезали. Душно, тесно и душно вот так жить, не владея ничем, за что можно держаться и что было бы только твоим.

И у него, кроме этой тетради, ничегошеньки не было.

Плохо же он ее хранил. Не прятал. Не считал нужным. Знал: мать наткнется — не заглянет, ей это неинтересно. Прятать от Светки? Это было бы ниже его достоинства.

Да и где тут спрячешь?

Вот эта комната... Считается, что это его территория. Старомодная никелированная кровать, платяной шкаф, кто его знает, может быть, даже и славянский. Этажерка, стол... Все открыто, все доступно: подходи, заглядывай, залезай, проверяй, кон-тро-ли-руй!

Как-то заикнулся насчет того, что хотел бы замок в дверь врезать, так... у матери такое выражение на лице обозначилось, точно он предложил квартиру разменять.

И вот тоже характер: чуть что — в слезы! Дядя Миша, брат ее, рассказывал, что она с детства такая плаксивая. И Светка в нее пошла, все время глаза на мокром месте. Даже странно, как в девчонке рядом уживаются и слезливость, и агрессивность, грубость, нахальство, чуть ли не прямое хамство иногда. Может, это у нее переходный возраст? Может, подрастет — мягче станет, как мать? Ну, не совсем такая же, конечно, чтоб как две капли воды. Этого не надо. Излишняя мягкотелость — она тоже не очень-то... Даже и в женщине. В матери это качество порой страшно раздражает его. Ну прямо такая беспомощная, такая... Принцесса на горошине! И не поверишь,

что в деревне, в Криуше, родилась и жила, пока не поступила в городе в медучилище.

И вот эта ее неисправимая привычка жаловаться... И кому? Совершенно чужим людям! Преснякову, допустим. А кто он такой?

Да, работали они вместе с папой, в одном автохозяйстве. Да, были товарищами. И с похоронами он помог, и оградку с памятником установил — спасибо! Большое спасибо — и до свидания! Нет, наладился ходить — и так сколько уже лет таскается... Друг семьи, дескать.

Знаем этих друзей! Клинья подбивает, сватается. Вот дикость!

Да Володю просто коробило от одной мысли, что этот мужик будет ему отчимом, что мать будет стирать Преснякову белье и кормить его обедом... А он еще, чего доброго, будет расхаживать по квартире в одной майке и трикотажных штанах с оттянутыми коленями, выпячивать по-хозяйски пузо. Отвратительно было и представить себе, как Пресняков садится за стол, мать наливает ему суп, а сама отходит к плите и там ждет, что он скажет, похвалит или станет хлебать молча, с недовольной физиономией.

И ему все рассказывать, открывать? Ябедничать на сына постороннему — да, постороннему! — дяде? Ах, Вова двойку получил, ах, в магазин отказался идти, от телевизора его за уши не оттянешь... Нельзя, что ли, все эти пустяковины тихомирно в кругу семьи обсудить? Или уж он совсем потерял совесть? Ничего подобного! И понятие о том, что можно, что нельзя, как надо и как не надо, тоже, слава богу, имеет. Не маленький. Давно уж не маленький!

А взять тот, весенний случай... Когда она «нечаянно» обнаружила в его столе, в ящике, нож. Сделал он выкидной, с кнопкой, ножичек. Даже не до конца. Клинок еще не выскакивал, не хватало одной маленькой детальки — кусочка часовой пружины. Вроде пустяк. Поди, однако, отыщи... Нужен был старый будильник с механическим заводом... Но, дело не в этом. Хотя, конечно, жаль, что так и не пришлось ему насладиться вот этим: нажал на кнопочку — чик! — и выскочил клиночек.

Главное, сам, своими руками все вырубил, вырезал, обточил, шлифанул, отполировал... Сталь углеродистая, закаленная, отпущенная, хромированная, зеркальная — зайчики пускать можно! А чего стоило это! В гальваническом знакомых — никого. Еле-еле уболтал одного парня. Подковок ему десяток

сделал, набойки на женские сапоги. Даром-то никто не поможет. Только так: ты мне — я тебе.

И столько работы впустую!

Ну, хорошо! Наткнулась ты на этот ножик. Не будем сейчас выяснять, случайно или нет. Да какое там случайно! Если зашла, чтобы только немного прибраться, зачем тогда было в столе все вверх дном переворачивать? Однако не будем! Пускай ты нашла его нечаянно. Почему ты не спросила, почему не захотела все разузнать у сына? Он бы тебе охотно открыл, как на духу: так, мол, и так, мама, смастерил я эту штуку из интереса. Видел такой у одного пацана, у Козыря, еще зимой. «Дай,— говорю,— посмотреть, что за конструкция». А он дулю показал. Так что этот механизм я сам изобрел, если хочешь знать. Попробовать хотелось, смогу ли сработать какую-нибудь сложную вещь один, своими силами. Именно что-то непростое. Смог, как видишь...

И это глупо, конечно, и все-таки спроси любого мужчину, настоящего мужчину: хотел бы он иметь такой ножичек? Рубль за сто — никто не отказался бы. Разве только этот твой Преснякова. Только он не может понять, что это ведь для большинства обыкновенная забава. Вот, например, лежат в магазине две зажигалки — простая и «пистолетик». Какую скорее возьмут? Конечно, «пистолетик». Потому их и не найдешь. Даже некурящие покупают. Это ведь игрушка, а игрушки не только детям нравятся, но и взрослым. И еще неизвестно кому больше.

Вот и все! Ведь я не имел в виду ничего такого, преступного.

Но если ты не веришь собственному сыну, сказал бы Володя, то на, возьми этот нож и делай с ним что хошь! Все, что угодно, лишь бы ты успокоилась. Хочешь — спрячь, хочешь — сломай, выброси и так далее...

Не будем же мы из-за ерунды ссориться, трепать друг другу нервы, мы ведь не чужие, должны беречь друг друга.

Нет, привела этого Преснякова на подмогу! И разгорелся сыр-бор:

«Не кричи на мать, сопляк!»

«Да я хотела только порядок навести...»

«Аня! Перед кем ты оправдываешься! Ты — мать. Это он пусть перед тобой оправдывается. Объясни-ка, герой, для чего тебе это?»

«Карандаши чинить!»

«Не увиливай! По людски отвечай: на что тебе такой ножик бандитский?»

«Сынок, признайся честно...»

«Честно? Правду сказать?»

«Именно!»

«Ну, если честно... Инкассатора грабануть хотел!»

«Вовочка!»

«Знаешь что, ты брось тут перед нами выламываться! Нечего дурака валять!»

«Да я и сам понимаю теперь, что дурь все это. На такое дело идти если, автомат нужен. А с этой чепуховиной... Разве что у почтальонки чью-нибудь пенсию отнять. Вон у тети Даши. Подстеречь в подъезде...»

«Что ты несешь, болван!»

«Вовик... Сынок...»

«За эту чепуховину твою свободно года три тюрьмы схлопотать можно. Чепуховина!»

«Ничего, люди и в колонии живут...»

«Вот видишь, Саша! Вот попробуй с ним поговорить. Такой развитый! Начитался книжек своих — как теперь с ним? Разве его переспоришь?»

«Начитался он... Книжки читать — это не главное. Главное — что он оттуда берет для себя. Да и книжки — они тоже разные бывают. Такие есть, что за них тоже в тюрьму загудеть можно. Обратно же — книжки книжками, а взрослых тоже не мешает послушать, они жизнь прожили. Я, может, такое знаю, чего ни один писатель не знает!»

«Ну и что же вы знаете?»

«А то! За ношение оружия тоже есть статья. Даже за хранение. Вот придут к тебе с обыском...»

«С какой это стати?»

«Саша, да что ты говоришь-то, бог с тобой!»

«Ну, не с обыском, так просто будешь носить в кармане...»

«А кто вам сказал, что я собираюсь его носить?»

«А что ж, ты его так дома и держал бы? Небось перед ребятами рано-поздно все равно захотел бы похвалиться. Положил в карман, вышел на улицу, а там тебя — хоп!»

«Кто — хоп?»

«Кто, кто... Милиция, кто же!»

«Ни с того ни с сего, что ли?»

«А что ты думаешь? Могут и так проверить, у них права неограниченные. Я вот похож на бандита?»

«Не очень...»

«Ну вот, а ведь было! Иду с работы, а меня — хоп! Под локоток: «Пройдемте!» Привели в опорный пункт, обыскали. И сидел там часа полтора. Потом извинились — за другого приняли. Отпустили. А кабы у меня при себе да что-нибудь вот такое? Так бы и замели. А ты говоришь...»

«Ничего я не говорю».

«Вот то-то и оно, что нечего тебе сказать!»

Ну и дальше в том же духе.

Он спросил, спросил потом у матери, зачем ей понадобилось устраивать эту сцену.

«Ой, Вовочка! Я так испугалась, когда э т о увидела! Я боялась, как бы не случилось беды. Вдруг ты с плохими товарищами связался...»

Эти «плохие товарищи» у нее прямо идея-фикс.

Сам-то он такой ведь несмышленый, неразумный! Как бы на него дурно не повлияли!

Да пойми ты наконец, Анна Митрофановна, что у сына своя голова на плечах имеется! И не такая уж глупая, кстати. О том, что тебя беспокоит, он еще когда-когда размышлял! И даже опыт проводил: брал нож — и острие к голому своему животу... Сперва чуть-чуть надавил, потом еще немножко — больно! Жутковато! А если с размаху ударить, тогда что?

Словом, этот вопрос он решил сам для себя раз и навсегда: никогда! Ни при каких обстоятельствах!

Да что он, эсэсовец, что ли!

7

Он с детства умел поставить себя на место другого человека. Потому и драться до сих пор не научился и много еще неудобств переносит из-за своего слишком богатого воображения. И мягкотелость его — отсюда, и привычка рассусоливать там, где надо действовать решительно и безотлагательно.

А жалостливость? Прямо бабья какая-то, старушечья. Главное, знает он, что жалость унизительна для того, кого жалеют, что последнее это дело — вызывать у других чувство жалости к себе. Он сам, например, всегда старается вести себя так, чтобы никому и в голову не пришло про него сказать: ах, мол, бедненький! Как бывало еще в далеком детстве? Играешь в футбол, подковали тебя — что делаешь? Рыдаешь? Как бы не так!

Встал и побежал, сперва хромая, потом прихрамывая, а там, если игра интересная, и боли не чувствуешь. Но вытравить из себя жалость к другим он так и не смог пока. Уж и впросак попадал не раз со своим милосердием. В школе еще учился когда, поехали раз на уроке физкультуры в старый песчаный карьер покататься на лыжах. Глубокий карьер, склоны любой крутизны, выбирай место по вкусу — и никаких гор не надо. Учитель, Василий Петрович, привел к пологому спуску, но там одни девчонки остались. А ребята все рванули туда, где трамплины были из снеговых наносов. К каждому из них вела накатанная лыжня — ребята с окрестных улиц постарались, завсегдатаи,— и Стасик Внуков, не раздумывая, покатил по одной такой лыжне, разъезженной и глубокой. Разогнался, а там, внизу, перед самым уже трамплином, шутник какой-то пристроил петлю из толстой проволоки.

Володя одним из первых к нему подбежал: «Стасик! Стасик! Ты живой?» А Стасик глаза открыл и послал Володю далеко-далеко, не постеснялся даже Василия Петровича. Обидно, конечно, однако, с другой стороны, все правильно: не нравится человеку, когда над ним причитают. Так, в общем, и поступают настоящие мужчины и те, из кого они вырастают.

И случаев, подобных этому, было множество, потому что Володя даже на своих ошибках учился жизни плоховато, с двойки на тройку. Слишком дряблая у него душонка. Оттого, может быть, что вырос он в женском коллективе, да еще и нарочно учили его уступчивости: «А ты не связывайся, сынок, отойди, будь поумнее...»

Вот и стал он — умнее некуда... Как теперь себя перевоспитывать? И с чего начинать? Как закалить характер, сделать его тверже? Как научиться, например, спокойнее смотреть на то, как люди плачут? У матери, скажем, слезы могут быть вызваны причиной совершенно ничтожной, и все равно у Володи при виде этих слез возникало сразу такое чувство, что это он сотворил какую-то подлую гадость или гадкую подлость. То есть он знал, что ни в чем подобном не виноват, уверен был в этом, но чувство приходило именно такое. И он бросался с утешениями, извинениями, обещаниями больше так не делать... А чего не делать-то?

Светка тоже... Совсем не признает его авторитета, а ведь он почти на три года старше. С ней бы построже надо, а он не может быть достаточно долго строгим и справедливым. Вот и

сейчас начинает потихоньку точить беспокойство: как там она в ванной, в темноте, в компании с тараканами... Пора, кажется, ее выпускать. По справедливости — рановато, конечно, да ладно уж... Хоть и хочется ему время от времени надавать сестре по шее, Володя, в общем-то, хорошо к ней относится. Даже как-то раз, когда она сильно заболела, призадумался он: вот случилось бы так, что они по неизвестной причине существовали бы отдельно, в разных семьях, допустим, и никогда не видели друг друга,— узнал бы он ее, встретив ненароком на улице или где-нибудь? И Володя тогда почти не сомневался: узнал бы из тысяч. Такую он кровную близость, такое родство ощутил...

Да, надо ее освободить из темницы. Пусть уроки учит.

Только, жаль, не оценит она его гуманного поступка, обязательно матери наябедничает,— значит, опять не миновать лекции на тему «Как надо любить и беречь младшую сестричку».

8

Мать пришла с работы около девяти вечера. Светка выбежала ей навстречу, а Володя остался у телевизора. Пусть она без помех наушничает, он будет соблюдать выдержку.

Фильм был, конечно, ерундовый, как и большинство тех, что показывают по ящику. Какая-то мура про молодого председателя, единственно умного человека в своем колхозе, в районе и области. Его, ясное дело, никто не понимает, потому что кругом все отсталые, ленивые и вообще — дураки. Тема для Володи далекая и чужая, но он все равно смотрел, больше нечем было заняться. Играла роль и глупая привычка дочитывать до конца любую, даже сумасшедше скучную книгу и досматривать любое кино, включая полнейшую белиберду. А чтобы уменьшить силу охватившего его уныния, он играл в «угадайку»: предсказывал, как будет развиваться сюжет и чем вся эта канитель кончится. Сегодня это было особенно легко, с первых кадров уже было ясно, каково придется этому чудаку, выступившему в одиночку против почти что всех. Ну а победа останется за ним, как и должно быть в кино, иначе зачем его и снимать...

— Володя! — позвала мать из кухни.— Почему ты мусор не вынес? Это ведь твоя обязанность! Или ты ждешь, пока через край посыплется?

— Ой, ну сейчас, сейчас! — с досадой отозвался он.— Пять минут потерпишь?

Можно подумать, кроме как о мусорном ведерке, у него ни о чем голова не болит! Впрочем, не столько это напоминание раздражает, сколько манера кричать на весь дом. Неужели нельзя, если уж ты считаешь, что это необходимо, зайти в комнату и нормальным голосом спросить?

А молодого председателя начальство ругало за какую-то разобранную на части машину, из которой он сделал другую, своей конструкции, гораздо лучше и надежнее, и еще лишние детали остались. Какую-то сеялку или веялку...

— Неужели ты за целый вечер не мог выбрать времени?

Он не стал отвечать. И что за привычка у женщин устраивать бурю в стакане воды!

Вон от председателя жена-красавица ушла из-за его принципиальности. Но зато другая пришла. Правда, она тоже первого мужа бросила. Потом, под конец, его первая вернется, но будет уже поздно. Эти картины все по одной колодке штампуются, все равно что индийские. Володя, если бы ему дали, придумал бы не хуже...

Во! И точно — явилась. В белых джинсах и с сигаретой во рту. Научилась курить на стороне. Или и раньше умела, но при муже боялась, а теперь видит — терять нечего...

— Вова...

Ух, наконец-то! Конец фильма.

— Володя...

— Ну чего? Иду, иду! Сказал же, пять ми...

— Что это за деньги?

— Какие деньги? — переспросил он машинально, глядя на красные бумажки, сложенные веером в руке матери.

— Тебе лучше знать. У тебя же в кармане лежали...

— А я... не знаю...— пробормотал он.

И почему-то в ушах у него зашумело.

— Да как же не знаешь, когда у тебя в кармане... Где ты взял эти деньги? — не давала она ему собраться с мыслями.— Чьи это деньги, я тебя спрашиваю!

— Мои...— выдавил он.

Дебил! Надо было сказать, что чужие! Попросили передать долг кому-нибудь... Ну, придумать что-то... А-а! Без толку. Не поверила бы, подумала — краденые. Не дай бог, в милицию бы поволокла — явиться с повинной, чтобы совесть не мучила и срок поменьше дали...

— Да, мои! Что ты так смотришь? Это я сэкономил...

Она смотрела недоверчиво.

— Ты честно говоришь?

— Конечно, честно! А вот ты расскажи, как нашла их! По карманам уже начинаешь у меня шарить? Это честно?

— Я... Я не шарила...

— Ага! Они сами к тебе по воздуху прилетели...

Лучшая защита — нападение! Теперь ты оправдывайся!

Анна Митрофановна сбилась с толку.

— Я нечаянно... Я просто надела курточку и пошла выносить ведро...

— А почему тебе надо именно мою куртку брать, чтобы мусор выбрасывать? Своей у тебя нету? И зачем ты понесла это проклятое ведро! Я ведь сказал: пять минут!

Тут еще Светка выглядывает из-за плеча матери, на цыпочки привстала, рот открыла...

— Или пять минут нельзя было подождать?

Ну что ему стоило встать, бросить этот дурацкий телевизор и сразу выйти на кухню и все сделать! Вот получай теперь за свою глупость и лень.

— Вы что, вдвоем меня взялись пасти? Одна по комнате шманает, другая — по карманам! Прямо какие-то ищейки!

Орал он больше от злобы на самого себя. Зачем в куртку-то было класть, держал бы в брючном кармане — гораздо ведь надежнее!.. Вот же чокнутый! С ним последнее время частенько происходит что-нибудь в этом духе: ведет себя как лунатик, будто его кто загипнотизировал... Знает, что поступает по-дурацки, а остановиться не может. Словно руководит им некто со стороны против его воли. Однажды зимой он ехал в автобусе и вдруг поймал себя на том, что выщипывает мех из шубы у тетки, которая стояла перед ним... Хорошо еще, теснотища была, час пик, и она ничего не почувствовала, и никто из других пассажиров не заметил! А с кошельком тогда?.. Вообще стыдуха! Еле-еле удержался, чтобы не схватить... Вот могла быть история! Тоже был точно во сне, и словно кто-то подталкивал и внушал: возьми, возьми... И руку притягивало, как магнитом. Но очнулся, слава богу. А буквально на следующий день Козырь в группе рассказывал, как опера ловят карманников. Какая-нибудь милиционерша одевается попроще, набивает сумку тряпьем, а сверху кладет кошелек или бумажник. И ездит по всему городу в трамваях, троллейбусах, в магазинах толчется, на рынке... А рядом с ней, как будто посторон-

ние, два-три оперативника: ждут, когда рыбка заглотит наживку...

Настоящие легавые ищейки!

Он чувствовал, что его понесло, но опять-таки ничего не мог с собой поделать.

— Что вы нос повсюду суете! Что вынюхиваете!

— Да как ты разговариваешь... Как ты...

Мать прикусила нижнюю губу, быстро подошла к столу, бросила деньги и, вся уже в слезах — как из фонтана, честное слово,— села на стул и, как Светка давеча, вытащила из рукава платок.

— Значит, ты скрываешь от нас деньги? От мамы и от сестрички?

Да уж... Скроешь от вас...

— С чего ты взяла? — буркнул он, полыхая огнем.

— Значит, ты не все мне отдаешь, что получаешь...

Как назло, их разговоры теперь чаще всего так и строятся: она упрекает, он оправдывается... Надоело!

— Откуда ты знаешь, может, я как раз и хотел их потратить на тебя и на Свету.

От отвращения к себе его мутило.

— Мы с Юрой... Мы с твоим папой прожили десять лет... Он никогда... Ни одной копейки... Все до копейки в дом... Я-то думала, что ты...

— Ну вот что, мама! Давай-ка договоримся! Либо ты мне ставь папу в пример, либо подключай к воспитанию дядю Сашу! Что-то одно!

— При чем здесь дядя Саша?

— Да все при том!

Вот удобный момент уйти к себе в комнату Он поднялся и, твердо ступая, пошел к двери. Там, загораживая выход, стояла Светка — руки в боки, голова к плечу. Он отодвинул ее в сторону, как неодушевленный предмет. Ехидину эту...

Но тут же и вернулся. Слишком похож был его уход на трусливое бегство.

— Пока этот самый Пресняков будет сюда таскаться, чтобы ни слова я от тебя не слышал об отце! Ясно?

— Вот ты и вырос...— не слыша его и не слушая, всхлипнула мать.— Вот и стал мне помощник...

— Жадюга! — сказала Светка.— Скопидом!

— А ты заткнись!

«Осенняя страда близится...» — начал бодро диктор, и Володя выключил телевизор.

— А деньги эти... Не нужны они мне тыщу лет! Я, может, как раз хотел сюрприз вам устроить...

— Спасибо,— всхлипывала мать,— спасибо...

Уснуть он не мог допоздна. Лежал в темноте с открытыми глазами и крутил старый «Альпинист». Этому приемнику с надтреснутым, скрепленным синей изолентой корпусом уже сто лет. Еще отец всегда брал его в рейсы. И в тот, последний,— тоже...

Пресняков рассказывал, что кто-то снял с разбитой машины все более или менее ценное: воздушный сигнал скрутил, стеклоочистители, реле поворотов, уцелевшую фару вынул, и в кабине... и в кабине, где отец сидел без сознания, может еще живой... и там искали, что можно взять. Время-то было, и много... Всю ночь машина стояла на обочине. А транзистор не тронули. Не заметили, а скорее всего — погнушались. Расколотый, кому он нужен? Но внутри все было цело, исправно. И ловит он до сих пор отлично, если батарейки новые, особенно поздним вечером.

Мама говорила, Пресняков его тогда принес. Куртку, документы и приемник... Володя не видел, как все это было, ничего не видел. И проститься с отцом ему не довелось. Он как раз в лагере был, во втором потоке, и некому было за ним съездить и некогда, говорят... А сам Володя думает, что о нем тогда просто позабыли, но признаться в этом стыдно. Вот и получилось так. Когда Светка маленькая была, иногда хвасталась, чтобы его уязвить: «А я видела, как папку закапывали, а ты не видел, ага!»

Ну, это, конечно, когда она совсем еще была безмозглая, ничего не соображала...

А может, и лучше, что он не видел похорон. Не до конца можно во все это верить...

9

Гаврош его ждал у проходной.

— Ну, принес?

— Только двадцать рэ. Пока больше нет.

— А когда будет?

— Не знаю.

Те полсотни так и остались лежать на столе, но он пока не всю потерял совесть, чтобы к ним хоть пальцем прикоснуться.

— Как это — не знаю? — вытаращился Гаврош.— Ты вчера что обещал? Вот и давай! Отстегивай! Иначе нам всем — во! — Он приставил к горлу два растопыренных пальца.— Вилы будут!

— Ну, не получилось. Сорвалось.

— Ну, ты даешь! Было же сказано: это дело мигом надо провернуть! Тебе что, на зону охота? Иди! А мне неохота из-за тебя залетать. И всему коллективу тоже. Так что давай по-хорошему свою долю, а дальше нас не касается... Короче, так! Завтра последний срок.

— Ну не могу же я их нарисовать!

— Найди, займи, укради, отними, но чтобы завтра...

— Может, ты одолжишь?

— Ну, ты и сморозил! У меня аж зубы заболели. Я что, миллионер? — Гаврош отвел глаза, подумал.— А продать ничего не можешь?

— Нет, откуда...

Продать... Он бы продал, да кто захочет купить его ценности? Фотоаппарат «Смена» со сломанным затвором? «Альпинист»? Его он не отдал бы ни за какие деньги. Магнитофон?

— Кассеты если, японские...

— Японские, говоришь? Новые?

— Новые, в августе покупал, в конце. Правда, они уже с записями. Три штуки.

— А что там у тебя? Если что приличное, то можно неплохую цену взять.

— Записи отличные, прямо с дисков... «Бони эм», «Липс», Клифф Ричард...

— Хватит, хватит! Ты меня уморишь. Кому это старье сейчас нужно? Ладно там — «Секс Пистолз», «Эй Си Ди Си», ну — Вилли Токарев, одесситы... В общем, так: все стирай. А вечером принесешь... Дом культуры кордной фабрики знаешь где?

— Конечно, за кого ты меня считаешь...

— Вот туда приходи часам к восьми. Попробуем толкнуть. Может, по «чирику» за штуку выручим, если новые... Не вешайте носа, поручик Голицын!

Их группа была раскидана по нескольким цехам. Володю вместе с Чингисом, Репелом, Гаврошем и Козырем прикрепили ко второму, где изготовляли электролитические конденсаторы. Слесарка находилась на пятом этаже, рядом с картонажным

участком, который больше других нравился Володе. Работали там в основном пожилые женщины, шили коробки для готовой продукции. Швейные машины время от времени разлаживались, и ему очень нравилось их вновь настраивать, и делал он это быстро и хорошо, что было важно, так как платили картонажницам сдельно, от выработки.

Задача вроде бы и несложная — отрегулировать подачу тонкой стальной проволоки, которой скреплялся картон, так, чтобы скрепочки получались ровные и загибались в меру, но требовалось тут одно качество — чутье. И у Володи оно было. И он добился в этом деле успеха. Лучше Володи настраивал машины только Витя Дубов, здешний ветеран, слесарь-ремонтник пятого разряда. У Дубова тоже имелось необходимое чутье на механизм, но с утра дрожали руки. И если его звали, то он требовал себе «лекарства», а на картонажку «лекарства» не выдавали, нечего там было промывать. Поэтому, когда Надька — самая молодая в бригаде и потому бывшая на посылках — прибежала звать слесаря и механик, Петр Федорович, хотел послать Дубова, тому был сделан решительный отвод:

— Нетушки! Давайте нам Володю!

Дубов обиделся в шутку:

— Зря ты, Надь! Старый конь, он, знаешь, борозды не спортит.

— Но и не глубоко вспашет! — не полезла за словом в карман языкастая Надька. И забрала с собой Володю, дождавшись, пока он переоденется в спецовку.

Дубов не спорил: зачем? Он на окладе, свои сто восемьдесят так и так имеет. Как говорится, солдат спит — служба идет. Только Дубов не спит, в отличие от знаменитого солдата. На его ремесло спрос найдется, в цеху-то, считай, одни женщины и молодые девчонки работают, человек триста. А им много чего нужно: той замок починить, другой — зонтик, третьей ключ выточить, да мало ли что...

Ключи, кстати, самый надежный калым. Эти тетки — такие растеряхи... Еще, конечно, дюралевые расчески в цене. А цена известная — сто граммов технического спирта... Это здешняя валюта. Так что через полчаса после прихода на работу руки у Дубова и других умельцев, кадровых рабочих, перестают дрожать. Работает Дубов хорошо, надежно. Взгляд веселый, но к концу смены, правда, он совеет и делается вялым, а на следующее утро опять у него трясутся руки золотые... Кроме шуток, золотые. Ну, в крайнем случае — серебряные. Володе прихо-

дила в голову мысль, что никакого бы ему и ПТУ не нужно, три года там дурью мучиться! На один год, нет, на полгода поставили бы рядом с Витей Дубовым — и все дела. Он во всех станках разбирается не хуже инженера иного и секретов не имеет никаких, всегда объяснит и покажет толком, как и что... Главное же — практика. А теорию — «Машиноведение» там и прочее — можно и самостоятельно, по учебникам изучать.

Конечно, на всех «бурсаков» таких Дубовых не хватит, но если не по одному ученику прикреплять к наставнику, а по двое, по трое...

Но так, конечно, никогда не сделают. Потому хотя бы, что наставник в своем деле может быть асом, но при этом закладывать за воротник, выпивать, как тот же Витя. Не может служить идеальным примером.

А жаль. Это ведь Дубов научил Володю и швейные машины регулировать, и чертежи читать, и еще многому другому. Показал, например, как плексиглас обрабатывать, чтобы поверхность оставалась гладкой, без задиров. Прием несложный, но сам ни в жизнь не додумаешься. А всего-то и надо, что хорошо смазать плекс техническим вазелином и пройтись мелкозернистой шкуркой — тогда вещь будет иметь аккуратный вид. Приятно и в руки взять. И мелочей таких Витя знает, должно быть, миллион. И если видит, что кто-то неправильно что-нибудь делает, то никогда не смеется, не подтрунивает — молча показывает, как лучше сделать.

Конкуренции он не боится. Володя имел случай убедиться. Раз пришла к ним в слесарку работница: «Мальчики, кто бы мне ножичек сделал, картошку чистить?»

А пэтэушникам в этот день работы не было, не смогли найти: мусор вывезен, красильная камера почищена, территория подметена, техника исправна. И готовую продукцию грузить не звали — машины не подъехали ко времени. Ну, Володя и принял заказ.

Взял старое полотно от ножовки по металлу, вжих-вжих на наждачном круге, дальше — на шлифовальном, ручечку приклепал такую, что закачаешься. Подложил под плексиглас фольгу жатую — все по дубовскому методу: поднесешь к свету — лучи сияют фиолетовые, потому что плексиглас изнутри подкрашен пастой, которой ОТК маркирует конденсаторы... В общем — красота.

Работы — полчаса. И не работа — развлечение.

Заказчица: «Ах! Ах! Как же мне с тобой рассчитываться, сынок? Конфеток купить или спиртику налить?»

Отказался он и от того и от другого. Больно надо!

А она: «Ну, дай бог тебе невесту хорошую! А то попадется какая-нибудь, веревку из тебя совьет, из такого-то недотепистого...»

Дубов даже ухом не повел.

А вот Гаврош — он тоже рядом околачивался,— тот начал зудеть: «Дурак! Если у самого ума нет, другим-то не сбивал бы коммерцию! Пускай бы тащила спирт. Сам не употребляешь — так подумай о коллективе, о товарищах...»

Гаврош — малый практичный. Только все норовит чужими руками жар загребать...

10

Пообедав, они собрались в курилке: Володя, Гаврош, Козырь и Репел. Чингис нынче опять почему-то не явился. С ним это бывало постоянно, все привыкли уже. То он вообще на занятия не придет, то среди урока поднимется молча и отправится неизвестно куда... А на практику вообще мог начихать. Его поведением управляли какие-то скрытые от него самого глубинные силы, и он, не понимая их и не пытаясь понять, подчинялся им без раздумий и колебаний. Посторонним вход в его внутренний мир был запрещен и закрыт намертво. Володя так его представлял себе, этот мир: двери железные, какие бывают в бомбоубежищах, а за ними — пустой бетонный бункер без окон и вентиляционных отдушин. Цементный голый пол, тусклая, в зарешеченном плафоне лампочка... Ничего больше.

Завидовать нечему. Разве тому только, что Чингису все сходило с рук. Почему — это не загадка. Какие меры можно применить к чугунной болванке? На переплавку отправить? Но для таких, как Чингис, домны еще не изобрели...

Они здесь были одни, остальные рабочие свободно курили в слесарке, имели на это моральное право: коренные обитатели. Охота им была через весь цех сюда топать! А пацанам это на руку: никто не привяжется, не начнет воспитывать... А то взяли себе моду — молодежь критиковать! Вы на себя взгляните!

Володя не курил, а присутствовал по необходимости. Каков бы ни был коллектив, нельзя от него отрываться. Чтобы

не стать белой вороной, а значит, и козлом отпущения, стараться приходится иногда изо всех сил.

Здесь их и застал Николай Иванович. «Мастерюга».

Их группе мастер достался особенный, отличный от других: он никогда не ходил при галстуке и никогда не приказывал — только просил. И голоса не повышал ни на кого.

Одним это нравилось, другие считали, что он только притворяется таким справедливым и добреньким, а на самом деле от него только и жди какой-нибудь подлянки. Такой же он, как и остальные, просто хочет их ввести в заблуждение, чтобы они расслабились и раскрылись.

Проверить, какой же он настоящий, что из себя представляет в натуре, случая не выпадало. Решили тогда, что хорошо уже и то, что он не бегает на них жаловаться по всяким пустякам, что хлопочет за них перед заводским начальством, и, если возникали конфликты в самой группе, никогда он не принимал чьей-либо стороны, потому что любимчиков себе не заводил,— одним словом, жить с ним можно, однако полностью доверять все равно нельзя.

— Ну, как наши дела? — спросил он, подсаживаясь с краю на скамейку.

— Наши дела — отличные, Николай Иваныч! Как всегда! Чести училища не уроним и к выходному дню придем с большими — вот такими — успехами! — ответил за всех Гаврош.

— Что ж, это хорошо. А конкретно какую работу выполняли? Вот ты сам что делал? Давай-ка докладывай.

Гаврош поправил свой замурзанный берет и откашлялся:

— Кхе-кхе! Значит, так... Загибайте пальцы на руках и на ногах, Николай Иваныч. А вообще-то не надо, не загибайте. Вы же все у механика можете спросить. Он вам и опишет, кто где сачковал.

— Я от тебя, Коля, хочу услышать.

Николай Иванович закурил с невозмутимым видом. Несерьезный тон, который избрал Гаврош, не мог его ни обидеть, ни обескуражить. За двадцать лет он их перевидал ой-ё-ёй сколько, таких вот балагуров!

— Да что рассказывать, Николай Иваныч... — начал Гаврош, потупясь и стуча в пол каблуком тяжелого тупорылого ботинка.— Все одно и то же; каждый день — как заведенные: то цепь на транспортере лопается, клепать заставляют, краской дышать, то вот сегодня на штамповке подшипник маховика меняли — в солидоле вымазался весь, как поросенок... Палец

прибил себе. Вон, смотрите, какой ноготь черный стал. Ящики с инструментом в кладовой двигал, теть Аня уборку там затеяла. Такие тяжелые эти ящики, Николай Иваныч, а тут еще слесаря сквернословят, и я у них, наверное, тоже скоро научусь... И вообще скучно!

— Хм, скучно ему... Может, еще кому скучно? Тебе, Володя?

— Ка-анешно! — сказал Гаврош.— Козорезов до обеда в картонажке с девчонками баловался, вот ему и весело. А его бы заставить маховик снимать со штампа! В нем, наверное, целая тонна, в маховике. Как у паровоза колесо...

— Погоди, погоди, Коля! Что-то ты не туда гнешь. А ты как думал? Завод! Здесь тебе и тяжело, и грязно, и скучно... Зачем же ты тогда в ПТУ к нам на эту специальность определился?

— Так из школы-то выгнали! — заметил, смеясь, Козырь.— На зону-то он по конкурсу не прошел. А куда-то же надо деваться.

Репел, Козырев подхалим, хихикнул.

— А вот с этим шутить не стоит,— серьезно сказал Николай Иванович.— Тюрьма, как говорится, не предмет для развлечений. Особенно сейчас. После того как ваша... наша группа в театре-то... начепушила.

— Да! Да! — горячо поддержал его Гаврош.— Осквернить такое место! По-моему, Николай Иваныч, это варварство!

— Вот чем паясничать да на смех себя выставлять, ты лучше бы жить учился, Гаврилов,— посоветовал Николай Иванович и полез за новой папиросой.

— Как это, как это?

— Да вот так это! Ровесники ваши за Родину жизнь отдавали, а вы ее куда деваете?

Мастер зажег спичку и помолчал, глядя на маленькое пламя.

— Тот на мотоцикле убился, тот по пьянке утонул, тот «плану» накурился, анаши этой, и с этажа то ли упал, то ли сам сиганул, то ли спихнули его... А драки? Перед вами у меня группа была, хороший парень учился — Сережа Листов. В общежитии жил, из села приехал. А к ним в общежитие повадились там одни приходить и деньги отнимать... Человек пять или шесть местных, городских. В общежитии-то народу много живет, да толку мало. Тоже все время что-то делят, разделить не могут. Кучкуются по районам, да кто на каком курсе, да кто в какой группе...

— Феодальная раздробленность,— вставил Володя — не удержался от дурацкой привычки.

— Да,— подтвердил мастер.— Лебедь, рак и щука. И всех пощипывают эти местные. Тогда Сережа видит такое дело, сколачивает своих земляков, лупит городских... Ну и ладно, хватит! Нет, вошли во вкус и начали уже порядок наводить по тем улицам, которые вокруг общежития. В целях профилактики. И переборщили. Не разбирали уже ни правого, ни виноватого. А что в результате? Кому — три, кому — пять, а Сереже, как главному,— восемь!

— Ну вы и нарисовали картину! — неодобрительно покачал головой Гаврош.— Во всем городские, оказывается, виноваты...

— Общего или усиленного? — осведомился Козырь.

— Чего? — не понял Николай Иванович.

— Я спрашиваю, восемь лет — общего режима или усиленного?

— Этого не знаю. Не в курсе. Да и какая разница, ведь жизнь так и так зачеркнута...

— Нет,— уверенно сказал Козырь.— Разница есть большая. Мне брат рассказывал. На усиленном режиме, конечно, плохо. А если общий, они там живут лучше, чем на воле...

— Неправильно твой брат рассуждает, и ты вслед за ним! Так ему и передай от меня лично. Не может быть в неволе лучше, чем на свободе. И поменьше его слушай, побольше старайся сам, своей головой соображать.

— Понял, олигофрен? — пропищал по-клоунски Гаврош.— Думай своей немытой башкой и веди себя хорошо, а то дяденька минцанер заберет!

— Как об стену горох... Талдычишь вам, талдычишь...

— Нам хоть кол на голове теши,— согласился Гаврош.— Я по телику передачу видел про воспитание таких вот неполноценных, как мы. Там один профессор говорил, что у нас сейчас со словами что-то... Какая-то две... деволюция...

— Девальвация,— подсказал Володя.

— Говорит, надо личный пример подавать, а не нотации читать подрастающему поколению,— полностью игнорируя Володю, продолжал Гаврош.— А то есть некоторые: то нельзя, это нельзя, а сами и курят, и по-другому безобразничают.

— Намек понял,— усмехнулся мастер и бросил давно погасший окурок в урну.

— Да нет, нет! Курите, не обращайте внимания, Николай

Иванович! Это я про тех, которые, например, врачи, а сами — вон чего! Вы же нас за это не гоняете...

— Насчет меня ты, Гаврилов, маленько промахнулся.— Мастер достал из кармана пачку.— Прямо скажем, пальцем в небо угодил. На-ка, читай...

— Что вы,— отказался Гаврош,— я безграмотный. Да тут и не по-нашему написано, чего вы мне подсовываете! Вон Козорезову дайте, он аж ногой топает, образованность хочет показать.

— Читай, Володя...

— Не знаю я, что здесь написано. Это, кажется, немецкий язык?

— Правильно. Это мне брат из Германии привез. От астмы лекарство такое...

— То-то я чую — дым какой-то странный,— сказал Козырь.

— И вот, Гаврилов, чтобы не пришлось тебе со временем тоже такие курить, лучше бросай то, что сейчас у тебя! Пока не поздно!

— Ну и ну! — восхищался Козырь.— Это их, значит, можно и в первом классе при учителях курить! Лекарственные!

— Откуда вы знаете, что не поздно? — захныкал Гаврош.— У меня здоровья-то совсем нету. Вот здесь колет, и голова болит. А тут еще — понос, постоянка...

— Брось курить — и все пройдет,— пообещал Николай Иванович.— И задумайся, задумайся над жизнью. Вы же, как говорится, самых простых вещей не разумеете. Самые несложные правила не усвоили: что можно, что нельзя... Вот вы слесарное дело когда стали изучать, с чего начинали?

— С молотка и зубила,— ответил Козырь и посмотрел на левую руку, пошевелив при этом пальцами.

— Так! И болванку чугунную тебе дали, чтобы ты учился правильно бить и по пальцам себе не попадать. Так?

— Конечно.

Да, это было самое нудное и болезненное — днями стоять у верстака и рубить зажатую в тиски болванку. Просто рубить, превращая ее в чугунные крошки, и зубило держать голой рукой — рукавицы надевать не разрешалось...

— Вот тебе и «конечно»! И надо вам было добиться до автоматизма! Чтобы получалось все само собой: и бьешь с размаху, не глядя, и пальцы невредимы. Так и в жизни должны вы навык приобрести такой, чтобы жить и на каждом шагу не раздумывать, правильно поступаешь или неправильно. Чтобы

автоматически у вас получалось — хорошо, как надо. А плохое чтобы и в голову не приходило...

— Николай Иваныч,— прищурился Гаврош.— А мы ведь так и делаем. Ведь бьем, учимся...

— А думать, по-вашему, что — совсем не надо? — спросил Володя.

Николай Иванович в замешательстве почесал подбородок, вздохнул:

— Эх, опять у меня не получается! Не гожусь я в лекторы. Не подходит сюда этот пример, к такой ситуации...

У Володи вертелись на языке слова, которые любила повторять их классная руководительница, «англичанка» Несси. И они таки сорвались, как он ни старался в этом разговоре оставаться только слушателем:

— Вы, наверное, хотели сказать, что человек должен делать добро так же естественно и незаметно для себя, как он дышит?

— Я, хлопцы, вообще-то вот что хотел объяснить... Ну, ладно, буду по-простому, раз у меня с примерами не выходит.— Он оглядел их всех.— Пора уже вам кончать эту бузу. Вы ж поймите,— наклонился вперед и понизил голос,— вот сейчас мы, старики, вас окорачиваем... А мы ведь совсем пожилые, скоро и... Вы что же тогда, тоже драться станете, калечить друг дружку, а? Когда за вами догляда не будет? Вы подумайте: мы помрем — и вы останетесь одни, сами себе господа... Что ж тогда? Совсем перебьете один одного? Или учиться будете, как вместе вам жить? А учиться-то надо уже сейчас. Сейчас надо плохое-то от хорошего...

— Нет, Николай Иваныч,— перебил его неугомонный Гаврош.— Рановато вы на себе крест ставите, зря, зря! Вы еще и нас переживете...

— К сожалению, на этот раз ты прав, Гаврилов. Не всех, но кого-то переживу,— согласился невесело мастер.— И многих молодых уже пережил, к сожалению. Ладно, пойду. Мне еще в двадцать первый надо и в пятнадцатый...

— Велосипедик бы вам,— участливо заметил все тот же Гаврош.

— Какая муха тебя сегодня укусила, Гаврилов?

— Не муха, Николай Иваныч,— комар. Вылетают, гады, из подвала, у них там улей, и кусаются всю ночь. Хотел я их потравить, да батя всю малину испортил. Привел какого-то друга домой, выпили они, отдыхать начали. А ночью другу еще выпить захотелось, шарил, шарил по полкам да и наткнулся на

этот пузырек, что для насекомых... И теперь нечем их выводить, кровососов этих.

— Ладно, завтра я твоему отцу дымовую шашку принесу... Николай Иванович вышел.

— Может, и мы пойдем? — сказал Володя, когда за мастером закрылась дверь.— Сколько времени?

— Около без малого, чуть не в аккурат,— ответил без запинки Гаврош, глянув на голое грязное запястье.— Не спеши, а то успеешь, Козорезов.— Он посмотрел со значением исподлобья.— Что, душа болит за производство? Она у тебя сейчас о другом должна болеть...

— Ты на что это намякиваешь, Гаврош? — поинтересовался Козырь.

— Мы знаем, но не проболтаемся, да, Козорез? Мы язык за зубами держим, пока они у нас еще имеются.

11

Полтора часа уже он сидел у магнитофона. Аппарат был дешевый, третьего класса, и стирал с такой же скоростью, с какой и записывал, и воспроизводил. С одной стороны, чем проще устройство, тем надежнее механизм, но с другой стороны... Скоро уже Светка заявится, а у него ничего не готово, просто досада берет! Если бы Петр Федорович пораньше отпустил, времени было бы с запасом, но он и говорить на эту тему не захотел. А вдруг, дескать, ваш мастер опять придет и обнаружит твое отсутствие! А мастер сказал бы: «Я-то не против, да что скажет механик... На практике вы ему подчиняетесь...» Так и кивают вечно друг на друга. А почему бы не сделать элементарно: с утра дали твердое задание — и все! Выполнил — свободен!

Светка же сразу, как придет, за вертушку хватается... Хорошо еще, что она больше нашу эстраду любит, чтобы понятно было, про что поется. К английскому языку у нее антипатия. Не хочет понять, что на нем весь мир общается. Или взять «Аббу» — группа шведская, а поют-то на каком языке? Японцы, опять же, все по-английски шпрехают. И японки, которые вот эти кассеты делали, тоже небось понимают... Там ведь всякие такие штуки, связанные с электроникой, радио, делают девушки. Такие улыбчивые, с черными блестящими волосами, миниатюрные, старательные. Делают

они свое тонкое дело, и ни одна из них не может себе представить, что их продукцией один человек будет откупаться от другого. Что три куска пластмассы и несколько метров магнитной ленты могут кому-то в далеком, неизвестном им русском городе, названия которого они никогда не слыхивали, помочь отвертеться от суда. Думают, поди-ка, что судьба человека — слишком важная штука и не может зависеть от нескольких кассет с пленкой...

Ерунда! Не думают они ничего, а мечтают, всего скорее, чтобы им зарплату прибавили да отпуск давали подлиннее... И вообще, такие простые вещи у них давно уже роботы делают, а девушки... ну, на кнопки, может, и нажимают.

Да крутись же ты быстрее!

Надо же, как получилось... Нету времени и послушать на прощанье любимые мелодии. Ладно, если даже по тридцать копеек откладывать каждый день, за три месяца наберется достаточно, можно будет и новые купить, вот только редко их выбрасывают, да к Новому году, наверное, появятся.

А эти... Если мать спросит, он скажет, что дал товарищу послушать. Какому товарищу? Ты его не знаешь. А перед Светкой он отчитываться не обязан.

И тут же он услышал, как проворачивается ключ в замке.

Светка? Ну и легка же на помине!

Оставив магнитофон включенным, он вскочил и занял место в дверном проеме, прислонился плечом к косяку.

Светка была чернее грозовой тучи, фыркала, двигалась порывисто — все признаки того, что опять с ней что-то не в порядке. Курточку с себя сдергивала так, будто она горела на спине.

— Привет! — поздоровался первым Володя.

Она только губы поджала в ниточку, и личико ее пошло красными пятнами. Протопала мимо брата, как рассерженный ежик. Побежала в ванную руки мыть.

Чистоплотная — спасу нет! Даже мать — медицинского работника — перещеголяла. В транспорте едет — держится только за стенку, а если рядом Володя или мать, то вцепится в рукав и так стоит всю дорогу. А домой приходит откуда-нибудь — сразу она за мыло. Особенно после того, как увидела раз в автобусе, что пацан один в носу немножко поковырялся и той же рукой потом взялся за поручень. Смехотура!

— Ладно, Свет, давай мириться,— предложил он, думая,

что это она из-за вчерашнего так себя ведет, выказывает ему свое возмущение.

Да пускай себе пыжится, лишь бы отвести сейчас ее мысли от магнитофона. А то ведь она и на принцип может пойти, чтобы доказать равенство прав, все тогда испортит, а это ведь последний шанс...

— Ну чего ты, в самом-то деле, ерепенишься?

— Тебе-то какое дело!

— И не груби брату! Забыла, что мама все время говорит: братик у тебя один...

— Что один, что ни одного, какая разница...

Она вышла из ванной и остановилась в прихожей как бы в раздумье. Володя быстро подошел к ней, взял за тощенькие плечи и сказал, как мог, ласково:

— Ну что ты, Светик...

Она вырвалась и, глядя в сторону, вдруг прошипела:

— Да опять с-с-скотина эта... на физкультуре...

— Постой, какая скотина?

— Ты что, уже забыл? Я же тебе вчера говорила!

— А-а! Да-да,— вспомнил Володя.— Этот, как его... Купец, кажется?

Неужели вчера? Как будто целая неделя прошла...

— Прикупец!

— Ну конечно, конечно... Ну и что он? Все то же?

Светка внимательно посмотрела брату в глаза и отчетливо произнесла:

— Сегодня. Он будет. Без пятнадцати или без двадцати семь. Идти. На тренировку. В школьный спортзал. Но мы придем. Еще раньше. Если ты не передумал.

— Ну за кого ты меня принимаешь! Я же сказал, что займусь этим типом.

— Ты станешь за угол, пусть он думает, что я одна... А когда подойдет поближе, я тебя позову.

Володя заколебался:

— Слушай, Свет, а может, лучше я сам это мероприятие проведу? Зачем тебе вмешиваться? Ты ведь девочка...

— Ну да! А как же ты его узнаешь без меня?

— Ну, ты опиши мне его, какой он... Нарисуй словесный портрет.

— Нет...— заупрямилась она, с ненавистью глядя куда-то мимо Володи.— Я должна там быть обязательно.

В половине седьмого вечера стоял он у глухого кирпичного

забора, отделявшего школьный двор от малолюдной улочки, на углу, под надписью, начертанной меловыми аршинными буквами по серой штукатурке: «ZORRO».

День угасал, сгущались лиловые сумерки, зарождалось тягостное чувство в душе. Он не любил это время суток, и если был дома в такой час, то сразу шторы задергивал на окнах и зажигал свет — делал ночь. И в кино любил сеансы, которые начинались еще засветло, а кончались, когда на улице совсем уже темнело и зажигались фонари.

Весной, летом — полбеды, а вот зимой и пуще всего осенью неуютно он себя чувствовал, причем всего хуже в ясную погоду... Другие не любят, скажем, дождя, а у него это любимое время для прогулок. Снег — еще лучше. Метель — красота! Но вот эта зыбкая пора — ни то ни се, ни день ни вечер. И тихий, прозрачный воздух... Такая жуткая хандра накатывала! Настоящая депрессия. Впервые ощутил он ее давно, в детстве, можно сказать. Ждал он тогда мать и Светку на проспекте Октября, у входа в универмаг — здоровенный магазинище, самый большой в городе. Они уже набегались в тот день, натолкались в очередях то за тем, то за этим, а теперь Светка потащила мать за елочными игрушками — сызмальства чокнулась на всякой такой мишуре. Там была толпа, настоящая свалка,— декабрь подходил к концу... И он не полез в эту сутолоку, остался ждать их на улице. На тополя, что перед магазином росли, могучие, раскидистые, дореволюционные, должно быть, еще, начали слетаться воробьи — целыми стаями, точно со всего города. Чем понравились им эти деревья? Здесь, у ярких витрин на светлом и шумном проспекте, воробьи ночевали зимой и летом, круглый год. Гвалт поднимали, скандалили, метили отдельных прохожих; никому это не нравилось, но и справиться с хулиганами никто не мог. Там потом из-за малых пташек и спилили старинные тополя. А пни остались — что обеденные столы, честное слово. Замучились их корчевать.

А в тот вечер они, тополя, стояли пока целы и невредимы, и он ждал у центрального входа, недалеко от этих воробьиных прибежищ, и едва-едва смеркалось. Было не холодно, даже вроде бы подтаивало, и снег под ногами не скрипел. Народу на проспекте — настоящая демонстрация! Мать обещала, что они управятся за несколько минут, но прошло и полчаса, и час, а они все не появлялись. Он смотрел прямо перед собой, смотрел на машины, автобусы, троллейбусы, на поток людей — муж-

чин и женщин, взрослых и детей — и слушал глухой по мягкому снегу топот больших и маленьких ног, ловил краем уха птичий гомон и обрывки чужих разговоров... И вдруг все окружающее стало казаться ему нереальным, словно это была не явь, а странное воспоминание, как будто он точь-в-точь такую же картину видел уже когда-то, давным-давно, и лет с тех пор прошло больше, чем было ему самому... Видел в точности, а свет, которым озаряло город бледно-сиреневое небо,— тот самый свет, знакомый, все им освещено, что видишь во сне...

И у него появилось чувство, что это сама жизнь проходит перед ним, бежит, несется, спешит мимо, а он один не шевелится, безучастный заколдованный мальчик, как дерево, живое, но лишенное возможности двинуться с места... Вот о той волшебной тоске и напоминал ему всякий раз первый сумрак раннего, ясного вечера.

А тогда он очень сильно...

— Вовик! Вовик! Он идет, идет!

Светка, выглядывая из-за угла, возбужденно махала рукой, призывая брата свершить наконец праведный суд и наказание над негодяем.

Ну, Козорезов... Теперь ты не Козорезов. Теперь ты Бес! Ты — Бес!

13

Негодяй Прикупец был почти одного роста с Володей, хотя годами значительно моложе. Конечно, волейболист...

Володя поманил его пальцем, но парень притворился, что не понял, его это зовут или кого другого.

— Ну-ка, иди сюда! — строго приказал Володя, соображая тем временем, как ему поступить, если этот сопляк не послушается.

Но Прикупец, помешкав, правда, у ворот, все-таки приблизился.

— Ну, чего?

— Чевочка с молочком! — съехидничала Светка.

Малый в ее сторону и головы не повернул. Уставился на Володю наглыми глазами навыкате. На лоб его была низко надвинута вязаная темно-синяя шапочка-гребешок с буквами «Fin», за плечо заброшена спортивная сумка. Пан спортсмен...

— Мне говорили, ты хорошо стишки читаешь. Не один раз

говорили. Вот я и пришел послушать. Может, что-нибудь вспомнишь веселенькое, а? Специально для меня.

Малый выглядел довольно противно. И не стоило, разумеется, с ним антимонии разводить, надо бы сразу приступить к внушению, но Володя все еще находился в каком-то отстраненном состоянии, раскачка требовалась.

— Ну что ж ты? Давай, хоть один куплет...

Кто бы подсказал Володе, как себя надо вести в таких случаях...

— Какие стишки?

Но физиономия начала у пацана розоветь — понял, понял какие! Да и как не понять, Светка-то рядом стоит, на лице жажда крови написана.

— Ну чего ты пучеглазишься? Какие, спрашиваешь... Что-то там у тебя есть про домашних животных... Про козу какую-то... Ну-ка, давай! Как там начинается?

— Он язык проглотил со страху,— торжествовала Светка.

— Чего-о? — Наконец-то и она была удостоена презрительного взгляда.— Кого это я должен бояться?

Вот тут Володя и ущемил ему нос двумя пальцами:

— А ну, смотреть сюда! Вот так! Меня ты должен бояться, понял? Да стой ты, не дергайся... И слушай: если еще раз обидишь мою сестру... Если ты еще языком своим поганым трепанешь.. Ты понял меня?

Прикупец загундявил что-то невнятное.

— А теперь,— раздельно, сурово потребовал Володя,— проси у нее прощения! Ну!

И он, желая приободрить пацана, потрепал его легонько за нос. А зря. Того как-то разом прошиб пот, и повлажневший дюндель выскользнул у Володи из пальцев. Волейболист ловко отпрыгнул и был таков. Разве его догонишь, усердно тренированного!

Володя и не пытался организовать преследование. И у спортсмена было еще время оглянуться и пригрозить:

— Ну, теперь жди, козел! С тобой Черкес будет разбираться!

И скрылся наглый желторотик за тяжелыми дверьми школы, которая не так давно считалась и Володе родной. Как это — альма матер, что ли?

— Эх, ты! — сказала Светка огорченно и взглянула на брата с недоумением.— Что ж ты его не стукнул хорошенько?

Она не скрывала разочарования.

— Иди домой,— сказал Володя,— и делай спокойно уроки.

Ее лицо вдруг как-то увяло, и вся она стала — горечь и презрение.

— Не мог ему втереть разок... Я-то думала, у меня и правда есть брат. Думала, ты его отколошматишь...

— Ну, хватит! Расстоналась! Тебе что нужно, чтобы он дразниться перестал или чтобы... Вот если он опять возьмется за свое, тогда я его... По-другому с ним поговорю. А пока пусть считает, что его строго предупредили!

— В другой раз я и без тебя обойдусь! И сегодня могла бы. Мне Жанна предлагала, и Лина тоже... Мы бы его втроем свободно отдуплили. А ты все только испортил!

— «Втереть», «отдуплили»... Где набралась-то этого? Ладно, бандюга, давай беги домой, пока не стемнело!

Светка резко повернулась и ушла, сутулясь и загребая одной ногой желтые листья, насыпавшиеся за день на тротуар. Ни разу не оглянулась.

А Володя, недовольный собой, отправился на автобусную остановку. Ехать ему было недалеко, и он не торопился. Да если и опоздает немного, с Гаврошем ничего не сделается, потерпит, подождет... Он заинтересован в том, чтобы дождаться. В конце концов, что́ Володя — развлекался, что ли? Он выполнял свой долг, причем довольно-таки неприятный! И выполнил! Мало ли что Светка говорит...

Ну как, как ей объяснить, что рука у него не поднимается ударить того, кто слабее? А пацан, конечно, слабее, хлипкий, пусть и крупный из себя. Масса-то большая, а крепости в нем настоящей все равно нету. Так что стыдно было бы и связываться с малолеткой.

Но вот загвоздка: малый-то этот, Прикупец, он-то ведь издевался над Светкой. Это ведь подло — так вести себя. Разумеется, он Светку не бил, но что из того? Подлость должна быть наказана. Обязательно. А как? Ведь если Володя его, допустим, побьет, «отдуплит»,— будет это справедливо? Будет: не обижай беззащитных! Нравоучениями-то, словами правильными такого типа не воспитать, у него в одно ухо влетает, в другое — вылетает... Однако, если взглянуть под другим углом, он не имеет права применять силу: Светка слабее Прикупца, но Прикупец ведь слабее Володи! Прямо замкнутый круг получается. Где же выход? Ждать, пока пацан его догонит в физическом развитии или превзойдет — что, кстати, очень скоро и

будет,— и тогда вызвать его на честный, благородный поединок?

«Выбор оружия за вами, монсеньор!» Так, что ли?

Чушь собачья! Все было правильно. Ему не в чем себя упрекнуть. А Светка... Ну что Светка? Что она может понимать в этих тонкостях... Была бы поумнее, сочинила бы сама какой-нибудь куплет про этого Прикупца и пустила бы по классу: счет равный, один-один! Помочь ей чем-нибудь в этом духе?.. Нет, не тот она человек! Другой характер... Ладно, все нормально!

Одна только деталь смущала его — Черкес!

Какие отношения могут быть у этого салажонка с Черкесом? Что у них может быть общего? Прикупец не похож ни капли на ту ложкомойню, которая крутится вечной и верной свитой вокруг таких, как Черкес. Этот — из благополучных. Чистенький, розовенький, на волейбол ходит...

Нет, это он просто от обиды и бессилия своего погрозил... Вряд ли он его и знает, Черкеса. Так, слышал просто. Не мог не слышать, что есть тут, в микрорайоне, такая популярная личность — Черкес, или, по другому, Чурка. Да и кто-нибудь из Чуркиных адъютантов, должно быть, ходит в эту школу и даже «держит масть»...

Сам Володя два раза его видел. Первый раз — когда летом пришел в соседний двор. Там была разбита волейбольная площадка и, когда между столбами не сохло белье, играли все желающие, поделившись на команды. Швейцарская система: проигравший выбывает. Обычно много пацанов собиралось из окрестных дворов, и еще приходили «поселковые», то есть те, кто жил в частных домах, прилегающих к микрорайону.

Игра в тот раз уже началась, пыль столбом стояла. В одной команде играл парень с землистым лицом. Волосы очень короткие и какие-то бесцветные, а сам такой худой, какими бывают только больные. Играл он, не вынимая изо рта папиросы, и бил по мячу не как все, а ногами. Если он хорошо попадал, мяч улетал далеко за пределы площадки. А парень старался. И при этом командовал: «Ну-ка, дай пас! Сюда пасуй, ложкомойня!»

И ему беспрекословно пасовали, а потом рысью бежали за мячом то на помойку, то к гаражам, а то и на трансформаторную будку лезли. И никто из игры не выходил.

Володя спросил у знакомого пацана: «Кто это?»

«Чурка,— объяснил тот вполголоса.— Из поселка. На днях

освободился, под надзором сейчас живет. Да он скоро уйдет...»

У парня слух оказался острый.

«Кто это щас там чирикнул?» — Он обвел взглядом притихших зрителей.— Мой псевдоним — Черкес. Кому-нибудь еще непонятно?»

И еще раз посчастливилось Володе увидеть Чурку. Это был театр одного актера. Он шел, наверное, домой — на Керамической жил, с отцом и женатым братом,— и был под кайфом. Работал явно на публику: размахнется и забросит метров на двадцать наручные часы, подойдет потом, нагнется: «О! Что это? Часы! — Прижмет к груди свою «находку», глаза к небу возведет: — О, счастье! Счастье!»

И так далее... Бросит, подберет, удивится: «Что это? Неужели часы? О, счастье, счастье!»

Так и шел вдоль по улице.

Конечно, к такому выдающемуся артисту приблатненные пацаны липли, как мухи к леденцу.

Но Прикупец этот... Нет, он вряд ли из их числа.

14

Бумц-бумц! Бумц-бумц! — лупят залпами акустические колонки.

Кажется, ребра прогибаются от мощных взрывных волн, а уж барабанные перепонки — те только чудом не лопаются.

Бумц-бумц! Ритм, ритм! Бумц-бумц! Ритм и зарево, зарево многоцветное по лицам, по лицам, по пестрым фигурам!

Единый ритм, нервный ритм, кривящиеся тела, отрешенные, ушедшие лица...

Цветомузыка, радужный, переливчатый экран. Основание подиума, где стоит аппаратура, слабо тлеет светофорными плафонами, а там, на возвышении, спиной к задвинутому в угол роялю, красуется у своего пульта диск-жокей.

Он в герметичном комбинезоне, весь серебряный, с крылышками над плечами, штаны схвачены ремешками на щиколотках. Класс!

Он пританцовывает в такт этой жесткой, властной музыке, поводит плечами, вскидывает руку, как чемпион на пьедестале почета.

Он — чемпион.

Бумц-бумц! Ритм, ритм!

У него твердый подбородок, твердые тонкие губы, длинные ноги, широкие плечи.

Он беззвучно подпевает иноземному солисту.

Володя из текста разбирает лишь несколько слов: «мэн», «вумэн», «найт», «ол райт»...

Диск-жокей подпевает, покачивая в такт музыке оранжевой шевелюрой, похожей на петушиный гребень.

На левой щеке у него начертан остроугольный зигзаг.

Крутой мэн! Бумц-бумц!

Гаврош трясет Володю за плечо и орет в ухо:

— Квадро! Понял? А у нас в «бурсе» дохлая «Электроника»! Улавливаешь разницу?

Грохот утих. Грянули аплодисменты и заливистый свист.

— А теперь,— объявил диск-жокей, когда публика стала приходить в себя,— лав севенти фор! Автор — Лесли Харвей. Гитара-соло. В двадцать четыре года погиб на сцене во время концерта от удара током. Почтим его память секундой молчания и — лав севенти фор!!!

Лав, гив ми ё лав...
Лав, ай нид ё лав...—

запел хрипловатый и нежный, печальный голос.

— «Дай мне свою любовь, я нуждаюсь в твоей любви...» — заторопился с переводом Володя.

— Ладно, ладно! Молодец! — оборвал его Гаврош.— Давно знаем. Короче так: ты пока повыламывайся, не скучай, а я пойду на переговоры. Если все будет нормалек, позову.

— А ты возьми кассеты сразу,— предложил Володя.— Сам и продай ему...

— Ну нет! Я только договариваюсь, а дальше уж вы сами. Чтобы все было без обмана.

— Да какая разница?

— Есть, есть разница... Но это не для среднего ума. В общем, жди...

И Гаврош начал пробираться к подиуму.

Глаза привыкли к полумраку. Володя огляделся. Наверное, в этом небольшом зале работал хореографический кружок: две стены были забраны зеркалами от пола до потолка, и от этого помещение казалось более просторным, чем было на самом деле.

Публика в основном «центровая». Он в своих джинсах фирмы «Рила» и куртке местного пошива был здесь как пугало. Нет, ему, в общем-то, наплевать, как он одет, то есть не то чтобы совсем наплевать, но с ума не сходит по шмоткам. Полторы сотни за кроссовки он бы не выложил, это уж точно.

Но когда поймаешь на себе два-три насмешливых взгляда... Да если еще девчонки так это презрительно косятся...

Какие уж здесь танцы! Он пристроился в сторонке, у двери, и стоял там, стараясь разобрать, о чем поет голос погибшего артиста, и не выпуская из виду Гавроша. Тот продрался к подиуму и — кто бы мог подумать, что у него могут быть такие знакомые! — разговаривал с самим диск-жокеем, показывая пальцем в сторону Володи.

Долго они там будут толковать? Дело-то ведь ясное, так чего ж из в пустого в порожнее переливать! Володе не терпелось покинуть этот душный, звенящий электромузыкой зал, где все, видно, были свои или все равно что свои. Неуютно ему было. А музыка хорошая, правда, Лесли Харвей этот...

Но вот наконец машет ему Гаврош рукою, уболтал клиента. И Володя, чтобы не толкаться в разряженной толпе, обходит зал по периметру, продвигается к неприметной, выкрашенной в тон стены двери. За ней — каморка без окон, кладовая должно быть, где хранится аппаратура. Пыльно, в углу свалены в кучу поломанные стулья и другая какая-то мебель, а ближе к двери — груда щитов, обтянутых материей...

— Ну, давай, что там у тебя! — говорит крутой мэн.

Володя достает из-за пазухи кассеты. Диск-жокей придирчиво их осматривает.

— Смотри, за туфту ответишь...

Гаврош опережает Володю, не дает ему вступиться за свой товар.

— Что ты, Славик, в натуре... Зуб даю — новьё! — уверяет он.

— Ты мне будешь рассказывать, как новьё выглядит...

— Если найдешь дефект, обратно свои бабки получишь! Правда, Козорез?

Володя мнется, спрашивает нерешительно:

— А если... А можно мне их будет назад выкупить? Ну, если я деньги быстро найду?

Диск-жокей забирает кассеты и прячет их в навесной шкафчик. Затем отвечает:

— Конечно, можно. Почему же нет? По «пятнашке» за штуку...

Прикуривает длинную сигарету от газовой зажигалки и садится боком на старый, расшатанный стол, ножки которого сразу опасно подкашиваются.

— Ф-ф-ф...— выпускает дым из губ, сложенных в трубочку.— Хоть пару затяжек...

Его мужественное лицо немного смягчается, но совсем ненадолго: музыка за дверью умолкает, и сразу же — крики, визг, топот, свист... Толпа слаженно хлопает в ладоши, скандируя:

— Сла-вик! Сла-вик! Сла-вик!

Лицо крутого мэна снова твердеет.

— Ну ладно, мужики, давайте отсюда...

Он отрывается от стола с каким-то странным треском. Замирает, слегка бледнеет и начинает ощупывать сзади свои брюки, изгибается, пытаясь заглянуть через плечо...

Обернувшись к ним тылом, наклоняется к столу.

— Гвоздь, зараза! Откуда он тут взялся?

— Сла-вик! Сла-вик!..

— Вот гадство! Что же теперь делать?

Глаза его поблескивают.

— Ничего,— пытается утешить Гаврош.— Какую-нибудь фигню вышить можно. И красиво, и дырка незаметна... Бабочку, например, или стрекозу.

— Ты что — дурак? На этом месте — стрекозу? Издеваешься? — вопит покупатель.— Все из-за вас, гадов! Взялись на мою голову!

— Сла-вик! Сла-вик!..

— Заглохните вы там! — сжимая кулаки и стискивая зубы, стонет пострадавший. Но кто его слышит?

— Сла-вик!..

— А нитка с иголкой у вас есть? — спрашивает Володя.

Диск-жокей смотрит на него, как на умалишенного. Откуда у него такие прозаические вещи...

— А проволока? — осеняет Володю. У заводских-то слесарей... на спецовках пуговицы... проволокой пришиты!!! — Тонкая проволочка найдется?

Жокей бросается искать.

— Сла-вик! Сла-вик!

— Вот он! Трансформатор! Отматывай!

— Он что — негодный?

— Какая разница! Давай скорей! Они сейчас ломиться начнут!

— Сла-вик!

Еще пара минут — и штаны починены; Володя кое-как, в спешке, подшил проволокой выдранный лоскут. Если крутой мэн не будет поворачиваться к публике спиной, никто и не заметит шва, точь-в-точь похожего на зигзаг, нарисованный у него на щеке...

— Всё! — объявляет Володя, поднимаясь с корточек.— Готово!

— Ладно... Теперь мотайте отсюда! Скорей!

— Постой, Славик, а форц?

— Ох-х... Ш-штоб вы сдохли.

Крутой мэн дергает молнию на груди, достает деньги.

— Вот! В расчете...

— Ты чего? А еще пятнадцать, как договаривались?

— А ну-ка брысь отсюда! — взбеленившись, орет жокей.— А за комбинезон с кого мне требовать? Ты мне за него заплатишь?

— Но мы же...

— Вы же, вы же! Не хотите — забирайте назад кассеты свои поганые!

— И заберем,— соглашается Гаврош.— В другое место отнесем, там с руками оторвут...

— Забирай! Но тогда чтобы я тебя больше не видел! Понял? Никогда!

Гаврош сникает. И уже по инерции просит:

— Ну хоть пятеру еще накинь...

Молча распахивает перед ними дверь крутой мэн. И ждет.

— А-а-а! — ревет застоявшаяся толпа.— Сла-вик! Сла-вик!

Страшно выходить навстречу этому воплю. Но деваться некуда... На улице они еще постояли у входа в Дом культуры, поеживаясь от порывов холодного, поднявшегося к ночи ветра.

— Ну, что теперь делать? — спросил Володя.

— А я откуда знаю? Ты же сам видел, я сделал все, что мог... Ладно, не горюй! До завтрашнего вечера у тебя есть время. Ну, пока! — заторопился Гаврош.— Мне тут еще в одно место нужно. В общем, давай, хлопочи. Не теряй время даром. Завтра — последний срок! Учти!

И убежал.

Завтра — последний срок. А сегодня был упущен последний шанс.

Как сердце у него чувствовало, что ничего из этой затеи не выйдет!

Что там утром говорил ему Гаврош: отними, укради... займи?

Завтра — последний срок.

Володя посмотрел на часы, что светились над входом в здание,— около девяти.

«Здравствуйте! Извините, что разбудил... Вы не можете мне одолжить рублей пятнадцать на неопределенный срок? Это для дела... Позарез нужно...»

К кому он сейчас может прийти с такими словами?

Ирина и Стас, конечно, не откажут. Стас и не спросит, для чего. Ирка спросит, но ей можно не говорить... Другое дело, что мать узнает наверняка: у них с любимой племянницей отношения самые доверительные — никаких секретов...

Значит, вариант отпадает. Впрочем, он его всерьез и не обдумывал.

Из школьных товарищей — только Витька Поспелов... Помог бы? Пожалуй. Но ему самому неоткуда взять. Вот если бы он в свои шахматы играл в парке Дома офицеров, как старички тамошние — пять рублей под доску,— тогда бы он купался в деньгах. Но он ведь играет сам с собой да задачки решает: белые начинают и выигрывают, мат в четыре хода...

Кроме того, отец Витьки что-то косо на Володю стал поглядывать после того, как узнал, что он из школы ушел. Однажды не постеснялся сказать впрямую: «Дружба, я считаю, это когда люди заняты одним делом. Когда у них общий интерес. А ваши дороги теперь разошлись...»

Общий интерес был: научная фантастика. В пятом классе они страшно ею увлеклись, даже пытались сами сочинять повести о жизни на других планетах, как туда прилетают наши советские космонавты и такое видят!.. Такое... Но их с Витькой космонавты почему-то в иных мирах сталкивались с теми же чудесами, что и герои прочитанных книг, а нового ничего и не встречается им... Тогда они с Витькой перестали запускать свои космопланы, а потом Володя как-то разочаровался и в чужих выдумках. А Витька — нет. У него и до сих пор фантастика — любимое чтение.

Отец ему где-то достает книжки...

А вот другую Витькину страсть — шахматы! — Володя не

мог разделить. Дальше умения переставлять фигуры по клеткам он не продвинулся. И не серость его в том была виновата — просто недоумевает он посейчас: как можно тратить время, жизнь на то, чтобы двигать резные деревяшки по клетчатой доске туда-сюда и находить в этом удовлетворение?

Кроссворды тоже, ребусы всякие... Кто-то, возможно, начнет доказывать, что решение головоломок сильно развивает человеческий ум, готовит его для какой-то будущей деятельности, что, мол, настанет когда-то день и час, и все приобретенные навыки вот так вот сразу и пригодятся! А если не настанет?

И ведь как носятся с этими шахматистами! А какая от них польза? Ну нравится людям играть — ну и пусть себе играют. Вон картежников, доминошников — их-то телевидение не снимает...

В общем, Володя древним искусством увлечься не сумел. И действительно, общих интересов у них с Витькой почти не осталось, а только взаимная симпатия — старый друг лучше новых двух... Конечно, старый друг одолжил бы ему эти несчастные, но такие необходимые деньги...

Нет, но этот-то... крутой мэн...

Ладно, что уж теперь... Нет, но какая сволочь мелкая! Ну ладно, ладно... Не отвлекайся!

Завтра — последний срок.

Колька Шкоркин? Пойти к нему в общежитие? Но ехать-то через весь город... И общежитие совсем чужое, от строительного училища, ни одного знакомого, кроме Кольки; кто его там встретит и как... В этих местах, где живут ребята, приехавшие в ПТУ из деревни, городским появляться нежелательно.

15

Да сельские-то хлопцы — еще полбеды. А вот бывшие детдомовцы, ребята из специнтернатов — эти всем дают прикурить!

Колька рассказывал, когда приходил к ним как-то в гости, приносил гостинцы от дяди Миши:

«Просто заходят, теть Нюр, и берут, что им понравится. Говорят: «У вас родители есть, они вам еще пришлют, а мы — сироты, нам никто не купит, а нам тоже хочется...»

«Да как же так! Ах ты, господи... А пожаловаться нельзя?»

«Если на них кто жалится — тому хана... Они же тюрьмы не боятся. Кое-кто там и родился, в тюрьме. Так что могут сделать все, что хочешь... Кто с ними в одной комнате живет, тот вообще бедный. Но, правда, если голодный или одеться не во что — ну, там на танцы сходить, в кино,— могут дать и денег не взять...»

«Ну а замыкаются комнаты ваши?»

«Если они видят, что заперто,— могут и дверь вышибить. Там все замки вырваны. Они не любят, чтобы закрыто было...»

Колька сидел сиротливо как-то на табуретке, к угощению почти не прикасался и даже не был сам на себя похож. Понурый, растерянный... И отчужденный.

А ведь в Криуше, когда Володя приезжал туда на летние каникулы к дяде Мише, брату матери, не было у него товарища ближе. С ним интересно и купаться, играть в «рули», и коров пасти, и в войну играть, и рыбу ловить... Колька прямо руками доставал из воды голавлей. Да каких — в полметра! Он смело заплывал в любое бучило, подкрадывался к обмытым водой корням ежевичника, которым зарос крутой бережок там, где к речке спускались огороды Максимовых, Домахиных, деда Звонаря...

Там было хорошо... Как там было хорошо!

К августу ягоды поспевали, и стоило только руку протянуть из воды к гибким, колючим ветвям — и вот она, прохладная, кисловатая сладость во рту, от которой губы и язык окрашивались фиолетовым... Со дна тут били родники. И когда какая-нибудь компания шла купаться, обязательно кто-то брал пустую бутылку, и, если кому-то пить хотелось, он подплывал с этой бутылкой к тому месту, где бил ключ, нырял на дно и вынимал из горлышка палец... Вода была ледяная и совершенно прозрачная, не похожая на ту серо-коричневую, какой она казалась, если глядеть с берега...

К такому бучилу, к ежевичным кустам подплывал Колька осторожно, ложился щекой на воду и запускал руку в переплетение тонких, гибких корней, туда, где в жару любили отдыхать, ополаскивать розовые жабры ключевой свежей водичкой серебряные, с розовыми грудными плавниками голавли. Колькино лицо делалось внимательным, серьезным, как у доктора. Иногда оно совсем скрывалось под водой — это означало, что потревоженная рыбина меняла место послеобеденного отдыха, подавалась дальше, вглубь, под берег, туда, где тесней путались корни, похожие на длинные, очень длинные, неимоверно

длинные и корявые пальцы какого-нибудь водяного темного духа...

Володя тогда ждал, невольно сдерживая дыхание, как сдерживал его Колька там, под водой, преследуя добычу.

И вот он медленно, бесшумно выныривал лицом кверху и несколько метров плыл, пока не нащупывал ногами дно, а достигнув опоры, бросал голавля на травянистый берег, подальше, чтобы рыбина не могла упрыгать обратно в речку.

«Он стоит всегда головой на течение,— объяснял Колька Володе, учил его.— Руку надо держать вяло, чтобы ему казалось, как будто это камыш, или трава, или корешок мягкий. И сначала погладь его по спине легонько, найди, где у него голова, и за нее хватайся... И держи крепче!»

И Володе удавалось поймать несколько плотвичек и голавликов, преодолевая инстинктивный ужас, возникающий в кончиках пальцев и в одну тысячную долю секунды добегающий до сердца,— ужас от прикосновения под водой к чему-то прохладному, скользкому, гибкому...

В рачьи норы он лазил смелее, не отдергивал руку, натыкаясь на острые клешни. А первое время тоже брала жуть, особенно когда за палец тебя — цап! Кто не вздрогнет, не отшатнется?

Рыбу и белое рачье мясо жарили тут же, на берегу. Раздували костерок из сухих кизяков, жаркий и почти бездымный, ставили на камешки сковородку... И этим тоже руководил Колька Шкоркин. Ребята подчинялись ему охотно, ведь он во всем был опытен и ловок. Машину мог водить уже в двенадцать лет, мотоцикл; даже и комбайн ему доверяли в уборочную; работал вместе с отцом, не отставая, сутками... И лошадь мог запрячь в телегу, а перед тем поймать ее в табуне — без аркана, без лассо, просто подойти и взять за гриву, надеть на голову оброть. Конечно, в табуне колхозном не мустанги бегали, а все равно — попробуй-ка!

И чего он приехал в город?

Володя от дружбы не отрекался, но как-то странно выходило: что-то мешало им обоим здесь так же относиться друг к другу, как в Криуше. Володя терялся, не зная, чем занять Кольку, что ему предложить. Тот вел себя очень скованно: что ему ни предложишь — отказывался. И все не мог с себя стряхнуть какое-то липкое уныние.

Так потом и пошло: приедет Колька из Криуши, от родителей,— всегда на выходные туда стремился,— передаст Анне

Митрофановне привет от брата, дяди Миши, какие-нибудь гостинцы, попьет чаю с вареньем — и до свидания. Ни на минуту лишнюю не задержится. И все это без какой-либо обиды тайной или еще чего... Просто чувствует себя не в своей тарелке.

Изредка только скупо делился событиями своей городской жизни, всего-то, конечно, не рассказывал...

Ну, что? Ехать к нему в общагу?

Нет. Ни в коем случае. И нарваться там можно на неприятности, и его не застать, и опять-таки нет полной гарантии, что мать со временем не узнает и не потребует объяснений...

Остается, видно, последнее. Надежды на успех тоже маловато, но что поделаешь...

Да и ноги уже привели сюда, как-то сами собой притопали.

16

Адрес Петра Исаевича он держал в памяти с давних времен и частенько, проходя по этой неширокой, тихой и чистой улице, думал: «Вот сверну в этот двор, вот поднимусь по лестнице, вот позвоню...» Но стеснялся. Только поглядывал на дом, не похожий на все остальные. Здесь вообще все дома отличались друг от друга, но этот все равно был особенный. Чем-то он напоминал зáмок — может, эркерами своими, витиеватыми карнизами, старомодными фонарями... Этому бы зданию стоять отдельно, где-нибудь в парке, у пруда или озера...

Но в подъезде и на лестнице те же самые царили запахи, что и в Володином доме, скромном, похожем на барак. Только здесь еще примешивался некий оттенок, звериный какой-то дух.

Вот и забрызганная известкой жестяная табличка с фамилиями жильцов: Мануковская... Варфоломеев... Гордон... Коробов... Ага, Шабардин! Квартира номер семь. Но живет ли он здесь сейчас? Эти таблички сроду не обновляются...

Ну, ладно, живет, живет! Что дальше?

«Добрый вечер, Петр Исаевич! Я — Володя Козорезов. Помните, вы у нас в школе преподавали русский и литературу и кружок еще вели? Ну, вы потом, когда мы в трамвае случайно встретились, говорили, что рады меня видеть, и сказали свой адрес. Но все как-то совестно было вас беспокоить, потому я и не показывался два года вам на глаза. А тут такое дело — срочно мне понадобились деньги, вот я и... Нет, нет,

спасибо! Всего пятнадцать... Я скоро... вот только... честное слово! Стихи? Конечно, пишу. На Первое мая, в стенгазету... «Мир, Труд, Май!»

Веселятся в городах
люди честного труда,
птицы весело поют,
будет вечером салют!
Чтобы жители Земли
вместе Миру помогли,
выше флаги поднимай,
славный праздник — Первомай!

Да, не ахти какие... Но ведь свои, не содранные откуда-нибудь из прошлогоднего численника. Сам их сочинил.

Да все отлично, правда!

До свидания! Я скоро-скоро, честное комсомольское!..»

...Немедленно отозвался визгливый лай, будто собака сидела под дверью и нарочно ждала, пока кто-нибудь нажмет кнопку звонка. Потом послышался кашель. Кто-то в шлепанцах подошел и воскликнул, не пряча гнева:

— Кого там еще черти принесли!

Дверь распахнулась, и в ноги Володе кинулась облезлая болонка. Он попятился, но собачонка вела себя мирно: завиляла хвостом и, задрав голову, стала его с любопытством разглядывать.

— Ох... Извините...— сказал Петр Исаевич, часто моргая и щурясь: на площадке было темнее, чем в прихожей, и он не мог никак разобрать, кто перед ним.— Я не ожидал вас... Я думал, что это...

— Здрасте, Петр Исаич! Вы меня не узнаете? Я Козорезов. Из пятьдесят первой школы... Вы, наверное, не помните...

Петр Исаевич хлопнул себя по лбу:

— Ну конечно! Конечно, помню! Как же... «Этот мыш был очень ловок, не боялся мышеловок!» Еще бы я забыл автора этих гениальных строк!— Он протянул руку, но тут же и отдернул, спохватившись:— Ой, что это я... Через порог нельзя! Заходи... Владимир?

— Да...

— Вот видишь! Как же — не помню... Муська, домой! Домой! Сейчас, сейчас гулять пойдем, глупая ты животина. Потерпи еще пять минут...

Коврика в прихожей не было, и это, скорее всего, собачка поцарапала своими когтями крашеный пол...

— Я, видишь ли, думал, что это... один мой знакомый пришел, мы вместе собак выгуливаем... У него фокстерьер... Фу, как неловко получилось! Озадачил тебя мой прием, да? Признайся...

— Да нет, что вы...

— Ну, что ж! Очень рад. Проходи, проходи в комнату Или лучше — на кухню. Чай будем пить. Правда, сахару нет... Муська у меня — сластена. Ах ты, такая-сякая! Проклятая ты собака! Ну сейчас, сейчас пойдем, подожди... Видишь ли, я собирался с ней гулять, и...

— Так идемте, погуляем все вместе,— предложил Володя.

Его тянуло на свежий воздух. Как же надо любить собак, чтобы выносить их запах в человеческом жилище! Хотя, может быть, это с непривычки его поташнивает... Никто ведь из Володиных знакомых собаку в доме не держал.

— Хорошо! Тогда я сейчас быстренько переоденусь... Тебе стул принести?

— Нет, спасибо...

— Ну, я сейчас!

Петр Исаевич поспешно скрылся в комнате. Болонка легла на пол, голову положила Володе на ногу и застучала хвостом по плинтусу. Такая доверчивость его глубоко тронула. Он еле удержался, чтобы не погладить ее. Поостерегся на всякий случай — кто его знает...

— Конечно, я тебя не в первый же момент угадал,— громко сказал Петр Исаевич откуда-то из глубин квартиры.— Но ты так вырос! Подумать только, всего три-четыре года — и такие разительные перемены! Я помню, ты был такой худенький, а голова у тебя была круглая, стриженая. Ты ведь тогда стригся наголо?

— Да...— удивился Володя памятливости Петра Исаевича.

В шестом классе он, дабы не отстать от дворовой моды, распрощался на первые две четверти со своим чубчиком. Хотел даже, дурачок, побрить голову, чтобы всех переплюнуть, но парикмахершу не смог уломать...

— Вот видишь! Педагог всех-всех своих учеников помнит Это они, к сожалению, имеют обыкновение забывать его. Разве не так?

— Не так! — возразил Володя.— Я ведь пришел к вам, не забыл!

— Ну... Это — экстраординарный случай.

— Нет,— не мог согласиться Володя.— Вас все помнят!

Разумеется, немного он преувеличил, да и как можно быть уверенным — ведь за полтора года, что он не бывал в «своей» школе, изменилось там, всего скорее, общественное мнение, произошли новые важные события... Однако Петр Исаевич память о себе оставил, и она была жива.

Его элегантность в первый же день всех сразила, как только он пришел на свой первый урок.

Многие пацаны сразу же взялись отращивать ногти на левых мизинцах, девчонки перешептывались, обсуждали, в чем одет, какой галстук повязал... И никто даже внимания не обращал, что костюмы у него старомодные,— до того он ловко их носил...

Ну а уж после того случая, когда он самого Рукина выкинул из класса...

В тот день никто не выучил наизусть отрывка из поэмы, что был задан. Конечно, кое-кто, и Володя в том числе, подготовился к уроку, но большинством голосов решили бастовать. Одна девчонка, правда, могла бы и против всего класса пойти, не постесняться и не побояться,— Нонка Барсукова. Эта была чокнутая. Могла припереться в школу с температурой сорок градусов. Когда зимой отменяли из-за холодов занятия, она не верила даже радио и однажды чуть руки-ноги себе не отморозила... Но в этот раз она в больнице лежала с аппендицитом, так что единодушие в коллективе проявилось полное.

Петр Исаевич вызвал одного, другого — все без толку.

И он тогда... засмеялся:

«Ну, хорошо! Попробуем иначе. Давайте просто вспомним какие-нибудь стихи. Кто что любит...»

Коллектив был ошарашен. Такой реакции никто не ожидал.

«Ну, кто самый смелый? Кто любит поэзию?»

«Я знаю один стишок»,— вызвался наконец Рукин, второгодник в квадрате, от которого стонала вся школа.

Поэзию он, конечно, ни в грош не ставил, как и прозу. Но, несомненно, был самым смелым в шестом «Б», да и неудивительно: он перерос уже многих десятиклассников и габаритами догонял своего отца, мясоруба с Центрального рынка.

Петр Исаевич оживился:

«Прекрасно! Прошу к доске!»

«Я лучше с места»,— поставил условие Рукин.

Он сидел за первой партой в левом ряду, у двери, персонально ее занимал по личному распоряжению директора.

«Стишок совсем короткий».

«Ну, что ж, мы не возражаем. Да, ребята?»

Ребята притихли.

В школе есть пижон один —
Петр Исаич Шабардин! —

как сидел, развалившись, так и выдал Рукин.

Все оцепенели.

Эта эпиграмма свободно гуляла среди учащейся молодежи, но на слух педколлективу, тем более Петру Исаевичу, до сей поры не попадалась.

У Рукина явно зашкаливал борзометр.

Петр Исаевич побелел и тихим голосом велел ему покинуть помещение.

Рукин, сидя боком, закинул ногу на ногу и скрестил на груди свои грабли.

Тогда Петр Исаевич в мертвой тишине приблизился, чеканя шаг, к отважному ученику, взял его за воротник джинсовой куртки и выдернул из-за парты, как червяка из яблока. Воротник затрещал, а вместе с ним и зловещий авторитет переростка.

Совсем сдуревший Рукин, спасая престиж, вырвался и попытался поймать Петра Исаевича за ногу. Хотел, наверное, провести «мельницу». Но учитель обхватил его поперек спины и легко оторвал от пола. Так же, без видимого напряжения, Петр Исаевич подтащил дрыгающего ногами Рукина к двери, открыл ее пинком и выбросил свою ношу в отозвавшийся эхом коридор...

А во втором полугодии Петр Исаевич не пришел. Ходили слухи, что это отец Рукина постарался, но девчонки сплетничали насчет какого-то романа... Якобы Петр Исаевич и учительница немецкого Адель Карловна... Но истина так и осталась скрытой в тумане догадок.

— Как же ты ухитрился разыскать меня? — спросил Петр Исаевич, выходя из комнаты одетым для вечерней прогулки: темные брюки, клетчатый «клубный» пиджак, индийские плетеные мокасины.— Неужели через справочное бюро?

— Да вы же сами дали мне адрес... В трамвае... Ну, еще тогда праздник был, Восьмое Марта.

— А-а... Да-да, что-то такое...— пробормотал Петр Исаевич и снял с вешалки тонкий ременный поводок.— Ну да это и не важно. Молодец, рад тебя видеть. Муська, иди сюда! Ко мне, я кому сказал!

Вольнолюбивая Муська с большой неохотой разрешила хозяину прицепить поводок к ошейнику.

Вышли на площадку. Петр Исаевич зазвенел ключами.

— А вдруг знакомый ваш придет, а вас нет дома?

— Ну, он уже время просрочил. Не на кого пенять. Я вообще-то сам далеко не педант, но в других люблю точность...— засмеялся Петр Исаевич и закашлялся, как давеча, когда открывал дверь Володе.— Если обещал... кха-кха... значит, выполни... кха-кха-кха... и желательно в срок. Кха!.. Курить бросил,— пояснил он, вытирая рот платком.— Придется первое время помучиться... Да, желательно в срок... Помнишь наш кружок?

Кружок... Срок... Оброк...

Конечно, он помнил. Если что и можно помнить хорошее, интересное из школьной жизни, так это встречи по субботам в пионерской комнате, первые тетрадки, тоненькие, двухкопеечные, где можно было писать все, что нравится, а не то, что задано, что записано в дневнике... Если бы он не помнил их тогдашних занятий, разговоров, он бы ни за что не пришел сюда... Еще и в такое время... Но что поделаешь! Кто его сможет понять, кроме Петра Исаевича?

— Самая аккуратная у вас там была эта девочка...— Петр Исаевич пощелкал пальцами, вспоминая.— Суркова, кажется...

— Барсукова,— подсказал Володя.

— Да, да... Точно. Барсукова Нонна. Самая примерная. Рассказ в неделю. Как часы! И поля отводила красным карандашиком. И ни одной помарочки, никогда... А ты был неряха и лодырь! — Петр Исаевич весело взглянул и поднял руку, предупреждая Володины оправдания: — И не спорь, не спорь! Самые грязные рукописи. Но и самые интересные. Помнишь, какой потрясающий шпионский роман ты сочинил? Как американского студента коварно вербуют сотрудники Центрального Разведывательного Штаба...

Володя в другое время усмехнулся бы: счастливое детство, пора золотая... Жил себе человек и понятия не имел, что никакого такого штаба в Америке нету, а есть ЦРУ и ФБР. Ну вот, теперь зато знает, а толку-то...

— А свой акваланг незадачливый Джеймс Бонд, надеясь на

брезгливость советских пограничников, зарыл в заброшенной конюшне, в куче навоза. Но это, помнится, ему не помогло...

— Да,— подтвердил Володя.— Благодаря бдительности пионеров его вскоре разоблачили. И вы этого не забыли? Через столько-то лет?

Петр Исаевич печально вздохнул:

— У пожилых людей иной отсчет времени...

— Вы разве...

— Ну, не будем уточнять... Все в мире относительно. А временные категории — тем паче.

Они молча пересекли двор и вышли на пустынную улицу.

— М-да...— сказал Петр Исаевич.— Тихий ангел пролетел... Так, говоришь, был очень ловок этот мыш? М-да... Ты еще пишешь стихи? Не бросил?

— Сейчас мало... Времени нет.

— Ну! Если сейчас у тебя его нет, в дальнейшем и подавно не будет. Надо составить себе какой-то режим,— перешел Петр Исаевич на поучительный тон,— и выкраивать хотя бы час-другой в день. Впрочем, самое приятное в любом распорядке — это его нарушение. Так мы шутили в студенческие годы. Прекрасная пора! Тебе еще предстоит ее пережить, и в этом плане я тебе немножечко завидую. М-да... Ну что же...

Он взглянул на часы.

— Идем назад? Заварим чайку... Легковато я оделся, однако...

— Спасибо, Петр Исаевич, но... Мне уже пора идти.

— Да? Странно... Гм... Впрочем...

Петр Исаевич остановился и посмотрел исподлобья.

— Послушай, Володя... Конечно, неприлично гостя спрашивать о цели его визита, но я надеюсь, ты не обидишься... Что все же привело тебя ко мне? Нет, нет! Я рад тебя видеть и безо всякого повода! Но что-то тебя как будто гложет изнутри... Нет? Я ошибаюсь?

— Да как вам сказать...

— Ага! Вот видишь, я угадал! Хоть и расстался с педагогической деятельностью, но способность читать в детских душах еще не утратил. Эт-то недурно! Да, юность — это время мучительных вопросов. Впрочем, для некоторых людей этот период растягивается на всю жизнь,— уточнил Петр Исаевич.— Ну что ж, я готов тебя выслушать хоть сразу, хоть потом, дома...

— Лучше здесь,— сказал Володя. Не хотелось ему никуда. И вообще, зря он сюда заявился. Подумаешь, бывший ученик!

— Здесь так здесь. Хотя нам никто не помешал бы, я один в квартире. Вся фамилия, видишь ли, в отъезде. М-да... в отъезде... Как в песне поется: «Уходишь — счастливо, приходишь — привет...» Слышал такую песню? Это Юрия Визбора. Ну, хорошо, не будем отвлекаться... Только давай без предисловий, сразу излагай суть...

17

Володя замолчал.

— Ну что ж,— после небольшой паузы сказал Петр Исаевич.— Во-первых, спасибо, что ты пришел с этим ко мне. Я способен правильно оценить твое доверие. Гм, чего-то я все-таки стою, значит, ежели несет человек ко мне свою боль...

— Да в общем-то...— смутился Володя, не в силах сказать, что какой-то особенной боли он не испытывает.

Смущение сочеталось с недовольством: не этого разговора он хотел, не так мыслил представить свое положение. Нужно было просто-напросто одолжить денег. Такова главная задача. А он ее не решил, не решился спросить об этом... И язык развязал к тому же, и получилось, что он пришел сюда пожаловаться и поплакаться... И так всегда у него.

— Ты хотел бы что-то добавить?

— Нет, нет...

— Ну что ж... Слушай, давай-ка вот сюда станем, здесь не так дует...

Они укрылись от ветра за выступом здания, и здесь Петр Исаевич поднял воротник пиджака и закрыл лацканами грудь, придерживая их рукой. Муська жалась к ногам хозяина. Ветер пошумливал в кронах каштанов, которыми была украшена эта улица, но в их убежище воздух был спокоен, мягок и влажен — ночью может пойти дождик, бабье лето на исходе...

— Во-первых, я обязан тебя сразу же успокоить,— начал Петр Исаевич.— Твоя исповедь... Почему бы и не назвать это исповедью? Тайну — гарантирую! Так вот, по-моему, это поступок, свидетельствующий о твоем мужестве. Да-да, я не оговорился... Далеко не всякий способен так вот смело раскрыться перед посторонним человеком... То есть посетовать на разнесчастную судьбину, поискать сочувствия — это у нас сплошь и рядом... Хотя тоже в последние годы все реже и реже встре-

чается этот... феномен. Но у тебя случай особый. Ощущение собственной вины, наложенное на комплекс... Ну да ладно... Хочу и здесь тебя успокоить: ты ни в чем не виноват. Или вина твоя минимальна...— Петр Исаевич наморщил лоб и пожевал губами.— Видишь ли, люди в большинстве своем считают, что вот эти вспышки агрессивности у молодых... происходят от какой-то душевной черствости, недоверия ко взрослым, родителям и так далее... И армия наших социологов начинает выискивать корни этих настроений. Но копают они, как мне кажется, не в том месте. На мой взгляд, все дело в неправильном понимании таких категорий, как мужество, доблесть... Ведь юношам хочется если не быть, то хотя бы выглядеть такими парнями... как это у вас называется...

— Крутыми,— подсказал Володя слово.

— Вот именно... Крутыми! Даже самые последние... хлипаки и нюни, так ведь? Мечтают быть крутыми?

Володя молча наклонил голову.

— Так! А теперь признайся мне, только, пожалуйста, честно: ты, когда ударил того мальчика в театре... Ты сшиб его, по вашему выражению, с катушек?

— Нет, конечно... Я неправильно бил... Не умею как следует.

— Вот! Вот оно, то самое! Неправильно бил... Теперь ответь: жалел ты, что не удалось его послать... хотя бы в нокдаун?

— В тот момент — да...

— Вот! — Петр Исаевич поднял палец.— А все потому, что в подсознании твоем сложился образ крутого парня, настоящего мужчины. А каким он мог сложиться под влиянием — под напором даже — нашей массовой культуры, этих шоу, этого проклятого рока, этих кинофильмов и прочего? Настоящий мужчина, чуть что не по его,— р-раз по морде! И враг лежит или бежит. И публика аплодирует!

— Точно. У нас в училище — да и в школе тоже так было — никто на фильм не пойдет, если в нем драк нету...

Петр Исаевич слушал, кивая.

— Итак, настоящий мужчина — это который «семерых одним ударом»... Но это же, черт возьми, не истинное мужество! В сущности, это самая настоящая дикость! Бить человека, делать ему больно, да еще стараться попасть по лицу! Это к тому же трусость... Желание сразу лишить способности к сопротивлению...

— Ну почему...— попробовал не согласиться Володя.— Мне кажется, чтобы по лицу ударить, тоже смелость нужна.

— Вот уж нет! — рассердился Петр Исаевич.— Вовсе не смелость, а наглость, хамство поразительное! Это кем же надо себя считать, чтобы присвоить такое право? И какими видеть других людей! Пылью? Мусором? Хороши герои!.. И брать с таких пример? Завидовать им? Благодарю покорно!

Муська, почуяв, что хозяин раздражен, подогнула передние лапки и залаяла на Володю, скашивая вопросительно глаза на Петра Исаевича: правильно ли она оценила ситуацию?

— Цыц! — прикрикнул на нее хозяин и взмахнул поводком.— Нашлась тоже обличительница...— Он откашлялся в платок и продолжал уже спокойнее: — Да я тебе из природы могу пример привести. Когда бьются орлы, например, и один из них уступает, он тогда подставляет противнику самое уязвимое место. И победитель сразу же перестает атаковать. А голуби, птицы мира, своими клювиками ничтожными, крохотными стремятся заклевать поверженного соперника до смерти. И часто заклевывают. Отсюда очевидный вывод: жестокость есть признак сла-бо-сти!..— Петр Исаевич перевел дух.— Ты прости мою горячность. Она от искреннего чувства. Что-то я хотел еще добавить... Да, ты ведь читал «Фиесту» Хемингуэя?

— Нет, только слышал... В библиотеке спрашивал — нету.

— Непременно прочти! Я дам тебе книгу, только ты напомни, когда будем прощаться. Я к чему это веду... Есть в этой повести один эпизод... Хорошая иллюстрация к нашему разговору. Там бывший чемпион по боксу бьет мальчика-тореро. А мальчик после каждого удара поднимается и опять идет навстречу новому удару. И так много раз. И в конце концов боксер расплакался, получил по физиономии и стал просить у мальчика прощения... Ну, впрочем, ты и сам это прочтешь. И вот теперь спрашивается: кто из них двоих — мужчина? Тот, кто... сшибает с катушек, или тот, кого сшибают?

— Конечно, тот, кто не сдается...

— Именно! Вы никак не хотите понять, что надо уметь и трепку выдержать достойно. И это умение — поважнее, чем умение валить с ног одним ударом, если хотите знать! Слушай, ты не куришь?

— Нет...— растерялся Володя от такого поворота темы.

— Жаль... Тьфу ты! Что я плету! То, что ты не куришь,— хорошо! Плохо, что у меня сигареты нет... А впрочем, это тоже хорошо. Так вот... О чем бишь я... Ага, умение держать удар...

Итак, сколько раз в жизни тебе придется кого-нибудь «вырубать», как у вас принято выражаться? Сколько раз может возникнуть такая необходимость? А получать трепку предстоит частенько, пока поймешь, что к чему в этой жизни... Больше, конечно, в моральном плане. Впрочем, это зависит и от того, в каких кругах тебе суждено, так сказать, вращаться. Важно не это! Важно понимать, что победа физическая отнюдь не гарантирует победы нравственной. А какая победа радостнее? И какое поражение горше?..

Петр Исаевич вдруг задумался, остановив взгляд на каком-то предмете, ему одному видимом.

— Ну, я пойду, наверное...— подождав немного, сказал Володя.— А то вы совсем замерзнете.

— Ну что ж...— очнулся Петр Исаевич.— Действительно, пора прощаться. Должно быть, ты рано встаешь...

— К семи двадцати на завод... В первую смену.

— Ну, вот видишь, в тебе уже говорит чувство долга. Это... Ну, Козорезов, теперь или никогда!

Завтра последний срок.

— Петр Исаич... Я вот хотел еще у вас... спросить.

— Пожалуйста, пожалуйста!— с готовностью повернулся тот.

— Я... хотел узнать... А вы что, больше в школе не преподаете?

— Нет!— отрывисто ответил Петр Исаевич.— Я теперь вольный казак. Иногда выступаю с лекциями... от общества «Знание»... И оставим эту тему до будущих времен. Идем, я тебе дам обещанную книгу...

— Может, я лучше в другой раз... Я и так слишком поздно к вам...

— Ничего, ничего! Идем! Для тебя несколько минут роли не играют, все равно не выспишься. По себе знаю, по своей молодости. А мы с Муськой — старые полуночники. Правда, Муська?

Собака, не оглядываясь на хозяина, натягивала поводок: ей хотелось домой...

18

Лампочка в подъезде перегорела еще в прошлом году, и тьма стояла кромешная. Володя по привычке вытянул вперед руку и осторожно шагнул, нащупывая в пустоте перила...

Вспыхнула спичка.

— Это ты, что ли, Вович?

Огонек горел в пальцах у Мишки Овечкина.

— Ну, ты и гулёна... Я уж тебя обождался здесь. Чуть не уснул... Где тебя носит?

— Мало ли где... В одном месте был. Тебе-то чего?

Овечкин был старше Володи года на три. В возрасте уже парень, но в армию почему-то его не взяли, и он работал фрезеровщиком на «Станкострое». Они жили в одном доме, но только это их и связывало.

Володя прислушался: вроде больше никого...

Мишка чиркнул новой спичкой.

— Да понимаешь,— замялся он.— Не знаю, как тебе и объяснить... Короче, одна телка хочет с тобой... ну, познакомиться.

Спичка погасла. Снова скрылось во тьме длинное Мишкино лицо, впалые щеки, лысина, пробивающаяся со лба... Ребята во дворе объясняли ее раннее появление тем, что Мишка еще в третьем классе начал похаживать в женское общежитие фабрики технических тканей. И ходоком он был усердным.

— Телка?— удивился, а больше заволновался Володя.— Какая телка?

Сердце его застучало, как у новобранца перед битвой. И в горле пересохло.

— Там увидишь... Пристала ко мне: приведи да приведи его в беседку, он давно уже мне нравится...

— А откуда она... А где она меня видела?

— Это ты у нее спросишь. Мое дело — вас свести. Пошли!

— Погоди... Сейчас я вот книгу домой занесу только...

— Ну, ты дурной! Она и так уже часа два сидит, ждет... Не знаю, вообще, может, уже и слиняла...

— Ну, хорошо! Посвети тогда!

Спичка зажглась, и в свете ее Володя выбрал место, куда положить книгу,— пожарный гидрант, вернее, его кожух. Там, правда, пылищи... Но если и запачкается, так лишь полиэтиленовая суперобложка...

— Слушай, а сколько ей лет?

— Я у нее паспорт не спрашивал... Ну, лет восемнадцать...

Ого! Это тебе не Жанка-малолетка, здесь возможны самые настоящие отношения...

Вышли из подъезда.

— Куда?

— Чем ты слушаешь? Сказал ведь уже: в беседке она.

«Интересная девица,— подумал Володя.— Как же она в детсад через забор лезла? И все ради меня? Там хоть и не высоко, но все-таки...»

Чувства им владели разнородные.

Но что интересно: усталость, набранную за этот плотно забитый событиями день, как рукой сняло...

— А как ее хоть зовут-то?— негромко спросил Володя, карабкаясь на детсадовскую изгородь — через калитку нельзя, там сторож со свистком.

— Это уж она тебе сама скажет.

И правда, они ведь сперва п о з н а к о м я т с я! А что потом? Ну, может быть о н а знает...

— Интересно,— сказал Володя вслух.— Это вообще первый случай в моей практике.

Как будто у него была какая-то практика...

Он облизнул шершавые губы. Ноги, честно говоря, прирастали к дорожке, посыпанной белым речным песком. Чем ближе они подходили к назначенному месту, тем труднее было дышать...

Осталось пройти по короткой аллейке между кустов сирени.

— Она хоть из себя как, ничего?— шепотом спросил Володя.

— Тебе понравится,— коротко пообещал Овечкин.

Вот и вход в беседку.

Кусты, окружающие это восьмиугольное деревянное сооружение, сбросили часть своего наряда, и сюда проникало с игровой площадки сияние фонарей дневного света. В час ночи они погаснут, и будет совсем темно, но пока...

Пока они позволяют увидеть: девчонки здесь никакой нету, но волновался в предвкушении встречи Володя не зря...

Он остолбенел.

Значит, пятеро... И за старшего у них все-таки... тот... Тот самый...

И Прикупец уже подбирается на полусогнутых, пригнув угрожающе голову...

— Так кто кого теперь должен бояться?..

Ты смотри, какой злопамятный оказался, гаденыш...

Он как-то неловко размахнулся, подскочил по-петушиному и шлепнул Володю по щеке.

Не больно. Да разве дело в этом...

— Я тебя должен бояться?..

Голос пацана от злорадства чуть подрагивал, и слышались в нем потки такие... визгливые.

Он снова отвел руку для замаха...

— Харé! — властно промолвил Чурка, прерывая экзекуцию.— Дальше я сам...

— Столько времени его ждали, козла! — обернулся к Чурке Прикупец.— Дай я ему хоть еще разок вотру!

— Харé, я сказал! Ну-ка, все дернули отсюда по-быстрому!

Щенки, недовольно порыкивая, вышли из беседки.

— Подальше отойдите!

Володя смотрел на Чурку неотрывно, как лягушка на ужа.

— Совсем от рук отбились,— посетовал тот.— Никакого уважения к старшим... Никакой авторитет не помогает.— Он высморкался в пальцы.— Иногда прямо рога бы им поотшибал! Но... нельзя. Дисциплинка должна быть сознательной, а не палочной. Так или не так?

— Не знаю...— разлепил губы Володя.

— Вот я и говорю.— Чурка сморщил лицо в доброй, усталой улыбке.— Одним насилием ничего не добьешься. Надо по человечеству. Так или не так?

— Так...— согласился Володя.

С чем же тут было спорить...

— Да ты присаживайся, будь проще. Вот сюда...— показал Чурка.

Володя послушно примостился на краешке стола, врытого посреди беседки. Теперь они сидели друг против друга.

— Так это, значит, ты-ы... Я думаю: что за Козел такой? А мы с тобой, оказывается, давно знакомы. Чуть ли не кенты... Помнишь, летом в волейбол играли?

— Конечно...— начал помалу оттаивать Володя, и дыхание постепенно освобождалось.

— Курить будешь? — предложил Чурка тем же миролюбивым тоном.

— Спасибо, нет... Не хочется.

— Не хочется или совсем не куришь?

Володя через силу усмехнулся:

— Как в третьем классе бросил, так с тех пор — ни одной затяжки...

— Дело твое...— равнодушно сказал Чурка и закурил.— А я думаю: что за Козел? Так и не понял, пока не увидел. Вот и меня все — Черкес да Черкес... А я человек государственный.

У меня персональная охрана, каждый вечер ПМГ наведывается: дома ли гражданин Николай Алексеич? Ничего с ним не стряслось? Никто его не обидел? Я уж и так стараюсь к двадцати ноль-ноль дома быть как штык. Зачем добрых людей, крестных своих, заставлять волноваться? Чего им по всему городу зря мотаться? И без того служба опасна и трудна...— Он опять высморкался тем же манером — в два пальца.— А сегодня вот спецом для тебя исключение сделал. Сижу тут, сижу, жду, а тебя все нет и нет... Аж заскучал.— Тут Чурка демонстративно зевнул с подвывом: — Ауауауа-а-аххх!..

Что ему нужно? Зритель?.. Так он их отослал, зрителей, почитателей, поклонников таланта...

— Ну ладно. Давай поговорим. Ты вообще-то где обитаешь? Работаешь или как?

— Вообще-то я в «сорокдевятке»... ПТУ сорок девять. Ну и практика, на «Радиодетали».

— Ага, понятно, понятно...— кивнул Чурка и снова затрубил носом сквозь сжатые пальцы.

Сморкался он что-то ежесекундно. И где ухитрился простыть, холодов-то настоящих не было еще...

— Ну, рассказывай, рассказывай: чем занимаешься, что можешь, чего не можешь?..

Володя пожал плечами.

— Ну... Учусь на слесаря. На ремонтника... А могу... Мало чего могу.

Уж больно участлив этот Чурка-Черкес, к чему бы это?

— В общем-то, ничего не могу еще.

— Ну, ты до упора-то не прибедняйся. Слесарное дело — это... Фрезеровщик, токарь — эти того не сделают, что слесарь, так я говорю? Токарь — ему станок нужен, а станку — электроток, правильно? А слесарю чего? Тисочки, лерочка, ну там надфилек — фигня, короче. У него главное — руки. Так или не так?

— Так.

— А у кого руки работу знают, тому и гвоздь — инструмент, так я говорю?

— Смотря для чего,— сказал Володя.

— Ну, это уже мелочи! Вот у нас на зоне отбывал один слесарь. Так он говорил: «Дайте мне висячий замок, я из него пистолет сделаю». Понял, какой ас? «Я,— говорит,— любой сейф консервным ножом вскрою...»

— Нет, нет,— поспешил отказаться Володя.— Это я не умею, не могу...

— А этого от тебя не надо,— успокоил его Чурка.— Чего это ты испугался?

— Я не испугался...

— И правильно,— улыбнулся Чурка.— От тебя никто ничего и не требует! Так, если по дружбе что-то понадобится, какая-нибудь мелочевка... Не откажешь?

— Н-ну, нет, конечно...

— Сверлышко нужно достать, например. Достанешь?

— Какое?

— Ну, скажем, на пять и шесть десятых.

— Нет, это вряд ли... Маленькие диаметры у нас только в инструментальной кладовой. Но там записывают, кто чего берет.

— А ты скажи: сломалось, дескать.

— Сломанное тоже заставляют сдавать, для отчета.

— Да что ты, в натуре! Ерундовое сверлышко не сумеешь свистнуть? Завод-то большой... По другим цехам походи, поищи!

— Ну... По другим... Чужого сразу видно, кто зайдет.

— Ну, ладно! Нет так нет,— смирился вдруг Чурка.— Такой ты, значит, корифан... Но ты все-таки поимей в виду — про сверло. Может, как случайно попадется... Тогда сразу мне приноси, лады?

— Лады,— вздохнул Володя.

— Ну вот, это другое дело! Говорил же я Игорьку, что ты — малый ништяк. Мы еще кентами будем вот такими! Да, ты вот что, ты паганчика этого... Игорька, значит... не забижай. Лады? — Голос просительный, чуть ли не заискивающий.— Это наш паганчик. У него папашка — ценный кадр, понял? Полезный. Аптекман, понял? Игорек нам с тобой «колесики» будет приносить, ампулки добывать всякие, полезные для здоровья... У него есть ходы. Так что ты с ним помягче, ага? Самому же потом что-то потребуется...

— Мне не потребуется,— сказал Володя.

— А! — обнажил зубы Чурка.— Мамка с папкой не велят? Ну, все равно. Не забижай его. Ага? Сделай это для меня. Мы ведь не последний раз встречаемся, точно?

— Да не трону я его, нужен он мне...

— Ну вот и молоток! Вырастешь — кувалдой будешь, ха-ха!

Чурка поднялся со скамейки и протянул руку, но, когда Володя протянул ему свою, от рукопожатия воздержался.

— Во! Чуть не забыл! Ну-ка, подержи лицо вот так...

Холодными, липкими пальцами он взял Володю за щеки и ловко, как фотограф или парикмахер, повернул его голову.

— Вот так хорошо...

В следующую секунду жесткий кулак врезался Володе в скулу, прямехонько под правый глаз.

Удара он не ожидал, потерял равновесие и чуть не упал со стола. Быстро нагнул голову и прикрылся ладонями, думая, что будет продолжение... Но ничего не последовало.

— На сегодня все,— сказал Чурка.— Не психуй. Я тут ни при чем. Я чего? Меня попросили, ну, я и пообещал. А в школе как учили? Дал слово — держи его! Так или не так?

Володя тряхнул несильно головой, звон в ушах не утихал. Если удар видишь, тогда не так... Хуже нет, когда бьют внезапно... И от слабенького толчка можно сотрясение мозга...

— Ну а сейчас, ты извини, я пойду,— сказал Чурка.— Ребята вон ждут, и вообще... Да ты особенно не горюй, увидимся еще. Я подскочу как-нибудь на днях, тогда и насчет сверлышка потолкуем, ага? У-у, смотри, как у тебя глаз быстро заплывает! Ну, ничего, дома что-нибудь холодненькое приложишь. А насчет сверлышка ты подумай. На пять и шесть десятых. Не забудешь?

— Не забуду,— негромко сказал Володя.— Ничего не забуду.

— Ну вот и ладно!

И Чурка сунул ему для пожатия липкую ладонь, и он не оттолкнул ее.

19

Он хотел сперва прокрасться домой незаметно, да вспомнил, что время уже очень, очень позднее,— нельзя. Если мать сквозь сон услышит, как он воровато ходит на цыпочках, ей бог знает что может примерещиться, до смерти напугается. Поэтому он вошел не таясь, даже нарочно громко топал.

— Вовочка, это ты?

— Я, я... Спите!

Он поспешил запереться в ванной — на случай, если матери вздумается устроить ему допрос: где был, почему... И еще

нужно скорей умыться, умыться чисто, с мылом, раз, и два, и три, и сколько потребуется, чтобы смыть даже память о прикосновении тех мерзких, клейких пальцев...

Да разве память смоешь... Ее и наждаком не ототрешь. И с кожей бы ее содрал, кабы это было возможно...

Смочить край полотенца холодной водой, приложить... Скула, вначале онемевшая, ныла.

Только-только «театральный» фингал стал проходить — на тебе добавки!

Зря он включил здесь лампочку, в темноте бы лучше, а снова выходить в коридор, снова шевелиться... нет, не хочется.

Он сидел на краю ванны, держа полотенце, плотно прижимая край его, который он увлажнил, к горящему лицу.

Струйки воды затекали в рукав и за воротник, но он был к этому равнодушен. Он только что вытерпел куда больше. И вообще, его удел с сегодняшнего дня — сносить безропотно все неудобства... несправедливость... насмешки... подлость... побои... позор!

Раз уж он принял безропотно измывательства этого сопливого, чахлого, сгорбленного, гнилозубого...

Таков его удел. Удел труса.

У него больше не оставалось сомнений на свой счет.

Разумеется, если бы это сказал ему кто-то другой, он попытался бы доказать, что он просто такой осторожный, дальновидный человек, что он взвесил обстановку и...

Но что возразить против собственного вывода?

Задним умом, конечно, легко оправдаться. Например: их много, я — один. Или: у них наверняка что-нибудь с собой было. Нунчаку взяли, тот же кастет, просто выдрали где-то несколько штакетин... А он с голыми руками.

Ну, хорошо! Хватило бы у него сил и злости их раскидать, навешать им всем. В общем-то, ничего сверхъестественного. Главное — вырубить Чурку, тогда эти... сами разбежались бы... Но что потом? Что за жизнь? Всегда настороже, с оглядкой. Ведь такие, как Чурка, за свой авторитет дрожат, берегут его... Значит, будут его, Володю, пасти, сечь удобный момент, подсылать провокаторов, как сегодня... Вот же вахлак... И в конце концов где-нибудь да подстерегут...

Хорошо, допустим, все это правильно, все эти рассуждения, объяснения самому себе... Но ведь и эти жалкие само-

оправдания явились к нему только сейчас, уже после того, что произошло! Ведь это не промелькнуло в его сознании тогда, когда увидел он Чурку и его свиту. На пороге беседки он просто обмер от страха. Окаменел, как ископаемое дерьмо. Руки-ноги парализовало, не сумел даже отмахнуться, уклониться... Рефлексы и те отказали, не сработали...

И не надо, не надо! Суть не в том, что он рассчитывал на одно, а его ждало другое и от внезапности этой оцепенел. Оставим это другим, чтобы в их глазах выглядеть хоть капельку храбрее, хоть немного похожим на мужчину... Но позора все равно не избежать.

Этот Прикупец слюнями будет захлебываться, описывая свою победу. «Как, вы еще не знаете? Светки Козорезовой брат, ему на тот год в армию, а кишка тонка, жидко обделался, дал я ему разá, он со страху дышать перестал... Да пожалели, не стали мараться еще об него. Эй, Светка, слушай стишок: «У меня была коза...»

Грудь сжимала какая-то тяжесть, кололо сердце, и боль эта отдавала в левую руку, в запястье...

Пощечина... от пацана, от мелкого, у которого только одно преимущество — он может кликнуть на подмогу таких же щенков и даже(!) всемогущего Чурку. В чем же его всемогущество? В том, что он имел судимости, прошел зону и поэтому нечего ему бояться, ведь пугает неизвестность... В том, что и он быстренько сколотит команду из своих кентов по лагерю?

Да... Все сбиваются в стаи, все, кого ни возьми. Бес, Гаврош — у них своя стая, за пределами училища, старые связи... У Козыря — брат и его дружки... Репел, чтобы спокойно жить в общаге, не бояться старшекурсников, которые там правят бал, как может, угождает, служит Козырю с первых месяцев учебы...

Кто же мешает тебе?

Ведь ты бессилен своим одиночеством, своей оторванностью. У тебя нет больше ни сил, ни характера продолжать эту жизнь, да и о каком характере может идти речь после сегодняшнего... или уже вчерашнего?

Сколько бы ты ни пыжился, ты никогда не будешь в себе по-настоящему уверен. Ни внутри твоей жизни, ни снаружи ее нет ничего, на что ты мог бы опереться... Это в кино один герой расправляется с огромной бандой негодяев, а в жизни —

где он? Где такого найдешь?.. Надо заиметь свою... банду? Получается, что банду...

Но ведь будет идти время, ты постареешь, у тебя будет... ну будет же когда-нибудь жена, а может, и дети... Кто же за них будет заступаться? Или ты до пенсии будешь мотаться в команде? Так и так придется же когда-то брать все на себя... А не сумеешь этого — значит, не будет у тебя того, что есть у всех людей, даже семьи... Кому ты нужен такой бесхребетный...

Надо ломать себя изнутри. Но не так, как он привык делать, с подготовкой и раскачкой. Сразу! Резко!

Он отвел рукой мокрые волосы со лба и посмотрел в зеркало на себя, на свое избитое, оскорбленное лицо.

Вот с этими украшениями придется ходить недели две. Сколько же раз его за это время спросят: «Что это у тебя с глазами?» Сколько раз придется ему, как обычно, играть веселость, отшучиваться: «В дверь по габариту не прошел», «Пчела укусила»...

Сколько же еще можно жить и делать вид, что все идет хорошо!

Скребутся изнутри, царапают душу когти...

Один коготь — Чурка... Второй коготь — Светкина беда... Третий — Гаврош, Бес, деньги эти проклятые... Что же с ними решить? Все-таки у матери взять? Или пойти к тому пострадавшему, к предкам его? Сказать, что позже отдаст он эти вшивые пятнадцать рублей, которых не будет хватать для ровного счета? Ну что, что придумать?

Ничего голова не соображает...

Только царапают когти: Чурка, Светка, Прикупец... Да мало ли их! Всё и не вспомнишь сразу... Но вот один совсем близко где-то корябает... Ну вот — рядом... Ну что? Что?

Книга! Хемингуэй! Он же ее оставил внизу, в подъезде!

Скорее туда! Хоть один коготь обрезать...

Позже, под самое утро, ему приснилось, будто вся комната от пола до потолка набита ватой, которая тяжело и мягко наваливается на грудь, не дает, мешает дышать, от нее жарко, душно, и он хочет сдвинуть груз, но не может пошевелить руками...

20

Можно было, разумеется, снять редуктор с бетонного фундамента, отвезти на тележке в слесарку и там заниматься им, на просторе, и не ежиться от рева вентиляционных насосов — шестиугольный барабан, в котором мололи канифоль для паяльного участка, был установлен в маленьком закутке рядом с вытяжными трубами, что отводили зараженный воздух с рабочих мест электролитчиков, сварщиков, паяльщиц... Шуму — как от реактивного самолета. Стенки жестяных толстых труб вибрируют мелко, неприметно для зрения. Если приложить к округлому боку трубы ладонь, то аж под мышкой щекотно делается...

Эта каморка от всего помещения отгорожена стеной в два кирпича и малюсенькой дверцей, и это хорошо сейчас для Володи... Было бы тихо — или пусть не так громко,— то вообще красота. Но вентиляцию отключают лишь на обеденный перерыв, в целях экономии энергии.

Честно говоря, можно рехнуться от этого воя и гула. Но это лучше, чем шуточки слесарей по поводу его внешнего вида. Ни один ведь не оставит без внимания. Каждый считает своим долгом что-нибудь брякнуть.

Здесь вообще все друг друга поддразнивали, подначивали, не могли, что ли, без этого... Федю Селищева не оставляли в покое из-за его бакенбард, токарь Пименов страдал из-за усов... А Дубов, например, пришел однажды на работу в красных носках. Говорят, один раз всего и надел-то их, и было это года два назад, а доводят его до сих пор: «Витек, а где же твои красные носочки?» Даже начальник цеха, Аркадий Семенович, зашел как-то в слесарку — это при Володе было,— и Дубов ему сказал, что больше ноги его не будет на покраске, пока его не обеспечат талонами на бесплатное молоко, а начальник взял его за пуговицу и спросил: «Слушай, Дубов... А твои красные носки еще целы?»

Витя тогда сильно обиделся. Он с начальством всегда обидчивый. Свои ребята ему что угодно могут сказать, обозвать даже, он только посмеется. А в отношениях с командирами производства он предпочитает официальность.

Чтобы перебрать редуктор, хватило бы двух часов, но Володя возился с ним до обеда в пыльном карцере, под рев насосов, от которого и собственных мыслей не было слышно. Это его и устраивало.

Остальным не лучше пришлось. Чингиса и Репела послали чистить покрасочную камеру, сдирать со стенок наплывы нитроэмали, дышать парáми растворителей... Оттуда выходишь потом как пьяный.

А Гаврош с Козырем отгружали готовую продукцию. Это дело канительное: нагрузить коробками контейнер на СГД — складе готовых деталей,— на лифте спуститься вниз и там из контейнера перекидывать груз в машины. Если приходила «татра» с огромной фурой, приходилось попотеть. Там и подавать высоко, и носить далеко, шоферы всегда велят складывать тяжелые конденсаторы в передок... Старые рабочие соглашались помочь на погрузке только за отдельную плату, ну а с пэтэушниками не обязательно церемониться. Чего только не приходилось им делать!

«Потому она и называется — производственная практика... Вы должны все производство узнать, от и до! Все своими руками пощупать...»

Вот они и щупали, набивали мозоли. Впрочем, никто особенно не возражал. Так даже интересней было — все-таки разнообразие. Да и лучше, что ли, от безделья дуреть? В коробочку играть? Резиновые перчатки водой наливать и бросать с пятого этажа?

Наконец закручена последняя гайка. Ну-ка... Нажал на кнопочку и... Порядок! Нормально крутит. Можно сдавать работу Петру Федоровичу. Он уж приходил, интересовался...

Он вытер руки от солидола и начал собирать в ящик инструменты, каждый ключик и отвертку также протирая ветошью. До перерыва еще примерно полчаса. Как раз время бежать в столовую, занимать очередь... Неохота! Опять девчонки будут ухмыляться... Опять кто-нибудь пошутит: «Пропустите инвалида с детства!» Но что поделаешь, занимать очередь на всю слесарку — тоже обязанность практикантов, и нынче ее должен выполнить Володя...

Но получилось иначе. В конторке механика его ждал Радик...

— Хорошо, что ты пришел, Козорезов. А я уж было сам к тебе хотел идти... Ну, здравствуй, прогульщик!

Он поднялся со стула и сделал движение, будто хотел подать руку, но потом передумал и вместо этого поправил галстук.

— Добрый день... Петр Федорович, я заменил шестерню. Смотреть будете?

— Ладно,— сказал механик.— Потом. Разбирайтесь пока со своими делами.

Он уткнулся в какие-то чертежи.

— Пойдем-ка, поговорим,— предложил Радик, видя, что механик уходить из конторки не собирается.

Хорошее место для разговора было у фонтанчика с питьевой водой. Но что за секреты? Почему нельзя было при Петре Федоровиче продолжать?

— Ты что же это на занятиях не появляешься? Раз спросил — нет Козорезова, два спросил — нет... Неправильно себя ведешь, должен предупредить... Ты что же думаешь, советом по профилактике правонарушений вся история и кончилась для тебя? Ты себя реабилитированным не считай, пожалуйста! — Радик погрозил длинным, аккуратным пальцем.— Вина с тебя не снята, и придется ее искупать!

— Где искупать? — спросил Володя, машинально открывая и закрывая кран.— В реке или в бане?

— Каламбуры твои неуместны, Козорезов! — все так же грозя пальцем, сказал Радик.— Повторяю, напрасно ты считаешь, что все для тебя кончилось, так же как и для всех прочих...

— Да, да! Понял. Все только начинается; цветочки, ягодки впереди... Придется мне свою вину кровью смывать!

— Для тебя еще время шутить не настало!..— все не мог сдержать инерцию Радик. Но толокся он уже на одном месте.

Лязгнули двери лифта, и на площадку вышли Гаврош с Козырем.

Козырь остановился, а Гаврош подошел и, глядя многозначительно, тоном человека, обманутого в лучших чувствах, напомнил:

— Козорезов... Я ж д у...

— Почему не здороваешься? — удивился Радик.

— А я не комсомолец,— нахально и спокойно ответил Гаврош.

— Я немного задержусь...— сказал Володя.— Ты же видишь... Потом... После обеда.

— Ну, тебе виднее...

С утра ему Володя на глаза не попадался, и видно было, что настроился он на серьезный лад.

— Все-таки редкое хамство! — сказал Радик, проводив взглядом Гавроша и Козыря.— Даже для нашего училища.

Очень трудно понять, что может связывать тебя... с этой шпаной, с этими хулиганами...

— Какое у вас дело ко мне, Радий Леонидович?

Вся «бурса» знает, что в глубине души Радик любит, когда к нему обращаются по имени-отчеству. Прямо тает весь, хоть и старается не подавать виду...

— Значит, так! На чем я остановился... Да! Время для шуток еще не настало. Ты должен делом доказать, что этот... неприятный эпизод в твоей жизни — случайность, досадное недоразумение... Слушай, ведь ты хороший парень! Мы ведь уже и работали с тобой вместе. У меня даже была мысль поручить тебе редколлегию... И на групкомсорга собирались выдвигать. И скажу тебе по секрету,— приблизил он лицо,— кандидатура твоя пока еще не снята... Так что все будет зависеть от тебя самого, от твоего поведения в сложившейся ситуации...

— Что же я должен делать?

— У меня есть к тебе комсомольское поручение... Послезавтра, как тебе должно быть известно, общее собрание...

— Мне не говорили...

— Ну так вот я пришел к тебе персонально и извещаю! Объявление, между прочим, давно висит, где ему положено быть. А вот почему ты не ходишь на уроки?

— Занят был...

— Или ты экстерном собираешься сдавать за среднюю школу? Так у нас это не принято, и для тебя вряд ли станут делать исключение. И вообще, в жизни коллектива участия не принимаешь — на что это похоже? Мне Анастасия Сергеевна...

— Какое поручение-то? — перебил его Володя.— Мне нужно бежать в столовую. Ближе к делу! И быстро! Мне некогда!

Похоже, что Радик был немного ошарашен. Во всяком случае, пальцем больше не грозил...

— Н-ну, хорошо... Если ты торопишься... Значит, в двух словах: во-первых, есть такая идея... В общем, решено создать гимн училища. Понимаешь? И текст решили поручить тебе, учитывая то, что некоторый опыт у тебя имеется, и вообще — больше некому. Ты понимаешь всю меру ответственности? Если текст утвердят, то на годы, на многие годы вперед это будет являться как бы визитной карточкой нашего училища, как форма, как... В общем, есть возможность отличиться. Понимаешь, какое тебе доверие оказывается?

— Нет, это я не могу. Таланта не хватит...

— Ты что, издеваешься, Козорезов? Как это не хватит? Ты голову не морочь! В стенгазету писал стихи? Ведь писал?

— Разве это стихи...

— Ну, знаешь! Тебе не стихи, а нам — в самый раз. В общем, давай дерзай!

— Да не могу я! Сказал же...

— Ты что, Козорезов, дурак или притворяешься? Тебе дают шанс, руку протягивают! Ты понимаешь, что от этого будет зависеть позиция руководства по отношению к тебе? Да ты спасибо должен сказать...

— А если у меня не получится?

— Да брось ты, в самом-то деле! Не получится... Два простеньких куплета! Неужели так трудно придумать? Ну, что-нибудь типа: «Мы в училище своем... рабочий класс не подведем!» Сможешь, это легко...

— А хоть на какой мотив-то? Музыка есть?

Легко тебе! Что ж ты сам-то ничего такого, простенького, не сочинишь?

Но не было желания увязать в длинном и скучном споре, и не переговоришь Радика, бесполезно...

— Музыка будет! Дай слова сначала. Большинство песен так и пишется, кстати: сперва стихи, потом мелодия. В общем, давай! Два дня тебе хватит?

— Два?!

— Ну да... Желательно к общему собранию успеть, я там готовлю выступление по этому вопросу... Ну, ориентировочный вариант. Потом подредактируем... Думай! Ты парень грамотный, на тебя вся комсомольская организация надеется.

— Ладно... Я попробую. Можно теперь идти?

— Нет, нет! Я же тебя предупредил, что гимн — это во-первых. А если имеется во-первых, то будет и во-вторых, правильно? Правильно. Итак, во-вторых... Только это строго между нами! Будет отдельным вопросом поставлен... инцидент в Театре юного зрителя. Подготовишь выступление для комсомольского собрания... Чтобы все в духе времени... Ну, ты понимаешь. Надо будет то... чрезвычайное происшествие осветить с самокритических позиций. Ну и в целом ситуацию в группе и так далее... Ясно?

— Ясно...

— Вот и хорошо! Надеюсь на твою сознательность. А комитет, со своей стороны, окажет содействие, поддержку... В этом не сомневайся. Вопросы есть? Вопросов нет! Да... Это

самое... Выступление набросай на листке бумаги. Покажешь мне, я подредактирую. Рассчитывай минут на пять. Ну, пока! Побегу... Дел по горло. Все сам, все на себе...

— Постойте, Радий Леонидович!

Спросить или не спросить?

— Ну, что еще?

— А вы не отпросите меня у механика? Чтобы он меня сейчас отпустил, с обеда. Иначе не успеть... На ходу и в голову не придет стоящего ничего.

— Но это не в моей компетенции... Знаешь что, поговори об этом с мастером. Кто у вас, Николай Иванович? Вот к нему обратись. А моей власти тут нет...

Спросить! У кого, если не у Радика? Не идти же с этим к директору... или в отделение...

— Радий Леонидович, а вот я еще хотел...

— Ну, быстрей, быстрей, Козорезов!

— У вас нет адреса того школьника, которому... ну, который потерпевший?

Радик посмотрел подозрительно.

— А зачем тебе это?

— Ну, как зачем... Извиниться, может, хочу. За всех... И за себя, конечно.

— Из-ви-нить-ся? Кто это тебе дал такое указание?

— Никто. Я сам...

— Сам? Хм... Смотри-ка! Достоевщина какая-то... Ну, пожалуйста, я не против. Включи это в свое выступление. На собрании должны быть представители из той школы...

— Радий Леонидович, как раз это и была бы достоевщина! На собрании... Это все равно что на перекрестке Раскольников каялся и землю целовал. А я просто хочу прийти и...

— Постой-ка, Раскольников разве целовал землю?

— Целовал, кажется... И просил прощения у всех добрых людей. Сонечка Мармеладова ему велела — у всех людей. А я хочу у одного. Слава богу, он живой... Не как старуха процентщица...

— Что-то с землей ты, по-моему, путаешь. Ну, хорошо. Зайди сегодня в комитет... часика в три. Сможешь? Заодно, может, к этому времени и выступление обдумаешь — обсудим. Ну, пока!

И он удалился своей походкой активного человека, наклонив туловище вперед и сильно размахивая руками.

...— Ты чего не ешь, Козорезов? — вывел его из задумчивости вопрос Козыря.

Тот уже допивал компот. Сейчас и он поднимется и уйдет, а посуду на мойку снова понесет Володя, за всех четверых, сидевших за этим столом,— морской закон, ничего не попишешь... Есть на самом деле такой закон или нету — неизвестно, однако в училище все ему следуют, оставляя неприятную работу тем, кто привык мешкать... При этом никто не думает, что все такие штуки — просто глупость, потому что до ближайшего моря больше тысячи километров.

— Слушай, Козырь... Не знаешь, как можно достать сверло на пять и шесть?

— Что, «мелкаш» хочешь сделать?

— Да нет... Там один просил...

— Кто?

— Ну, один там... Ты его не знаешь.

— Я всех знаю.

— Ну... это неважно.

— Неважно! Еще как важно! — возразил Козырь.— Достанешь ты ему сверло, а для чего — не можешь допетрить? Это же под малокалиберный патрон! Сгондобит он себе пистолю, а его заловят. Начнут раскалывать: как делал, да кто помогал, да где инструмент брал?.. Он тебя и заложит, пойдешь как соучастник... Эх ты! Надо же немножко соображать своей тыквой!

— Нет, этот не должен продать. Он сам из блатных.

— Малый ты неплохой, Козорез, но какой-то недоразвитый. Жизни не понимаешь. Как будто с Луны свалился. Надо тебя еще учить и учить...— снисходительно поглядел Козырь.— Так вот, запомни: блатной такого фрайера, как ты, сдаст и глазом не моргнет. Ты прямо как маленький...

— А ты... большой?

— Большой не большой, а кое-что понимаю в этом деле... Так что мой тебе совет — лучше пошли ты этого хмыря болотного... знаешь куда...

Да знать-то он знает...

— Слушай, а ты Гаврошу полтинник...

— Еще вчера,— ответил Козырь, не дожидаясь окончания вопроса.— Святое дело! Молодец у Беса мамаша, пробивная... Конечно, мы под отсрочку приговора подпадаем, если чего, но все равно — зачем нам это нужно? Для нас теперь главное — лечь на дно и не высовываться... Пока еще что-нибудь не слу-

чится в другой какой группе — тогда про нас забудут, на них перекинутся.

Когда Володя пришел в курилку, дым там стоял коромыслом и кипел горячий спор.

— Да все равно эти мускулы накачанные — чихня! Дутые! В них настоящей силы нет!

— Много ты понимаешь! — парировал Гаврош.— Куда там деляга! Чтобы хорошо накачаться, знаешь, сколько с железом работать надо!

— Вон Чингис культуризмом не занимается, а что он — слабее твоего Беса?

— А начал бы заниматься — еще бы стал здоровее!

— Фигня все это! — стоял на своем Козырь.— Потеря времени.

— Потеря! Не знаешь — не говори! Жалко, не было тебя с нами прошлую субботу...

— А что в субботу было?

— А то! Стоим с Бесярой у ларька пивного... Очередина — жуть! Завал полнейший! Человек сорок мужиков! А тут подваливает эта блатата... Черкес тут один есть. Знаешь его?

— Кто этого ханурика занюханного не знает! — сказал Козырь.— По «хулиганке», по двести шестой, пару раз проходил, а блатует в полный рост, как вор в законе...

— Ну вот, подваливает он, и с ним еще один кадр синий. Амбал — экскаватором не сковырнешь...

— Что за амбал? Какой из себя? — заинтересовался Козырь.

— Я его не успел разглядеть,— небрежно бросил Гаврош.— Все очень быстро случилось. Полезли они без очереди... Мужики — лбяры такие, и человек сорок! — стоят и молчат, как рыбы об лед. Бес тогда подходит спокойно и говорит: «Отваливайте отсюда начисто, жлобы!» Ну, Черкес все равно пиво берет, а этот, другой, так за рукав берет и в сторону Беса отводит... «Юнец,— говорит,— я тебя не буду бить, не буду убивать, я тебя просто съем вот под это пиво...» Бес его — лясь между глаз! Ха-ха! Амбал в одну сторону, кружка — в другую!.. А Черкес тоже свою кружку уронил, пятится задом и головой вот так мотает и приговаривает: «Нет-нет-нет-нет...» Там ржачка была! Кто видел — все улились со смеху... Вот так съел, говорят!

Козырь, Чингис и Репел тоже «улились». Но потом Козырь стал серьезен.

— А он вообще вас знает, Черкес-то?

— Да хоть и знает... Ложили мы на него!

— Все равно поаккуратней с ним надо. Он, конечно, в особо авторитетных не ходит, но злопамятный, гад. И привычку дурную имеет...

Но какую привычку имел Чурка, в этот раз Володе узнать не удалось. В курилку вошел Петр Федорович.

— Ффых! Ну и надымили, чертенята! У меня мужики так не смолят! Так и по технике безопасности не положено...

— Мне по технике безопасности тяжелей ложки ничего поднимать нельзя! — огрызнулся Гаврош.— А меня заставляют такие железяки таскать, что чуть пупок не развязывается... С этими порядками и до пенсии не дотянешь, загнешься. В школу придешь — там химия с алгеброй... Да вот еще придумали — литературу! Сплошное идиотство. Свихнуться можно...

— Ладно,— успокоил его механик.— Сейчас пойдешь на свежий воздух, проветришь мозги. Всем взять метлы в кладовой — и во двор, на уборку территории!

21

Да... Это единственное, что остается. Другого выхода... Неужели нет? А если они откажутся ждать? Но что им стóит — две недельки, подумаешь... Он очень, очень попросит! И тогда вечером начихать ему будет на Гавроша с его туманными, недобрыми намеками. Он просто может не прийти на место встречи — и все! А завтра... Ну а что? В чем дело? Отдавайте, что собрали, идите спокойно, насчет себя я договорился. Да, это уже мое личное дело...

Можно будет и расписку дать! Если потребуется... «Обязуюсь к такому-то числу... такую-то сумму... Дата, подпись...» Все честно, благородно... Ну, а если не выгорит?.. Если все-таки они скажут: «Знаешь что, хлопчик... катись-ка ты!» А! Попытка — не пытка! Уже то счастье, что добыл он этот адрес... Спасибо Несси! Все-таки любимая учительница у него — она. Не обманула его ожиданий. Лишнее доказательство того, что первое впечатление — самое верное.

Как она тогда вошла в аудиторию... «Гуд монинг...» И повела головой, маленькой, коротко стриженной, на длинной шее... И глаза у нее большие, красивые и казались немного испуганными... И правда, будто настоящая Несси на таинственном озере... Вынырнула из таинственных глубин и озирается опасливо, как бы ее не начали сейчас ловить сетями...

Или стрелять в нее шприцами с веществом, вызывающим паралич.

Повезло им, что классная руководительница в группе — она. А ей вот не повезло... Половина не то что по-английски — по-русски читать не умеют...

Ну а если они все же не согласятся? Что ж, тогда и будем голову ломать. Зачем умирать заранее?

Но как он себя ни успокаивал, кусок вставал поперек горла. Факт, достойный удивления... Наконец-то и у него, как у всех нормальных людей, от волнения аппетит пропал. Может, и в остальном дело с нынешнего дня на лад пойдет? Может, станет он мало-помалу таким же, как все?

Как на грех, мать в честь своего выходного постаралась с обедом. И за стол сели все вместе, что бывало не так часто — обычно каждый в одиночку перехватывал на кухне чего-нибудь, когда появлялось желание. Потому что у матери скользящий график на службе и еще эти полставки; и вообще каждый в их семье живет своей жизнью, просто никому это в голову не пришло, кроме Володи... В какой-то момент он это осознал отчетливо.

Ну вот, встревожилась... Хоть и старалась последние дни молчать с оскорбленным видом, тут, однако, не выдержала:

— Ты что, голодовку объявил?

Свежи, видно, в ее памяти эпизоды его детских лет... Смешно подумать, до каких нелепостей может дойти человек, особенно маленький, в борьбе за право на хоть какую-то независимость...

— Ну какая же это голодовка? — вяло возразил Володя.— Суп я ведь съел...

— А второе?

— Не хочется...

— Блинчики?! — воскликнула Светка.— С мясом?! Не хочется?!

Его стало вдруг разбирать...

— Подумаешь, мясо... Опять небось коровьи хвосты...

— Мясо настоящее...— сказала мать и обиженно поджала нижнюю губу.— Я достала в кафе... Через Ирину. Напрасно ты брезгуешь.

Да он никогда никакой пищей не брезговал! А сейчас... Так, ляпнул наобум лазаря. Не сдержался. Но разве тут обдумаешь каждое слово, когда мысли все в одну скатываются и душа не на месте...

— А если я иногда и покупаю субпродукты,— отложила она вилку,— то что в этом...

— Ничего! Ничего! — заторопился Володя. Вот же свинство! Испортил семейную трапезу...— Наоборот, я люблю даже...

— Мы не буржуи какие-нибудь,— сурово заявила Светка.— А некоторые... кто деньги прячет... и за хвосты пускай спасибо скажут.

— Ну всё! Всё! — Он вскочил из-за стола.— Кругом виноват! И тут, и там! Куда ни кинь — все клин! Ну давайте, топчите меня! Налетай со всех сторон!

— Чего ты психуешь-то? Не психуй, тебя все равно никто не боится! Мам, скажи ему, чтобы он не психовал...

— Он уже сам большой,— печально промолвила мать.— Самостоятельный, начитанный... Покультурней нас с тобой.

Вот и всегда так! Вечно остается он в одиночестве. Сроду не бывало, чтобы мать или сестра в семейной ссоре приняли его сторону. Или все втроем, вместе, дружная семейка, или они вдвоем против него.

— Вы что теперь, до конца дней моих собираетесь мне этим случаем глаза колоть?

— Легко простить, но нелегко забыть...

Светка изрекла эту фразу — наверняка из своего «альбома»! — так глубокомысленно, с таким житейски умудренным видом, что Володя невольно расхохотался, несмотря на горечь, которая омывала его сердце.

— Совсем чокнулся,— сказала Светка.— То орет, то ржет... Спроси у него, мама, куда он три кассеты дел. Где самая лучшая музыка...

— А это вообще не твоя забота!

— Нет, моя! Магнитофон мама нам обоим купила, на двоих! И записи тоже общие!

Ах так! Ну, нате, нате вам!

Володя сбегал в свою комнату и вернулся с магнитофоном.

— На, бери! Владей! Это тебе в личное пользование! Рада?

— И возьму! — тряхнула сестра слабенькими, фальшивыми кудряшками.— Только ты уж тогда и пленки все давай сюда! И те три кассеты новые!

— Прекратите! Прекратите сейчас же! — застучала мать по столу ладошкой и заплакала.— Что же вы... Разве можно так!..

— Вот! — грозно и торжественно произнесла Светка.— Довел маму! Довел до слез!

Загремев стулом, она поднялась, подошла к матери сзади, обняла ее, прижалась щекой к голове.

— Мамочка... Бедная, бедная мамочка! Хорошая моя мамочка...

Она гладила мать по спине, посылая брату враждебные взгляды.

Ничего не оставалось, как махнуть рукой и уйти.

Это нетрудно — повернуться и выйти из кухни... Куда трудней смирять сильно бьющееся сердце и всякие тревожные мысли, которые каруселью крутятся в голове, ни на чем не могут остановиться. А надо бы, надо застопорить эту самую карусель...

22

...Это был совсем новый дом. Его построили на месте хибарок, которые лет сто собирались сносить и сломали совсем недавно, когда они уже по пояс в землю вросли,— хозяева все откладывали ремонт с года на год... А яблони, росшие здесь, не все выкорчевали, осталось несколько деревьев, и по их ветвям лазали с визгом дошкольного вида малышата. Им здесь больше нравилось, чем на площадке, устроенной специально для них,— лесенки, горки, барабаны для бега на месте...

На всех дверях квартирные номера были написаны краской, а на этой, нужной ему, прикручена была эмалированная белая табличка с черными цифрами. И глазок вделан в середину.

Володя нажал кнопку и стал так, чтобы его легко можно было увидеть через глазок: пожалуйста, я не прячусь, я с добрыми намерениями...

Хорошо бы сразу вышел этот Олег, пострадавший. «Раненый», как называет его Гаврош. Тогда можно было бы поговорить прямо здесь, по-быстрому... Но вдруг он сам такие вопросы не решает и придется разговаривать с матерью его или, еще хуже, с отцом? Ну, ладно, будь что будет.

Он снова нажал кнопку, но теперь заметил, что звонок не работает, ничего не слышно, а ведь дверь даже не обита дерматином, звук, пусть приглушенный, должен был донестись до его ушей, сюда...

Он постучал.

Дверь почти сразу же открыла нестарая женщина с гладким лицом, в косынке, из-под которой топорщились бигуди, в длинном халате.

— Да здесь открыто, что же ты не попробовал?

— А Олег дома? Здравствуйте...

— Дома, дома... Проходи! Ты Петя?

— Нет, я...

— Ну, проходи, проходи! Не стой на сквозняке.

В прихожей самым заметным, прямо бросающимся в глаза предметом были раскидистые оленьи рога, прибитые между вешалкой и овальным зеркалом в массивной раме. Шикарные рога! Тот зверь, что их носил, много лет, наверное, водил охотников за нос, прежде чем достала его роковая пуля. Может, он уже был стар и неповоротлив и не успел уклониться; или слух его подвел — и сумел стрелок подкрасться близко. Ему ведь, оленю-то, лет сто уже, наверное, стукнуло к тому трагическому дню, если считать по отросткам рогов...

На полке, над вешалкой, заметил Володя старую офицерскую фуражку, а свои кроссовки он поставил рядом с большими сапогами... Пахло же здесь подгорелым молоком.

Женщина в халате — мать, должно быть, этого Олега Щербакова, кто же еще? — подошла к одной из дверей, выходящих в просторную прихожую, и постучалась:

— Алик! К тебе товарищ!

И убежала, кажется, на кухню.

Раньше Володя такое только в кино видел, чтобы мать или отец стучались, прежде чем войти к сыну... Да и сын, как правило, взрослый уже дядя, сидел в своем кабинете за письменным столом, курил одну за другой и занимался научной работой или писал роман, а кругом — шкафы, набитые книгами в кожаных переплетах... В общем, заслуживал он родительского уважения. И происходило это действие не у нас, а где-нибудь в Германии или другой стране.

И вот он увидел это наяву. И зависть его кольнула.

Он тоже постучал костяшками пальцев, деликатно так:

— Можно?

— Ну, заходи! Чего ты там...

— Привет...— поздоровался Володя.

— Ты ко мне? — удивленно посмотрел парень в клетчатой рубашке и голубых джинсах, затертых добела в местах, предписанных модой.— Ну, привет...

Володя тоже был удивлен. Конечно, он не ожидал, что этот Олег будет лежать в постели, обложенный подушками и окруженный докторами, родными и близкими... Но и не думал, что «ранетый» встретит его вот так, сидя на полу перед здоровенным листом фанеры, в руках — дрель, а в глазах — ну совершенно никакого страдания. Выходит, дело обстоит не так уж и плохо? Подбородок, правда, подвязан косынкой... И говорит он, не разжимая рта. Но ведь говорит!

Что ж, хорошо и то, что можно первоначально поговорить с ним, а может, и вообще — только с ним...

— Ну? Я шлушаю.

— Да вот...— начал Володя, справляясь с легким замешательством.— Я это... Ну, короче... Извиниться пришел.

Олег положил дрель на фанеру рядом с какой-то моделью — не то линкор, не то эсминец... А возможно, и крейсер, кто его знает. Володя не очень-то разбирался в этих военно-морских тонкостях.

— Што-што-што? Ижвиниться?— Парень наморщил лоб и обнял руками колени.— А-а... Ты иж пэтэу? От литша обшештвенношти пришлали?

— Да нет. Никто меня не посылал. Я сам от себя.

— Ого! Это што-то новенькое... Ну, шадишь. Вон на штул.

Речь ему давалась с трудом.

— Нет, нет! Я лучше постою,— отказался Володя.— Я ненадолго, на минутку если... Только хотел... В общем, ты прости меня. По-дурацки все получилось.

Парень пожал плечами.

— А ты-то при чем? Я тебя вообще не помню, не видел даже...

— Это не имеет значения. Я там был, вот и все. Значит, и я виноват. Но тебя — это не я. Честное слово! Извини...

Олег молча принялся убирать с фанерного листа инструменты, складывая их в специальный ящичек.

— Что это ты делаешь? — спросил Володя.— Что за модель?

— А, чепуха...

— Ничего себе — чепуха! — не согласился Володя. И не для того, чтобы польстить хозяину, а вполне искренно.

Этот игрушечный корабль, похоже, в точности воспроизводил настоящий: тут тебе и орудия, и ракеты, и радар... Даже стеклышки вставлены в иллюминаторы. Старания приложено немало... А он уважал старательных, мастеровитых людей.

— А плавать он будет?

— А куда он денетша... Поплывет, была бы вода. Только надо шуда электромоторшик. А их нигде по магажинам нету. Вообше материалов никаких нету. Придетша штарую модель... какую-нибудь рашкурочить...

Олег бережно поставил модель на книжный шкаф, где белели парусами несколько яхточек и отливали серой сталью борт и надстройка другого военного корабля.

— Вообще это пройденный этап. Мы в кружке такие делали, еще когда я в пятом клашше училша. Это там, где мы раньше жили, на Дальнем Вошток... М-мм...

Он поморщился и пощупал рукой челюсть.

— Сильно тебе досталось?

— Да нет, ничего. Могло быть и хуже... Ешли бы чуть выше попало. А так — в одном меште только, вот ждешь, шлева, трешина... Ну, и два жуба, конешно.

Он взял щеточку и принялся аккуратно сметать в одну кучку опилки, металлическую стружку и прочий мусор.

— У меня мечта — авианошетш...— вернулся Олег к прежней теме.— Два-три шамолетика... радиоуправляемых.

— Ну, это вообше...— сказал Володя.

— Ничего шложного. Единштвенно — как шамолет... обратно на палубу пошадить? Этого пока никому не удавалошь.

— Слушай, Олег... Может, тебе что-нибудь нужно? — предложил Володя от чистого сердша.— Ну, там — латунь листовая, эбонит, плексиглас... Я бы принес. Мы на заводе практику проходим, там этого всего...

Олег задвинул фанерный лист за шкаф, вытер платком руки и вдруг посмотрел Володе прямо в глаза, твердо, пристально.

— Это не твоя мамаша тут недавно приходила к нам? Плакала, рыдала?..

— Н-нет... Моя пока что...

— А я подумал — твоя... Тоже, как ты... Откупитьша хотела... деньги предлагала. Папа как раж дома был... чуть ш лештнитши ее не шпуштил...

— Постой, постой... Так вы... отказались? Не согласились?

А ты как думал? Можно было бы догадаться, лишь один раз на мать этого парня взглянув. Совсем она не похожа на тех, что...

— Нет, конешно. Нам подачек не надо. Што у меня, кошть от этого... шкорее шраштетша?

— А... как же тогда... заявление?

Олегов взгляд стал насмешливым, презрительно-понимающим.

— Не переживай... Мама его еще раньше... жабрала нажад. Да она бы его и вообще не подавала... Это папа... Он военный... Привык, чтобы вше делалошь по жакону... по уштаву.

— Это одного нашего пацана была мамаша,— поторопился объяснить Володя.— Бес там у нас один есть... А я просто так тебе предложил, безо всякой задней мысли... Если чего из материалов... Я не то чтобы там... Ты не думай! Конечно, я виноват...

— Да ладно,— вроде бы смягчился Олег.— Мир... Я же не обвиняю тебя. На войне как на войне. Куда вше — туда и ты. Я понимаю... Што тут поделаешь... Вчера мне попало, а жавтра, может, я шам кого-нибудь нечаянно уделаю. Мы, когда на Дальнем Воштоке... Там тоже бывало. И ПТУ тоже ешть, и мореходка... Ребята жнаешь какие? Ого! Каждую шубботу на дишкотеке... Наших против ихних! Это вежде так. Ты не думай. Не только в вашем городе...

В дверь постучали:

— Алик, твой товарищ будет чай пить или какао?

— Потом, мама! Не шейчаш...— И он пояснил Володе:— Обед у меня. Пищу только жидкую потребляю...

— Да...— посочувствовал Володя.— Положение — не фонтан...

— Но уже манную кашу потихоньку начал ошваивать...

— Слушай, Алик...

Пусть уж будет Алик, если ему так больше нравится.

— А почему вообще все эти... ну, войны, что ли, происходят? К чему вся эта грызня? Кому она нужна?

— Мне тоже эта мышль приходила в голову. А потом я перештал об этом думать. Што толку? Вше равно я один ничего не могу ижменить. Конешно, глупо так шебя вешти, а иначе — нельжа. Не нами жаведено, не нами и кончитша... А я к тому же в этой школе новенький. Еще шкажут — труш... Неохота. Куда деватьша? Так же и тебе...— Он вздохнул и попробовал улыбнуться.— Так что шмотри под руку мне не попадайша в шлучае чего. А вообще-то, конечно, надоели эти игры... Шкорей бы аттештат получить, што ли. А правда, чего ты пришел-то?

— Я же сказал... Извиниться.

— Ну да!

Видно, не прошибить его недоверчивость...

— А может, ты маленько... того? Не вполне...

— Не знаю. Может быть,— сказал Володя.— Скорее всего.

... Так оно и есть. И всем это видно. И всеми его недостатками рады пользоваться. Он ведь их не скрывает, а некоторые качества, от которых лучше бы поскорее избавиться, и не считает недостатками. Например, он доверчив, как грудной ребенок... А ведь это самая настоящая глупость. От этого он так несобран, неосторожен, непредусмотрителен... У Чурки стоит поучиться... Вот уж кто может все рассчитать. Не стал тогда Володю ждать в подъезде, чтобы не привлекать внимания, шума не вызывать... И сразу понял, чем всего легче завлечь в беседку эту проклятую. Нашел приманку... «Телка с тобой хочет познакомиться...» Нужна тебе такая? Которую можно телкой назвать?

Выходит, нужна... Поплелся ведь за Овечкиным как миленький. Потому что рад был бы и такой. Потому что самому за себя стыдно: все ребята в твоем возрасте ходят с девчонками. А кое-кто и настоящую любовь крутит. А тебе она известна только по книгам... И многое другое — по книгам.

Сколько их прочитано! И что пользы? Да ты просто прятался там между страницами. Видел и слышал искусственных людей, и сам ты стал искусственным и потому теряешься, не знаешь, что делать, как себя вести, когда столкнешься с чем-нибудь настоящим. Как легко — открываешь книгу и становишься на несколько часов кем угодно: хочешь — д'Артаньяном, хочешь — комиссаром Мегрэ, Шерлоком Холмсом... Пока читаешь, такой ты храбрый, такой умный, такой наблюдательный!.. А в живой, всамделишной жизни что?

Кто тебя оскорбляет безнаказанно? Кто вынуждает врать? Кто может свободно тебя обвести вокруг пальца? Кто? Ничтожества...

Ты клюешь на такую грубую наживку! Те, кто желает тебя подловить, не считают нужным даже прятать, маскировать как следует крючок. Его легко увидеть, если чуть внимательнее приглядеться, но ты его глотаешь простодушно, не раздумывая... Эх, ты, карась-идеалист! Когда же ты откроешь глаза? Когда встряхнешься? Хватит придумывать мир, в котором живешь, хватит придумывать себя! Лучше посмотри на себя со

стороны, научись видеть чужими глазами. Тогда ты лучше сам себя узнаешь. Или тебе это не нужно? Или ты не хочешь переделать, перестроить многое внутри и снаружи? Или ты мечтаешь остаться на всю жизнь — на всю! — таким же?

Радуйся, один из самых больших и острых когтей больше не царапает... Завтра ты поговоришь с Гаврошем. С Козырем. С другими ребятами, кто скидывался по полтиннику... Или, ты думаешь, тебя одного накололи? Нет, Козыря — тоже... А может, здесь сговор? Ничего, завтра ты все узнаешь!

А сегодня — боишься? Пойти на встречу с Гаврошем? Он ведь будет ждать тебя. Будет. И возможно, не один. И все равно... Нет, лучше завтра. При всех. При всех! Чтобы просто посмотреть, полюбоваться, как будет изворачиваться этот...

«Ну что, Гаврик? Не выгорело дельце? Не удался фокус? Не ожидал, что Козорез пойдет и все узнает? Думал, не хватит у него духу? Эх ты, Остап Бендер недоразвитый! Сколько я тебе еще должен? Ах, теперь ты мне? Нет, я не о деньгах. Я о другом. Понимаешь, о чем я? Сейчас поймешь... Н-на! Это тебе задаток! Еще? Или хватит пока? Беса? И для него припасу гостинец. Да? Ты так считаешь? А ты слышал когда-нибудь такую пословицу: против лома нет приема? Конечно, встретимся. И не один раз... Да, да... Еще разберемся, здесь ты прав. Я же предупредил, это — задаток!»

Знает он хотя бы, что такое задаток?

Про Остапа-то Бендера если книжку не читали, то кино видели, наверное...

Или идея всей этой операции принадлежит самому Бесу? Мать пришла от Щербаковых, сказала, что все обошлось, а он... Нет! Слишком тупоумен. Единственное, что он может, это — сохранять величественный вид, победоносную осанку. Небось и на унитазе горделиво восседает. Он передал Гаврошу, а тот уже разработал всю аферу: поживиться за счет некоторых вахлаков... А Бес вряд ли... Нет! Ну, в морду заехать... На это хитрости не нужно. Нет, должно быть, все Гаврош...

Ну, ладно, ребята...

Подождите...

Что за пелена перед глазами?.. Как тогда, в театре... Когда он стоял один перед оравой ржущих, регочущих...

И так же сердце бьется в ребра, точно́ хочет их сломать и вырваться наружу.

И слышит он свое тяжелое, шумное дыхание...

И пальцы так же сами сжимаются в кулаки... Надо, пора научиться складывать их правильно, чтобы хватило не на один удар.

Нет, Петр Исаевич, выдержать трепку научиться нетрудно. Слава богу, есть опыт. Но теперь ему нужен опыт противоположный. И любой ценой он его добудет. Ничего, тяжело в ученье... легко в бою. В боях!

Кто это мотается около его подъезда?

Знакомая фигура... А-а! Пан спортсмен... Добро пожаловать!

Один или с командой? Видно, у них это грозит стать доброй традицией... Ну чего ты здесь ошиваешься? Меня поджидаешь?

— Эй! Погоди...

— На «эй» кличут лошадей,— говорит Володя.— Понял, ты?

Но останавливается и ждет.

— Я от Черкеса...— Прикупец ощупывает насмешливым выпуклым взглядом Володины синяки, знаки воинской несостоятельности.

Ну что ж, посмейся, если весело...

— И что дальше?

— Он велел спросить, когда ты достанешь ту штуку, которую обещал.

— Я ему ничего не обещал. Ни-че-го!

— А он говорит...

— Я ему ни-че-го не должен, понял? Так и передай.

— Ну все равно... Он просил тебя предупредить, что завтра сам за ней придет.

— Поди-ка сюда, мальчик. Сюда, в сторонку...

Володя прислоняет волейболиста спиной к стене своего родного дома.

— Скажи своему ханурику Чурке... Скажи своему... боссу занюханному... Что я его по-сы-ла-ю... Понял? Посылаю.

— Как... Куда?

Мстительное наслаждение испытывает Володя... Ну что, пацан? Где твой гонорок? Где хвастливая выходка щенячья? Погодите, вы еще меня узнаете...

— Куда, спрашиваешь... А на три буквы! Понял, ты?! Так ему и скажи.

И нет, не может удержаться: ущемляет, как в прошлый раз, этот нахально торчащий нос.

Пацан смешно таращит глаза, и Володю охватывает какая-то злая радость, за которую потом ему будет стыдно. Но пока он, радостно улыбаясь, размахивается и лепит пану спортсмену шикарную оплеуху!

— Один — один! Хватит пока с тебя. Пошел вон! — толкает он Прикупца.— Вали отсюда! И помни, что я тебе сказал два дня назад...

На свой второй этаж он взлетает, чувствуя себя пусть и небольшим, но все-таки победителем.

И ты, Светка, радуйся! Сбылась твоя заветная мечта...

23

«...Мы в училище своем рабочий класс не подведем... И к грядущим светлым дням в ногу мы... тарам-парам...» Нет, видно, придется подождать Радику с этим делом. Или попросить кого-нибудь другого... Может, в ином настроении нашлись бы нужные слова, но теперь...

— ...К сожалению, очень велик контингент педагогически запущенных учащихся,— продолжал с трибуны чтение доклада Радий Леонидович, время от времени прихлебывая из стакана.— В среднем по училищу до двадцати одного процента наличного состава учащихся состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. А в отдельных группах эта цифра поднимается до пятидесяти процентов и даже выше...

«...Нам забота навсегда... Производительность труда?» Ну, совсем уже что-то...

— ...За последний год были судимы четыре учащихся нашего училища и пятый, который закончил учебу в училище, но оставался к нам приписан органами охраны правопорядка, из которых трое, к стыду нашему, комсомольцы — конечно, теперь уже бывшие...

Шум перекатывался по актовому залу из угла в угол.

Борис Кондратьевич, единогласно избранный в почетный президиум, подавшись корпусом к сидящей рядом Анастасии Сергеевне, что-то коротко ей сказал. Несси встрепенулась, испуганно повела головой и, вынув из графина пробку, постучала ею по стеклянному боку сосуда.

Какая, должно быть, в нем теплая, невкусная вода...

— Товарищи комсомольцы! Соблюдайте, пожалуйста, тишину!

А откуда бы ей взяться, тишине, когда в зале собралось около трех сотен молодых лбов, из которых больше половины — отъявленные горлопаны...

Понимала это бедная Несси, но соседство самого директора побуждало ее к решительным действиям — ведь она вела собрание, преподаватель, но такой же член союза молодежи, как и большинство присутствующих, как Володя... Даже странно. Никак он не привыкнет: Несси — комсомолка!

Жалко, со своего места он не видит хорошо ее глаз, лица... Может, и правда купить очки? Только где потом в них покажешься... Дома только и можно, не опасаясь насмешек, надеть. А к чему они дома? Телевизор смотреть?

— Низка активность рядовых комсомольцев в плане участия в общественной работе, а также взятия и выполнения постоянных и разовых комсомольских поручений...

«...Песни весело поем и стабильно план даем...» Активность вам нужна... А почему та газета, что Володя выпустил к Первомаю, оказалась через месяц на свалке, среди строительного мусора?

А какую активность он проявил! Там ведь и стихи были, и изобразительное исскуство.

— ...Недобросовестно относятся отдельные комсомольцы к поддержанию надлежащего порядка в музее трудовой славы нашего училища...

И между прочим, было наше знамя изображено, с серпом и молотом! Ну, не нужна она вам больше — верните автору, он сбережет, как память...

— ...Не на должном уровне находится наглядная агитация...

Лежала, нет — валялась, разорванная пополам. Именно. В куче мусора. Вместе с лохмотьями драного линолеума, кусками штукатурки, банками из-под краски и всем таким...

— ...Из рук вон плохо функционирует кружок технического творчества молодежи! Газета «Комсомольская правда» сообщает, что учащийся одного из профтехучилищ Белоруссии запатентовал новый способ, как разводить ленинградские мосты!..

И вообще, красивая получилась газета... Конечно, без

помощи Витьки Чередника, бывшего одноклассника, ничего бы подобного не вышло — тот все оформление взял на себя. Заголовок — «Трудовая смена» — такими буквищами написал... Но особенно хорош был салют! Витька набирал на простое ученическое перышко цветную тушь и как-то по-хитрому — щелк ногтем по ручке! И тушь разлеталась по ватману маленькими брызгами, правда похожими на те разноцветные искры, которыми рассыпаются праздничные ракеты...

— ...В сибирском ПТУ создают мини-трактора, мотоблоки, а также другие средства малой механизации. В другом месте учащийся изобрел оригинальный метод, как сажать картофель, во много раз повышающий производительность труда при его уборке. К несчастью, творческая энергия учащихся нашего училища используется ими в прямо противоположном направлении. Так, в августе месяце нынешнего года группой учащихся...

Да еще Володя свистнул из Светкиных запасов два елочных шара — золотой и синий, блестящий. Витька их истолок меленько в ящике, а потом наклеил осколки на изображение фейерверка и на заголовок. Ох и кропотливая же была работа!.. Но и первое место в конкурсе! И такую красоту затем на свалку? Ну делайте вы на здоровье свой ремонт — но зачем рвать стенгазету? Лучше отдайте в тот же музей трудовой славы.

— ...Конокрады взломали запоры и проникли на скотный двор. Вывели несколько животных и мало того, что измучили их, чуть не загнав до смерти,— наездившись верхом, они привязали обессиленных лошадей к деревьям так, что они даже не имели возможности наклонить голову и есть траву, в результате чего...

Ты бы лучше рассказал, как в общаге первокурсники спичкой коридор меряют... Вообще-то лошадок тоже очень жалко.

— Эй, Козорез! — Кто-то больно ширнул Володю пальцем между ребер.

Он обернулся. Репел! Уже и эта шестерня борзеть начинает!

Быстро и ловко — привычно — он взял конопатый дюндель Репела двумя пальцами и сильно потянул вниз.

— Ну чего тебе?

— Пусти! Пусти! Дурак! — вдруг заорал тот.

В ответ на вопль зазвенела пробка по графину.

— Товарищи комсомольцы! Ведите себя, пожалуйста, приличнее! Вы мешаете докладчику,— обиженно прозвучал голосок Несси.

— Ну ладно, мужики! — Рядом сидящие пацаны выразили неодобрение.— Хорош вертухаться!

— Ты что, вольтанулся?

— Возможно. Говори короче, а то меня сейчас вызвать должны.

— «Короче, короче»... Два рупчика гони, «короче»...

— Чего это еще?

— «Чего, чего»... Ты что, не знаешь?

— Я не знаю. А что я должен знать?

— Ты правда не знаешь? Что Беса подрезали — не знаешь? Уже вся группа знает. Мы с Козырем собираем на передачу...

— Какую еще передачу? — не мог никак врубиться Володя.

— «Какую, какую»... В больничку ему надо что-то отнести!

— В больницу... Ну да, да...

Вот почему Гаврош не пришел сегодня на завод... И весь Володин запал пропал даром, не нашел выхода... Так вот оно что...

— ...Приводит в недоумение презрительное отношение к ношению официально утвержденной формы. Приходится отдельных учащихся, особенно проживающих в городе, чуть ли не силой заставлять носить форму, в то время как в республиках Прибалтики учащиеся профтехучилищ с гордостью носят свою форму...

— Вы бы хоть разрешили ее ушивать по моде! Не по размеру выдаете и еще требуете не ушивать штаны, чтобы они стали хоть на брюки похожи...— пустил кто-то реплику из зала.

Несси застучала пробкой по графину.

— А Гаврош? С ним что?

— Гаврош в порядке. Ему смыться удалось.

— Значит, они вместе были? Вдвоем? И он слинял?

— Откуда я знаю! Сам только-только услышал от Козыря, когда на собрание из общаги шел... Он меня встретил. Вон он, тоже здесь сидит...

— ...В свете вышесказанного мы должны обратить особое, пристальное внимание на строгое соблюдение дисциплины и правил социалистического общежития...

— Ну и дела... А кто же его?

— А я знаю? Я рядом не стоял...

— Чурка?

— Говорю тебе — не знаю! Может, он... А может, кто другой.

Раздались дружные аплодисменты. И Володя тоже машинально хлопнул несколько раз в ладоши.

— Переходим к прениям! — возвестила Несси.— У нас записаны для выступления...

— И сильно его?

— Сходи и спроси, если интересно. Жить, конечно, будет. Ты два рубля давай...

— ...Слово предоставляется... комсомольцу Козорезову!

— Так ты даешь или нет?

— Ага, сейчас,— сказал Володя.— Жди!

...Ну и что такого? Ведь ничего от себя не приплел, выложил все, как есть, всю правду. За что же обижаться? Он и себя не помиловал, не скрыл ни одного грешка... Отчего же так вытянулось лицо у Радика? Борис Кондратьевич почему насупился? Несси и та загрустила...

А этот голос из зала... Высказался кто-то: «Это называется — не з а л о ж и л, а д о л о ж и л!»

Главное — все ведь знают! Ни для кого не секрет... В общаге старшие курсы гоняют младших пацанов, носки заставляют им стирать... Городские ребята приходят, денег требуют, сырыми яйцами кидаются, если найдут у кого. Привозят же ребята себе что-то из харчей. И все терпят, терпят... Особенно вот это: старшие измываются, младшие, телята беззащитные, подчиняются, не могут объединиться и дать отпор! И так продолжается уже долгие годы и долгие годы будет продолжаться, потому что младшие курсы становятся старшими и всю накопленную злобу и обиду изливают на новичков...

Все знают, что на заводе с пэтэушниками разговаривают уважительно и даже заискивают лишь тогда, когда конец месяца, план горит, надо его выполнять, и для этого их просят выйти поработать в выходные дни, и они выходят... Что в основном они вынуждены быть на побегушках... Что окружающие уверены: если кто-то постоянно отказывается от предложенного стакана «бормотухи» или от сигареты, то неизвестно,

чего от него можно вообще ожидать, это подозрительный чужак. Отсюда — раскол... А комсомольской работой всерьез только те занимаются, кто собирается карьеру себе сделать на этом поприще. Не все, конечно, так, но подавляющее большинство, и тех — немного... Остальные, слава богу, если взносы вовремя платят, а то ведь групкомсорги с ног сбиваются, вытряхивая из своих подопечных эти несчастные копейки...

А взять обстановку в группах... Настоящего товарищества и в помине нет. Разумеется, оттого что разных по характеру людей собрали в одну кучу, они автоматически друзьями не станут. Но почему сразу происходит резкое расслоение? И в каждой группе — свой мир, свои порядки, очень иногда не похожие на те, которые должны быть, по мнению преподавателей и начальства, своя мораль, свои понятия о добре и зле... В каждой группе найдется своя белая ворона, свой козел отпущения, мальчик для битья, одним словом — крайний... Остальные дергают его, шпыняют, смеются, подшучивают... Это им кажется, что подшучивают, а на деле доходит до издевательства, они ведь границы не чувствуют.

И все терпят, терпят... Сколько же можно! Чего боятся? Побьют? Да ведь и так колошматят! И чем покорнее пацан, тем больнее достается ему...

— Вовик,— вернул его к действительности голос сестры.— Ты футбол смотреть будешь? А то я кино хотела...

Уважительная... Стоило ему слегка прижучить волейболиста... Результат налицо.

— Включай, что твоей душе угодно. Мне все равно.

Ему и правда все до лампы... Смотрит на экран и не замечает, не слышит, что там.

Почему-то горят уши и лицо. Мать говорит, уши краснеют, когда человека кто-то поминает недобрым словом... А за что его — недобрым?

«Это называется — не ЗАЛОЖИЛ, а ДОЛОЖИЛ!»

Насмешливый голос. И злобный.

Эх вы, чудаки! Ничего и не поняли...

«А что ты конкретно можешь предложить?»

Другой голос. Из президиума. Осуждающий, возмущенный.

Что он может предложить? Ну, во всяком случае, не гимны бодрые распевать. И потом, разве его это дело — предлагать? Есть поумнее люди, поопытнее. Но почему он не может, не должен говорить о том, что больше так жить нельзя, что...

Звонок.

Мать сегодня в ночную. Что за гости? Пресняков об этом знает, тоже не придет... Кто же это? Ирина и Стас уехали на выходные в Криушу... Да и поздно уже. Светкины подружки недавно ушли...

Звонок.

Светка вскакивает со стула.

— Не надо, Свет,— останавливает ее Володя.— Это ко мне. Я сам открою.

Крым 1988 г.

Людмила Синицына[1]

КРИВОЙ ЧЕТВЕРГ

Повесть

Сегодня ночью я одна в ночи...

М. ЦВЕТАЕВА

Уже по тому только, как виновато ссутулилась мать, как воровато скользнула она мимо, бросив косой взгляд — неуверенный и одновременно вызывающий, — Света поняла, что мать пьяна.

«Опять у кого-то заняла?!» — подумала Света, стараясь подавить раздражение, не думать о матери, сосредоточиться и читать дальше, чтобы успеть закончить намеченные главы, но не получилось. Губы задрожали от обиды, слезы навернулись на глаза, и строчки сначала увеличились, словно под лупой, а потом стали расплываться. Света встала, подошла к двери в комнату. И остановилась на пороге.

[1] © Издательство «Адиб», 1988

— Опять? — сказала она, сдвинув брови.

— Что опять? Что опять? — с деланым возмущением спросила мать, но тут же отвела глаза в сторону.

— Я же тебя просила не пить?! — все еще сдерживая себя, продолжала Света.

Дней десять назад она села против матери и, как уже давно не бывало, мягко попросила ее:

— Пожалуйста, не пей это время. У меня экзамены начинаются, подожди, вот уеду, тогда пей сколько хочешь.

— Туленька, золотце мое... Да я для тебя...— Мать вскочила, достала из-за отогнувшейся фанерной планки на потолке смятую десятку: — Вот отложила... Возьми себе.

Света взяла десятку, аккуратно сложила ее и заметила сожаление, которое мелькнуло у матери в глазах.

— Смотри! — с угрозой закончила тогда Света.— А то уеду, и больше ты меня никогда не увидишь!

Мать сначала даже растерялась, потом всплеснула руками:

— Да что ты говоришь, да разве так можно! Ты же знаешь, мы для тебя...

Она потянулась, чтобы поцеловать Свету. Но та быстро встала и отвела ее руки в сторону:

— Вы бы для меня одно сделали — бросили пить. Стыдно за вас.

И мать все это время ходила какая-то рассеянная, не могла найти себе места, но действительно держалась. И чего это она вдруг сегодня сорвалась? Завтра вернется отец, начнет злиться, что мать без него пила, хлопнет дверью, пойдет за водкой. И на неделю заведутся.

— Вот отец приедет, он тебе даст! — уже не сдерживая себя, выкрикнула Света, повернулась и вышла во двор, под виноградник, где стояли грубо сколоченные скамья и стол, покрытые, словно какие-то доисторические животные, вогнутыми бирюзовыми чешуйками облупившейся краски.

Тень от виноградника укрывала эту часть двора, и только легкий, быстрый ветерок перемещал брызжущие пятна света на земле.

У самого виска Светы вздрагивала тоненькая ветка с нежно-зелеными, круто загнутыми на концах усиками. Света подтянула ее ко рту. Усики были кисловато-терпкими. «Как моя жизнь»,— подумала Света, чувствуя некоторую фальшь в этих словах, но от этого ей стало еще больше жаль себя.

Резкий порыв качнул ветки в одну сторону, потом в другую, и листья шлепнули ее по лицу; пятна света и тени на земле смешались так, что начала кружиться голова. Света даже присела поскорее, чтобы не упасть. Готовность засмеяться и заплакать, смутная боль и возбуждение сливались в одно тревожно-радостное чувство, стоило ей только отвлечься от «Парцифаля».

«Да что это со мной? — одернула она себя и тыльной стороной ладони вытерла слезы.— Ведь уже немного осталось терпеть. Через три дня первый экзамен. А через месяц... Через месяц я возьму документы и...» Тут ее глазам явился неведомый, еще никогда не виданный (если не считать открыток и кинофильмов), а поэтому особенно прекрасный город. В этом чужом городе, как в земле чудес Терремварее[1], все должно быть замечательно: и дома, и люди, которые в них живут. И вместе с другими студентами, веселыми, молодыми, остроумными и талантливыми, она будет подниматься по длинным лестницам, входить в аудиторию, и величественные профессора, непременно с седой гривой волос и в академических шапочках, как на портретах в кабинете физики и химии, будут читать им лекции. И все то, что сейчас мучает Свету, уйдет бесконечно далеко. Все пережитое она будет воспринимать как сон, как дурной сон. Она постарается забыть его как можно скорее и заживет счастливой жизнью, такой, о какой она мечтала по ночам.

Света отломила еще несколько усиков. Первого экзамена — сочинения — она не боялась и только просматривала книги, взятые в библиотеке. Флора Яковлевна некоторое время колебалась, давать ли новое задание на это время или нет, но потом решительно заявила: «Hat es denn eine Sinn jetzt kostbare Zeit zu vergeuden, von der du so wenig hast, und die witerhin noch viel knapper werden wird...»[2] — и дала ей «Парцифаля» в переложении Вильгельма Герца, полученного когда-то на олимпиаде.

Света полистала книгу: «Dann vielleicht etwas, das unseren Tagen näher steht?»[3]

---

[1] Терремварей — город чудес в «Парцифале».

[2] Не стоит тратить драгоценное время, его у тебя так мало, впрочем, потом его будет еще меньше *(нем.)*.

[3] Может быть, что-нибудь поближе к нам? *(нем.)*

Флора Яковлевна по-птичьи глянула карим насмешливым глазом: «Oft ist das entfernte viel näher als das nächste»[1].

Перевод пошел медленнее, чем Света думала. В книге оказалось довольно много незнакомых слов, из-за которых приходилось то и дело открывать словарь, чтобы узнать напиток, поданный герою, масть лошади, деталь рыцарского одеяния или вооружения. Это немного сердило Свету. В последнее время тексты, которые давала ей Флора Яковлевна, не вызывали такого рода затруднений. Столько новых слов, что у нее появилось ощущение неподготовленности. Некоторые из них Света даже начала пропускать, догадываясь, о чем идет речь. Но уж кого-кого, а Флору Яковлевну не проведешь. Она будто в какое-то волшебное зеркало смотрит — всегда знает, где Света поленилась, в чем не разобралась до конца. И теперь наверняка поймает. На чем? Конечно, не на пустяках. Про кольчатый наглавник или перевязь с пряжкой она и сама подскажет. Значит, надо понять, что здесь самое важное, так внушала ей Флора, постукивая ручкой по столу. Здесь это, конечно, Грааль. В который раз слово попадается, а Свете никак не удается уловить точный смысл. Она открыла последние страницы. Добравшись до конца убористого текста комментария, Света наконец поняла, как надо будет ответить на вопрос Флоры, и улыбнулась, представив, как отчеканит: «Все дело в том, что слово «грааль» имеет несколько уровней. Один из них как бы конкретный, где грааль — чаша, в которую Иосиф Арамейский собрал кровь распятого Христа, а другой — умозрительный идеал, некий космический символ. Таким образом, поиски Грааля становятся одновременно и поисками Истины, Совершенства».

Ну конечно, ведь именно об этом она говорила Свете в тот вечер после олимпиады и, конечно, именно этот вопрос задаст на завтрашнем занятии.

«...знаю я,— молвил король Артур,— что на поиски Грааля теперь отправитесь все вы, рыцари Круглого Стола. И никогда уж мне более не видеть вас вместе. А потому напоследок я еще раз погляжу на вас на турнирном поле! Выезжайте на луг под стенами Камелота — выступить в турнире, дабы после вашей

[1] Иногда то, что дальше, гораздо ближе того, что рядом *(нем.)*.

смерти люди говорили о том, какие славные рыцари некогда сражались на этом лугу».

Гулко загрохотали тамбурины, им ответили звонкоголосые флейты. Начались состязания.

И вот сэр Галахад выехал на середину турнирного поля и принялся ломать копья с чудесным искусством, так что все кругом ему дивились, ибо всех он, с кем ни встретится, выбивал из седла. И в короткий срок он одерживал верх над многими славными рыцарями Круглого Стола, кроме лишь двоих. И это были сэр Ланселот и сэр Парцифаль, за которыми мы с вами, дорогой читатель, и последуем в путь. И если он иногда покажется вам слишком путаным, вы должны помнить, что гладкой бывает лишь изъезженная дорога. Но такой нет для тех, кто отправился на поиски Грааля...»

«Die Vollkommenheit»[1],— повторила Света и задумалась. Парцифаль ищет истину. Прошло столько веков, а ее продолжают по-прежнему искать. Отчего она так неуловима? Почему ее нельзя достичь раз и навсегда. И почему одни стремятся к этому, а другие и не задумываются над подобными вещами. Вот в наше время... Все условия для совершенствования есть. Почему же не все стремятся к нему? Отчего отец и мать, вместо того чтобы тратить свои заработанные трудом деньги на что-нибудь хорошее, нужное, пропивают их самым бессмысленным образом? Ну понятно, они жили до войны, у отца почти никакого образования, книг он не читает, музыка и живопись его не интересуют, но ведь он мог бы съездить, например, в другой город, поехать в отпуск к морю, купить путевку на курорт! В конце концов, для них уже это есть с о в е р ш е н с т в о в а н и е. Так нет же! Теперь им ничего не надо, кроме водки.

А другие люди, те, что не пьют? Разве они проживают свою жизнь не менее бездарно, не менее скучно? Неужели им никогда не бывает обидно?.. В те рыцарские времена поисками Истины могли заниматься не все. Но сейчас-то... Совершенствуйся, кто тебе мешает?..

И Света не без гордости подумала о том, что вот сумела же она, несмотря на всю мерзость в доме, приблизиться к своей цели, к своему идеалу. А ведь ей было потруднее, чем другим.

---

[1] Совершенство *(нем.)*.

Но она, как ныряльщик, которому не хватает дыхания, стремилась изо всех сил туда, наверх, где прозрачная голубизна воздуха, где мирно сидящие на берегу люди и не подозревают, что скрыто под толщей воды. Она с усилием выгребала вверх, к Совершенству, к свету, к солнцу, и теперь ей осталось сделать последний рывок.

Конечно, если бы ей в этот момент задали вопрос, а что такое Совершенство, Истина, как определить их словами, Света вряд ли нашлась бы что ответить, хотя Флора Яковлевна и любила поговорить с ней на эти темы. В представлениях Светы о совершенстве было нечто от чеховского высказывания насчет красивого лица, одежды и мыслей.

Лицо у Светы хорошее, чем-то, может быть своими русыми волосами, напоминает она ту девушку на картине «Меньшиков в Березове», что сидит лицом к зрителю.

Одежда... За этим она тоже, особенно в последнее время, следит самым тщательным образом. Возможностей у нее, конечно, не так много, но одета она не хуже других. Глядя на Свету, не скажешь, как это трудно ей дается.

А вот мысли... Но как только Света уедет из этого чужого ей дома — и мысли сразу станут красивыми, чистыми. Она уже не будет плакать по ночам от обиды за себя, за свою судьбу, не будет с ненавистью думать о родителях.

Немецкий язык давно помогал Свете уходить в совсем другой мир, который, слава богу, ничего общего не имел с настоящим, он помогал забыть о доме, и он же стал залогом ее будущей красивой, исполненной смысла и значения жизни.

Еще с девятого класса, когда началась производственная практика, Света принялась откладывать деньги, что им платили. Родителям она, конечно, ничего о них не говорила. Себе оставляла только мелочь, остальное шло на сберегательную книжку, которую ей посоветовала завести Флора Яковлевна. У нее же в доме она и хранилась.

А к концу одиннадцатого, вместе с тем, что она перехватывала у родителей, уже накопилась приличная сумма — триста семьдесят рублей. На первое время студенческой жизни хватит. Разумеется, родители дадут ей на дорогу и будут немного высылать, а еще можно будет подрабатывать переводами — Флора Яковлевна говорила, что в большом городе такую работу всегда можно найти. И все, что было до этого, Свет-

отбросит, как шелуху, как мусор, как гусеница кокон,— вылетит из этой душной комнаты и забудет о ней навсегда. «Никогда моя нога не ступит на порог родного дома!» — с некоторым пафосом думает Света.

Снова легкий порыв ветра — и будто тихий вздох прошел по верхушкам деревьев.

В ухоженном саду тети Фроси часть вишен уже порозовела с одного бока и на яблонях висели маленькие плоды с лохматой завязкой вроде растрепанного бантика, который еще хранил следы «тычинок и пестиков».

«На порог дома»,— передразнила сама себя Света. Какого дома? Где он? Эту, что ли, развалюху считать домом? Или те, где они раньше жили?

Сколько мест уже поменяли! Что ни год — новая квартира. То мать уверяла, будто на новом месте хозяева уедут навсегда и в самое ближайшее время оставят им дом (потом выяснялось, что никто никуда не собирается уезжать), то какие-то знакомые уговаривали отца поселиться в районе, который должен со дня на день пойти на снос — и всем дадут хорошие квартиры. Много времени и сил уходило на попытки прописаться, а потом становилось ясно, что ни о каком сносе и ни о какой прописке и говорить не стоит. Случалось, что родители просто не могли поладить с хозяевами или, наоборот, хозяевам надоедали ссоры и драки... Словом, Света привыкла к тому, что у них нет своего угла: сегодня — здесь, завтра — там. Легко, будто с ветки на ветку, собрав немудреный скарб, перебирались они из одного района города в другой.

Во времянке тети Фроси они задержались дольше обычного. Отец стал говорить, что ему, как участнику войны, квартиру дадут раньше, чем другим. И Света не могла понять, очередное ли это мечтание или действительно дадут, только подождать надо.

Впрочем, сейчас ей уже было не до того. На теперешнюю свою жизнь она смотрела как на нечто временное, что надо перетерпеть, как на дурной сон, который повторяется с поразительным однообразием.

Вот, возвращаясь с работы, отец приносит бутылку, завернутую в бумагу,— либо сам купил, либо дали за какую-то «налево» сделанную вещь.

Лицо у матери уже утратило былое выражение, стало как у всех пьяниц: глаза тусклые, кожа морщинистая, с каким-то грязновато-пепельным индюшачьим отливом, безвольное и

вместе с тем виноватое. По таким лицам Света всегда с презрением и отвращением определяла пьющих людей. При виде оттопыренного кармана мать оживляется, начинает суетливо накрывать на стол, готовить немудреный ужин: разогревать на сковородке тушенку, ливерную колбасу или картошку. И кажется, что стоящая на столе бутылка в шапочке белого сургуча притягивает их взгляд. Они пытаются это скрыть, как неопытные и неумелые оперные артисты стараются скрыть косые взгляды, брошенные в сторону дирижера. Лицо матери, где смесь желания, жадности, непонятной боязни, так отвратительно жалко, так ничтожно и убого, что уже одного этого, думает Света, было бы вполне достаточно, чтобы сделать любого, кто присутствует при этом помимо своей воли, несчастным.

И отец, и мать будто их бьет током, передергиваются, перед тем как выпить, затем торопливо опрокидывают первый стакан, морщатся, крякают, нюхают соленый огурец или маринованные помидоры, брызгая соком во все стороны, и в комнате сразу торжествует, захватывая все вокруг, пропитывая каждую вещь, горьковатый запах водки.

После первого же стакана глаза у родителей оживляются, лица краснеют, они становятся разговорчивее, как будто даже веселее. Они вдвоем начинают подшучивать над ней, предлагают попробовать, она сердится и уходит к себе в комнату. Света хорошо знает цену этому веселью и благодушию. Сначала все будет хорошо, пока бояться нечего. Но она ложится спать, тоскливо прислушиваясь к тому, что происходит за столом, где отец и мать уже находятся во власти непонятной силы, которая, будто кукловод в театре, дергает их за ниточки, заставляя исполнять отвратительные роли. Света забывается в неуверенном, тревожном сне. И просыпается с уже бьющимся сердцем: из соседней комнаты доносятся бессвязные выкрики. Понять причину очередной ссоры, как всегда, нельзя. Света, с еще большей тревогой, задерживая дыхание, ждет, что будет дальше: обойдется или нет?

Но вот после невнятного мычания отец бьет кулаком по столу — раздается звон. Или тарелку или стакан разбил. Значит, скорее всего, не обойдется.

Света старается оставаться спокойной, но почему-то не хватает воздуху; она натягивает чулки, платье. Вся одежда, аккуратно сложенная, лежит на стуле рядом с кроватью так, чтобы всегда можно было быстро одеться. Слышится глухой

удар. Света уже знает: так бьют только по человеческому телу; и в горле встает ком от жалости и презрения к матери, в ушах поднимается звон. Затем хлопает дверь — это мать вырвалась и убежала на улицу. «Небось опять полураздетая»,— злится Света — ей осталось только сунуть ноги в туфли, которые она тоже заранее ставит рядом с кроватью, чтобы потом не искать или, чего доброго, не бегать разутой.

За многие годы Света убедилась, что «страшные» драки иногда обходятся даже без синяков. Отцу нравится покуражиться, изобразить «беспамятную ярость». «Я контуженный!» — кричит он. Но табуретом или молотком (чем, действительно, можно убить) он замахивается на мать так, чтобы она успела увернуться, или когда рядом есть соседи, прибежавшие на крик, и есть кому вовремя схватить его за руки. Только после этого он начинает с особенной силой вырываться и кричать: «Убью, убью!» И все же, когда это начинается, возникает чувство, будто ей на грудь прыгнула тяжелая отвратительная жаба, которая давит и теснит дыхание.

В эти минуты Света одинаково ненавидит обоих. Пока отец еще ни разу не ударил Свету. Но смотреть в его выкаченные, красные, как у какого-то зверя, глаза страшно. Ей становится жутко, когда он пытается непослушными, неуклюжими, растопыренными пальцами ухватиться за косяк двери. И почему-то кажется, что это не ее отец, а кто-то другой, незнакомый, страшный, от которого неизвестно чего ждать, стоит рядом и, с трудом ворочая языком, рычит: «Иди, ищи мать!»

Духота в груди заполняет каждую клеточку тела. Ноги и руки дрожат, не слушаются, и она выскакивает в прохладу ночи почти с чувством облегчения: теперь все позади и на сегодняшний день, кроме унижений ночевки, ничего не будет.

Она довольно быстро находит мать у кого-нибудь из соседей, уже услышавших шум и крики. Чья-то голова выглядывает из-за дувала, чья-то рука уже распахнула калитку. Ни разу они не оставались на улице, всегда находился кто-то, кто открывал им дверь своего дома. Но как по-разному это делалось! Вот толстоносая Аннушка садится на стул, пока Света разбирает одеяла и подушки, и начинает выпытывать у матери подробности скандала, чтобы на следующий день посудачить об этом с соседками.

Света поворачивается к стене лицом, закрывается с головой одеялом — оно еще пахнет чужим запахом — и стискивает зубы. До нее доносится, как надоевшая радиопередача, слез-

ливый голос матери: она плетет о роковой ревности, из-за которой Петя становится как зверь. Ведь надо же придумать, найти подходящее объяснение тому, что происходит. А объяснения нет. Вот мать и несет всякий вздор.

А Сабохат — она живет через три дома и приехала с мужем из кишлака только на год или два раньше, чем они поселились у тети Фроси,— молча достает из стопки (на ярком расписном сундуке) одеяла и стелет им на полу. При этом она изредка качает головой, удивленная и опечаленная, вздыхает, но никогда не осуждает отца, не советует разойтись с ним, вызвать милицию, посадить его, как это делают некоторые из соседей. Может, поэтому мать предпочитает забегать в те дома, где ее будут слушать, будут ругать Петю или ее саму за то, что терпит все это... В доме у Сабохат ей неинтересно, скучно. Она обычно бывает возбуждена, и ей надо выговориться, пожаловаться на судьбу. Эти сетования и угрозы, эти глупые небылицы еще больше злят Свету, и избитая мать вызывает только противное чувство злорадства: «Так тебе и надо! Только меня-то зачем втравливать в это? Я-то зачем должна участвовать?»

Однажды, не найдя мать, она прошла до конца улицы, где на перекрестке стоял такой же, как у тети Фроси, плановый дом.

Там жила ее одноклассница и подруга Нина.

Родители Нины такие старые, что их скорее можно принять за бабушку и дедушку Нины. Света даже не знала, как зовут ее отца,— так он тих и незаметен. По утрам он выходит с газетой посидеть на лавочке перед домом и долго-долго читает сначала одну, потом другую сторону — все подряд, и не сразу поймешь, то ли он еще читает, то ли уже начал дремать.

Зато тетя Дуня всегда в деле: то на огороде, то в саду, то в курятнике. И даже когда присаживается передохнуть, ее строгий взгляд продолжает скользить по двору, выискивая непорядки.

Дом Нины смотрел незрячими бельмами окон. Света остановилась в нерешительности, почему-то оглянулась; на улице по-прежнему тихо. Мать забежала к кому-то так быстро, что теперь не понять, где она. Идти искать тот дом, слушать ее бредни, причитания и охи соседок... Света скривилась от досады.

А на улице было так хорошо и так спокойно, что Света вдруг ясно почувствовала, что она совершенно одна в ночи. И только звезды над головой... Они как дырочки в темном бар-

хате неба. Там, за этим занавесом, сияет пронзительно яркий, ослепительно чистый свет неведомого мира. Здесь ночь, а там вечный свет, сияние которого только и видно что сквозь эти случайные прорехи. Но от идущего оттуда света на душе отчего-то становится лучше. Кажется, что смотреть туда, вверх, можно бесконечно долго.

Но потом Света представила, как это, наверно, со стороны глупо выглядит, когда человек вот так стоит, задрав голову, смотрит на звезды и думает про всякие там возвышенные вещи, вместо того чтобы нормально лечь спать и не зевать завтра весь день. Преодолевая себя, она стукнула в окно тихо и неуверенно. Никто не ответил. На всякий случай Света стукнула снова, еще тише и еще неувереннее, и собралась уходить. Но как раз в этот момент белая занавеска на окне отодвинулась, и тетя Дуня, придерживая на груди ночную сорочку, стала вглядываться в темноту.

— Это я...— тихо сказала Света, вздрагивая от ночной свежести.

Потом она еще долго ждала, когда наконец тетя Дуня справится с тремя засовами или крючками, которые гремели один за другим, и каждый их удар сопровождала глухим тявканьем собака в соседнем дворе. Потом с треском повернулся ключ, дверь отрывисто скрипнула, послышались шаги к калитке. И тут Света окончательно поняла, что ей не следовало стучаться сюда. Но уйти уже было неудобно. «Раз потревожила — терпи»,— решила она про себя.

Нина, пока тетя Дуня стелила постель на сундуке, опершись на локоть, смотрела на Свету такими же, как и у матери, чуть недоуменными и укоризненными глазами. И чистая простыня, и легкое пуховое одеяло в пододеяльнике, и мягкая, тоже пуховая подушка, от которой пахло свежестью, еще больше заставляли Свету чувствовать, как неуместен ее приход, как это нехорошо шляться по чужим домам, будить среди ночи людей и вообще как нехорошо все, что происходит у нее дома. С тех пор Света перестала заходить к Нине, а та особенно и не зазывала к себе. «Наверно, тетя Дуня запретила,— думала Света,— побоялась, что «поважусь ходить». Подумаешь, нужно больно!»

— Ка-а-а-ра-а-а-си-и-и-и-н! Е-е-е-сть ка-а-ра-а-а-си-и-и-н!— С того конца улицы, что выходила на небольшую асфальтиро-

ванную площадку, раздавался тягучий, без ударений, как масло, крик: — Е-е-е-сть ка-а-а-ра-а-а-си-и-и-н!

Со всех сторон послышался звон бидонов, стук открываемых калиток.

— Кубурча кани? Дар кадом гураш пинхон карди?[1] — слышалось по ту сторону забора, где жил Илья.

— Тезрог, тезрог, у ерда навбат бошланган![2] — доносилось из соседнего дома.

Догадавшись, о чем идет речь, заторопилась и Света. Керосин у них кончился еще вчера, осталось только в бутылке.

У машины уже стояла небольшая очередь. Света поставила свой бидон к чистенькой зеленой канистре, что стояла последней, и от этого соседства бидон показался еще грязнее: он был покрыт пушистым серым налетом из смеси керосина и пыли, будто старый пуховый платок.

— Берет и туды стряхивает ведро-то! — нараспев жаловалась одна старушка, одетая во фланелевый халат, другой.— Я ей сколько раз говорила... Зачем? Прям-таки мне на голову и стряхивай-та. Теперь обижается.

Вторая старушка торопливо кивала головой, выжидая, когда наступит пауза, чтобы рассказать о чем-то своем.

Заговорили и женщины, что стояли перед Светой.

— Печенку вот взяла... В «Кулинарию» завезли.

— Там бывает часто. Я тоже всегда захожу. Удобно. Прямо сейчас можно жарить...

— А какой день-то сегодня? — спросила первая старушка.

— Да как какой? Кривой четверг, чай. Посчитай...

— Вот время летит! Только недавно пасха вроде была...

Света подумала, какие мелочные, ничтожные разговоры она вынуждена слушать, как все это неинтересно и нелепо. И тут, словно нарочно, впереди очень авторитетно, очень убедительно начал мужчина:

— А теперь его в зоопарк привезли.

— Удава, что ль? — переспросил чей-то голос.

— Какого удава? — одновременно спросили женщины, до этого обсуждавшие удобства «Кулинарии».— Того, что ль?

— Да вы толком скажите!

---

[1] Где бидон? В какую могилу ты ее спрятал? *(таджикск.)*

[2] Быстрее, быстрее, там уже очередь! *(узбекск.)*

И мужчина в потрепанной кепке, мятой рубашке, что никак не вязалось с его авторитетным голосом, не без удовольствия вернулся к началу рассказа, как одна девушка собирала хлопок и вдруг ее обвил удав. Обвил и никого к ней не подпускал. Кто близко подойдет, он кольца стянет, и девушка давай кричать. Родственники, конечно, тут же отступили. Ничего не могли сделать. Отраву хотели дать, так удав оказался хитрее — стал есть только из одной тарелки с девушкой.

— Ну и как же? — услышала Света. Она не поворачивалась в ту сторону, нарочно не смотрела, чтобы показать всем своим видом, насколько она возмущена глупым разговором.

— Сонный порошок дали. И девушка заснула. Удав кольца и расслабил. Его в клетку посадили и в зоопарк наш увезли. Я сам видел. У нас с работы все пошли, и я тоже. Худой он совсем стал. Лежит, как палка. Наверно, не ест ничего, скучает. Но вовремя порошок дали, а то девушка чахнуть начала. Сколько страху натерпелась!

В очереди принялись обсуждать эту историю, которая будоражила улицу несколько дней, охали, ахали, гадали, зачем удав обвил девушку. Кто-то высказал предположение, что он ее в жены выбрал.

Света презрительно, но не очень громко фыркнула:

— Ну придумают же вздор такой!

Ей на память пришли плакаты в городском парке, где зеленый змей обвивает человека с бутылкой водки в руках. «Вот этот змей всю кровь у меня выпил, вот об этом бы ахали и охали. Страшнее его нет».

Краем глаза она увидела, что подходит тетя Фая, и, повернувшись к ней лицом, сказала:

— Здрасте.

Тетя Фая кивнула, поправила черную плюшевую душегрейку, которую она носила до самого лета (что-то у нее там болело — то ли поясница, то ли почки). Ее дочь Фирюза училась в одном классе со Светой, пока не ушла в ПТУ.

«Сейчас спросит: «Какдила?» — подумала Света.

— Какдила? — приподняв подбородок, спросила тетя Фая.

Она едва доставала Свете до плеча, впрочем, ей почти со всеми приходилось разговаривать, высоко поднимая голову.

Света снисходительно улыбнулась и сдержанно ответила:

— Хорошо.

И тетя Фая с готовностью принялась качать головой, и в этом движении было все: и сочувствие ей, и осуждение родителей.

— Вот бывает же, таким непутевым — такая девка. У других вон бандит какой растет! — Она кивала в сторону зеленой калитки. Из этого дома парня посадили за драку.— Поступать куда будишь?

Оттого что тетя Фая говорила с акцентом, было непонятно, что она хочет спросить: будет ли Света вообще поступать или куда именно? Вопрос, конечно, странный. Света и представить себе не могла, что она не будет поступать, а куда именно — это тоже должно быть всем известно.

— Буду, конечно, на иняз.

Впереди освободилось место, и Света ногой подвинула бидон, по-прежнему сожалея, что не вычистила его, прежде чем пошла сюда.

А тетя Фая все выспрашивала, в какой город она поедет поступать и дорого ли будет стоить билет. Очередь прислушивалась к их разговору. Только в самом хвосте, который быстро вырос, жужжали о чем-то своем. Света отвечала коротко, с достоинством, представляя, как, вернувшись домой, все, кто стоял в очереди, в который раз скажут: «Ну и характер!» — и будут укорять своих балбесов, которые ленятся и не учатся как следует, когда у них все условия для этого есть.

Водитель вставил воронку в горлышко бидона и открыл кран. Брызнула желтоватая, сладко пахнущая жидкость. Струя била сильная, густая, аппетитная. В воронке закрутилась пена, и смотреть на все это хотелось долго, не отрываясь. Но водитель уже повернул кран. Света взяла сдачу — мокрую, пахнущую керосином мелочь — и зажала в кулаке. Кошелек она не взяла специально, чтобы не запачкать. Осторожно, стараясь не задеть бидоном ногу или платье, она пошла домой. По улице тянулся запах керосина. Кто-то уже прошел раньше, и можно было угадать, где он свернул.

Света поставила бидон в сарае, накрыла его клеенкой, вымыла руки и, поджав ноги, села читать.

«Вы, странствующие рыцари, едущие на поиски рыцарских приключений, перед вами две дороги...» Это я уже читала!» — вспомнила Света. Она быстро нашла нужный абзац.

Здесь речь шла о пиршестве, и, когда началось описание яств на столе, Света почувствовала, что голодна, и вздохнула: «И что это за жизнь? Других перед экзаменами вон как кормят.

А у меня все наоборот! Хорошо, что после консультации догадалась зайти в «Кулинарию», там пообедала». Тут Света вспомнила, что на сдачу (мелочи у продавца не оказалось) ей дали сосиски, запеченные в тесте. Она вынула их из сумки, положила на стол, подстелив ту самую коричневую бумагу, в которую их завернул продавец. Тесто было сухое, сосиски вялые — должно быть, вчерашние. Но Света не заметила, как съела оба пирожка.

«Как же так?! — спохватилась она.— Один же я для матери хотела оставить!»

Но угрызения не долго терзали Свету. «Вместо того чтобы пить, могла бы приготовить ужин. Я вот из-за нее тоже не могу нормально поесть, в дом противно войти: все водкой пропахло. Лежит небось, мычит — свинство одно! Обрадовалась, что отец уехал. Вот бы хорошо, если бы он не завтра, а сегодня вернулся, дал бы ей как следует, чтобы знала!» — мстительно подумала она.

Были у них, конечно, и относительно тихие вечера, когда отец начинал вспоминать свою деревню и, воодушевляясь все больше и больше, рассказывал, какая там трудная земля, какие там леса и какие грозы бывали, как только приходило время убирать скошенную траву,— будто небо на куски разламывалось.

Рассказывая о родных местах, отец размягчался, начинал мечтать, как летом они все вместе — на этот раз обязательно — поедут к нему на родину; вспоминал, кто из родственников должен еще быть жив, обещал повезти на озера, ловить рыбу — такой вкусной ухи нигде не поешь! «А красота у нас какая... Об этом и не скажешь...» Света с удивлением смотрела, как меняется выражение лица у него, и думала: может быть, в самом деле права Флора Яковлевна — в деревне отец был бы другим. Город не для него!..

У отца до сих пор, несмотря на столько лет жизни в городе, осталось много деревенского, и особенно непонятное для Светы пристрастие к животным. Когда она была маленькая, отец купил корову. И корова запомнилась как что-то огромное, большое и теплое, словно летняя ночь. Потом заводили в основном кур и свиней. Отец всем давал незатейливые имена, но они будто приклеивались: Пеструшка, Хохлатка, Чернушка, Белянка,— и постоянно рассказывал про них какие-то смешные истории. Света после этого тоже останавливалась и смотрела на них. Но ничего интересного или забавного не про-

исходило: ну, ходит себе курица, поклевывает зернышки, а петух в стороне ковыряется. Свинья Машка, от которой идет кисловато-терпкий запах, вызывает у Светы только брезгливость. Маленькие поросята, те, конечно, смешные и пахнут молоком. Они, как резиновые игрушки, пищат, когда их купают, а потом, смешно хлопая белесыми ресницами, поводя пятачками, засыпают, завернутые в тряпки. Но они слишком быстро вырастают и превращаются в долгоногих, противных свиней, вечно требующих и вечно ищущих еды. И в них уже ничего забавного не остается.

Животные тоже относились к отцу иначе, чем к другим. Куры бежали навстречу с радостным кудахтаньем, Машка радостно похрюкивала, дергаясь всем телом, как студень; поросята визжали, тесня друг друга. Почесывая Машку за ухом, отец что-то приговаривал ласково, а Света морщилась: сквозь серую щетину проступала какого-то противно беззащитного цвета шкура. «Что за удовольствие? — думала она, проходя мимо.— Все равно ведь зарежете и съедите».

Когда вышло специальное постановление и животных в городе держать запретили, когда исчезли Машки, Пеструшки и Хохлатки, Света сначала даже обрадовалась, не понимая, отчего так расстроился отец,— и возни меньше и вони нет, но однажды поймала себя на том, что двор теперь кажется пустым, нежилым и скучным.

Спросив как-то, что это читает Света, и узнав, что рассказ о лошади, отец оживился, стал просить ее почитать вслух: Света неохотно села, боялась разозлить его отказом. Но оказалось, что читать ему вслух интересно. Отец переживал за лошадь, сочувствовал, цокал языком и даже рассказал про ту, что была у них дома, в деревне, и как собака за ним ходила, сахарок, уж если заведется, он делил с ней поровну.

Когда Света закончила, отец долго не мог успокоиться, все возвращался к рассказу, просил перечитать какие-то куски, и эти вечера ей надолго запомнились. Но только в следующий раз в библиотеке ей ни одна книга про животных не попалась, она взяла только по программе. Так больше и не возобновились эти чтения. «А может быть,— подумала Света,— хоть как-то, хоть ненадолго они бы отвлекали отца и мать от ссор и драк?!»

Сам отец читал медленно, с трудом. «Я в школе сначала не понял, как это буквы складываются в слова. Другие читают, а я запоминаю — память у меня хорошая была. Учитель наш спросит, я тоже пальцем вожу, вроде читаю. А сам наизусть шпарю.

Так, наверно, месяца три прошло. А он как-то и спроси меня первого — я ни тпру ни ну. «Как же ты,— говорит,— Петя, раньше-то читал?» — «Наизусть»,— отвечаю. Ох и бился он со мной! Еле-еле научил. Да я уж с третьего класса стал к отцу — он с бригадой плотников работал — убегать. В школу утром отправят, я посижу-посижу один-два урока — и к отцу. Знаю уж, где они работают. Плотники смеются: «Ты, Петруха, хоть бы пять классов окончил-то!» Ну, пять я окончил, да и сам не знаю как. Ничего не помню».

Возвращаясь домой, отец частенько, тоже по-деревенски, приносил маленькой Свете гостинец: печенье, бублики, сушки, орехи или горстку «Плодово-ягодного букета» (липкие конфетные бумажки оставляли бледно-розовые отпечатки на пальцах, на сушках и бубликах). «Это тебе зайчик передал»,— говорил он, улыбаясь.

И маленькая Света верила, что действительно где-то на улицах прячется любящий ее зайчик с коротеньким пушистым хвостиком. Иногда гостинец передавала рыженькая, веселая лисичка с хитренькой мордочкой. А однажды — медведь. Света почему-то испугалась, и после этого медведь ей ничего не передавал, а Света не спрашивала, хотя поглядывала некоторое время на каждый гостинец с опаской: не от медведя ли?

Когда Света подросла, игра продолжалась. «Зайчик передал?» — спрашивала она, беря шоколадку или пряники. Так было приятнее, хотя она и не понимала почему, как будто этим гостинцем она уже никому не была обязана. Может, еще и поэтому ей было странно, что отец начал обижаться. «Ты чего же не делишься с родителями, сама все ешь?» Света совершенно искренне удивлялась: «Ну ты бы взял и сразу отломил себе!»

Отец почему-то продолжал настаивать: «Нет, ты поделись с родителями!»

«Да что тут делиться? — сердилась и недоумевала Света.— Сначала ты дашь мне, а потом я тебе. Лучше возьми сразу».

Забывшись, она съедала очередной гостинец, спохватывалась, но уже поздно. Ей вовсе и не жалко было, но всякий раз вспоминала она об этом уже потом и, раздражаясь, отвечала отцу: «Ты уж лучше ничего не носи, чем меня потом укорять».

У отца был и свой, особенный выговор, который придавал всему, что он говорил, неожиданную детскость. Сохранил он деревенские словечки, которых Света больше уже ни от кого не слышала. И они навсегда остались в ее памяти связанными с обликом отца. Непонятно почему эти словечки казались на-

много точнее и ярче других, хотя Света их никогда не употребляла.

Про мать он, например, говорил: «Су́торная она у нас». И в самом деле, она вечно суетилась, торопилась, вечно спешила, будто боялась куда-то опоздать. Но всегда оказывалось так, что мать, торопившая всех, в конце концов уже где-нибудь на улице спохватывалась: забыла либо билеты, либо деньги, либо сумочку или заколку. Да и домашние дела она делала так, будто хотела успеть к какому-то непонятному предельному сроку. Может, от этого, а может, и еще почему супы у нее получались жидкими, невкусными, белье пахло хозяйственным мылом и плохо разведенная синька оставляла пятна.

«Сколько раз тебе говорил — вырезай глазки-то! — сердился отец, заметив в супе плохо вычищенную картошку.— На пожар, что ли, спешишь?»

Мать могла сгоряча купить дорогие портьеры и повесить их, оставив старый тюль в жирных пятнах. Из-под покрывала у нее, как правило, выглядывал пожелтевший подзорник. Надев нарядное платье, мать старательно прятала светлую дорожку упущенной петли на капроновом чулке, поворачивая ее во внутреннюю сторону, или все время поддергивала скрученную бретельку комбинации.

Время от времени она устраивалась на работу — то в садик, то в прачечную, то в столовую. И первое время всегда бывала довольна своим местом — оно «ну ни в какое сравнение» не шло с прежним. Потом начиналось смутное недовольство, выяснение отношений, и тогда за ужином мать с пьяным упорством, возвращаясь к каким-то особенно запавшим ей в душу словам, пересказывала отцу причины ссор, вызывая у него то сочувствие, то гнев и раздражение: «Ты посчитай, сколько мест уже сменяла?» — «Я, что ли, виновата? — говорила она в ответ с недоумением и возмущением.— Да я бы работала и работала, но...» И начиналось перечисление всех обид, после которых оставаться просто невозможно.

В последнее время мать особенно быстро пьянела, но пока бутылка оставалась на столе, не сводила с нее жадных глаз, и с работы ей все чаще приходилось увольняться.

Рассказы отца про деревню она слушала без особого сочувствия, а порой и с насмешкой: «Навоз таскать?! Охота больно! Как это ты говоришь? Упе́таться? Там упе́таешься за день: и воду таскай, и огород поливай. Я-то знаю! Пожила там, хватит!»

Света — что было нечасто — тут соглашалась с матерью: одно дело приехать погостить, посмотреть, как там, а другое — поселиться совсем (как иногда об этом начинал мечтать отец). В деревне страх один жить: волки вон зимой, отец сам рассказывал, почтальона съели, одни валенки остались. В лесу заблудиться — проще простого, кругом звери, столько опасностей всяких. Даже и представить себе трудно, как люди в таких условиях живут, когда знают, что города есть. Удивительно, что их там держит?

Света вообще не то чтобы боялась, но относилась с опаской и настороженной недоверчивостью ко всему, что можно было назвать стихией, что не было подчинено, распланировано и отрегулировано людьми, как в городе.

Света связывала это с тем случаем в детстве, о котором она помнила смутно, но о котором вспоминали родители.

Наверно, они тогда были на рыбалке. Взрослые занимались своими делами, а Света потянулась за мячом и плюхнулась вслед за ним в воду. Плавать она еще не умела и, всплеснув руками, пошла на дно. Мать, как была в платье и босоножках, прыгнула за ней, подняла над водой. Река в этом месте мягко заходила в ложбинку, течения не было, но зато скользкое, глинистое дно у самого берега довольно круто уходило в воду. Мать сделала шаг вперед и, не будь на руках Светы, легко ухватилась бы за траву. Но отпустить Свету она не могла и все скользила и скользила на месте.

Чувствуя, что так она ничего сделать не сможет, мать с силой толкнула, почти бросила Свету вперед, на берег, а сама от этого толчка отступила еще дальше. Плавала мать тоже плохо, а тут еще, когда дно уходило из-под ног, совсем растерялась. Она подпрыгивала, хватала воздух и снова опускалась. И с каждым полупрыжком отходила туда, где глубже, где ее уже подтягивало к себе щупальце бешеного течения горной реки.

Ухватившись за траву так, что онемели пальцы, Света испуганно смотрела на мать. А мать смотрела на нее. Света видела ее глаза, понимала, что мать как будто просит ее что-то сделать, но от испуга не могла издать ни звука.

Уж как отец почувствовал, что там, за спиной, происходит неладное, он и сам не знал. Оглянулся, увидел на берегу мокрую Свету, которая, вцепившись в траву, смотрела куда-то в воду, и тут же кинулся к матери.

Слушая эту историю, Света каждый раз сердилась на мать: «И чего бросалась, если плавать не умеет? Сразу позвала бы

отца. И меня бы утопила, и сама бы утонула. Действительно, прав отец: сýторная она у нас».

И время от времени Свете кажется, что бестолковые, злобные упреки, когда отец начинает обвинять мать в том, что она исковеркала его жизнь, что она виновата и в его пьянстве, и во всех остальных несчастьях, имеют основание. У матери, конечно, свои отговорки — она пытается обвинить во всем его. Спор старый, каждый считает виноватым в чем-то, чего и высказать толком не может, другого. Ну чего стоило бы матери иногда промолчать, не доводить отца до белого каления! Нет, не может уняться, и перебранка переходит в драку. Но если по-настоящему разобраться, то, конечно, виноваты оба, считает Света. И это она отчетливо поняла, когда они зашли както вместе с ней в пивнушку на базаре. Там было душно, смрадно; помятые, серые фигуры виднелись в сером дыму, словно грешники в аду собрались. К их столику как-то пособачьи подошел высокий мужчина с зачесанными назад волосами. Весь его вид — независимый и в то же время готовый отозваться на любое движение — показывал, с какой целью он приблизился к столику.

Отец купил ему и той женщине, что стояла рядом, по кружке пива. Мужчина сделал жадный глоток, а потом, должно быть считая, что должен «отработать», громко сказал: «А какой я певец был! Какой певец! Голос у меня был... Карузо!..» Он встал в позу, держа кружку на отлете, и, тряхнув зачесанными назад лоснившимися волосами, попытался запеть. И по этому сиплому, будто проржавевшему голосу уже, конечно, нельзя было угадать, правду он говорил или врал. Мужчина закашлялся до того, что стал фиолетового цвета, а потом все так же театрально повел рукой в сторону стоявшей рядом женщины: «Вот она сгубила. Такой талант сгубила!» Женщина негромко засмеялась. Не злорадно, не мстительно, не весело. Как-то неопределенно. И тоже хриплым голосом.

Света потом часто вспоминала их. По сравнению с этими пьянчужками ее родители тогда выглядели вполне благополучными. Ну, зашли выпить по кружечке... А теперь? Не так много времени прошло, а Света вполне может представить на месте той женщины свою мать. И, сравнивая их, Света не может не думать, отчего спился тот «певец». «Нет! — думает Света,— был бы настоящий голос, не спился бы. Он почувствовал, что недотягивает, и пошел туда, где легче. Чтобы потом можно было сказать: «Такой голос был — вот она споила». Это он, конечно,

не сознавал, когда делал, но все-таки сделал выбор такой, когда можно другого обвинить в своем падении».

Как-то Света решилась и заговорила с Флорой Яковлевной о том, почему же все-таки пьют люди, почему на них не действуют слова убеждения о вреде пьянства, вид других опустившихся людей. Ведь это же страшно!

«Трудно ответить,— вздохнула Флора Яковлевна.— А зачем воруют, когда знают, что за это их ждет тюрьма? Не думают так, не могут увидеть себя со стороны. К тому же постепенно все происходит. Вот у твоих родителей, например. Отец из деревни приехал. Там для него все было привычное, все знакомое. Здесь — иной уклад жизни. Чтобы город духовно наполнил человека, для этого надо быть подготовленным. Я говорю о музеях, театрах, филармонии. Здесь надо над собой работать, учить себя постоянно. А водка — она сразу дает ощущение яркой, наполненной жизни. Доступно и сначала безопасно. Но это обман. А за обман всегда приходится чем-то платить».

Разумеется, про отца и мать смешно говорить, что они «недотянули». До чего им дотягивать? Планка стояла на самой нижней отметке. И все-таки, значит, и перед ними стоял какой-то выбор. У каждой развилки своего жизненного пути они сворачивали все более круто туда, где их тащило и бросало на камни течение. Но легче, конечно, обвинить в ошибках не себя, а другого.

Чувствуя, как после некоторого затишья в пьяных разговорах назревает очередной скандал, Света торопилась заснуть, чтобы не слышать, не видеть ничего,— а вдруг это поможет — и ссора пройдет, как туча, стороной?

Горные вершины спят во тьме ночной,
Тихие долины полны свежей мглой,—

повторяла она, чтобы успокоиться, призывая сон.

Но страх настигал ее и во сне. Она все пряталась от кого-то или чего-то темного, неясного, смутного, а от этого еще более страшного, бежала по бесконечным пустым улицам, где почему-то никто не мог прийти на помощь, и она с отчаянием понимала это и снова бежала куда-то, где ее могут спасти. А ноги не слушались, как ватные ступали по земле, и она молила: «Скорее, скорее!» — чувствуя, как это огромное, темное, с неясным лицом догоняет ее... и просыпалась. Сердце глухо билось, дыхание перехватывало. Она надевала платье и

снова ложилась, стараясь не слушать, как в соседней комнате раздаются короткие, глухие выкрики, звенят упавшие на пол ложки, слышится невнятное мычание. И Свете начинало казаться, что там, в соседней комнате, вовсе и не ее родители, а кто-то совсем другой. Будто два оборотня творят непонятные нечеловеческие дела. Она вдруг боялась пошевелиться, чтобы не привлечь к себе их внимания, и, бросая осторожные взгляды на будильник, повторяла, как заклинание: «Скорее бы утро, скорее бы рассвет!» — пока незаметно не засыпала снова.

Наступало утро, и ночные страхи становились глупыми и наивными. Родители с помятыми, как грязное белье, лицами садились за стол пить жидкий чай. Они были немногословны и отводили мутные глаза в сторону, стараясь не встречаться взглядами друг с другом. Сознавая свою правоту, Света внутренне торжествовала и сердито выговаривала им за вчерашнее.

«Ну хватит, хватит гоготать! — отмахивался неуверенно отец и добавлял, скорее, для порядка: — Не твоего ума дело!»

Правда, когда Света доходила до того, что их надо отправлять лечиться, они оба искренне возмущались: «Да мы же не пьяницы какие-нибудь, на улицах не валяемся!»

«Нет, вы подумайте! Они не пьяницы... А кто же тогда пьяница? Ну скажите, кто тогда пьяница... Чуть ли не каждый вечер...» — «Это где же каждый вечер?» — «Вам что, по календарю отмечать?»

Света и в самом деле взялась отмечать. Черным обводила те дни, когда они пили, черным с крестом — когда при этом дрались или ссорились, а красным — дни, когда они были трезвые. И в месяце таких дней набиралось не очень много. Когда Света показала календарь, мать вдруг с ожесточением выхватила его и разорвала.

Света победно вскинула голову: «Боитесь, да? Испугались! А говорите — не пьяницы. Самые настоящие алкоголики».

«Ну! Ну!» — сердито прикрикнул отец. Но Света уже собирала портфель в своей комнате.

Никак не могла Света примириться с тем, что происходило дома. Ведь во всем остальном она ничем не отличалась от других школьников. Вместе со всеми мчалась на перемене в буфет, собирала металлолом, ходила в походы и на экскурсии, отвечала у доски, брала книги в библиотеке. И чем старше она становилась, тем тщательнее скрывала, что происходит в семье. Ей почему-то казалось, что грязь домашних неурядиц перехо-

дит и на нее, что у кого-то это может вызвать брезгливое чувство, как у тети Дуни и Нины, например.

Она стала особенно тщательно следить за тем, чтобы воротнички и манжеты были всегда выстираны до голубизны и накрахмалены, чтобы форма и фартук были отглажены. На чистый носовой платок она капала духи из маленького флакончика, как мать Киры, чтобы окончательно забить, заглушить запах дома. И все-таки настоящая перемена в ее жизни началась с появления Флоры Яковлевны...

Это случилось, когда они в очередной раз переехали и Света пришла в новую школу после второй четверти. Через неделю она заболела ангиной. Флора Яковлевна была у них классной.

Света лежала в своей комнате на кровати, только поверх одеяла набросила на ноги пуховый платок, подаренный ей бабушкой... Горло у нее прошло, температуры не было, но в новую школу идти не хотелось. Никто ее там не ждал, подруг она еще не завела, и Света решила, что теперь уж лучше в понедельник пойти. Она лежала, читала Жюля Верна, представляя, как плывет в такой вот лодке (все ее там любят, жалеют и с удовольствием выполняют всякое ее желание), как там тихо, спокойно и радостно жить...

Она слышала стук в калитку, слышала, как мать крикнула: «Входите, входите, у нас открыто!» — подумала, что соседка забежала, и продолжала читать.

Когда мать с пунцовыми пятнами на скулах ввела в комнату учительницу, Света страшно смутилась, представив, как недопитая бутылка все еще стоит на столе. «Не дай бог, они пригласят выпить учительницу. У них ума хватит!»

Флора Яковлевна поняла все с первого взгляда. Дружески улыбнулась Свете и своим резким, как у майны[1], голосом сказала: «Я на минуту, узнать, что случилось», пожелала ей поскорее выздоравливать и ушла. Света снова легла, хотела читать дальше, но все не могла сосредоточиться и мысленно возвращалась к тому, как вошла Флора Яковлевна, вспоминала ее резкий голос и быстрый, чуть искоса взгляд. У Светы осталось такое чувство, словно между ними что-то произошло, установилась какая-то тайная связь. И Света не без удовольствия решила, что теперь Флора Яковлевна не будет к ней придираться. Света всегда чувствовала тот момент, когда отношение

[1] Ма́йна — птица семейства скворцов.

к ней учителей чуть-чуть менялось,— по тому долгому взгляду, которым встречали ее у доски, по тому, что реже, чем на других сердились, если она путалась при ответе. Со стороны это, может быть, и трудно было бы уловить. Никаких особых знаков внимания ей не оказывали. Но когда каким-то образом учителя узнавали про ее родителей — это Света сразу угадывала и даже научилась время от времени использовать для себя с выгодой. Если она не выучила урока, а взгляд в некоторой нерешительности приближался к ней, Света делала страдальческое выражение, смотрела в окно не мигая, как бы глубоко задумавшись, или вытирала уголок глаза платком... И очень часто помогало. Вызывали кого-то сидящего рядом.

Поэтому в понедельник она, в общем, ничуть не удивилась, когда Флора Яковлевна попросила ее задержаться после урока, указав на первую парту около стола. Света, стараясь не хлопнуть крышкой, осторожно села. Флора Яковлевна что-то сосредоточенно и быстро дописывала в журнале. Пальцы, испачканные мелом, оставляли на авторучке белые пятна. Света смотрела, как ложатся размашистые буквы в строчку, и думала, с чего начнет разговор Флора, ведь никто из учителей раньше не выспрашивал ее о семье.

Кончив писать, Флора Яковлевна весело захлопнула журнал, так что над столом закружилось, завертелось белое облачко пыли, и неожиданно попросила проводить ее домой.

По дороге они занесли журнал в учительскую, прошли по коридору и вышли в ту часть школьного двора, где была спортплощадка, на которой стояли футбольные ворота без сетки, турник и бревно, заляпанное светлой, уже подсохшей грязью.

Свете еще ни разу не доводилось идти рядом с учительницей и разговаривать просто так, поэтому она все больше отвечала, да и то односложно, неуверенно. Дом, где жила Флора, оказался не очень далеко от школы. Они пересекли большую улицу, и Света вспомнила, как им во время экскурсии рассказывали про неожиданную гибель Путовского — басмачи подстерегли его во время возвращения где-то недалеко отсюда; прошли мимо базара, свернули налево, сразу за углом стояли высокие деревянные ворота, выкрашенные красновато-коричневой краской, которой обычно покрывали противопожарные стенды, с маленькой калиткой в них — непонятно для чего, потому что калитка болталась сама по себе, а ворота все равно были распахнуты настежь.

С чувством непонятного разочарования Света вошла вслед за Флорой Яковлевной во двор. Вдоль длинного, унылого одноэтажного дома тянулась дорожка — аккуратно выложенные кирпичи. А рядом с дорожкой — уже углом — такие же кирпичи отгораживали цветник, оттуда торчали сухие белесые стебли.

Фундамент дома постепенно поднимался, и вместе с этим увеличивалось количество пологих ступенек у дверей, выходивших на дорожку. Света, поднимаясь вслед за Флорой Яковлевной, зачем-то посчитала: «Три ступеньки».

В прихожей (она была, судя по горьковато-душному запаху керосинки, одновременно и кухней) Света так долго и тщательно вытирала ноги, что Флора Яковлевна засмеялась и сказала: «Тряпку протрешь» — и помогла повесить пальто: Света до вешалки не могла дотянуться.

«Это Вилли так высоко прибил, пока меня дома не было. Вот вернется из армии — его во флот взяли — и перевесит...» Флора Яковлевна засмеялась.

И Света засмеялась тоже, прикинув, что к тому времени, как Вилли вернется, она будет уже в восьмом классе,— это казалось бесконечно далеко.

Почти сразу же вслед за ними вошла Эрика — дочь Флоры Яковлевны, молчаливая, вялая девочка. Она была на год старше. Света потом видела ее в школе, и они неохотно здоровались друг с другом.

Флора Яковлевна кивнула головой на чайник. Эрика молча пошла к водопроводу. Тут Света спросила, почему они пользуются керосинкой, а не примусом. На примусе гораздо быстрее.

«Правда? — не совсем естественно обрадовалась Флора Яковлевна.— Но мы как-то привыкли. А что, на самом деле быстрее?»

Света, не замечая наигранного интереса, с жаром подтвердила, что на примусе ну просто в один миг чайник закипает.

«Но они взрываются, я слышала...»

«Что вы! — воодушевилась Света.— У нас столько лет — и ни разу не взорвался. Мы одно время даже бензином заправляли — и все равно не взорвался».

«А шумит?» — протянула нерешительно Флора Яковлевна.

Тут Света на некоторое время задумалась — примус действительно шумел, тут уж ничего не скажешь,— но потом нашлась: «Зато его можно ставить на крыльцо, шума не будет слышно!»

«Замечательно! — сказала, как отрезала, Флора Яковлевна.— Я завтра... Нет, даже сегодня схожу, куплю примус, а ты потом придешь и научишь нас обращаться с ним. А то я сама боюсь».

Света ликовала: оказывается, она тоже может быть полезной учительнице,— и сразу почувствовала себя свободнее, раскованнее.

«А иголки не покупайте! У нас отец сам сделал, очень хорошие — у них с двух сторон проволока есть».

На этом они и порешили. Флора Яковлевна достала платье из шкафа и ушла переодеваться. У двери Эрика, поставив чайник, что-то тихо сказала ей, Флора Яковлевна в ответ кивнула, и Эрика ушла. Света, оставшись одна, оглядела комнату.

Казалось, что мебель встроили здесь вместе с домом,— так все стояло прочно и надежно. Шкаф для одежды с одной стороны и шкаф для книг — с другой отгораживали кровать Флоры и Эрики от той половины, где сидела за большим круглым столом Света. Между кроватями стоял еще и старый комод, откуда Флора Яковлевна потом достала вышитую скатерть. Все было чисто, аккуратно, строго и вместе с тем по-особому красиво. Вот как эта не очень новая салфетка на комоде, по которой темно-вишневыми узорчатыми, как крендельки, буквами шла надпись. Потом Света уже знала ее наизусть и сама могла бы написать точно такими же готическими буквами: «Труд есть бог!»

Вот только кактусы удивили тогда Свету. Она слышала о них, но увидела в первый раз. Кактусы стояли в маленьких баночках, вазочках, горшочках. Одни были похожи на покрытые серебристой паутиной зеленые шарики, другие — на длинные ослиные или заячьи уши, третьи корявым столбиком торчали из земли. Непонятно, чем они могли привлекать людей. Жди сто лет, когда зацветут. Один день постоят и завянут.

Флора Яковлевна вошла в домашнем платье, чуточку старомодном: с карманами, с клапанами.

«А правда, что кактусы цветут раз в сто лет?»

«Чепуха! — засмеялась Флора Яковлевна.— Но они, действительно, цветут нечасто. Очень капризные существа. За ними особенный уход нужен».

«А зачем же тогда их держать? Надо взять те, которые сами растут и цветы всегда есть».

Флора Яковлевна покачала головой, глянула на Свету карим глазом искоса и очень раздельно произнесла: «Чем больше любви, терпения и внимания ты отдаешь, тем больше

получишь сам. Кто на этом экономит, тот становится беднее. Даже если это цветы. Поняла?»

Света на всякий случай кивнула.

«Ничего,— отчеканила Флора Яковлевна.— Потом когда-нибудь поймешь!»

Она уже успела расстелить скатерть на большом круглом столе с толстыми ножками, расставить чашки с блюдцами, чайничек и вазу с вареньем. Варенье было темно-красного цвета, как и мебель в доме, а запах, что окружал вазу, был такой густой, что казалось, его надо сначала раздвинуть, как занавес, чтобы протянуть руку с ложкой.

«Это какое варенье?» — взрослым тоном спросила Света, пытаясь оторвать клейкую ниточку, что тянулась от розетки. Ниточка выписывала выпуклые, замысловатые вензеля, которые оседали и еще некоторое время сохраняли рисунок, прежде чем растаять.

«Айвовое,— ответила Флора Яковлевна,— его ни с каким другим не спутаешь, чувствуешь, какой аромат? Мед...»

«Да-а-а»,— все тем же взрослым голосом протянула Света.

Нитка наконец утянулась, поджалась к ложке. Но когда Света поднесла ее ко рту, сочная, густая капля шлепнулась как раз рядом с чашкой. Света смутилась и стала зачем-то тщательно облизывать ложку.

«А как его делать?» — спросила она, чтобы оттянуть неприятный момент (Флора Яковлевна все не замечала, как светится густым медовым цветом капля на чистой скатерти).

«Очень просто...» И Флора Яковлевна принялась объяснять, как готовить айвовое варенье.

Света кивала, но думала о том, не показать ли ей на каплю или уж пусть потом увидит сама, когда Света уйдет. Или сделать так, чтобы Флора ее пожалела,— и уже не до пятна будет, тем более что она, наверно, и пригласила Свету затем, чтобы узнать о ее жизни, и, видимо, ждет каких-то признаний.

Момент показался Свете подходящим, и она несколько залихватским тоном начала, что вообще-то ей варенье трудно сварить — отец в последнюю драку выбросил таз для варенья на улицу и отбил эмаль, так что он теперь для стирки годится. Она не обманывала, это действительно было, но только в прошлом году. И принялась рассказывать о своей жизни чуть небрежным тоном, который, как она давно заметила, действует сильнее, чем жалобный, и вызывает гораздо больше сочувствия. Флора Яковлевна почему-то нахмурилась. Света не при-

дала этому значения и продолжала, посмеиваясь, описывать скандалы в доме.

«Вот, положи, а то испачкаешь форму»,— вдруг перебила ее Флора Яковлевна и протянула салфетку, чтобы Света закрыла айвовую кляксу.

Света растерялась, замолчала и аккуратно, как промокашкой, приложила салфетку к пятну на скатерти.

А Флора Яковлевна после небольшой паузы начала сдержанно рассказывать, как приехала в Самарканд из Ленинграда, какое это было трудное военное время, как долго приходилось стоять в очереди за хлебом, как они потом с детьми перебирались в Душанбе.

Некоторое время Света слушала, не понимая, что произошло, а потом почувствовала, как волна стыда, будто столбик ртути на градуснике, поднимается откуда-то изнутри. Жаром обдало лицо, она покраснела и опустила глаза. А Флора Яковлевна все так же ровно продолжала рассказ. Оказывается, кроме Эрики, у нее было еще три сына. Старший сын и муж погибли. Второй сын, когда приехали в Душанбе, пошел работать на текстильный комбинат — теперь мастером стал. А Вилли вот ушел в армию.

На другой день Света пришла, чтобы показать, как надо заправлять примус, куда наливать керосин, чтобы разжечь скорее. К счастью, ветра не было, и Флора Яковлевна пришла в необыкновенный восторг, что так быстро разогрелся суп. Она похвалила Свету: «Молодец! Настояла на покупке». После чего Света почувствовала себя благодетельницей. И некоторое время примус был для нее предметом особой заботы. Она, чувствуя ответственность за него, по-хозяйски осматривала, прочищала и следила за тем, чтобы не стиралась резина на поршне, чтобы примус горел ровно и хорошо.

Света и не заметила, как и когда начала с ней заниматься Флора Яковлевна. Кажется, с разговоров о книге, которая лежала на столе,— Эккермана. Его «Разговоры с Гете» — тогда еще на русском — вскоре дала ей прочитать Флора Яковлевна. Когда после первой части Света все с бóльшим трудом пробиралась вперед и Флора Яковлевна, задав несколько вопросов, поняла это, она сказала неожиданную для Светы фразу: «Ничего! Наступит день, когда ты прочтешь его по-немецки и сумеешь оценить по-настоящему».

Тогда Света восприняла это как шутку или как что-то далекое и почти недостижимое.

Немецкий, который она начала учить в прежней школе, всю первую четверть преподавала молодая женщина — Вероника Григорьевна. Она носила сильно облегающие костюмы, чтобы подчеркнуть тонкую талию, на которую и в самом деле нельзя было не обратить внимание. Тщательно завитые и уложенные волосы она перебрасывала на одну сторону и закалывала их красивыми заколками. Вероника Григорьевна обычно сидела полуотвернувшись, словно откидывала волосы, чтобы внимательно прислушиваться к тому, что происходит за окном. С рассеянным видом ставила она отвечающим тройки или четверки, в зависимости от того, уверенно или неуверенно отвечал вызванный к доске. И у нее на уроках все читали по-немецки так, как будто это был незаконнорожденный отпрыск русского. Когда Света в первый раз произнесла немецкое «я», как русское местоимение «их», Флора Яковлевна покачала головой, с трудом сдерживая возмущение.

К концу года у Светы в табеле было три тройки и две четверки. А купив летом учебники на следующий год, Света вдруг обнаружила, что тексты в новом учебнике немецкого языка не представляют для нее никакой трудности. Не заметила она и того момента, когда на простые вопросы Флоры Яковлевны, заданные на немецком, отвечала, уже не задумываясь, как построить правильно фразу.

И, почувствовав вкус к занятиям, она поверила в свои силы. Помогли и советы Флоры Яковлевны, как надо вовремя повторять пройденное, как важно обращать внимание на правила и формулы. И первое время, когда Света делала уроки все за тем же круглым столом, она следила, чтобы Света не оставляла «темные» места. Вскоре Света подтянулась по всем предметам и уверенно шла вперед без спадов, привыкая к мысли, что достигла и добилась всего, как Эккерман, благодаря собственным усилиям, как об этом постоянно говорила Флора Яковлевна.

Странное чувство испытала Света, когда через несколько лет Флора Яковлевна обратилась к ней с просьбой позаниматься с Эрикой немецким: «Hilf mir doch, tu mir den Gefallen. Bei uns beiden will es nicht so recht klappen, ich bin da viel zu nervös und ereifere mich unnütz. Dir wird es gelingen!»[1] — дала

[1] Прошу тебя, помоги мне. Я не могу, начинаю нервничать и сердиться. У тебя получится лучше! *(нем.)*

им нужные материалы, задание и ушла во двор пересаживать кактусы или перекапывать клумбу.

И снова Света, как и в случае с примусом, не заметила, что просьба Флоры Яковлевны надумана. И конечно же, Света не заметила, насколько эти занятия больше помогли ей самой, чем Эрике.

«А почему вы с ней не начали разговаривать по-немецки с самого детства?» — как-то спросила Света.

«Ты плохо представляешь, какое это было время! — вздохнула в ответ Флора Яковлевна.— Меня целый день дома не было, Вилли и Эрика сидели взаперти. Тогда не до немецкого было».

...Подвиги словно бежали его: никто не обращался к сэру Парцифалю с просьбой освободить замок от ненасытного чудовища, никто не звал его изгнать великана. И сэр Парцифаль сокрушался всем сердцем, что судьба не дает ему отличиться.

Очнулся он от своих дум только под стенами замка Мунсальвеш короля Анфортаса, куда привела его указанная тропа. Стены замка были так высоки, что перелететь через них могла только птица. И никому не пришло бы в голову брать эту крепость штурмом, так крепки и толсты были его стены.

Страж, стоявший на башне, учтиво обратился к сэру Парцифалю, вопрошая, откуда он, как его имя и почему ему вздумалось тревожить покой обитателей замка.

Сэр Парцифаль ответил, чей он сын, как нарекли его родители и что дорогу к замку указал ему рыбак — он же пообещал, что путника ждет здесь радушный прием.

Страж и в самом деле тотчас, весьма обрадовавшись, опустил подъемный мост, и рыцарь смело пустил коня вперед.

Но если стены замка говорили о могуществе владельца, то двор, на который въехал Парцифаль, являл собой весьма печальное зрелище. Он был таким запущенным и неухоженным, что повсюду успела вырасти высокая крапива, словно здесь много лет не ступала нога человека.

Правда, не успел сэр Парцифаль задуматься о таком странном и необычайном явлении, как двор заполнила радостная, нарядная толпа придворных. Из замка выбежали пажи и валеты, схватили под уздцы его коня, откуда-то сразу же появилась и скамеечка для ног, чтобы удобнее было спешиваться.

Сопровождаемый толпой придворных, наперебой выражавших свою радость по поводу его приезда, вошел сэр Парцифаль в замок.

Вслед за доспехами слуги унесли копье и меч славного рыцаря, оставив его таким образом безоружным. А он, хоть и был смущен этим, не посмел выказать сомнений, чтобы не проявить свою невоспитанность.

И смущенного сэра Парцифаля отвели в роскошную залу, где на каждой стене сияло, наверно, по сотне свечей.

Далее случилось для сэра Парцифаля еще более неожиданное, что повергло его в еще большее смущение. Празднество уже началось, как вдруг распахнулись двери и в зал вошел оруженосец. В руках он держал копье, с острия которого струилась красная кровь. Не прошел оруженосец и половины пути, как рукав его блио уже намок, и тяжелые капли падали на пол, словно рубины. И пока он шел вдоль стен к дубовой двери, под сводами замка не смолкал страшный стон. Только когда дверь за оруженосцем закрылась, умолк и этот стон.

Сэр Парцифаль, услышав этот стон, который звучал как призыв сразиться со злом, готов был немедленно броситься вперед. Но, оглядев всех, кто стоял в зале, он не увидел на их лицах ничего, что выдавало бы недоумение или сомнение.

Наш герой был смятен и потрясен. Ему казалось, что во взорах придворных он читает нечто непонятное: словно все ждут от него чего-то. Но чего? Если бы не наставления князя Гурнеманца, который,— о, благодарение всевышнему,— научил его рыцарскому вежеству, он бы не смог удержаться от того, чтобы не обратиться к владыке замка с вопросом. Но он сумел взять себя в руки. «О, нет!— уговаривал он себя.— Не следует спешить, все должно разъясниться, всему будет дан ответ».

Но и расставшись с королем Анфортасом (который, преодолевая свой недуг, во все время оказывал знаки внимания нашему рыцарю и под конец заботливо отправил его спать), сэр Парцифаль таки остался в неведении относительно случившегося.

Когда сэр Парцифаль проснулся, за окнами был ярчайший полдень, чему он несказанно удивился: «Что я? Где я? Эй, слуги!»

Ни звука не раздалось в ответ, но зато рядом с постелью увидел сэр Парцифаль свою одежду, а главное — свои рыцарские доспехи и два меча: один его собственный, а другой тот, что подарил ему вчера владелец замка.

«Так вот что означали мои сны!— воскликнул сэр Парцифаль.— Я обречен на испытание битвой, не иначе! Ну что ж, в угоду столь любезному королю я совершу какие угодно подвиги, мне не страшны никакие поединки, я давно жажду их!» И он сделал то, что велел долг: надел бранные доспехи, сверкнул воинственными очами и выбежал навстречу врагу.

Но никто не вышел ему навстречу с мечом или копьем. И пока он шел к выходу, лишь эхо откликалось на звук его голоса и шагов. Ни единой души не осталось в замке, пока он спал, словно и не бывало здесь никого.

Сэр Парцифаль вышел на мощеный двор и увидел своего быстроногого коня, привязанного к перилам, и обрадовался этому.

«Наверно, и мне следует, не медля, оставить этот замок,— решил он.— Я вижу всюду помятый подорожник и вытоптанные заросли крапивы, еще вчера не тронутые никем,— это следы большой свиты короля Анфортаса. Они указывают, куда уехали все».

Страж, стоявший в отдаленье и скрытый от посторонних глаз, опустил мост. Но только Парцифаль приблизился к нему, как неожиданно для себя услышал проклятья, что сорвались с его губ: «Пусть померкнет ясный день, несчастный пришелец! Какой злобный рок занес вас сюда? Всего лишь один вопрос! Всего лишь вопрос, исполненный участья, мог бы все изменить, а вы?! Рожденный для славы, навек останешься глупцом!»

И без того безмерно пораженный случившимся, Парцифаль чуть не зарыдал, услышав непонятное обвинение. «Какой вопрос, кому, зачем? Что означают твои слова?..»

Но страж замер, как если бы его охватил глубокий сон, и не произнес больше ни слова.

Не постигая еще до конца происшедшего, Парцифаль тронулся в путь...

— Туля! Туленька! — робко и нерешительно позвала из комнаты мать.

Это ласковое, детское обращение разозлило Свету. Ей хотелось промолчать, она даже сжала руки, но, когда мать окликнула ее во второй раз, не выдержала:

— Ты дашь мне спокойно позаниматься или нет?! У меня экзамен на носу! Не приставай! Напилась, ну и лежи себе!

Света ударила кулаком по столу так, что мать в комнате услышала. Наверно, услышала, потому что тут же затихла. А Света с раздражением, которое не успело окончательно выплеснуться в этом коротком окрике, обвела взглядом дом и двор. Все, все здесь вызывало у нее отвращение, все казалось таким отвратительным, мерзким, чужим.

Сколько раз тетя Фрося, толстая, молчаливая, у которой шея начиналась от подбородка и мелко, презрительно подрагивала, как у жабы, говорила: «Не будете ухаживать за домом, других жильцов пущу» — и уходила, тяжело шлепая по дорожке.

А за чем тут и ухаживать-то? Окна в землю вросли, крыша на уровне головы: кибитка без фундамента ведь строилась. Все силы тетя Фрося и ее сын на плановый дом бросили. А во времянке теперь квартиранты. Название-то какое! Времянка! И уходит эта времянка в землю, как в болото.

Правда, раньше, когда мать два раза в год обязательно белила дом (весной — к пасхе, а осенью — к Седьмому ноября), смазывая основание дома глиной, смешанной с коровьим пометом, ровная желтая полоска делала двор наряднее, веселее и не давала дождям размывать стену. А теперь... Мать сама вздыхала: «Скоро Троица, а я известку даже не замочила». Побелка давно облупилась, обнажая другие слои то голубого, то зеленоватого, то желтоватого цвета; низ источен муравьями. Они проложили себе дорогу и ползут, как автомобили,— одни по правой, другие по левой стороне. Рама у окна искривилась, толь, которым покрывали крышу, меняя его каждый год, когда-то блестящий, как иней, стал серым, тусклым, и в самом углу комнаты во время сильных дождей надо ставить таз и слушать сначала звонкие, редкие удары капель о дно, а потом более глухие и однообразные всплески. Окна веранды мутные: все стекла в трещинах, с отбитыми уголками. Под умывальником опять таз грязный, а в нем окурки «Беломора» плавают. Сколько раз говорила Света, чтобы мать не гасила в тазу папиросы, но все напрасно. На веранде стоит мерзкий запах, как в общественном туалете. Впрочем, в комнате у родителей не лучше: дорожка на полу скручена, истоптана, вещи висят на спинке кровати, грязные полотенца брошены на табуреты и стулья, на столе немытая посуда.

Одно время Света взялась наводить порядок. Она не отдавала себе отчета, но в ежедневном выскабливании добела досок пола, уборке комнат было желание истребить, уничто-

жить и грязь семейных отношений. Света даже ввела кое-какие новшества по последней моде: поснимала с кроватей грязные подзорники, пожелтевшие тюлевые накидки на подушках — только покрывала оставила. И отец и мать добродушно ворчали: «Ну вот! Уже все по-своему начала делать. Выйдешь замуж, тогда и хозяйничай». Но приняли ее новшества с удовольствием. Вот только вышивку, что висела в углу, мать не дала снять: «Нет, это память!» И о чем память-то?! Вышитые гладью девушка и кошечка, что выглядывала из корзинки, имели совершенно одинаково умильное выражение лица, одинаковые голубые глаза и алые губки бантиком. В детстве эта вышивка тоже нравилась Свете. Девушка представлялась ей истинной красавицей. Теперь-то она понимала, что это мещанство, и предлагала заменить вышивку репродукцией Ренуара или какого-нибудь другого импрессиониста. Но мать вдруг заупрямилась.

Отец похвалил Свету, отмечая, как она убрала к их приходу комнату. Но что толку? Стоило им напиться, как пепел и окурки снова летели на пол, вслед за ними куски капусты, крошки хлеба. И казалось, что грязь, будто заколдованная, в один миг выступает отовсюду, занимая свое законное место. От тщательнейшей уборки не оставалось и следов.

Бессмысленная борьба с грязью скоро надоела. Света стала убирать только у себя, а через комнату родителей проходила, брезгливо морщась, и старалась как можно плотнее закрывать скособоченную дверь, чтобы запах оттуда не проникал к ней, словно боялась заразиться.

Когда речь заходила о собственном доме, и мать и отец с обидой вспоминали одно и то же: реформу и бабушку. Реформу — потому что все деньги, которые они накопили как раз для покупки хорошего, как у тети Фроси, планового дома и не успели пустить в дело, пропали зря. А бабушку — потому что она не заняла какой-то суммы, которой не хватало для этой покупки. «И у нее тоже пропали... Главное, хоть бы сама на что истратила!» — сердилась мать.

И вот они застряли здесь, во времянке тети Фроси, в углу ее большого сада, в закутке, где стояли еще сарай, туалет и старая собачья конура — от предыдущих квартирантов. Хорошо, что отец сразу посадил виноградник, а то бы во дворе было совсем пусто и голо. Может быть, кстати, тетя Фрося и прощает им безобразные скандалы за этот виноградник. Впрочем, о скандалах она узнает в основном на другой

день от соседей. Спать тетя Фрося ложится рано, спит крепко и никогда не просыпается. Однажды мать, впрочем, попыталась укрыться в ее доме. Тетя Фрося встала на пороге в длинной ночной рубашке, молча выслушала нескладные причитания матери, только шея у нее снова мелко-мелко вздрагивала,— так ничего и не сказав, она захлопнула дверь. С тех пор мать в ту сторону и не глядела, знала, что бесполезно.

Почему бабушка пожадничала и не заняла денег, Света не могла понять, да и не старалась. С бабушкой у нее было связано все самое хорошее: ощущение дома, семьи, воспоминания об уюте, тепле. У бабушки всегда пахло печеным. Да и сама бабушка была теплая, мягкая, как дрожжевое тесто, которое у нее пыхтело и выпирало из кастрюли, как живое.

Однажды, когда у Светы разболелась голова, бабушка положила ее к себе на колени, стала гладить мягкими ладонями, что-то тихо и монотонно напевая, и Света незаметно заснула, а когда проснулась, голова уже не болела. «Бабушка! Ты меня заколдовала?— допытывалась она потом.— Что ты сделала?»

«Что ты, Тулечка!— смеялась бабушка.— Колдовать — грех!» И крестилась, глядя на икону в углу.

Свету очень интересовала эта бабушкина икона. Там у женщины глаза были необыкновенно печальные и скорбные, так что аж в груди начинало свербеть, поэтому Света переводила взгляд на лампадку. Огонек в ней горел так тихо, тонко и робко, что казалось: еще мгновенье — и он угаснет. Забравшись в постель, Света нарочно закрывала глаза, а потом неожиданно открывала: лампадка продолжала гореть все тем же трепещущим, слабым, но постоянным светом. До сих пор ей помнился запах бабушкиного дома, к которому легкой горчинкой примешивался едва уловимый запах горящего масла в лампадке.

«А бога нет!— язвительно и испытующе начала разговор Света после того, как им в школе объяснили, откуда взялась религия.— Вон спутники летают, все фотографируют, а его не видят нигде. Он что, спрятался?»

«А бог — он всякому не покажется»,— отшутилась сначала бабушка. Но когда Света настойчиво стала допытываться, где же он все-таки, чуть более сердито добавила: «Бог — он в душе у каждого!»

«Что же я его не чувствую?» Света дурашливо приложила руку к груди.

«Он к тебе стучаться не будет, сама постучишься...»

Очень хотелось Свете прийти в класс и сообщить, что вот она поговорила с бабушкой — и та перестала верить в бога! Ее бы, наверно, приводили в пример другим ученикам.

Но по голосу Света поняла, что сейчас бабушка сердится, и прогонит ее во двор, и, конечно, не даст остатки от сладкой начинки для пирожков. Уж лучше подождать с перевоспитанием до другого времени. Да и вообще, лучше с бабушкой не ссориться. Так у нее хорошо и спокойно.

В последние годы Света ходила заниматься в библиотеку. Там у нее был свой стол, в самом углу, у окна. Библиотекарши тоже знали ее, книги ей выдавали без очереди; внизу, в буфете, она ела, а потом шла либо к Флоре Яковлевне, либо к кому-нибудь из подруг. Домой она чаще всего возвращалась, когда уже темнело.

Если Света приходила к кому-нибудь, то старалась задержаться там до ужина: сидеть с родителями за одним столом было все противнее, да у других и еда была вкуснее.

Света умела подмечать, как и что делается в домах подруг, и запоминала на будущее. Она уже представляла, как ловко она будет, вроде Антонины Сергеевны — матери Киры,— переделывать старые платья в нарядные фартуки. Света научилась у них снимать выкройки из журналов и шить. И духи на платочек — тоже оттуда.

Взрослые обычно любили Свету, считая ее серьезной девочкой, и одобряли дружбу с ней. Но почему-то у Светы долго не было одной постоянной подруги. Они менялись и из-за того, что Света переходила из одной школы в другую, переезжала с одного конца города в противоположный, и оттого, что зависть, которая тихо, как мышка, грызла прореху в душе, часто толкала Свету на непонятные ссоры.

Вот когда началась дружба с Фирюзой, устраивало Свету то, что она живет недалеко, и то, что на ужин у них часто бывали вкусные пироги с сыром — маслянистые, сочные, с острыми приправами. Тетя Фая радовалась ее приходу, в шутку учила Свету татарским словам и удивлялась, какая она способная и все быстро запоминает. А Света со странным удовлетворением наблюдала за тем, как Фирюзу ругают за плохие отметки. Наверно, Фирюза замечала это и сердилась. А вскоре они совсем разошлись.

Оглядывая комнату Парваны, Света испытывала зависть к тому, что здесь уже есть все то, о чем она мечтала. Но еще больше она завидовала, так что у нее даже покалывало в груди, когда Парвана — веселая, смешливая — вбегала к отцу в кабинет и повисала на руке. Он сначала делал вид, что сердится, а потом сдавался и шел к столу пить чай.

Вот этому — понимает Света — не научишься, этого нельзя перенять, это можно только иметь. А значит, никогда, никогда уже не будет у нее таких мирных, спокойных, ласковых вечеров, такого серьезного отца, такой ласковой, нежной матери. И тяжелое, темное чувство, как грозовая туча, поднималось откуда-то из самых глубин.

— Ну я панду? — услышала вдруг Света.

Это был голос маленького Бахтиёра. Просьба, с которой он обращался к кому-то, была исполнена такой страсти и желания, что Света невольно поднялась и подошла к калитке.

Бахтиёр, в черных трусах до колен, с ободранными в кровь коленками, щеки вымазаны чем-то — то ли глиной, то ли вареньем,— забежав вперед, заглядывал в глаза Илье и снова умолял:

— Ну я панду?!

Илья, в выглаженной рубашке, брюках, которые он заузил сразу после возвращения из армии, в начищенных туфлях, шел, конечно, на танцы.

Тут только Света поняла, о чем просит его Бахтиёр, и не могла сдержать улыбку. У Бахтиёра был такой уморительно серьезный вид, он верил, что брат поймет и возьмет его с собой. «Ну и кавалер!» — подумала Света.

— Отстань! — шикнул на него Илья.— Брюки испачкаешь, а то счас как дам! — При этом он бросил осторожный взгляд в сторону дома — не слышит ли мать? — и на всякий случай понизил голос.

Бахтиёр спрятал руки за спину и, насупив брови, некоторое время мрачно смотрел вслед брату. Наверно, он представлял, как станет таким же большим, наденет такую же рубашку и брюки и не возьмет с собой на танцы Илью, сколько бы он ни просился. Потом его взгляд упал на собаку, что трусила по улице. Он сразу оживился, присел на корточки и стал подманивать ее, чмокая губами. Собака остановилась на секунду,

даже вильнула хвостом, но чутье подсказало, что ему в руки лучше не даваться, и затрусила дальше. Бахтиёр вздохнул, подтянул трусы, сел на деревянную лавочку у дома в ожидании чего-нибудь интересного.

Илья месяц тому назад вернулся из армии. Он был веселый и, в общем, симпатичный парень. Но во-первых, он пошел работать на автобазу, даже не попытавшись подать заявление в институт, что сильно роняло его в глазах Светы. Во-вторых, он все знал про ее родителей, видел, как дрались они, мать даже как-то забегала к ним ночевать, а это значит, что он относился бы к Свете не так, как ей хотелось бы. И поэтому, когда однажды он пригласил ее на танцы, хоть у нее и радостно дрогнуло что-то внутри, Света презрительно и даже с некоторой обидой отрицательно мотнула головой, не в силах найти нужное слово, и, сжав губы, молча ушла в дом. В своей комнате она неожиданно для себя расплакалась.

Заметив, что Илья искоса посмотрел на нее, Света демонстративно приподняла книгу, поднесла ее ближе к лицу, словно пыталась закрыться или защититься неизвестно от чего. Вернувшись на место, Света изо всех сил попыталась сосредоточиться только на «Парцифале».

Так получилось, что единственной по-настоящему близкой подругой стала для нее только Вика. Появилась она в классе после третьего сентября. Новенькую ввела Клара Измайловна. Увидев свободное место рядом со Светой, она указала на него Вике. И та села. А через день была физкультура.

Когда все вышли из раздевалки строиться, Света не без умысла пропустила новенькую вперед. Здоровая Белка в прошлом году изводила своими глупыми шутками: то ущипнет, то встанет на ногу, и все с таким видом, что ругаться бесполезно. Физрук не любил разбираться, кто прав, кто виноват: кого заметит, тому и двойку, а то и выгонит — ходи потом, проси разрешения. Поэтому Света решила отгородиться новенькой — они были одного роста.

Строй выровнялся, физрук повернулся к кольцам, чтобы объяснить задание, и тут Белка дернула Вику за светлый хвостик так, что у нее клацнули зубы. Света скривилась от досады и решила про себя, что на перемене шваркнет Белку портфелем. Но тут раздался сочный, необыкновенно громкий шлепок. И в зале сразу стало тихо-тихо. Белка, вытаращив круглые глаза и схватившись за щеку, удивленно смотрела на Вику. И все тоже стали смотреть на нее. Вика будто и не

замечала этих взглядов, только сжала губы и чуть нахмурила бровь.

Физрук повернулся на пятках и пошел к строю, вглядываясь в лица, чтобы понять, кто нарушает дисциплину.

«Это я сделала!» — отчетливо выговорила Вика, не дожидаясь, когда он подойдет, и посмотрела на физрука таким пронзительным и гневным взглядом, будто он был во всем виноват. Физрук смешался, откашлялся и скомандовал: «На первый-второй рассчитайсь!»

Света была потрясена. Это надо же! Вот умеет себя вести! Физрук и тот испугался, не посмел выгнать. Хорошо бы научиться так смело и решительно действовать...

На перемене Света сказала восхищенно: «Здорово ты ее, молодец! А то липнет ко всем, такая дура!»

«А вы что же? — презрительно спросила Вика.— Терпели и молчали? Надо сразу... пресекать».

Последнее слово явно было не ее, но Свете оно тоже понравилось.

И все-таки подружились они не сразу, хотя время от времени вместе смотрели новые кинофильмы и Света заходила за номерами «Иностранной литературы» к ней домой. Это было по пути из школы. Свете казалось, что уж слишком они разные, ничего между ними общего. Да и Вика держалась холодновато, как будто присматривалась. И Света под ее оценивающим, каким-то чересчур взрослым взглядом невольно робела.

Несколько раз видела Света отца Вики, в честь которого ее назвали, Виктора Георгиевича,— бледного, худого, с белыми ресницами и волосами. Дома он бывал редко, все в командировках. Вика небрежно, но выделяя голосом «такой специалист», объяснила, что его часто переводят из одного города в другой. Мать Вики — Нелли Яковлевна — преподавала музыку. Но здесь она пока не могла устроиться и сидела дома — каждый раз с новой замысловатой прической, которая очень нравилась Свете, с накрашенными губами и в атласном халате с блестящими розами.

Как же удивилась Света, когда однажды, открыв им дверь, Виктор Георгиевич буркнул что-то сквозь зубы, ушел к себе в комнату и закрылся на ключ, а Нелли Яковлевну они увидели на кухне. Перед ней стояла бутылка вина. Не обращая внимания на девочек, Нелли Яковлевна продолжала играть на гитаре, с особенной силой дергая струны, когда из груди

вырывались рыдания, или, наоборот, рыдания с особенной силой рвались тогда, когда она дергала струны.

Те опустившиеся люди, которых Света видела в пивнушках, те собутыльники, с которыми, особенно в последнее время, выпивали ее родители, вызвало убеждение, что пьянство — участь необразованных, темных людей, у которых нет ни семьи, ни работы. И поэтому они, словно мусор, застревали на любом перекате, у любого препятствия, что встречалось на пути. Но тут... Нелли Яковлевна, такая красивая, с такой прической, музыкант — и вдруг... красное вино, липкие круги на клеенке от бутылки и стакана и такие же липкие, круто загнутые вверх полоски в углах рта, которые придавали лицу выражение неестественного, насильственного веселья.

Было в позе Нелли Яковлевны, в игре на гитаре, бутылке с яркой этикеткой что-то от кино, где всегда пьют красивее, чем в жизни. Но тут Виктор Георгиевич, щелкнув замком, прошел из своей комнаты в туалет. Нелли Яковлевна выкрикнула: «У, нежить бледная! Сгинь с глаз долой! — и захохотала, довольная шуткой, потом ударила по гитаре, так что она загудела, как ветер в трубе, и запела: — Только многа и многа напо-о-омнит...» Ее взгляд как неприкаянный блуждал по комнате; порывистые движения, словно ее кто-то дергал за ниточку, чересчур громкие выкрики — все это, как бывало дома, опять вызвало странное ощущение, вроде в кухне сидит совсем не тот человек, какого знала Света. Словно Нелли Яковлевну подменили. Бесшабашный разгул и безнаказанная свобода — стихии непонятные и чуждые Свете — пугали уже тем только, что их логику нельзя предсказать. Они вызывали неясный страх, столь же непонятный, как и страх темноты.

«Да что ты озираешься?! Пьяных, что ли, не видела?» — с презрительным видом мотнув головой в сторону кухни, спросила Вика. Хмыкнув, она объяснила Свете, что отцу нельзя развестись с Нелли Яковлевной «из-за работы», и он должен все терпеть.

Вика при этом засмеялась, намекнув, что ей такое положение вещей очень нравится, потому что каждый из родителей переманивает на свою сторону, а это выгодно. Вот откуда у нее много карманных денег и самые модные вещи, которые отец и мать наперебой покупают. Вика говорила небрежно, высокомерно вскинув голову, чтобы Света и не подумала, что она нуждается в сочувствии. Но все же Света угадала, уловила

в ней и свою собственную боль, поняла, почему Вика так осторожно приглашала ее к себе — и вот только сегодня промахнулась. Света сделала вид, что она живет вполне благополучно, а затруднение с квартирой, куда она пока не может пригласить Вику,— недоразумение, которое отец должен уладить. Именно поэтому они снимают квартиру, а не покупают себе дом. Сначала Свете было неловко, что она сказала полуправду Вике, а потом похвалила себя за это. Вика оказалась большой насмешницей и, где могла, кого могла, старалась поставить на место, уязвить. Только по отношению к Свете она была мягче и ровнее, чем к другим.

Благодаря новой подруге противоречивые, смутные, идущие вразброд чувства к родителям обрели, наконец, форму. Нынешнее отношение освобождало Свету от зависимости, от сознания связей с ними, которые угнетали раньше. Теперь она, как человек, которого совершенно ни за что приговорили — игра природы и случая — к долгому сроку наказания, облегченно вздохнула, увидев свет свободы. Перенесенные страдания — поняла Света — дают ей особые права: право на расплату.

И если каким-то образом тонкие ниточки связей еще тянулись к родителям, то удерживала их только память, воспоминания детства, когда отец и мать так много значили, когда у нее было то, что называется семьей. Но тем хуже для них, если они сами не хотят ничего сделать для того, чтобы сохранить эту семью. Пусть себе спиваются, если им это нравится, лишь бы присылали некоторое время деньги, пока она окончательно не встанет на ноги. И Света старательно изгоняла прошлое из памяти, его место должны были занять картины будущего, где она — хозяйка своей жизни — устроит все так, как ей представлялось правильным, истинным.

В ее квартире не будет ничего лишнего, все подобрано со вкусом: широкая тахта, кресло, торшер, как у Вики, треугольный столик, которые стали входить в моду, занавески на кольцах и стеллажи вместо этажерки или книжного шкафа.

Забравшись с ногами в кресло и накинув на ноги клетчатый плед, при свете торшера она будет читать в подлиннике Ремарка, слушать музыку. Она купит себе такой же, как у Вики, магнитофон «Яуза» и запишет на пленку все песни Булата Окуджавы, а некоторые, свои любимые, как «Ваше величество, женщина» или «По смоленской дороге», запишет

на особую пленку, отдельно, по нескольку раз, чтобы не надо было перекручивать.

Друзья, что будут приходить к ней, рассядутся в креслах у низенького столика и станут потягивать из соломинки сухое вино или коктейли, которые приготовит сама Света,— она не ханжа и ничего не имеет против хороших напитков и сигарет. Гости будут спорить о последних кинофильмах, о новых книгах, об искусстве, и остроумные, в духе Анчарова, афоризмы — чуть загадочные, чуть парадоксальные — будут вызывать либо ответную ироническую реплику, либо глубокое, многозначительное молчание... И она — уже навсегда — в той новой, красивой жизни забудет, что было в прошлом, что так мучило, терзало и унижало ее.

Это чувство диктовало ей, как правильно жить сейчас. Уже без всяких сомнений и угрызений Света выгребала из карманов родителей не только мелочь, что оставалась у них, но и мятые рубли, трешки. Ни отец, ни мать денег никогда не считали, особенно в первые дни после получки. Только однажды мать спохватилась: «Ты не брал? У меня тут рублями, кажется, около пятерки было?!» Отец пожал плечами. Мать, звеня мелочью, обыскала карманы, а потом принялась ругать кого-то, стоявшего в очереди рядом: «Пока в сумку складывала, он и вытащил!» Света молчала, не без иронии наблюдая за поисками денег, которые она уже заложила в обложку дневника. Заподозрить ее родители никак не могли. И, уверенная в своей правоте, она думала: «Все равно ведь пропьют, а мне нужнее. У них безобразие, а я в дело пущу».

Но каким-то образом родители все-таки почувствовали перемену. Скандал разразился после олимпиады по-немецкому.

Сначала Света несколько волновалась, хотя была уверена в своей победе. Все-таки семь лет занятий, почти ежедневных,— разве в зале найдется еще кто-нибудь, для кого это стало бы так же важно?!

За столом, покрытым красной скатертью, сидела комиссия со строгими, как у судей, лицами, а на подоконнике, недалеко от Светы, ветер, промчавшийся за окном, погнал яркие пятна солнечных зайчиков друг за другом; у нее сразу закружилась голова.

Света перевела взгляд на свое задание и стала читать. И вдруг ей показалось, что она не в состоянии понять ни одного слова, как если бы текст был на китайском. Это было так страшно, что она чуть не застонала от стыда, позора и

обиды, но сдержалась, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Воздух колом застрял в груди, Света открыла глаза и натолкнулась на первое знакомое слово: «Arbeit»[1], а от него уже, словно нашлась ниточка в спутанном клубке, потянулось предложение. И уже сразу вслед за этим стало ясно, что ни одной, ну ни одной трудной фразы в тексте нет. Света взяла ручку. Первые буквы вышли чуть-чуть неровными. Потом они подтянулись. Дрожь стала совсем другой — взволнованно-счастливой. Так все легко! Так все просто!

Еще раз она споткнулась на загадке: «Was ist unersättlich?»[2], но перед глазами ясно и отчетливо встала та страница в книге с загадками, которую Флора Яковлевна заставила ее выучить еще летом. «Der Neid»[3],— уверенно вывела Света, неторопливо перечитала все по складам, проверяя, нет ли где ошибки, и, не оглядываясь, первой пошла к столу. Уже оттуда она насмешливо оглядела оставшихся в зале. Увидела сумрачные, сосредоточенные лица, деловитое поскрипывание перьев, шелест бумаги; кто-то поднял голову и, глядя на Свету, задумчиво сунул ручку в рот. До чего же было приятно чувствовать себя умнее всех, лучше всех! Такого приподнятого чувства Света не испытывала никогда!

Флора Яковлевна выслушала ее ликующий рассказ, и глаза у нее тоже весело вспыхнули, когда Света кивнула на вышивку с надписью: «Arbeit ist Gott»[4]. «Ты бы и так перевела все — успокоилась, пришла в себя,— сказала Флора Яковлевна,— это бывает».

Но когда Света с насмешливым видом стала описывать, как беспомощно барахталась над переводом одна отличница из четырнадцатой школы, Флора Яковлевна удивленно приподняла брови и посмотрела чуть искоса, как птица. Света тут же осеклась и как можно незаметнее перевела разговор на вручение призов. Тут она достала из сумки толстую книгу, где текст был написан крупными, четкими готическими буквами, а гравюры, как в старинных книгах,— на плотных листах.

«Боже мой! — ахнула Флора Яковлевна.— Это же переложение Вольфрама фон Эшенбаха, его «Парцифаля»! Чудесно! Чудесно! Самого Эшенбаха ты еще не скоро сможешь про-

---

[1] Работа *(нем.)*.

[2] Что всего ненасытнее? *(нем.)*

[3] Зависть *(нем.)*.

[4] Труд есть бог *(нем.)*.

честь,— заметив, что Света недовольно нахмурилась, она улыбнулась, провела ладонью сначала по плечу Светы, потом по книге.— У него очень, очень трудный язык, и я не все у него могу понять. А вот эта книга будет чрезвычайно полезна для тебя. Понимаешь, это вообще лучшая глава из истории рыцарства. На мой взгляд. Конечно, любовь Ланселота — тоже поэтично и прекрасно. Но Парцифаль — это поиски Грааля, это идея самоусовершенствования! Когда начинают говорить, что Грааль — языческий символ, рог изобилия, я возмущаюсь. Это не язычество и вообще никакого отношения к религии не имеет. Это вечная идея человека познать истину, познать самого себя!»

Вообще-то Света не поняла, почему Флора Яковлевна смешала в одну кучу поиски истины и познание самого себя. Истина — это то, к чему можно стремиться и достичь путем знания, путем долгих занятий,— так представлялось Свете. Во всяком случае, это то, что вне человека. Но вдаваться в отвлеченные рассуждения сейчас ей не хотелось. Хотелось продлить ощущение торжества, приподнятости, и она только молча кивала в ответ. У ворот они остановились. Флора, зябко кутаясь в свою старенькую, во второй раз — только при Свете — перевязанную кофту, что-то хотела добавить на прощанье (Света уловила слово Herz[1]), но слезы снова заблестели в глазах, она махнула рукой и пошла к себе.

Света вышла за ворота и остановилась, вспоминая, как она шла здесь в первый раз — семь лет назад. Как это было давно и как много изменилось с тех пор, и в первую очередь она сама. Ощущение торжества и победы исчезло, каким-то образом Флоре Яковлевне все-таки удалось перестроить ее. На смену прежнему состоянию пришло теплое, глубокое чувство. И у Светы впервые что-то дрогнуло внутри от неясной жалости к Флоре Яковлевне. Вспомнилось, как она в первый и последний раз говорила о погибшем муже и сыне, как она радовалась за своих детей. А ведь только Вилли у нее после армии поступил в политехнический, да и то на вечерний, чтобы днем работать. Эрика тоже устроилась к старшему брату на текстильный комбинат. Ни один из них не стал продолжать дело Флоры Яковлевны, ни один из них не знал немецкого языка так, как Света. Конечно, это и радует Флору Яковлевну.

И домой она шла все с тем же ощущением тихого счастья,

---

[1] Сердце *(нем.)*.

которым хотелось поделиться, пусть и с родителями. Рассказать им, какими легкими показались тексты и какая трудная попалась загадка, ее и на русском-то не сразу отгадаешь. «Что всего ненасытнее?» Она вспомнила красивую надпись и печать на книге, как с чувством пожал ей руку председатель комиссии и многозначительно пожелал успехов; как с достоинством, почти как Вика, держалась Света, как спокойно протянула руку, вроде тысячу раз ей вручали награды. И вообще, хотелось сказать, как хорошо все на свете устроено, какая впереди у нее светлая и ясная дорога. Она, конечно, поступит, в этом нет никаких сомнений. И параллельно будет учить английский и французский языки. Вика права. Света способная, языки ей даются легко, и она скоро станет известным переводчиком. Много ли таких, как она?

Но, шагнув во двор, Света увидела в окне комнаты мать и отца, сидящих за столом, сизый дым от «Беломора», услышала их неестественно громкие голоса, в лицо пахнуло противно, как от клетки со зверями, нечеловеческим запахом, словно, направляясь в одну сторону, она всякий раз, как в заколдованном лесу, попадала в то место, откуда хотела уйти.

Привалившись к косяку, Света заплакала тяжелыми, как ртуть, злобными слезами, полными тоски и бессилия. Чтобы успокоиться, она разорвала носовой платок зубами, несколько раз ударилась головой о косяк.

«Кто там? — громко и весело, с готовностью принять кого угодно, крикнула мать.— А-а-а! Это ты, Тулечка, золотце наше...»

«Нет, это не я!» — ответила Света и прошла к себе, плотно закрыв дверь.

Она успела только снять плащ и повесить его, как вошел отец и с пьяной важностью спросил: «Ты что же это? С родителями по-человечески поговорить не желаешь? Ты что же, нас за людей не считаешь? Мы тебе все: и кормим, и поим, обуваем-одеваем, а ты...»

У Светы в груди, как дрова, облитые бензином, полыхнула ярость.

«Да что ты пристал? — нарочито беспечным тоном вступилась мать, утягивая его за руку в другую комнату.— Устала она, не видишь, что ли? Все по библиотекам занимается, старается, не то что мы с тобой, недоучки! Она у нас умница!»

Обычно отцу такие разговоры доставляли удовольствие, он начинал вспоминать, с каким трудом ему давалось учение, а то бы он большим человеком стал, голова-то у него хорошо варит, потом вытаскивал из карманов мятые трешки и говорил: «Вот, купи себе книжки». Но тут он не поддался.

«Ну и что? — качнувшись, как будто его не держала земля, продолжил: — Я, может, ради нее семью сохраняю, давно бы ушел, а она? Ты глянь, как на меня смотрит? Дочь это или кто?»

Света почувствовала, что «заходится», что ее несет такое страшное течение, где уже нельзя сопротивляться, иначе не выдержать.

«Семью сохраняешь?! — начала она совершенно несвойственным ей низким голосом.— Это ты семьей называешь?! Обуваешь-одеваешь?! Не надо мне от вас ничего! Я вас не просила, чтобы вы меня рожали, а если уж, помимо моей воли, на свет произвели, так хоть дайте мне спокойно доучиться! — Тут голос у нее сорвался, и она неожиданно перешла на другой, визгливый: — Вы меня издергали своими драками!.. Я... спать спокойно не могу... Мне кошмары снятся... Мать полуголая по улицам носится, ты за ней с топором... Стыдно!»

Она слушала себя так, будто это кто-то другой выкрикивал бессвязные обвинения, хотя ей хотелось говорить иначе и совсем другое. Но то, что можно кричать, можно говорить, что придет на ум, делать что захочешь — все сейчас сойдет,— доставляло странное, неизъяснимое удовольствие. Это чувство нарастало, и Света, потому что слов уже было недостаточно, схватила со стола синюю вазу, изо всех сил ударила ею об пол. «Ненавижу вас! Ненавижу!..» — на самой высокой ноте закончила она и... зарыдала, кинувшись на постель.

«Туленька! Золотце мое!» — Мать присела рядом, гладила ее по плечу, неуклюже пыталась поцеловать. Отец, протрезвев, растерянно топтался рядом, что-то бормотал невнятно, словно просил прощения.

Света махнула рукой, и отец с матерью, тихо притворив дверь, ушли к себе. Обычно, когда ссора только возникала, разрасталась, а затем затухала, изредка прорываясь сквозь пьяный сон родителей глухим мычанием, невнятными выкриками, и громкий храп еще не всегда был точным знаком, отметкой, что драки не будет, Света, напряженно ожидавшая развязки, с глухо бьющимся сердцем, со звоном в ушах, долго не

могла заснуть и, глядя в темное окно, начинала плакать — тихо, беззвучно, чтобы случайным звуком не пробудить отца, сжав зубы, выдавливая по капле духоту и тяжесть из груди. Но от этих слез не становилось легче, а по утрам веки надувались, будто комары искусали, и в школе все спрашивали, что с ней случилось. Поэтому Света старалась не плакать по ночам, отвлекала себя, представляла, как уедет и будет жить одна.

В этот вечер Света рыдала громко, с каким-то подвыванием, самозабвенно и в то же время со злорадством прислушиваясь к тому, как робко перешептываются в своей комнате испуганные отец и мать. После этого они, конечно, через неделю снова пили по-прежнему. Но отец больше не врывался к ней в комнату, не требовал, чтобы она искала в ночи мать. Уезжая, он безропотно отдавал всю зарплату Свете, припрятывая только то, что ему удалось перехватить налево.

«Давно надо бы закатить истерику!» — со смешком думала Света.

Зная, что истинная, настоящая жизнь ждет ее впереди, она смотрела на всех остальных, как человек, едущий в машине, смотрит на прохожих. Света была убеждена, что достигнет цели скорее и вернее, чем другие, оттого хотя бы, что у нее эта цель есть. Вот, например, Эрика... С презрением вглядываясь в лицо вялой, медлительной девушки, Света думала: «Разве сможет она чего-нибудь добиться в жизни? Вот будь я на ее месте, будь я дочерью Флоры...»

Примерка чужой судьбы, как правило, заканчивалась безжалостным приговором: мало кто заслуживал хорошей жизни так, как Света, потому что мало кто ценил ее по-настоящему.

Постепенно, незаметно менялось отношение ко всем и даже к Флоре Яковлевне. Теперь, когда Вика, вскинув голову, с холодной усмешкой говорила, что ее Флора, должно быть, не очень хорошая преподавательница, если осталась в школе, иначе давно бы ушла в институт, Света возражала только из упрямства: «Школа ведь тоже важна». Но в душе соглашалась: «Если бы могла, давно защитила бы кандидатскую. И денег больше, и положение. Война тут, конечно, только предлог. Подумаешь, какие-то пять лет потеряла, а потом?»

По-своему оценила Вика и занятия немецким. Получалось, что для Флоры они значили больше, чем для Светы. Ведь заня-

тия давали Флоре Яковлевне ощущение не зря прожитой жизни. «Так что это она должна быть благодарна тебе, а не ты ей. Кто сейчас учит немецкий? Кому он нужен? — строго спрашивала Вика.— Сейчас существует только один язык — английский. Конечно, хорошо, что ты придешь в институт, уже зная язык, но тебе все равно придется учить английский, без него никуда. Получается, что она учила тебя для собственного удовольствия».

Пересказывая свои разговоры и беседы с Флорой Яковлевной, которую Вика не знала, Света незаметно для себя начала иронически фыркать, передразнивая взгляд искоса, резкий голос и чуть неуклюжую походку, то, как Флора совершенно серьезно уверяет всех, что ее кактусы чувствуют, когда она начинает болеть, и испытывают недомогание вместе с ней.

«Умора!» — говорила Вика, пожимая плечами.

У Флоры вечно нелепые, перешитые из старых платья. А она считает, будто этого никто не замечает: «Такую удачную выкройку нашла...» Все это связано с тем, что она однажды внушала Свете насчет нужды (даже зачитывала для убедительности цитату из Вагнера), которая является выражением истинных потребностей. Света ничего не поняла из прочитанного, хотя Флора тогда ей переводила все сама.

Теперь Света, возвращаясь к прежним разговорам, понимала некоторые случаи иначе, чем раньше. Вот взять, к примеру, то время, когда Флора Яковлевна приучала Свету разговаривать, не смущаясь, по-немецки на улице, в магазинах, в троллейбусах. Внимание, которое они привлекали, нравилось Свете. Она надеялась, что их принимают за двух иностранок. Но часто, всегда в самый неподходящий момент, Флора Яковлевна брякала что-то по-русски. Выбирает себе материю на юбку, обсуждает со Светой, как удобно, что ткань не мнется, мягкая на ощупь, а потом: «Нет! Это все-таки очень дорого!» И все сразу оборачиваются, смотрят. «Зачем сообщать об этом так громко? — сердилась Света.— Сказала бы, цвет не подходит или не нравится, так нет... дорого! Надо при всех расписаться в том, что ты неудачник, раз не сумел хорошей зарплаты добиться. Да,— думает Света с сожалением и с сочувствием,— не сумела и Флора планку на нужную высоту поставить. Как же ей понять мои устремления?!»

Вот поэтому, когда однажды перед занятиями Света

отдала деньги, которые она приготовила для сберегательной книжки, и Флора вдруг удивилась и спросила: «Откуда у тебя столько денег набирается?» — Света ответила, почти не запнувшись: «А мне родители стали больше давать». И эта ложь не вызывала смущения или стыда. Объяснить, что она... нет, не ворует, ведь этими словами не назовешь... Она просто подбирала те деньги, которые, можно сказать, летели по ветру. Света никогда не позволит себе и копейку чужую взять, где это действительно было бы воровством, а здесь... ее всякий бы одобрил. Света каким-то образом чувствовала, что Флора не поймет. Но ей хорошо про достоинства нужды говорить. Она живет дома, дети уже все взрослые, все зарабатывают. А Свете ехать в чужой город — и надо обязательно покупать теплые вещи, которых у нее нет. Да и мало ли что в чужом городе может понадобиться?!

И пока Флора, восторженно отодвинув в который раз читанного и перечитанного «Фауста», восторгалась тем, как Гете удалось создать миф, «что под силу только целому народу», Света мысленно возвращалась к вопросу, заданному ей, утверждаясь в правильности ответа.

«Ты подумай только! — говорила Флора.— Все, чему на земле дарована форма и жизнь, по его представлениям, берет начало в созидательном и охранительном принципе, которому придано обличье ж е н щ и н ы. А как он описал это пустое пространство, где живут богини! Там нет времени, ибо нет для них светила, что своим восходом или заходом отмечало бы смену дня и ночи. И все, что не дышит более, возвращается к ним в качестве нематериальной природы, они хранят ее, покуда ей не приспеет время вступить в новое бытие. Ты все поняла?» — спросила она после небольшой паузы.

Разумеется, Света кивнула, потому что и в самом деле могла бы слово в слово пересказать, о чем говорила Флора, а про себя подумала, что миф — это всего лишь сказочка. И чего тут кудахтать? Флора никак не может привыкнуть к мысли, что Света уже не глупенькая девочка, а взрослый человек. Тут она поймала себя на том, что думает об этом по-немецки, и радостно улыбнулась.

— Поняла, наконец-то?! — настойчиво переспросила Флора Яковлевна.— А то мне показалось, что ты не уловила, о чем идет речь...

Света кивнула еще раз, чтобы Флора не приставала, и на обратном пути улыбалась: все чаще и чаще ловит она себя,

особенно когда разговаривает с Флорой или когда читает, что думает по-немецки... А вопрос о женском начале, об охранительном принципе... Что может сказать об этом Света? Что сохранила для нее мать? Что передала ей? Вспомнить не о чем. Конечно, мать, наверно, хороший, добрый до безалаберности человек. К ней приходят занимать деньги, и она дает сразу, если есть, не то что другие. Когда отцу привозили угля больше, чем надо, она сама стала предлагать соседям: «Берите, берите, нам это много». А когда тетя Фрося укорила ее, отмахнулась: «Не экономная?! Буду я еще с ведрами стоять, продавать. Те времена, слава богу, прошли, когда мы покупали да торговали». Она, как правило, и забывала, кому давала деньги, потом ворчала, что не несут.

Вот если вспомнить, как в прошлом году собиралась Света на день рождения к Вике. Собиралась очень тщательно, все продумала и духами капала на платочек осторожно, чтобы едва уловимый запах был, не то что раньше, и попросила у матери деньги на подарок.

«Да подари ей шкатулку,— предложила мать и тут же вытряхнула ремешок от часов, скомканную резинку, поломанную булавку и толстую, золоченую, как майский жук, пуговицу от старого пальто.— Возьми. Это еще бабушкина. Видишь, какая красивая. Только пыль вытри».

Света взорвалась: «Да что ты все из дома да из дома! Другие родители детям стараются оставить побольше, а ты знай растаскиваешь! Что тебе, пятерки жалко? Знаешь, ей какие подарки принесут? Над этой шкатулкой все со смеху умрут. Кому бабушкино старье теперь нужно?»

Подарок она давно купила в отделе сувениров за три рубля, но надеялась, что мать даст больше. И мать, смущенно затолкав назад никому не нужные пуговицу, резинку, ремешок, дала Свете две трешки: «Хватит?»

«Попробую найти что-нибудь подходящее,— сурово ответила Света.— Еще на цветы дай рубль»,— чувствуя, что нахальничает, попросила она уже у калитки.

Но мать, довольная, что может угодить, добавила еще рубль. Хорошо, что отец еще не вернулся с работы, он бы принялся ворчать, что можно и без цветов обойтись: «Ишь, барышни!» Мать уже давно побаивается Светы, заискивает перед ней, и Свете приятно осознавать свою власть.

Цветы она и в самом деле не стала покупать, знала, что Виктор Георгиевич накануне ездил в Горзеленстрой и привез

тигровые лилии. Света таких красивых цветов никогда не видела, только на открытках.

Она помогала Вике отрезать концы и ставила цветы в вазы с таким видом, будто ее этим не удивишь, а в груди снова покалывало от боли, когда Света думала, как ей и в этом не повезло. Разве можно сравнить ссоры здесь с тем, что творится у нее дома? Да только за одни тигровые лилии на свой день рождения, при виде которых все девчонки из класса ахнут, она бы поменяла свою судьбу на судьбу Вики, не говоря уж об остальном. Света, вздохнув, обвела взглядом нарядный стол, уставленный тарелками из сервиза, тяжелыми, с витыми ручками вилками и ножами, вышитыми салфетками и огромным тортом с башенкой, на котором написано: «Любимой дочурке».

Вика фыркнула при виде надписи, после того как отец вышел, и сказала: «Вот уж не ожидала от него, думала, он придумает поостроумнее».

Странное возбуждение, чувство неясной тревоги, боли и радости, какого-то кипения внутри, как в бокале с шампанским,— все то, с чем Света сегодня вернулась домой после консультации, поднялось в ней с новой силой при виде Ильи. Света одернула себя: «Ну, подумаешь, ничего не произошло ведь! Чего это ты?!»

Но она знала, что произошло много. Произошло то, чего ей так не хватало в последнее время. То, что ей казалось невозможным здесь, в этом городе, что она откладывала для себя «на потом» и сдержанно выслушивала намеки одних девочек и нескромные признания других.

После консультации она шла вместе с Викой. Говорили о сочинении, о том, какая может быть тема, и Вика объясняла, как она будет, если возникнет сомнение, писать предложение на черновике, а Света у себя, в своем, ставить нужный знак. Света рассеянно кивала с чувством некоторого превосходства. Она не выказывала его, зная, как это всегда злит, но наслаждалась им. Наверно, Вика все-таки почувствовала что-то. Помолчав, она совершенно неожиданно предложила зайти вместе с ней в стекольную мастерскую химического факультета — невысокое здание виднелось в глубине двора. Ворота были широко распахнуты. Вика замедлила возле них шаги.

«Я пообещала Славке после консультации забежать... Они там, кстати, все студенты уже...»

Света знала про Славку, знала, что он студент химфака, что он «вечерник». Но что он, оказывается, работает, пусть и вместе с другими такими же, как и он, студентами,— это она узнала впервые. А если «вечерник», если не сумел поступить на дневной, значит, слабак, до планки уже не дотянул...

И Света вошла в мастерскую вслед за Викой со смешанным чувством превосходства и робости.

В мастерской после улицы было темно, как в кинотеатре, когда фильм уже начался. На какое-то время останавливаешься, словно ослепнув, боясь сделать хоть один шаг вперед. Вика — она тут все знала — сразу растворилась во тьме, оставив беспомощную и раздраженную этим глупым положением Свету одну.

«Знакомьтесь, это моя подруга Света!» — наконец раздался слева веселый, довольный, что отомстила, голос Вики.

Света повернулась в ту сторону и разглядела две фигуры. Тот, что стоял рядом с Викой, конечно, Слава. Он кивнул и тут же, естественно, отвернулся. Свету его невнимание еще больше задело.

«Вахид!» — сказал кто-то за ее спиной.

Она обернулась. Это был полный, с круглым, почти мальчишеским лицом парень. «Тоже мне студент!» — с пренебрежением подумала Света, кивая в ответ.

Теперь она разглядела и мастерскую, где на полу валялись скомканные газеты, какие-то пыльные тряпки, на длинном столе, похожем на верстак, стояла всякая химическая посуда. И беспорядок, и полумрак, и внезапное чувство одиночества и заброшенности вызывали у Светы неприятное чувство досады. «И зачем пошла? Сейчас постою еще минутку и скажу, что мне пора»,— подумала она.

Но тут подошел еще кто-то из самого дальнего конца мастерской и сказал: «Марат» — таким голосом, будто произнес пароль.

Света повернулась к нему, не называя своего имени — это было бы глупо,— и сдержанно кивнула. Тот, который назвался Маратом, держал в руках длинную трубку. «Почему Марат? — подумала Света.— Какое странное имя...» А он, будто угадал ее мысли, пожал плечами и развел руки в стороны: дескать, это не моя вина. И улыбнулся так весело, добродушно и заразительно, что Света тоже вдруг улыбнулась, радуясь неизвестно чему. Она сразу же отвела глаза в сторону, вроде бы разглядывая мастерскую, но странное, непонятное кипение внутри,

как в бокале, куда только что налили шампанское, уже началось.

Так же весело и чуть лукаво Марат спросил, обращаясь к ней на «ты»: «Хочешь, покажу, как колбы выдувают?»

С одной стороны, Свете было приятно, что он так по-дружески к ней обратился, но с другой — хотелось поставить его на место, поэтому она решила сохранить «вы».

«Покажите...» Но закончить фразу Света не смогла. Ей хотелось, чтобы тон прозвучал вежливо и сдержанно, а получилось как-то напыщенно и глупо. Света слегка покраснела от смущения. К счастью, Марат уже не смотрел на нее. А когда колба будто сама собой образовалась на конце длинной трубки, она уже пришла в себя.

«Еще?» — спросил Марат, внимательно глядя ей в глаза.

«А... цветы?..» Света и на этот раз не закончила фразу. Продолжать на «вы» было явно глупо и неуместно, но вот так сразу сказать «ты» она тоже не могла.

«Сейчас попробую»,— сказал Марат и весело оглядел Свету с головы до ног. Но не тем наглым, оценивающим взглядом, а вроде прикидывал, какой цветок ей больше будет к лицу.

У Светы пересохло в горле.

«Хм...— Марат повертел длинную трубку.— Счас...»

«Ты уж сразу букет делай!» — посоветовал Вахид — у него был мягкий памирский акцент.

«Как у украинца»,— подумала Света.

«Прямо с вазой. Чего уж там мелочиться!» — добавил Слава.

И по их тону чувствовалось, что они дружны, довольны своей работой. И только сейчас Света уловила особую атмосферу понимания, доброты и участия, что была в мастерской, и ей тоже сразу стало хорошо и легко.

Ничего, конечно, смешного не было. Но Марат, когда у него вместо цветка опять получилась колба, состроил такую разочарованную мину, что никто не мог удержаться от смеха. А он вертел трубку и так и эдак, словно пытался понять, когда цветок обернулся подлой колбой.

А после того как Света, изнемогая от смеха, села на табурет, на котором, как оказалось, лежал недоеденный, завернутый в бумажку пирожок Марата, это еще больше всех развеселило. Правда, у Светы мелькнула мысль, что теперь на юбке останется жирное пятно. А эту юбку с белой кофтой она надевала в школу и, конечно же, должна была надеть на экзамен,

но ей не хотелось об этом думать, и она смеялась вместе со всеми.

Но Марат (какой молодец) догадался сам.

«Что? — деловито спросил он.— Пятно осталось?»

«Да ничего! — смутилась Света.— Отстираю».

«Это не отстирывать надо, а выводить»,— сказал он теперь уже чуть покровительственным тоном, и Света сразу почувствовала себя под его защитой.

Марат открыл шкаф в углу, достал с полки бутылку, заткнутую пробкой из газеты, посмотрел на свет, потом пошарил взглядом по мастерской.

«Дай мне, пожалуйста»,— обратился он к Славе, указывая, должно быть, на бутылек, что стоял за спиной Вики.

Слава рассеянно покрутил головой и пожал плечами: ему он не был виден, да и не хотелось отвлекаться на такую ерунду. «Отдай сколько есть, не жадничай! Чего там!» — сказал он.

Марат в некотором раздумье посмотрел на бутылку, потом на Свету и широким жестом, будто отдавал сердце, протянул ей: «Держи... это метиловый спирт. Знаешь, как обращаться?»

«Господи! У нее пятерка по химии, что ты спрашиваешь?! — вмешалась Вика.— Она тебе самому может объяснить, с чем и как надо обращаться».

«Ну, Вика дает!» — ликовала Света.

«В самом деле? — Марат развел руками.— Тогда очень прошу назначить дни консультаций, а то мы все тут пропадаем».

И хотя было видно, что он шутит, Свете было приятно.

Не заметив как, она рассказала про химичку, про кружок, в котором занимался чуть не весь класс. «Жаль, что она уехала,— закончила Света,— у нас бы полкласса на химфак пошло...»

«А ты что же?» — уже серьезно спросил Марат.

И она опять обрадовалась, как верно он находит нужный тон, не лезет с шутками, когда не надо.

«Она переводчицей будет, с немецкого. Он ей как родной. У нее няня была немка, с самого детства ее учила».

«Ну что ты! — Света вдруг почувствовала досаду. Ей не хотелось почему-то, чтобы к этому вранью (она и думать о нем забыла) имел отношение Марат, она бы ему сама все рассказала, как надо.— При чем тут няня? Я в основном в школе вы-

учила. У меня учительница хорошая. Мы с ней до сих пор занимаемся».

«Повезло тебе,— сказал Марат,— а я вот как раз на немецком засыпался, пришлось на вечерний идти».

«Да-а-а... Повезло»,— протянула Света.

Марат внимательно взглянул ей в глаза. Света торопливо опустила их, чтобы он не успел ничего узнать, ни о чем догадаться. А сердце запрыгало звонко, громко, как стучат весной мячики на асфальте, и, казалось, его стук слышен в любом конце мастерской и эхом отзывается на улице...

Ветви ивы с недавно проклюнувшейся зеленью почек — как нежнейшие водоросли — тянулись вслед за ними.

«Вы как русалки в подводном царстве,— сказал Марат, раздвигая низко висящие ветви.— Только не заманивайте нас со Славой далеко от мастерской, а то начальник должен прийти».

Они остановились. «Так я не понял, когда вы нам назначили день консультаций»,— так же серьезно-весело, но все-таки просительным тоном сказал Марат, глядя на Свету. Она вспыхнула, потупилась, не зная, как лучше ответить, ей так хотелось сказать: «Завтра...»

«После экзамена»,— ответила предусмотрительная Вика, махнула им на прощанье и увлекла за собой Свету.

На обратном пути Вика тараторила без остановки. И только у перекрестка, где они расходились, неожиданно бросила: «А ты ему понравилась. Я так и знала, что он на тебя клюнет».

«С чего ты взяла? Просто хочет, чтобы я позанималась с ним немецким!» — деланно удивилась Света, не спрашивая, о ком идет речь. Но сердце снова запрыгало упругим звонким мячиком.

«Ой, не могу! — засмеялась Вика.— Немецким... Ха-ха-ха! Посмотрю я, как ты будешь заниматься немецким!»

В ее смехе было что-то неприятное, хотя Света почувствовала, что и в самом деле сморозила глупость. Незачем дурочку строить...

«Ладно... Договорились, значит,— уже деловито закончила Вика.— Я буду тебе показывать ручкой у себя, а ты...»

«Перестань, сколько можно об этом говорить! — неожиданно для самой себя рассердилась Света. Ей так хотелось

поговорить еще о мастерской, о Марате, ну хотя бы о Вахиде. Но Вика повернулась и скрылась в подъезде.

— Светик! — снова раздался робкий, осторожный голос матери.— Вызови «скорую».

Представив себе пьяное, хитрое лицо матери, Света снова стукнула изо всех сил по столу и крикнула:

— Напилась — и лежи себе! Дай мне позаниматься!

Мать пристыженно замолчала. Поняла, что ее хитрость, как всегда шитая белыми нитками, не удалась. Это раньше, когда Света поменьше была, ее легко можно было обвести вокруг пальца. Как-то Света делала черчение. Мать подошла, долго внимательно следила за ее движениями, потом участливо спросила, не трудно ли. Света пожала плечами, но ей было приятно, что усердие и старание замечены. Потом мать предложила сходить в магазин — она знала, что отец дал десятку перед отъездом. Свете не хотелось отрываться, а уже темнело, потом магазин закроется, и она, размягчившись, отдала матери деньги, мелких не было. Сомневалась, но отдала: уж таким заботливым голосом говорила мать... Тот еще был ужин! Одна она или с кем там пила, Света выяснять не стала.

В другой раз Света забылась и положила деньги к себе в стаканчик с карандашами, собиралась потом спрятать,— мать два дня домой не приходила...

И сейчас Света почувствовала гордость, что она уже так глупо не попадалась. Зачем мать все это разыгрывает, догадаться нетрудно: надеется выманить на выпивку. Изображает страдание и муку, а потом скажет: «Душа горит, понимаешь, дай хоть на сто грамм!» «Вот, глупая, забыла, сколько мне лет?! Но откуда это в них? Отчего? — с ожесточением подумала Света.— Раньше пили от бедности, от беспросветности жизни, от того, что некуда было приложить силы и талант, как они учили по Горькому. А сейчас?! От бедности? Нет! Если все деньги, которые они тратят на водку, сложить — машину купить можно было бы. У них все наоборот. Мало того что на водку столько тратят, еще и вещи крушат. Приемником отец так хватил об пол, что из него сразу вывалилось нутро — как из зарезанной свиньи. У шифоньера одним махом вырвал дверцу... От зеркал трельяжа осталось одно, остальные он разбил молотком. Осколки брызнули во все стороны, ему бровь рас-

секло, после чего он сразу успокоился, позволил себя перевязать и уложить».

Через несколько дней он принимался чинить, что испортил, ведь отец был деревенский человек и не мог не уважать вещи, труд, вложенный в них. Тем более что сам умел работать хорошо, со вкусом. Однажды он взялся делать этажерку Свете, не на работе, а дома. У него как раз был отпуск. По тому, как он расчертил фанеру, как выпиливал тонкие планочки, как ласково строгал на небольшом домашнем верстаке доски для тумбочки, было видно, что работа доставляет ему необыкновенное удовольствие. Он неторопливо курил, ожидая, когда разойдется столярный, терпко пахнущий клей, часто отходил в сторону, чтобы окинуть взглядом сделанное. И это ощущение — удовольствия от работы — передавалось Свете.

Но постепенно для них теряли ценность вещи, свой собственный и труд других, человеческие отношения и, наконец, сама жизнь. Однажды после скандала отец вдруг хлопнул дверью и нетвердыми шагами пошел в сарай, заперся там и принялся возиться, выкрикивая песню: «По Дону гуляет, по Дону гуляет...» Мать некоторое время сидела на табурете в комнате, прислушиваясь, чем грозит ей возня в сарае, потом как-то сразу протрезвела и кинулась выбивать дверь. Крючок она, к счастью сорвала легко, он болтался на одном гвозде.

Когда вошла Света, мать уже перерубила веревку. Отец сидел на полу. Разорванная рубаха свисала на нем с двух сторон. Тело было какого-то необычного, голубоватого оттенка. Все молчали.

В дом вернулись такие же притихшие и виноватые, будто почувствовали, что уже перешагнули какую-то невидимую черту, за которой начинается непостижимое, недоступное для живого человека. Света обрадовалась: может, теперь бросят?

Но прошло немного времени, и все стало еще хуже.

Гром гремел, словно кто-то штурмом брал неприступный замок; дождь лил с такой силой, что бурные потоки преградили путь сэру Парцифалю, и он вынужден был повернуть назад. Но именно в эту минуту увидел он огонек, горевший в пещере, мимо которой он проехал, не заметив бы ее, если бы не невольная преграда. Понял сэр Парцифаль, что здесь и находится тот самый отшельник, про которого ему говорили.

Старец принял сэра Парцифаля приветливо и разделил с ним и тепло своего очага, у которого рыцарь мог обсушиться, и тот скудный ужин, каким поддерживал он нетребовательную плоть свою.

Когда старец после некоторого молчания заговорил, Парцифаль невольно поднял потупленные глаза — так нсожиданно силен оказался его голос, так страстно зазвучали его слова. И сказал ему старец:

«Отвечу я на все вопросы, что терзают тебя, молодой рыцарь, с превеликой охотой. Но знаю наперед, что хотя и просты мои слова, не скоро они будут тобой поняты. Я как сеятель, что выходит в поле ранней весной... Но кто торопится и жаждет видеть немедля результаты — плоды деяний своих, напрасно ропщет на небо. Не может семя прорасти раньше положенного ему времени. Всему свой черед. Но то поле, которое уже вспахано, и подготовлено, и удобрено, даст хороший урожай, если брошены будут добрые семена, потому и обращаю к тебе, рыцарь, речь свою.

Так знай же, что из всех тех, кто взыскует Грааля, кто отправился на поиски его в великий праздник Пятидесятницы, всем им — слабым верой и нетвердым духом — недостает милосердия, воздержания и праведности. Таким Грааль не открывается никогда. И от их трудов в этом подвиге не будет никакого проку. Целая сотня таких ничего не достигнет, кроме позора.

Будут и такие, кто в своих поисках ложную истину сочтет возвышенной. Такие, думая о подвигах и славе, причинят другим великие страдания и беды. Их путь к искуплению лежит через мучительное познание жизни. И только тот, кто познает ее во всех проявлениях — в добре и зле — и обретет утраченную веру, милосердие и сострадание, станет обладателем Грааля. Путь к святому камню лежит через самого себя».

Сказав эти слова, старец замолчал и больше не прибавил ничего. А сэр Парцифаль больше не посмел нарушить его покой.

Утром он двинулся в путь, ничуть не утешенный словами отшельника. Напротив, они повергли его в еще большее сомнение.

Что означает «познать жизнь во всех ее проявлениях»? Что означают слова «путь к Граалю лежит через самого себя»?

С досадой сжимал он рукоять меча, украшенного яхонтами и аметистами, янтарем и драгоценным синим камнем.

Резкий порыв ветра захлопнул окна и двери. Света вздрогнула, огляделась. Уже смеркалось. На западе клубились черные тучи, будто кто-то готовил колдовское зелье.

Надо было бы пойти, зажечь на веранде свет, но Света никак не могла заставить себя сделать это. Не хотелось ни читать, ни готовиться к экзамену, сидеть бы вот так и даже ни о чем не думать. И от этого волнение, теснившее грудь, все более переполняло ее, казалось, что вот сейчас еще секунда, еще мгновение — и ей все станет ясно, мир откроется во всей полноте.

— Кто я? Откуда? Куда я иду? — сказала Света.

Звук голоса прозвучал неестественно, совсем не так, как хотелось, и фраза от этого выглядела напыщенной. Исчезло и ощущение значительности минуты и значительности того, что происходит вокруг... Света сделала усилие, чтобы вернуть прежнее возвышенное состояние...

Дверь скрипнула, и на пороге веранды появилась мать. Она сделала несколько неуверенных, пьяных шагов, потом вытянула перед собой руки и такими же неуверенными движениями, как слепая, принялась шарить по стене, будто разыскивая выход.

— Иди ложись! — сердито крикнула Света.— Еще не хватало, чтобы ты по улицам шлялась сейчас.

Но мать как будто и не слышала ее. Все так же беспомощно, но упрямо она все шарила по стене и никак не могла найти выход. Видимо отчаявшись, она села прямо на пол и тонко, жалобно вскрикнула:

— Фрося! Фрося!

Света удивилась. Чтобы мать звала Фросю на помощь? Значит, действительно ей плохо, если уж она на это решилась.

Положив книгу на стол, Света нерешительно подошла к веранде и осторожно, по-прежнему ожидая подвоха, спросила:

— Ну что тебе неймется?

Мать повернула к ней испуганное, бледное лицо:

— «Скорую», Света, позови!

— Сейчас! — тоже вдруг испугалась Света, но тут же взяла себя в руки и более строго закончила: — А ты все-таки иди ложись. Нечего тебе ходить.— И повела мать в комнату.

Мать шла без особой охоты, но покорно, задевая за дверь, стулья, спотыкаясь и вытянув перед собой руки. Уложив ее, Света побежала к магазину, где на углу стояли две телефонные будки. В одной из них было выбито стекло, и, хотя она была

свободна, Света решила подождать, пока освободится вторая. Мимо автоматов в хлебный ходили люди, и Свете не хотелось, чтобы кто-нибудь посторонний, пусть даже и незнакомый, услышал, как она вызывает машину к матери, у которой явно началась белая горячка.

Автомат освободился не скоро. Видимо, парень говорил с девушкой, потому что подолгу углубленно и сосредоточенно молчал, покачивая головой, тихо-тихо проговаривал что-то — видно было только, как шевелятся губы. Света нарочно встала так, чтобы ее было видно из будки. Но парень скользил по ней остановившимся взглядом, то подтягивая замок куртки до отказа, то вновь расстегивая его. Наконец он вышел.

Женщина, принявшая вызов, несколько раз раздраженно переспросила: «Что? Белая горячка?» — фыркнула, еще более раздраженно бросила: «Ждите!» — и в трубке загудело. Света внимательно посмотрела на цифру «15» — еще совсем недавно, до обмена денег, за телефон надо было платить пятнадцать копеек, и цифры пока остались. Она обвела их кончиком пальцев, чтобы успокоиться. Потом, все еще чувствуя неприятный комок в горле от обиды и оскорбления, вышла из будки и встала на углу, чтобы было видно, откуда поедет «скорая».

В хлебном продавец, выпустив последнего покупателя, закрыл дверь. И чувство одиночества еще более обострилось. Когда-то, возвращаясь домой, Света представляла себе: вот сейчас — как в той книге — кто-то очень добрый, веселый и сильный возьмет за руку и уведет туда, где будет свет, тепло и любовь. Но никто не брал за руку и не уводил в прекрасный, сияющий мир. Тогда она сама попыталась что-то сделать, изменить жизнь. Одно время ей казалось, что отец и мать — каждый сам по себе — может бросить пить, что они заражают друг друга. Когда отец делал этажерку по ее заказу, она время от времени помогала ему. Он был в отпуске и не торопился, работал с особенным вкусом. Делал перекуры, во время которых сосредоточенно смотрел на планки, помешивал терпко пахнущий клей. Света сначала пыталась представить, как сложилась бы его жизнь, уговори он мать уехать в деревню. А потом стала думать о том, как хорошо им сейчас вдвоем. Может быть, если заживут вместе, так и пойдет?! И, подавая гвозди, она принялась уговаривать отца уйти, снять квартиру, где они начнут жить вместе, без пьянки, сканда-

лов и драк, Света научится хорошо готовить, сама будет ему все стирать... Отец слушал ее молча, не перебивал и даже вроде соглашался... А вечером после второго стакана принялся ругать мать, что это она подговаривает дочь выжить его из дома. Весь разговор, словно вывернутый наизнанку, предстал в совсем ином виде. И мать укоризненно качала головой: «Что ж ты, как змея подколодная...» А Света, чувствуя свою вину, огрызалась: «Бросай пить, сколько я говорила!»

Прошло довольно много времени. Света пожалела, что не прихватила кофту,— все-таки по вечерам прохладно, а тут еще гроза вроде собирается. Ветер налетал порывами, и дерево размахивало ветвями, словно отгоняло кого-то. Под световым колпаком фонаря бились, метались мошки, бабочки, мелкие жучки, как если бы и в самом деле существовало невидимое стекло и они не могли вырваться на волю.

«Вот глупые!» — подумала Света. Но судорожные движения мошкары завораживали, и, глядя на колпак света, падающий от фонаря вниз, она снова почувствовала знакомое волнение, когда кажется, что вот сейчас поймешь что-то важное, нужное, и стала торопить себя: «А ведь и люди так же... Мечутся, суетятся, а что их влечет, что удерживает — не отдают себе отчета. Свет фонаря они тогда принимают за свет истины...» Волнение перешло в гордое сознание своей значимости, отделенности от других, особенности, потому что, осознавая это, она вроде бы выпадала из плена попавших в такой вот обманчивый колпак, и на какой-то миг Света даже забыла, зачем пришла сюда, почему стоит у перекрестка и смотрит на фонарь.

Оклик шофера заставил ее вздрогнуть.

— У кого это здесь белая горячка? — весело спросил он, неожиданно выруливая прямо к Свете.

Она ничего не ответила, но подошла к машине.

Дверца открылась, и она села.

— Куда ехать-то? Что же ты молчишь? — все так же весело спросил шофер.

«Почему это «ты»? — подумала про себя Света, сердясь на шофера за неуважение и грубость.— Надо бы ему сказать, а то думает: если к пьянице вызвали, так уже и не люди!» И еще больше сердилась на себя за то, что растерялась и сразу

не оборвала его, теперь поздно. Вот Вика не заставила бы себя долго ждать... Так бы отбрила, что он бы язык прикусил.

— Прямо, потом направо... Я скажу, где остановиться.

Впереди сидела женщина-врач. Поверх белого халата она накинула теплый — какого-то мышиного, арестантского цвета. Ее очки в тонкой золотой оправе вызывали у Светы недоверие. Она вспомнила, как ходила в поликлинику к невропатологу, и у того врача были вот такие же белые, выкрашенные перекисью волосы, светлые глаза и очки в тонкой золотой оправе. Свете тогда кто-то сказал, что у невропатолога можно взять направление на принудительное лечение, и она решила, что, если отправить лечиться мать, отец испугается и бросит сам.

Когда Света записывалась на прием и брала карточку, ей казалось, что медсестра в регистратуре уже догадывается, зачем она идет к врачу. «Ведь про меня не скажешь, что я псих»,— думала она.

Увидев очередь в кабинет № 17, Света удивилась. Там не было ни одного, кто был бы похож на психа. Скрюченная старушка, молодой парень, явно с завода — руки так и остались черные; пожилая таджичка с длинными косами, как у молоденькой девушки,— они совершенно не вязались с ее плотным, круглым лицом; еще одна пожилая женщина с хозяйственной сумкой — сумка все время падала, женщина поднимала ее, ставила у ножки стула, и сумка сразу же начинала медленно сползать, потом плюхалась на пол. Женщина без всякого выражения поднимала ее и снова ставила рядом. Это почему-то раздражало Свету. «Вот дура! — думала она про себя.— Не может хорошо установить, так хоть держала бы на коленях».

Наконец подошла ее очередь, и Света зашла в кабинет, который в этот раз особенно ошеломил чистотой и белизной, села на указанный стул, взглянула на врача, которая листала ее тощую карточку, и никак не могла представить, как можно начать в присутствии чистой, строгой женщины говорить о пьянке, о дебошах, о всей грязи, которую собиралась вычистить Света с помощью этой самой женщины.

«На что жалуетесь?» — сухо спросила врач, встала и подошла к ней.

«М-м-м...» — растерянно промычала Света, не зная, с чего начать.

«Следите за кончиком карандаша»,— все так же сухо приказал врач.

И Света обрадовалась тому, что можно хоть на время отложить немыслимый разговор, и принялась добросовестно следить за кончиком карандаша. В душе она надеялась на то, что сейчас врач всплеснет руками, заохает и скажет, что у нее нервы совершенно никуда не годятся. Вот тогда Света и объяснит: родители ведут такой образ жизни, что никаких нервов не хватит... И все уладится.

Потом врач заставила Свету высунуть язык, постучала молоточком по колену, нога дернулась (как в книге у Марти Ларни, которую в третий раз перечитывала Вика и цитировала на каждом шагу).

Обследование кончилось неожиданно быстро. Не выказав ни удивления, ни осуждения, ни сочувствия, врач села за стол и так же молча, по-прежнему не обращая особого внимания на Свету, принялась что-то писать в карточке.

«Господи?! Что она там пишет? — изумилась Света, понимая, что сейчас надо будет встать и уйти, так ничего и не узнав.— Второй раз ведь ни за что не пойду. Такое позорище...» И, собравшись с духом, Света произнесла: «Я вообще-то подругому... Мне сказали, что здесь отправляют... Я хочу отправить на принудительное лечение мать...»

Врач бросила короткий взгляд, словно она и без того знала: причина не в болезни (Света внутренне дернулась, как от удара), постучала карандашом о стол и, глядя в карточку, стала объяснять, что это ошибка, она такую бумагу дать не имеет права, не может, для этого нужно...

Лицо у женщины оставалось невозмутимым, и Света почувствовала, как в ней растет непонятная неприязнь к чисто вымытой, опрятной женщине. Зачем она дает советы? Ясно ведь, что девочка одна не сможет все эти бумаги оформить!

Чувствуя ту же самую неприязнь, Света вела врача «скорой помощи» через двор, веранду, стараясь всем своим видом показать, что она лично не имеет никакого отношения ко всему.

Мать лежала, запрокинув голову, тяжело дыша, и даже не посмотрела, кто вошел.

«А я-то думала, что во время белой горячки человек должен метаться, бегать, прыгать. Вот как я ошибалась!» — подумала Света и одновременно почувствовала странное удовлетворение.

Может, это и к лучшему, что так получилось. Увезут мать лечиться, Света спокойно сдаст экзамены, соберется и уедет. А потом пусть как хотят, ей дела нет. Сопьются окончательно. Скорее всего. Но хоть не у нее на глазах, хоть не придется ей переживать из-за этого.

Врач, придерживая одной рукой полу теплого халата, наброшенного на плечи, другой щупала пульс; заглянула в глаза, приподняв веки. Мать даже не пошевельнулась. Строгость ее черт немного пугала Свету. Но рядом был врач, и она старалась не выказать беспокойства. Пусть думают, что Света соседка или знакомая.

— Как ее зовут? — обратилась врач к Свете.

— Настя...

— А по отчеству?

— Ивановна...

— Анастасия Ивановна!.. Анастасия Ивановна!..

Врач похлопала мать сначала по руке, потом по щеке. Окликнула еще раз. Но мать все так же тяжело дышала и не открывала глаз. Света усмехнулась: «Да она трезвая не поняла бы, что это к ней обращаются. А когда так упилась!.. Если врач хочет узнать, реагирует больная или нет, позвала бы ее просто, по-человечески, как к ней обычно все обращаются. Но им не положено. А на вежливое обращение мать, конечно же, не откликнется. Может, мне ее позвать?!» Света уже было открыла рот и наклонилась над кроватью. Но грязное одеяло, на котором лежала мать, ее помятое платье, запах — все это вернуло Свету к происходящему. Произнести при враче слово «ма-ма»... «Ма-ма!» — вот к этой упившейся до бессознательного состояния женщине?!

Врач стояла, придерживая полу халата (и как Свете казалось, в этом жесте было что-то брезгливое — не задеть бы чего), и о чем-то думала, потом сказала:

— Знаете, у нее не горячка. Вы ошиблись. Похоже, что у нее отравление. Тут нужна другая машина, другая бригада.

Света никак не могла понять, в чем тут разница: отравление от водки или же белая горячка? Ну только что не бегает по дому.

— Вы посидите с ней. Я сама схожу,— неожиданно мягко сказала врач.— Здесь легко найти? Какой у вас номер дома?

Света почувствовала острый приступ признательности,

когда она не ждала помощи или сочувствия, а они приходили неожиданно.

Хлопнула калитка, весело фыркнула машина. А Света все еще стояла посреди комнаты в растерянности. Вдруг она вспомнила, что при отравлении промывают желудок. Наверное, надо вскипятить воду и марганцовку поискать...

Она вынесла примус во двор, налила из бутылки керосина в головку, чиркнула спичкой, потом прикрутила вентиль, и после энергичных движений поршня ровное, сильное пламя выровнялось и, как корона, приняло форму аккуратных зубчиков.

Звеня кружкой — в ведре было как раз на чайник,— Света набрала воды. После этого она быстро сложила грязную посуду со стола в таз, половик вынесла и повесила на веревке — завтра вытрясти надо будет,— собрала одежду со спинок стульев и повесила ее за занавеску, обвела комнату взглядом и словно бы все увидела впервые — глазами тех людей, которые сейчас войдут: «До чего же все грязно, запущено! Свиньи, а не люди. Смотреть и то противно». Дом как будто медленно уходил под землю, уже по самые окна врос, может, поэтому в нем казалось особенно душно и трудно дышать. И хотя Света широко распахнула дверь, прохладный весенний ветер проносился мимо. Взгляд Светы остановился на вышивке — девушка с кошечкой. Один гвоздь выпал, оставив в стене серый кружок отвалившейся побелки. Материя провисла, в мягких складках осела пыль, и по лицу девушки проходили дугой серые полосы, от чего умильное выражение лица изменилось, стало злобно-плаксивым.

«А как странно,— подумала Света,— я только сейчас заметила. Сколько мы ни меняли квартир, мать всегда прибивала вышивку в один и тот же угол — тот самый, где у бабушки висела икона. Удивительно. Мать сама, наверно, не отдавала себе отчета, завешивая его. И как смешно — чем?! Глупой, пошлой вышивкой. Бессмысленной и бесполезной, в которой не было ничего, что давало бы хоть какое-то представление о долге, истине, справедливости... Тоже, нашла замену... А у меня? — спохватилась Света, тут же по привычке примеривая все к себе.— Что будет у меня?!»

И, вызвав видение будущей комнаты с книгами на полках, с музыкой и разговорами об искусстве, она успокоилась: «У меня все будет хорошо, правильно и красиво... Я уже почти у цели. А пока, чтобы дойти до нее, нельзя позволять себе

расслабляться, потому что слабость — она вон к чему приводит...»

Мать шевельнулась, застонала и попыталась приподняться. Света подошла к ней и зачем-то надавила ладонями на плечи, чтобы мать легла. Свете все казалось, что мать может вскочить и бегать по комнатам — лови тогда! Пусть уж, если может, лежит.

Лязгнула крышка чайника, и едва Света успела выключить примус, как подъехала машина. Она тут же выскочила за калитку и позвала:

— Сюда! Сюда!

Но вода, которую она приготовила, не понадобилась.

— Неть! Что ви! — сказал с сильным акцентом врач, быстро осмотрев мать.— Ее надо вести в больнису.

Пока мать укладывали на носилки, Света зашла к себе в комнату, взяла теплую кофту, подумала и прихватила «Парцифаля». «Все равно там придется сидеть, ждать, когда ее промоют»,— с некоторой досадой подумала она и пошла за носилками к машине.

В коридоре, где ее оставили, стоял стул с порванной на углу коричневой обивкой. На стуле были еще какие-то светлые пятна — должно быть, от хлорки. И с некоторой брезгливостью, хотя видно было, что стул чистый, Света села, поджав под себя ноги... Пол тоже недавно вымыли, он еще блестел. «Чего это они на ночь пол моют? Разве утром нельзя?» — подумала Света. А потом, уже не обращая внимания на то, что хлопают двери и мимо время от времени ходят люди, принялась читать — главу-то она так и не закончила.

— Где Гани Ганиевич? — громко и тревожно спросил женский голос.

Света вздрогнула и подняла голову. Дверь уже закрылась, и лица женщины она не успела увидеть. Этот же голос спрашивал Гани Ганиевича до самого конца, видимо, очень длинного коридора. Света усмехнулась: вопрошающий голос затихал, как далекое эхо.

Перелистав последние страницы, Света нашла в комментариях нужную цифру. Здесь говорилось о категориях вины, приведенных Августином: «Наказанием за совершенный грех является то, что человек теряет нравственную ориентацию и уже обречен на совершение дурных дел».

«Ага! — обрадовалась Света.— Это к тому, что проступок, совершенный Парцифалем в Мунсальвеше, является всего лишь возмездием за еще более тяжкий грех, совершенный раньше... Флора обязательно спросит. Хорошо, что посмотрела. Хм! В этом и в самом деле что-то есть. Один грех, вернее, говоря нашими словами, один проступок влечет за собой другой. Бабушка в детстве пугала, что бог накажет, что на все божья воля! Никакая не божья воля!»

Разглядывая кафельные плитки пола, на которых пятнами высыхала вода, стягиваясь, как кусочек шагреневой кожи, пока не исчезала совсем, Света сделала очень важный вывод: за грехи человека никто наказать не может. Он наказывает сам себя. Своей последующей жизнью. Вот как ее родители. Ведь они пьют не просто так. Они пьют, потому что им стыдно. И, не понимая, не желая понять, отчего их гложет стыд, они забивают, заглушают совесть, топчут и мнут ее, обманывают себя и вместе с этим убивают, уничтожают себя. Происходит это незаметно. Ведь не сразу же они стали пить так, как сейчас. Все же понемногу, потихоньку начиналось. Ни одному человеку не придет в голову нарочно так жить. Каждый мечтает о чем-то хорошем, своем, но оступается, пачкается, а дальше делает все, чтобы замазаться так, чтобы того — старого — пятна не было видно.

Света вспомнила фотографии, которые любила рассматривать в детстве: мать в длинном платье с белым пояском у какого-то цветущего дерева. Война только-только кончилась. Она стоит вместе со своими подругами. У нее чуть напряженное, но, в общем, приятное лицо. Именно в это время, вместе с другими эвакуированными, эта молодая девушка уже начала спекулировать. Мать вспоминала об этих днях без стеснения, как о чем-то обычном. Быть может, вместе с теми же девушками, что стоят вместе с ней на фотографии, она занимала очередь, когда что-то «выкидывали», закупала, сколько могла, неважно что, а потом продавала или выгодно обменивала.

Она приехала с бабушкой из маленького поселка на Волге. Но от города она переняла только самое дурное, что можно было в годы войны. Она выбрала легкий, но грязный путь. Выменивала и доставала, перекупала и продавала не из необходимости, не от страшного голода, а уже только ради выгоды. Наверно, с такими же, как и она, молодыми, энергичными, веселыми девушками начала выпивать для храбрости,

для отчаянности — война ведь, а мы молоды, не пропадать же! А скорее для того, чтобы не думать.

«Ну конечно! — Света даже немного обрадовалась, что нашла для себя еще одно, теперь, кажется, самое верное объяснение пьянству. — То, что человек потом физически привыкает,— это ясно. А вот найти корень, причину, исток... А для отца?» — спохватилась она.

Первые его фотографии с фронта. Деревенских нет ни одной: не было фотографа. А на военной он стоит с боевыми товарищами у машины. У него открытый взгляд. Нет и следов того, что он сделал что-то дурное, зазорное. В наступлении он был ранен, и его отправили долечиваться в госпиталь в Сталинабаде. А в госпитале работала нянечкой бабушка, мать иногда забегала к ней. Там и познакомилась с отцом. Оба решили, что теперь, после войны, надо пожить в свое удовольствие. Мать устроила его на мылзавод, у нее уже были там знакомые. Мыло тогда трудно было достать. Отец выносил его, а мать продавала.

«Мы в день зарабатывали тысячи»,— с горечью говорил отец и почему-то злился, сам не понимая на что. А злился он потому, что чувствовал: там он потерял больше, чем приобрел.

Свете в детстве от этих разговоров становилось не по себе, и она про себя радовалась, что реформа, как какая-то волшебница в сказке, превратила нехорошие деньги в ничто. Потом Света раздражалась: «Вот дураки, даже то, что имели, не смогли в дело пустить. Вон тетя Фрося — у нее ни один рубль из кулака не вылетит. Правда, глядя на нее, не скажешь, что она очень счастлива, что ей хорошо живется. Иначе с чего бы ей тогда ходить вечно хмурой, недовольной, злой?! И сын у нее такой же. Никак жениться не может. Боится, что жена оберет. И с тетей Фросей они постоянно ссорятся, каждый уверен, что другой его обманывает, что-то выгадывает. Как-то сын приходил к ним, выспрашивал, сколько они платят на самом деле. Так и не поверил. Смотрел тяжелыми, круглыми глазами и молчал. После его ухода так противно было...»

Родители деньги тратили легко, никогда не могли ничего накопить и никогда не жаловались, что им не хватает. Наверно, все могло... могло бы пойти по-другому.

Света еще помнила те времена, когда у них были семейные праздники. Вот по воскресеньям, например, они шли в парк смотреть кино. Мать надевала креп-жоржетовое платье, туфли

на высоком прямом каблуке, проводила карандашом черную дугу много выше того места, где у нее самой были брови, из маленькой плоской коробочки набирала пальцем красную помаду и делала аккуратный бантик, как у той девушки на вышивке. От отца пахнет крепким одеколоном, и он посмеивается, когда мать возвращается за своей сумочкой, в которой оставила деньги. Когда они приходят в парк, Света просит, чтобы он приподнял ее и подержал под едким облаком из автомата, чтобы от нее тоже пахло. Сама бросает монету и быстро закрывает лицо ладонями, но одеколон все равно попадает в глаза. И отец дует в лицо и смеется. А Света думает, что ее родители самые лучшие люди в мире.

«Сегодня кататься будешь?» — спрашивает отец, кивая в сторону качелей. Света молча кивает в ответ. Но после первого же сильного толчка сердце у нее, как звезда в ночи, обрывается и скользит вслед за лодкой вниз. Света бледнеет, и отец сразу же останавливается, посмеивается над ней, но заботливо держит за руку, ведет туда, где продают коржики и лимонад. Кто-то рядом напевает индийскую мелодию из кинофильма, который они собираются снова смотреть. Родители в это время пьют пиво, сдувая пышную пену. Света еще не замечает нечастых ссор, они легко забываются, и кажется, что в их семье все хорошо.

Иногда отец договаривается со знакомыми шоферами, и они едут на воскресенье куда-то за город, на рыбалку, чаще всего к Абдурахману — его дом стоит недалеко от реки. Абдурахман встречает отца радушно, они долго обнимаются, хлопая друг друга по плечу. Жена Абдурахмана тихо исчезает в летней кухне готовить еду. А потом мужчины уходят рыбачить. Света чаще всего оставалась в саду, с детьми Абдурахмана, Саидой и Зухрат, собирала с ними прозрачный, как янтарь, урюк, рвала яблоки или груши. А когда ложились спать, им стелили в саду на широком деревянном кате, от костра доносился запах ухи, лаврового листа.

Небо было усыпано огромными, пушистыми, как астры, звездами, и казалось, они вздрагивают, как цветы, когда по ним ползают лохматые пчелы и, перебирая лапками, испивают до конца сладкий нектар южной ночи. И чем больше Света всматривалась, тем все больше звезд она видела, и в конце концов ей начинало казаться, что все небо сияет пронзительно чистым светом.

Только вот с каждым годом знакомые и друзья менялись

все быстрее. Крепких, прочных связей не оставалось. Прилипали к ним на время только уже какие-то нехорошие, грязные люди. Одни отваливались, появлялись другие, еще хуже. Вот и докатились. Это же надо? Отравление водкой. Сколько же надо было выпить?!

Света поднялась и вышла на улицу вдохнуть свежего воздуха. И в первую минуту действительно показалось, что на улице свежо.

Улица казалась незнакомой, пугающе пустынной, словно Света осталась одна во всем мире. Двухэтажные дома спали, как большие кошки, поджав лапы. Настороженная, непривычная тишина стояла вокруг. Черная туча медленно заползала на другую половину неба. «Хоть бы прошла стороной,— подумала Света,— а то я кофту взяла, а зонт забыла. Как ливанет...»

Приближающаяся гроза на улице ощущалась, пожалуй, больше, чем в коридоре больницы. И еще этот запах... Света глубоко вздохнула, пытаясь вспомнить, что напоминает приторный запах цветущих акаций. Везде их вырубили из-за мошкары, что летом вилась над ними, а еще из-за старости. Непонятно, почему на этой улице оставили... Она еще раз глубоко вздохнула... И вспомнила. Такой же душный, сладковатый запах стоял в комнате у одной девочки из их класса, когда у нее кто-то умер. Женщина, лежавшая в гробу, походила на человека столь же странным образом, как и те восковые яблоки, что им показывала учительница ботаники на уроке. Все очень правдоподобно и в то же время ясно: подделка. Поэтому Света довольно равнодушно разглядывала незнакомое ей лицо, бледное и вроде бы прозрачное, как стеариновая свечка. Но запах, стоявший в комнате, нагонял тяжелое, тоскливое чувство. Света поскорее вышла, чтобы не затошнило.

И, вспомнив этот сладковатый запах, Света почему-то испугалась, впервые представив, что отравление иногда кончается плохо. Очень плохо. Но тут же одернула себя, отогнала ненужные опасения: «Глупости! Не от водки же...» А почему она решила, что отравление от водки? Может, она грибами или консервами какими закусывала. Кто ее знает! Дозакусывалась... Все, конечно, обойдется, но, к сожалению, ничему это мать не научит. Ее уже ничто не научит. Потому что человек должен добиваться лучшего так же устремленно, как Света. Насильно не заставишь.

Чувствуя вялость и усталость во всем теле, Света верну-

лась к своему стулу, села, неохотно открыла книгу и заставила себя читать дальше. Теперь каждое предложение давалось с трудом, будто она его откалывала от текста.

Картины дня, мастерская, голос Вики, улыбка Марата, его внимательный взгляд — все мешало сосредоточиться на злоключениях Парцифаля.

— Вот она, Гани Ганиевич! — произнес тот же женский голос, который она слышала прежде.

Света подняла голову. Но дверь за Гани Ганиевичем закрылась, и Света опять не увидела той женщины.

«Зачем я ему нужна?» — подумала Света, не замечая, что за врачом идет еще один мужчина, в сером костюме.

Врач снял очки, старательно потер их носовым платком и испытующе посмотрел на Свету.

— Скажите, она пила? — наконец после нескольких формальных вопросов спросил он.

— Да... д-д-да... — потянула Света и как-то сразу успокоилась.

Она поняла, что врачу неудобно начинать с ней разговор о причинах отравления. «Видно ведь, что я... не такая... и вдруг — у матери отравление от водки».

— Да! — твердо повторила она, призывая к тому же своим тоном врача.

«Пусть не думает, что меня это волнует, пусть поймет, что я живу своей, независимой жизнью и могу обсуждать такой вопрос как что-то совершенно постороннее».

— И сегодня тоже пила?

— Конечно! — удивилась Света. — Разве у нее не от этого отравление? — Она подозрительно посмотрела на него: «Что он тянет?»

Но тут неожиданно вмешался мужчина в сером костюме, на которого Света и не смотрела.

— А вы не знаете, с кем она пила?

— Вот еще! — обиделась она. — Небось у магазина с кем-нибудь, я разве их знаю?! Пьянчужки какие-то. А может, и одна. Я у нее не спрашивала... А почему вы?..

Мужчина и Гани Ганиевич переглянулись, будто получили подтверждение чему-то.

— Это не простое отравление, надо выяснить обязательно, с кем она пила, потому что...

— Ей очень плохо? — перебила его Света, и вопрос прозвучал даже как-то сердито.

— Она... кхм... умерла...

Умом Света понимала, что мать умерла. Но представить, почувствовать не могла. Казалось, сейчас раздадутся ее шаги, откроется дверь и она снова войдет, скажет своим виноватым, чуть заискивающим тоном: «Тулечка, золотце мое...»

И вот тут Света расплакалась, одновременно жалея мать и жалея себя. Она представила себе пустые, никчемные, ничтожные годы, прожитые матерью,— в них мало радости, о которой она, когда была той молодой девушкой, застывшей перед фотоаппаратом, думала и надеялась так же, как и тысячи других людей. Разве тогда эта молоденькая девушка в светлом длинном платье с белым пояском могла представить, какой будет ее жизнь, какая смерть ожидает? И разве бы не содрогнулась, если бы ей показали сморщенную женщину с мутным взором, сизым, индюшачьим цветом лица, со стаканом водки в руке... Да она, наверно, все что угодно сделала бы, чтобы не случилось такого. Мало кто умеет представить, куда приведет шаг, сделанный чуть в сторону, в какие дебри он заведет!

Горячие ручейки бежали по щекам. Света вытирала их и думала о том, что, может, к лучшему, что мать умерла вот так, быстро и тихо. Что ждало ее впереди? Окончательное падение, и только. В том, что она спилась бы окончательно, никаких сомнений нет.

Слезы еще наворачивались на глаза, но уже не такие жгучие. Теплые, чуть горьковатые, такие знакомые на вкус... Сколько пролила их Света в своей жизни! И по чьей вине? Сейчас, конечно, нельзя упрекать мать. Но ведь и в самом деле она ничего не смогла дать родной дочери, кроме тощенького узелка с воспоминаниями, которые бы не вызывали горечь и боль. Вот и все.

Света попыталась заснуть — днем ведь не удастся. Вернется утром отец, начнутся хлопоты, придут чужие люди,— одна мысль об этом вызывала раздражение. Ах, если бы можно было куда-нибудь на это время уйти, спрятаться! Вот бывает же летаргический сон, на два дня... И наверно, от этого, от беспокойного ожидания завтрашнего дня, сон не шел к ней.

В памяти всплывали какие-то случаи, связанные с матерью. Как она всегда ласково и настойчиво уговаривала Свету, если та болела ангиной, выпить теплое молоко с медом и маслом. Как она, если Света видела в магазине что-то нужное, всегда безропотно шла занимать деньги, как она придумывала по утрам ласковые прозвища, когда Света, обессиленная ночными слезами и ожиданием скандала, тревожно засыпала, а потом долго не могла проснуться.

Вспомнилось и то, как мать, так же ласково обращаясь к ней, просила вызвать «скорую». Только теперь Света представила, какое бессилие и страх, должно быть, охватили мать в последние минуты, с каким отчаянием, тонко, по-заячьи вскрикнула она на веранде: «Фрося!» Сердце у Светы сжалось. «Если бы я знала! — подумала она.— Разве я могла представить, что это серьезно? Она, когда хотела выпить, могла придумать что угодно... Нет, к лучшему, что так получилось... Она бы точно спилась, ходила бы по базару и клянчила на бутылку портвейна».

И Света вздохнула, жалея, что она одна, что нет никого рядом с ней, кому можно было бы рассказать все, как есть, не таясь, и кто мог бы понять ее, рассеять сомнения, успокоить... С кем рядом она бы могла почувствовать себя уверенней, как сегодня, в мастерской, когда Марат сказал: «Это не отстирывать надо, а выводить...»

И тут она вспомнила про юбку, про пятно... А ведь эту юбку надо будет завтра надевать! Другой нет...

«Вот и дело»,— почти с облегчением подумала Света. Она высморкалась последний раз в большой носовой платок, включила утюг, достала вату, тряпку, промокательную бумагу и открыла дверцу стола... Здесь должна была стоять бутылка с метиловым спиртом... Но бутылки почему-то на месте не оказалось. Света беспокойно огляделась, заглянула за этажерку, потом под кровать, потом отодвинула занавеску на окне. Да нет! Как бутылка могла бы оказаться там, если Света хорошо помнила, что поставила именно сюда, в ящик стола? Она еще стукнула о дверцу бутылкой.

И все же Света осмотрела свою комнату еще раз, а затем, чувствуя, как непонятное беспокойство усиливается, зачем-то вошла в комнату родителей. У стола в углу стояли бутылки — уже слегка запылившиеся. Свежей среди них она не увидела и вздохнула, будто избавилась от непонятной тяжести. Подошла к табурету, села и только тут под левой ножкой стола заметила

туго свернутую газетную пробку. Это была та самая пробка — черные крупные буквы находили одна на другую.

Все еще не желая верить себе, Света подняла пробку, зачем-то пытаясь разобрать надпись из скрученных букв. Ей хотелось найти какое-нибудь объяснение и причину того, как могла оказаться здесь эта пробка, хотя уже знала — знала! — куда делась бутылка и что за отравление было у матери. А значит, значит...

«Нет! — сразу оборвала себя Света.— Какое я имею отношение к этому? Она могла где угодно достать без меня. Я принесла, чтобы вычистить пятно. Но я же не заставляла ее пить! Моей вины здесь нет и быть не может».

Все было правильно. Но отчего слова оправдания казались такими беспомощными? И почему она не могла заставить замолчать другой, очень тихий голос, который продолжал говорить, словно про себя, вовсе не думая о Свете: «Так вот почему она шарила по стене руками... Уже начала слепнуть и не могла понять, что с ней происходит, отчего ей так плохо». Света вспыхнула, чувствуя, как сводит лицо. Неужели это она говорила тем злым, раздраженным, презрительным голосом?! «Мать боялась признаться, что выпила из бутылки, которую нашла в столе. Услышала, наверное, как я ставила. А когда я уходила в «Кулинарию», посмотрела, понюхала, обрадовалась, что это спирт, и выпила весь побыстрее, чтобы я не отобрала. Сначала ничего необычного не заметила, а потом не могла понять, что с ней происходит, пока не стало совсем худо... А значит, если бы я действительно раньше спохватилась, если бы поверила, если бы пожалела и сразу вызвала «скорую», может быть, ее успели бы спасти?!»

Света не могла бы сказать, как и почему она очутилась во дворе и остановилась у стола, за которым сегодня занималась. Она не чувствовала, как сжимает туго свернутую газетную пробку, словно хочет, чтобы она навеки отпечаталась на ладони.

Света снова до боли ясно и отчетливо увидела мать с вытянутыми вперед руками, как она беспомощно шарит по стене, ищет выход. Мать уже поняла, что бесполезно звать на помощь Свету... Одна в страшной темноте, предчувствуя смерть, мать каким-то особым чутьем угадала, что ей не дозваться, не достучаться до Светы, уж эта бесчувственная жаба — Фрося — и то скорее услышит.

В правой половине неба, будто разорвали черную материю,

хлынул ослепительный свет, послышался сухой треск, и тут же в образовавшуюся прорезь полил дождь.

По двору, бурля, клокоча и пуская пузыри, побежали ручейки. Потекло с крыши, с оконной рамы, с каждой ветки дерева, и голос матери — беспомощный, слабый, тонкий — опять звал кого-то, опять молил в ночи о сострадании и милосердии...

Душанбе 1985 г.

Владимир Карпов[1]

ВИЛАСЬ ВЕРЕВОЧКА...

Повесть

Мы чуть ли не кубарем скатились по крутому склону берега. В такие минуты все силы, ум собраны воедино. И уж кажется, не ты сам, а сила какая-то подхватывает тебя, несет, надо только не мешкать, не раздумывать, отдаться ей — она не подведет. Тогда мчишься — есть лишь ты и опасность. И сердце в страхе и восторге клокочет, стучит на весь мир: уцелеть, уцелеть, уцелеть!.. И не дай бог промелькнуть какой-нибудь совестливой мыслишке: о поступке твоем, о матери, о последствиях,— это хуже подножки.

У меня в руках несколько курток на меховой подкладке — ходкий товар. Впереди на коротеньких толстых ножках семе-

[1] © Издательство «Молодая гвардия», 1980

нит Хысь. Он берет только деньги и вещи, с которыми легко бежать: мелкие, но дорогие. Женька уже немного поотстал, хотя секунду назад был впереди. Не то чтоб от жадности, скорее от пылкости, горячности он хапает чересчур много. Сзади звучно пыхтит Балда. Этот от старательности, верности делу навьючивается, как верблюд.

Гулко хрюкнул и затарахтел, простреливая тишину, катер. Кажется, звук его разбудил всю деревню: люди вскакивают с постелей, хватают ружья, выворачивают колья и вот-вот покажутся на берегу, послышатся их разъяренные крики...

Но мотор работает. Валерка специально был оставлен на атасе, чтоб раньше других оказаться на катере — завести. А реку, речную технику он знает отлично: сызмальства по всему лету с отцом на тягаче плавает. Я с ходу перекинул вещи, за ними и тело через борт. Следом перелетел и Женька. Перевалилась ноша Балды. Сам он толкнул катер и прыгнул на нос.

— Жми! — скомандовал Хысь.

Мотор взвыл, закашлялся и... затих. Я инстинктивно глянул на берег. И тут же услышал Женькино:

— Засекли.

Вдали, на гребне высокого склона, как раз у магазина, маячил огонек карманного фонарика.

— Заводи! Заводи! Быстрей! Убью! — сдавленно прокричал Хысь.

Оглушительно ахнул, метнувшись меж берегов, выстрел. Огонек нырнул во мрак крутизны.

— Ну че там, сука? Че?! Убью!..

Хысь уже сам хватался за штурвал и нажимал стартер. Мотор кряхтел, но не заводился. Я почувствовал, как немеет тело, будто летишь ты в пропасть бездонную, летишь, летишь, и не за что зацепиться, и время тянется бесконечно, и крик твой тонет в пространстве...

— Стой! Стрелять буду! — донесся далекий пока оклик.

Хысь крепко выругался, хватил Валерку кулаком и прыгнул за борт, бросив нам на ходу:

— За мной никому! Заловят — меня с вами не было!

«Ну вот и все, ну вот и все...— выстукивало теперь мое сердце.— Куда? За Хысем нельзя. В реку? Не переплыть, холодно, сведет. А куда?..»

— Лодка! Хысь! Лодка! — выпалил Женька.

В самом деле — рядом же, рядом, в пяти-шести метрах, стоит лодка! Как только о ней я сам не вспомнил!

К счастью, она оказалась привязанной простой веревкой которую Женька легко перерубил своим топориком.

Мы работали ладонями, как лопастями, гребли что было сил.

— Назад! Стрелять буду! Наза-ад! — стегал нас по спинам надрывистый крик.

Слава богу, ночь беззвездная. Луч фонаря вяз в топкой тьме.

— Назад! Перестреляю же паразитов! Назад! — на пределе проорал старческий голос.

И снова река вздрогнула от выстрела. Дробь шаркнула по воде. Я почти расстелился по дну лодки, припал к борту и греб, греб... И все гребли, захлебываясь в судорожных дыханиях, забыв обо всем на свете, кроме этого спасительного движения, откидывающего назад воду.

— Кончай палить, а то враз продырявлю. Товар на катере, мы пустые! — закричал Хысь.— Катер лучше лови, а то унесет твое добро! А лодку на том берегу в целости оставим!

— Пугать он меня будет! Я те продырявлю, сволочь!..— ответил голос и смолк. Видно, мужик в самом деле занялся катером.

Молодец Хысь!

Лишь через некоторое время вода донесла тихое, раскатистое:

— Бесстыдники, грабить приехали! В глаза бы вам поглядеть, что за люди вы такие! Нелюди вы!..

Течение в середине быстрое, ветер дул не сильный, но попутный, чуть наискосок к левому берегу. И мы скоро зашли за остров. Скрылись наконец вспыхнувшие по селу огни, которые словно держали лодку на привязи: плывешь вроде, а глянешь на них — не удаляются. Пусть теперь хоть на моторной лодке погоня начнется, пристать к берегу мы успеем. А там сосновый бор — ищи-свищи нас, если есть охота.

— Ха-ха! Ловко вышло,— первым подал голос Женька.— Еще бы малость — и подзалетели бы, ха-ха!

— Ха-ха! — откликнулись короткими, дергаными смешками Валерка и Балда.

— Ха-ха-ха! — уже загоготал Женька и опрокинулся на спину.

В руках у него была дощечка. «Когда и где успел прихватить?» — подумал я и вдруг обнаружил, что сижу, смотрю на Женьку и тоже, как идиот, кудахтаю.

— Повезло нам, что лодка рядом оказалась,— сказал Валерка.

— Повезло, что Женька заметил ее,— поправил я.

— С вас по бутылке,— отозвался Женька.

— Хы-хы, повезло, надо же! — повторял Балда.

Я только хотел похвалить главаря — мне было приятно так называть Хыся в тот миг,— мол, вот кто молодец, нашел старикану что сказать, и тут же почувствовал, как в шею ударила и потекла за пазуху теплая вода. Оглянулся — Хысь на меня мочится. Струйка перебежала на Женьку и пошла дальше. И вся моя радость перевернулась с ног на голову. Я вжался в сиденье, уменьшившись до ничтожно малых размеров. Мелькнул в памяти образ матери, которая думает, что сын уехал на рыбалку. Устал как-то сразу, смог лишь вымолвить:

— Ты чего, Хысь, с ума сошел?

Видел краем глаза, как вскочил Женька. Но как вскочил, так и сел, сказал что-то наподобие моего.

— «Повезло им, повезло им, повезло, оба парня возвратилися в село»,— пропел Хысь, запахивая ширинку.— Очухались, суки везучие, а где товар ваш, э-э-э?!

Это «э», звучащее средне между «э» и «а», он умел выкидывать откуда-то из кишок так, что по нервам скребло. И отупляло.

— На хрен мне эти приключения! Я-то не пустой! — постучал он себя по карману.— А где ваша добыча, э-э-а?! И ржут, суконки! Лупоглазый,— Хысь часто называл так Валерку,— тебе тоже весело? Повезло, говоришь, лодка была. Мы же на катере вроде сюда приплыли, э-э?!

— Ну, Хысь, чего я мог? Работал же нормально, когда сюда плыли.

— Ты же храбрился: ас, капитан. Ноги мне должен лизать, что не выкинул до сих пор! А ты пасть разинул...

Валерка не виноват: катер увели из гавани первый попавшийся — как он мог отвечать за его исправность? А на пути сюда катер действительно ни разу не забарахлил, четко работал. Но, подай я голос, заступись за Валерку, Хысь прицепится ко мне с двойной злостью, может и пиковинкой ткнуть — за ним не застоится. В глубине я и рад был, что он набросился на Валерку, а не на меня. Удивительно, я не в первый раз такое замечал: Хысь наседал, изгалялся над Валеркой, и мне поневоле начинало казаться — виноват тот в чем-то. Главное, зло против Валерки появлялось.

— Ты же своих корешей подвел! Че тебе за это сделать? — гнобил Валерку Хысь.

— Правда, че ты варежку разинул? — встрял и Балда.

— Иди ты... — огрызнулся Валерка.

— Че иди-то, че иди-то, сам иди, а то быстро счас, — взъерепенился уже готовый кинуться в драку Балда.

— Хысь, зачем ты это сделал? — сдавленно выговорил Женька. — Я тебя уважал, все тебе прощал, но этого не прощу. Понял?!

Хысь резко повернулся к Женьке. Я думал, он пнет его. Но Хысь дружелюбно сказал:

— Я тебя жизни учу, дурачок. Знай, когда и чему радоваться. Я же тебя за человека считаю, не то что этого Лупоглазика.

— Не последний же это магазин на свете, еще будут, — уже миролюбивей заговорил Женька. — Наверстаем.

Хысь сел на прежнее место, в нос лодки. Спросил:

— С ним все согласны?

— Все, — отозвался Балда.

— Конечно, — услышал я свой бодрящий голос.

— А ты, Лупоглазый, чего молчишь?

— Согласен, согласен, — торопливо заверил Валерка.

— Лады. Гребите, а то мы так за неделю не доплывем.

Лодку несло течением, мы проплывали середину острова. Я глянул на это ночное шевелящееся таинственное чудище, и тут же померещилось, что на острове кто-то закричал. С некоторых пор я побаивался этих клочков суши, окруженных водой, густо заросших деревьями, кустами. Казалось, там всегда творятся ужасные, черные дела. И стоило прислушаться, так непременно улавливал звуки голосов. Знаю: нет там никого, на этом-то, по крайней мере, точно быть не может, но чудится — и все. И страшно. Каждый раз так. Многого стал я побаиваться с некоторых пор...

Был Иван Купала. Я клеил во дворе камеру. Пришел Сашка Кулебякин, одноклассник. Чудаковатый, непривычно домовитый для своих лет парень. Понаблюдал за работой, задал деловой вопрос:

— Камеру клеишь?

— Камеру клею.

— Проколол?

— Прокусил. Взял зубами и прокусил.

— Могла на солнце лопнуть,— сказал Сашка, улыбаясь, предложил: — Пошли в лес за травой.

— Кроликам? Пойдем. Сейчас вот докончу.

— Я пока на баяне поиграю?

— Играй, чего спрашиваешь...

Баян мне мама купила три года назад. По первости кружок баянистов стал посещать. Месяц прозанимался, всего лишь песенку про какую-то кукушку выучил. Бросил.

Клей подсыхал. Пошел за водой, чтоб, сунув в нее камеру, проверить прочность склея. Колодец у нас общий, на улице. Только опустил я ведро, в спину хлестанула, обожгла студеная вода. Обернулся — Светка! Соседская девчонка Светка! Стоит, заливается смехом. В лодочках нерусских глаз — она из крещеных татар — бесенята прыгают, широкие скулы шоколадом на солнце отливают. Ну сущий чертенок! Я оторопело уставился на нее.

— Иван Купала! — едва выговорила она сквозь смех.

Верно, вспомнил я, Иван Купала сегодня! Мигом добыл воду из колодца и погнался за Светкой. Она, конечно, тысячу раз могла убежать, спрятаться за высокими своими воротами, но, видно, ей было интересно побегать, поиграть. А мне и подавно! Из дома наискосок с ведром в руках выскочил Валерка, тоже одноклассник. Мы носились, обливали друг друга. Незаметно к нам присоединился и Сашка с ковшом. Больше всех гонялись за Светкой, но она была самая сухая.

Остановил нас лихой посвист. Подходили ребята с соседнего квартала: Женька Феклистов, прыткий, ладный, легкий парень, и Мишка Болдин, приглушенный, увалистый, с челюстью — кирпичи впору жевать. Светка с ходу плеснула в них. На Мишку чуть попало, он растерянно заворочал косящими глазами, а Женька успел отскочить.

— Не надо, не надо! — замахал он руками.— Все еще детство бродит, что ли?

С тех пор как Женька познакомился с парнями, о которых ходила уличная слава, появился в нем гонор. После восьмого класса Женька для успокоения сердца престарелых своих родителей пошел в вечернюю школу, хотя толком нигде и не работал.

— Иван Купала сегодня,— пояснила Светка.

— Купать-то надо внутри, а не снаружи! И не водой, а чем покрепче, ха-ха-ха!

— Пошли,— потянул меня Сашка.

— Куда? — не понял я вгорячах.— А, за травой... Нет, неохота.

Действительно, зачем куда-то тащиться, когда тут хорошо!

— Ну так как, по рваному, что ли? — предложил Женька.

До тоски, до кислоты во рту не хотелось оставлять Светку, беготню, воду, но показать себя слабачком перед Женькой тоже не мог: показушность грудь колесом гнула — не лыком шит! Я вопросительно посмотрел на Валерку. Тот стоял мокрый, в прилипшей к телу одежде, ежился, словно голый.

— Можно,— пожал он плечами.

— Давай,— согласился я.

— Ребята, зачем? Не слушайте вы этого баламута,— встряла Светка.

— А ты разве не с нами? С тебя рубль не требуется! — тут же отреагировал Женька.

— Да ну вас!..

Она побежала, на ходу поправляя прилипший к ноге подол платья в горошек.

Сашка снова позвал за травой. Он слыл «колхозником», вахлаком, а по поводу его хозяйственности и постоянного хождения за травой вообще много смеялись, ехидничали. Не раз мне при людях неловко становилось за него, за свою дружбу с ним. А теперь, когда он снова отделялся и меня за собой тащил,— и вовсе.

— Что ты привязался? Иди один, если хочешь! Ноги, что ли, у одного отсохнут? — отрезал я.

И он ушел, мокрый, обиженный, но по-деловому собранный.

У магазина мы встретили Хыся. Жил он неподалеку от нас, но знал его так, чтобы за руку здороваться, только Женька. Хысю было двадцать четыре года, имел две судимости — всего лишь месяца два назад прибыл он после трехлетнего отсутствия. И уже через неделю родная его мать, жалуясь в магазине старухам, умывалась горькими слезами и молила бога, чтоб сыночка снова, да побыстрее, усадили в каталажку.

— Яблок, груш, арбузóв, дынь, дыни там клевые, слаще меду, всего обожретесь,— упоенно обрисовывал жизнь на юге Хысь, вольно развалившись в носу лодки и раскинув руки по бортам.— А купаться — зашибись! Вода теплая, чистая, метров

на двадцать дно видать. Солнце, песок, горы кругом! А шкурех, шкурех — море! Все загорелые, в белых купальничках! М-м-м! Кабаки, шашлыки, анаши — сколько хошь! Житуха — рай! Была бы только «капуста». Вот подобьем карманы — и все вместе туда рванем, кхя-кхя-кхя, друзья-туристы. Я себе рыжуху в рот заделаю...

На этой рыжухе у Хыся было какое-то помешательство, фикс-идея: имея отличные, ровные, белые зубы, он часто, особенно подвыпивший, начинал мечтать, как он вставит в рот рыжуху — золотые зубы.

У магазина он нес такую же околесицу — про рыжуху и красивую жизнь на юге. Только тогда я слушал его разинув рот. Потом поехали на танцы. В автобусе было тесно, но Хысь сумел сесть, нагло втиснувшись меж двух мужиков на заднем сиденье. Мы стояли рядом, вернее, висели на поручнях. Посередине пути Хысю вздумалось выйти. На остановке мы выскочили. Было непонятно, что тут Хысь собирается делать: с одной стороны дороги лес, а с другой — длинный забор военного городка. И я, в меру сил стараясь выглядеть блатным, спросил:

— Ну и что мы здесь поймаем?

— Не знаю, что вы поймаете, а я кое-что выловил. Ну-ка, встали кружком.

Хысь вытащил из кармана толстый кожаный бумажник, торопливо пробежался пальцем по его закоулкам. По лицу расползлась и застыла довольная улыбка. Маленькие глаза утонули в одутловатом лице. Посмеиваясь короткими деланными смешками, постукивая бумажником по ладони, он интригующе оглядел нас, наконец достал деньги. Пачечка была солидной.

Да, правильно. Хысь сидел рядом с пьяным в стельку мужиком и недаром тормошил его, будил, да тот так и не очухался.

— Я всегда делю поровну: половина мне, половина вам. Тормозим любой мотор и едем в кабак.

Случившееся мне чем-то и нравилось, и тревожило. Запомнился хорошо пьяный мужик, молодой совсем, почти парень. В бумажнике нашелся еще и ордер на квартиру, а в нем, я заметил, значилось четыре человека. Подумалось: каково им будет без денег? У матери однажды вытащили кошелек, нам пришлось туго. И у меня невольно вылетело:

— Да, теперь мужик поголодает.

— Надо ордер в стол находок послать,— добавил Валерка.

Хысь смешно срифмовал последнее слово с матерком.

— Ага, послать, а внизу подписать, кто нашел,— подпел ему Женька.

— Че? Вас волнует этот мужик, что ли? — спросил Хысь.

— Да нет,— пожали мы плечами.

— Ему же наука. Их, алкашей, учить надо. Пососет хрен с месяц, от жены втык получит и в следующий раз не будет нажираться, как свинья.

И так Хысь от души это сказал, со злобинкой против пьянства, что у меня отлегло от сердца. Показалось: правильно это, надо их, алкашей, маленько учить.

Ордер Хысь порвал на маленькие кусочки, а бумажник отдал Балде, чтобы тот закинул подальше. Мы вышли на дорогу и стали останавливать машины. А Балда отделывался от бумажника. Сначала бросил и попал в дерево. Бумажник упал на полянку, так и притягивая взгляд. Тогда Балда стал засовывать его под корень, но и это место, видно, показалось ему ненадежным. Он вытащил бумажник, отвернулся, швырнул в сторону и, так и не взглянув, побежал к нам. Хысь как раз останавливал такси, голосуя зажатой меж пальцев десяткой.

В ресторане меня Хысь сразил. Заставил не только бояться, но и уважать себя. Около входа толпился народ: не было мест. Хысь перекинулся парой слов со швейцаром, тот сказал очередным, будто бы у нас был заказ, и мы прошли. Свободных столиков не оказалось. Хысь пошушукался с какой-то женщиной, как потом он объяснил — завзалом, и та нас усадила за служебный. Официантка, обслуживающая нас, сразу заулыбалась Хысю, как доброму знакомому, и другие официантки, пробегая мимо нашего столика, заискивающе здоровались с Хысем.

— Что они вокруг тебя так крутятся? — поинтересовался я.

Хысь ответил просто:

— Деньги, стервы, любят!

Опьянели мы быстро. Бухала музыка, и даже одну песню — «Жулики, карманщики, воры, хулиганщики, корешок мой Сенечка и я» — ансамбль исполнил специально для нас! Нам подносили вино в пузатых графинчиках, вкусную еду на тарелочках! Женьку, меня и Валерку пригласили танцевать три... ну такие, неопределенного возраста. Мы сидели в настоящем кабаке, а рядом был Хысь, тот самый Хысь, которого и сами еще недавно побаивались, а теперь он свой в доску, до гроба

друг! Все это наливало ощущением удали, пахло какой-то особой, настоящей мужской жизнью, житухой на все сто, и кружило, дурманило пуще вина голову!

— Держитесь меня, я из вас людей сделаю! — говорил Хысь, хлеща себя в грудь.— Со мной не пропадете! Я повидал, как люди жить умеют. Деньгами будете сорить, одеты будете шик-блеск! Что вы хотите иметь?!

— «Яву»!

— Ма... мафа... магнитофон!

— «Казанку»!

— А это кто такая?

— Лодка!

— Будет! Все будет! И не дай бог, кто тронет вас! Вы меня знаете — горло перегрызу! Вот этими зубами вцеплюсь и кровь спущу!..

Валерка раскраснелся, хлопал глазами. Женька сиял, так и бегали в зрачках искорки. У Балды самопроизвольно отворялся рот, здоровенные уши, словно для того и созданные, чтоб вешать на них лапшу, налились краской.

В конце концов мы тоже стали теребить рубашки на груди и уверять Хыся в дружбе — в том духе, что за него горы готовы свернуть и голову положить...

И в тот же вечер мы недалеко от ресторана дружно избили и обобрали какого-то парня. Он попался нам навстречу, и Хысь заговорил с ним с такой злобой, будто это был его давнишний враг. Я, как, наверно, и остальные, к незнакомому парню даже ненависть почувствовал. И захотелось доказать корешу Хысю, редчайшему из людей, почти всесильному, глаза на жизнь открывшему, свою верность и преданность.

Следующим утром, которое, как водится, вечера мудренее, прошедший день виделся чуждым, не со мной произошедшим. Голова немного побаливала. А в теле не остыла еще вчерашняя одурь, ошалелость, неспокойствие какое-то. И вдруг неприятно пронзало воспоминание, как мы впятером — одного! И я — неужто я?! — раздухарился, хлестал во всю прыть, часы сорвал!..

С улицы свистнули — у ворот стояли Женька и Балда. Мы кликнули Валерку, он вышел и сразу принялся рассказывать, как вчера ловко и незаметно прошмыгнул мимо матери (сам-то я, когда поздно возвращался, влазил в окно). Вчетвером мы отправились к Хысю, а потом вместе — на реку. Не обошли по пути магазин, опохмелились. И хоть от одного вида бутылок

замутило, я не ударил в грязь лицом: скрепился и выпил. Потихоньку вспоминался, раскручивался вчерашний день, один подхватывал другого, и такие забавные истории выходили, что сделалось легко и просто,— такая уж она есть, житуха! И снова разбухало самоощущение. Ходили по лугу, сбрасывали в воду пацанят. Потом пошли к кинотеатру. Женька так, ради смеха, остановил, пошмакал двух-трех пареньков. Со всеми повторялось примерно одно и то же.

— Иди сюда,— подзывал Женька.

— Зачем?

— Ну иди...

Парнишка подходит.

— Дай двадцатник?

— Нету...

— Врешь ведь?

— Ну нету...

— Попрыгай.

— Чего я буду прыгать?

— Жмотишься двадцатника?

— Нету у меня.

— Найду, все мои будут?

Парнишка растерян. Если продолжает упираться, все повторяется сначала. А вытаскивает, то:

— А чего жмотился?

— Я не жмотился.

— Докажи, что не жмот. Дай еще...

Сказка про белого бычка получалась, весело было...

Пришел под ночь домой. Пахло денатуратом — у мамы опять разломило поясницу.

И я лопнул, как мыльный пузырь, а прошедший день опять показался не моим.

— Держи руля вправо, пришвартовываемся к берегу! — скомандовал Хысь.

— Зачем? — опешил Женька.

— Там деревня вроде какая-то,— сказал Валерка.

— Ага. Населенный пункт с магазинчиком посередке.

— Ну и что? — допытывал Женька.

— Брать будем.

— Мы же там ничего не знаем — как, куда? — недоумевал Женька.

— По-моему, кто-то счас только поливал — хочет второй магазин брать. И все согласны были, э-э?

— Я говорил, потом...

— Потом будет суп с котом!

— Хысь, сам посуди, где мы сейчас этот магазинчик будем искать? Собак только разбудим,— сказал я.

— Слушай, Глиста (это Хысь меня так иногда называет за высокий рост и худобу), ты че? Опять думаешь, что умнее всех, что ли?

— Ничего я не думаю...

— Ну а че тогда выступаешь? Э-э?

— Не выступаю я. Сказал просто. Заловят же нас...

— Глиста, ты че против меня имеешь?

— Ничего не имею.

— А может, чего имеешь?

— Ничего, говорю же.

— Подумай лучше, раз такой умный. Может, чего имеешь?

— Хысь, ну брось ты, никогда против тебя ничего...

— А то смотри, за мной не заржавеет. Лупоглазый, может, ты чего имеешь против?

— Ничего.

— Ну и в рот тебе компот, вороти к берегу.

Бред! Мы же как пить дать попадемся. И глупо как! Хысь блажит, а мы будем расплачиваться. Надо сказать ему об этом. Сказать, пусть один лезет в этот магазин, если охота, и сидит потом... Пусть... Но почему, почему я гребу и молчу?!

Словно околдован, заговорен... Язык, будто не мой, ослаб, не в силах шевельнуться, и челюсть сжимают тиски, и где-то в животе и у копчика холодок... Страх! Нет, когда гоняются за тобой с ружьем в руках, стреляют и дробь шлепается в воду, это еще не страх — испуг, где хоть сбивчиво, но продолжает работать голова, слушается тело. Страх — когда ты как бы стираешься, перестаешь жить, ты есть — и тебя нет, когда тупеешь и тобой можно управлять как угодно, ибо ты только боишься; боишься — и больше ничего! Я читал, одна из самых тяжелых казней — казнь мерно капающими на голову каплями. Сначала упала невинная маленькая капелька, потом на это же место другая, третья... И вот уже, кажется, по голове бьет огромный молот, а голова превратилась в барабан, но человек не умирает, мучается, сходит с ума. Так же по крупице, по крупице срабатывает и страх: тут подчинился, там сдался... И жизнь становится, как во сне, отделена пеленой, боишься милиции,

людей, Хыся... Чудно это, но не Хысевы же кулаки страшат (пожалуй, одолею его в честной драке), не пиковинка даже его, что-то другое. Может, то, что каждое нормальное слово, без прохиндейства, ухмылочки сказанное, он обсмеет, в доброе чувство вцепится, перевернет его, растопчет. Он ловко умеет это делать. И начинаешь свое хорошее прятать, лебезить, унижаться. Лишь бы Хысь не тронул, не задел, а лучше — одобрил бы... А дома мать... Любит сыночка, надеется, тянет из последних сил, покупает ему, бесслухому, баян — учись, живи, радуйся!

Не раз я представлял, как скину Хысеву руку со своего плеча, когда он по-приятельски похлопывает, повернусь и уйду, вольно насвистывая. Но не мог этого сделать. Не мог, и все. Выше это было моей воли.

Мы сидели в песочной выбоине, желтым пятаком зиявшей на травянистом берегу. В сторонке валялась пара опорожненных бутылок. Вдруг Хысь сказал:

— Сегодня вечером магазинчик обработаем.

— Как обработаем? — переспросил я, будто не понял.

Хысь внимательно посмотрел на меня, прищурив маленькие глазки.

— За базаром — магазин, не доходя до могилок. Знаете? Там печка и труба жестяная, широкая, в крышу выходит. Залезем на крышу, трубу вывернем, пару кирпичиков отколупнем, и конфеток вдоволь накушаетесь.

Я заметил, как затосковал Валерка, набычился Балда. Да, это уже не мужика по пьянке обчистить. Тут попахивает настоящим воровством, и назад пути не будет. Хысь не пустит. Только у Женьки глаза загорелись:

— А башли там будут?

— А ты зайди, попроси, чтоб оставили, хе-хе. Будут, все будет. А вы че, хмырики, не рады, что ли?

Пекло солнце. Вино муторно грело нутро. В голове и во рту слипалось. Радость, действительно, была невелика.

— Боитесь? — Хысь, конечно, покруче выразился. — План верняк.

План, конечно, выглядел идиотским: какая труба, какая крыша? Магазин около дороги, на крыше нас как облупленных видно будет, любой шофер заметит.

— Да полезут они, чего там, — за всех ответил Женька.

— Я этих гавриков хочу услышать. Язык к заду прилип? Или, может, я оглох, а, Жека?

— Да чего говорить? Надо — значит надо! — сказал Балда.

— Я же для вас, суконок, стараюсь. Дался мне этот магазин, копеечное дело. Я делами верчу, ого-го! На ноги вас, сосунков, поставить хочу! Не рубите же ни в чем! Не рады, что ли, я спрашиваю, э-э?! — Хысь, оскалив зубы, запрокинул голову, поглядывал то на Валерку, который врастал в песок, то на меня.

— Хысь! — Горло пересохло, звук получился писклявым, я откашлялся: — Хысь, у меня мать. Она одна, больная. Узнает — ей каюк. Я не хочу.

— Э-а, что ты сказал? Я что-то не расслышал. Не хочешь? А пить мое хочешь! Вот подлюка, а! Гляди на него — у него мать больная! Что же получается? Когда надо — так Хысь друг, а когда до дела — Хысь вор, а я чистенький! Или ты что, умнее всех себя считаешь?

— Нет, просто, как я подумаю... Я же ее в гроб загоню...

— Ты мне матерью не тычь, а то как тыкну — на весь век оттыкаешься. Скажи лучше, на дармовщинку жрать любишь! «А вор будет воровать, а я буду продавать!»

Хысь не то чтоб злился, а скорее поддавал жару, гнал нерв.

— А у тебя, Лупоглазый, тоже мать болеет, э?

— Нет.

— Зашибись. — Хысь постучал ладонью по Валеркиной челюсти, как ласкают иногда собак. — И делом настоящим заняться хочешь? А этот жук не хочет. Он себя лучше нас с тобой считает. Подойди, врежь ему, чтоб не выкобенивался.

— Да зачем? Ладно, пусть, не хочет, так зачем...

— Он же, суконец, продаст нас на первом же углу. Поучить его надо. Ты же мне друг. Друг?

— Друг.

— Ну-ка, дай ему, гаду!

Валерка совсем потерялся. Поднялся, подошел ко мне. Остановился, поглядел на Хыся. Тот ждал. Валерка стоял.

— Ну, кому сказал! Бей! — Хысь выдернул из кармана пиковинку.

Валерка дернулся, глаза набухли, несмело ткнул меня кулаком.

— Сильнее, пином его!

Валерка легко пнул меня в бок.

— Тебе показать, как надо бить? Жека, уделай-ка его разок,— кивнул Хысь на Валерку,— чтоб научился.

—. Хысь, перестань заниматься...— вскочил Женька.

И тут же метнулась острая пиковинка, вонзилась ему в щиколотку. Женька, зажав рану, несколько секунд смотрел на Хыся. Тот поигрывал пиковинкой. И Женька с разворота воткнул Валерке резкий, злой удар, повернулся и, прямой как струна, чуть прихрамывая, отошел в сторонку, плюхнулся на траву.

— Понял, как надо бить, Лупоглаз?! Хе-хе... Балда!

— А!

— На. Работать надо. Чего ждешь? Иди врежь этому,— указал теперь Хысь на меня.

Балда, кажется, давно перестал понимать, что происходит.

— Зачем?

— Чтоб дураками нас не считал. Мы же с тобой не дураки, правда? Врежь этой сволочи.

Балда вконец отупел, его и без того косившие глаза вовсе съехали к переносице.

— Ты сегодня пойдешь со мной? — подступал к нему Хысь.

— Ну.

— А этот не хочет, ему на нас плевать!

Балда тяжело поднялся, крепко двинул мне в лоб.

— Ну и че ты добился? — спросил меня ласково Хысь.

Рука его подбрасывала пиковинку. Я молчал. Пиковинка сработала. Дождалась и моя нога. А не так больно, как я представлял.

— А теперь давай отсюда... На глаза не попадайся — убью!

Я сидел на песке, зажимал рану, под ладошкой густилась липкая жидкость. Остро ныла нога. Лучи солнца пощипывали лоб. Было пусто и тяжело. Пусто и муторно. Тогда я впервые ощутил себя маленьким и тщедушным.

— Хысь, я же не против, я пойду, просто...

— А чего тогда вылуплялся?

Я не знал, что ответить, сказал:

— Прости, Хысь.

— Я не злопамятный, но помни, Геныч, помни... Ты же чувак что надо! А за это,— Хысь показал на рану,— не обижайся. Эта хреновина заживет, а за науку не раз спасибо скажешь.— Хысь постучал меня дружески по спине и обратился ко всем: — Хмырики, а ну-ка, сядем кружком, поговорим ладком. Тяжкий

вы народ, с вами потолковать нельзя, сразу драку затеваете...

Он принялся объяснять подробности ночного дела. Я слушал. Было все равно. Было чуть хорошо — кончилась пытка...

В темноте становятся различимыми контуры берега. Хысь по-прежнему лежал в носу лодки. Ну, вот еще гребок, еще... И если он не велит лодку повернуть по течению — была такая надежда, что на нервах просто играет Хысь,— значит, действительно придется лезть в этот проклятый магазин против всякого здравого смысла... Бог ты мой, как окоченела рука!.. Надо что-то предпринимать, иначе мы так и не вылезем, загнемся под Хысем. Если бы кто-нибудь сейчас начал, сказал хоть слово против Хыся, я бы поддержал, не отступился бы. Начать самому — вдруг останешься одиноким? Или того хуже — Хысю станут подпевать с перепугу: затурканы все. Жалкие, покорные Хысевы прихвостни! Холуи! На взводе, но молчим. Лишь дыхания наши слышны трепещущие, глубокие, они сливаются воедино, работают ритмично, в такт, а лодка продолжает двигаться к берегу. Узнала бы моя мама или, того хуже, Светка, как сижу тут и дрожу!.. Надо, надо самому. Тогда, может быть, я буду себе не так противен. Обо что это трется нога?.. А, да, Женькин топорик. Так, пора, надо. Только не лезть на рожон, говорить спокойно.

— А ведь того... Дурость это, магазин сейчас брать,— вдруг опережает Балда.

Жалко, сбил настрой.

— Не воняй, тебя только я не слышал,— бросает небрежно Хысь.

— Хысь,— говорю я и сам удивляюсь своему голосу, чужому, затаенному, но, чувствую, убедительному.— Хысь, ты же страшно рискуешь. Подзалетим, сколько нам дадут — ерунду, а тебе на всю катушку накрутят, а тут есть шанс подзалететь, немалый.

— Брось ты строчить, никакого шанса нет. Некому тут ловить, одно старье живет. Но, Геныч, ты верно базаришь: повяжут, вам даже срока не будет: малолетки; на поруки возьмут, самое большее — условное кинут, а мне — червонец, если не больше. Делаем так: я остаюсь в лодке, вы одни берете магазин. Хватит на тятиной шее ездить. Начнется шухер — я вас не жду.

— Как не ждешь? А куда мы? — оторопел Женька.

— В Красную Армию! Куда!.. Руки в ноги — и вдоль дороги. Делай, дура, так, чтоб не засекли.

— Как это ты нас не подождешь? — недоумевал Балда.— Вот если мы будем бежать и за нами будут бежать — и ты возьмешь и уплывешь, что ли?

— Нет, побегу вам навстречу. Связался с сосунками. Я же вам толкую: вам ничего не будет, а мне накрутят. Один Геныч человек, понимает. Скажи им, Геныч... Войдочат, точно их уже повязали. Ноги только схóдите разомнете. Верняк дело. Ну, если че, меня с вами не было — ни там, ни здесь. Секете? Были вчетвером, лодку течением унесло. Секете?

Ну и молодец Хысь! Почуял, наверно, что почь-то добром не кончится, даром не пройдет,— наследили много. Вот и замыслил чего-то хитреньким своим умишком. Верно люди про таких говорят: на пупе вертится и живота не примарает. Подлюка, какая подлюка! Мы с ним по совести, а он — без совести; мы с ним по совести, он — просто пользуется нами.

— Хысь, сдался нам этот магазин! Идет он боком! — Женька и недоумевал, и возмущался, и вопрошал.

— Заболело, мать вашу!.. Говорю же, все будет на мази!

— Погоди, давай разберемся. Мы сейчас вылезем, а ты уплывешь, так, что ли? — пытался уразуметь Хысево предложение Балда.

— Так, Балда, так,— подначил Валерка.— В тюрягу, говорит, садитесь добровольцами, а я на свободе буду гулять.

— Заткнись, а то счас воду хлебать будешь! Как котенка!..— окрысился Хысь.— Только о себе, только о себе! Я один, один пойду возьму этот магазин! Один, поняли, суконки!

— Хысь, Хысь, ну чего ты? Мы с тобой, я думал...— начал было оправдываться Балда, но Валерка его перебил, вскочил и закричал, захлебываясь:

— Врешь ты все, врешь! Понтом давишь, никуда ты не пойдешь! Мы пойдем, но знай: если нас заловят, я все выложу, все! — Валерка выплескивал, видно, давно подступившие к горлу слова, и голос его пробирал. Казалось, река даже заголосила.— Пусть сам больше получу, ну, чтобы и ты дольше сидел! Вот так! Сволочь ты, мразь, гад! Клоп вонючий! Присосался и кровь из нас сосешь! Фашист! Понял ты кто — фашист! Тебя в концлагерь, ты бы тоже из людей абажуры делал!

— Из тебя бы точно абажур сделал, только хреновый выйдет — вони много. Я тебя лучше рыбам скормлю. Сам прыгнешь

или помочь? — сказал Хысь, непривычно сдержанно, спокойно, собранно.

Я сидел перед ним, Валерка был сзади, и крик его, исступленный, проходил сквозь меня. Во мне все подобралось, натянулось до последней жилочки, дыхание остановилось: мелькала, захватывала одна чудовищная и простая мыслишка...

— Ты будешь прыгать, Хысь,— выдохнул я.

...Какое гладкое топорище, какое гладкое, отшлифованное ладонями Женькиного отца... Какие непослушные, окоченелые пальцы... Обухом или острием?..

— Кто это? В упор не вижу.

— Я, Хысь, Генка, Глиста по-твоему.

— Ой-ей, как красиво заговорили! Величием духа хотим Хыся сразить? Кинух насмотрелся. Это там какой-нибудь мозгодуй скажет человеку пару ласковых, у того и руки опускаются. Я ж темный, всех этих психологиев не понимаю, я тебе еще этими руками пасть разорву!

Я поднялся с топором наперевес. Хысь шарахнулся назад, взвился, встал на самый краешек лодки, залепетал:

— Геныч... Геныч...— И вдруг гортанно провопил: — Сядь, суконка!

Я почувствовал, как ослабли коленки, и, сопротивляясь этой засевшей в меня покорности, распрямился и подался вперед...

Хысь падал долго. Клонился, клонился, а потом плюхнулся в воду и не издал ни звука.

Обухом...

Лодку несло течением. Я стоял. Было тихо, было удивительно тихо. Тихо и мертво. Лишь шла лавиной темная вода.

Вдруг вода разорвалась, и на поверхности показалась голова человека. Человек несколько раз взмахнул руками и схватился за борт лодки. Стал подтягиваться. Женька взял из моих рук топор...

Острием...

И снова тишина. Напряженная, полная ожиданий. Но теперь ее чуть нарушал слабый ветерок, разбиваясь с шипением о лесную чащу...

И снова лопнула водная гладь, совсем рядом с лодкой. Руки поднялись, уцепились за край борта. Съехали и опять уцепились. Женька подал топор Валерке. Тот ударил не глядя, через борт.

Обухом...

Руки исчезли. И вдруг показались с другой стороны. Они лезли и лезли, было что-то ненормальное в этом, будто зверь водяной цеплял лодку щупальцами, норовил потопить... Никак ОН не хотел погибать, ОН жить хотел и лез...

Балда встал, широко расставив ноги, высоко взмахнул топором...

Острием...

Теперь тишина была долгой, прочной, поверхность воды незыблемой. Лодка, мерно покачиваясь, двигалась неуправляемо, боком. Даже сквозь мрак вода клубилась бурыми подтеками. Я сел, едва заставив гнуться непослушные колени. Ночь еще больше потемнела, словно огромная летучая мышь накрыла нас когтистыми своими крыльями. Я словно тыкался лбом в выросшую из тьмы и мрака стену, такую же непроглядную, как тревожащая гладь воды, только что покрывшая человека.

Зачем это все, зачем? Зачем со мной?! Неужели со мной?! И я ли это? Что же теперь, конец, конец всему? Как же так?! Жил, жил, и вдруг такое! Я совсем другого хотел! А этого не хочу!

Мысли, чувства как-то разом, единой массой толпились в голове, они даже не путались, не бились, а ошеломляли, уходили куда-то сквозь эту темную стену и, не цепляясь ни за что, тонули в бездне... Они уходили, но не покидали, не освобождали. Безысходность, наверное, это и есть безысходность. «Ы-ы-ы» — послышались всхлипы. Валерка, Валерка не сдержался. Никто не греб. Я знал, почему никто не гребет. Внезапно Женька, словно сорвавшись, схватил свою доску, встал на колено и стал остервенело черпать за бортом, черпать за бортом... и, поддаваясь его порыву, мы все трое кинулись к бортам и, превозмогая внутреннюю жуть, страх перед силой, которая там, в воде, может схватить и утянуть, принялись неистово откидывать вдоль борта воду, грести, грести...

Когда мы подплыли к городу, уже светало. Небо было чистым, бледно-серым. Лишь на западе, куда угнал тучи ветер и, казалось, там спрессовал их, оно темной полосой падало на землю. Причалили к плоту у сплавконторы, хотя до дома оставалось далековато. Лодку потопили. Домой бежали на рысях: хотелось побыстрее закрыть за собой дверь, упасть в постель да спрятаться под одеялом. Нам с Валеркой пришлось еще лишний квартал дать, к Балде завернуть, забрать рюкзаки, снасти, с которыми мы якобы отправились на рыбалку. Краденое тоже у Балды всегда хранилось. Удобно. Дома такой

кавардак, хоть трактор завези, никто внимания не обратит. Там, кроме самого Балды, три таких «балдежника» живут, спасу нет. И смех и грех. Мать его, баба — родня какая-то, что ли? — и мужик — кем он доводится, не поймешь. Все трое дружно запиваются.

Разбудила меня мама.

— Рыбак, рыбак, вставай. Всех невест уж разобрали,— услышал я сквозь спадывающий сон ее голос.

Он был, по обыкновению, теплым и ласковым и пробуждение сделал радостным. Я открыл глаза и тотчас зажмурился от яркого солнечного света. Под веками проплыли огненные блики. Вновь осторожно открыл глаза. В верхнем углу окна сиял осколок солнца. Полыхал и косил жарким глазом купающийся красный конь с голым мальчиком-седоком над моей головой. Мама стояла в дверях, от нее тоже исходил свет: в глубине больших карих глаз горели маленькие фонарики, просвечивали невесомые волосы на висках, овал лица очерчивал ободок золотистого инея.

— Погляди, день-то какой выдался! — сказала мама и повернулась к окну.

На кончике ее носа на миг вспыхнула солнечная бусинка. Вспыхнула и погасла, как и моя утренняя радость. Все тут же померкло, показалось ненужным, лишним, недоступным мне. Вспомнилась прошедшая ночь, темная и злая.

— А рыба где твоя?

— Рыба? — Я как-то сразу не понял, о какой рыбе идет речь, растерялся, но ответ был заготовлен еще вчера, и что-то за меня, суетясь, произнесло:

— В реке.

— Ты что такой стал? С лица весь спал.

— Я? Нет. С чего ты взяла?

Больше выносить я маминого взгляда не мог, он проникал в меня. И, стараясь быть бодрым, сбросил одеяло, подошел к окну, потянулся, вскинув руки вверх, сказал:

— Эх, погодка сегодня!

А спину так и сверлил мамин пристальный взгляд.

— Какой-то ты не такой стал, Гена. То, бывало, гляжу: идешь по переулку, улыбаешься, пряменький, как свечка, а теперь сутулишься, как старик идешь. Что с тобой, Генка?

— Старею,— попытался я взять шутливый тон.

— Нет, Гена, неладно что-то с тобой. Ты скажи, если что случилось, легче будет.

Я помолчал. Ох, с каким трудом давался мне этот разговор!

— Мам, снова начинаешь. Ничего не случилось. Кажется тебе просто. Ну где я сутулый? Вот, смотри, какой прямой,— встал я боком и попробовал разговор перенести на другое.— А ты сегодня выходная, что ли?

— Выходная. Гена, я же не слепая, вижу,— продолжала мама свое.— Зачем ты с этим оболтусом связался? Как его, Хысь, что ли? Он ведь вечный тюремщик. До добра такая дружба не доведет.

— Да не связался я ни с кем.

— Гена, и люди говорят, и сама сколько раз видела. Вот как-то шла — вы на бревнах вместе сидели. Но мне даже на ум не приди, что вы в его компании. Сидите да сидите. Много вас там сидит.

— Ни в чьей я не компании! Мало ли с кем сижу. Развязался уже...

— Может, он тебе пригрозил как?

— Мам... Ну... Все в порядке.

В огороде напротив Светка выхлапывала половики. А ведь она до чертиков красивая, подумал я. Повзрослеет немного, влюбится в кого-нибудь, выйдет замуж, а я буду далеко-о... Мама подошла, посмотрела туда, куда и я, вздохнула тяжело, бог знает о чем подумав, сказала тихо:

— Иди ешь, пока не остыло. Рыбу поджарила. С утра сходила наловила в магазине. Поешь. В рыбе, говорят, фосфор, он для костей полезен и для ума...

— Ну, если для ума...

Лениво потыкал вилкой в сковородку, пожевал через силу белое рыбье мясо. Отчего-то всему телу было неприятно, будто от грязи заскорузло. Я собрался, пошел в баню. Мылся, мылся, драил себя вехоткой, стегал веником, который больше был похож на голик — пользованный, на окошке подобрал. Снова терся вехоткой, ополаскивался и все равно казался себе грязным-грязным!

Прямо из бани направился к Балде — мы обычно собирались у него или на речке. Шел, утешал себя тем, что посидеть в тюрьме даже интересно. Вспоминал тех бравых парней, мужиков, которые возвращались из заключения. Они сразу становились кумирами улицы. Выходили вечерком с гитарой, пели жалостливые воровские песни, красовались наколками, поглядывали на нас, окружающих пацанов, парней, пренебрежительно, свысока. Но это те, кто сидел недолго. А, скажем, дядя

Толя, сосед, вернулся после двенадцати лет. Он не тыкал в глаза наколки, не ходил царьком, а, наоборот, дичился людей, молчал. Лишь когда выпивал, появлялась в нем та широкость, вольность в движениях, презрительность к окружающим. Если же перебирал, то пускал слезу, рвал чуб и повторял одно и то же: «Эх, мазурики, большая Россия, большая! Ох, какая большая! Как вас там в учебниках учат? Можно всю Россию ногами промерить?! Нельзя!..»

Когда я подходил к дому Балды, навстречу попались и стремительно проскочили мимо мать его, баба, родня эта самая, и мужик. Видно, деньги раздобыли. А в магазин они всегда ходят вместе, гуськом — отправь за бутылкой кого-нибудь одного, точно не вернется, не донесет.

Женька и Валерка были уже на месте. Так мы и просидели чуть ли не до самого вечера, четыре гаврика, четыре затравленных волчонка, притаившихся хоть и в ненадежном, но укрытии. За стенами, провонявшими разными неопределенными запахами, было спокойнее. Я раньше у Балды долго находиться не мог: тошнота подбиралась. А уж есть из их посуды — никакие силы бы не заставили. Теперь ничего, даже суп от безделья похлебал. В хаосе, грязи, мрачной комнате, куда с трудом пробивался сквозь засиженные мухами окна свет, было, собственно, приятней, чем дома, в чистоте и порядке, свойственней. Наверно, в самом деле по Сеньке и шапка должна быть. Иногда предлагал кто-нибудь ход: пойти с повинной в милицию, удариться в бега, признаться в краже, но смолчать о Хысе, сказать: уехал он. Но говорили без веры, в голосе чувствовалось сомнение, и предложения тут же угасали. Лишь Женька, бесконечно и бесцельно тасовавший карты, горячился, вскипал:

— Да бросьте вы паниковать, никто ни про что не узнает. Кто Хыся искать будет? Нет его — и не надо! Пропал — и хорошо! А если заподозрят, вызовут, наоборот, надо тюльку гнать: дел с Хысем не имели! Предлагал, да мы его подальше послали. Или такое затравить: по пьянке деньги показывал, говорил, намылиться хочет.

Я на это заметил, что утопленники всплывают. Женька настаивал на своем, злился, но не на паникерство наше, а на что-то другое: на себя, может быть, на неопределенность полнейшую, безысходность. Вдруг выкрикивал:

— Чего тогда сидите?! Идите, сдавайте себя ментам, идите!

Ответить ему было нечего. Я подумывал о признании, крутились в голове и разные оправдательные версии. Но пойти с повинной!.. Как подумаешь: надо встать, выйти из дома, сесть в автобус, поехать... Куда? В милицию! А потом все равно же тюрьма!.. Нет, завтра, послезавтра, только не сейчас. Жить хоть на помойке, хоть где-нибудь, питаться отрубями, но на свободе!

Сидели мы, как кроты в норе, и будущее потихоньку нависало над нами, темнело, темнело, как прошедшая ночь, придавливало неминуемой расплатой. Отмотать бы пару месяцев назад — ах, как бы я прожил!.. Совсем по-другому, совсем не так!..

А по улице бежали и бежали на реку стайками пацаны. Шли компаниями, парами, в одиночку взрослые. Кое-кто уже откупался, в основном малышня... Замерзшие, в одних мокрых трусах, босые, они смешно дергались, попадая ступнями на острые камушки, поспешали за катящимися впереди огромными баранками-камерами...

— Вы как хотите, а я плевал! — сорвался с места Женька. Что-то, видно, ему удалось сломить, повернуть в себе.

— Я видал! Что будет, то будет. Чему быть, того не миновать! Как курицы на яйцах, сидим тут. Что высиживаем? Может, последние дни на свободе. Толкаем тряпки, какие остались, и гуляем! Помирать, так с музыкой. Гуляем на всю катушку. Балда, доставай, что там у тебя за диваном!

— «Гулять», «гулять». Погуляли уже! — взбунтовался Валерка.— Думать надо. Должен же быть какой-нибудь выход...

— Выход есть, выход знаешь где...

— А правда, все равно пропадет же все... Хоть погудим! Правильно. Балда, доставай давай! Пошли к магазину.

Признаться, меня и самого подмывало желание стряхнуть с себя все тревоги, катись они к лешему, и — пир горой, дым коромыслом. Но когда Женька такое предложил, душа встала на дыбы. Одна мысль о гулянке противной сделалась, к краденому прикасаться не захотелось.

— Погоди, мужики,— остановил я Балду и Женьку.— Торопиться тоже ни к чему, а то еще больше дров можем наломать. Придумать мы сейчас тоже, однако, ничего не придумаем. Подождем денек-другой, там видно будет.

— Чего ждать? Пока нас не схапают? — налетел на меня Женька.

— Сам же говорил: кто Хыся будет искать, кому он нужен? Пошли лучше купаться.

— Правда, что мы переживаем? Хыся нет, мы же теперь сами по себе,— сказал Валерка, будто сделал открытие.

Мы спустились к лугу, который зеленым языком разлегся меж крайними огородами и рекой.

— Еколомене, еколомене! — воскликнул Женька, указывая на желтеющий средь зелени пятачок.— Гляди, Хысь лежит, нас поджидает!

Меня и, я заметил, Валерку передернуло. А Балда — на то он и есть Балда — попросту обалдел. Уставился оцепенело на песочную выбоину, где и вправду кто-то лежал. Мы с Валеркой, быстренько замяв в себе испуг, включились в Женькин розыгрыш, как это обычно бывает, когда кто-то попадается на удочку крепче других.

— Правда, Хысь! Не видишь, что ли, Балда? Во-он. Смотри, нас заметил, приподнялся.

— Бросьте вы,— говорил Балда, настороженно вглядываясь в человека на песке.

— Чего теперь делать будем? Может, по булыге выворотим?

— Бери, Балда, вон ту каменюгу.

— Бросьте вы... Не понимаю, думаете. Травите.

Балда вроде и не верил нам, но тревожился.

— Точно, Жека, надо по камню взять. Он же топорик твой...

«Наверно, со дна прихватил», — не докончил я, напоровшись на округленные разбежавшиеся глаза Балды. Подумалось: чего плету, чем мы занимаемся? Шутим? Так никому же не весело! Слишком другим занята душа. Нашли козла отпущения? На Балде свои страхи вымещаем. Слабость боимся выказать. Корчим каких-то героев, которым на все наплевать: как, Балда, страшно? А нам до лампочки, хы-хы-хы. Покривляемся маленько, подонимаем Балду и останемся довольны собой, нальемся ощущением: вот какие мы сильные да злые! Балда — парень тоже ничего, недаром с нами, но... мы друг друга поняли... Ладно Женька, он такой человек, тяжелых мыслей выносить не может; ему их надо в пух и прах разбить: в угаре разгула, лихих похождениях, в чем придется. Но мне-то нет, пора убедиться, мне-то надо их додумать, иначе станет тошно. И Валерке их надо куда-то определить, место найти.

Неужто перед Женькой уже пресмыкаемся! Или нажитая мудрость говорит: прятать свое кровное, человеческое поглубже, выставлять только шипообразное, едкое, то, с чем не попадешь впросак. Так вот и себя похабим: пусто же потом будет, противно! И отчего мы напоминаем Хыся сейчас: те же ухмылочки, дергания... Я даже плечи назад отвел и бедра вперед выставил.

Не то чтоб долго я стоял, думал, просто вдруг стряхнулась поволока с глаз и увиделась неестественность, ложность...

— Кончай,— перебил я Женьку, который подхватил мое словцо о топоре.— Когда шли сюда, мне, между прочим, несколько раз казалось: придем на луга, а там Хысь. Я даже вздрогнул, Женька, когда ты сказал: «Глядите, Хысь».

— Фу-ты, всю малину! Балда вон пошел уже булыгу выворачивать.

— Никуда я не пошел.

— Ну и что? Дотащит он эту булыгу, а потом мы, довольные, гоготать будем, а Балда глазами хлопать. Какая тут радость-то?

— Да не потащил бы я. Че я, дурак, что ли?— пробурчал Балда.

— Это я так, к слову, Мишка (его же Мишкой зовут). Не обижайся.

— Правдист нашелся. Думаешь, я меньше тебя Балду уважаю? Сто раз больше,— сказал Женька зло, но сдержанно.— Шутим же!

Мы, как обычно, стянули с себя рубахи, брюки, но нырнуть с разбегу в воду не получилось. Спешились на обрывистом бережке.

Величавая, могучая река несла свои воды, веселясь под солнечными лучами. Недра ее хранили великую тайну. Она, конечно же, не простит нам поругания над ней...

Поутру Женьки и Балды дома не оказалось. Встретили мы с Валеркой их у магазина, уже подвыпивших. У Женьки под глазом красовался синяк. Вчера, после того как мы разошлись, они все-таки малость торганули, выпили, явились к автобусной остановке, приставали ко всем подряд: «Мы тут мазу держим, шишкари, а ты кто?» Нарвались, видно, на людей добрых...

Идти на реку они не захотели, отправились мы вдвоем. Переплыли на мель и долго валялись одни на пустынном островке. Больше молчали. Валерка заговаривал о своем уме-

нии закладывать виражи на глиссере и о том, как плавал с отцом в верховье. Я слушал его плохо, думал о своем. Вспоминал, как в деревне пас с дядей своим лошадей.

С малых лет у меня к лошадям пристрастие, любовь. В младших классах во всех книжках слова «лошадь», «конь» чернилами пожирнее обводил, в тетрадке покрупнее писал. Припомнился один случай, я рассказал его Валерке:

— ...Забрался я на жеребца. Потыкал его ногами в бока — стоит. Стеганул хворостиной — ни с места. Разозлился и как начал по бокам его охаживать! Сорвался он с места и понес! Летит — ничего не разбирает, а уздечка почему-то на нем была такая, самодельная, без удил. Тяну я ее изо всех сил — куда там, прет, и все! Девять лет мне тогда было. А впереди — река и берег обрывистый, метров десять вышиной. Заплакал я, умолять его начал: «Стой, стой, остановись...» Замечаю, мужики сбоку бегут, руками машут, кричат, да толку-то! И вот надо же: перед самым обрывом как вкопанный встал. А я по шее, будто по трамплину, проехал — седла не было — и совсем уж на самый краешек обрыва приземлился, в сантиметрах каких-то! И тоже — веришь — нет? — как вкопанный, не шелохнулся. Стою сам не свой, внизу речка течет. Мужики подбегают, матерят меня на чем свет стоит... Не знаю, может, так случайно получилось, но до сих пор кажется, что жеребец меня специально к обрыву нес, сознательно. Не понравился я ему чем-то, самонадеянным, что ли, показался. Кони народ умный.

Валерка согласно покивал головой. Он был погружен в работу: вычерчивал пароходик на песке.

Далеко за полдень появились друзья. Сначала пошатались по берегу, потом, узрев нас, переплыли на мель. Женька с ходу понес:

— Че, суконки, лежите? Тсы. Меня какой-то бес попутал, а вам по сех пор! Друзья называются. Ангелы-архангелы! Не пьют, не воруют — чистенькие, тсы.— Женька ловко и часто сплевывал сквозь зубы.— На хрен мне нужны такие друзья, с которыми не выпьешь? А хочешь, счас заору на всю реку, что ты, Геныч, Хыся прикончил. Хочешь? Ха-ха, заболело?! Песок, поди, под тобой намок, ха-ха! Не боись, не такой гад, как некоторые. Я не отделяюсь! Я лучше на себя все возьму!

— Отойди в сторонку — солнце заслоняешь,— посоветовал я.

И тут мы немножко подрались. Я все надеялся, ждал, когда Балда с Валеркой нас растащат, но они стояли, как болван-

чики, и смотрели. Бить Женьку — не бил, просто останавливал пыл. А он вдохновенно махал по воздуху, пролетал мимо, падал. Наконец остановился и сказал:

— Хватит или еще? Смотри не скись больше — угроблю.

Потом бросился в воду, окунулся, вернулся обратно, упал на песок, закрыл лицо Валеркиной рубахой и уснул. Мы сидели около него. Валерка и Балда о чем-то говорили, неважном. Я смотрел на них, и они как-то отстранялись, отдалялись, виделись будто через толстое стекло: видно, а не слышно. Собрал одежду, попрощался, переплыл на берег и пошел, точно даже не зная куда, вроде домой.

Шел, и со мной что-то непонятное творилось, охватывало какое-то общее удивление. Была странная дорога, по которой тысячу раз хаживал; измытая дождями, изветренная, иссушенная солнцем, она покрылась паутиной морщинок, как древняя старуха. По обочинам разрастался пучками клен, еще недавно его и в помине не было — этак он всю улицу заполонит! Переходил шоссе — плавившийся от жары асфальт мягко проминался под ногами, грел ступни. И в этом что-то было необыкновенное, необъяснимое, но приятное... инородность какая-то чувствовалась. На остановке автобуса стоял мужик с игрушечным почему-то голубым конем в руках. Мужика распирала радость! Счастье! Чудеса, раньше бы мелькнул перед глазами какой-то мужик с конем, я бы даже на него внимания не обратил, а теперь видел счастливого мужика с голубым конем, почему-то голубым!.. Сейчас вот придет домой, сына осчастливит и жену. Он и счастлив-то, предвкушая их счастье! Хорошо! Подошел автобус — располным-полна коробушка! Интересно, какое будет настроение у мужика и отношение к коню, когда он станет втискиваться в двери... Мужик заметался, подбежал к заднему выходу, кинулся к переднему, вернулся обратно — настроение испортилось. Попытался пристроиться бочком — конь мешает. «Надо повернуться спиной и плечом дать вануть»,— мысленно помогал я мужику. Он так и сделал. И бросил оправдательное через плечо: «В тесноте, да не в обиде». Прижал коня к груди — снова счастлив! И мне легко вздохнулось, отпустило душу, высвободило ее из жестких оков — человеком себя почувствовал. Жить захотелось! А всего-то навсего что случилось — я з а м е т и л человека, мужика с голубым конем!

Улица, вздымаясь волнами, растянутым конусом поднималась вверх и заканчивалась темной щеточкой леса, втыкаю-

щейся в небо. Прыгая по взъемам, ползла вверх дорога. Карабкались дома, цепляясь за склоны заборами.

«Жизнь — это совсем другое-другое!» — пронзила меня с ног до головы мысль, наполнила силами, с которыми не было сладу. И я, поддаваясь общему движению ввысь, рванулся и побежал, не чувствуя ног. Уверенность появилась: все будет хорошо, должно быть, сумею сделать, чтоб было! Перед матерью покаяться захотелось. Не прощения вымолить — до смерти теперь вины не искупить,— а покаяться: я же другой, другой!..

И вдруг из общей картины вырвалась фигурка, маячившая впереди. Я сразу сбился с ходу. Она тоже бежала, точнее, шла вприпрыжку, спешила мне навстречу. Черные волосы то метались из стороны в сторону, то плескались над головой. Парило (знать, к дождю), и очертания ее тела, которое плотно облегало светлое знакомое платье в горошек, виделись чуть размыто.

Как здорово — встретить ее именно сейчас! Ничего лучшего представить нельзя! Пожалуй, я с речки-то пошел не домой вовсе, а ее увидеть, Светку. Мы сближались. По ее виду, по продолговатым разлетающимся в тревоге глазам я заподозрил что-то неладное.

— А я к тебе,— обронила она.

— Да, а чего?

— Не знаю... Хыся убили. В реке его сегодня нашли. Папа видел. Сплавщик у них один багром зацепил. Но его, говорят, сначала убили, а потом в воду скинули.

Я смотрел на нее и молчал. Смотрел и молчал.

— Убили, значит, Хыся,— выговорил наконец.— А я думал, куда он пропал? Нет и нет, как в воду канул. А он и вправду в воду. А ты-то что переживаешь?

— Сама не знаю. Как узнала, так чего-то испугалась. Тебя искать побежала. Вы же в последнее время всегда вместе были.

— Ну и что?

Она пожала плечами.

— Испугалась: закуют твоего соседушку и, как поется: «По дороге завьюженной — из Сибири в Сибирь»,— бухнул я залихватски.

Теперь она смотрела и молчала. А во взгляде было столько растерянности, испуга, готовности, что он меня выпотрошил напрочь. И опять — камень на сердце, жить неохота.

— Как закуют, Гена?

— Да ерунду всякую плету. Не знаешь, что ли, меня,

дурака? Чего стоим? Подумаешь, Хысь... Пошли,— устало, виновато сказал я.

Светка шла чуть поотстав. Нагнала, пальцы ее скользили по моему запястью, цепко обвили ладонь.

Так мы и шли, держась за руки, прямо и прямо, мимо проулка, где стоят наши дома, в гору и в гору. Сладкая немота завладела рукой, обволокла грудь, прокралась в ноги. Я почти перестал существовать, переселился в маленькую руку, где чувствовал другое, совсем иное тело, слышал стук совсем иного сердца. Там, в сомкнутых ладонях, зарождалась какая-то своя, удивительная, хрупкая, неведомая до сей поры жизнь.

Лес приближался. Небо снималось с верхушек деревьев и отодвигалось дальше и дальше. Сосновый лежняк захрустел под ногами, мы брели меж деревьев и все боялись открыть рот, сказать слово, расцепить руки. Было хорошо и отчего-то немного стыдно. Лес пах чистотой. В хвойной крыше над головой солнце застревало, распадаясь на тысячи осколков. Чуть впереди зияла большая дыра. Она шла длинным коридором, словно выход в небо. В этот голубой просвет так и захотелось подняться — прямо вот так вот, держась за руки...

В то же время тяготило, держало душу то, ночное, халупка Балды... Я остановился:

— Свет, только не пугайся...

...Мы сидели под молодой раскидистой сосной. Светка тихо плакала, говорила:

— Ничего, как-нибудь, не переживай...

Я гладил ее по волосам, утешал. Неожиданно для себя поцеловал. Первый раз в жизни поцеловал! И еще раз, и еще...

— Люблю,— слышал я шепот.

Захотелось раствориться, растереться, утонуть в ней, умереть...

Потом мы сидели, прислонившись к стволу, едва касаясь друг друга плечами, в маленьком хвойном мирке, огражденном от большого мира рядами веток и еще чем-то, что было в нас.

— Я хочу с тобой... Туда можно... кем-нибудь... на работу устроиться?..

«Родная ты моя! Люблю тебя!» — хотелось закричать на весь лес, подхватить ее на руки и закружиться смерчем. Да так душа, видно, переполнилась, отяжелела, что глаза стали застилаться мутью, к горлу подкатил комок. И я всего лишь прошептал:

— Светка ты, Светка! Светка ты, Светка...

Пришел из леса домой, когда еще смеркалось: было твердое намерение поговорить с мамой, рассказать обо всем. Настроился, подобрал слова. Мама, довольная моим ранним приходом, замесила блины, которые я очень любил, принялась печь. Проголодавшись до посасывания в желудке, сворачивал я их, горяченькие, рулончиком, смачно макал в масло, ел. Настрой размяк, да и не мог выложить в этот момент страшную свою правду. Так и лег спать.

С темнотой хлынул дождь. По окну вразнобой барабанили капли, царапали в порывах ветра стекло.

Утром за мной приехали. Было мозгло, заиндевелое солнце едва дотягивалось до сырой земли. Мама не плакала, не рыдала, она просто не могла постичь того, что происходит, лишь глаза каменели в вопле.

Вся округа нас оплакивала, жалела. Хыся ненавидели, многим в жизни он досадил, легче людям без него дышалось. О нас говорили почти как о героях. Хулиганства, воровства в счет не брали, вспоминали лишь хорошее. Рассказывали, дня через три-четыре о нас судачили уже и в Городе, и на Новостройке. Случай перерос в легенду, где мы получались этакими святошами, решившими покончить с бандюгой, с которым милиция совладать не могла. И надо заметить, следователь наш как-то сказал: «Да, облегчили вы своему участковому жизнь...»

Мне и Валерке школа дала отличные характеристики. Учителя были ошарашены, изумлены: как это ребята, хорошо успевающие и вполне приличного поведения, могли совершить столь тяжкое преступление! Но одно дело симпатии, другое — закон. А статей и пунктов набиралось немало. Только общий иск по кражам составил восемь тысяч рублей! Мы таких денег, конечно, в глаза не видывали. Сбывали все второпях, дешево, за бесценок. И большую часть Хысь себе забирал. Срок лишения свободы получили мы одинаковый: по десять лет на брата. Во время следствия, суда как подельники-соучастники находились мы отдельно, а после все четверо попали в нашу же городскую «малолетку». Мы старались держаться вместе, но контактовать нам было нелегко: Женька рвался верховодить — только у него не получалось, петушистый больно; Валерку крепко скрутила досада на жизнь — тень тенью ходил; Мишка

метался от одного к другому, особо не переживал, прибивался больше к Женьке: с тем было надежнее и проще. Меня поначалу тоже сильно угнетала мысль о будущих годах, но постепенно она рассосалась. Я много думал о себе, о том, что же произошло со мной, и о том, как бы надо жить. Память копошилась в прошлом.

Вспоминались бесконечные выпивки — большого наслаждения от вина никогда не испытывал, наоборот — противно было; драки, победы не приносили радости, давить в себе чувство жалости к битому приходилось; воровство — деньги, таким путем добытые, без зазрения совести тратить не мог. Не покидало меня ощущение необязательности происходящего: можно так, а можно иначе — какая разница? С душой своей мы вроде как врозь жили: я двигаюсь, стараюсь выглядеть, она смотрит — болеет.

В памяти сладостью отзывались, силы придавали те минуты, где душа всецело оживала, без оговорок.

На лето я всегда уезжал в деревню, к дяде. Добраться туда не просто: сначала до райцентра на автобусе, а дальше — на чем бог пошлет. Ну, обычно попутка подворачивалась быстро: выйдешь к мосту — едет, проголосуешь — остановится, довезет. А однажды поехал — тринадцать лет мне было,— дотемна у моста простоял, и ничего. В этом поселке, райцентре, тоже есть родня. Можно было остаться, переночевать. Но мне страсть как хотелось к дяде Василию, чтоб утром уже вместе пастушить. И я отправился пешком. А путь не ближний — пятнадцать километров! Иду, хоть ночь и звездная, но все равно темень, а дороге конца-краю нет. Кажется, вот поднимусь на гребешок холма — и там внизу замаячат темные домишки. Поднимаешься — на донышке глубокой ямы лишь дорога чуть белеет, и далеко впереди срезает небо новый гребешок. А в каждом ухабе мерещится притаившийся человек, куст чудищем смотрит, а в роще лесные люди поджидают — верить начинаешь: есть такие. Отгоняешь жуть, храбришься, а внутри все тает, сердце трепещет, как у птенца. А на подходе, поодаль от дороги,— могилки. Тут и вовсе захлестывает, лезут в голову страшные истории. Но я дошел и был вознагражден: все так удивлялись, радовались мне, охали да ахали, и оказалось, что утром дядя Василий погонит скот в другую деревню за сорок километров и, конечно же, возьмет меня с собой! Спать устроился на вышке — привязал к ноге веревку и спустил ее в сенки над дверью: боялся, забудет разбудить дядя Вася второ-

пях или тревожить не захочет. А так выйдет, упрется глазами в веревку — поневоле подергает. Когда следующим вечером мы пригнали скот, я едва сполз с коня, ноги подкашивались, зад одеревенел, и, не в силах снова сесть в седло, обратно ехал на попутном мотоцикле. Но был счастлив и вполне доволен жизнью. Заготовитель, как выяснилось, на меня тоже выписал наряд, и ко всему прочему удовольствию я еще и деньги получил. Купил на них платье сродной сестре в ее день рождения и был счастлив втройне, осознавая себя тружеником и взрослым человеком! Прошедшим летом у меня не выводились деньги из карманов, но мне и на ум не пришло кому-нибудь сделать подарок. А если и сделал бы — мало радости от того получил.

Часто вспоминался сам дядя Василий: сидит на самой спокойной, надежной лошадке, беломориной попыхивает, поглядывает задумчиво, в глазах грусть и тихая улыбка... Неспешный человек, неразговорчивый, к лошадям привязан, ничего особенного в нем вроде нет, а тянуло к нему — теплота от него исходила, любовь...

Мне в колонию Сашка Кулебякин письмо прислал, где писал: главное в жизни — любимое дело найти. Может, так... Мудрец он, Сашка. Главное не главное, но, глядя на дядю Василия, да и на самого Сашку, можно твердо сказать: есть у человека любимое дело — жива его душа, крепка.

Лежа на нарах в бараке после тяжкой работы, снова и снова, в сотый, тысячный раз проживал я памятью тот последний день: дорогу, мужика с конем, удивление свое, Светку...

И вновь наступало просветление, понималось, сколь много может принести человеку совсем бы вроде малое, но увиденное открытым, сопричастным с этим малым взглядом. И как важно стряхнуть шоры с глаз: видеть, замечать,— душу же надо кормить, иначе она обречена на усыхание и хворь. И что значит для человека любовь, тепло и участие другого человека! Читая Светкины письма, где писала она и о делах, и о мыслях, и о чувствах своих, я ощущал себя великим счастливцем!

Мамины весточки были для меня радостью и мукой. Как проклятие смотрел на меня тот тяжелый, окаменелый взгляд. И так немного хорошего она видела: муж, отец мой, бросил нас, когда я маленьким еще был; мыкалась со мной, ребенком, на руках по квартирам. А кровиночка отплатил: хлебала мать

горе ложкой — черпак подал. Как-то однажды завела она разговор насчет одного человека, который мог бы с нами жить: мне отцовские руки нужны и ей легче. Я не то чтоб против был, но какая-то злинка взыграла. Ответил: мне, мол, без всяких отцов хорошо. А самому ведь хотелось отца. Приду, бывало, к Валерке — у них дома инструменты разные: слесарные, столярные,— так зависть возьмет, аж сердце защемит: отца охота. А теперь она одна совсем осталась. С чего ради я считал нормальным, что мама для меня только живет? Не умел о ней подумать, разглядеть заботы, сложности... Почему мы задним-то числом умны?!

Потихоньку в сознании очищался, выкристаллизовывался взгляд на себя. Не всему находились слова, но, как озарение, постигалось: надо заботиться о своей душе. Непрестанно глядеть внутрь себя, проверять желания, поступки по тем лучшим чувствам, которые тебя иногда посещают. Помнить о том, что полнило тебя, насыщало, давало жизнь, а что откликалось пустотой и нездоровьем. Грязная душа, как и тело, не дышит, червоточит; дурная пища в душе, как и в желудке, вызывает колики... О родстве не забывать: в нем — ты.

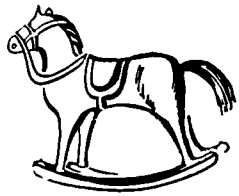
Страшно прожить жизнь, не распознав, что же в этой жизни мое, а что чужое.

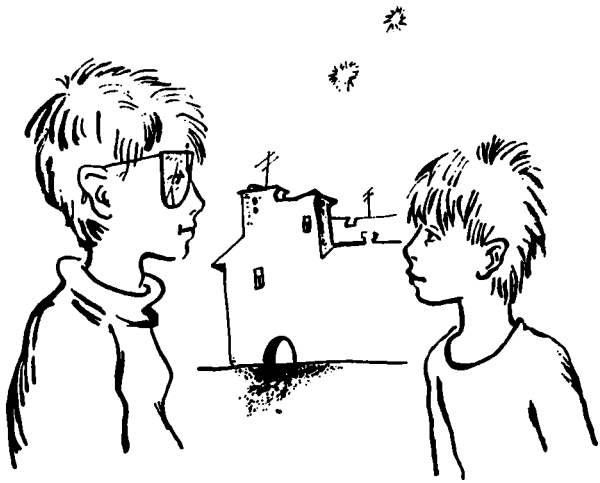
Страшно прожить жизнь мимо себя, не увидев света своего «я», не попытавшись до него дотянуться.

Временами находило удивительное, сладкое чувство: казалось, могу взять и потрогать свою душу — вот она, вот то, что дорого ей и любо. Остальное случайное, не мое.

Я опускаюсь мысленно на колени и молю у близкого и родного о прощении.

Челябинск 1978 г.





Наталья Соломко[1]

ГОРБУНОК

Повесть

Брату моему Лешке

Горбунов ходил тогда уже в школу, в первый класс, когда брат, недосягаемо старший, обратил на него свое царственное внимание и открыл свое настоящее имя. Была осень, брат вывел его на балкон, показал в еще теплом, прозрачном небе семь раскинувшихся в вышине звезд (а половину неба загораживал старый тополь, и оттуда слетали на балкон прохладные листья, желтые, с зеленым крапом на исподе).

— Видишь: средняя в ручке ковша?

Горбунов кивнул.

— А над ней — выше и левее — видишь?

[1] © Наталья Соломко, 1989

Выше и левее Горбунов ничего не увидел, но снова кивнул, боясь рассердить брата.

— Мы — оттуда.

— Кто «мы»? — не понял Горбунов.

— Ты и я.

Горбунов испугался:

— А мама?

Брат качнул головой:

— Мы подкидыши.

Горбунову стало холодно от этой тайны и страшно. Он чувствовал: брат ждет, что он скажет,— но молчал. Он не знал, что говорить.

— Только об этом никому,— велел брат.— Зови меня Алькор. Запомни: Алькор. Так называется наша звезда.

— Аль-кор,— повторил Горбунов, запоминая,— Алькор... А можно, я пойду погулять?

И Алькор отпустил его.

Горбунов вышел во двор, но там темно и пусто было, всех уже загнали домой. Он огляделся во тьме: песочница, щелястый, с выломанными досками забор хоккейного корта, старая яблоня... Это, оказывается, была чужая планета, и, поскитавшись в одиночестве по двору, Горбунов с ногами залез на скамейку у подъезда и задрал голову: там сентябрьское небо ломилось от звезд. Он сперва заплутал в этой незнакомой чащобе, но потом отыскал-таки Большую Медведицу (сразу за тополем), смотрел, смотрел — и разглядел свою родину. Она мерцала вдали, едва заметная.

Отца Горбунов не помнил (он был летчик-испытатель и погиб), а мама почему-то всегда была на работе. Потому, если его обижали во дворе, он ревел и обещал позвать брата. За это ровесники не любили Горбунова. Но не трогали. Так все малолетство он жил в тени брата и любил эту тень, дарующую спасение.

Брат был большой, семь громадных лет отделяло его от Горбунова. Звали его по-разному: мама — Бориской, во дворе — Бобом, а в школе он носил незатейливую кличку Горбунок.

Горбунов не звал его никак, для него это единственное, главнокомандующее существо долго оставалось безымянным; просто б р а т, могущественный ангел-хранитель (которого, впрочем, тоже следовало опасаться: он мог дать щелбана, запе-

реть в темной ванной или, сдвинув редкие рыжие брови, так глянуть со своей высоты, что Горбунов обращался в камень).

Мир в ту пору делился для Горбунова на три чудовищно неравные части. Самая ничтожная из них привычно отражалась в стареньком, с трещиной, трюмо в виде трех лопоухих худеньких мальчиков с жидкими темными челками, в любой миг готовых заплакать. Вторую часть составляли остальные люди, в большинстве своем неразличимо чужие, таящие опасность (зачем они? что у них на уме? и с какой целью их так много?). Третья же часть, самая громадная, громаднее всего мира, была б р а т; великанская его тень лежала на всей земле от горизонта до горизонта и уходила дальше, куда-то туда, за темные леса, за синие моря, за высокие горы, которые Горбунов, будучи городским ребенком, никогда не видал, однако знал из сказок и телевизора, что они есть...

Оставив же в стороне детское мироощущение Горбунова, не трудно представить, как они жили, два полузаброшенных мамой (она не смирилась с одиночеством и все искала свое счастье) мальчика в однокомнатной квартире облезлого пятиэтажного дома на окраине большого рабочего города, как питались, в основном макаронами и картошкой, ходили в неглаженых рубашках с оторванными пуговками, и каждый был сам по себе среди домашнего неуюта. Малолетний Горбунов все время пропадал во дворе, где хоть и не любили его, но иногда принимали в игру, а брат, в очках, косо съехавших на кончик носа, валялся на продавленной тахте, уткнувшись в книгу и позабыв обо всем на свете.

В ту осень, когда Горбунов узнал, что они нездешние, с другой планеты, жизнь изменилась: теперь они стали в д в о е м, теперь вечерами, забравшись с ногами на подоконник, они подолгу просиживали рядом, глядя в небо, разговаривая о своем доме там, в вышине. Горбунов-то по вполне понятным причинам ничего из той жизни не помнил, разве что большую черную собаку...

— Ее звали Пират, она тебя очень любила,— уточнял брат,— никого к тебе не хотела подпускать...

— Она сейчас там?

— Ну конечно,— отвечал брат.— Наверно, скучает по тебе.

Брату повезло, он многое знал и помнил о той жизни.

— Там все добрые,— рассказывал он,— все любят друг друга.

— Все-все?— удивлялся Горбунов.

— Ага.

— А какие там люди?

— Они смелые и честные,— припоминал брат.— Там так хорошо...

— И как мы потерялись? — вздыхал Горбунов.— Почему мы здесь? Вон ведь как далеко...— И близкие слезы подступали к глазам.

— Ой, ну перестань! — морщился брат.— Слезки на колесиках! Если хочешь знать, там никто не плачет, там...

Там, там о них помнят, там по ним, потерявшимся, тоскуют и когда-нибудь — о, непременно, не сомневайся — разыщут!

Наговорившись, навспоминавшись, братья замолкали на подоконнике, сидели, прижавшись друг к другу, а над ними громоздилось небо со всеми своими звездами. Если смотреть на них долго, становится страшно и холодно душе, но хочется смотреть еще, еще, ни о чем уж не думая, ничего не помня, зная только, что и там, за этой холодной звездной пустыней, с другой ее стороны, сейчас кто-то вот так же глядит, глядит сюда, пытаясь отыскать чужбину, где они потерялись.

По малолетству и неученности своей Горбунов еще не понимал, что он, тот, кто глядит сюда из-за звезд, далеко, так далеко, что будто и нет его вовсе. И даже если взглядам их — о, только взглядам — и суждено встретиться где-то там, среди звезд, то ох как нескоро: вот Горбунов сейчас ляжет спать, а утром проснется, пойдет в школу, вернется, сделает уроки, побежит гулять, а потом они с Алькором поужинают и опять заберутся на подоконник, и еще один день пройдет, они снова уснут и снова проснутся, наступит новый день, и еще, и еще, а потом наступит зима — снег, санки, Новый год,— но и она кончится, и снег растает, и — неужели это случится! — будет весна, а потом лето, каникулы, Горбунов перейдет во второй класс, потом в третий, в четвертый, вырастет, кончит школу, наверно, женится, и у него родятся дети, потом внуки, потом, когда-нибудь, Горбунов сделается совсем старый и умрет, и дети его тоже состарятся и умрут, и внуки, и все-все умрут, и Земля остынет — вот только тогда взгляды их где-то там, на полпути встретятся, может быть...

А вдруг там никого нет?

Ни-ко-го. Пусто.

Даже страшная мысль о своей смерти, про которую Горбунов уже знал, что она будет обязательно (может, у него не будет детей, жены, счастья, может, в жизни Горбунова вообще

ничего не будет, может, и жизни-то не будет, а так только — течение времени, тоска и скука, но смерть все равно придет, она будет; раз уж ты родился, то умрешь непременно), даже эта тоскливая мысль не пугала так, как подозрение, что т а м никого нет.

— Ты такой глупый,— усмехался Алькор.— А откуда тогда мы с тобой? Не бойся, отец нас найдет.

Но Горбунов боялся. А вдруг он просто позабыл о них, ну, женился на другой женщине и теперь ему и так хорошо?..

— Там так не бывает,— строго отвечал Алькор.— Там не забывают и не бросают в беде, это здесь так...

— А вдруг он умер? Ведь и там всякое бывает.

— Ну и что! — сердился Алькор.— Он же там не один, там наши, мы вернемся туда, мы обязательно отыщем друг друга. Только такому дураку, как ты, может прийти в голову, что там никого! Посмотри, сколько звезд, для чего они тогда, или ты думаешь, что это все просто так? Мы там живем, во Вселенной, это наш дом. Думаешь, почему она бесконечная?

— А она — бесконечная?..— почему-то похолодел Горбунов.

— А ты как думал!

— У нее нет конца, все звезды, звезды, звезды?..

— Ну.

Горбунов глянул в окно на бесконечную Вселенную. Это было непонятно. А за ней что? И откуда она взялась?

— Она везде, она была всегда,— сказал брат.— Понимаешь?

Горбунов кивнул, боясь обидеть его своей тупостью. Наверно, он потом поймет. Когда придет время. Ведь Алькор же понимает и говорит об этом спокойно. Наверно, это не страшно, бесконечная так бесконечная, подумаешь. Он тогда уже все решил, ну, что он обязательно вернется домой. Горбунов станет космонавтом. Вырастет, отыщет свою родину среди звезд, и они с Алькором улетят домой...

Во втором классе Горбунов от корки до корки прочитал учебник по астрономии и даже, поборов лень, начал делать утром зарядку (говорят, в космонавты без этого не берут), но, что такое вечность и бесконечность по-прежнему не понимал он. Нет, не понимал.

— Где она, эта бесконечность? Ну скажи, Алькор? И что за ней?

— Ничего. Говорю же тебе, она везде.

— Где — везде?

Брат сердился, отвечал непонятно. Горбунов, у которого глаза были на мокром месте, плакал от страха и неясной обиды. Чего он боялся? На кого обижался? Он не знал, только не давала ему покоя бездна над головой. Откуда она взялась? Кто там? Раньше было просто, раньше было над головой небо, голубое, с облаками, серое, с дождем, черное, со звездами. Было оно близко. Было оно просто так, не требовало внимания: небо само по себе и Горбунов сам по себе, не так уж часто мы подымаем голову. А когда ты знаешь, что это не небо вовсе, а вечность и бесконечность и ты — оттуда, попал как-то сюда непонятно зачем, то возникает масса вопросов.

Горбунов задавал их всем: соседям, учительнице своей Зое Васильевне, маме, когда она появлялась дома. Но никто не мог ему ответить. Ни про вечность и бесконечность, ни про то, откуда Горбунов взялся и зачем.

— Тебе еще рано это знать! — строго ответила мама.

Остальные взрослые удивлялись, пожимали плечами, сердились, что пристает со всякими глупостями. Были и такие, что умилялись, хвалили Горбунова за любознательность. Но все равно не отвечали. Обещали: «Вырастешь — узнаешь». Тайна это была, что ли, которую детям знать не положено? И опять же по малолетству Горбунов не предполагал во взрослых неосведомленности, он, как и положено в его возрасте, думал, что взрослые всегда все знают. Тогда пусть скажут! Горбунов стал совершенно несносен, все приставал и приставал — и нарвался однажды: старенький физик из старших классов честно сознался, что на эти вопросы ответов нет.

— Видишь ли, мальчик, этого никто не знает. Пока. Даже самые великие ученые...

— А потом? — прошелестел Горбунов, собираясь зареветь.

— Не плачь,— вздохнул старик, намерение это угадав.— Все впереди, мы обязательно все узнаем, не сомневайся.— Выцветшие, поскучневшие за долгую и, наверно, не шибко счастливую жизнь глаза его вдруг заблестели юной надеждой.— Может, именно ты и узнаешь, мальчик...

И пока не кончилась перемена, он торопливо и жадно говорил любознательному второкласснику что-то о человеческой жажде познания, о прогрессе, который неостановим, и еще о чем-то, Горбунову столь же непонятном, но как-то его успокоившем.

О том, что за страсть к познанию он в свое время отсидел семнадцать лет, старик, разумеется, говорить не стал.

«Вот вырасту и во всем тут разберусь»,— решил Горбунов.

Он долго не догадывался, что Алькор не видит их звезду. В Древнем Египте воины проверяли по ней зрение, а когда Горбунов тайком примерил очки брата, мир расплылся, расползся, глазам стало больно, будто их потянули под лоб суровой ниткой, потом долго ныли виски. В детстве брату попали в глаз железной пулькой — ну, на уроке баловались,— и уж это не глаз стал, а так, одно название. Вслед за левым стал слепнуть и правый, и ночное небо давно было для него пустынной тьмой. Это для Горбунова оно становилось по-домашнему ясным со всеми звездными окрестностями и закоулками: нашелся в школьной библиотеке старый, изрядно изодранный звездный атлас. Пах он пылью и мышами и выглядел как вещь позабытая, никому не нужная, и все-таки был это тайный знак Горбунову, дружественный намек на то, что они с братом не одни тут: ведь кто-то листал эти желтые, растрепанные по краям страницы с ерами и ятями, искал дорогу к дому.

Не сразу научился он отыскивать в ночной путанице неба созвездия, и дорога от Большой Медведицы до Малой казалась неблизкой и опасной, ведь звездную тьму там сторожил Дракон, караулил, чтоб не шлялись чужаки. Ну как не признает Горбунова? Пожив на этой планете, он и от неба ожидал унижения и каверз, но мироздание, хоть и обдавало царственным холодом, не обижало, открывалось темными далями, где догоняли и не могли догнать Большую Медведицу бедолаги Гончие Псы, где рядом с Волопасом притаилась огромная Змея (но звезда Арктур, как светофор, горела красным светом, предупреждала странников об опасности), где брел по Млечному Пути Персей и, чтоб разогнать мрак, нес пред собой звезду Алголь, и она то разгоралась, то гасла, будто свеча на сквозняке. Горбунов смотрел, смотрел, привыкая. Сперва с опаской, боясь заблудиться, не отходя далеко от дома, но это прошло, и все там стало знакомым Горбунову, своим. Каждую ночь созвездия медленно, важно вставали над горизонтом, проплывали над полуночником Горбуновым, как облака. Как жалко, что брат не видит, как обидно... А брат не грустил, запоем читал книги, чудесные книги с драными, рассыпающимися страницами,— Жюль Верн, Сабатини, Стивенсон, Грин,—

а потом рассказывал Горбунову об океанах и штормах, о «ревущих сороковых» широтах. И о зыбких огнях святого Эльма, пророчащих гибель, и о том, как посвистывает в снастях свежий ветер, рассказывал он, и о том, как грохает на рассвете о каменный берег мерный прибой. А какие чарующие, непонятные слова знал он. Бом-брамсель. Крюйт-камера. Фор-марсель. Все с черточкой посередке — для простора, в котором явственно всплескивала волна и прощально кричали чайки.

В большом заводском городе, где они жили, никакого моря не было, но и вычитанное из старых книг, оно было таинственно и прекрасно, звало брата к себе, может быть, даже пуще, чем настоящее. Неоткрытыми (неправда, что их уже нет, что-нибудь все равно да и осталось) землями, грозным простором, в котором играют (если что, они обязательно спасут) дельфины, и, уж конечно, парусами, влажно хлопающими на ветру... В общем, после десятого слепой мечтатель собирался в мореходку.

— Боря, ты спятил! — рассердилась мама, узнав про этакие бредни.— Слезь с небес и разуй глаза.

Алькор сидел, уткнувшись в книгу, делал вид, что ничего не слышит. Когда мама приходила домой, он становился угрюм и упрям, глядел мимо. А Горбунов ей радовался, ластился. Хоть он давно знал, что на самом деле они не родные дети, а подкидыши, он все равно маму любил, скучал, когда ее долго не было.

— Какая еще мореходка, тебя даже в стройбат не берут с твоим зрением! И учишься едва-едва, лентяй бессовестный. Все книжки свои читаешь. Чтоб они сгорели, эти книжки! Сколько раз я тебе говорила: перестань! Ведь совсем ослепнешь... Иди в пединститут, бездельник, и не выдумывай глупостей. Там, говорят, мальчиков и с троечками берут...

Алькор вскочил с пятнами на щеках, закричал на маму злым, срывающимся голосом:

— Не твое дело, отстань от меня! Иди к своему Толику и его учи, как жить!

Мама заплакала, Алькор тоже, и все бормотал, что не пойдет он ни в какой пединститут, он отлично все-все видит, он выучит наизусть таблицу, по которой проверяют зрение, он поедет в Одессу к знаменитому врачу и ему сделают там операцию. Он поступит, поступит, поступит в мореходку!

Это зимой было, а летом, кое-как сдав экзамены в школе, он

отнес документы в пединститут, на географический факультет, и провалился на географии.

Горбунов заплакал от такого горя, а брат только пожал плечами:

— Ну и подумаешь. Даже лучше, год поработаю в школе вожатым, опыта наберусь.

Забежавшая домой мама эти намерения не одобрила:

— Что ты там заработаешь? Вон учеником продавца пошел бы.

Но Алькор был непоколебим: только в школу.

Зачем он решил стать учителем? У него изменился голос, построжал, поскучнел, ни смешинки в нем не осталось, ни хмурой ласковости, и глаза сделались чужие за стеклами, все время что-то бдящие.

— Ты уроки сделал?

— Не-а.

— Немедленно садись, сколько можно говорить одно и то же. Не понимаю, чего ты добиваешься!

— А я погуляю и сделаю.

— Никаких гуляний, ты тройку получил. Учи уроки, лентяй!

Вот примерно так они теперь разговаривали.

Брат наставлял, заставлял, прорабатывал, а Горбунов молчал в тоске. Но хуже всего было, когда Алькор садился с ним за уроки и пытался объяснить то, что Горбунов не понимал. Непонятное от этого делалось еще непонятнее, брат смурнел, начинал свои объяснения сначала, а Горбунов, испуганный его раздражением, не понимал, не понимал, погибал от сознания собственной тупости, каменел от ужаса перед школьной наукой...

— Ну, понял теперь?

Горбунов молчал в отчаянии.

— Отвечай! — взрывался Алькор.

Он обзывал Горбунова придурком тупоумным, кричал, что он нарочно не понимает, назло.

Горбунов начинал хлюпать носом, но это не смиряло брата. И вот, хоть и был Алькор с дальней звезды, где все добрые, в такие минуты ничем не отличался от здешних учителей.

Четвероклассник Горбунов учителей не любил и боялся: это были люди карающие и чинящие расправу. Еще малышом

будучи, Горбунов уяснил для себя, что тетеньки на этой планете добрее дяденек, и, если что, искал у них защиты. Но эти тетеньки из школы были совсем другие. Безжалостные, с громкими голосами, они кричали, приказывали, наказывали, будто были не тетеньками, а только притворялись. Или заколдовывали их школьные стены?

Вот и брат стал таким.

Однажды, захлебываясь от слез, Горбунов крикнул ему:

— Не хочу, чтоб ты был учителем, не надо! Ты стал злой...

Алькор взглянул ледяными, суровыми глазами:

— Ты глупый, ничего в этом не понимаешь.

— Не хочу, не хочу, не хочу!..— твердил Горбунов.

— Учителя существуют для того, чтобы воспитывать из вас настоящих людей. Добрых, смелых, честных. Но вы не хотите быть такими. И за это вас наказывают — для вашей же пользы, чтоб вы исправились. Ясно тебе? Учителя не злые, а строгие, они тебе добра хотят.

Горбунов молчал, но был не согласен.

— Гляди мне в глаза,— скомандовал брат, заметив эту молчаливую дерзость.— Живо! И отвечай: должны вы быть добрыми, смелыми, честными?

— Должны,— прошептал Горбунов.

— А если вы не хотите, то что делать? Вот с тобой, например! Если ты все назло делаешь?

— Я не назло.

— Не ври.

— Честное слово.

— Не спорь, я лучше знаю. Вот гляди, какой ты: вместо того чтоб честно сознаться, выкручиваешься...

И Алькор наказал Горбунова: не отпустил гулять, велел сидеть дома и думать над своим зловредным поведением, а сам ушел. Сказал, что в кино.

Горбунов знал, что в кино он не пойдет: у них денег не было. Скорее всего, он спрячется и будет караулить, не выйдет ли Горбунов самовольно во двор.

Горбунов залез на подоконник, обнял колени. На улице было пасмурно, холодно. Алькор затаился в облетевшем кусте сирени и наблюдал за подъездом. И так жалко его было почему-то, так хотелось побежать к нему, сказать: «Пойдем домой, Алькор!» Горбунов выскочил, не одеваясь, схватил брата за руку... Они помирились, а ночью Горбунов долго не мог уснуть, все думал о том, что сказал ему брат. Наверно, он был

прав, просто Горбунов не понимал этого. Ведь это там, дома, все люди добрые, смелые, честные — сами собой. А здесь-то, наверно, все наоборот, здесь, наверно, они рождаются злыми, трусливыми, бесчестными. Вот поэтому тут и есть учителя, чтоб хоть как-то местных жителей переделать. Никак тут без них нельзя, и вовсе они не злые, а только кажутся такими. Может, даже нарочно притворяются — для пользы дела. Домато, со своими детьми, они ведь не такие. Это они только на работе, вот в чем дело, догадался Горбунов, и на душе у него стало легче. Значит, просто здесь так положено, чтоб учитель дома был добрым, а в школе все время кричал и наказывал, без этого здесь не обойтись...

«Скорей бы вырасти,— думал Горбунов, засыпая.— И улететь». Не нравилась ему эта планета.

Меж тем на дворе стоял октябрь, и уж давно пора было Алькору устроиться на работу.

Он сходил в ближние школы, потом в дальние, но, оказывается, вожатых набрали еще в августе.

Денег давно не было, они подъели все, что было в доме, и последнюю неделю пекли лепешки, счастливо отыскав в кладовке несколько пакетов муки. Что-то надо было делать. Мама сказала, чтоб он устраивался куда угодно, немедленно. Но он хотел работать в школе, помыкался-помыкался, сходил в райком да в начале ноября и уехал в деревню. Там его взяли, обрадовались, что мужчина.

А мама заплакала, узнав.

— Какой негодяй! Все тишком. И не попрощался...

Горбунов успокаивал ее:

— Ну, мам, ну чего ты? Он так мечтал, а тут его не брали.

— А о тебе он подумал? Бросил тут одного...

— Ну, мам, мы все очень хорошо придумали. Он там устроится и сразу заберет меня к себе. Да проживу неделю один, подумаешь! Ну правда, мам...

Но неделя прошла, прошла и другая, Алькор написал Горбунову письмо, как там у него хорошо, в деревне, какая школа маленькая, деревянная, со скрипучим крылечком, а кругом все лес, лес, лес до горизонта, тебе понравится, вот увидишь, только потерпи еще немного, мне пока не дали комнату, главное, не запускай учебу. Да, еще не забывай выносить мусорку, а то знаю я тебя... И помни, написал он в самом конце, что

человек должен быть добрым, смелым, честным, а иначе — зачем он?

Вечером, закутавшись в одеяло (уже холода наступили, а окна-то у них были не заклеены), привычно примостившись на подоконнике, Горбунов перечитывал письмо брата и думал над ним.

Сколько помнил себя Горбунов, столько твердили ему, что надо быть добрым, смелым, честным... Ну, как там, дома. И потому детским своим умом он давно уж додумался, что хоть было их с братом происхождение тайной, о которой никому нельзя говорить, однако, знали, знали на этой планете о далекой их родине и даже, как выяснилось, пытались брать пример..Поначалу это обстоятельство радовало Горбунова, все тут было просто и ясно. Казалось бы. Если не приглядываться, не задумываться... А вот если вечером, в пустой квартире, залезть на подоконник и все думать, думать, то, честно говоря, многое, очень многое представлялось странным, почти загадочным.

Разумеется, Горбунов не мог знать все про местную жизнь, информация, которой он располагал, в сущности, ничтожной была, но и она давала повод для подозрения, что что-то тут неладно...

Начать с того, к примеру, что все взрослые на этой планете были, как уже отмечалось, просто помешаны на том, что человек должен быть добрым, смелым, честным, и много и охотно говорили об этом с детьми. Что ж, Горбунову это нравилось (во-первых, потому, что это было правильно, ну а во-вторых, это некоторым образом рассеивало сомнения, что в вышине пусто, доказывало существование родины и некую таинственную связь ее с остальным миром), но чем старше становился Горбунов, тем заметнее ему было, что требования эти распространяются только на детей. А сами взрослые живут по каким-то другим законам. Видимо, сугубо местным. Быть добрыми, смелыми, честными взрослым на этой планете вовсе не обязательно.

Горбунов сидел на подоконнике и думал, думал об этом, долго, много вечеров подряд, и опять не понимал...

Брат говорил ему когда-то, что все непонятное можно понять, надо только много думать. Ну и книжки читать, конечно, в книжках много сказано. Читать и думать, и тогда обязательно в конце концов додумаешься.

Горбунов верил брату, он прочитал учебник под названием «Педагогика» (Алькор с ним не расставался до самого отъезда)

и ничего там не понял. Но все равно сидел и думал. И вот все так и вышло, как обещал брат: в один из вечеров он вдруг догадался, в чем тут дело: это игра. Ну да, такая сложная местная игра под названием п е д а г о г и к а.

«Ну и дурак же я!» — понял Горбунов. Здешние-то дети отлично понимали, что это все п о н а р о ш к у, только чужак Горбунов должен был долго и старательно думать, чтоб за видимостью обнаружить сущность, сообразить, что́ происходит н а с а м о м д е л е: тебе п о н а р о ш к у говорят «будь добрым», и все, что от тебя требуется — п о н а р о ш к у согласиться. Ну, п р и т в о р и т ь с я то есть. А б ы т ь вовсе и не обязательно.

Горбунов испугался своего открытия, уговаривал себя, что быть такого не может, но все, что ни вспомнил о жизни, убеждало в том, что открытие его правильно: б ы т ь не надо, надо только согласиться, только кивнуть головой — и тогда тебя оставят в покое. Главное, не спорь, не задавай глупого вопроса: а как? Взрослые этого не любят. С о г л а ш а й с я, н е с п о р ь — и б у д ь к а к и м х о ч е ш ь...

Интересная, наверно, игра, только непонятная. Для чего она? Какова ее цель? Кто в ней выигрывает? Сколько ни ломал Горбунов голову, а не пробился на сей раз, сообразил только, что играть в эту игру должны все, и упаси бог нарушить правила и попытаться не притворяться, а быть добрым, смелым, честным. Ох и достанется же!

Вот, например, д о б р ы й Горбунов подобрал на улице бездомного щенка, накормил, назвал Рэксом и оставил жить у себя, а когда мама позвонила, он, нездешний дурак, ч е с т н о сказал ей об этом.

— Немедленно, ты слышишь, Гелик, что я тебе говорю, выброси его, он же наверняка блохастый!

Ну и что из этого вышло? Горбунов долго ревел в пустой квартире, просил у Рэкса прощения за то, что его надо выбросить, да так и не отважился (со смелостью-то, надо признаться, у него было совсем плохо), ведь зима же начинается, Рэкс маленький, тощий, он там замерзнет насмерть.

И пришлось Горбунову стать нечестным (маме он сказал, что Рэкса выбросил), и был он таким целую неделю, пока не вернулся однажды из школы и не обнаружил, что в квартире прибрано, а Рэкс как сквозь землю провалился.

Горбунов бродил по дворам, звал его, звал, а через несколько дней нашел его на помойке, мертвого. Кто-то убил его. Какие-то добрые люди.

Горбунов схоронил Рэкса в сугробе, а от мамы ему попало за то, что врал.

А сама так обманывала Горбунова.

Горбунов:

— Мам, ты придешь сегодня? Ты обещала...

Мама:

— Ну что ты как маленький? У меня дежурство, ты ж знаешь...

Так по телефону они беседовали, голос у мамы был сердитый и виноватый, и Горбунов понимал, что никакое у нее не дежурство, а просто она любит шофера дядю Толика и скрывает от него, что у нее есть дети. Домой мама бегает тайком от Толика, а к Толику — тайком от Горбунова. А когда появляется дома, плачет, обнимает Горбунова и шепчет ему в ухо горячо и щекотно:

— Я одна, одна, ты не понимаешь, как это тяжело...

Но Горбунов как раз понимал, он ведь тоже был один.

Он один, и мама одна, а как бы хорошо им было вместе! Но почему-то это было невозможно. Почему?

В общем, было, было о чем подумать пришельцу Горбунову. Вот и сидел он на подоконнике, тосковал по дому, думал и никак не мог решить, как ему жить: на самом деле, как живут там, или понарошку, как здесь положено?

Ведь это ж тайна, думал Горбунов, никто ж не должен знать, что я не отсюда, может, вообще мы не потерялись, а разведчики, может, потом нас позовут и дадут задание! Значит, самое главное сейчас не рассекретиться, быть как все, и, уж конечно, ни в коем случае не нарушать ихние законы, чтоб местные жители ничего не заподозрили... В конце концов, если даже мама обманывает, то, может, так и надо? А если вправду все должны быть добрыми, смелыми и так далее, то кто сказал, что начаться должно с Горбунова? Вот надоест когда-нибудь аборигенам их странная игра, где все время надо врать, говорить одно, а делать другое, и однажды вдруг замрут они от стыда и отчаяния, и подумают: Боже мой, как мы живем! Почему? Что с нами творится? Ведь давным-давно знаем мы, какими мы должны быть, хватит притворяться людьми, ведь стыдно, ведь нельзя же так, пора нам быть, пора нам стать... И станут. Добрыми. Смелыми. Честными. На самом деле. И такая жизнь начнется прекрасная — как дома. Вот тогда и Горбунову можно будет не скрываться, ведь верно?

Так сидел четвероклассник Горбунов, глядел в небо, где о нем помнили, где по нему тосковали, и замышлял первое в жизни предательство.

Он уж давно жил один, так давно, что привык.

Привык к пустой, неприбранной квартире, к тоске по брату, к одиноким вечерам на подоконнике (он торчал там допоздна, оттягивая, сколько можно, страшный миг, когда надо ложиться спать, но он все равно наступал, этот миг). Пустынная ночь вставала за окном, приникала к стеклам, заглядывала, пугала недоброй тьмой, и Горбунов включал по всей квартире свет, озирался, вздрагивая, слушал тишину, лез с головой под одеяло, а мама потом удивлялась: что со счетчиком? Сломался, что ли? Не может же нагорать так много!

Горбунов удивлялся вместе с ней, пожимал плечами, обещал вызвать электрика, он врал теперь легко и убежденно, и совесть не мучила — так надо, так положено. Ну ее, эту правду, ничего от нее, кроме неприятностей.

— Как ты там, Гелик? — звонила вечером мама.

— Хорошо,— легко отвечал Горбунов, да и что бы изменилось, скажи он правду?

— Что ты ел?

— Колбасу и котлеты.

А ел он вареную картошку в основном, с ней просто было, без возни, а деньги, которые давала мама, спускал на конфеты.

— От Бориски ничего нет? Я так беспокоюсь! И когда он тебя заберет?

Горбунов уже понимал, что брат не заберет его никогда: ему там разонравилось, дети не слушались его и издевались, а он их ненавидел и боялся. И скучал по городу, по дому. Такое письмо получил Горбунов в начале декабря, но маме не сказал. Зачем?

— Скоро, мам. Вот только четверть доучусь, и заберет. Кто ж в конце четверти переходит...

— Вообще-то правильно,— одобряла мама.— Я так рада, что он там прижился, такой ведь он безалаберный...— Но другие заботы отвлекали ее, голос строжал: — Гелик, ты телевизор выключать не забываешь, сознайся?

— Не, мам, я всегда выключаю.

Телевизор сломался еще при Алькоре, брат все собирался

сдать его в починку, но денег не было, так и уехал, не собравшись.

— Ну, спокойной ночи, Геленька, целую тебя,— прощалась мама.

— Спокойной ночи, мама,— как положено, отвечал Горбунов и оставался один-одинешенек.

А ровесники, дурачки, завидовали: вот же повезло Горбунку! Живет, как хочет, все ему можно, и никто не ругает!

Они иногда приходили к нему — поиграть в жмурки, запустить дымовушку прямо на кухне, побаловаться от души. Но потом-то, отведя душу, они расходились по своим подневольным домам, к ужину, к телевизору, к придиркам и ласкам своих взрослых, к приручeнной, обжитой тьме, в которой бабушка похрапывает и так сладко спится всем вместе, а Горбунов разгонял счетчик, забивался в холодную постель, караулил неясные шорохи, скрип половиц и боялся, боялся... Он и сам не знал чего.

А зима заносила город большими лютыми снегами, метели хозяйничали на улицах — такая она, зима эта, пришла и встала безжалостная, что не отогреться.

И вдруг Горбунову повезло.

Из-за холодов взрослые дворовые парни, те, что именовались «трудными подростками» и обычно собирались за гаражами, перекочевали в подъезд, и именно в тот, где жил Горбунов. Жильцам это, можно догадаться, не понравилось (дымно, шумно, окурки на полу), и каждый вечер вспыхивал на лестничной площадке громкий скандал:

— А ну, идите отсюда, раздолбаи, а то милицию вызовем!

— А чо мы делаем?

— Вот и нечего тут околачиваться! Встали тут, паразиты!

— А где нам стоять?

— Где хотите, там и стойте, а тут нечего!

— Дяденька, тебе чего, больше всех надо? Мешаем мы тебе?

— Мешаете!

— А зубы тебе, мужик, не мешают?

— Ты пугать еще меня будешь, сопля зеленая, да я тебе...

— Чо ты там сказал, козел штопаный!..

И так каждый божий день, а Горбунов слушал, притаившись у себя за дверью, да в один из вьюжных вечеров, замирая от собственной дерзости, и пригласил «трудных» в гости.

Это была самая счастливая пора в той одинокой его дет-

ской зиме: ненавистная пустыня квартиры ожила, в ней появились другие люди, и тепло стало от человечьих голосов, и совсем не страшно.

Иногда с парнями приходили девицы. Ну, скажем прямо, на светский прием это было мало похоже: парни пили вино, играли в карты, тискали девиц, и тисканьем дело не всегда ограничивалось (так на десятом году жизни Горбунов во всех подробностях узнал, откуда берутся дети), но за простыми своими забавами гости Горбунова как-то умудрялись не забыть о хозяине, подкормить, приласкать, а то и — если были девчонки — починить продранные в школе брюки, простирнуть рубашку. Главное же, они не прогоняли его от себя, принимали в компанию, разговаривали с ним, и от этого жить стало легче, нежнее, и даже стал Горбунов забывать потихоньку, что он чужестранец, может быть, даже разведчик. Он научил «трудных» отыскивать Полярную звезду, показывал созвездия в ледяном, ясном небе и называл их по именам. Парни слушали серьезно и с изумлением.

— А вон это кто, Горбунок?

— Где?

— Ну, вон, вон горит, видишь?

— Капелла из созвездия Возничего. Капелла — это значит коза. Возничий несет ее на плече...

— Где, где это?

— А вон Орион, ну вон, рядом с Зайцем. Самые яркие звезды видите, одна белая, другая красная?

— Гля, парни, и правда одна красная...

— Это Ригель и Бетельгейзе.

— Ригель...— повторяли они зачарованно.— Бетельгейзе... И откуда ты, Горбунок, все это знаешь?..

Горбунову так хотелось все рассказать им, сознаться, что он оттуда, он чужак. А они бы сказали, рассмеявшись: «Брось травить, Горбунок. Что мы, своего от чужого не отличим?»

Но он помнил наказ брата и молчал, молчал о родине своей, там, в вышине.

Алькор вернулся после Нового года — вырвался на три дня погостить да так и остался насовсем (бог с ними, с вещами, с трудовой книжкой, подумаешь, два месяца). О поступлении в педагогический институт было забыто навсегда, и он устро-

ился на почту, разносить телеграммы. Больше его никуда не брали из-за плохого зрения.

Горбунов был счастлив, ходил хвостом за братом, а когда выпадала Алькору вечерняя смена (днем-то Горбунов был в школе), вместе с ним носил телеграммы.

Так хорошо было шагать рядом с братом, и совсем не холодно, и темень не пугала, освещенная редкими фонарями, под которыми бесприютно мотался мелкий колючий снег, а вокруг дома́, дома́ стояли и светили теплыми разноцветными окнами.

В домах, за окнами, жили люди, и кто-то все время слал им телеграммы.

ВЫЕЗЖАЮ 23-ГО ПОЕЗД 16 ВАГОН 2 ВСТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО МНОГО ВЕЩЕЙ ИННА

ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ ЮРА

БАТЯ УМЕР 20-ГО ПОХОРОНЫ 23-ГО ПРИЕЗЖАЙТЕ АЛЕКСЕЙ ЗАВЕРЕНО ОВСЯННИКОВА

ЛЮБЛЮ ЦЕЛУЮ ЖДУ ТВОЙ ОЛЕГ

ТРИСТА ТЕЛЕГРАФОМ ПОДРОБНОСТИ ДОМА ВОЛОДЯ

ВЕРА ОТМУЧИЛАСЬ ВЧЕРА СХОРОНИЛИ КЛАВА

НУ И ДЕРЬМО ЖЕ ТЫ КОЛЯ НАТАЛЬЯ

СЕССИЮ ЗАВАЛИЛ ЗАБИРАЮТ АРМИЮ МАМОЧКА НЕ ВОЛНУЙСЯ ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО АЛЕША

Разнося эти бумажки, намекавшие на то, что планета, куда они попали, велика и разумная жизнь на ней просто кишмя кишит, Горбунов снова почувствовал себя чужестранцем: за каждой дверью шла жизнь, чужая, манящая, идущая мимо, едва замечающая их с братом. Горбунов глядел на нее во все глаза, запоминая (и завидуя, завидуя, что, конечно же, его, как разведчика, не украшало).

Они входили в незнакомый подъезд, искали квартиру, звонили, и Горбунов замирал, затаив дыхание: что там, за дверью?

Оттуда спрашивали:

— Кто там?

— Телеграмма,— отзывался Алькор.

И дверь открывалась, будто это был пароль. Она открывалась, и сперва налетал запах чужой жизни: веселый запах борща или зеленый, праздничный — одеколона «Шипр»... Чем только не пахла жизнь! Кошками, собаками, натертым паркетом. А то вдруг пыльно и желанно пахло книгами, и тогда в глазах у брата появлялось что-то жалобное, собачье (дома-то

он давным-давно все прочитал). И пока человек, открывший дверь, торопливо расписывался в квитанции и вскрывал телеграмму, уже позабыв о пришельцах, не обращая на них внимания, можно было во все глаза глядеть ему за спину, туда, где он живет.

О, много, много замечал Горбунов в эти коротенькие мгновения, запоминал, уносил с собой, чтобы ночью, перед тем как заснуть, все припомнить: полосатый коврик в коридоре, такой домашний, что хотелось немедленно скинуть валенки и пройти по нему босиком; таинственный зеленый сумрак дальней комнаты и там, уже за гранью видимости, бой гитары и юный упорный голос: «Но парус, порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь...» И совсем уже подарок — разыгравшийся, стремглав вылетевший из кухни серенький кошачок (увидав посторонних, он тормознул, выгнул спину и, сделав вид, что ужасно напуган, взлетел вверх по шторе), а следом выбежала маленькая девочка с огромным зеленым бантом на макушке и захохотала, захлопала в ладоши... Горбунов, стоявший за порогом, тоже засмеялся и потом, когда дверь закрылась и они ушли, долго еще вспоминал и этого веселого котенка, и девочку-хохотушку.

Вручив телеграмму, они сбегали вниз по лесенке, выходили на темную, морозную улицу, дверь подъезда тяжело и прощально бухала у них за спиной, отсекая их от только что увиденной жизни, они спешили в другие дома на других улицах, там тоже жил кто-то.

И везде Горбунову притормозить хотелось, побыть еще чуть-чуть (а может, и остаться насовсем?), но они шли дальше раздавать телеграммы. А потом возвращались на почту.

Для всех остальных почта в это позднее время была закрыта уже, но они-то были «свои», запросто заходили со двора и, миновав темный коридор, попадали в казенные свет и тепло. Там вкусно пахло сургучом и электрический чайник, пожарниками объявленный вне закона, контрабандой кипел в надежной тени упаковочного стола, а в соседней комнате вдруг начинался шум, треск, стук — это приключалась истерика со стареньким телеграфным аппаратом, он принимался торопливо и яростно выстукивать буквы, из которых складывались сообщения о поездах, самолетах, любви, смерти, свадьбах, одиночествах, печалях и прочих разнообразных перипе-

тиях местной жизни. Пока же не настучал он новых депеш, Алькор и девчонки-телеграммщицы гоняли чаи, травили анекдоты, предварительно выставив Горбунова в соседнюю комнату («Тебе еще рано такое слушать!»), совершенно, кстати, напрасно: потому, во-первых, что ему и там все было хорошо слышно, а во-вторых — что уж такого принципиально нового могли сообщить ему девчонки, учитывая его дружбу с «трудными», в таких случаях никуда его не выставлявшими.

Горбунов любил эти почтовые вечера, уютные, почти домашние, и ревом ревел, когда брат решил с работы уволиться (он боялся носить телеграммы о смерти).

— Я сам буду их носить,— пообещал он, и Алькор, вздохнув, остался.

Горбунов часто подменял его по вечерам: брат в ту зиму все время бегал в театр. Он там влюбился в одну артистку, и, конечно, разговора быть не могло о том, чтоб пропустить спектакль с ее участием. Ну а Горбунову работа была не в тягость. К тому же он тоже был влюблен и, разнеся телеграммы, вприпрыжку мчался на почту, к Люсе.

Ей было лет семнадцать, она тоже носила телеграммы. Если на почте никого не было, они болтали. Горбунов рассказывал ей о своих будущих полетах в космос (то есть о самом-то главном, о возвращении домой, молчал, делал вид, что он просто местный мальчик-малыш: среди местных малолеток профессия космонавта пользовалась большой популярностью), а она Горбунову — о девочках из общежития, которые смеялись над ней и дразнили уродиной.

— Они говорят, что меня никто никогда не полюбит, потому что у меня нос длинный...

Горбунову хотелось сознаться: Я тебя люблю! Вот вырасту — и мы с тобой улетим, убежим отсюда, а там, дома, никто никогда — ты слышишь? — не обидит, потому что там... Ах, там все по-другому, поверь, там, там... Там все люди добрые, вот увидишь... Но он молчал, подчиняясь местным законам: ведь Люся была взрослая, а он только мальчик, в его возрасте, считалось тут, никакой любви быть не может (а если она все-таки есть, то это стыдно и смешно, надо скрывать). И, откладывая любовь на потом — ведь вырастет же он когда-нибудь! — Горбунов только хмурил редкие темные брови, сопел, бурчал простуженно:

— Дуры они, твои девочки, самих их никто не полюбит! Кому злые такие нужны...

— Много ты понимаешь,— вздыхала Люся.— Что злая — не видать, а что некрасивая — сразу заметно.

Она грустно шмыгала длинным своим носом, который Горбунову очень нравился, как, впрочем, и все в ней: бледненькое, даже зимой все в конопушках, лицо с зеленоватыми, чем-то раз и навсегда напуганными глазами, легкие, худенькие руки в ауре золотистого пушка,— и так славно было сидеть с ней рядом, пить чай и знать о будущем счастье.

Однажды Горбунов позвал Люсю в гости есть макароны — до зарплаты оставалось три дня, а она не дотянула и ходила голодная.

— Ой, что ты!..— перепугалась Люся.— Боря рассердится.

Горбунов обиделся за брата.

— Ты что думаешь, он жмот?!

— Что ты, Гелька, Боря хороший,— вздохнула она.— Просто я его боюсь.

— Не бойся,— велел Горбунов.— Его все равно дома не будет, он в театре сегодня, и для пущей важности разъяснил, что брат не просто так в театре, а потому что у него там любовь с одной артисткой.— Только это тайна, поняла?

Люся поняла и пообещала, что никому никогда ни за что на свете.

Горбунов, разумеется, не стал сообщать подробности (вернувшись за полночь, Алькор будил его и бормотал в восторженной лихорадке про то, какая Она была сегодня, кого играла, как играла, а больше все про голос Ее: зарплата-то у него была шестьдесят рублей, и билеты, можно понять, он покупал самые дешевые, сидел где-нибудь в последнем ряду амфитеатра или на балконе и слепо — минус одиннадцать — взирал оттуда на свое божество).

— Ой, а она его тоже любит? — конечно же спросила Люся.

— А ты как думала! — отвечал Горбунов, охраняя честь брата.

— Ясное дело, любит...— сказала Люся. И вздохнула. И согласилась идти есть макароны.

Она сразу принялась наводить в квартире порядок, а Горбунов варил макароны и врал вдохновенно, какая у брата с той артисткой любовь шикарная. Ну, Люся его все расспрашивала

об этом, он и врал, раз ей так хочется, он от «трудных» подростков много чего знал про взрослую любовь.

Люся слушала, не дыша, позабыв про веник.

И вдруг брат вернулся... Что-то там произошло, в театре, спектакль заменили и его артистка не играла сегодня.

Увидев гостью, он потерялся, смутился: он и на работе старался забрать телеграммы и поскорей уйти, у него никогда не было девушки, он не знал, что делать, как разговаривать.

— Ой, я пойду,— поспешно сказала Люся.— А Гелик сказал, тебя не будет...

— Я мешаю?— угрюмо спросил брат.

— Обалдела,— обиделся на Люсю Горбунов.— Сейчас уже макароны сварятся!

Алькор кинулся к соседям, занял пятерку до зарплаты, сбегал в магазин, где куплены были бутылка вина и торт, и такой вдруг ласковый, счастливый вечер случился, в неприютной этой квартире потеплело, посветлело, с т а л о к а к д о м а. Они сидели втроем, торопливо, взахлеб говорили; говорили про все на свете, будто давным-давно знакомы были, может быть, даже любили друг друга, но злая судьба взяла и разлучила на долгие годы, и как тосковали, как ждали они этой встречи — и вот сбылось!

А время-то не дремало, зловредное (как нудно и страшно тянулось оно, когда Горбунов жил один, топталось на месте, а то и вовсе замирало, скучная вечность громоздилась между «тик» и «так»), а тут вдруг рванулось, припустило, помчалось; и мига не прошло, а уж ночь наступила, и, глянув на проклятые часы, Люся заспешила (в общежитие пускали до двенадцати), засобиралась, и все померкло оттого, что она уходит.

— Ну куда ты?— заныл Горбунов.— Зачем тебе? Ночуй у нас...

— Ой, что ты Гелька!

— А чего, в самом деле?— сказал Алькор.— Места хватит.

Он уступил Люсе свою тахту, а сам лег с Горбуновым.

— Она хорошая, правда?— шепотом спросил Горбунов в бессонной тьме.

— Да.

— А она тебе понравилась?

— Да.

— Я ее знаешь как люблю...

— Спи давай, а то опять тебя завтра не поднять.

— Я на ней женюсь, когда вырасту, ладно?

— Ладно. Спи.

Горбунов уснул, а ночью его разбудил их шепот.

— Я люблю тебя... Люб-лю те-бя...

— Правда?

— Угу.

— Больше артистки?

— В сто раз.

— А ты будешь к ней еще бегать?

— Нет.

— Это ты сейчас так говоришь.

— Не сейчас, а правда.

— Будешь, будешь!

— Нужна она мне!

Они еще долго там шептались и целовались, а Горбунов лежал и плакал. Тихо, чтоб они не услышали.

Люся стала бывать у них часто, каждый день, и ночевать оставалась. Она навела в квартире порядок, с макаронами и картошкой было покончено, но ни суп, ни котлеты не утешили Горбунова. И ни разу уж не повторился тот первый счастливый вечер, когда они были вместе, втроем,— Алькор и Люся видели только друг друга.

Мама, забежав как-то днем, обнаружив порядок в доме и щи в холодильнике, насторожилась:

— Что тут у вас происходит?

— Ничего,— не отрываясь от уроков, ответил Горбунов, а брат и вовсе промолчал.

— Как это ничего? — взвилась мама.— А прибирается кто? Боря, я тебя спрашиваю!

— Тебя это очень волнует? — огрызнулся брат.

— Представь себе! Я не желаю, чтоб ты водил домой девок! Бессовестный, на глазах у Гелика!..

— Она не девка,— хмуро сказал Алькор.— Я женюсь.

— Я тебе женюсь! — закричала мама.— Сопляк! Я этой потаскухе устрою! Выдумал еще...

Он тоже закричал:

— Хватит, надоело! Не вмешивайся в мою жизнь, мне позавчера восемнадцать исполнилось, я сам знаю, что мне делать!

Она еще долго кричала, а брат уткнулся в книжку и не отвечал больше. Кончилось тем, что она отхлестала его по щекам

и ушла. Алькор тоже хлопнул дверью и исчез. Впрочем, он скоро вернулся, а потом прибежала с работы Люся, они закрылись от Горбунова на кухне, и весь вечер Горбунов слышал их голоса и смех. Им было хорошо вместе, они ссорились, мирились, и никто им больше был не нужен. Горбунова они просто не замечали, он стал в доме совершенно лишний и перекочевал в подъезд, где опять собирались «трудные» подростки.

В подъезде было весело: курили, болтали, рассказывали анекдоты и страшные истории. В феврале соседям это надоело, и они вызвали участкового. Участковый матерился и грозил упечь всех в колонию, если еще раз увидит в подъезде.

Холода все не кончались, деваться было некуда. Однажды выпили и взломали киоск «Союзпечати», просто так, от скуки, от злости; взяли журналы, открытки, ручки...

Горбунову досталось семь ручек и пачка конвертов. Конверты он выбросил (писать-то ему было некому), а ручки спрятал под ванну и неделю жил в страхе: завидев на улице милиционера, вставал как вкопанный, каменел (это за ним, сейчас его заберут в тюрьму). Но все милиционеры проходили мимо, никто не обращал на него внимания, разве что какой-нибудь прохожий, наткнувшись, бросал раздраженно:

— Ну чего встал, не болтайся под ногами!

В общем, обошлось, не попало, никто не заметил, что Горбунов вор.

Потом-то он перестал бояться, ну, то есть боялся, конечно,— в самый тот момент, когда парни уже выдавили стекло и ушли за угол и теперь Горбунову надо подойти и залезть в тесное освещенное пространство. Он шел, он подходил, он залезал, а внутри все дрожало от страха, от того, что увидят, закричат, погонятся. Но все обходилось, они бежали куда-то по почным улицам, возбужденные, хохочущие, и Горбунов уже ничего не боялся: поди найди их в огромном городе, в лабиринте асфальтовых улиц!

Да их и не искали — подумаешь, киоск! Были у милиционеров другие серьезные дела. Не до Горбунова было милиции. Как, впрочем, и всем остальным.

Как это началось, Горбунов не заметил. Ну конечно, жить стало спокойнее: дружба с «трудными» подростками охраняла его, хлипкого, тщедушного, не умеющего постоять за себя, от дворовых и школьных обид. Раньше-то вечно его толкали,

отпихивали, влезали перед ним в очередь в школьном буфете, отнимали мелочь... А тут вдруг что-то изменилось, а тут вдруг он стал легко проходить сквозь толпу у раздевалки (сперва еще не понимая, в чем тут дело, не догадываясь, что перед ним р а с с т у п а ю т с я), и ненавистная кличка Горбунок, доставшаяся по наследству от брата, обидно подчеркивающая его сутулость, большие оттопыренные уши, зазвучала вдруг иначе. Она будто подросла, получила чин и звание.

«Горбунок идет!..» — и всё вокруг теперь настораживалось опасливо, втягивало голову в плечи, стараясь не попасться на глаза новому властелину, невзрачному ученику четвертого класса. Горбунова боялись, и в конце концов он заметил это. И вот, хоть и был Горбунов нездешний, а с неба, где все добрые, хоть и тосковал по далекому своему дому, где никто никого не обижает, он легко и быстро освоился с новым своим положением... Ах, как глядел он теперь — искоса, с безжалостным прищуром, как лениво сплевывал под ноги, как лихо раздавал щелбаны, теперь уже твердо зная, что ответить ему не посмеют.

Месяц назад он слезно вымаливал у Алькора клюшку:

— Купи, ну купи, пожалуйста, а то они меня играть не берут, без клюшки зачем я им...

Теперь же Горбунов просто подходил к корту и приказывал кому-нибудь из ровесников:

— Дай сюда.

И отдавал клюшку беспрекословно тот, кому приказано было.

— Свободен,— ухмылялся Горбунов.— Гуляй...

Впрочем, боялись его не только ровесники. Как-то, зайдя на переменке в туалет, услыхал он отчаянное:

— Отцепись лучше, а то Горбунку скажу...

Это одноклассник Жуков, румяный, интеллигентный ребенок, все четыре года Горбунова в упор не замечавший, отбивался от здоровенного шестиклассника. А тот, смелый такой (он стоял спиной к двери и Горбунова не видел), отвечал дерзко, что в гробу он видал этого Горбунка в белых тапочках.

— Где-где? — переспросил Горбунов.

Шестиклассник строптиво огляпулся на голос и обмер, и зрачки у него стали большими и темными, и, испуганно глядя сверху вниз (Горбунов не доставал ему до плеча), забормотал он:

— Ну чо ты, Горбунок?.. Ну чо я тебе сделал?..

И такое лицо у него стало белое, и тишина такая установилась в этот миг в уборной, и глядели все на Горбунка так, что, конечно же, понял небесный пришелец, чего от него ждут...

От страха и отчаяния у Горбунова сердце забухало в горле, мешая дышать, он шагнул на ватных ногах, размахнулся и ударил в лицо. Удар вышел так себе, цыплячий: это ведь еще дотянуться надо было, да и драться Горбунов совершенно не умел,— но шестиклассник упал с перепугу. А Горбунов с перепугу же — он впервые ударил человека — бросился его поднимать. Ну, потом-то, уже привыкнув и освоившись, он подобных нелепостей не совершал: бить — бил, а вставать уже не помогал, усвоив, что здесь это не принято.

Слава Горбунка росла не по дням, а по часам, и опять, забыв тоску по родине, решил он, что ничего, жить и тут, оказывается, можно. Он так хорошо устроился в местной жизни, так почувствовал себя тут своим, что некий таинственный орган под названием душа, который там, дома, был для всех главным, а здесь принято было считать его несуществующим, будто и вправду отмер. И уж все не стыдно было, и тоска позабылась, и ничто не ныло внутри.

Так бы и стал Горбунов местным нормальным человеком, если б не один досадный случай.

Как-то во дворе, привычно ткнув кулаком кому-то в лицо и находясь в размышлении, не добавить ли еще разок (ибо наказуемый хотя и не помышлял об отпоре, но на ногах, дерзкий, устоял и слезу не пустил, что вполне можно было расценить как пусть и не явное, но сопротивление), Горбунок почувствовал, что на него глядят (зябко стало спине от этого взгляда), и оглянулся.

У подъезда стоял Алькор. Он стоял и глядел, привычный, в старом пальто, из которого вырос, в единственных своих брюках с пузырями на коленях (Горбунов тогда уже понимал, что одеваются они плохо, и стыдился этого), но глаза у брата были пугающие. Нет, не сердитые, не изобретающие наказание (этим-то Горбунова было уже не напугать), а презрительные, почти нездешние. Будто не со ступенек у подъезда, а с неба глядел он.

— Поди сюда,— сказал Алькор очень тихо, одними губами, но Горбунов услышал, шагнул тяжелыми, боящимися идти ногами.

— Только подонок,— сказал Алькор,— может ударить человека по лицу.

Горбунов стоял и молчал в ужасе.

— Повтори,— приказал брат.

— Только подонок,— эхом отозвался Горбунов,— может ударить человека по лицу...

И внутри у него опять заныло, заныло от стыда и старой, не прошедшей, оказывается, тоски.

В начале весны что-то произошло между ними: брат стал хмурый, раздражался по пустякам, все время придирался к Люсе.

Почему она мало читает.

Почему она так смотрит.

Почему она молчит.

Почему она говорит глупости.

Почему яйца опять сварены не всмятку.

Люся плакала, забившись в ванную, брат кричал, что всё, хватит, надоело, и уходил, хлопнув дверью... Горбунов старался не попадаться им на глаза, дома почти не бывал: морозы прошли, позабылись, подбиралось веселое весеннее время и компания «трудных» давно перекочевала за гаражи, на свежий воздух.

Там их никто не трогал, там, на воле, веселились допоздна, ну, все то же: анекдоты, вино, карты, песни под гитару. А потом появилось новое, дух захватывающее увлечение — угон мотоциклов.

На этих машинах они уносились за город, сбивали глушители и как сумасшедшие с ревом гоняли по дорогам. Лето, родное, ласковое, желанное, было еще за горизонтом, но, однако, угадывалось во влажном ветре, который весело, упруго бил в лицо, когда мчались они по уже начинавшим подсыхать дорогам, и какое это было счастье, какая воля — лететь, нестись куда-то, прижавшись к теплой, надежной спине, в реве и грохоте, оглохнув, ослепнув от скорости, гонясь за горизонтом, который отступал, расступался, открывая новую даль.

Накатавшись, мотоциклы бросали: зачем беречь, когда на любой улице добра этого?..

Когда их наконец поймали, Горбунов не испугался, а странным образом почувствовал себя легко и спокойно, будто давно ждал. В милиции он с мстительным удовольствием сообщил свой адрес.

— Родители где работают? — со вздохом спросил пожилой лейтенант.

— У меня нет родителей,— с вызовом ответил Горбунов,— я живу с братом.

Пусть, пусть его вызовут, пусть он узнает, как низко пал Горбунов — вор, угонщик мотоциклов, малолетний преступник. Вот посадят Горбунова в тюрьму — и пусть!

— Чаю хочешь? — спросил лейтенант.

— А где ребята?

— В камере ребята,— сказал милиционер.— Сейчас следователь приедет...

— Я тоже хочу в камеру! — обиделся Горбунов.— Отведите меня.

Лейтенант налил чаю.

— Все тебе будет,— грустно пообещал он,— и камера, и следователь. Если не исправишься. Сыты, одеты, обуты — и чего вам не живется правильно? А? Ну, скажи, хорошо разве это — воровать?

Горбунов знал, что нехорошо, но молчал.

— Честно надо жить, понимаешь? Честно, и тогда все будет хорошо.

— А как? — задал вопрос Горбунов, впрочем, уже не надеясь получить вразумительный ответ. Так, по привычке.

— Поговори у меня! — сразу осерчал лейтенант. Он не знал ответа.— Зажрались вы, вот что. Войны на вас нету...

Горбунову стало скучно слушать то, что он слышал уже много-много раз и давным-давно знал наизусть.

— Я в камеру хочу,— заныл он.— К ребятам. Отведите меня, я тоже преступник...

— Сиди! — раздраженно оборвал лейтенант.— Видали — преступник! Сонька Золотая Ручка тоже мне!

Алькор пришел, выслушал, что за ребенком надо глядеть, чтоб не шлялся он черт-те где черт-те с кем, а то и до беды недалеко, молча расписался в какой-то бумаге не глядя, взял Горбунова за руку и вывел на свободу.

На улице прозрачнейший майский вечер стоял, и в светлой вышине уже просвечивались ясные звезды.

— Я думал, ты мне родной человек,— сказал Алькор, все так же глядя мимо Горбунова,— а ты ничтожество... Можешь ты мне объяснить, почему тебя тянет ко всякой швали...

Горбунов хотел огрызнуться, что его друзья не шваль, что

брат сам его прогнал, променял на Люсю, но, открыв рот, заревел в голос...

Они долго бродили в тот вечер по улицам, где уже туманились будущими листьями тополя, Алькор простил Горбунова, и опять им было хорошо вдвоем.

— У меня, кроме тебя, никого нет,— сказал брат,— понимаешь? Мне было так плохо без тебя...

Он сказал такое впервые, и Горбунову больно и счастливо стало, как во сне, захотелось немедленно сделать для брата что-нибудь такое хорошее, подвиг какой-нибудь совершить, чтоб Алькор понял, что и у Горбунова никого, кроме него, в целом свете нет — и не надо, но он не знал, что надо делать, и сказать не умел, потому просто шел рядом и молчал.

— Уже поздно,— спохватился брат,— домой пойдем?

— Давай еще погуляем,— шепотом отозвался Горбунов, ему не хотелось домой, там уж не поговорить было.

— Ее нет,— понял Алькор.— А хочешь, будем жить, как раньше, вдвоем...

Горбунов кивнул, и на следующий день Алькор уволился с почты, а вечером, когда пришла Люся, они не открыли ей дверь, затаились без света, будто никого нет дома, и весь вечер просидели впотьмах, ожидая, когда она уйдет. Но она не уходила, сидела, сидела на скамейке у подъезда, долго, до часу ночи, все ждала.

И назавтра опять пришла.

Не могли же они всю жизнь просидеть во тьме, и Алькор велел Горбунову:

— Открой и скажи, чтоб она больше не приходила.

Горбунов испугался:

— А если она спросит почему?

Алькор долго молчал, глядел в пол.

— Скажи ей правду: что я ее больше не люблю...

Горбунову было страшно. Он крался на цыпочках к двери, а звонок все звонил, звонил, и надо было открыть дверь и сказать...

— А он уехал,— сказал Горбунов.

— Уехал?..— тихо переспросила Люся.

— Ну да. Еще вчера. Он решил в мореходку поступать... Он тебе привет передавал...

Люся молчала, смотрела на Горбунова зелеными перепуганными своими глазами.

— Гелька... Ты скажи ему...

— Он правда уехал,— тоскливо пробормотал Горбунов.

— Скажи, что ребенка не будет...

— Он уехал,— сказал Горбунов, как попугай.— Честное слово. Он тебе напишет... Обязательно...

И больше Люся не приходила, они опять по вечерам сидели на подоконнике, тьма за окном пахла молодой травой, тополь снова оброс листвой, а дальше светили звезды... Было хорошо: началось лето, Горбунов перешел в пятый класс, Алькор решил поступать в театральное — так шло вокруг время, все меняя (времена года, погоду, людей), и только там, наверху, в домашнем мире, где вечность-бесконечность караулила свои звезды, все оставалось по-прежнему.

Брат совершенно помешался на театре. Он говорил только о нем, читал только о нем, думал только о нем. Он хотел стать актером.

— Понимаешь, актеры, они...— взахлеб объяснял он Горбунову, и Горбунов узнавал, что они — счастливейшие из людей, актеры эти, ну у кого еще такая судьба — прожить тысячи жизней? Сегодня ты Гамлет, завтра Сирано де Бержерак, послезавтра еще кто-нибудь...

Алькору было восемнадцать, и он не знал, что в каждой пьесе, кроме главных ролей, есть еще второстепенные, ему и в голову не приходило, что их тоже кому-то надо играть. Ну, то есть знал, конечно, но как-то не обращал на это внимания, не задумывался. Например, в «Гамлете», кроме роли Гамлета, существует еще и роль Могильщика, причем не Первого, который довольно остроумно болтает с принцем о смерти, а, скажем, Второго. Который молчит... Но кто об этом помнит, решив посвятить свою жизнь театру?

— Быть или не быть? Вот в чем вопрос,— доносилось до Горбунова по ночам из-за неплотно прикрытой двери кухни; это брат готовился к экзаменам, а Горбунов слушал, затаившись в постели.— Достойно ли смиряться под ударами судьбы иль надо оказать сопротивленье?..»

Новая судьба брата Горбунову была по душе. А мама пришла и рассердилась:

— Тьфу, бестолочь, опять выдумал!..

Но Алькор ее не слушал, зубрил, как положено, басню, прозу, стихотворение, бубнил, бубнил по ночам... «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и... когда вольно и...

Вороне где-то бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, поесть уж было собралась... («Позавтракать!» — поправлял из своей сонной темноты Горбунов.) Довольно жить по законам, данным Адамом и Евой, клячу истории загоним. Левой! Левой! Левой!» Хорошо у него получалось, Горбунову нравилось. Вот станет брат знаменитым артистом, а Горбунова будут в кинушку бесплатно пускать!.. С этими веселыми мыслями Горбунов засыпал, и жизнь впереди казалась огромной и праздничной, все там, впереди, было хорошо. Вот только по вечерам было стыдно. Иногда. Когда они сидели на подоконнике и мечтали о будущей славе брата, а по двору проходила Люся, несла кому-то телеграммы...

Горбунов холодел и тихо сползал с подоконника.

— Ты чего? — удивлялся Алькор.

Хорошо ему было, безмятежно-слепому.

В конце июня, когда брат уехал в Москву поступать, произошли в жизни Горбунова крутые перемены: к нему вернулась мама.

Она вернулась не одна.

— Познакомься, Гелик, это твой папа...

«Папа» был огромный бородатый дядька, рядом с которым мама выглядела девочкой-дочкой.

Признаться, Горбунов про этого дядьку знал, он несколько раз видел маму с ним на улице и даже выследил, где они жили, ходил туда, стоял под дверью, слушал тишину, в которой они жили. Один раз ему подфартило, и он унес с собой счастливый мамин голос (такой он не слыхал никогда):

— Павлик, мой Павлик... Дурачок...

Ее Павлик был одет в свитер и джинсы и курил трубку. Он сделал заявление:

— Старик, я люблю твою маму. Понимаю, что тебе это, может быть, не очень приятно...

Горбунов глядел исподлобья, и уж какое тут «может быть» — не сомневайся, дядя!

Пожалуй, «папа» и не усомнился, он был неглуп, кажется.

— Так уж вышло,— сказал он,— и ничего тут не поделаешь. Не знаю, примешь ли ты меня в отцы, но давай, во всяком случае, попробуем стать друзьями.

— Ну давайте,— хмыкнул Горбунов.— А вы кто?

— Гелик, не груби! — одернула мама.

— Спокойно,— кивнул ей «папа»,— вопрос правомерен. Меня зовут Павел Владимирович, для друзей — Поль...

— Нет, вы биографию расскажите,— перебил Горбунов.

— Не смей дерзить! — крикнула мама, краснея.

— Мне сорок лет,— с несердитой усмешкой отозвался Поль.— Я журналист. Хороший, между прочим... Что еще?.. Был женат, развелся.

— Почему? — заинтересовался Горбунов.

— Гелик, замолчи немедленно!

— Это сложно, старик,— вздохнул Поль.

— Ничего, я попробую понять,— заверил Горбунов.

— Видишь ли, у нас не было детей и...

— Павлик, я не понимаю,— с растерянной злостью перебила мама,— чего ты перед ним отчитываешься, не его это дело!

— Танюша, помолчи немного, ладно? — строго и ласково попросил Поль.— Это его дело: нам ведь вместе жить...

— Не понял,— снова надерзил Горбунов.— Вы на ком женитесь? На маме или на нас с братом?

Поль захохотал. Он топал ногами, хлопал Горбунова по плечу.

— Отличный вопрос, старик, двадцать копеек! — наконец сказал он, вытирая веселые слезы.— Из тебя будет толк. Отвечаю на вопрос: женюсь я на вас — на всех вместе, если ты не против. Семья должна быть большой и веселой. И сообщаю тебе по секрету, что на вас с Бобом мы не остановимся...

— Как это? —не понял Горбунов.

— Очень просто, старик. У тебя скоро будет сестренка. Как ты на это смотришь?

— Быстро...— хмуро отозвался Горбунов и уставился за окно (там ветер мотал ветви тополя и собиралась роскошная июньская гроза): он знал, откуда берутся дети, и смотреть на маму и на Поля не мог.

— Что быстро? — переспросил Поль.

— Заделали вы ее быстро,— разъяснил Горбунов.— А ваша старая жена, она теперь как?

— Ты очень злой человек, Гелик,— сказала мама и заплакала.— Немедленно встань в угол.

Горбунов хмыкнул: неужто она надеется, что в углу он станет добрее?

— Ты слышал, что я тебе сказала?

Горбунов слышал, но стоял на месте, от непонятной тоск-

ливой обиды щипало в носу и почему-то хотелось умереть — не видеть, не слышать ничего.

— Вот родите себе нового ребенка,— ответил Горбунов, сдерживая слезы,— и — пожалуйста! И ставьте его, сколько вам влезет!

Жили они теперь у Поля, в огромной старинной квартире в центре города (высоченные потолки с лепниной, вощеный паркет, за большими окнами шум главной улицы). Горбунов квартиры боялся. Тут хозяйничал пятнистый дог Кузя, незлой, но не спускающий с Горбунова внимательного, стерегущего взгляда, будто знал, что Горбунов вор. Потом они привыкли друг к другу, и Горбунов гулял с ним по двору. Но радости не было. Это был чужой пес, чужой двор, и надо было потом возвращаться в чужую квартиру, полную чужих вещей и чужих запахов, среди которых совсем потерялся единственный, с детства родной, запах — маминых духов «Белая акация»...

Брат уже две недели лежал на диване, глядел в стену, и лучше было его не трогать. Он говорил только одно слово:

— Отстань.

Лежал он так и молчал с той поры, как вернулся из Москвы. Он провалился.

Иногда Поль садился к нему на диван, уговаривал:

— Да брось, старик, подумаешь! Нашел из-за чего впадать в меланхолию. Вставай, ну!

Брат не отзывался, зарывался лицом в подушку.

Горбунов подползал к нему ночью:

— Алькор, ты не спишь?.. Ну, я тебя очень прошу...

Брат молчал, притворялся спящим.

В конце концов Поль не выдержал, грохнул могучим кулаком по субтильному, с гнутыми ножками столику:

— Ну все, хватит! Боб, ты мужчина или ты просто так? Ведь время уходит...

Он сгреб пасынка в охапку, затолкал в ванну и включил холодный душ.

— Отстаньте, не трогайте меня! — взвыл брат.— Пустите, холодно!..

Дело было светлым июльским вечером, ужинавший на кухне Горбунов кинулся ему на помощь, но был ухвачен мамой за рубашку:

— Сядь спокойно и ешь.

— Пусти!

— Я кому сказала!..

И когда он все-таки вырвался и влетел, злой, готовый кусаться и царапаться, в ванную, чтобы спасать брата, Алькор и Поль, оба одетые, оба совершенно мокрые, стояли под душем и хохотали...

— Не трогайте его! — крикнул Горбунов, еще не поняв, что все в порядке, а Поль подцепил его мокрой могучей рукой — Горбунов только взвизгнул, когда холодные струи ударили в лицо, потекли за шиворот...

— Павлик, ты с ума сошел! — рассердилась мама.— Как маленький... Вылезайте немедленно.

И пока Горбунов и Алькор переодевались, хохоча и пихаясь, в сухое, Поль звонил кому-то (на полу вокруг него натекла большая лужа), говорил мягким, значительным голосом о сыне, способном парне, угодившем в депрессию.

— Ну, ты же знаешь, старик, это всегда случается не вовремя...

«Старик», видимо, знал, и Поль договорился, что завтра он сам принесет в приемную комиссию документы, что публикаций с Бориса Горбунова спрашивать не будут и что на экзаменах «старик» (декан факультета) за ним приглядит...

Алькор поступил в университет на факультет журналистики.

— Я тебе напишу,— сказал он и уехал на картошку, а Горбунов опять остался один.

Он все не мог привыкнуть к новой своей жизни и жил как во сне. В этом сне у него были новенькие джинсы и кроссовки, в этом сне его вкусно кормили и он ходил в новую, какую-то необыкновенную школу, где учителя неукоснительно говорили ученикам «вы» и никогда не кричали. И мама была всегда д о м а в этом сне, только дом был чужой, Горбунов жил там как в гостях и, просыпаясь утром, пугался: «Где я?» А сон продолжался: гудела за окном троллейбусами чужая улица, постучав, заглядывал Поль: «Ты готов? Я подброшу тебя до школы». А письма от Алькора все не было, не было... Горбунов тосковал, снился сам себе домашним, приличным ребенком, который будто всю жизнь только и делал, что возвращался домой не позже девяти, уходя, говорил маме, куда он собрался, и даже

спрашивал, можно ли ему туда... Скучный, тоскливый сон, где только небо и осталось родным, светило знакомыми звездами.

— Гелик, уже десять, ложись спать,— командовала мама.

Горбунов не спорил, уходил в комнату, которая считалась «его», раздевался, аккуратно складывал на стуле новую одежду, забирался в постель.

— Спокойной ночи, малыш,— заглядывал Поль.

— Спокойной ночи,— вежливо отвечал Горбунов, а потом лежал, скучал (засыпать рано он не умел), слушал, как мама и Поль тихими праздничными голосами разговаривают о сестре, которая скоро должна родиться.

Потом и они укладывались, дом затихал.

— Кузя...— шепотом звал Горбунов, и в темноте раздавалось неторопливое клацанье когтей по паркету.

Кузя приходил, невидимый в темноте, вставал рядом, дышал вопросительно.

— Спи тут,— просил его Горбунов.

Кузя покорно бухался на ковер у кровати, но через несколько минут поднимался бесшумно и уходил: ему было скучно с Горбуновым, он хотел спать рядом с хозяином. Горбунов лежал, бездумно пялясь во мрак, тоскуя по прошлой жизни, по брату, а утром почтовый ящик опять высыпал только кучу газет, письма не было.

Алькор вернулся в середине октября, веселый, шумный, не похожий на себя: он запустил легкую, редкую бороденку и начал курить. Он громко разговаривал и много улыбался, он перестал сутулиться. Пора единственных, с пузырями на коленках, брюк и стоптанных ботинок кончилась, куда-то пропали очки, перемотанные изолентой: джинсы, мокасины, тонкий джемперок... И уже какая-то своя, отдельная от Горбунова жизнь началась у него. Утром в университет, днем брат носился по городу, делал «информашки» для газеты или торчал в редакции у Поля, вечером, можно понять, ему тоже было не до Горбунова. Он жил торопливо и радостно — свои дела, свои друзья, свои планы на будущее. А Горбунову он говорил: «Привет, старик!» или: «Пока, старик!» — и добродушно подмигивал, как маленькому, будто не было никогда вечеров на подоконнике, тайного братства.

Жизнь тянулась потихоньку, удобная, беспечальная, ничем не задевающая, так шла себе мимо, и назад уже не вернуться. Только раз потянуло старым сквозняком: брат не пришел ночевать, а на следующий день мама устроила скандал.

— Где ты был? Мне нельзя волноваться, а я всю ночь не спала!

Голос у нее был раздраженный, громкий, родной — из тех, прежних времен, когда, забежав домой, она принималась отчитывать брата за какую-нибудь очередную дурость. И брат, еще секунду назад улыбавшийся, видно, тоже припомнил былое, посмурнел, ссутулился.

— Порядочные люди ночуют дома! — кричала мама.

— Неужели? — спросил Алькор, глянув искоса.— А я и не знал.

— Не смей хамить матери, паршивец! — почему-то совсем вышла из себя мама.— По губам давно не получал?

И такой знакомый, беспомощный, готовый сорваться на дерзость и на слезы, выглянул брат из себя, но лишь минуту это все продолжалось: в этом доме жили по другим правилам.

— Татьяна, прекрати,— вмешался Поль.— Он взрослый человек.

— Он сопляк! Пусть скажет, где шлялся!

— Это тебя не касается,— огрызнулся брат.

— Ох ты какой самостоятельный! Кормят тут его, одевают, а он сел на шею, ноги свесил!

— Татьяна, я прошу тебя, замолчи,— сказал Поль, но его «прошу» было больше похоже на приказ.

— Не вмешивайся,— в запале выкрикнула мама.— Это мой сын, он будет вести себя как положено, или...

— Или? — прищурился Алькор, губы у него дрожали.

Поль подошел к серванту, достал оттуда тоненькую, просвечивающую чашку и бросил ее на пол.

Мама ахнула, вскинула на Поля испуганные, блестящие глаза.

— В этом доме,— спокойно сказал Поль,— никогда не было скандалов. И не будет. Боб, будь добр, если ты не приходишь ночевать, позвони и предупреди, чтоб мы не волновались. И прости ее... Ну, ты же видишь...

Мама заплакала, зло кривя губы. Горбунов взглянул и отвел глаза, вдруг заметив, как подурнела она: точеные черты лица расплылись, на тонкой бархатной коже проступили желтые пятна, и огромный мамин живот он будто не замечал раньше...

— Хорошо,— хмуро отозвался брат,— я буду звонить.

И больше скандалов не было. Впрочем, вскоре и не до них стало, потому что родилась сестра Настя, заставив служить себе весь дом. Горбунов бегал на молочную кухню, стирал и

гладил в очередь с Полем Настины пеленки. А брат все пропадал где-то, и Горбунов успокоился, почти смирился с тем, что его вечно нет рядом.

Но когда однажды ночью он растолкал Горбунова и сказал: «Слушай, я, кажется, женюсь», сердце у Горбунова бухнуло от непонятного страха, зябко стало от налетевшего прощального ветра.

— Не надо,— торопливо отозвался Горбунов.— Зачем?

— Тише ты!— засмеялся брат.— Всех разбудишь.— И до утра рассказывал Горбунову о своей любви, о Лене.

В ту зиму они еще несколько раз полуночничали, говорили о будущем счастье брата. Ну, то есть Алькор говорил, а Горбунов, как всегда, слушал, и привыкал, и уже любил вместе с братом, и ждал, когда она появится и как им будет хорошо втроем. Но потом оказалось, что Лена вовсе не имеет в виду делить брата с кем бы то ни было.

Весной брат женился и ушел жить на старую квартиру.

Лена была старше брата, она уже кончала университет.

Мама невзлюбила ее с первого взгляда и утверждала, что вышла Лена вовсе не за балбеса Борю, а за служебное положение его отчима.

Поль, действительно, спас Лену от распределения в тмутаракань, устроил в областную молодежную газету, из-за чего мама устроила ему очередной скандал, Горбунову довелось быть его невольным свидетелем: дверь в его комнату плотно прикрыли, не вспомнив, что уж неделю он спит на балконе в гостиной.

Мама плакала, взбешенным шепотом объясняла Полю, что он пригрел на груди змею, что эта карьеристка и мерзавка не зря присосалась к их семье: мама прекрасно видит, какими глазами эта шлюха глядит на Поля...

Поль хмыкнул.

— Да-да!— сказала мама.— А тебе это льстит. Вам, козлам, всегда льстит, когда на вас молодые дуры пялятся!

Поль захохотал, подхватил маму на руки, но проснулась и заплакала Настя, они долго уторкивали ее, ворковали над ней, а потом Поль сказал маме:

— Дурочка моя маленькая, мне, кроме тебя, никого не надо.

Мама засмеялась тихим, особенным смехом. Горбунов на

балконе с головой залез под одеяло, сосредоточился на том, что надо успеть уснуть, пока мама и Поль не занялись любовью, и потому, чем кончился разговор о жене брата, не узнал. Да вряд ли и кончился чем-то...

Первое время он ездил к ним в гости — на трамвае, через весь город. Горбунов стоял, зажатый суровыми пассажирскими спинами, а сердце стукало, веселясь: домой, домой! Трамвай же гулко катил по рельсам все дальше от постылого центра с его широкими, прибранными напоказ улицами, и постепенно давка исчезала, в вагоне становилось все просторнее, а дома́ вокруг стояли все теснее, это начинались рабочие окраины — «хрущобы», неухоженные, унылые, где дома впритирку друг к другу, неотличимые, как дети в сиротском приюте... Но Горбунов любил эту местность и тосковал по ней, как по родине.

Впрочем, и там уже все изменилось, и там уже не было чувства, что вернулся домой: старую квартиру отремонтировали, Поль купил молодым мебель, Лена завесила родные стены коврами, и какая-то другая жизнь возникла там, неузнаваемая, не принимающая Горбунова.

Лена тоже ненавидела маму, полная взаимность царила в их отношениях.

— Ну, как там у вас? — спрашивала она, когда Горбунов приезжал.

— Хорошо,— отвечал он, чувствуя, что такой ответ неприятен Лене, что ей больше понравилось бы, если бы у них там было плохо.

— Семейное счастье в разгаре? — с непонятной, но почему-то задевающей Горбунова интонацией говорила она.

Горбунову хотелось, чтоб Алькор велел ей замолчать, но брат не вмешивался, будто не слышал.

Как-то мама попросила его передать, чтоб брат приехал в воскресенье, помог на даче. Он передал. Лена услышала и взорвалась, закричала на Горбунова:

— Вот здорово! Теперь, когда у твоей мамы есть дача, она наконец припомнила, что у нее, оказывается, есть еще и сын и неплохо бы ему там поработать! А где она раньше была, эта твоя милая мама?!

— Заткнись! — крикнул Горбунов, обидевшись за маму. Горбунову шел тринадцатый год, и он понимал, что вопрос, задан-

ный Леной, правомерен, но именно это почему-то и было самым обидным.— Не твое собачье дело!

— Че-го? — Лена пошла пятнами.— Ты как разговариваешь со старшими?! А ну пошел вон отсюда!

— Я не к тебе пришел,— сжал кулаки Горбунов.

— Ну, хватит вам,— поморщился брат.

...А на следующий день Поль попросил Горбунова больше туда не ездить.

— Почему это?

— Видишь ли, малыш...— вздохнул Поль.— Лена — девочка нервная, ну а волноваться ей сейчас нельзя, у нее скоро будет ребенок...

— А кто ее просит волноваться?— буркнул Горбунов, сраженный новостью.

— Малыш, я все понимаю, ты скучаешь по Бобу, но, согласись, приходить к нему в гости и оскорблять его жену...

— Нужна она мне, оскорблять ее...

— Я очень прошу тебя. Не надо туда ездить...

— Буду!— упрямо сказал Горбунов.— И вообще, это не ваше дело.

— Видишь ли...— сказал Поль и поморщился — так не хотелось ему продолжать.— Дело в том, что мне вчера звонил Боб и попросил...

— Неправда!— не поверил Горбунов.

Но это была правда.

Горбунов смирился и ездить в дом, где когда-то жили они с братом, перестал. По привычке он не обиделся на брата, постарался забыть и стал жить дальше. У каждого своя жизнь. Вот и Горбунов обжился среди новых декораций. Он привык хорошо учиться: в его спецшколе учиться плохо было непопулярно; и не то чтобы за это ругали и наказывали, а просто относились с пренебрежительным сочувствием. Тому, кто плохо учился, ничего не светило в будущем, это были неудачники, люди второго как бы сорта. Горбунов довольно быстро понял, что быть неудачником стыдно, и учился изо всех сил. После школы он мчался на тренировку — год назад Поль устроил его в хоккейную секцию. Горбунов был маленький, хлипкий, и поначалу тренер косился на «блатного» недоростка, но довольно скоро выяснилось, что у него мгновенная реакция, что стремителен и верток он, а главное, совершенно бесстрашен.

— Качаться надо, родной,— сказал тренер, и начались тренировки без передыху: режим, диета, ежедневная утренняя

пробежка сквозь времена года, гантели, изматывающее висенье на перекладине — надо было прибавлять в росте, в весе.

И Горбунов прибавлял, рос потихоньку, мечтая о зиме. Зима теперь была главным временем года. Первый снег, его чарующее, плавное кружение, катушки, лыжи, санки, пленительная нетронутость сугробов, где, накувыркавшись всласть, так хорошо замереть, раскинув руки,— все эти детские приметы зимы уже не существовали для Горбунова, позабылись. Зима теперь была залитым кортом, скоростью, жарким крошевом льда; зима — веселая злость, рывок к воротам, где с нелепой, уже ни от чего не спасающей поспешностью перемещается в угол чужой мальчик-вратарь; зима — звонкий щелчок клюшки (вратарь медленно-медленно, как во сне, оглядывается себе за спину в глупой надежде) и восторженный ор болельщиков... И цепкий, одобрительный взгляд тренера.

В ту стремительную, занятую самой собой жизнь вести о брате доходили глухо.

Как-то вечером, уже засыпая, услышал Горбунов так, вполуха, торжествующий мамин голос:

— Я говорила, говорила, что все так и будет!

— Перестань,— отозвался Поль,— все у них наладится. Вот родит и помягчает...

Но Горбунов уже засыпал и так и не узнал, в чем там дело.

Весной у брата родился сын Митька, но мир в семье не наступил. Что у них там происходило, из-за чего они ссорились, Горбунов не знал. Да и не интересовался. Он был влюблен большой отроческой любовью, причем несчастливо, и, разумеется, ему было не до того. А в доме, где когда-то давно жили они с братом, скандалы набирали обороты, и когда становилось совсем уж невыносимо, брат сбегал, переезжал жить к Полю. В университет он в эти несчастливые дни не ходил, молчаливый, угрюмый, слонялся по квартире или сидел на кухне, курил одну сигарету за другой.

— Боря, прекрати курить,— сердилась мама.— Настя скоро задохнется от твоего дыма.

— Всем, ну всем мешаю,— огрызался брат.— Может, мне вообще не жить?

Он одевался, уходил, хлопнув дверью, и возвращался только поздно вечером, насмешливый, недобрый. От него пахло вином.

— Пьяный опять,— раздраженно констатировала мама.— Вот попадешь в вытрезвитель!

— Оставь меня в покое,— морщился брат.— Не все ли тебе равно?

Он опять курил, пялился в темень за окном, а потом, наскучив своими мыслями, принимался измываться над Горбуновым.

— Ну, как успехи в ледовых битвах?— с усмешкой интересовался он.

Горбунову было что рассказать, и поначалу, приняв интерес брата за чистую монету, он докладывал взахлеб о секции, о тренере, о ребятах из команды. Но брат только ухмылялся, кривил презрительно губы:

— Ну-ну. Значит, ты у нас теперь спортсмен. Сила есть — ума не надо... Хорошо устроился.

И не пробиться было сквозь его пьяненькую ухмылку.

— Оставь Гелика в покое,— вмешивалась мама.— Ему уроки делать надо. Сам не учишься, так хоть ему не мешай.

— Ох ты боже мой!— начинал кривляться брат.— Какие тут все приличные люди!

— Да!— заводилась мама.— Представь себе! Не то что ты! Ложись и спи, раз пьяный.

Брат корчил рожи:

— В семье не без урода, что ж поделаешь. В такой замечательно благопристойной семье — и вдруг нате вам, а? И откуда такая напасть?.. Каюсь. И как мне не стыдно, сам не пойму!

— Вчера пьяный, сегодня пьяный!— кричала на него мама.— Позоришь нас перед соседями, бессовестный. Ты что, не знаешь, какой это дом?

— Соседи — это серьезно,— глумливо соглашался брат.

Они унимались только с приходом Поля (он возвращался с работы поздно), при нем в доме наступал мир.

Покуролесив неделю, брат мирился с женой и возвращался домой, а через месяц-другой опять появлялся. Потом он стал пропадать вовсе, ни дома, ни у Поля, ни в университете не появляясь.

Звонила Лена, раздраженно спрашивала, где он.

— А вот этого, милочка, я не знаю,— с радостной злостью отзывалась мама.— Это тебе лучше знать, ты ведь как-никак жена ему.

— Я потому и спрашиваю, где он шляется.

— А надо так вести себя, чтоб мужу хорошо было дома.

Тогда он и шляться не будет. Мой муж почему-то живет дома, милая моя.

— Знаете, Татьяна Петровна, стервам часто везет на мужей,— уже не сдерживая ненависти, говорила Лена.— А порядочным женщинам достается всякая дрянь, вот я и вожусь с вашим слюнтяем и импотентом...

Мама бросала трубку, а когда брат, наконец, появлялся, выныривал из какой-то своей, непонятной жизни, отчитывала его:

— Боря, как ты с ней живешь, с этой наглой, жирной бабой?

— Татьяна! — рявкал Поль, но, когда речь шла о Лене, маму было не остановить.

— Эта дрянь разнесла по всему городу, что ты слабый мужчина. Конечно, ей коня надо! Боря, ты женился на шлюхе, и я не удивлюсь, если выяснится, что это не твой ребенок...

На третьем курсе у брата начались неприятности в университете — он совсем забросил учебу. Его бы давно выгнали, но «старик» был хорошим приятелем Поля...

Впрочем, эти подробности жизни брата не занимали Горбунова, у него была своя жизнь, полная юных надежд и тревог, а унылая тень брата маячила где-то там, на обочине его удачливой, идущей на взлет судьбы.

К девятому классу Горбунов вымахал под притолоку, раздался в плечах — видно, усиленные тренировки не прошли даром. Впрочем, хоккей он давно уж бросил: юноши его круга не гоняли шайбу. Теннис, горные лыжи — это да, вполне достойно. А хоккей он теперь смотрел по телевизору, как положено хорошему ученику хорошей школы, приемному сыну известного в городе журналиста.

Одноклассники уже вовсю обсуждали планы на взрослое будущее, прикидывали, куда поступать после десятого. Кто в политех, кто в универ, некоторые собирались попытать счастья в столицах, девочки дружной толпой метили на иняз — даром, что ли, им ежедневно вбивали в головы английский? У Горбунова с языком было без проблем: дома вместо «Комсомольской правды» он читал «Таймс» (Поль приносил), американские военные журналы, а то и «Плэй бой». Поразмыслив, Горбунов выбрал местом будущей учебы МИМО и даже известил об этом одноклассников. Одноклассники присвистнули, а Поль, узнав, сказал:

— Ну, это вряд ли.

И Горбунов без сожаления забыл об этом своем намерении. В конце концов, впереди было еще два года. Куда спешить? Боги не суетятся.

Горбунов учился, играл в теннис, гулял с Кузей — ухоженный, хорошо одетый, умеющий за себя постоять мальчик с главной улицы, свой среди своих. Заброшенная квартира на окраине, вареная картошка, взломанные киоски «Союзпечати» — полноте, да с Горбуновым ли это было? Та давняя, странная, достойная презрения жизнь забылась. И никогда Горбунов и не вспоминал бы об унылой, стыдной той поре, если бы не брат.

Брата исключили из университета...

Брат развелся с женой...

Брата забрали в вытрезвитель...

Все в жизни брата было постыдно, нелепо, плохо, будто продолжалась та, прежняя, тоскливая жизнь, про которую Горбунов забыл и не хотел вспоминать.

А как не вспомнить? Вот Горбунов идет по городу (хорошо еще, если один, а не с друзьями), а в сквере, прямо на траве, сидит оборванец со знакомым лицом — драные джинсы, шлепанцы на босу ногу, черная лента через лоб, какие-то побрякушки на груди...

— Горбунок, глянь, хиппи!

Но Горбунов не глядит, решительно и целенаправленно проходит мимо, пока брат не узнал, не окликнул...

Где он жил? Чем занимался? Что ел?

Иногда, редко, брат объявлялся дома. Он звонил в дверь, возникал на пороге, сутулый, худой, в разбитых очках, косо съехавших на кончик носа, похожий на больную бездомную птицу. И сразу начинался крик.

— Тунеядец! — неистовствовала мама.— Когда ты наконец устроишься на работу?

— Я что, денег у вас прошу? — почти со слезами огрызался он.— Что тебе от меня надо?

— Погляди на себя в зеркало, бессовестный!

— Отстаньте от меня, не трогайте, не лезьте в мою жизнь! — кричал он с отчаянием.

— Ты нам не чужой, Боб,— вздыхал Поль.— Мы просто хотим тебе помочь...

Горбунов не вмешивался, уходил к себе в комнату, закрывал дверь, ничего, кроме брезгливого раздражения, не испыты-

вал он. Алькор и давняя, отчаянная дружба, скрепленная вечными звездами и одиночеством под ними двух мальчиков, стала туманной тенью, Горбунов о ней не помнил. Он давно уж любил других.

Она сама пришла, Горбунов открыл дверь и замер на пороге.

Они уже неделю не разговаривали и даже не глядели друг на друга.

На Первомай в классе затеяли поход, тайный, без учителей (дома-то, конечно, сказали, что идут с классной). Весна выдалась ранняя, яростная, с буйной ночной грозой в последний день апреля. И сразу земля, деревья будто взорвались: наутро было лето — листья, трава, зеленый, ласковый день играл на дудочке, выманивал своих детей из города.

Едва дождавшись конца демонстрации, они собрали палатки и сбежали — вон, вон из города. Сидели у костра, пили вино, дурачились, и сколько разговоров было о грядущей воле! Вот и всё, вот и переходим мы, братцы, в десятый, в последний свой класс! Чуть-чуть потерпеть — и разлетимся из золотой нашей клетки, ура!

А они вдвоем сбежали от костра, от разговоров и смеха, во тьму и тишину леса, где одуряюще пахло водой, травой, свободой. Они долго и торопливо шли куда-то по берегу озера, останавливаясь лишь для поцелуя, и Горбунов, забыв обо всем, стал нетерпелив и настойчив; она испугалась, оттолкнула его, Горбунов оступился на крутом берегу, нелепо всплеснув руками, свалился в холодную воду. Она убежала. Горбунов вылез на пустой берег и заплакал от злости и унижения.

Теперь она пришла, и они принялись целоваться прямо в прихожей, а мама и Поль неделю назад уехали в Крым — Настя всю зиму не вылезала из ангин, и велено было везти ее в Евпаторию.

Был светлый вечер тогда, тополь за окном туманился листьями. Она сказала:

— Хочешь, я останусь?

— А дома?— спросил Горбунов.

— Все на даче,— объяснила она шепотом.

Горбунов постелил им постель.

— Выйди,— попросила она,— я разденусь.

Горбунов вышел и, стоя в прихожей, лихорадочно припо-

минал все, что он слышал и читал на эту тему. Ничего не вспоминалось.

Она позвала:

— Иди.

Он вошел, выключил свет, стал раздеваться в прозрачной летней тьме, залез под простыню, и оба замерли, затаив дыхание, не касаясь друг друга.

— Иди сюда,— сказал Горбунов. Ему ничего не хотелось, но молчать было глупо.

Она придвинулась, обняла Горбунова и вдруг засмеялась:

— У тебя ноги как ледышки...

А утром он проснулся от чужого взгляда — это брат стоял в дверях и смотрел. Горбунов подумал сперва: сон.

— Ну-ну,— хмыкнул брат.— И часто ты приводишь домой девок?

— Заткнись,— сказал Горбунов шепотом.

Брат засмеялся:

— Эй, Джульетта, вставай, школу проспишь!

Она лежала, плотно зажмурив глаза, но ресницы выдавали ее.

— Ну просто спит непробудным сном,— ухмыльнулся брат.— Утро золотой молодежи...

Он был пьян с утра пораньше.

— Пошел вон, я кому сказал! — приказал Горбунов.

Но брату было весело, он принялся стаскивать с них простыню, вопя во всю глотку:

— Вставайте, спецшкольники, в школу пора!

Горбунов вскочил, с наслаждением врезал ему, и когда брат, скорчившись, рухнул на пол, выволок его из комнаты и запер в ванной.

Они одевались торопливо, не обращая друг на друга внимания, скорей, скорей, лишь бы разойтись, лишь бы кончился этот стыд, а он бился в дверь ванной и матерился надсадно.

— Не надо, не провожай,— всхлипнув, сказала она, убегая.

Горбунов, разумеется, в школу не пошел, кинулся назад, чтобы врезать от души этому пьяному придурку.

Придурок уже успокоился, сидел в ванной на полу, тихий, тоскливый.

— Ну, ударь,— усмехнулся он и встал.

Горбунов ударил.

— Ну, еще,— сказал брат, сплевывая кровь. Он едва доставал Горбунову до плеча.

Горбунов скис, процедил сквозь зубы:

— Руки об тебя пачкать...

Брат заглянул в зеркало, вытер кровь с подбородка, сказал трезво и зло:

— Главное, не верь им. Никакой любви нет, это так — инстинкты.

— Да заткнись ты! — брезгливо отозвался Горбунов.— Много ты в этом понимаешь...

Весь май и июнь он любил и сходил с ума, а в июле уехал в Болгарию — Поль достал путевку в международный молодежный лагерь. Неделю Горбунов тосковал, писал письма, не обращая внимания на других девушек. Но неделя прошла, и на пляже Горбунов оказался рядом со смуглой, темноглазой девчонкой из неведомой Черногории. Ее звали Данута.

— Зачем вы так грустеный? — сказала она, чудесно коверкая слова.

Горбунов сказал почему.

— Это я понимаю очень,— кивнула Данута.

Ночью они пошли купаться и до конца смены уж не расставались, потому что Данута сказала в ту первую ночь у моря:

— Ты нехорошо умеешь любить, я буду твоей научительницей.

Горбунов обиделся и хотел уйти, но она не отпустила, прижалась к нему, погладила по щеке смуглой, легкой рукой.

— Не сердись. Мужчина всегда не умеет любить, пока его не научивает женщина. Это не стыдно.

И Горбунов учился, учился, путая дни и ночи, забыв обо всем на свете, и, казалось, сердце разорвется от отчаяния, когда пришла пора расставаться.

Горбунов уезжал раньше, Данута проводила его до автобуса.

— Твоя девушка, которая ждет тебя, будет довольна,— сказала она на прощанье.

Но у девочки, которую Горбунов любил весной, летом появился другой мальчик. Горбунов не придал этому значения, он чувствовал себя взрослым мужчиной и ту первую свою, полудетскую влюбленность вспоминал с улыбкой.

Осенью пришла новая любовь, взрослая, сумасшедшая, тщательно от всех охраняемая, и жизнь была полна ожиданий и тайных встреч. Ах, как хороша была жизнь!

Однажды зимой брат появился дома среди бела дня, долго

бродил по квартире, пялился за окно, а потом сообщил Горбунову, что решил умереть.

— Да ну? — чистя сапоги, хмыкнул Горбунов, он собирался на свидание.

— Когда это случится, вот тут письмо. Отдашь... Слышишь?

— Слышу, отвяжись,— раздраженно отозвался Горбунов.

Брат был болтун, никчемный человек. Горбунов презирал его, неудачника паршивого.

О том, что смерть есть, Горбунов знал с малолетства, с той малопамятной поры, когда жил на окраине, на «похоронной» улице, прямой дорогой ведущей к неухоженному кладбищу, которое называлось Новым.

Хоронили часто: где-то там, вдали, в начале улицы, вдруг возникал унылый рев похоронных труб, медленно подползал все ближе, нарастал, надвигался темной стеной, в просвете меж домов появлялась молчаливая толпа, и маленький Горбунов, томимый тоскливым любопытством, приникал к окну, чтоб разглядеть сверху, кого это там опять понесли.

Носили взрослых.

Впрочем, для дошкольника Горбунова кто ж не взрослый был?

А то помирал кто-нибудь из соседей, и юные жители двора, бросив игры, неслись к подъезду поглядеть на знакомого покойника, на блестящие трубы музыкантов...

Все детство смерть бродила по краешку жизни, пугала, как страшная сказка, и, как сказка, была невсамделишной, в сущности, не опасной. Ибо к Горбунову отношения не имела. Умирал всегда к т о - т о. Не он. Он был маленький, смерти не подлежащий. Б е с с м е р т н ы й.

Потом, когда пришла пора, Горбунов догадался, что тоже когда-то умрет, и долго, безутешно плакал, потрясенный своим открытием. Но так далеко еще было до смерти, такая громада медленных, непрожитых лет скрывала ее от Горбунова, еще столько жить, жить, жить предстояло ему, что он успокоился: когда еще это будет! Вот только когда видел похороны, сердце сжималось. Но потом, как известно, переехал он с окраины на главную улицу, на которой происходили парады и демонстрации в основном, и Горбунов совершенно забыл о предстоящей смерти. Кое-кто по-прежнему умирал, разумеется, какие-то

посторонние, незнакомые люди, но Горбунова это совершенно не касалось.

И вдруг перепуганные лица, разговоры шепотом, сборы на венок — брат как накаркал... Сам-то он, конечно, остался живым и невредимым, да и что с ним могло случиться, с пустомелей и бездельником? Такие живут вечно. Умер Феденька, одноклассник, единственный сын «больших родителей»...

Ну, родители-то у всех одноклассников Горбунова, скажем прямо, были не маленькие, «отцы» города, директора заводов и театров, сплошные начальники. Но Феденькин был самый-самый, и потому совершенно непонятно было, как такое вообще могло произойти.

Хоть и знал Горбунов, что Феденька болеет с детства, а все равно не укладывалось в сознании.

В детскую пору был Феденька выскочка, ябедник, воображала, и вот однажды, классе в пятом, наверно, а может, в шестом, одноклассники устроили ему «темную» в школьной раздевалке (новичок Горбунов, разумеется, тоже принимал участие, зарабатывая авторитет в коллективе), а потом плакали взахлеб, перепуганные посиневшим Феденькиным лицом со страшными, черными губами, просили прощения, кричали: «Не умирай, пожалуйста». Потому что, оказывается, его нельзя было бить, у него больное сердце. Его и не били больше никогда, хотя Феденька много делал такого, за что следовало бы ему надавать как следует.

Феденька вырос красивым, румяным парнем, кстати, самым высоким в классе, и ничто не обличало в нем страшную его болезнь, только на физкультуру не ходил и на вечерах не танцевал.

В старших классах он уже не ябедничал, но все равно остался паршивцем, мелким пакостником.

С девушками у Феденьки проблем не было, они только что хороводы вокруг не водили, но все равно любимым его развлечением было увести у кого-нибудь подругу. Удавалось это ему с легкостью: девочки в классе были не дуры, о будущем думали, не впадая в романтические глупости.

— Старушка, «Челюсти» хочешь посмотреть? — лениво спрашивал Феденька девочку.

И кто ж тут устоит?

Свой видеомагнитофон был только у него, у единственного. И чего только не глядели девочки, придя к нему в гости! Ибо «Челюстями», разумеется, не ограничивались высокие

вкусы Феденькиного отца, а Феденька отлично умел открывать гвоздем секретер у родителей в спальне, где хранились кассеты, вовсе не предназначенные для сыновних просмотров... Льстило девочкам Феденькино внимание, нравилась веселая, легкая жизнь с большим будущим в перспективе, и взгляд Феденькин, нагловато-ласковый, знающий, что все сейчас будет, как он захочет, смущал только вначале, и так легко и просто с ним было — не возникало отчаянных пауз, как с другими мальчиками, неумело влюбленными, когда разговор вдруг становится непонятным и стыдным, заходит в темный тупик, и вот мальчик и девочка молчат, молчат, не умея выбраться (и ничего уж не надо, ни любви, ни дружбы, а только бы кончилось это отчаянное, беспросветное молчание с пятнами на щеках). Нет, с Феденькой такого и быть не могло.

— Ой, ну что ты как маленькая! — удивлялся он и принимался умело девочку раздевать.— Ничего не бойся, у меня таблетки есть. Слушай, обалдеть, какая у тебя грудь красивая...

В общем, было, было, за что его бить, паскудника с большим будущим.

Перед Новым годом Феденька лег на операцию: несколько лет вымаливал у родителей согласие, а те упирались наотрез, боялись. Какое-то такое условие ставили врачи: или станет совершенно здоровым, или умрет,— простое, как в детской игре, почти сказочное.

Феденька просил, умолял, скандалил, он хотел жить, как все: танцевать, бегать, гонять на спортивном велосипеде, а родители любили его и таким — не танцующим, не делающим резких движений, при малейшем напряжении начинавшем задыхаться, синеть губами.

— Эгоисты! — кричал им Феденька.— Я что, всю жизнь так должен?

И никакие отцовские увещевания не помогали.

— Ну подпишите, что согласны...

Мать плакала, отец, крутой, властный человек, давно отвыкший от каких бы то ни было споров и возражений, молчал тоскливо и беспомощно. Они сдались, когда Феденька пригрозил, что уйдет из дома.

Месяц Феденьку готовили к операции; девочки бегали к нему, таскали компоты и апельсины, ревновали, интриговали, выясняли отношения, целовались на черной лестнице, прятались от злыдни дежурной сестры, по приказу врача гонявшей Феденькиных посетительниц.

Феденька был нервически весел, торопил время, мечтал, как после операции пойдет в лес кататься на лыжах — впервые в жизни. Одноклассницы никак не могли выяснить, с кем именно собирается он кататься на лыжах, и готовы были друг другу в глаза вцепиться.

Операция была назначена на девятнадцатое, а двадцать второго Феденьку хоронили...

Горбунов шел по морозной улице в первой своей похоронной процессии и мучился: неужели так бывает? А Феденька лежал в длинном гробу, крепко зажмурившись, и чуть улыбался, доводя Горбунова до тяжелой, отчаянной жути. Неясный, почти животный ужас ворочался под вздохом, мешал дышать. То ли спорить, то ли жаловаться хотелось и кричать о беззаконии жизни. Или смерти? Горбунов Феденьку терпеть не мог и желал ему про себя всяческих несчастий. Но не такого же! А может, это нелепая шутка и в конце концов пакостник встанет из гроба и ухмыльнется: «Поверили, придурки?» Но на кладбище гроб заколотили и опустили в мерзлую землю. «Значит, это все на самом деле,— понял Горбунов.— Жил и умер, и никто тут не поможет, не спасет... Ужасно, ужасно несправедливо... И со мной так будет? Тогда зачем вообще жить? Кем ни стань, что ни соверши, а все равно умирать. Зачем, зачем тогда все?»

Две недели Горбунов ходил тоскливый, как в воду опущенный, перепуганный беззащитностью своей перед смертью, но тут вдруг началась война с химичкой: им в институты поступать, а она талдычит все по учебнику, строчка в строчку, и ничего объяснить толком не может. Да еще единиц понаставила тем, кто забунтовал, пообещав снизить оценку за полугодие. Ну, тут уж они совсем взбеленились, пошли жаловаться к директору:

— Она нас плохо учит, дайте другого учителя.

Директор обещал разобраться, но химичка встала насмерть и в раздражении сказала что-то про зажравшихся «сынков», которые норовят на чужом горбу в рай. Ну, это уж было ни в какие ворота, вмешались оскорбленные родители, и химичку уволили.

Сразу вслед за этим началась весна, и время понеслось: экзамены на носу, торопливое дозубривание билетов, а на улице листья, теплый ветер, на волю хочется, да еще в Горбунове любовь разбушевалась соответственно возрасту и времени года...

Мама, дождавшись его возвращения под утро:

— Где ты шлялся?! У тебя экзамены!

— Билеты писали у Толика.

Надоело это детство хуже горькой редьки, скорей бы все кончилось.

Все и кончилось: экзамены, выпускной...

На выпускном вдруг вспомнили про Феденьку и на следующий день, отоспавшись, толпой отправились на кладбище. Отыскали могилу; озираясь, чтоб не застукали взрослые, выпили вина; девочки всплакнули, мальчики помолчали под радостный птичий щебет, а потом все снова зашумели, засмеялись, обсуждая только что сброшенные экзамены и грядущую вольную жизнь, совершенно как-то позабыв, зачем они сюда пришли. Печаль прошла, растворилась в этом зеленом солнечном дне. Окружив могилу Феденьки, уютно устроившись в высокой кладбищенской траве, они весело болтали о навсегда прошедших школьных годах, хохотали, махали руками; иногда в разговоре поминали и Феденьку, легко, без грусти. Будто Феденька не умер, а перешел в другую школу.

Горбунов выбрал институт военных переводчиков.

Поль выбор не одобрил:

— Пять лет жить в казарме?

— Зато никаких забот,— не согласилась мама.— Обут, одет, накормлен. И весь мир посмотрит.

— Посмотрит он пустыню Сахару в основном, я полагаю, или что-нибудь в этом роде. Причем через колючую проволоку. Такой довольно своеобразный взгляд на мир...

Впрочем, он не отговаривал Горбунова.

В день отлета Горбунов проспал — он жил один в пустой квартире: мама с Настей на даче, Поль в командировке на Кубе, разбудить было некому (брат не в счет; когда мамы не было, он появлялся довольно часто, но Горбунов не обращал на него внимания).

Проснувшись и глянув на будильник (не звонил он, что ли?), Горбунов выпрыгнул из постели, шуганул из ванной брата, заспешил, засуетился — через сорок минут должно было подойти такси. Он торопливо завтракал, когда в дверь позвонили. «Уже приехал»,— подумал Горбунов с неудовольствием и пошел открывать.

Но это был не таксист, это была соседка. Она стояла и смотрела, как Горбунов жует бутерброд с сыром.

— Здравствуйте,— сказал Горбунов, прожевав,— а мама на даче.

— Гелик, спустись вниз,— сказала соседка, все продолжая смотреть на Горбунова.— Там тебя спрашивают...

— Евгения Федоровна, я на самолет опаздываю,— с непонятным для себя испугом отозвался Горбунов. Ему не нравилось, как она смотрит.— А что такое?

— Там Боря... лежит...

Горбунов продолжал стоять и жевать бутерброд, повторяя про себя с раздражением, что вот опять брат с утра пораньше напился, опять, опять... И при этом совершенно отчетливо понимал, что быть такого не может, потому что полчаса назад они столкнулись в ванной и брат был совершенно трезв.

«Напился, напился, напился, скотина!» — старательно заводил себя Горбунов, пытаясь разозлиться. Но не мог. Потому что уже догадался.

— Где? — спокойно спросил он, будто еще не знал ничего.

— Там, внизу...

Брат лежал на узенькой полоске асфальта между домом и газоном, лежал неудобно, вывернувшись, вывихнувшись всем телом. Рядом валялись очки с вдребезги разбившимися стеклами. Он пусто и пристально глядел в небо (там июльский ветер торопливо гнал на северо-запад лохматое облако), а крови на асфальте совсем не было...

Вокруг тихой толпой стояли люди и глядели, как он лежит, запрокинувшись, а когда вышел Горбунов, они, как по команде, уставились на него.

Горбунов не знал, что он должен делать и говорить, стоял и молчал. Подъехало такси, за ним милицейская машина. Горбунов пошел объясняться с таксистом.

— Простите, вы не могли бы немного подождать,— спросил Горбунов,— а то у нас тут...

— Куда ждать-то, куда ждать! — зашумел таксист.— План у меня. А что случилось-то?

Горбунов молчал. Шофер, пожилой, грузный мужик, вылез из машины, глянул и полез обратно.

— Это кто? — спросил он хмуро.

— Брат.

— А машину кто заказывал?

— Я.

— Его везти?

— Нет,— мотнул головой Горбунов.— Мне в аэропорт надо. Я в Москву лечу на экзамены...

— Ну куда ж тебе теперь лететь,— сочувственно сказал шофер и уехал.

Горбунов проводил его взглядом и побрел к подъезду.

Вокруг брата шла некая деловитая суета: его аккуратно обвели по асфальту мелом, что-то замеряли рулеткой, тихо переговариваясь, а молодой конопатый сержант милицейской службы уже сурово предлагал зевакам разойтись. Они отошли на несколько шагов и опять встали.

— А тебя что, не касается?— пихнул Горбунова сержант.— Проходи.

— Да это брат его,— сказали из толпы.

Тогда Горбунова мягко и решительно взяли под руку.

— Как вас зовут?

Горбунов сказал.

— Вы знаете этого человека?

— Знаю. Это мой брат.

— Давайте поднимемся к вам.

Горбунов впустил их в квартиру, и они сразу пошли на балкон, что-то долго изучали там, опасно свесившись через перила.

— Да, пожалуй,— кивнул один.

Другой пожал плечами: мол, это и сразу было ясно. Видимо, они о чем-то спорили, а теперь пришли к общему выводу.

Разобравшись с балконом, они занялись Горбуновым.

— Кто здесь проживает, кроме вас?

Горбунов сказал.

Его попросили вспомнить, когда он видел брата в последний раз.

Горбунов сказал:

— Сегодня. Утром.

— Какое у него было настроение?

Горбунов сказал:

— Не знаю.

— Что он делал утром?

Горбунов сказал:

— Чистил зубы.

— Он что-нибудь говорил вам?

Горбунов сказал:

— Нет.

Они давным-давно не разговаривали друг с другом — не по злости или обиде, а просто не о чем было. Брат не интересовал Горбунова, в сущности, они были чужие люди — что общего могло быть у юного баловня судьбы Горбунова с тем человеком, что лежал теперь внизу мертвый?

Горбунов вышел на балкон.

— Не надо туда глядеть,— посоветовал молодой человек, задававший вопросы, и попытался увести в комнату.

Горбунов сказал:

— Пошел вон.

— Я понимю, как вам тяжело сейчас...

Горбунов сказал:

— Пошел вон.

Они ушли тогда, Горбунов остался один в пустой квартире. В голове у него было пусто, он ни о чем не думал и ничего не чувствовал.

К подъезду подкатила «скорая», но, выяснив, в чем дело, уехала.

Брата перевернули на спину, задрали рубашку, ощупали. Там о чем-то совещались с деловитым раздражением, Горбунов уловил фамилию Поля.

Поль должен был вернуться завтра. «Весь город узнает,— тупо подумал Горбунов.— Неприятная история».

Еще одна машина подъехала, брата подняли, чтоб уложить на носилки, и он странно сломался, повис на чужих руках, будто был тряпичный. Его укрыли с головой, сунули в машину. Машина уехала. Люди разошлись. Горбунов перегнулся через перила, глянул вниз. Там все было как обычно, только белел нелепый меловой силуэт брата, похожий на неумелый ребячий рисунок. Горбунов подумал: «И все, что ли?» — и побрел в комнаты с отчетливым ощущением, что он что-то должен сделать. Немедленно. Ему брат велел..

«Письмо,— вспомнил Горбунов,— я должен передать письмо...»

Зима, Горбунов влюблен и спешит на свидание, а брат говорит что-то, протягивает конверт... Как давно это было! И где оно, это письмо?

Письмо лежало у Горбунова на подушке, обычный кон-

верт без марки, на котором печатными буквами написано: «Маме».

Горбунов долго рассматривал его, не прикасаясь, а потом почему-то вскрыл, обнаружив при этом, что пальцы у него трясутся. Оказывается, бывает такое.

«Это я пишу тебе, мама, ошибка твоей молодости. Помнишь, как ты плакала и кричала, что любишь, любишь его, что жить без него не можешь? У него усы были, и я его ненавидел изо всех сил. Не знаю, сколько мне тогда было, но помню, что у него были усы и что ты плакала и кричала про ошибку молодости. Я тогда не понимал еще, что это я — ошибка, я много чего тогда не понимал, понял потом, когда вырос. Как назло, у меня отвратительно хорошая память, я все помню, мама, будто это было вчера. Это самое главное воспоминание моего детства: ты плачешь. Ты все время плакала при мне. А когда тебе было весело, то со мной это было никак не связано, смеялась ты и улыбалась, когда рядом с тобой появлялся мужчина. Как я помню этот твой смех, такой звонкий, счастливый, девчоночий, и как я его ненавижу! Я был для тебя постылый ребенок, мешал жить, я был напоминанием о несбывшемся, ошибкой, за которую надо просить прощения у других мужчин. Ты ведь так боялась остаться одна, а я был не в счет. Откуда я взялся, зачем навязался на твою голову, куда меня девать? Ты так хотела любви! И какая досада, что по неопытности от этого бывают дети. А потом еще Гелька появился — еще одна ошибка. Тебя опять обманули, ты-то верила, что Он на тебе женится, надеялась, ждала, и все сроки были упущены, когда еще можно было от Гельки избавиться. Помнишь, как ты искала бабку, которая решится? А как не хотела забирать его из роддома, помнишь? А бабушка, она еще жива была, баба Настя, мамушка наша, сказала тебе, что проклянет, если бросишь его. Ты испугалась, и добродетель торжествовала — у меня появился брат. Я так радовался ему, тому, что я теперь не один буду. А ты все плакала, плакала, все одна оставалась, нас не замечая, вечно влюбленная девочка, с которой все спят, а жениться никто не хочет. Ты такая красивая была. Помню, ты сидишь у зеркала, смотришь, смотришь туда. Выросши, я много думал: почему? Ведь красота — редкость, ведь мужчины обомлевали от тебя, я с детства помню, какими глазами они на тебя смотрели. И не понять мне это было, пока сам не женился.

Все очень просто, мама, все так просто и страшно, что выть хочется. Ты хотела, мама, чтоб любили т е б я. Тебя, тебя, чтоб восхищались, служили, жили для тебя. А сама ты никого никогда не любила, тебе и в голову не приходило, что надо любить в ответ, что любят не только телом, что отдаются еще и душой. Ты думала, что только ты тоскуешь по любви, только ты хочешь, чтоб тебя любили. А хотят все, и все тоскуют. Понимаешь, понимаешь, мама! Мы все хотим одного и того же: чтоб нас любили; мы помешаны на этом — все, как один, мы ищем любви, жаждем любви, пропадаем без любви, это мания наша, вечная тоска и надежда. И не расстаться нам с этой тоской никогда, я уже понял. Потому что мы все одинаковы. Мы все хотим, чтоб любили нас, но сами любить не умеем. Даже в ответ не умеем, а не то что просто так, не ожидая награды. Вот разве только дети. Знаешь, как мы любили тебя, мама, как мы без тебя пропадали! Мы тосковали по тебе, мы любили тебя так, как ни один мужчина любить не может. Ему ведь нужна награда. А нам от тебя ничего не надо было, а только чтоб ты была рядом. Но ты не замечала нас. Кого ты только не любила, мама... То есть тут возникает терминологическая путаница, но ты поймешь, о чем я. Ты любила всех мужчин, любила их как вид, за каждого из них ты готова была выйти замуж. Только нас ты не любила. Кормила, одевала, терпела, раз уж так вышло, что мы есть. Зачем ты не сдала нас в детдом, мама? Там мы были бы законными сиротами, там нам было бы плохо, но у нас оставалась надежда: вырасти и разыскать тебя, и тогда все станет счастливо, как во сне, тогда выяснится, что это злые люди украли нас у тебя, а ты всю жизнь искала и любила нас, мама. Как, наверное, легко жить с такой верой! Но ты отняла ее у нас, мама. Я уже давно об этом думаю и решился, наконец. Когда растает снег, ну может, чуть позже, я умру. Ты знаешь, у меня нет характера, и страшно мне, но я сделаю это, мама. Я сделаю это у тебя под окнами, чтоб, выйдя утром, счастливая, беспамятная, ты увидела меня с вдребезги разнесенной башкой, чтоб взгляд твой очнулся, чтоб хоть женский страх крови заставил тебя испугаться, очнуться, вспомнить, что у тебя б ы л сын. Я был, был, мама, хоть ты и не обращала на это обстоятельство внимания. Я погибал от одиночества, потому что всю мою жизнь я был никому не нужен. Я боюсь умирать, но я сделаю это рано или поздно, потому что я лишний тут, меня родили по ошибке. Меня никто никогда не любил, мама. И я никого не люблю. Потому что не умею, меня не научили, а

сам я не смог, не сумел, не получается. Я урод, меня родили, но забыли вложить душу. Мне нечем любить, и жить мне незачем, без толку. Что ты со мной сделала, мама? За что? Ведь только тебя я и любил. Прости, что безответно. Твой сын Боря».

Горбунов аккуратно сложил письмо, сунул его в конверт и сжег в ванной, в раковине. Потом он позвонил на дачу маме.

— Алло,— весело сказала мама.— Настя, прекрати, ты же видишь, я разговариваю.

Горбунов молчал.

— Алло, алло...— повторила мама.— Вас не слышно.

— Алло,— сказал Горбунов.

— Ты откуда? — удивилась мама.

— Ты можешь приехать домой? — спросил Горбунов.

— Так я и знала! — ахнула мама.— Ты опоздал на самолет?

— Ты можешь приехать домой? — с отчаянием повторил Горбунов — он не знал, как и что говорить.

— Ничего не понимаю,— сердито отозвалась мама.— Откуда ты звонишь?

— Из дома.

— А почему ты дома?

Горбунов молчал.

— Ты что, проспал? Нет, Гелик, ты все-таки редкостный балбес. Ну что у тебя там стряслось?

Горбунов сказал, что пришла соседка и сказала, что он лежит внизу.

— Кто? — раздраженно поинтересовалась мама.— Он что, опять напился?

Горбунов молчал.

— Гелик, ты можешь мне объяснить, что с тобой произошло?

Горбунов сказал, что с ним все в порядке и чтоб она приехала домой, потому что Борис напился пьяный и упал с балкона.

— По-моему, вы там вместе напились,— рассердилась мама.— Что за глупые шутки!

Горбунов сказал:

— Я не шучу. Его увезли.

— Достукался,— сказала мама и заплакала.— В какую боль-

ницу его увезли, ты выяснил? Почему ты молчишь? Отвечай немедленно, Глеб!

— Он умер,— сказал Горбунов.

Брата похоронили. Его закопали в землю, неудачника, бесполезного человека, слабака. А плечистый Горбунов остался жить дальше.

Это были скромные, вежливые похороны, похожие на вздох облегчения: кто ж не знал, что непутевый Борька Горбунов был позором и наказанием семьи, всех измучил!

Два небритых кладбищенских мужика быстро забросали могилу землей, водрузили на холм временную оградку, положили венки, и все замерли, держа скорбную паузу, перед тем как разойтись к своим делам и заботам и позабыть о дезертире.

Горбунов оглянулся вокруг, ища кого-то в похоронной толпе, и не нашел никого. Впрочем, он и сам не знал, кого ищет. Смутная, но неотвязная необходимость то ли увидеть кого-то, то ли что-то вспомнить не оставляла его в эти дни.

Мама настаивала, чтоб он отправлялся в Москву, Горбунов упирался, сам не зная зачем, хотя терять год было, разумеется, глупо.

— Оставь его,— сказал маме Поль.— После похорон поедет, успеет.

В доме не оказалось фотографии брата, и ни паспорта, ни военного билета не было, чтоб переснять. Может, брат потерял их, а может, документы валялись где-нибудь у его друзей — подзаборников. Поди разыщи их.

Горбунов долго копался в ящиках своего стола и в конце концов нашел старую фотографию, серенькую, нерезкую, из детства. Там они стояли вдвоем у подъезда облупленного дома, брат обнимал Горбунова за плечи и улыбался. Ему лет семнадцать было, и очки на нем сидели, как всегда, косо, а дужка перемотана изолентой...

Поль глянул, покачал головой:

— Вряд ли. Покажу своим фотографам, пусть попробуют.

— Другой все равно нет,— хмуро сказал Горбунов, вглядываясь в серую муть, где жили когда-то два мальчика, два брата. Когда-то. Давным-давно. Сидели на подоконнике, смотрели на звезды, загадывали судьбу.

Что-то надо было вспомнить Горбунову. И в то же время, чуял он, лучше бы не вспоминать: это «что-то» было безмолв-

ное, грозное, кружило вокруг Горбунова, норовя вырваться из беспамятства. Горбунов не хотел ничего вспоминать, но вспоминал, вспоминал, раздраженно хмуря лоб.

Не вспоминалось. Нет, не вспоминалось... Знать бы, что...

Похороны кончились, пора было уходить. Горбунов опять оглянулся неприкаянно, словно идти отсюда ему было некуда.

— Пошли,— сказал Поль и бережно повел маму прочь.

Мама, уже устав от слез, побрела, покорно опершись на его руку.

Горбунов шагнул было следом и замер: кто-то глядел ему в спину, и холодно стало спине от этого взгляда. Горбунов знал, что оборачиваться не нужно, надо уйти потихоньку, будто ничего не почувствовав, все пройдет, позабудется, завтра он улетит в Москву, будет институт, экзамены, он поступит, поступит обязательно, а там... Но кто-то глядел, глядел на него. Горбунов обернулся и встретился глазами с братом. Алькор смотрел из зарослей хвойного венка и улыбался ему давней своей, позабытой улыбкой: помнишь?

Сбившись с ритма, тяжело и больно тукнуло сердце и повисло в холодной пустоте: Горбунов все вспомнил...

Это была ч у ж а я планета.

Кем были они с братом?

Подкидышами? Разведчиками? Заблудившимися среди звезд детьми?

Наделены ли некоей тайной миссией, которую должно было им выполнить во что бы то ни стало? А может, звездный род их провинился и был изгнан со звезды, где все добрые, смелые, честные?

Не у кого теперь спросить, Алькор ушел, пропал навсегда. Куда? В жгучую тьму на исподе век? Только закроешь глаза — и он уже здесь, улыбается, глядит, глядит в глаза, будто что-то сказать хочет, а сам молчит. И снится, снится Горбунову: в снах брат еще совсем мальчик — ему лет пятнадцать, но он все равно старший.

Значит, ты не умер? — спрашивает его Горбунов.

Брат молчит и улыбается, и так легко Горбунову, так счастливо от того, что он рядом. Если б не просыпаться...

Каждый день звонили Горбунову одноклассники и девушки, неумелыми голосами выражали соболезнование, тут же, впрочем, срываясь на непобедимую юную радость (это

ведь не они умерли, они сдавали вступительные экзамены, и жизнь сияла им, маня простором будущих лет, где, разумеется, у всех все сбудется).

— Не дури, Горбунок, возьми справку и сдавай в университет хотя бы. Это ужасно, что так вышло, конечно, тебе тяжело сейчас, но не терять же год...

Какую справку? О чем? И где ее брать? Это была чужая планета, чужие голоса, сквозящие глупой надеждой на счастье. А что это — с ч а с т ь е? Поступить в институт? А дальше? Дальше, дальше что? На кладбище так солнечно было, зелено (и одуряюще пахло краской — сосед подновлял оградку), а из оградок на живых пристально глядели умершие... Тоска, пустыня, чужая планета...

Как это вышло, что он все позабыл — родину свою в вышине, клятву вырасти и вернуться? А сам рос и забывал, и обрастал незаметно толстой местной кожей, и вот привык, притерся, стал своим здесь, где не б ы т ь ч е л о в е к о м, а всего лишь к а з а т ь с я нужно. Так легко дышать этим сладким дымом чужбины, позабыв о потерянном доме в вышине, не мучая себя его тяжелыми законами. Не помнить о нем, не думать, не тосковать, жить себе, затерявшись в толпе, стать, как все, неотличимо местным, з д е ш н и м — ни злым, ни добрым, ни смелым, ни трусом, ни честным, ни лжецом. Немножко любить, немножко подличать, ни во что не вмешиваться и говорить, говорить, говорить правильные слова... Горбунов давно жил так — и нравилось. Это только вначале стыдно, а потом ничего, нормально, что ж поделаешь, здесь все так живут.

Зачем он все вспомнил? И что теперь делать, как жить одному? Брат умер, бросил его, как всегда.

Приходила ночь, вставало над этой чужой жизнью родное небо, Горбунов смотрел, запрокинувшись, в домашнюю тьму, проколотую звездами, но не было дороги домой, Горбунов не знал, где она.

А брат знал? Наверно, знал. Но он умер.

«Зачем ты это сделал? — спрашивал его Горбунов.— Где ты? Не может быть, чтоб тебя не было, что не будет больше никогда! Отзовись, мне так много надо тебе сказать...»

— Павлик, я боюсь...— Это шепотом мама Полю.— Он кричит по ночам, все зовет кого-то... Нет, не Борю...

— Не трогай его,— вздохнул Поль.— Дай прийти в себя.

Но мама не послушалась, как всегда.

— Гелик, у тебя ничего не болит?

— Нет.

— Ты бы показался врачу.

— У меня ничего не болит.

— Ты очень плохо выглядишь.

— У меня ничего не болит, мама.

— Ну, я тебя очень прошу...

— Оставь меня в покое!

— Посмотри на себя в зеркало, малыш,— вмешался Поль.

Горбунов, с трудом сосредоточившись, уперся глазами в зазеркалье: там тоже была комната, светлая, просторная, с балконом, распахнутым в начинающуюся осень, там, уткнувшись носом в книгу, сидел Алькор... Горбунов долго смотрел на него, и брат услышал, медленно поднял глаза, улыбнувшись, приложил палец к губам.

— Гелик, что с тобой?

— Ничего,— раздраженно сказал Горбунов, с трудом отрываясь от зеркала.— Что вы за мной подглядываете. Может, еще на Агафуровские меня отправите!

Сумасшедший дом в городе носил название Агафуровские дачи. Горбунов догадался, что сходит с ума, но не испугался.

А может, просто брат подал ему знак?

Может, он не умер, а просто в е р н у л с я д о м о й?

— Где ты?— звал Горбунов.— Отзовись, подай знак!

Но какой знак мог подать человек, месяц назад закопанный в землю?

— Где ты!— взывал Горбунов.— Почему молчишь?

Прохожие, косясь, обходили стороной бормочущего, глядящего мимо людей парня, который брел по улице.

— Умер!.. Ты умер, да?— настойчиво ловил брата Горбунов.— Думаешь, я поверил? Отзовись, ну ответь мне, Алькор... Не бойся, я никому не скажу.

Алькор не отвечал. Его не было. И больше не будет никогда? Горбунов не верил, звал, говорил взахлеб. Брат, несомненно, был, он есть, только прячется, упрямец. Надо лишь докричаться до него, уговорить, умолить отозваться, выманить обратно.

— Где ты? Слышишь меня?— кричал Горбунов, но все напрасно было: он кричал в н и к у д а, в н и к о г д а, где не было даже эха и звуки глохли, запекаясь на губах.

— Чем ты намерен заниматься? — спросил его как-то Поль.

Горбунов пожал плечами:

— Работать пойду.

— Куда?

— Не знаю,— сказал Горбунов. Ему было все равно.

— Что значит «не знаю»? — удивился Поль.— Чего-то же хочется, подумай.

Горбунову хотелось домой.

Поль был уже главным редактором, человеком довольно могущественным (ничто не напоминало в этом строго и хорошо одетом человеке с до синевы выбритым властным лицом прежнего бородача в джинсах и свитере) он мог все, ну, или почти все — здесь. А здесь Горбунову было уже ничего не надо.

— В газете у меня не хочешь поработать? — спросил Поль.

И Горбунов, прежде не очень востривший ум наблюдениями за людьми, привычно принимавший видимость происходящего за его сущность, вдруг настороженно подобрался, мгновенно почуяв, в чем дело: Поль боялся за него, хотел, чтобы пасынок был на глазах.

Горбунов засмеялся ему в лицо:

— Отлично придумано, Павел Владимирович, двадцать копеек! Но я в порядке.

Поль схватил его за плечи могучими ручищами, тряхнул, заглянул в глаза.

— Что тебя мает, малыш? Не закрывайся, расскажи мне, может, полегчает. Так бывает, поверь.

— Я не сумасшедший! — крикнул Горбунов, выдираясь.

— Перестань,— поморщился Поль,— не истери, никто и не думает об этом. Выговорись, выговорись, я же вижу...

Горбунов знал, что говорить нельзя, Поль не поймет, решит, что он свихнулся, но уже говорил, говорил взахлеб о том, как жили они с братом — весело, счастливо, как хорошо им было. Поль молчал, слушал и все понимал, кажется. Горбунов вспоминал, рассказывал — брат будто был рядом.

— Он сам ушел,— сказал он Полю.

— Я догадался,— печально кивнул Поль.

Мама с Настей были на даче, осень стояла теплая, летняя. Никто не мешал им разговаривать.

— Он не оставил письма? — спросил Поль, на Горбунова не глядя.

Горбунов не ждал вопроса и молчал.

— Он должен был написать,— сказал Поль.— Он не мог не написать.

— Нет,— отозвался Горбунов.— Ничего не было.

Давно стемнело за окнами, но свет они так и не включили за разговором, только снизу, с улицы, подсвечивал фонарь. Поль встал, подошел к окну, закурил.

— Спасибо, малыш, ты славный парень,— сказал он.— Ты сжег письмо в раковине, пепел лежал несколько дней... Можешь не говорить, что там было, я все понял. Мир ужасен, люди дерьмо, он умирает, никому ничего не простив...

— Он не умер,— сжав зубы, сказал Горбунов.— Он вернулся домой.

— Ты что, в бога веришь?— вздохнул Поль.

— Просто мы не отсюда.

— Помню.— Поль грустно усмехнулся.— В детстве мне тоже так казалось. Но потом это проходит. Жалко Боба. Он был мечтатель, слабый человек, такие редко справляются с жизнью. Ты, мне кажется, всерьез собрался пойти по его стопам. Зря. В жизни надо быть сильным, малыш, иначе не выиграть. Запомни: сильным, собранным, четко знать цель и не отвлекаться. А мечты — дешевка, это только расслабляет. Мужчина живет делом. Служить делу, делать дело, не жалея себя, быть в нем первым, главным — это и есть жизнь. Она вся здесь, на там не рассчитывай, выбрось этот бред из головы, а то добром не кончится. Боб умер, и ничего с этим не поделаешь. Надо...

— Заткнись!— сказал Горбунов и встал.

Если бы Поль обернулся, Горбунов бы его ударил. Но он не обернулся. Стоял, молчал, курил, глядел в заоконную тьму.

Брат не умер, не умер. Днем, ночью, дома, на работе, на улице заклинал его Горбунов, звал, звал, звал.

— Ну чего тебе?— недовольно отозвался однажды он.

— Алькор?— замер Горбунов.

— Тише ты, не кричи.

— Это ты?

— Я, я, успокойся.

— Алькор... Почему ты так долго молчал?

Брат хмыкнул:

— По той простой причине, что меня нет — я умер.

— Неправда,— засмеялся Горбунов.— Теперь-то ведь ответил.

— Теперь — другое дело,— вздохнул Алькор.

— Почему?

— Потому что теперь ты сошел с ума. Давай поговорим.

— Да я и сам так думал,— беззаботно согласился Горбунов.— Слушай, а тогда, в зеркале, на балконе...

— Ты можешь не орать так?— сухо сказал брат.— И перестань размахивать руками. Хочешь, чтоб в психушку забрали?

— Наплевать,— отозвался Горбунов,— ты ведь и там будешь со мной?

Брат засмеялся:

— Буду. Пока не вылечат.

Эта простая и внятная мысль привела Горбунова в себя, он подобрался, огляделся настороженно: вечер, улица в центре, люди идут, а под фонарями медленно, важно падает снег. Зима уже, что ли?

— Осень,— вздохнул Алькор.— Это первый снег, он завтра растает... Не стой столбом посреди улицы, чокнутый, ты идешь с работы домой.

— Я не хочу домой,— возразил Горбунов,— я хочу с тобой разговаривать.

— Тогда сворачивай в переулки, там все-таки прохожих меньше.

Горбунов послушно шагнул во тьму соседних улочек, почти не освещенных фонарями.

— А может, ты все-таки не умер?

— Нет уж,— сердито пробурчал брат,— с меня хватит. Я умер, можешь мне поверить. Ты отдал письмо?

Снег все падал — мягко, нежно,— заметал улочку, по которой Горбунов шел рядом с братом.

— Я его сжег...

— Как сжег?— замер брат.

— В ванной... Его нельзя было отдавать, ты бы сам потом пожалел.

— Когда п о т о м?— с растерянной злостью прозвучал в снежной тьме голос брата.

— Я не мог его отдать,— упрямо повторил Горбунов.— Как ей жить после этого? Тебя нет, ты умер — и ничего уже не исправить, и даже прощения не попросить...

— Ну и дерьмо же ты! Ты не имел права...

— А ты?! Ты-то кто?— завопил Горбунов, глотая слезы.— Посмотри на меня — я подыхаю без тебя, я зову тебя день и

ночь! Тебе мало? Ты хочешь, чтоб и она так, чтобы и ей ни сна ни покоя...

— Да! Да, я хочу так! Это мое право, я за него заплатил. Думаешь, это так легко? — Брат возник рядом, отчетливый, будто живой, с белым, отчаянным лицом, со смертной тоской в глазах — таким он был, наверно, в то солнечное, последнее свое утро, когда Горбунов прогнал его из ванной.

— Прости,— виновато забормотал Горбунов, ощутив то утреннее, безвыходное одиночество брата.— Но не мог я, не мог... Подумай о ней, ты сам, сам мне говорил, что человек должен быть добрым!

— Ничего я не говорил, что ты мелешь!

— Говорил. И в письме писал, когда я еще маленьким был. Ну помнишь, ты уехал в деревню... Как ей жить в такой муке, я не хочу, за что...

— А ты не знаешь? — глянул исподлобья Алькор.

— Она живет, как умеет.

— А, ты пожалел ее,— засмеялся недобро брат.— Ты добрый, да? Только у тебя немножечко отшибло память. А нас с тобой кто-нибудь жалел? Ну хоть кто-нибудь когда-нибудь...

— Это у тебя отшибло,— растерялся Горбунов.— При чем тут это? У них свои законы. Ты же знаешь, с них спросу нет, а мы не отсюда, нам так нельзя.

Брат смотрел непонимающе.

— Ты о чем?

— Сам знаешь.— Горбунов поднял голову, но с неба валил снег, ни одной звезды не было там.

Алькор тоже недоумевающе глянул вверх, пожал плечами и вдруг хлопнул себя по лбу, захохотал:

— Ну да, помню-помню... Слушай, неужто ты до сих пор веришь в эту чушь?

— Это не чушь, перестань.

— Мы нездешние, мы с неба! — истерически хохоча, выкрикивал брат в тусклую вышину.— Эй, там! Мы ваши! Добренькие, смеленькие, честненькие, не чета тутошним. Мы, изволите ли знать, просто потерялись...

— Заткнись!

— Спокойно, скорбный умом, все в порядке. Надо только кричать громче, чтоб они там услышали. Тогда они все бросят и кинутся нас спасать. Нас найдут. О, не сомневайся, за нами приедут, нас отсюда заберут...

Он смолк, уставился на Горбунова круглыми яростными глазами.

— Там никого нет.

— Неправда,— угрюмо сказал Горбунов.

— И никогда не было. Там пусто, хоть тресни! Чему тебя в школе твоей престижной учили, идеалист паршивый!

— Ты сам говорил: не может быть, чтоб там никого, ведь Вселенная бесконечна...

— Бесконечна. И везде — никого.

— Нет, нет! Кто-то есть обязательно! Откуда тогда мы?

— Тю-тю, да? Лечиться надо, шизик. «Там все добрые»... Я сейчас сдохну от смеха. Впрочем, это тавтология: я ведь уже и так умер... Да если там и есть кто, то не надейся, он такой же, как все тут, точь-в-точь, и плевать ему на нас. Слушай меня внимательно и повторяй: «Там никого нет». Неужели ты сам не догадался? Ах, да, я и забыл: юность, глупость, цветенье надежд... Как же, как же, помню — добро побеждает, справедливость торжествует, ну а самое главное — человек создан для счастья, как птица для полета...— Он вдруг скис, ссутулился, пробормотал устало: — Например, пингвин... Ни хрена не сбывается, Горбунок, все мура... Человек создан для несчастья — и так нам и надо. Вероятно, мы — ошибка Вселенной. Нас не надо — кто-то недоглядел, упустил, проворонил... Никто нас не создавал, вот в чем дело: мы самовольно произошли от обезьяны... Мы лживы, трусливы и злы и другими не будем никогда. Потому что такова наша природа.

— Нет,— сказал Горбунов,— я не согласен.

— Жалко, ты не господь бог,— вздохнул брат.— Знаешь, это, наверно, неизлечимо, мой бедный сумасшедший брат. И откуда ты такой ереси набрался...

— Ты сам мне всегда говорил...

— Ну, знаешь...— Он раздраженно пожал плечами.— Теперь легко все свалить на меня. Я мальчишка был, дурак, я книжек начитался... Я не виноват, что ты мне верил, и, в конце концов, ты давно живешь своей головой. Все у тебя было нормально, ты гонял свою шайбу, зубрил английский, занимался любовью — жил в полный кайф и ни о чем таком не вспоминал...

— Кончай! — сказал Горбунов.— Ты же не такой, дурака валяешь.

— Да разуй ты глаза, наконец! Я такой, такой! И всегда был таким, понимаешь ты?

— Нет, ты нарочно притворяешься.

— Я здешний, я такой, как все. И ты тоже. А там никого нет, это только сказка, вечерняя сказка для малышей, я сочинил все.

— Неправда, ты на себя наговариваешь.

— Ну да, руки прочь от светлой моей памяти!

— Постой,— сказал Горбунов и остановился.— Я все понял...

— Ну что еще?

— Ты не Алькор. Просто я сошел с ума и выдумал тебя. Ты оборотень...

— Еще скажи, что создал меня по образу своему и подобию,— захохотал брат.— Знаешь, как это называется? Мания величия.

— Отстань, сочиненный, тебя нет. Понимаешь ты? Я разговариваю с самим собой...

— Допустим,— вздохнул брат.— Но давай разберемся... Ты звал меня...

— Не тебя,— хмуро огрызнулся Горбунов.— Я звал Алькора.

— Ну, хорошо, не меня, а Алькора. Ты тосковал, ты разговаривал с ним, ты звал, звал и, скажем прямо, настолько расстроил свое воображение, что услышал, как тебе ответили. Я все верно излагаю?

— Да,— настороженно кивнул Горбунов.

— Это был я... Теперь ты утверждаешь, что я — не он. Так?

— Да.

— Но тогда кто же я? Откуда я взялся?

— Не знаю,— тоскливо отозвался Горбунов.— Ты же сам сказал, что я сошел с ума. Мало ли что мне в голову придет...

— Ты хочешь сказать, что я — плод твоего больного воображения?

— Да.

— Не сходится,— усмехнулся брат.

— Почему?

— Потому что глупость выходит: тосковал по нему, а сочинил меня.

— Говорю же тебе: я болен, чокнулся, свихнулся. У меня ум за разум зашел...

— О, ты, как всегда, хорошо устроился! — с издевкой пробормотал Алькор.— Узнаю тебя, это — да, это ты умеешь. Только ты тут просчитался...

— Ты о чем? — почему-то испугался Горбунов.

— Да все о том же, о том! Думал, сойдешь с ума — и ника-

ких проблем. Начнется сказка, и все будет так, как тебе удобно? И вина забудется...

— Какая... вина?..— шепотом спросил Горбунов.

— Та самая. Забыл? Смелый, добрый, честный... Думал, сойдешь с ума — и не спросится с тебя? Думал, я приду к тебе и утешу? И будем считать, что все было, как надо? Живой-то я был тебе не шибко нужен: неудачник, пустомеля, пьяница — никчемный брат, за которого стыдно. Помнишь, как ты торопился мимо меня по улице: не дай бог, я окликну, и все узнают, что этот неприличный человек твой родственник... Зато теперь, когда я умер, меня можно любить. Ну, не настоящего, конечно, а выдуманного, прилизанного, приглаженного, раскрашенного в приятные для глаз тона. Добрый Горбунок, ах, какой добрый! Он так любил брата! Он даже тронулся от тоски...

— Прости меня...

— Бог простит,— усмехнулся Алькор.— С тебя спросу нет, ты ведь у нас теперь блаженный.

— Прости, прости... Что же мне делать?

— Не знаю.

— Научи меня, Алькор.

— Брось,— поморщился брат.— Ты опять про свое. Чему я могу тебя научить, когда сам ничего не знаю? Я такой же предатель, как ты... Знаешь, пожалуй, я пойду.

Снег вдруг кончился, небо вызвездило на миг в высокой полынье. Брат махнул рукой и пошел прочь.

— Куда ты? — позвал Горбунов.

— Домой.

Он шел, не касаясь заметенной снегом земли, брел, будто по невидимому склону, и уходил все выше, выше.

— А я? — закричал ему вслед Горбунов.— Я с тобой!

Брат оглянулся, глянул печальными глазами.

— Тебе нельзя здесь, это дорога мертвых.

Он уходил, забираясь все выше, теряясь в небесной тьме.

— Я хочу домой! — крикнул в вышину Горбунов, и в ответ донеслось:

— Ищи дорогу.

А где она, дорога?

Горбунов остался один на пустынной ночной улице, на планете, мчащейся во мраке и холоде бесконечной Вселенной. Ему шел восемнадцатый год, и был он не добрый, не злой, не смелый, не трус, не честный, не лжец — так, обыкновенный

человек, не знающий дороги. Здесь все были такие, и мучились, и тосковали по другой жизни, и ждали, когда же она придет. Потерявшиеся дети, чужестранцы, позабывшие дорогу домой.

Горбунов поднял голову, отыскал свой дом в вышине и вдруг заплакал просто и безутешно, как в детстве.

Темное небо стояло над землей, как пустой заколоченный дом, и оттуда, из-за звезд, кто-то глядел на Горбунова.

Калуга 1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

И. АНДРИАНОВА.
МОЙ СУМАСШЕДШИЙ ПАПА 3
Ю. КОРОТКОВ.
АБОРИГЕН 33
С. ВИНОКУРОВА.
КАССЕТЫ ШОХИНА 98
Е. МАТВЕЕВА.
ОСТРОВ 144
И. ЧУДОВСКАЯ.
ИЗ ЖИЗНИ КОНДРАШЕК 180
Н. СПИЦЫН.
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ДВЕРИ 245
Л. СИНИЦЫНА.
КРИВОЙ ЧЕТВЕРГ 350
В. КАРПОВ.
ВИЛАСЬ ВЕРЕВОЧКА... 425
Н. СОЛОМКО.
ГОРБУНОК 458

К читателям

Отзывы об этой книге просим
присылать по адресу: 125047, Москва,
ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Литературно-художественное издание

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

АБОРИГЕН

Повести

Ответственный редактор
А. Н. ПЕЧЕРСКАЯ

Художественный редактор
Г. Ф. ОРДЫНСКИЙ

Технические редакторы
С. Г МАРКОВИЧ и Г. Г. РЫЖКОВА

Корректор
Л. А. РОГОВА

ИБ № 12313
Сдано в набор 28.04.89. Подписано к печати 03.10.89. А 07946.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. типогр. № 1. Шрифт баскервиль.
Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72.
Усл. кр.-отт. 28,35. Уч.-изд. л. 31,16.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 2143.
Цена 1 р. 50 к.

Орденов Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов
издательство «Детская литература»
Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
103720, Москва, Центр,
М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени
ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР
127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»